

СУРЕН АЙВАЗЯН

**СУДЬБА
АРМЯНСКАЯ**



СУРЕН АЙВАЗЯН

**СУДЬБА
АРМЯНСКАЯ**

Р О М А Н

*Перевод с армянского
РЕГИНЫ КАФРИЭЛЯНЦ*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

Художник
ЛИЛИЯ ЗУБАРЕВА

Айвазян С. Б.
А 11 Судьба армянская: Роман. Пер. с арм. — М.: Советский писатель, 1984. — 528 с.

В основу романа Сурена Айвазяна «Судьба армянская» легли подлинные события истории Армении конца XVII — начала XVIII вв. Тогда вопрос спасения и дальнейшего существования нации ставился в прямую зависимость от взаимоотношений с Россией. По этому сложному пути прошел Исраэл Ори — лицо историческое, биография которого стала сюжетным стержнем романа

4702080200—397
А

 257—85
083 (02) — 84

ББК 84. Ар 7

Книга первая

СМЕРТЬ ИЛИ СВОБОДНАЯ АРМЕНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Тысяча шестьсот семьдесят седьмой год. В стране армянской царит черное безмолвие. Растрескавшаяся от зноя земля, побитые градом поля и сады...

Хан Алам-Асадулла, запахнув длиннополый серый халат, вышагивает из конца в конец по просторному залу своего дворца в Татеве. Черные его волосы кудрями спадают на плечи из-под шелковой чалмы. Курчавится и лоснящаяся борода, намаженная индийским ореховым маслом. Брови изогнуты, крючковатый нос тяжело осел на усы. Глаза можно было бы назвать красивыми, не будь они затуманены постоянной внутренней злобой.

Медленно шествуя по коврам, он иногда останавливается и, глядя себе под ноги, пухлыми пальцами поглаживает бороду. Когда нога оказывается чуть выставленной вперед, из-под халата выглядывает лишь кривой носок сафьянового коша¹.

В дальнем конце зала висится застланная коврами тахта с бархатными мутаками и подушками. Рядом с тахтой, на инкрустированном слоновой костью столике, курится кальян.

Хан еще раз прошел размеренным шагом через весь зал и опустился на тахту.

— Так подчиню, что убоитесь собственных теней!.. Смеют противиться!.. — пробормотал он и потянулся было к кальяну, как вдруг открылась дверь и, словно перекатываясь, к нему приблизился круглый, будто шар, главный палач в красном одеянии. Не в состоянии согнуться в поклоне, палач почтительно опустил голову и выпалил одним духом:

— Сиятельный хан, хндзоресские нечестивцы — отец и

¹ К о ш и — род обуви без задников.

сын, осмелившиеся противиться твоему приказу, доставлены и, связанные, стоят во дворе. Стоят и ждут, на каком из балконов ты явишься им.

Подперев голову рукой, хан молча слушал палача. Но вот он вскочил и хлопнул в ладоши.

Главный палач скрестил на груди руки и испуганно попятился к выходу. Только у двери он повернулся и выскользнул вон. В то же мгновение открылась другая дверь и появился гардеробщик. Он подошел бесшумно, поклонился, затем, выпрямившись, взглянул в лицо хану и, без слов поняв, какую одежду, обувь и чалму следует приготовить, так же молча удалился.

Ханский дворец некогда был армянским строением, которое потом переделали в персидском духе. Со стороны обширного, огражденного крепостной стеной двора были пристроены из жженого кирпича два узких балкона на значительном расстоянии один от другого. Хотя оба они были украшены одинаковыми персидскими барельефами, но различались цветом: один — кроваво-красный, другой многоцветный. Из канцелярии на балконы выходили две узкие двери. С этих балконов объявлялся приговор обвиняемым. Делалось это без слов. Посреди двора высилась дубовая плаха. Приговоренный вставал перед ней на колени и ждал суда. Если хан появлялся на кроваво-красном балконе в кроваво-красном одеянии, приговоренный покорно клал голову на плаху, и палач свержал свое черное дело. Подручный палача тотчас оттаскивал убитого за ноги и сбрасывал в колодец, тут же во дворе. В тех случаях, когда жертву, измученную долгим пребыванием в темнице, предстояло помиловать, хан выходил на балкон весь с головы до пят в голубом. И тогда палач подносил свой топор помилованному для лобызания, а затем, отложив топор в сторону, развязывал путы...

И вот Мегри из Хндзореска и его сын Мхитар, коленопреклоненные, у плахи ждут решения своей участи.

Солице уже поднялось высоко и успело нагреть землю. Мегри и Мхитару прямо в нос бил исходивший от деревянной плахи запах крови, казавшийся им запахом смерти. Чудилось, что от этого ощущения они не избавятся и после того, как им снесут головы.

2

Хан Алам-Асадулла, чтобы быть всегда на высоте перед шахом Сулейманом, лез из кожи вон: дворцовую казну и закрома заполнял превыше требуемого. Соперничал он с дру-

гими ханами и красою и количеством посылаемых в шахский гарем девушек и пленников-юношей тоже. Все это приводило к тому, что положение сюнникцев из года в год ухудшалось.

После долгой засухи стояла дождливая осень. Трое кзлбашей¹, погоняя коней, друг за другом выехали из Хндзореска и скрылись в густом тумане. Едва морось заглушила топот их коней, жители Хндзореска повалили ко двору сотника Саркиса и стали вызывать его.

Саркис вышел, заложив руки за пояс; тяжело отпечатывая шаг, он подошел к односельчанам, остановился и вздохнул так глубоко, что зазвенели звенья его серебряного пояса. Затем заговорил. И сельчане, дотоле взволнованно шумевшие, затаив дыхание обратились в слух.

— Беда, мы заживо горим!.. — сказал Саркис и поведал, сколько чего требует хан. Сколько пшеницы, пшена, ячменя и проса, сколько растительного масла, сколько овец, крупного скота, сколько девушек, сколько юношей... — В беде мы, в большой беде! — закончил Саркис.

Толпа снова зашумела. Трудно было понять, кто и что говорит. А сотник все так же стоит — ноги широко расставлены, руки за поясом, тяжело дышит в обвислые свои усы... Вот он добавляет:

— Завтра я должен явиться к хану в Татев и либо пообещать все исполнить, либо сложить голову.

— Но нам же нечего дать хану! — это сказал Мелик-Фарамазян Мегри, старик с сильными руками и широким размахом плеч, отвагой и мощью в свое время заслуживший громкое имя в Сюнике и за его пределами. Все подтянулись к нему поближе и облегченно вздохнули. — Хватит с нас, — продолжал он...

— Хватит!.. — отозвались в толпе.

— Мужчине легче смерть принять, нежели так жить! Что скажете? — бросил Мегри, обернувшись к народу.

— Смерть или победа!.. — закричали в ответ все вокруг.

— Силой мы ничего не добьемся. Сил у нас нет. Так зачем все это? — недовольно проговорил сотник Саркис.

Мегри сделал шаг к нему.

— Мы всем селом готовы на смерть. Это сила, сотник Саркис! Ты не с нами?..

¹ К з л б а ш и — буквально: красноголовые старшины (*туркск.*).

Вопрос был поставлен столь прямо, что сотник на мгновение растерялся и не нашелся с ответом. Накрутив ус на палец, он задумался.

— Мы-то можем и умереть... Но наши дети, жены...

— Умереть мы должны в сражении. Наши жены не хуже нас. А дети?.. Что будет с ними, если мы склоним головы?.. Надо биться, думая и о том, что будет с детьми! — И, снова обернувшись к сельчанам, Мегри спросил: — Что скажете на это?

— То же, что и ты!

— Кто-то должен довести наше слово до хана.— Мегри обратился к сельчанам: — Условия таковы: в этом году мы не можем внести подать. И никогда больше не дадим наших девушек и юношей. Мы ожесточены унижениями. Если эти наши требования приемлемы для хана — благодарствуем, а нет, так мы готовы умереть с оружием в руках!.. Сегодня же всем надо подняться в горы и укрепиться там в скалах. И пусть каждый будет готов, прежде чем умереть самому, лишить жизни хоть одного недруга: закидать камнями, стрелами, обстрелять из ружей, как сможет... Итак, кто тот храбрец, который, подвергая свою жизнь опасности, решится сообщить наши требования хану?

— Я!..

Из толпы поднялась-покатилась волна и вынесла вперед храбреца. То был единственный сын Мегри — Мхитар Мелик-Фарамазян.

— Я здесь, отец, чтобы довести наше слово до хана.

Мегри не был доволен тем, что именно его чадо, может ценою жизни, берется за это дело, но он тем не менее положил руку сыну на плечо и, сделав вид, что поощряет его, сказал:

— Все едино, кто из нас где закончит жизнь: на дубовой плахе перед ханской канцелярией или здесь, в наших скалах. Иди!.. — и его тяжелая рука дрогнула на сыновнем плече.

— Брат Мегри, может, еще немного подумаем над тем, как нам поступать?.. — спросил сотник Саркис, глядя на дрожащую руку Мегри.

Старик отец перехватил взгляд сотника, понял его, убрал руку с плеча сына и обратился к народу:

— Вам еще есть о чем думать, да? Говорите!

— Нет! — донеслось в ответ, решительно и единодушно. — Мужчине легче смерть принять, нежели так жить! — повторили слова Мегри сначала несколько голосов, а потом и все собравшиеся.

— А теперь расходитесь, займитесь делами... Чатунц Наапет, Арчанц Хатап, Охтанц Мушег и Цлвцаланц Похан! — выкрикнул Мегри и подождал.

Народ быстро разошелся. Четверо названных, крепко сложенные юноши, обступили Мегри. Он отвел их в сторону и приказал закрыть все четыре входа в село (пробитые в скалах дороги) и, пока все до единого сельчане не укрепятся в укрытиях, никого не впускать и не выпускать.

— Согласны?

— Во всем готовы следовать твоему слову!

— Да будьте благословенны. Идите.

Юноши с готовностью ринулись. Мегри добавил:

— Смотрите в оба! — Он кивнул в сторону дома сотника Саркиса: — Если этот окажется в Татеве раньше, чем мы сумеем укрепиться, несдобровать нам — враги явятся и с легкостью нас одолеют. Поняли?

— Как не понять! Глаз не спустим, чтоб сотник Саркис не пробрался к хану!

— Ну, с богом.

На том и разошлись.

3

Сбор дани задерживался. Алам-Асадулла велел созвать всех сотников.

Прибывали один за другим. Входя, кланялись в пояс, усаживались и ждали, что будет. Хан не удостоивал их взглядом и не отвечал на поклоны. Развалился на мягких подушках — в одной руке трубка с кальяном, в другой — борода, он смотрел в полуотворенное окно, куда-то вдаль. Но и там, вдали, ничего не видел. Мысль его в этот миг не была в ладу с глазом. Злые думы затуманили взор властелина.

Отложив в сторону трубку, хан подоткнул под колени полы своей одежды, уселся поудобнее, скрестив ноги, выпрямился в спине, прищурился и испытующе осмотрел всех присутствующих.

— А где сотник Хндзорстана? — спросил он.

— Нет его.

— Лиса съела волчье сердце. Как он смеет опаздывать!

Словно бы в ответ скрипнула дверь и вошел низкорослый, крепко сбитый крестьянин. Он поискал взглядом, где бы сесть.

— Что надо? — презрительно бросил хан, удивленно уставившись на вошедшего.

— Звал ведь... — спокойно ответил крестьянин.

— Откуда ты?

— Из Хидзореска.

Хан в сердцах ударил себя по коленям и проорчал:

— В этом свинячьем хлеву не нашлось человека, и послали тебя?

— Человека послали к человеку, меня — к тебе, — без тени смущения, смело глядя в глаза хану, сказал крестьянин.

— Эй, главный палач! — ударив в ладоши, крикнул Алам-Асадулла. И от звука его голоса у сотников дрожь пробежала по телу.

Посланец Хидзореска в ожидании главного палача потирал свою мозолистую ладонь.

Но вот главный палач явился. Хан взглядом дал ему понять, что следует делать. Палач подкатился к человеку из Хидзореска и взял его за ворот. Тот наотмашь ударил его по руке и заговорил:

— Хан, я пришел от имени своих сельчан. Мне велено сказать тебе, что отныне они знать не хотят ни тебя, ни твоего шаха. Им нечего дать тебе: нет у них ни хлеба, ни скотины. Не дадут они больше и своих девушек и юношей. Готовы на смерть, но к ногам твоим не падут! Понял, хан? Мы не можем жить пленниками и будем бороться... Ну, а теперь как знаете...

Палач уже хотел увести крестьянина, но хан поманил того к себе и стал с любопытством разглядывать невысокого жилистого крепыша.

— Как имя? — спросил он.

— Прозывают меня Мхитаром Мелик-Фарамазяном.

— Мхитар Мелик-Фарамазян? — повторил хан, зло усмехаясь, и обернулся к сотникам:

— Знаете его?

Те переглянулись. И признаться страшно — кто знает, к чему это поведет, и умолчать боязно. Из трудного положения вывел их сотник Алидзора.

— Я знаю его, благословенный хан, — сказал он.

— Говори же.

— Отца его, Мегри Мелик-Фарамазяна, знают все...

— Как знают?..

— Как отважного, храброго человека, который в молодости мог одной рукой свернуть шею буйволу. А сестра старика Вахах — она в нашем селе замужем — с топором на медведя ходит, и сыновья у нее что медведи. Тебе, мой хан, Вахах хорошо известна.

— Это та самая женщина, которая твоих палатосборщиков избивала?..

Сотник Алидзора сообщил бы хану еще многие подробности о роде Мелик-Фарамазянов, но властитель прервал его:

— Говоришь, Мегри в молодости шею буйволу одной рукой сворачивал? Да?..

— Сворачивал. И не только буйволу. Он был воин что надо.

— Верно, такому буйволу, как ты! — Хан встал, напряжился, заложил руки за спину и бросил палачу: — Увести в темницу этого сына силача, сворачивающего шею буйволу! — И, обернувшись к алидзорскому сотнику, добавил: — А ты чем занят, сотник Гурген? Когда погасишь свои долги? Распустился очень. Смотри!..

— Да будет благословен мой хан!.. — И Гурген поведал, что не может собрать дани сколько следует, что ему легче голову сложить на плахе, чем забрать у крестьянина последнюю горсть муки.

Хан рассвирепел. Кричал изо всех сил, плюнул и дал два дня сроку: коли не хотят, чтоб сгноил их в темнице, пусть кончат дело.

Все поспешно пообещали выполнить приказ и разошлись.

4

— Как ты посмел? — спросил хан у алидзорского сотника Гургена, который, хоть руки его и были связаны, стоял прямо, расправив плечи и выставив ногу.

Сотник не ответил хану, только посмотрел в глаза, на руки, сложенные на коленях, снова в глаза и затем отвел взгляд.

Хан взъярился:

— Говори, не то язык вырву! — И, сойдя с тахты, он, тяжело переступая, подошел к Гургену и повторил: — Как ты посмел?..

— В моих речах не было никакой особой смелости. Не такой уж я глупец, чтоб бессмыслием сгубить себя... Ты же знаешь, что последние два года мы в беде, у крестьянина сейчас нет даже семенного зерна, чтоб в землю его бросить. В будущем году вы и одного мешка не соберете. Что взять с неимущего?

— Золота, серебра, меди, шерсти, сушеных фруктов!.. А коли и этого нет — свет из глаз вырви, головы возьми!.. Жалеешь своих сородичей? Да? А своей головы с такими-то

усами не жалеешь? — Он дернул Гургена за ус, затем, заложив руки за спину, зашагал.

— То, что делаешь ты, хан, не геройство, — не меняя позы, проговорил Гурген, едва стихла боль.

Хан приостановился, с усмешкой глянул на него через плечо:

— Тогда что же это?

— Ханские штучки.

Брови у Алама-Асадуллы сами собой опустились, губы сжались. Какой-то миг он так и стоял, полуобернувшись, затем подошел и прошипел:

— Что ты сказал?..

Сотник не ответил.

— Ханские, говоришь, штучки? Издеваться изволишь?! — И он еще сильнее дернул за тот же ус и хлопнул в ладоши.

И тотчас в одну дверь вошел главный палач, в другую стражник. Последний пал ниц перед ханом и проговорил:

— Мой повелитель, мой солнцеликий хан, прибыл Саркис из Хндзорстана с дурной вестью.

— Пусть войдет.

Главный палач отпихнул Гургена, хан взглядом дал ему понять, чтоб остановился, и повернулся к вошедшему сотнику Саркису:

— Что скажешь?

Сотник чуть не плакал.

— Да будь благословен, хан, беда! Хндзорескцы взбесились. Еле вырвался. Перекрыли все выходы из села, чтобы не дать мне прорваться к твоей светлости. Я вынужден был ночью с огромными трудностями пробраться в ущелье Воротана и вот только сегодня прибыл, чтобы пасть к твоим ногам и сказать то, что я сказал: будь благословен, хан, хндзорескцы взбесились, беда!..

— А все оттого, что ты баран. — Хан зло ухмыльнулся и повторил: — Баран!

— Что мне сказать, мой господин, — Саркис пожал плечом.

— Эй, палач, — обратившись к главному палачу, сказал хан, — отведи-ка этого барана в овчарню, а завтра отсечешь ему голову.

— Смилуйся, хан! — голос сотника Саркиса дрожащим эхом забился под сводчатым потолком. Несчастный бросился в ноги хану. Но тот оттолкнул его ногой и прошел к окну, выходившему на гору. — Я — земля под твоими стопами,

хан! — Саркис подполз к повелителю. — Твоей милости ведомо, что я всегда был предан персидскому трону, нашему солнцу и властелину — шаху Сулейману и твоей светлости. Я шкуру со всех сдирал и сдавал дань два к одному. Этот год подвел меня, не уродилось... Но все равно, Хндзореск наполнил бы твои закрома, не вмешайся в дело этот сукни сын Мегри Мелик-Фарамазян и не подними он всех на ноги. Что бы ни было, я обещаю бросить хндзорескцев перед тобой на колени! Если не исполню...

Хан, который сложив руки стоял у окна и смотрел на горы, обернулся, глянул на распростертого сотника и сделал знак главному палачу, чтоб вывел Гургена. Уже на выходе Гурген бросил по-армянски:

— Ползи, Саркис, пресмыкайся!..

— Сделай так, чтоб Мегри оказался в моих руках, и тогда оставаться твоей голове на месте, — сказал хан.

— Сделаю, непременно сделаю!.. — сотник Саркис приободрился, вскочил на ноги. — Мхитар в темнице?..

— Да, так...

— Мой хан может считать, что и Мегри уже в его власти.

— То есть как?..

— Я напишу отцу письмо от имени Мхитара, и через два дня он будет здесь.

— Как знаешь! Придумай любые ухищрения, но помни одно: цена твоей головы — голова Мегри! — отрезал хан и, отвернувшись к окну, снова воззрился на горы.

— Будь благословен, хан, что прикажешь мне сейчас делать?..

— Уйди с глаз. Явишься завтра, после утреннего намаза.

С рассветом сотник Саркис предстал перед ханом: с хитрой улыбкой на светлокожем лице и с письмом в руке. Преклонив колено перед ложем, где возлежал хан, он с трудом прочитал написанное и с еще большим трудом перевел:

— «Добрый день, отец! Я присхал в Татев, чтобы сказать хану слово наших сельчан и затем положить голову под его топор. Я видел, как, приложившись на прощание к моему лбу, ты едва сдержал слезы. Однако, волею всевышнего, я жив и здоров. Слава господу! Аминь! И здесь со мною пребывает покровительство нашего Татева. Обратившись к алтарю, я нишу тебе это письмо благословенной рукою отца Тадевоса, и перед глазами у меня наш святой крест. Звонят колокола, потому как сегодня праздник, канун Святого Креста. Да будет вечной мощь Татевского храма! Аминь!

И да пребуду я склоненным перед святым Саркисом, святым Карапетом, святыми Петром и Павлом, перед всеми святыми. А теперь позволь рассказать тебе все, как было. Приехал я, когда у хана уже собрались все сотники. Они сидели развалясь, а хан хмурил брови. Ждал, видно, нашего сотника. Ты ведь знаешь, что дань, даваемая нашим Хндзореском, поболее той, какую собирают со всех других сел, вместе взятых. Ждали сотника, его нет. И вдруг вхожу я. Хан удивлен, смотрит на мои чарухи¹, на папаху... Я не даю ему раскрыть рот, начинаю: «Из Хндзореска я, — говорю, — приехал сказать от имени всех, что мы решили, пусть умрем, но подчиняться тебе больше не станем. Ты безжалостен (так я и сказал), требуешь дань с побитых градом и спаленных небывалым зноем полей. За людей нас не считаешь. Ну, а если это так, то нам и жить стыдно. Вот мы и решили: бороться и умереть! Я кончил, — говорю, — теперь можешь натравить своих людей против Хндзореска, а мою голову руби здесь». Так я сказал, отец, и жду: вот, мол, сейчас прикажет обезглавить меня. И что же я вижу? Хан усмехается себе в усы и поглаживает бороду. А потом вдруг поманил к себе пальцем и уже не на чарухи мои смотрит, а в глаза. «Чей ты сын?» — спрашивает он. Я называю твое имя. «О, сын Мегри Мелик-Фарамазяна? Понятно. От льва львенок. Твоя смелость мне по душе. За то и прощаю тебе дерзость. А хндзорстанцам, так и быть, прощаю налоги за этот год». Так прямо и сказал хан. Все сотники от зависти заерзали на местах, зачихали, закашляли. А хан опять же повторяет: «За непокорность следовало бы снести головы и тебе и всем хндзорстанцам, по своей смелостью ты завоевал мое сердце и будь за то моим гостем несколько дней».

Вот уже три дня я гость в ханском дворце. Чего тут только нет: и хашлама², и жареные куры, и пловы, и разные шербеты!

После полудня мы с ханом ходим в Овенский лес, и он диву дается, как метко я стреляю из лука.

Отец мой, я думаю, нам следует поблагодарить хана. Прежде всего пусть все наши сельчане спустятся с гор и пребывают в спокойствии. И сообщи людям все, как есть. А сам собери кое-что — несколько мешков самой лучшей муки, печеностей, фруктов, ковров поцветистее — и приезжай поскорее в Татев, на поклон к хану, чтобы он отныне и впредь

¹ Ч а р у х и — обувь из сыромятной кожи.

² Х а ш л а м а — отваренная баранина.

был добр к нам, чтобы покорить его сердце и обратиться к нашим повседневным заботам.

Отец Тадевос, после того как написал сказанное мной, прочитал мне все, и я, в знак подтверждения подлинности, прилагаю палец».

Сотник Саркис кончил чтение письма и посмотрел в глаза хану. При этом в его собственных глазах было столько довольства собой.

Хан постукал пальцем по лбу сотника, но в похвалу ничего не произнес.

— Что ж, попытайся, — сказал он.

— Мой господин, необходимо, чтоб Мхитар приложился к этому письму. Отец слишком хорошо знает отпечаток пальца своего сына.

— Ну, это он сделает...

* * *

Длинен подземный ход. Начинается он от маслобойни, что у монастыря. Главный палач отодвинул маслобойный камень, под ним была плита, он и ее сдвинул и вкатился внутрь. Сотник Саркис последовал за ним. Пахло сыростью и еще чем-то. Палач шел расставив ноги и откинувшись назад — уж очень тяжел был большой, круглый живот. Голова у него без единого волоса, но не оттого, что обрит, как подобает палачу: от проказы все вылезли. Он носил красную тюбетейку, которая едва прикрывала макушку, оставляя обнаженным жирный затылок с глубокой складкой. Длинные тяжелые руки говорили сами за себя.

Высоко держа масляную лампаду, палач шумно дышал, и шум этот удваивался эхом. Сотник Саркис с отвращением смотрел на маячивший перед ним затылок и с ужасом думал: куда ведет его этот страшный палач?..

Вот подземный ход раздвоился. Палач повернул влево и остановился у одной из выбоин в стене. С трудом, чуть склонив свою одеревенелую шею, он одним глазом глянул назад. Сотник Саркис понял его, подошел поближе и остановился рядом. От недостатка воздуха лампадка еле горит, и желтый ее отсвет почти не рассеивает тьму. Что это?.. Люди?.. Живые или мертвые?.. Они точно привидения... Палач снова зыркнул на сотника Саркиса и лампадой повел в сторону одного из несчастных. Сотник заморгал, потом вдруг удивленно выпучил глаза — он с трудом узнал всего три дня назад попавшего сюда Мхитара Мелик-Фарамазяна. Ноги у бедня-

ги в колоде, шея так притянута веревкой, что голова почти уткнулась в колени. Руки связаны за спиной. Все другие люди тоже связаны, пожизненно закованы цепями, концы которых закреплены на скальных выступах стен. Пожизненное это заключение длится недолго, главный палач каждый день, так вот, с лампадой в руках, обходит все одиннадцать выбоин и ногой бьет каждую жертву в бок: коли не стонет, снимает оковы. Ежедневно снимается не одна цепь. И подручный палача волоком сносит отдавших богу душу к щели и сбрасывает трупы в ущелье. При этом он всякий раз прислушивается к гвалту, с которым грифы кружат над новой жертвой...

Сотник Саркис присел именно на ту колоду, где зажаты ноги Мхитара, и сочувственно покачал головой, не думая о том, что в полутьме узник не видит, как сотник их села сочувствует его мучениям. Саркис вздохнул и положил руки на колени.

Главный палач прошел дальше, и все погрузилось в темноту. Только откуда-то струилась узкая полоска света, — может, через ту щель, в которую сбрасывают трупы?..

— Что, сотник Саркис? — догадываясь, зачем тот оказался в подземелье, не в силах выносить его фальшивые вздохи, спросил Мхитар, добавив при этом: — Не вздыхай, выкладывай, что у тебя за душой.

Та речь, которую он готовился произнести, явно не подходила к обстановке, и сотник Саркис лихорадочно перебирал в уме, какие же слова сказать. Мхитар не дал ему сказать.

— Не притворяйся, Саркис, — сказал он, — ужаль да убирайся. Я от тебя никогда и не ждал ничего хорошего.

— Не ради тебя явился я сюда. Но ты, спесивый, разрушил дом своего отца и всех хндзорескцев погубил. И отец твой спохватился, пожалел о содеянном. Вот потому-то я и пришел. Ради него. А что поделаешь, если в ноги пал: «Помоги, говорит, сотник Саркис, единственный сын пропал. Сделай так, чтоб голову ему не снесли!» А ты тут болтаешь. Пожалость надо отца, а не чесать языком...

И он замолк.

У кого-то неподалеку в горле вдруг словно бы вода заклокотала-закипела. Затем все смолкло. А спустя мгновение кто-то застонал, потом опять раздался клекот. Глухо звянула цепь, и воцарилась гнетущая тишина.

Леденящая дрожь пробежала по телу сотника Саркиса, и ему показалось, что он и сам — один из этих обреченных и

больше уж никогда не увидит солнца. И чтобы поверить, что это не так, сотник снова заговорил, по возможности спокойным голосом:

— Ради твоего отца — если ты человек, постарайся понять это — и ради тебя я вынужден был ноги лобызать нечестивцу хану. А он, поганец, пнул меня и говорит: «Что, душа за сородичей болит? Ты у себя на селе представитель шаха, а тебе, я вижу, нипочем, что люди поднимаются против него!» И чего я только не наговорил, чтобы загладить ваше безумство. Да, да! То, что сделали вы с твоим отцом, — это безумие! Ни дать ни взять безумие! Подобное тому как если бы человек вдруг стал биться головой о стену, что вот, мол, разрушу ее, а разбил бы лишь свою голову. Так нельзя. Делать нечего. Мы повержены. Поверженный народ вынужден быть слугой победителя. А слуга должен служить. Служить и улыбаться. Душа болит, а хозяину улыбайся, повинуйся каждому его слову и своего суждения иметь не смей. А вы что? «Готовы умереть!.. Смерть или человеческая жизнь!..» Готовы, да не очень. На другой же день твой отец вернул всех сельчан с гор и сам пришел ко мне: так, мол, и так, жить хотят, любой ценой, хоть бы и в рабстве. Но я-то понял, что он только ради тебя сдался...

Послышались шаги приближающегося главного палача. Вот он, как сама смерть, стал рядом с Мхитаром. Не в силах нагнуться, велел своему подручному отвязать веревку на шею узника и освободить руки.

Сотник Саркис достал из кармана письмо и, прикинувшись, будто ему совсем безразлично, как Мхитар отнесется к его предложению, сказал:

— Вот письмо, надо удостоверить его. — Бумага зашестела в руках Саркиса. — Ты слышал уже, что мне пришлось лобызать ноги хану, обещать, что Мелик-Фарамазяны будут впредь покорны священным законам шаха. Однако хан пожелал услышать эти завершения из уст самого Мегри. И тогда было написано это письмо от твоего имени, чтобы отец явился и пал к ногам хана. Только это может спасти тебя, вызволить из темницы, — Саркис подал письмо узнику.

Мхитар задумался...

Сотник Саркис поднес клочок бумаги к лампадке, подпалил и тотчас загасил, затем подал его Мхитару и поторопил:

— А ну, быстро разотри пепел в руках и приложи большой палец к письму. Невмоготу мне здесь. Не подыхать же из-за тебя. Чего медлить? Смотри, что с сотником Гургеном сделали. От эдакого здоровяка одна тень осталась.

Мхитар глянул и равнодушно отвернулся, как обреченный от обреченного. Пристально посмотрев на сотника Саркиса, он сказал:

— Мой отец не такой. Он не из тех, кто изменяет своему слову. Ну, а если ради меня все же и решился, я все равно останусь верным себе. Вяжите мне снова руки. Я не приложусь к этому письму.

— Не дури, Мхитар.

— Не трать попусту запала, Саркис.

— Хочешь, чтоб силой заставили? Понимаешь ведь, чем все обернется,— теперь уже сотник говорил сухо.

— Понимаю,— кивнул Мхитар.— Делай что хочешь. По крайней мере умру со спокойной совестью.

В ту же минуту сотник Саркис бросил взгляд на главного палача и сам отошел. Палач одним ударом по голове свалил Мхитара. Едва тот рухнул, сотник Саркис поднял его руку, натер палец пеплом и прижал к письму. И тут же главный палач, растерев виски поверженного Мхитара, привел его в чувство, снова связал, и они с сотником удалились.

В пещере зазвенели цепи.

5

Хидзореск, насчитывающий две тысячи домов, расположен в глубоком и очень широком ущелье. В ущелье этом много скал, отрогов и впадин с ходами, ведомыми только самим хидзорескцам. Дома тут особенные, высеченные в скалах. Каждый как крепость и со своей пещерой, сообщающейся с соседским домом-крепостью. Подняться в такой дом-скалу можно только по веревке, сплетенной из волоса или кожи. Внутри все: и очаг, и жилое помещение. Кроме тайных подземных ходов есть и обманные. Это на тот случай, чтобы, если враг все же проникнет в ущелье, заманить его в скалы, а самим, уже уйдя выше, оттуда обрушить на головы неприятеля огонь и каменный ливень, уничтожить всех по одному, сбросить вниз.

Трудно поверить, что эти укрепления в скалах на такой высоте (пятнадцать — двадцать человеческих ростов) оторыты руками самих хидзорескцев и что туда вообще можно забраться. А поднимаются люди с помощью все тех же веревок. И надо сказать, с легкостью. Даже женщины. Приежмут за спиной детишек и поднимаются. Укрывшись в этих укреплениях, люди защищают не только самих себя, но и дома, оставленные внизу, и имущество.

Одним словом, весь Хидзореск — это своеобразная крепость, к тому же почти неприступная. Может, именно потому столь храбры и смелы его жители...

Вот уже четыре дня, как хидзорескцы, оставив дома и полевые работы, поднялись в укрепления и во главе с избранным своим вождем, храбрым воином Мегри Мелик-Фарамазяном, не раз избавлявшим село от грабителей, ждут прихода карательного полка из Татева.

Четыре дня они подвозили к укреплениям камни. Оружейники днем и ночью приводили в порядок оружие, готовили порох и ядра. Наравне с мужчинами работали женщины и дети.

Мегри Мелик-Фарамазян время от времени рассылал своих храбрых помощников Чатунц Наапета, Цлвцаланц Похана, Охтанц Мушега, племянника Арбака, Арчанц Хатапа проверять подступы к укреплениям, готовность людей, запасы оружия и продовольствия, западни в проходах. Посылал и лазутчиков во все концы, и прежде всего в Татев.

И Мегри и хидзорескцам уже стало известно, что алидзорский сотник Гурген осмелился перечить хану и что это очень воодушевило алидзорцев. Однако чем все обернулось для сотника Гургена, не знал пока никто, даже алидзорцы.

Сам Мегри в укрытие не поднимался. Веревка свисала наготове, но он оставался внизу и был все время в движении, словно бы и не старик. А ведь семьдесят стукнуло.

Был полдень, ясный, но очень холодный. Иногда с юга набегало большое облако, а за ним и маленькое. Они проплывали над селом, и солнце словно гасло, все вокруг темнело. Потом снова появлялось солнце и светило еще ярче прежнего.

В селе, всегда полнившемся жизнью, сейчас было непривычно пустынно. Только кошки сновали с крыши на крышу, тревожно кудахтали куры да собаки лаяли, будто предчувствовали беду,— Мегри велел привязать их, чтоб, когда враги войдут в село, расвирепевшие, они сорвались и разодрали их в клочья.

В ущелье эхо изредка разносило гул голосов, это люди переговаривались из укрытия в укрытие. Где-то плакал ребенок, и плач его тоже подхватывало и повторяло эхо. Вот кто-то запел. Но где — поди угадай.

Небо все больше заполнялось облаками. Солнце теперь только и делало, что мигало. Монотонно шумела речка, несущая свои воды по дну ущелья, и в шуме этом было какое-то тревожное ожидание.

Мегри лишь после полудня собрался немного перекусить. Только он вошел в дом, как вдруг явился один из его лазутчиков и сообщил, что от Татева к Хндзореску приближается какой-то всадник.

— Вооруженный?

— Нет, безоружен.

— Армянин или чужеземец?

— Похоже, армянин...

— Присаживайся, поешь чего-нибудь...

— Бабкен, эй! — кричит стражник с правого подхода к селу.

— Эй-эй! — отзывается Бабкен.

— С твоей стороны всадник приближается!..

— Что ж, встретим как надо, пусть подъедет, — и, сняв с плеча мушкет, стражник выжидает.

Вот из-за хачкара¹ на дороге показался всадник.

— Эй, кто ты? Останови коня! — еще издали кричит дозорный.

— Из Татева я! — отвечает всадник и останавливается.

— С добром ты к нам?

— Истинно с добром.

— Сойди с коня да приблизься, посмотрим...

Всадник спешил и подошел, как повелели. Низкорослый, с короткой бородкой и обвислыми усами, в которых алел маленький толстогубый рот, он сказал, что ему поручено съездить в Хндзореск и повидаться с Мегри Мелик-Фарамазяном. Дозорному приезжий понравился: уж очень открытым было его лицо с миндалевидными глазами и белозубой улыбкой.

— Мегри у себя, — сказал он. — Вон его дом, с аркой и высокой лестницей. Видишь? А подойти к нему лучше со стороны родника. Направо там свернешь, обойдешь дом-крепость Арчанцев — и ты у Мегри. Ну иди. А конь твой останется здесь. Не обессудь, брат, таков наш порядок. Даст бог, воцарится наконец мир на армянской земле, тогда приходи — гостем будешь.

Незнакомец не спорил, хотя путь ему предстоял еще немалый.

Но вот и дом Мегри. Пришелец поднялся по лестнице, заглянул в открытую дверь. Внутри было темно и потому

¹ Х а ч к а р — крест-камень, устанавливается в знак памятных событий и как надгробие.

ничего не видно, но он тем не менее громко поприветствовал:

— Добрый день, брат Мегри.

— Кто ты? Входи.

Татевец поднялся еще на четыре ступеньки, вошел и стал у входа. В доме царил полумрак. Он постоял. Глаза постепенно привыкли. Еще раз поздоровался, но уже не так смело. На устланной коврами тахте, откинувшись, сидел человек незаурядной внешности — очень мужественный, с пронзительным взглядом.

— Что скажешь? — своим колючим голосом спросил Мегри, не ответив на приветствие. Он выпрямился, тахта под ним заскрипела. — Подумай, пока рта не раскрыл. Если заблудший, верни свою потерянную совесть на путь истинный. Слышал небось, что Мегри из Хндзореска предпочитает омыть руки кровью вероотступника-христианина, а не врага-иноверца? — и он сделал своими большими ручищами такое движение, будто и впрямь умывается, при этом суставы его пальцев хрустнули.

— Слышал, как не слышать, — ответил пришелец, и в голосе его мелькнула фальшивая нотка. Но Мегри слушал вполуха и потому ее не почувствовал.

— Так говори же, — сказал он, не приглашая вошедшего садиться.

— Я звонарь из Татева, да пребудет он могучим оплотом нашим, — звонарь неумело перекрестил бороду. — Всякое доброе намерение может и злом обернуться, брат Мегри. Однако намерения мои добрые. — И он вынул из шапки письмо. — Не знаю, чем все кончится, могу поклясться, что и ты, человек мудрый, верный христианин, тоже не можешь сказать последнего слова. Вот письмо тебе от сына Мхитара. Отец Тадевос начертал его в своей келье, при свете масляной лампы, и я это видел. Потом он вслух прочитал написанное. Это были те слова, что произносил Мхитар, и сын твой подтвердил их истинность, приложив под письмом свой палец. Обмакнул его в золу и приложил. Я говорю только о том, что видел своими глазами. Меня затем и позвали к отцу Тадевосу, чтоб я присутствовал при том, как будут писать письмо. А потом отец Тадевос сказал мне: «Сын мой, ты должен отправиться в Хндзореск по очень важному делу». И Мхитар еще сказал, что за эту услугу я получу от тебя мешок пшена. Сам знаешь, год выпал тяжелый... Так вот, я здесь. — И он протянул письмо.

Мегри долго, очень долго разглядывал отпечаток сынов-

него пальца. Такой знакомый!.. Но что-то во всем этом ему чудилось тревожное, и лицо невольно помрачнело.

Татевский звонарь не дал надолго задуматься.

— Читать умеешь? — спросил он.

— Читать... С пятого на десятое, — вздыхая, ответил Мегри.

— Ну так я прочту.

— Читай. — Мегри подал звонарю письмо и, пристально глядя в его искрящиеся глаза, силился разгадать, что в них.

Татевец с трудом одолел письмо, хотя ведь уже в пути читал его.

— Еще разок, — просит Мегри. И звонарь читает снова.

— Как зовут-то тебя? — спрашивает Мегри после долгого молчания.

— Хикар.

— Не верится мне, Хикар, что письмо это написано с ведома моего сына, хотя отпечаток пальца и его.

Мегри опять берет в руки письмо и долго, очень придирчиво рассматривает.

— Да, его отпечаток!..

— Если не веришь, считай, что ты этого письма не получал, — шевеля своими толстыми губами в усах и бороде, распевно, как истый служитель храма божьего, проговорил Хикар. — Что я еще могу сказать, брат Мегри, раз ты не веришь? — Оглаживая красивую бородку, он смиренно склонил голову на плечо.

— Ты отец?..

— Шестерых сыновей.

— Так как же ты говоришь — считай, что не получал этого письма?! Мхитар единственный у меня. Столп этого очага. Надломится он, обрушится мой дом! — Глаза Мегри будто задымились. — Вот потому-то, звонарь, лев и присмирел. — И, спустившись с тахты, хозяин дома начал ходить по комнате.

— Пусть бог воздаст добром за доброе. Да предотвратится зло! — И Хикар поднял и взгляд свой и руки в небо, к богу. Так и стоял, пока Мегри не обернулся к нему и не проговорил:

— Аминь!

— Я могу уезжать? — спросил Хикар.

— Надо погрузить на твоего коня пшено. — И, выходя из дому, он крикнул стражнику, чтоб отпустил коня.

После отъезда татевского звонаря Мегри позвал к себе брата Мирзаджана и его сыновей Арбака, Тонакана и Тогана, рассказал о письме и тут же объявил о своем решении.

— Не верю я этому, но в душе у меня теплится надежда. И надо ехать.

Брату и племянникам трудно было сразу все осмыслить. Какой-то миг они молчали. Первым заговорил Арбак:

— Хан хочет получить выкуп. Я сам свезу его. И еще кое-что сверх. Раз уж он отступился в этот год от дани, с какой стати нашему дяде кланяться ему в ноги.

— Хочет, видно, услышать слово покорности из моих уст...

— А кто скажет, что письмо от Мхитара?

— Под ним есть отпечаток его пальца. Я узнал.

— Нельзя туда ехать! — решительно сказал Мирзаджан. В голосе его прозвучала такая тревога, что сыновья встрепенулись, словно бы только теперь осознали всю меру опасности, нависшей над их родом. — Ни в коем случае нельзя! — настоятельно повторил он и пояснил: — Тут не обошлось без сотника Саркиса. Это его происки. Удрал отсюда, а теперь хочет заманить тебя в ханскую ловушку. Не иначе.

— Не иначе, — согласился и Арбак.

— Хану не трудно и насильно заставить Мхитара приложиться под письмом... — сказал Тонакан.

— Ничто не может заставить моего Мхитара, если он в здравом уме, приложить свою руку под ложным письмом, — покачал головой Мегри. — Ничто... А это отпечаток живого человека, не мертвеца! — голос его дрогнул. Он протянул письмо брату.

— Об отпечатке я ничего не могу сказать, а письмо подложное! — стоял на своем Мирзаджан.

— Подложное, — согласились с ним сыновья.

— Я не отрицаю. Тоже не верю, но ехать надо. Кто знает, вдруг...

— Дядя!.. — испуганно взмолились братья.

— Решено! — отрезал Мегри.

— Тогда пусть сначала они едут, — Мирзаджан кивнул в сторону сыновей. — Может, сумеют исподволь разузнать, в чем там дело, а тогда уже и ты следом поедешь.

Мегри усмехнулся наивности брата.

— Ханским псам ведомо и то, сколько птиц летает в небе Татева. Разве могут трое или хотя бы один из Мелик-Фара-

мазянов заявиться в Татев и чтобы Алам-Асадулла не прознал об этом? А за мое неверие он не замедлит обезглавить моего сына. Если... если еще не сделал этого. — Волнение перехватило горло несчастного отца. Он закашлялся. — И мальчикам несдобровать...

— В таком случае откажись от своего решения! — взмолился Мирзаджан.

— Ну что ты говоришь, Мирзаджан? — подсадовал Мегри. — Как не можешь меня понять? А что, если письмо не подложное? Пусть за это будет один довод против ста, отцовское сердце должно хоть во что-то верить. На что мне жить, коли Мхитара не станет?!

— Но ведь на тебя одного надежда всех сельчан.

— Есть ты. И моложе, и отважен не менее. Да и Арбак. Оставлю все на вас двоих. Людям скажите, что хан призвал меня для переговоров. Пусть ни единый человек не покидает своих укреплений. И да сохраняют они воинственный дух до моего возвращения! Ну, а не вернусь — так тому и быть. Только помните: кости мои не упокоятся, если хоть один из кзлбашей, войдя в Хндзореск, выйдет отсюда живым. А вы, Тонакан и Тоган, проводите меня до Алидзора и вернетесь. Ну, идите, соберите что следует в дорогу.

Тяжким было решение. Патриарх рода идет навстречу верной смерти. Это было ясно всем. Никто не мог найти в себе силы подняться с места, все застыли в немом молчании. Мегри понимал душевное состояние сородичей. Он попытался приободрить их:

— Вставайте. Что вы, прилипли к месту? Каких-нибудь три-четыре дня, и я снова буду здесь, — сказал Мегри и поднялся.

6

И вот в обширном дворе ханской резиденции собрались все сотники, старейшины, кзлбаши, дворцовая челядь — все, кто пришел сюда по службе и из любопытства. По обе стороны плахи, со связанными за спиной руками, опустив головы, чтобы не встречаться взглядами, ждут решения своей участи Мегри и его сын Мхитар... Тяжелое безмолвие дышало смертью. И вдруг чей-то разительно громкий смех взорвал тишину. Все вздрогнули и стали зло озираться: смеялся молодой бритоголовый кзлбаш. Он примолк, но рот его еще был открыт, и в густой бороде резко выделялись белые ровные зубы.

Хан почему-то очень запаздывал, и собравшиеся изрядно притомились. Никто не сомневался, что хан появится на кроваво-красном балконе.

Спокойным и равнодушным казался лишь главный палач. Весь в красном, он стоял широко расставив ноги. За поясом у него сверкал отточенный топор. Двое подручных палача, тоже с топорами, стояли по правую сторону от него. Солнце играло желто-белыми бликами на топорницах. Главный палач не отрывал глаз от могучей жилистой шеи Мегри.

Наконец появился хан. Он вышел на балкон смерти. И облачен был в кроваво-красные одежды. Толпа заволновалась. Только обреченные на смерть оставались недвижны, словно закаменели. Надо думать, они заведомо предполагали, на каком из балконов явится хан, а может, просто ничто уже не имело для них значения.

— Предоставляется право последнего слова! — громко сказал главный палач, повторяя то, что едва слышно, одними только губами, проговорил хан.

Мегри поднял голову.

— Если вы почитаете хотя бы свои законы, прошу — сначала меня прикончите, потом сына...

Главный палач вытащил из-за пояса топор. При этом он не сводил глаз с хана — удовлетворит ли последнюю просьбу приговоренного. Хан, выставив ногу, оглаживал бороду и молча размышлял. Это тянулось достаточно долго. Но вот наконец он заговорил:

— Ты, Мегри Мелик-Фарамазян, и твой сын Мхитар — смутьяны. Смутьянам я голов не срубаяю. Пусть знают об этом все. В одной из наших темниц испустил дух сотник Гурген, осмелившийся говорить против меня. Служил шаху, а радел за армян. (Кэлбаши в толпе заволновались, искоса поглядывая друг на друга.) Срубить голову — это слишком легкая расплата. Так можно с ворами разделаться. С вами будет иначе: я выну свет из ваших очей — велю выколоть вам глаза, чтоб жили и мучились. Чтоб все иные смутьяны видели, глядя на вас, каково это — ходить на ощупь и жадно ловить луч солнца, видели бы и убоялись, разумея, что ждет их, коли тоже надумают сеять смуту. Этот приговор справедлив! — Хан отвернул рукава и, опершись о перила, стал ждать.

Главный палач не спеша засунул топор опять за пояс, а подручные кинулись за всем необходимым для назначенной экзекуции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Орел покружил над лесной чащей, сел на скалистый троп, тяжело подобрал крылья цвета ржавчины и взглядом хищника окинул границы своих владений. Видно что-то приметив, взмахнул крыльями и снова взмыл в небо. Опять покружил над чащей — круги теперь были шире и выше — и с высоты по косою ринулся к краю чащи. И именно оттуда взлетела стрела и пронзила грудь орла. Остальное расстояние он уже падал вместе со стрелой, с поникшими крыльями, и где-то рухнул.

В чаще были люди. Они следили за падением сраженно-го орла. Один из них — юноша, на вид в возрасте от пятнадцати до двадцати лет, в княжеском одеянии, остальные — человек пять-шесть — крестьянские пареньки. Все они подались туда, где упал подстреленный орел.

2

По правому берегу Воротана, вдоль самой реки, вилась узкая дорога. Она тянулась к подножию горы Арамазд, в Сисиан, туда, где расположено одно из владений князей Прощянов, — живут они здесь обычно только летом.

Дорога там обрывается. Дальше синие горы с недоступными вершинами, где обитают лишь дикие бараны и козлы.

Сисиан расположен на зеленом склоне горы. Гору венчает серая скала и на ней крепость Васакаберд, величественными своими руинами уже столетия царящая над долиной Воротана.

Усеянный разнотравьем склон внизу переходит в равнину. По этой равнине почти совсем бесшумно протекает голубовато-зеленая речушка. Шумит она только там, наверху, под облаками, а спустившись, замолкает, словно зачарованная сверкающей зеленью, чудом цветов, что так томно колышутся и так одуряюще пахнут... И птицы. Как они поют здесь! А бабочки? Будто само многокрасочное солнце.

При такой красе не до говорливости, потому-то и речка на этом отрезке течет бесшумно и только потом, дальше, всплескивая от восторга, начинает резвиться, скакать с камня на камень.

В этой цветущей долине Сисиана летом тысяча шестьсот пятьдесят восьмого года мелик Шаапуника Израел задал

небывалый пир. Съехались мелики Арцаха, а кто сам не смог — прислал сыновей. Прибыли соседние мелики с семьями. Были тут и люди других сословий, были и крестьяне. Торжество состоялось по случаю большой радости в жизни мелика Израела. Слышавшая уже целых семь лет бесплодной, жена его вдруг один за одним родила сначала дочь, а спустя два года и сына. Потом были еще сыновья. Старшего мелик крестил в сисианской церкви святого Григора, что неподалеку, на левом берегу Воротана. Назвали его именем деда — Яври, пожелав ему такой же славы, ума и отваги...

С того дня прошло ни много ни мало девятнадцать лет. Сын Израела Яври стал красивым юношей. И хотя он еще не имел случая проявить свою храбрость, но старший мелик уже видел в нем недюжинный ум и добродетельность и был очень доволен сыном. А чтобы привить ему вкус к делам хозяйственным и государственным, не предпринимал никаких решений без совета с Яври.

Для молодого мелика не было лучшего уголка во владениях отца, чем это небольшое урочище в Сисиане, хотя здешним местам трудно сравниться с красотами Вайоцдзора, где расположено их, словно специально заброшенное в небо, имение Мартирос и затаившаяся среди вечнозеленых елей и плодовых деревьев крепость Срругинк на Болораберде.

Трудно понять, почему именно Сисиан, этот почти безлесный, лишенный каких бы то ни было особых примечательностей край, так притягивал пытливого юношу. Может, потому, что это был очень глухой уголок, где глазу не виделись никакие человеческие страдания? А может, потому, что сам он именно здесь впервые открыл глаза и увидел мир. Или потому что мать его, тикин¹ Србуи, будучи уроженкой этих мест, очень любила их? Верно и то, и другое, и третье. Но, пожалуй, главной причиной была та, что неподалеку находилось село Ангехакот и жила в нем девушка, которую любил Яври, — прекрасная Рипсима...

Была поздняя осень. Давно опустел, поблек Сисиан. Стада, что паслись здесь на летних пастбищах, угнаны к зимовьям Ехегнадзора. Остался только небольшой табун лошадей и мулов да буйволы, которым нет лучшего места, чем болота в долине Воротана.

Вместе с управителем этого небольшого хозяйства в Сисиане остался и Яври. Не поехал ни в Мартирос, ни в Срругинк. Он всегда доживал тут до первого снега.

¹ Тикин — госпожа.

С утра до полудня, уединившись в своей маленькой комнате, окно которой выходило на Арамазд, Яври набирался премудрости из книг. Летописец Егише переносил его на поля Аварайра; Хоренаци населял мир геронческими образами Саака Багратуни, Айка, царя Вагаршака; Агатангегос через Трдата и Григора Просветителя внушал ему высокий патриотизм; Давид Непобедимый учил философскому познанию мира. Яври вчитывался в спор Григора Нарекаци с богом, постигал чудо армянского языка в этом споре поэта, и вдруг и ему бог начинал казаться спорным. А читая Кучака, он преисполнялся любовью и нежностью.

После полудня Яври поднимался в крепость Васакаберд, переходил от одной груды развалин к другой и наконец, усевшись на какой-нибудь скале, задумывался о том, как родилась нация армян и какой путь прошла она за века. Задумывался он и о человеческих законах и находил в них нечто общее со звериными — сильный пожирает слабого. У людей случается и похуже, чем у зверей. Зверю от природы уготовано стать пищей кому-то. Но чтобы один народ поглотил другой, со всем, что создано им по крупичкам?..

Иной раз, когда думы, относя его далеко в прошлое, безмерно отягощали ум и сердце, Яври, стремясь сбросить с души непосильное бремя, искал развлечений, беззаботных радостей. Он созывал всех, кто был окрест: конюха Торуна, пастухов Ваграма, Овнана, Арцива, Ерванда, своего слугу Торгома и уходил с ними на охоту. Они отправлялись в ущелье Дарпас, где водились дикие кабаны и олени, куропатки и тетерева. Больше резвились, чем охотились. Часто на спор стреляли из лука или из ружья в стоящего на скале горного козла или в стремительно бегущего оленя, чтобы показать ловкость и меткость глаза. И надо сказать, что верх всегда был за Яври. Только однажды он промахнулся, стреляя из лука. И тогда его юные спутники весело посмеялись: обрадовались, что и он способен дать маху. Но Яври не потерял веры в себя. «Олень унес мою стрелу», — бросил он. Юноши с шутками и смехом кинулись искать следы крови. И вдруг Торгом остановился. Лицо сделалось серьезным. Он поднял руку и крикнул:

— Мой господин вправе быть уверенным в себе — вот капли крови на листьях.

Все пошли по кровавому следу. Он привел их к Чертову мосту. В расцветенной осенними красками чаще лежал олень. Вытянув длинную красивую шею, он одним глазом горестно уставился в небо. И к этому-то азу, в котором жизнь уже

едва теплилась, стремительно неся орел. Стрела Яври обрвала его недобрый путь — поникли крылья орла.

— Э, что пользы от всего этого? — сердито проговорил Яври, отбросив лук. Он посмотрел на оленя. Тот уже испустил дух, но обращенный к небу глаз еще полнился живой тоской по жизни. — Мы сейчас только и способны уничтожать своими стрелами безвинных животных. Больше ни на что не годимся...

Яври, может, и еще бы говорил, если б внимание его не отвлек протяжный стон, доносившийся издали. Все тоже насторожились и последовали за своим господином, который быстро зашагал к Чертову мосту. Сама природа его соорудила, этот мост, — Воротан пробил себе путь в скале, а поверху пересекали реку не только люди, но и тяжело груженные возы.

Листва на кустах шиповника, винограда и других растений, буйно разросшихся по обе стороны моста, еще не опала, и потому дорога едва просматривалась. А голос стонущего и звуки ударов посоха о камень приближались очень медленно.

— Похоже, это слепые гусаны!.. — предположил один из пастухов.

— С чего бы гусану стонать? — пожал плечами Яври.

— Может, упал, разбился?..

— Их явно двое, — сказал Торгом. — Слышите, два посоха стучат?

— Да, верно, — согласился Яври.

Они стали ждать на мосту. Стон прекратился, но посохи постукивали о камни, на шаривая дорогу. Вот стук притих — потонул в ближнем овражке, потом снова все громче, все ближе. Наконец на холме показались двое — крупный человек с пышной, коротко остриженной бородой и юноша, щуплый на вид. Они остановились, наверно, оттого, что вдруг совсем близко услышали шум Воротана. Чуть поодаль показался какой-то оборванец. Он сопровождал слепых.

— Мы у моста!.. — проговорил бородач и, переложив посох в левую руку, стал нащупывать мост. — О проклятье! — крикнул он в небо. — Ты, кто так спокойно взираешь на все, не бог! — И он истоиво заколотил посохом о камень.

Яври подошел поближе и спросил:

— Какая беда с вами случилась, отец?

— Кто ты, интересующийся нашим несчастьем?

— Яври, сын мелика Исраела.

— Сын мелика Исраела? — Старик уставился невидя-

щими глазами и молчал. Только расширившиеся ноздри выдавали его гнев и волнение.— Значит, говоришь, сын мелика?— повторил он, не шелохнув гордо поднятой головой.

— Как сказал, так и есть...

— А какое меликам дело до несчастий, случающихся с их людьми? Однако скажу: глаза нам выкололи, мне и сыну моему. И еще будут выкалывать, на том не остановятся. Вот какая у нас беда, сын мелика. А что из этого?..— И, нащупав палкой путь, он шагнул вперед.

Яври взял его за руку, и вместе они перешли мост.

— Смысл твоих слов мне понятен, отец. Но что могут поделать маломощные мелики против могучего и коварного врага? Иноверец он, не терпит нас в соседстве.

— А что наши единоверцы? Есть же такие народы, они-то знают, что мы пропадем? Если знают и палец о палец не ударят, значит, бог наш не с нами. Пусть тогда муллы придут и сделают нам обрезание. Лучше потерять немного, чем сгубить целый народ. Пусть ислам примет нас в свое лоно, раз Христос отвернулся. Армян стало мало, и мы одиноки. Беззащитных и малочисленных неизбежно заглотнут хищники. Бог, он тоже за сильных. Не так ли? Может, не то говорю, скажи свое, Яври. Если не так, отчего тогда мелики покорно сложили руки?

— Ты слишком жесток к богу, отец! Нельзя так. И без того видишь, в каком мы состоянии.

— Пугаешь новой карой? А что еще может сделать нам бог?

— Есть кара и пострашнее.— Яври остановился в тенистом, удобном месте и предложил:— Присядем, отец, отдохнем немного?

И они сели на теплые каменные плиты.

— Так кто же вы есть, отец, ты ведь так и не сказал мне?— спросил Яври, а сам тем временем взглядом дал знать слуге, чтобы подал корзину с провизией.

Через минуту-другую перед ними были разложены отваренное мясо молодого барашка, вино, масло, отцеженное кислое молоко, сыр. Старик опорожнил один за другим два кубка вина, затем положил пустой кубок себе на колени, прижал его ладонью и сказал:

— Я Мегри Мелик-Фарамазян. А это мой сын, Мхитар.

Яври и его спутники вздрогнули от неожиданности. Во всем Сюнике, в Арцахе и Нахичевани — всюду знали этого храбреца, потомка некогда славного меликского рода. Имя его гремело во многих битвах с врагами армян. И сын его,

с виду ничем не приметный, низкорослый и даже тщедушный, тоже славился силой и смелостью.

Яври почтительно опустил на колени, припал к руке Мегри, затем обменялся рукопожатием с Мхитаром. Остальные тоже последовали примеру своего господина.

Мегри взволновался.

— Вино еще есть? Налейте,— попросил он, протягивая кубок.

Выпил, заел сыром и повел рассказ о том, чем началась и чем окончилась печальная история двух последних месяцев его жизни...

— Нет, не могу я простить нашим меликам!— сказал он.— Если настал наш конец, встретим его в битве!..

— Только в битве!— прозвучал наконец и голос Мхитара, дотоле не проронившего ни слова.— Если близок конец существования нашего народа, да будем мы последними!

Все повернулись к несчастному юноше. Весь он так напряженно был устремлен вперед, что казалось, будто глаза его видят, и гнев души прорывается сквозь глазную повязку.

— Отец Мегри,— заговорил Яври,— ты сказал, пусть нам сделают обрезание. Прости, но я ушам своим не верю, что такое мог произнести почитаемый в народе человек, не раз стоявший лицом к лицу с врагом, видевший в глаза самую смерть. Изменив себе, нация исчезает не просто физически. Она теряет все, что создала с истоков своего существования, все, что делало ее нацией, что не давало забыть о ней. Одним словом, она опустошается, да так, что ей уж больше нечем и наполниться...

Мегри и сын его внимательно слушали Яври. Но, не сдержавшись, старик не дал юноше докончить и горячо прервал:

— Сын мой, минуту назад говорил не я! Это ослепленные глаза наши стонали!..— Он поискал плечо Мхитара, оперся на него и продолжал:— Наш народ должен жить, пока есть земля и солнце. И пусть все другие народы тоже живут. Если я посмею подумать о них худое, да ниспошлет мне за это бог еще большее наказание! Пусть живут все, каждый со своими красками, своим запахом. Нет цветка прекраснее, чем роза. Но насколько беднее были бы наши горы, если бы их покрывали только розы. Хороши все цветы... Однако горе, если один из цветков вдруг оборачивается хмелем, оплетает соседнее растение и начинает душить его. Тогда тот цветок, который душат, должен обрести силу душиителя, чтоб разорвать путы, освободиться... Так и мы.

Нельзя нам больше терпеть. И слуга иной раз должен явить свою силу хозяину, чтобы тот ненароком не ослепил его... Э-эх, сын мелика!.. Я очень хорошо знаю мелика Исраела Прошьяна. Разве подобает роду Прошьянов сидеть сложа руки?.. Э-э!.. — Мегри вздохнул и покачал головой.

Яври слушал его внимательно, но, когда старик примолк, он продолжил то, что не договорил раньше, а это как раз и было ответом на речи Мегри.

— В эти тяжкие для народа дни, — сказал он, — никто из меликов рук не сложил. Поверь, я вижу это. Вижу заботы моего отца и знаю, что он не смирился. Но пойми и ты, отец Мегри, мы одиноки. Нам нужен добрый друг. Помощь нужна!

— Что верно, то верно: и одиноки, и помощь нужна. Только напрасно ты надеешься, что найдется кто-то, кто захочет помочь бескорыстно...

Они замолкли. Один лишь Воротан жаловался, бился в скалистой окове, называемой Чертовым мостом...

— Вот так-то, сын мой Яври. Пожелаю тебе долгой жизни, а рукам твоим мощи и ловкости, такой, какая была у первого воина вашего славного рода Васака Хахбакяна. Нам пора. Впереди у нас очень долгий и трудный путь...

— Мы проводим вас до Хндзореска! — вскочил Яври. — Торгом, приведи коней!..

— Не надо, сын мой, провожать нас. Люди хана неотступно следуют за нами. Этим он надеется удержать в страхе наш истерзанный народ. Но мы еще поборемся. Света божьего я по его милости больше не увижу, но душа-то при мне! И я еще покажу Алама-Асаддуле, на что способен отец, на глазах у которого ослепили сына! Обязательно покажу! — Он воздел руку с посохом и погрозил: — Раненый лев еще злее! А тебе, Яври, не надо без нужды подвергать свою жизнь опасности. В добрый путь. Мы пойдем в Алидзор. Там сестра моя живет. У сына состояние тяжелое: раны мучают. У сестры есть разные снадобья, она облегчит его страдания, вот тогда и до Хндзореска доберемся.

— Тут на подъеме дорога очень петляет, мы вас хоть до Алидзора проводим!.. — не отступался Яври.

Оставив коней у Чертова моста, они пошли вперед, ведя слепых за руки.

— Если б вы знали, сколько армян умирает каждый день в ханских подземельях!.. На моих глазах до смерти забили алидзорского сотника Гургена лишь за то, что по... — Мхитар

умолк на полуслове. Лицо его исказилось от боли, он прижал ладони к повязке — болели глазницы. Как назло, еще споткнулся, до крови расшиб колено о большой камень и невольно застонал.

Отец ударил себя кулаком в грудь и в сердцах тем же кулаком погрозил в небо, богу.

3

Не заходя в Алидзор, Яври попрощался с Мегри и его сыном, постоял, пока они вошли в село, и, поникнув головой, с болью в сердце повернул назад. До самого моста не обмолвился ни словом со своими спутниками. Юноши тоже были подавлены. Всегда готовые пошутить, сейчас они и не пытались поднять настроение Яври, даже не замечали, как он не раз, цепляясь ногами за спутанные заросли гороха, чуть не падал.

У моста все сели на коней и по ущелью тронули к Овенскому лесу. Углубленный в свои думы, Яври не заметил, как сквозь гигантские деревья показались краснокаменные стены Татевского университета и купол величественного храма, царящий над вершинами. В глубокой тишине четко прослушивался перестук лошадиных копыт, взмах крыльев голубей, испуганно уносящихся из расщелин в скалах и через минуту вновь возвращающихся к своим подругам-голубкам. Листья на кустах и деревьях были влажными от дождя...

Выбившиеся из Воротана тоненькие ручейки курлычут в своих каменных руслах, как куропатки. Курлычут и куропатки — они как ручьи в руслах. Там и тут по нежной траве в овраг скатываются орехи и груши, срывающиеся с деревьев. Шелестит ива, вросшая в грудь скалы. Она и в осеннем увядании сохраняет свою свежесть. Местами полыхают красными плодами кизил и шиповник. Весело чирикают птицы. Кому-кому, а им тут вольготно — много ягод и простора. Гремит Воротан, но не мешает человеческому уху улавливать звуки природы. В ущелье слышен даже малейший шорох. Только Яври, сын Исраела, ничего не видит, не слышит. На минуту-другую придет в себя, почувет, как по ущелью пронесется порыв ветра или с очень большой высоты орех неожиданно угодит в морду коню и конь вдруг вскинется и зафырчит. И Яври тогда потянет узду и сам подберется в седле. А то остановится, заслышав птичий гомон: в овраге гомон этот, стократ повторенный эхом, подобен грому войны...

— Что там случилось?..

— Может, скотина какая с татевской скалы сорвалась, вот и гомонят,— отвечает Торгом, довольный, что господин его наконец заговорил.— А может, просто друг у дружки добычу отнимают. Иногда бывает, что дикие козлы расположатся в расщелинах скал передохнуть, а орлы да коршуны тут как тут — накинутся на них и повывлевают глаза у бедняг...

Яври весь сжимается. Меньше всего он хотел бы сейчас слышать и говорить о слепоте, о слепых. Но Торгом всего лишь ответил ему на вопрос, и Яври не вправе на него сердиться. Он снова погнал коня к оврагу. Остальные покорно последовали за господином.

Продвигаться вперед было все труднее и труднее. Кусты ежевики, дикого винограда, перекинувшись с одной стороны оврага на другую, сплелись между собой и преграждали путь. Сверху нависали плющ, инжир. Только узкий проход, напоминавший пещеру,— видно, дикие кабаны или медведи его пробили,— вел дальше. Яври спешил, передал поводок Торгому и ступил в проход.

— Пстой, Яври,— сказал старший из пастухов, Ваграм, и, взяв в руки крепкую палицу, пошел вперед.

Овнан, Ардив и Ерванд последовали за ним. Торгом привязал коней к дереву и тоже двинулся за ними.

Чем дальше они углублялись, тем труднее было идти. Колючие кусты шиповника и ежевики рвали одежду, в кровь царапали руки и лицо. Особенно доставалось впереди идущему Ваграму, и он возропал:

— Чего мы мучаемся, Яври? К чертям все, какое нам дело, что за шутку играют коршуны над козлами! Должны и они жить, раз уж созданы природой?..

— Не всякому созданию следует жить!— отрезал Яври.— Жалко животных. Если предположение Торгома верное, мы уничтожим несколько мерзких хищников, а остальные сами уберутся, почуяв опасность...

— Э-э, господин— прервал его Ерванд,— то, что предопределено богом, ни стрелой, ни пулей не изменишь. Одного он создал хищником и дал ему для этого крылья, когти и крепкий клюв, другому досталось от всезышнего быть добычей хищника. Так уж повелось...

Яври не успел ответить Ерванду. Торгом вдруг попятился назад и, наступая на ноги идущему за ним Яври, ринулся было бежать. Яври подумал, что Торгом увидал зверя,— приготовился выстрелить. Остальные тоже кто лук натянул,

кто взвел курок. И каждый норовил выйти вперед, уберечь от беды господина...

— Там трупы людей!.. — с трудом выговорил Торгом. — Не ходи туда, Яври. Не дай бог, с тобой что случится — как мы ответим мелику, отцу твоему?

Яври отстранил Торгома.

— Нельзя так бояться, — и он двинулся вперед.

На окруженной высокими скалами поляне тут и там грудились человечески кости, черепа с пустыми темными глазницами и... трупы. Много трупов. Над ними-то и кружили грифы. А вокруг — на деревьях, кустах и камнях — лежали и висели клочья одежды, всякого рода обувь, меховые папахи, медные и железные поясные пряжки, женские головные повязки и... косы. Разного цвета: каштановые, цвета спелой ржи, черные как смоль. Сбившиеся, спутанные и аккуратно заплетенные.

Можно было подумать, что в этом глубоком ущелье произошло чудовищное побоище, в коем приняли участие и женщины, даже девочки-подростки.

Яври ужаснулся от этого зрелища и на мгновение оцепенел. Но тут вдруг что-то стукнуло, и затем с противоположной стороны, от подножия скалы вниз по склону, покатилося человеческое тело. Стервятники с шумом ринулись к свежей добыче. Ужас сковал всех присутствующих, языки словно отнялись — и захоти, не вымолвят ни слова.

— Н-н-не вернуться ли нам назад? — заикаясь проговорил наконец Овнан.

Яври не ответил. Он смотрел туда, откуда скатилось тело. Там виднелись пробоины в скале. Все устремили взгляды туда же. У щелей вдруг что-то зашевелилось — посыпался гравий.

Арцив хриплым голосом сказал:

— Сдается мне, что мы угодили в ад и...

Он еще не закончил, как из щели, что левее и повыше, вывалилось еще одно тело. На ветру трепетало женское платье, длинные волосы разметались веером. Дважды ударившись о выступы скалы, тело упало на землю. Новая добыча грифам, которые успели уже почти до костей обглодать сброшенный до того труп, разодрав в клочья и одежду на нем.

Едва стервятники стали опускаться на жертву, Яври выстрелил. Ущелье затянуло дымом и тенью бьющихся в воздухе крыльев. Яври подошел поближе. Перед ним лежала девушка-горянка, лет шестнадцати. Смерть еще не стерла

очарования с трогательно-нежного лица, отмеченного печатью глубокого страдания. Высокий лоб, соболиные брови, прямой нос, красиво очерченный невинный рот... На щеках и на шее кровоподтеки. Одежда в крови и разодрана. Проглядывающее в рванине тело истерзано. Бедняжка! До последнего вздоха, как умела, защищалась от насильников...

— Мы и впрямь в аду!— проговорил Яври.— И ад этот сотворен ханом Аламом-Асадуллою. Помните, сын Мегри Мхитар хотел что-то рассказать нам о ханских темницах, да не смог — глаза у него заболели. Всех этих людей явно истязали в ханских застенках и из щелей-пробоин, что перед вами, бросали сюда. Давайте заберем тело девушки и похороним по-людски, чтоб хоть оно не стало добычей стервятников!— Яври посмотрел на своих спутников и, сняв с себя плащ, накрыл труп. Затем они подняли его на руки и понесли той же трудной дорогой, какой пробивались сюда. Пожалуй, более трудной, потому что теперь глаза их были затуманены горем, а сердца наполнились болью и гневом.

Так это погребальное шествие достигло Татевской обители, и там, на высоком лесистом холме, на берегу Воротана, они копьями вырыли могилу, опустили в нее завернутую в плащ неизвестную жертву. Прежде чем стали засыпать, Яври выбрал камни из земли. На могилу положили большой замшелый камень.

И в тот самый миг Яври мысленно поклялся: «Жизни не пожалею, чтоб избавить свой народ от ада. И если мне это не удастся, умру за него, но так, чтобы и после гибели пусть хоть малым лучом, да светить ему на мглистом пути».

Они ушли, предоставив Воротану скорбеть над могилой.

4

Едва только Мегри переступил с сыном порог сестриного дома, Вахах разразилась таким душераздирающим криком, что Мегри тоже не сдержался.

— Что ты делаешь, Вахах? Мыслимо ли так?..— Он тщился собрать все свое мужество, чтоб не плакать. Незажившие раны в глазницах нестерпимо болели от слез.

— О боже, за что ты наслал такую беду на дом Мелик-Фарамазянов? Да ослепни сам, как слеп к нашему горю!— стенала Вахах, раздирая в кровь лицо и грудь.

— Прошу тебя, замолкни!— резко оборвал ее изменившимся голосом Мегри.— Слепой, я теперь даже лучше чую врага! Ничего...

Вахах обхватила голову Мхитара и все не могла унять-ся, пока наконец ее сын Корюн, опустившись перед ней на колени, не вскричал:

— Клянусь отомстить, мать моя! Клянусь молоком твоим, которым ты вскормила меня!..

— Клянемся и мы!— это подхватили два других ее сына — Вранд и Врам. — Клянемся на глаза тебе не являться, пока на земле нашей еще будет оставаться хоть один чужеземный враг.

Мать на миг содрогнулась от такой страшной клятвы сыновей, даже примолкла, с нежностью глядя на своих отпрысков. Но через мгновение произнесла:

— Исполняйте свою клятву. Идите!— и она показала на дверь.

— погоди, женщина!..— пытался привести ее в чувство муж.

— Женщина здесь — ты!— бросила Вахах и снова указала на дверь.

— Вахах!..— попытался унять ее и Мегри.

— Я в своем доме хозяйка, брат!..

Сыновья кинулись за оружием...

Утром весь Алиндзор собрался во дворе у Вахах и на соседних крышах.

Мегри с сыном вышли из дома, чтобы отправиться в Хндзореск. Услыхав гул голосов вокруг, Мегри остановился и, положив руку на плечо Мхитара, высоко вскинул голову:

— Видите нас, алиндзорцы? С нами совершили такое на страх всем вам. На страх и смирение. Но вы не покоряйтесь! Слышите? Не дайте покорить вас. Уничтожайте врага, оскверняющего нашу святую землю! Бейте камнями, рубите косами, жгите железом! Чем можете. Только не покоряйтесь. Покоренных ослепляют, у них вырывают языки. Не покоряйтесь, чтоб не лишиться зрения и не онеметь. Особенно не прощайте армянам, предающим народ свой и веру. Будьте с ними беспощадны. Нас обманули и ослепили. Остерегайтесь, чтоб и с вами не случилось такого!

— Бейте врага!— превозмогая боль, воскликнул и Мхитар.— Если бы вы только видели, как страшно погиб ваш сотник Гурген!

— Убили сотника Гургена?!

— Так вот почему его нет!..

— Нечестивцы, убили!

— Нет больше Саакянц Гургена!..

Толпа всколыхнулась, как взбушевавшееся море.

— А знаете, за что его убили? — снова заговорил Мхитар. И народ тотчас смолк, чтобы узнать, за что погиб их сотник. — За то, что просил снять с алидзорцев дань за этот засушливый, тяжелый год...

В толпе зашумели сильнее прежнего.

5

Отец и сын вошли в Хндзореск в момент, когда около десятка кзлбашей во главе с Кривым, братом сотника Саркиса, занимались грабежом в селе, опустошая дом за домом. Кзлбаши пробрались в Хндзореск справа, убив Наапета Чатунца и еще одного стражника.

Мегри узнал об этом еще в пути от повстречавшейся старухи.

Забравшись на одну из скал, Мегри громовым голосом закричал:

— Э-э-й, там, в скалах! Вы что, спите? Арбак, Тоган, Тонакан, Похан, Хатап! Люди! Спускайтесь! Мне есть что сказать вам. Весть от хана!..

И в тот же миг из всех укрытий свесились веревки. Спустившись по ним, мужчины собрались вокруг Мегри и Мхитара. Люди не верили глазам. Гнев и бессильная злоба обуяли всех.

У кзлбашей и Кривого было свое на уме. Они уже знали об участи отца и сына и надеялись, что горе породило в Мегри смирение, и вот он созывает людей, чтоб предостеречь их, призвать к покорности. Выжидая, что будет, кзлбаши с братом сотника стали в сторонке.

— Все собрались? — спросил Мегри.

— Все!..

— Видите нас?

Люди тяжело вздыхали.

— Видите, что творят нехристи в нашем доме? Почему вы смиренно сносите надругательства? Хватайте кзлбашей!

«Хватайте!..» — вторили скалы призыву изувеченного и поруганного храбреца, и людям показалось, что это тоже Мегри повелевает из десятка самых разных мест.

— Казните тех, кто убивает безвинных армян, казните!.. — это крикнул Мхитар, и голос его отдался в ущельях.

Разгневанная толпа зажала кзлбашей в кольцо. Да так стремительно, что те не успели вспомнить про свое оружие. Только Кривой пустил пулю в грудь Мхитара, и тот, при-

валясь сначала к отцу, медленно сполз на колени. Мегри закричал. Стоном огласилось все окрест. Стенали Мирзаджан и его сыновья, рвала на себе волосы жена Мхитара, скорбели и плакали все хидорескцы.

— Возьмите себя в руки, — с трудом выговорил Мегри. — Слезы нам не помогут. Где наш Арбак?

— Здесь я, отец! — Арбак вышел вперед.

Мегри положил дрожащую руку ему на голову.

— Я хочу, чтобы, прежде чем народ расправится с кзлбашами, наказали тебя. Те, кто втоптал в землю честь рода Мелик-Фарамазянов. На тебе одном вина за то, что целых одиннадцать головорезов спокойно проникли в Хидзореск и орудуют здесь! Ты помнишь, что я сказал тебе, покидая село?

Вместо Арбака заговорил Хатап Арчанц:

— Арбак неповинен, отец! И никто из нас не виноват. Тебя ведь призвал хан, и Мхитар был там. Как же мы могли решиться казнить его людей? О вас мы думали, потому и не тронули их. А то что бы нам стоило...

— О нас, говоришь, думали?.. Ну ладно... Где Кривой? Успел сбежать или?..

— Вот он, поймали!..

— Обезглавить его!

Кривой заревел, как бык.

— Заткните ему глотку!

Мегри стоял чуть откинувши голову. Кривой больше не кричал.

— А ну, все замолчите! — приказал Мегри и напрягся.

Он вслушивался и вот услышал то, что хотел услышать, уловил в тишине булькающий звук, как если бы выдержанное вино из бурдюка полилось, урча лопающимися пузырями газа. Все тоже обратилось в слух и смотрели на Мегри: что будет?.. Несчастный отец поискал рукой, нашарил голову Кривого и, словно бы сам у себя, спросил:

— И это тоже кровь армянина?..

Он опустил окровавленные пальцы в ручей, обтер их о камни, снова опустил в воду, сплюнул сквозь зубы и, поднявшись, вперил черную повязку в небо. И было во всем его облике, и даже в этой зловещей повязке что-то такое, что говорило о несломленной силе духа.

— Кончайте и с кзлбашами. Поступайте с ними, как и они с нами! А головы потом насадите на колья вдоль дороги, по которой собирался идти на нас Татевский полк! И не ослабляйте бдительности. Все должно быть готово к тому,

чтобы спустившийся в Хндзоресское ущелье враг не вышел отсюда. Сына моего похороните в нашем фамильном склепе. И меня потом положите рядом...

* * *

Сотник Саркис явился к Аламу-Асадулле с видом человека, одержавшего победу. С улыбкой в глазах он склонился в почтительном приветствии. Хан принял его холодно, и уверенность как ветром сдуло с лица Саркиса.

— Мои счета с хндзорескцами на этом не закончены. И с тобой, Саркис, тоже, — проговорил хан, попыхивая кальяном. — Ты еще не вызволил своей головы. Успокойся за нее лишь после того, как порушишь все укрепления, в которых укрываются твои односельчане. Возможность скрываться в скалах очень удлиняет их языки. Итак, чтоб отныне никакого ослушания, и еще до восхода солнца первый караван с данью должен быть здесь!..

— Благословенный хан, он прибедет сюда не завтра к восходу, а еще сегодня до захода солнца! — Саркис воодушевился, и улыбка снова засветилась в его глазах. — По твоему мудрому повелению, хан, сейчас в Хндзореске находятся десять кэлбашей во главе с моим братом. Я вбил в башку Кривому, что он должен сделать!..

Хан был непреклонен.

— Не знаю, посмотрим, — сказал он. — Если первый караван будет здесь сегодня до захода солнца, тогда второй должен прибыть завтра до восхода. А с третьим караваном доставь сюда внучку Мегри Гюлвард. Это уже повеление шаха. Гюлвард должна быть в его гареме.

— Светлейший хан, но ей ведь еще и десяти лет нету! Может, слаще плод созревший? — льстиво предложил Саркис, заранее предвидя, какие трудности встретит он в попытке заполучить эту девочку. — И осмелюсь сказать, мой повелитель, лучше было не отпускать этих смутьянов. Даже слепые, они очень опасны.

Хан на миг опустил глаза и тотчас поднял их. Сотник Саркис невольно отвел взгляд и, как удара топора, ждал, что скажет хан.

— Не твоей безмозглой голове судить требования и поступки хана. Понял, осел?

Саркис послушно кивнул.

— И не твоего ума дело судить о том, какие девушки предпочтительнее для сынов ислама — перезревшие или та-

кие, которые дозреют у них в руках. — Хан покрутил усы. — Тебе следует исполнять приказ, а не рассуждать. Итак, повторяю: чтобы с третьим караваном девочка была здесь!

Сотник приложил ладонь к глазам, согнулся в поклоне в знак повиновения и... не успел выпрямиться.

— С тобой все, — отрезал хан и снова окутал себя дымом кальяна.

Саркис так, согнутый, и попятился к двери.

...Послеполуденное осеннее солнце припекало необычно сильно. Ущелье Воротана наполнилось запахами земли, прелых листьев и фруктовой падалицы. Сотник Саркис с двумя сопровождающими спускался из Татева в ущелье. За эти дни он очень устал от душевного напряжения и сейчас чувствовал себя безгранично свободным. Вытащив ноги из стремени и отпустив уздечку, он, покачиваясь в седле, с наслаждением вдыхал запахи осени, думая о том, что предстоит сделать в Хндзореске. И все казалось ему исполнимым. Стоит только стереть с лица земли род Мелик-Фарамазянов, и тогда все пойдет как по маслу. Хан не ведал, что творит, не ведал, что ослепленные Мегри и Мхитар пострашнее зрячих. Сейчас они — такая сила, что могут всех поднять на ноги.

Задумавшись о несчастных слепцах, сотник уже не считал, что ему все легко. Пред ним вдруг, словно живые, встали Тонакан, Арбак, Тоган, сам Мирзаджап, Наапет Чатунц, Хатап Арчанц, Мушег Охтанц, Похан Цлвцаланц. Все те, с кем бороться было ой как трудно. И сотник опять почувствовал себя усталым, взопревшие ноги вдруг начало жечь огнем в башмаках, которых он не снимал вот же несколько дней...

Вдали показался Чертов мост. Там в скалах бьет теплый источник. Люди издавна прознали о целебных свойствах этих вод, и каждое лето сотни страждущих лечат в каменных ложах больные суставы и разные другие недуги. Сейчас у источника ни души, вода чистая, прозрачная. Сотник остановил коня, спешился и стал разоблачаться. Спутники его тем временем чуть поодаль, под деревом, расстелили скатерть и стали раскладывать снесь — на обед своему господину, после омовения.

Сотник разлегся в воде и блаженно разомлел в ее освежающем тепле и покое. Тело покрылось колючими пузырьками, и усталость как рукой сняло, в ногах тоже. Саркис

все думал, как ему убрать со своего пути непокорных хндзорескцев. Не может же он вечно оставаться сотником и с дрожью в ногах представлять перед ханом. Припела пора и ему помечтать о ханстве. Хан Саркис! Нет, зачем же? Просто хан Садх... Шах не замедлит наделить ханством того армянина, который сломит хребты разобщенным меликам Сюника и объединит все владения в одних руках.

От блаженных вождедений Саркис встрепетнулся, и лопнули-погасли пузырьки на теле. Сотник оценивающе оглядел себя — в воде он больше и шире, во всяком случае достаточно внушителен и вполне может быть ханом...

Однако, как ни приятно нежиться в теплой, пскальвающей водичке, пора поспешить, чтоб не упустить возможность претворить мечты в явь. Сотник потянулся к своему, пока еще весьма скромному, сотниковскому облачению...

* * *

Корюн, сын Вахах, с двумя братьями уже три дня, затаившись в кустах инжира у Чертова моста, выжидал возвращения сельского сотника. Здесь проходила единственная дорога из Татева в Хндзореск. Второго пути не было — с одной стороны высились неодолимые скалы, по другую пролегалo глубокое ущелье, в котором нес свои воды буйный Воротан...

Само провидение избавило их от необходимости применить огнестрельное оружие. Корюн предоставил Вранду и Врану заняться телохранителями, а сам направился к сотнику Саркису. И в минуту, когда тот беспечно тянулся за одеждой, над ним вдруг прозвучало:

— Сотник Саркис, не утруждай себя, незачем тебе одеваться...

Сотник не сразу сообразил, что происходит. Но, взглядевшись в стоявшего над собой, узнал алидзорца Корюна, племянника Мегри. Еще не совсем потеряв самообладание, он попробовал позвать телохранителей.

— Их нет, — спокойно сказал Корюн. — Ну, иди под инжир. Не то и до греха недалеко, пойдет кто мимо, обомлест — хндзоресский сотник и нагишом!..

Саркис, хоть и был застигнут врасплох, решил легко не сдаваться. Он вмиг выпрыгнул из каменного ложа, накинулся на Корюна и всей своей медвежьей силой придавил к земле. Вот только кинжал его был далеко. Он попытался выхватить саблю из-за пояса у Корюна, но неудачно. Труд-

но было одной рукой удерживать противника на земле. Попробовал душить его и вдруг скатился с Корюна, да так легко, словно был он не тяжелым, сильным сотником Саркисом, а какой-то гнилой корягой...

Корюн с трудом повернулся, его движениям мешали громоздкий мушкет и длинная сабля. К тому же он не хотел убивать предателя: надо во что бы то ни стало живым доставить его к дяде. Ложная гордость не позволяла Корюну позвать на помощь братьев, ведь это он наскочил на голого сотника! И Корюн чуть было не пострадал из-за своей гордыни — Саркис едва не удушил его, когда повалил второй раз и водрузился верхом.

Высвободив шею из железных тисков Саркисовых рук, Корюн выгнулся и резким движением перебросил сотника через себя. Тот покатился по влажной скользкой скале и едва не угодил в Воротан. Корюн успел схватить его и так вывернул руку, что Саркис больше не делал попытки сопротивляться. Корюн подвел его к одежде и сказал:

— Надень штаны, стыдно.

Сотник Саркис одной рукой кое-как натянул штаны.

— Сын Вахах, — взмолился он, — дай мне покончить с собой.

— Э, нет, это невозможно.

— Но ты же армянин!..

Корюн усмехнулся:

— Вот оно что? Хочешь, чтобы я был армянином в обращении с таким, как ты?

— В таком случае потяни мне руку, вправь на место, сучий выродок.

— Иди-ка вон под куст инжира, там и вправлю.

Саркис еще раз оглядел дорогу — ни души. Посмотрел туда, куда удалились его телохранители. Оттуда вышли двое, с виду будто ошалелые.

— Прикончили? — спросил Корюн.

— Воротан уже унес их. Жаль землю нашу.

Они вошли под инжир. Корюн потянул руку Саркиса, вправил ее. Братья при ели лошадей, привязали сотника к его же коню и двинулись к Алидзору.

Было уже темно. В пути пленник потребовал, чтобы ослабили ему путы на ногах, связанных снизу, под лошадиным брюхом, — мол, очень больно.

— Эй, Корюн, вскормленный сучьим молоком! — сказал он. — Будь ты сотником и стояли бы над тобой хан и шах,

как бы ты поступил со смутьянами? И за что ты меня мучаешь?..

— Как бы я поступил со смутьянами? Головы бы им потрубал, — спокойно проговорил Корюн, расслабляя путы на ногах у сотника.

— А скажи-ка ты мне, что лучше: голову долой или ослепить человека, но оставить его в живых?

— По мне, плохо и то и другое.

— А ты знаешь, осел необъезженный, что твоему дядюшке да сынку его собирались срубить головы? Да, да, хан вышел на балкон смерти. И не кто иной, как я, лобызал нечестивцу руки-ноги, молил его не обезглавливать их, не поднимать на ноги весь Хндзореск. Поначалу хан отказал мне. Но над словами моими, видно, все же задумался и, уже выйдя на балкон смерти, изменил приговор. Все это знают. И только такие, как ты, не умеют отличить добро от зла.

— А ты не писал бы обманного письма, не заманивал бы людей, — может, тогда не было бы и речи о том, головы ли срубить или глаза выколоть, и тебе не пришлось бы хану пятки лизать. Что на это скажешь?

— Не мели языком. Какое еще письмо?

— А ты не знаешь, да? Может, вовсе и не ты стоял перед ханским дворцом, сложив руки на брюхе, и безучастно взирал, как ослепляют Мегри Мелик-Фарамазяна и его сына? Этим ты многим раскрыл глаза на себя, сотник Саркис. Я до всего дознался. Дознался я, как ты с помощью вероотступника Хикара доставил это письмо моему дяде. Ты вот лучше скажи, сотник Саркис, что это за священник, который взялся писать подложное письмо? Признайся, и тогда я обещаю и тебе только глаза выколоть. Ведь ты считаешь, что пусть и слепым, но жить все же лучше, чем помереть? От сына Вахах ничего не укроется, я и сам могу все узнать и вытащить этого попа из монастыря. Но будет лучше, если ты сейчас все скажешь, чтобы мне попусту не мучиться.

Сотник Саркис делает вид, будто не слышит. Молчит.

— Пораскинь мозгами, что тебе лучше — головы лишиться или глаз. А слово мое твердое, могу даже поклясться.

Сотник Саркис упорно молчит, но Корюн пока сдерживает себя и, сохраняя видимое спокойствие, продолжает:

— Видал, в каких муках умер сотник Гурген? А он ведь был совсем не богом для народа. Сотником был. Сто шкур сдирал с крестьян, забирал у них чего есть и чего нету, чтобы насытить шаха и хана, но вот и он увидал, что нож под-

ступил к горлу — засуха, земля не уродила, народ помирает с голоду, а проклятые требуют дань в прежних размерах. Не выдержал сотник Гурген, только пальцем шелохнул при хане и в село больше не вернулся. Как он погиб, тебе ведомо... А ты не таков. У тебя в жилах кровь не армянская. И не персидская, не турецкая. Ты двулик. И так бы и оставался двуликим, пока не стал бы персом или турком. Но даже это тебе не удалось.

— Да, звезда хидзоресского сотника закатилась на полпути, — с издевкой бросил Врам. — Любопытно, куда попадают двуликие после смерти, в какой ад, в мусульманский или христианский?..

— У нашего Христа-спасителя законы мягкие: против зла — добро, против меча — крест, — сказал Корюн. — Надо думать, он и на том свете их применяет. Стало быть, двуликий одним лицом повернут к христианам, а другим — к мусульманам. Придут за ним — один с крестом, другой с мечом, и, понятное дело, победит меченосец. И выпадет двуликому двойное наказание. Представляете, всего один христианин умер среди мусульман, и тот в аду?..

Братья захохотали, да так, что птицы на деревьях перелетали с места на место. А сотник Саркис все так же, словно бы не слышал ничего, спросил:

— Сыновья Вахах, на чем же и где все это должно кончиться?..

— Эту ночь и весь завтрашний день мы пробудем у нас дома. А следующей ночью препроводим тебя в распоряжение нашего дяди. И уж он как знает... Клянусь молоком матери, которым она меня вскормила, что я передам тебя ему с рук на руки.

— И как только твоя мать родила — она же не женщина, а дьявол?!

— Ты полегче, сотник Саркис, помни, что пленник, не источай зловоние, — спокойно проговорил Корюн...

Саркис не ответил...

В ущелье Воротана уже давно спустилась тьма. Корюн сверху, с дороги, посмотрел туда. В теснине скал кипел-бушевал Воротан. В шуме этом изредка улавливался лай собак. Выходит, пробираясь лесными тропками, направления он не потерял и с дороги, ведущей в село, не сбился.

Братья помогли Корюну втиснуть сотнику в рот кляп, чтобы не издал ни звука, и они вошли в село.

Заслышав конский топот, уже три дня не знавшая покоя Вахах выскочила во двор.

— Корюн? — крикнула она в темноту.

— Да, мать, это мы! — отозвались сыновья.

И по тому, как они это сказали, Вахах поняла все.

— Отведите его в хлев. И лучину запалите. Я сейчас.

Она вошла в дом и вышла с мечом в руках. С тем самым, что некогда ей подарил ее отец Оган, отметивший в девушке почти мужскую храбрость и смелость.

Вахах переступила порог хлева и стояла перед сотником Саркисом. При этом она втянула голову в плечи, как орел это делает, когда опускается на землю.

— Я внучка Мелик-Фарамаза, сотник Саркис. Тебе должно быть известно, что люди мы добрые, но кровь смываем кровью. Как же ты не подумал о том, что Вахах не даст тебе жить под солнцем, если ты предашь ее брата в лапы нечестивцу и скажешь: «На, выколи ему очи»? И это после того, как у него на глазах его сына уже лишили на веки вечные возможности видеть белый свет?!

— Хватит брехать, кончай! — рявкнул Саркис.

— Кончаю!.. — И она выхватила меч из ножен.

6

Все окрест завлокло туманом, влажным, непроглядным. С мокрой листвы, капля по капле, стекала вода. Тихо, безрадостно звенели ручейки, петляя между следами от копыт.

Рожденный в пустыне, Алам-Асадулла с трудом переносил сырую осень в горах. Вот почему хоть был еще день, а у него в зале все окна зашторены и множество свечей в канделябрах льют мягкий свет. Розы Шираза на коврах под этим светом кажутся живыми, так они свежи. Но еще более осязаемы нагие девы на хорасанских коврах. Как живые возлежат у берега озера в изумрудной траве. Вон одной из них ее прелесть сокрыл лепесток мака с черным пятнышком — он будто только что упал.

Бессчетны радости и наслаждения, испытанные ханом на его веку. Но этот маковый лепесток не дает иссякнуть его вожделению. Вот и теперь он, не отрывая взгляда от него, сладострастно потягивается, зеваает во весь свой маленький круглый рот и, хлопнув в ладоши, кличет евнуха...

Время байрама, на дворе холода. Откинувшись на подушки под голубым балдахином, хан гладит бороду своими холеными пальцами. На черной бороде особенно ярко горят и переливаются перстни. Сам он облачен в лазурную ман-

тию, на голове высокая шапка, усыпанная рубинами и алмазами.

Хан не отрывает взгляда от ковра, от нагих дев, и особенно от той, что с маковым лепестком. Все пьянит его. И музыка, от которой, кажется, вот-вот оживут чудо-девы. Оживут, подойдут к хану, и он схватит в объятия ту, с которой ветер сорвет маковый лепесток. Невесть почему, но именно ее жаждет хан, именно в эти губы хочет он впитаться...

Слева открывается дверь, входит евнух. С ужимками извращенного сластолюбца он обращается к хану:

— Не желает ли мой сиятельный господин насладиться танцами своих наложниц и тем забыться от мирских забот?

Хан переводит взгляд с ковра на евнуха, и в тот же миг в зал вливается группа полуобнаженных женщин. Тут и персиянки — тоненькие, как тростинки, трепетные, смуглые, с огромными полуприкрытыми глазами, в которых горит и зазывный огонь и мольба; тут и армянки, гречанки, азербайджанки и грузинки — плененные и полученные в дар от других ханов. И все они — почти подростки, но уже увядшие. Похожие на полураспустившиеся бутоны прекрасных цветов, побитые градом, которые потом хоть и раскроются, но благоухать уже не будут. На лицах у наложниц робость, задумчивость. И все они словно бы обижены на природу, надевшую их прелестью.

Это гарем хана Алама-Асадуллы, который он всюду возит с собой. Откуда-то из-за штор зазвучала музыка. Женщины поплыли в танце. Кто-то сразу увлекся им, а кто-то танцевал поневоле. Хан обвел всех взглядом и помрачнел. По движению его руки все прекратилось. Женщины поспешили исчезнуть.

А музыка еще звучала. Она замолкла лишь после того, как хан хлопнул в ладоши. Снова вошел евнух, бросился на колени перед господином и тяжело задышал.

— Куда девалась красавица из Теха? — грозно спросил хан.

— Да буду я жертвой за тебя — удавилась: руки на себя наложила. Нукеры сбросили ее в ущелье...

— А ты где был, паршивый пес, что дал ей удавиться? — хан ударил евнуха ногой.

Тот, подавив боль, проговорил:

— Солнцеликий хан, я увел ее от тебя в надежде уговорить покориться. Всяко уламывал. И она обещала смириться, попросила только дать ей отдохнуть, подготовиться к

тому, чтобы отдаться твоим ласкам. И вот... Едва я ее отпустил, она возьми и удавись...

— Внучку Мегри из Хндзорстана доставили?

— Нет еще. Но сегодня она непременно будет здесь! — надеюсь снова расположить к себе господина, заверил евнух.

— Иди.

...Едва завершив утренний намаз, хан вошел в канцелярию. Там уже находился тысячник Омар. Забыв даже поклониться, тот спешно доложил:

— Хндзорстанские нечестивцы напали на наших кзлбашей и посрубали всем головы. Заодно и брату сотника Саркиса — Кривому — снесли башку. Подстрекателями были Мегри и Мхитар. И это еще не все. Они насадили головы убитых на колы и выставили их вдоль дороги из Татева в Хндзорск!..

Тысячник еще не кончил, когда хан взорвался криком:

— Сровнять Хндзорстан с землей! Уничтожить всех до единого — и взрослых и детей! Забрать все имущество! Слышишь?! И сегодня же!

— Мешкать и впрямь нельзя, — заговорил и главный визирь — старый, худущий и очень длинный человек с крашенными хной волосами и бородой. — Тут надо, как с огнем, — гасить, пока не перекинулся дальше. Так гасить, чтобы в пепле ни искорки не осталось...

Визирь помолчал, может, подумал, что бы еще ему сказать, но так больше и не заговорил.

Тысячник Омар вдруг вытянулся в струнку:

— Забыл сообщить сиятельному хану, что выехавший отсюда три дня назад сотник Саркис, в сопровождении двух кзлбашей, до места не добрался и вестей о том, где он, у нас нет.

— Это опять дело рук хндзорстанцев или алидзорцев. Посадить на кол по десять человек из каждого села. Первых попавшихся, без отбора. В назидание другим, чтоб присмирели. А не усмирятся, еще и еще сажать на кол! Через несколько дней я самолично поеду полюбоваться на развалины Хндзорстана. Теху тоже — жестокое наказание! Тамошний юноша-мелик слишком задирист.

— У этих армян что ни село, то царство, — снова подал свой металлически-холодный голос главный визирь. — В каждом селе по мелику, и каждый мелик что тебе шах. Настало время рассеять их мечты — благо есть повод. А едва только армяне поймут, что им пришел конец, они сми-

рятся с судьбой!..— И, словно бы в подтверждение своих слов, главный визирь застучал четками.

— На сегодня хватит,— проговорил хан.— Иди, сделай, как я сказал.

— Как сказал наш великий хан! — повторил тысячник и вышел, по-военному чеканя шаг.

7

Из укрытия Мегри спустили веревку. Корюн с братьями поднялись наверх.

— Что привело вас ко мне в этот поздний и опасный час, дети мои?— спросил Мегри.

— Голова сотника Саркиса привела нас. Вот она.

Мегри ступил ногой на голову предателя и обнял братьев.

— Благослови вас бог, разящие врагов! Храбрость родом из беды. Мы, армяне, все сейчас в беде. Если хотим выжить, всей нашей нации надо стать нацией храбрецов!— С этими словами он сбросил носком голову предателя со скалы.

— Враг, рожденный среди нас, армян, даже один-единственный, коварнее и страшнее, чем целый неприятельский полк. И значит, вы сделали большое и правое дело. Только отсюда вам больше уходить нельзя. Сегодня мы ждем нападения кзлбашей на наше село.

— Что ж, дядя, мы останемся с вами!— в один голос сказали братья.

— Мы решили умереть в битве!..

— Да, решили,— подтвердил Корюн.

— Зачем же умирать? Будем биться, чтобы выжить!— воскликнул Врам.

— Эта битва для нас, хндзорескцев, не на жизнь,— пытался объяснить юноше положение Мегри.— Что может сделать против целой державы одно село? Нас всех перебьют. Мы это понимаем, но дать бой необходимо. Мы умрем не даром, и врагов с собой потянем. Может, их люди ссбя пожалеют, не станут впредь бездумно выкалывать армянам глаза. А сдадимся безропотно, не только глаза будут выкалывать, языки поотнимают, а потом и души... Нет, дети мои, мы будем биться, чтобы народ наш сохранил стойкость, зная, что мы не смирились. Если нет нам спасения, то погибнем мы только в бою. Народ наш не склонил головы. Всюду волнения — в Арцахе, в Гохтане, в Нахичеване, в

Шаапунике, Ереване и дальше. Мы умрем, чтобы другие боролись и жили! Все это я говорю вам, мои дорогие племянники, мои дети, потому, что сегодняшней день может стать моим последним днем, и я хочу, чтобы вы знали, чем жил ваш дядя, чего он хотел. Одной головой сотника Саркиса наш народ не спасся. Так умрем же, чтоб жил наш народ!

— Умрем, чтобы жил наш народ!— повторил за дядей Корюн.

— Умрем, чтобы жить!— сказал Врам, выразив ту же мысль чуть по-своему.

— Хотим не хотим, а надо!.. Ну, а теперь набейте как следует свои желудки, потом не будет времени для этого!— Мегри попросил невестку принести мяса, вина.— Вы ешьте, а я узнаю, все ли как надо. Месроп,— окликнул он младшего сына своего брата, лучше многих знавшего все щели и складки в скальных укрытиях.

— Слушаю, дядя,— откуда-то из глубины отозвался Месроп, и через мгновение появился мальчик лет двенадцати в коротких штанах, с расстегнутым воротом рубахи. Моргая умными глазенками, он кашлянул, давая дяде знать, что пришел.

— Арбак или Тонакан дома?

— Нет. Пошли к выходам.

— Из нашего укрепления есть ход сообщения с укреплением Чатунцев?

— Нету.

— А с укреплением Хатапа Арчанца?

— Дядя Арчанц живет в Птичьем квартале. К нему надо через овраг идти...

— И верно ведь. Я что-то совсем запутался. Проводи-ка меня в укрытие Охтанцев. Знаешь, как туда пройти?

— Знаю. Только у них там щели очень узкие. Тебе будет трудно.

— Ничего, за меня не тревожься,— Мегри погладил золотоволосую головку Месропа.— А ты, невестушка, как ребята поедят, познакомь их с соседями. Пусть изучат все ходы из укрытия в укрытие. И с нашим укреплением получше их ознакомь. Тоже пригодится.

— Все сделаю, отец.

Мегри взялся за руку Месропа, и они ступили в проход, ведущий из их укрытия к другим...

Никто не ведает, когда и при каких обстоятельствах были высечены в Хндзореске эти неприступные укрытия-

укрепления. Надо думать, это дело рук первых поселенцев здешних мест. Ну, а уж затем, видно, все поколения добавляли себе удобства — все новые отсеки, новые тайные ходы сообщения с соседями. Не единожды враг бывал разбит на подступах к ним или же отходил после долгой безуспешной осады, поняв, что покорить обитателей этих скал невозможно.

Хндзореск всегда оставался непобежденным...

Опираясь на плечо Месропа, Мегри переходил из укрытия в укрытие, и везде его встречали с почтением. Все вставали. У женщин наворачивались слезы на глаза, они вспоминали его былую гордую осанку, легкие движения, его отвагу. Мужчины подходили и молча пожимали ему руку, вкладывая все свои чувства, все свое уважение в одно слово: «Отец!..»

А отец узнавал каждого по голосу.

— Как живется-можется, семья Мечккотроханц? ¹

— Живы, отец...

— Подготовились? Все в порядке?

— Пороха маловато, — ответил Алексан, старший Мечккотроханц, у которого восемь сыновей и каждый из них впрямь любому хребет переломает. — На девять ружей нашего пороха слишком мало.

— Что ж, не хватит пороха, камней, надеюсь, насобирали?.. Стрелы с хорошими наконечниками есть?

— Сам делал наконечники, и кость прошьют. А камней натаскали столько, что целую орду закидать можно.

— Ну и с богом! Держитесь!

В другом укреплении иной разговор:

— Отец!.. Да обрушится вражье логово, что же они наделали! И Мхитар ни за что пропал!..

— Говори о другом, Охтанц Ктрич, — что было, то было. Смотрите в оба, чтоб больших потерь не понести. Как тут у вас дела?

— Мы разрушили Хараатский мост, вместо него сладили обманный. Может, проходами не полезут, решат через мост пойти, так пусть там и гибнут, на мосту-то. Мы все честь по чести сделали, даже следы лошадиных копыт и колеи от колес навели словно бы по мосту только-только прошли повозки и кони. .

¹ Мечккотроханц — буквально: ломающие спины (хребты). У армян часто прозвище определяет род занятий семьи. Здесь скорее олицетворяет силу.

— Это хорошо. Хоть немногие из врагов найдут смерть в ущелье, и то дело.

— Почему немногие?— удивился Ктрич.

— С десятков всадников вступят на мост, он и обрушится. Остальные тем временем повернут назад.

Ктрич, держась за ус, долго думал и наконец постучал пальцем по лысой своей голове:

— И с чего бы это у меня в башке все смешалось, отец? Я-то считал, что, если они пойдут через Хараат, нет им спасения. Выходит, все мои старания ничто?..

Под усами у Мегри скользнула улыбка. И Ктричу показалось, что она и глазную повязку осветила. На душе от этого тоже стало светлее. Изувеченный, потерявший сына отец улыбается!..

Ктрич тоже улыбнулся:

— С чего у меня ум вдруг помутился?..

— Не ум твой помутился, Ктрич. Просто тебе хотелось уничтожить целое войско. Ничего. И десять всадников тоже не мало. Если в каждой западне застрянет по десятку кзлбашей, глядишь, снеси до села и не дойдут. С остальными мы разделаемся.

Мегри потянулся к Месропу, тот взял его за руку. Они шагнули вперед, и Мегри уже издали спросил:

— А ты чем биться-то будешь, Ктрич?— Голос его прозвучал гулко, как из кувшина.

— Из укрытия камнями, стрелами, а на земле, если сабли мне не достанется, топором. Топор у меня хорош...

Вот и укрепления Тавада Тохсанца. Тавад — кузнец. Он перебазировал свою кузню в укрытие и уже одиннадцать дней больше не кует орудий мирного труда, не ремонтирует их. Вместе с сыновьями — Манасом и Санасаром — приводит в порядок обрезы, изготавливает мортиры, наконечники для стрел и колий, точит мечи и топоры.

В грохоте наковален они не услышали приветствия Мегри.

—...Говорю, да пошлет бог побольше силушки вашим рукам!— крикнул громче Мегри.

Вмиг смолкли молоты, и в пещере словно бы прибавилось дыму и сильнее запахло углем и раскаленным железом.

— Дай и тебе бог силы, отец! И сохранит он тебя для нас!— сказали все разом, будто сговорились.

Повскакав с мест, они окружили Мегри, усадили его на баранью шкуру.

— Нет ли вестей, отец? Скорей бы уж явились, покон-

чить бы... — промолвил Тавад, почесывая бороду. — Ожидание — самое худшее дело.

— Покончить бы, говоришь?.. — усмехнулся Мегри. — Обрезы или что другое из оружия у тебя имеется?

— Есть, как не быть?

— Дал бы хоть один Ктричу. Человек он отважный, но беда — оружия у него нет. А ведь нам, может, придется и вниз сойти, биться в ущелье. На этот случай надо иметь штук восемьдесят коней и столько же сабель. Что скажешь, есть они у тебя?

— Нет, отец, столько не наберется. Железа бы нам. Будем работать и днем и ночью, только бы железа... Девять новых сабель изготовили. А девяносто штук уже наточил и отдал. У многих сабли еще раньше наточены, в моей помощи там нужды нет. Можно успеть сделать еще штук двадцать, но где взять железо?..

Мегри призадумался.

— Okликни-ка нашего Арбака, он в Верхнем квартале.

Кузнец подошел к входу своего высокого убежища, приложил руки ко рту и крикнул:

— Арбак, э-эй, Арбак Мелик-Фарамазян!..

И словно по сигналу перед всеми убежищами появились люди.

В Верхнем квартале, перед единственным там укреплением, в скале, похожей на человека в бурке, показалась высокая фигура Арбака.

— Что случилось? — спросил он оттуда.

— Отец зовет.

Арбак по веревке соскользнул вниз, отряхнулся, побежал к укрытиям у прохода и поднялся к Таваду, откуда его звали.

Мегри не стал здесь, в кузнице, вдаваться в подробности, только спросил:

— Ну что там? Не явились еще?

— Нет, — коротко ответил Арбак.

— Те, кому предстоит биться внизу, все знают свои места?

— Знают.

— Кто возглавит?..

— В верхнем крыле Арчанц Хатап, в нижнем — Цлвцаланц Похан. Теми, кто вооружен огнестрельным оружием, командуют Тоган и Тонакан. Мушег Охтанц приставлен к проходам. Бой в ущелье возглавим мы с отцом.

— Что ж, молодец, расстановка хорошая. Люди все стоящие. А где сейчас Мирзаджан?

— Пошел осматривать западни. Мы приготовили хитрые ловушки. Целых три. Две в проходах. Едва кзлбаши пройдут, захлопнем ловушки, и окажутся они в капкане—пути к отступлению не будет...

Мегри послал Месропа за священником, а сам с Арбаком, обойдя все остальные укрепления, вернулся к себе.

— А что, отец, если нам послать человека в западные села,— сказал Арбак,— пусть они бы тоже ударили со своей стороны?..

— Не надо этого делать!— решительно возразил Мегри.— Мы не готовы к большой войне. Да и не по силам сейчас Армении выступить против Персии одной, без помощи какого-нибудь единоверного христианского государства-союзника. Нельзя зазря людей терять. Стоит нам поднять других, хан тотчас велит истребить все армянское. Сейчас наша задача выразить протест против действий хана. Кто знает, может, ему, шаху, станет известно обо всем, он наконец... А весь народ поднимать пока не следует. Мы за всех...

Голос снизу прервал речь Мегри. Это Шаварш Кайцак. Он соскочил с коня неподалеку от убежища Мегри и стал карабкаться на скалу.

— Какие вести, Шаварш, сынок?— с нетерпением спросил Мегри.

— Хан выслал против нашего села пятьсот кзлбашей,— сказал Шаварш.— Под предводительством тысячника Омара. Они будут здесь завтра после полудня...

Шаварш рассказал, каков приказ хана войску, как оно вооружено.

— Ну иди, отдохни и подготовься.

Мегри и Арбак остались одни. Чуть спустя пришел навестить брата Мирзаджан, усталый, хмурый. Мегри пересказал ему все, что сообщил Шаварш. Мирзаджан выслушал его молча.

Был вечер, и такой непроглядный, что ущелье словно смолой наполнилось. Лаяли потерявшие пристанище и напуганные непривычной тишиной собаки. Потом все прерывалось, и Мегри вслушивался в то, как стихали, будто гасли, все звуки.

По ущелью течет речка. Она гулко рокошет, но Мегри ее не слышит. Он слышит удаляющиеся, откатывающиеся звуки, слышит, как из высокой каменной чаши Цлакского род-

ника стекает вниз вода и ручейком удаляется. Вода Цлакского ущелья тоже рокошет где-то вдали.

Звуки навевают на Мегри грустные мысли. Сейчас ему все рисуется в черном цвете. Его уже почти нет в этой жизни, а завтра, может, и вовсе не будет. И все, что прожито, кажется одним мгновением. Все, все. С того самого времени, как впервые увидел мир, и до этой минуты, до сегодняшнего дня, когда его уже почти нет... Нет и сына, который был бы его второй жизнью — его продолжением...

Такие думы могли бы привести старого воина к мысли о том, что напрасно провел он в битвах свою жизнь-мгновение. Но нет, и в последний день он будет биться с врагом.

— Где мой меч? — спросил Мегри.

— Здесь. Зачем он тебе?

— Я должен быть вместе со всеми. Люди будут биться отважнее.

Мгновение в пещере царило полное молчание.

— Ну, идите отдыхать. А если что не доделано, подите и сделайте...

В проходе у убежища Мегри еще задолго до рассвета появился отец Сион.

— Доброго здоровья тебе, брат Мегри, — сказал отец Сион и, придерживая кlobук, взглянул вверх. — Прости, что замешкался. Я был в Верхней церкви, не сумел раньше прийти. К добру ли звал?

— Святой отец, кзлбаши уже в пути, они идут на нас и сегодня будут здесь.

— Будь они прокляты! Какая беда! Горе-то какое!..

— Чем занят?

— К службе готовился. Во славу наших святых летописцев Месропа, Егише, Мовсеса, философа Давида, Григора Нарекация и Нерсеса!.. — как по Библии запел-запричитал священник.

— Хорошо, святой отец, но сейчас не этому время. Сегодня до самого заката во всех наших трех церквях должны звенеть колокола! — Говоря это, Мегри обратил лицо в небо. — Целое войско идет на нас, отец Сион...

— Будь оно проклято!

— У нас против него одна сила — наша вера!

— Священная вера!

— Итак, если убьют звонаря, тотчас замените его другим — не давайте колоколам умолкнуть. Звонить начинайте сразу, как только враг подойдет к селу.

— Благословен господь бог! — отец Сион, стоя внизу, перекрестил вход в укрытие, где стоял Мегри, подобрал сутану, чтоб не путалась в ногах, и стал спускаться.

8

Один из отрядов тысячника Омара перед закатом вышел в Мтнадзор. Они обыскали-облазили там все пещеры, лесные чащобы, выставили дозорных на дорогах, у входов в ущелье, на высотах.

Омар разбил свой шатер у подножия горы Ласт, на зеленой поляне.

Уходя из Арегуна, тысячник оставил там десять своих кзлбашей, чтобы слали вслед войску, в Мтнадзор, необходимое продовольствие.

Десятник предъявил арегунскому сотнику Ерванду требования Омара: в течение одной ночи собрать и доставить сто пятьдесят овец, пятьдесят мешков муки, соли в необходимом количестве, десять мешков овса для лошадей, людей, чтобы воду возили и разжигали костры, сколько потребуется, и... девушку, достойную тысячника, причем непременно светловолосую.

Кому не жаль головы — пусть за овцу да за горсть муки, хоть последнюю? Отдали. Все отдали. Только давящую тишину разорвал душераздирающий женский крик, эхом унесенный вдаль по скалам Верхнего ущелья. Это стенала мать светлокожей, светлокудрой девушки, облюбванной кзлбашами для тысячника, стенала, когда уводили ее дитя.

Один из кзлбашей попытался на свой лад утешить бедную мать: «За одну ночь спина у твоей дочери не переломится. Еще до рассвета к тебе вернется».

Войско Омара растянулось на узкой лесной тропе, петляющей вдоль ущелья. Голова уже давно в Мтнадзоре, а туловище все еще подтягивается. Но вот и оно втянулось в ущелье.

В Мтнадзоре извечно, едва только пастухи угонят стада, откладывают и потом высиживают яйца перепелки и куропатки.

В чащах, устроившись на столетних каменных глыбах, подставив соски солнцу, греются брюхатые оленихи и зайчихи. И никогда ничто не обращает их в паническое бегство. Если под лапами медведя заскрипит обломанная ветвь дуба и скрип этот отдастся в ущелье эхом, медведь не дрогнет, он знает, что это только эхо и нет никакой опасности.

Песня пахаря здесь — радость тетеревам и дятлам: стоит им ее услышать, вперегонки летят на звук, в надежде схватить свою долю зерна от семян.

А как поют-воркуют ручейки в Мтнадзоре! Ткут из небесной сини шелка, а из облаков полотно. Ткут и поют. И вечен здесь аромат роз, фиалок, мяты, тимьяна и множества разных цветов и трав, которым нет ни счета, ни названья...

Войско Омара вмиг осквернило вековую первозданность Мтнадзора, осквернило так, как это делают только кзлбаши. Замутили ручьи, вытоптали травы и цветы, переполнили смрадом вечно благоухающее ущелье.

Вскоре тут и там запалили костры, стали резать арегунских овец. Помывшись, почистившись, вышел из своего шатра тысячник Омар. Огляделся вокруг и вперился взглядом в одну точку. На вершине Ласта, будто в самом небе, высилась чудо-часовенка. Она смотрелась в ущелье своим единственным крестообразным оконцем. И столько страха и ужаса было в этом темном кресте...

Омар подозвал людей и спросил:

— Сумеете разрушить?

Все глянули в небо.

— Зачем разрушать, господин тысячник? Построили, пусть себе стоит,— не отрывая взгляда от часовни, сказал черноголовый молоденький кзлбаш с печальными черными глазами.— Разве она мешает?— закончил он мягким певучим голосом, в котором тоже была печаль.

— Ты всегда прекословишь мне, Шамси,— не слишком строго упрекнул его тысячник.— Своим словом, песней и музыкой ты завладел моим сердцем. Но знай, я могу и тебя не пожалеть...

— Мой господин, прости, если я сказал тебе неприятное...

— Приказываю убрать оттуда эту часовню!— повелел Омар, не обращая больше внимания на Шамси, которого призвал было, чтоб тот ему спел, но сейчас не до песен.

Кзлбаши услужливо бросились исполнять волю своего господина, но очень скоро вернулись.

— Туда невозможно взобраться, господин тысячник,— сказали они.— Как ни старались — невозможно...

— А как же армяне забрались? Они построили, а вы не можете разрушить, ленивые псы! Неужто же целую ночь этот черный крест будет висеть над моим шатром?!

— Прикажи, и мы кинемся в ущелье, наш господин, но крест...

— Долой с моих глаз! — разъяренно бросил тысячник и скрылся в шатре, чтоб не видеть взирающий с неба крест.

Поевши-попивши, кзлбаши, едва стемнело, залегли спать. Здесь и там стали гаснуть костры, затихли и кони, сгрудившись голова к голове. В Мтнадзоре воцарилась необычная, чужая тишина.

Кроме дозорных не спал только Шамси. Душу его тревожило нарушенное ими спокойствие этих гор, развалины крепостей и храмов, увиденных им в пути, и события в Арегуне. Углубленный в свои думы, он довольно далеко отошел от лагеря, присел на камень и, глядя в темное ущелье, задумался.

Что есть человек и человечность? Вот ведь и он тоже в числе пятисот других идет разрушать и грабить. А зачем? Что эти люди сделали ему? Почему тот, кто сильнее, не щадит слабого? Ведь против каждого сильного всегда найдется еще более сильный, с другим, со своим богом и своим языком? Ну чем человек виноват, если сотворен он богом, не умеющим его защитить? Пусть бы дрались между собой разные боги и дали бы возможность жить по-людски тем, кого они сотворили...

Никак кзлбаш Шамси не мог в толк взять, зачем человек убивает себе подобного. И почему всемогущие боги бросают на произвол судьбы своих приверженцев?

Так, размышляя то о небесных, то о земных тайнствах и не умея докопаться до причины несправедливостей, Шамси невольно все связал с высшей силой, с богом. Он, Шамси, человек, и человек не должен убивать, не должен грабить! Человеку во всем следует поступать по совести, так, как велит аллах...

Шамси думает, вглядываясь в чужое ущелье. Оно темное-темное, но не таит для них опасности. Хоть сам-то он и принял решение не убивать, а тревога не утихла. Скоро рассвет, и — хочет он того или не хочет — у него на глазах снова будет литься кровь невинных людей, будут кричать матери и младенцы, и Шамси ничем не сможет этому воспрепятствовать. Да, он может сейчас пойти в Хндзореск и сказать тамошним людям, что пришедшие уничтожить их кзлбаши все до единого спят. И хндзорескцы, опередив противника, сами явятся сюда и разделаются с ними, прирежут каждого прямо у костра, и Омара убьют в миг, когда тот оскверняет юную армянку... Но это ведь тоже будет крово-

пролитием, с той разницей, что здесь прольется кровь еди-
новерцев. Прольется кровь отцов семейств, жены и дети ко-
торых ждут их?..

За этими думами Шамси, вечером сказавшийся тысяч-
нику Омару больным, сейчас вдруг запел. Видно, аллаху
это было угодно, потому как и самому Шамси показалось,
что пение его никогда еще не было таким душеспасительным.
Пел он не очень тихо. Пусть слышат его осиянные лунным
светом травы и цветы, которые завтра будут политы кровью...
Шамси казалось, что персидскую его песню не только
слушают, но и чувствуют деревья Армении, ее цветы и
травы. Вон как печалятся-качаютя и пахнут еще силь-
нее.

Шамси импровизировал: пел о цветах и о пастухе, кото-
рый, быть может, собирался свить из этих цветов венки для
любимой и украдкой положить его к ее порогу, но теперь уже
этого не сделает, потому что завтра сложит здесь голову
и за родину и за любимую, а какой-нибудь кзлбаш рас-
топчет и эти цветы, и девушку...

Шамси поет и смотрит в темноту чужого ущелья, и чем
дольше поет, тем больше у него в голосе волнения. И в го-
лосе, и в душе. Вот он уже больше не выдерживает: разры-
вается сердце и иссыкает песня.

Странно, но Шамси рад тому, что сердце его разрывает-
ся. Ведь иначе он задохнулся бы. Как хорошо, что аллах
дал ему сердце, способное разорваться от чужой боли, от
чужого горя. Шамси мысленно молит всевышнего наделить
всех людей на земле такими сердцами, равнодушными к
чужой боли. Тогда и Шамси больше никуда не уйдет из
родного Хамадама, не будет тосковать по своим близким и
не будет проливать кровь в чужом доме...

И потому что он, слуга аллаха, осмелился заметить, что
всевышний что-то не додумал, Шамси, став на колени лицом
к востоку, долго-долго замаливал грех...

Возвращаясь в лагерь, он услышал стон, будто кого-то
душат. Шамси пошел на голос. И голос привел его к шатру
тысячника Омара. О аллах, там терзают девочку из Арегу-
на!.. Юноша бросился прочь. Лег у костра, попытался за-
быться, но девичьи крики не давали покоя.

Уставившись на тлеющие в пепле угли, Шамси мыслен-
но перенесся в давно минувшие века. Ему вспомнилось из
истории, как некогда армянский полководец Мушег помог
персидскому царю Хосрову и тот победил своих врагов.
Хосров тогда сказал Мушегу: «Я сделаю все, чтобы твое бу-

дущее было светлым и счастливым!» И вот как теперь рас-
плачиваются потомки Хосрова...

Прозвучал боевой горн. Вышел из шатра Омар, глаза набрякшие, крашенная хной борода горит огнем под лучами солнца. Посмотрел в небо, зевнул. Подозвал дозорных, те доложили, что дороги, ведущие к Хндзореску, свободны, люди там безоружны и в неведенье. Затем рассказали подробнее обо всем, что видели. Омар вызвал сотников, отдал им приказания, после чего выступил с речью перед войском. Перво-наперво пригрозил жестокой казнью всем, кто проявит трусость; храбрецам пообещал безграничную свободу власти над женщинами, и в грабежах тоже, а тем, кто живыми или мертвыми бросит к его ногам Къял Ованеса, Гомеш Мушега, Чатунц Наапета, Охтанц Ктрича и Кайцак Шаварша, обещал щедрое вознаграждение за каждую голову в отдельности. Но самое большое вознаграждение было обещано за Мегри Мелик-Фарамазяна, за его брата Мирзаджана и сына последнего — Арбака...

Разделившись на группы, войско двинулось в путь. Медленно начали подниматься примятые цветы и травы Мтнадзора. Над овечьими потрохами и кровью слетелись стервятники. Один из них кружил там, где был шатер Омара, затем резко кинулся вниз.

Через мгновение стервятник снова взмыл ввысь, а на земле кто-то зашевелился.

Это была арегунская девушка. Она долго смотрела на коршуна над собой. Лицо ее при этом ничего не выражало. Но глаза постепенно наполнились слезами, капли, одна за другой, покатались по щекам, и не было им конца. Потом, когда коршун улетел, взгляд девушки упал на часовенку на вершине Ласта, на узкое крестообразное окно, с печалью взиравшее на нее. И тут несчастную мученицу сотрясли рыдания. Она будто увидела у себя в изголовье родного человека, не протянувшего ей в черной ночи руки помощи. Девушка поднялась и побежала прочь.

Она бежала по склону холма. Ветер развеивал золотые кудри и разодранное платье, едва прикрывавшее ее наготу. Вслед девушке скорбно склонились цветы и травы, опадали лепестки маков, как капли крови с раненых гор.

За холмом начиналась равнина. Девушка ускорила бег. Она то терялась среди маков и ромашек, то снова появлялась и снова исчезала. Вот она уже совсем удалилась, стала едва заметна. Что это? Убыстрив бег, девушка вдруг кинулась в пропасть...

На вершине Ласта, господствуя над Мтнадзором, выси-лась часовня. Две птицы с белыми перышками на брюшке, весело чирикавая, влетали и вылетали в крест-окно...

9

На холме Кайцакаар, откуда виден весь Хндзореск, ты-сячник Омар дал своему войску короткий отдых, а сам, в сопровождении нескольких сотников, объехал село. Верну-вшись, он разделил отряд на три части и приказал начать наступление по трем дорогам, ведущим в село. Командова-ние Омар поручил своему помощнику, сотнику Вали, считая, что взятие села — операция для него самого недостаточно значительная.

Разбив шатер, тысячник остался на холме Кайцакаар...

Как только кзлбаши показались на дорогах, спускаю-щихся в село, во всех трех церквах холодным медным зво-ном ударили колокола, и эхо удесятирило силу этого звона.

Над входом в ущелье появился Мегри. Выхватив из но-жен меч рода Мелик-Фарамазянов, чести которого он ни-когда не ронял, Мегри двинулся вперед, и солнце плеснуло на него своими лучами. Мегри воскликнул:

— Хндзорескцы, кзлбаши приближаются! Они идут загасить дым наших очагов. Ударим по врагу, чтобы жить, а кому суждено погибнуть, да падет со славой!

Голос ослепленного Мегри, сопровождаемый колоколь-ным звоном, доходил до каждого и разжигал в сердцах лю-дей огонь. Арбак, которому предстояло вести бой на улицах, увидев из своего укрытия дядю, так и обмер: его ведь пер-вая пуля может сразить! Вот когда до Арбака дошли ска-занные дядей слова о том, что завтра его не станет. Первой мыслью юноши было ринуться и уберечь дядю от смер-ти, но в жерле прохода вдруг показалась группа кзлба-шей.

Спокойно, неторопливо, приспустив поводья, они ехали на конях, удивляясь тому, что в селе ни души и угрожающе тихо. Но вдруг тишина взорвалась: сработала первая ло-вушка, и те из кзлбашей, кто не угодил под обвал, в панике начали беспорядочно палить из ружей, выпускать одну за другой стрелы, сами не зная, куда и в кого бьют. А на них тем временем обрушился град камней и стрел.

Паника передалась и второму отряду кзлбашей, входив-шему в село другой дорогой. С этими был шурин сотника Саркиса Амаяк. Он показал кзлбашам, откуда их засыплют

камнями и стрелами, предупредил о том, что замаскированный мост — тоже ловушка, и кзлбаши обещали его.

Увидев из своих укрытий Амаяка, хндзорескцы стали целиться в него, но кзлбаши сделали все, чтобы уберечь проводника, пока еще очень им нужного.

Избежав ловушки на мосту, противник, однако, угодил под ливень кипящей воды, камней и стрел, когда проходил под укреплением кузнеца Тороса, где был и Охтац Ктрис с сыновьями. Проход тут очень узкий — по одну сторону пропасть, по другую отвесная скала. Враг не знал, как спастись — назад ли ринуться или вперед.

— Бей врагов! — раздавался в ущелье голос Мегри. — Во имя жизни наших детей и жен, во имя нашего народа!

У входа в укрытие, где во весь свой огромный рост стоял Мегри, поднялась пыль — это ударились пули противника.

Разделившись на две группы, люди Арбака врезались в ряды противника и смешались с ним, чтобы не дать ему прибегнуть к огнестрельному оружию, которое составляло превосходство кзлбашей.

Кривые армянские топоры на длинных топорницах, блеснув острием в воздухе и очертив круг, обогрелись кровью. Копья с наконечниками кузнеца Тороса вонзались легко, а извлекались трудно...

Сверкали мечи, свистели стрелы и пули, грохотало как в большом сражении, но все же разрушений было мало. Металлы потерявшие седоков кони, наполняя все окрест ржанием и цокотом копыт. Кидались на людей сорвавшиеся с цепи собаки. Стылали и кричали раненые и умирающие...

Армяне подбадривали своих словом и колокольным звоном.

Мегри время от времени умолкал и внимательно вслушивался — по степени напряжения шума и грохота он определял, как идет сражение, а затем его голос снова разрезал воздух:

— Они уже на коленях! Наддайте, чтобы не поднялись!

Зран Арут, как птица, перелетал с дома на дом, вонзал меч то в одного, то в другого из неприятелей. И при этом так ревел, что уже одним этим вгонял в панику кзлбашей.

Ованес-башка лупил их дубинкой и все норовил огреть каждого по правой руке, чтоб не держала оружия...

Противник подался назад. Но пути к отступлению у него не было — сзади уже преградой стоял отряд Кайцак Шаварша.

В числе вошедших в ущелье кзлбашей был один человек,

который так и не поднял оружия. Шамси — юноша с печальными глазами. Укрывшись в пещере, он слезно молил аллаха прекратить это побоище.

Пребывая в спокойствии, не участвовал в бою и тысячник Омар. В ожидании легкой победы, он предавался в своем шатре приятным воспоминаниям и размышлениям. Ни он, ни сотники не предполагали встретить здесь серьезное сопротивление. Потому-то тысячник дал себя уговорить поберечь «драгоценное» здоровье, ведь впереди их еще ждали Кори, Тех, Корнидзор, Аравус, Ханацах, Баяндур, Вериншен, Хот, Шинуайр, Алидзор. Правда, во всех этих селах надо было только страху нагнать, но и это требовало сил и напряжения. Подручный Омара, сотник Вали, заискивал больше других.

— Побереги себя, мой господин,— упрасивал он,— вот когда покончим с этими из Хидзорстана, тогда ты и спустишься посмотреть, как мы с ними разделались. А может, и этого не стоит делать. На радостях мы доставим тебе сюда внучку смутьяна Мегри, прекрасную Гюлвард. Позабавишься с ней, пока...

— О внучке Мегри знает хан, это его доля,— с сожалением сказал Омар.

— Ну, чью-нибудь другую внучку отыщем. Не все ли одно?

— Иди и делай как знаешь,— сказал тысячник, давая понять, что ни от кого не откажется...

Уже все уходили, когда перед Омаром предстал Шамси.

— Мой господин, как же ты без песни?.. Может, прикажешь мне остаться? Я поведаю тебе о том, как Судабен полюбил Сравуш, какими утехами они дарили друг друга и как потом Судабен предал Сравуш... Слушая меня, ты не заметишь течения времени. Позволь остаться?..

— Боюсь, мой Шамси, что в твоей душе поселился христианский шайтан, а потому, думаю, надо тебя наказать. Вчера ты почему-то отказывался петь мне, ссылался на боль в горле, а сегодня сам напрашиваешься? Хочешь зачаровать меня рассказом о Судабене и Сравуш? Может, пришел час отрубить тебе голову?..

— Руби, всемогущий Омар,— вытянув шею вперед, словно бы подставляя для удара, сказал Шамси.— Но если отрубишь ее не тотчас, исполни последнюю просьбу приговоренного: позволь не воевать сегодня...

Тысячник, ничего ему не ответив, кликнул сотника, в отряде которого значился Шамси.

— Посчитаешь, скольких неверных отправит к праотцам этот кзлбаш. Его голова уцелеет только взамен нескольких голов армян!..

Сказав это, Омар скрылся в своем шатре...

Из тех, кто вошел в Хндзореск с правого входа, унес ноги только один десятник. Он-то и явился к тысячнику Омару первым вестником неудачи.

Тяжело дыша, снопом рухнул перед тысячником. Говорить он был не в силах.

— Чего ты, как пес, бьешься в ногах и молчишь? — крикнул Омар. — Выходит, они побили вас, как последних собак?

— Да будет острым твой меч, солнцеликий тысячник, конец нам пришел! — с трудом переводя дух, сказал десятник и поведал о происшедшем.

— Коня мне! — взревел Омар, поспешно одеваясь.

Выйдя из шатра, он в отчаянии хлопнул себя по лбу и взлетел в седло. За ним помчались телохранители и десятник...

Покрытый попоной конь Омара вдруг вздыбился и истошно заржал. Зран Арут хотел было броситься с мечом на Омара, но меч упал. Арут рухнул, и вода в речке, текущей по дну ущелья, окрасилась кровью.

— Скиньте со скалы этого слепца и заставьте замолчать колокола! — закричал Омар, почувывая, как они воодушевляют хндзорескцев.

Повернув коня в гущу кзлбашей, Омар стал подбадривать их, собирать остатки своего побитого воинства.

Вот смолкли колокола одной из церквей. Первым это заметил Мегри.

— Э-эй, Арбак, нечестивцы убили звонаря святой Рипсиме! Колокола!..

Арбак не услышал голоса дяди. Услыхали его другие. И вскоре церковь Рипсиме снова лила свою меднозвучную скорбь.

Из пятисот человек вражьей рати уцелело немногим больше сотни. Но зато эти теперь дрались не на жизнь, а на смерть, и урону от них было куда больше, чем тогда, когда бились все пять сотен...

С пистолью в руках, прячась за камнями, к укрытию Мелик-Фарамазянов подбирался кзлбаш. Его не заметили. Может, потому, что одет он был, как армянин. Мегри вздымал свой меч и продолжал воодушевлять людей:

— Ребятунки, да буду я жертвой за вас, не ослабляйте

удара! Здесь ваши дети. Вместе с вами бьются матери и жены...

Снизу прогремел выстрел, и Мегри умолк на полуслове. Меч выпал у него из рук и со звоном полетел в ущелье, а Мегри все еще стоял, уставив в небо черную повязку. Через мгновение он рухнул и полетел в проход.

Арбак ринулся к дяде в момент, когда шурина сотника Саркиса уже занес над головой Мегри меч.

— Отойди, змея! Ты сделал свое, но это и тебе будет стоить головы!

Услышав голос Арбака, Амаяк вздрогнул, однако не растерялся.

— Посмотрим, кто кого! — сказал он и поднял меч, слишком тяжелый для его руки.

Но ударить не успел. Арбак двинул его ногой в пах, и тот свернулся в клубок.

— Хотел купить себе чин сотника за голову Мегри? Так получай же!

Амаяк захрипел, забился в судороге и затих.

Из укрытия спустили веревку. Арбак поднял тело дяди и его меч наверх, а сам кинулся в бой...

Слишком поздно пришел со своим умением и отвагой на помощь кзлбашам тысячник Омар. Еще раз оглядевшись и увидев, что скоро может не остаться и того количества воинов, которое способно будет обеспечить безопасность его отхода в Татев, тысячник подал знак к отступлению и повернул коня. Именно в этот миг взгляд его выхватил в одной из пещер коленопреклоненного Шамси, который молился аллаху.

— Чертов выродок, ты что, задумал остаться у армян? — заорал Омар. — Садись на коня и следуй за мной!..

Когда, потеряв в пути еще несколько человек, добрались до высоты Кайцакаар, тысячник Омар, обращаясь к Шамси, повторил свой прежний вопрос:

— Я спрашиваю: ты что, хотел остаться у армян? — И, не дав ответить, он стегнул юношу плетью, да так, что под глазом у того слезла кожа и курчавая черная борода с одной стороны сделалась красной от крови.

Шамси ни единым движением не выказал своей боли. Он держался в седле прямо, неотрывно смотрел на алеющий закатом горизонт.

— Говори правду, не то забью как собаку!..

— Нет, у армян я бы не остался, — словно сам себе, тихо сказал Шамси.

— А зачем же ты полез в эту пещеру?

— Знал, что убьют, захотелось сказать свое последнее слово аллаху.

— И что же ты ему сказал?

— То, что говорят аллаху, светлейший мой господин, тысячнику не скажешь! — Шамси не отрывал своего печального взгляда от багрового горизонта. — С аллахом ведь говоришь не словами, все больше молишь его о милосердии, мыслями делишься с ним своими, думами. Я думал, что если меня убьют магометане, да не отдаст аллах мою душу на растерзание в ад, потому как убьют они меня только за то, что не вознес меча своего над невинными приверженцами Христа...

— Ты глупец из глупцов, Шамси, — оборвал его тысячник, — не ведаешь, что творимое большинством есть веление аллаха, а то, что делает один человек, — заблуждение или, того хуже, безумие. Ты не смеешь бросать меч и молиться, когда единоверные твои братья один за другим падают от рук нечестивцев. Аллах такой молитвы не приемлет. И именно за это он велит мне повесить тебя на первом же суку и душу твою препроводить в ад.

— Делай как хочешь, тысячник. Только знай, бывает и так, что иной раз целый народ заблуждается, а какой-нибудь один его сын велением аллаха вдруг оказывается правым...

Слышал эти слова тысячник или нет, однако ответа не последовало. Узкой горной тропой вел он остатки своего воинства и все никак не мог прийти в себя, чтобы определить, правильно ли держит путь. Следующими селами, которые он предполагал подвергнуть наказанию — посадить там в назидание на кол по десятку жителей, — были Тех, Аравус, Корнидзор, Ханацах, Баяндур и Хазнавар. Но сейчас он шел в противоположном направлении — в сторону Арегуна, туда, откуда пришел.

Кзлбаши не могли понять, куда их ведут. Однако спросить у тысячника не смели.

Один Шамси знал, куда лежит его путь... Вон на ближней горе высится ореховое дерево. Дорога как раз проходит под ним. Шамси думал о том, что жизни ему осталось — только до дерева. И представилось, что голубеющие на далеком горизонте горы — это горы Персии. Тем он и утешался: хоть могила его и будет в чужой земле, но под оком родимых гор. А вдруг повернут в другую сторону? Шамси даже забеспокоился.

Дошли до дерева. Тысячник Омар остановил коня. Тело-

хранитель мигом соскочил на землю и помог ему спешиться. Все последовали за ним. Омар размял ноги и как бы между прочим обошел дерево, потрогал ветки. Затем, остановившись перед кзлбашами, искал взглядом.

Но тот, кого искал Омар, вышел из рядов и громко проговорил:

— Мой господин, позволь я своими руками выну душу из тела предателя?

У Шамси в груди сердце расколосось на части. То был его ближайший друг Али-Аббас, с которым они делили и думы, и хлеб, и воду. А сколько бессонных ночей провели они, вспоминая детство? Часто, бывало, Али-Аббас просил его спеть «Шур» или «Чаргах». И не мог без слез слушать их... И это он сейчас готов убить того, кто был ему другом? Ничто не могло бы так удивить и огорчить Шамси. Залитый кровью глаз ожгла слеза. Но Шамси не заплакал. Он только подумал, что, если ему позволят перед смертью высказать последнее желание, попросит, чтоб вешал его кто-нибудь другой. Но потом отказался от этой мысли.

Что ж, коли суждено, так уж пусть рука друга...

На голове у Али-Аббаса была сабельная рана. Он залепил ее конским навозом, чтоб остановить кровь, но вокруг уха все же оставался кровоподтек, и оттого лицо казалось страшноватым. Глянув на него, Омар решил, что он ему подходит, и жестом дал понять, что тот должен делать. Али-Аббас услужливо бросился к своему коню, отвязал от седла пеньковую веревку и, кружа возле дерева, долго выбирал подходящую ветку, а выбрав, накинул на нее веревку, правда не с первого раза. Сделал петлю на веревке и стал ждать.

— Говори свое последнее слово, предатель, — предложил тысячник.

— Не оставляйте меня повешенным! — взмолился Шамси. — Похороните здесь, — он даже показал, где, при этом исподволь глянув, видны ли оттуда горы. — Вот здесь, — повторил он и пошел к дереву.

— Похороним там, где просишь. Это можно. А душу аллах заберет, с ней тоже все ясно... — Омар явно был доволен собой.

Али-Аббас подозвал какого-то приземистого крепыша. Тот пригнулся, Шамси стал ему на спину и сам накинул себе на шею петлю. Крепыш выскользнул у него из-под ног.

Шамси только раз-другой дернулся, ветка заскрипела и обломилась, и приговоренный упал на землю.

Али-Аббас обозлился. Стал искать новую ветку — покрепче, но тысячник остановил его.

— Видно, такова воля аллаха, — сказал он. — Слишком много сынов Магомета сегодня отдали богу душу, потому, надо думать, всемогущий прощает Шамси его преступление и дарует ему жизнь...

Шамси стоял прямой и тонкий, лицо бледное, в обрамлении курчавой черной бороды. И не было в нем ничего такого, что бы говорило, что человек этот минуту назад находился на пороге смерти.

— Что ж ты не славишь аллаха, Шамси? И не лобызаешь ноги своему господину? Смотри, за это аллах и впрямь может разгневаться. И не только на тебя, но и на нас, за то, что слишком терпимы к твоей неблагодарности за эдакое милосердие всевышнего! — кричали кзлбаши.

Они-то уже отвешивали поклоны небу, бились лбами о землю.

Шамси наконец тоже словно ожил, преклонил колени прямо там, где упал. Про себя помянул всех святых, прося их простить Али-Аббаса и помочь парню выдать замуж перзрелых сестер и чтоб жилось им потом в достатке и счастливо; чтоб сам Али-Аббас живым и невредимым вернулся к своим родным, женился бы, народил сыновей и жена чтоб попалась ему непорочная да с богатым приданым. И много еще о чем молил аллаха Шамси...

Но вот все двинулись дальше. Однако, глянув вниз, Омар придержал коня. Там стелился Мтнадзор, чернели взлобки пепла на месте угасших костров. Тысячник высмотрел место, где был его шатер. Вспомнилась ночь блаженства...

— Это куда же мы так идем, Рза? — обратился он к единственному оставшемуся в живых сотнику. — Никак ведь обратно?

— Ты верно говоришь, мой тысячник львиное сердце. Мы действительно возвращаемся. А как же иначе?

— Но разве мы обязательно должны вернуться?

— Как прикажешь, мой мудрый господин. Если надо, чтоб мы навсегда остались в этих горах, мы на все готовы!..

— Я хочу, чтобы за каждого павшего в Хндзорстане кзлбаша пролилась кровь десятка неверных. Только с этим я смогу пасть к ногам хана.

— Твоими устами говорит сам аллах! Мы все готовы следовать за нашим храбрым вождем! — польстил Рза и повернул коня за тысячником.

Про себя он при этом подумал такое, чего Омару сказать не осмелился — слишком тот вдруг помрачнел.

Дорога в Тех становилась все короче и короче, и на душе у Рзы делалось все тревожнее и тревожнее: то, что он знал о норове жителей Теха, не сулило ничего хорошего.

— Храбрый тысячник, — чихая и кашляя от волнения, осмелился наконец вновь заговорить Рза, — а не может случиться, что техцы сыграют с нами такую же шутку, как хндзорстанцы?

— Что же ты прикажешь, миловать их? — зло бросил Омар.

— Ну, этого я не сказал. Наказать надо, непременно. Но может, пока не техцев? У них уж очень жили крепкие. Завернуть бы в какое-нибудь небольшое село. Сделаем, что сможем, и у сотника местного подкрепления истребуем, чтобы потом для борьбы в других селах использовать... Меня, мой господин, заботит твоя драгоценная жизнь. Во всей Персии таких полководцев, как ты, на пальцах можно счесть. Это нашего брата — хоть пруд пруди... Лучше пока от Теха, как от греха, подальше держаться!.. Тамошний молодой мелик знаешь каков?..

Рза успел уже достаточно польстить Омару, и тот теперь слушал его не без удовольствия, что подбодрило сотника.

— Нам, конечно, побитыми возвращаться к хану стыдно, — сказал Рза, совсем уже осмелев, — а не вернуться нельзя. Так, может, мы в других селах снимем с себя позор?..

— Эй, пес, ты лаешь или речь держишь?

— Лаю, конечно же лаю, мой господин! Я хотел сказать!..

— Так вот, нечего лаять. В Хндзорстане были не одни только тамошные сельчане. Армяне выставили четыре тысячи человек против наших пятисот. Сам легендарный Рустам не устоял бы перед эдакой напастью. И если я сумел вывести живыми тех пятьдесят воинов, с которыми иду сейчас в поход на вражьи села, значит, я ничуть не хуже Рустама Зала! — веря в свою лживую выдумку, срывающимся голосом прокричал Омар. И в этой лжи он как бы обрел силы, словно битву выиграл.

Ему уже хотелось бы прямо отсюда вернуться в Татев, доложить о своих «ратных подвигах» хану, испросить новый полк из шахского войска и начать новое опустошающее нападение на Хндзорск и на все те села, которые причастны к бунту.

Воодушевившись, тысячник Омар принял в седле такую позу, словно вел не жалкую кучку беглецов, а отборные шахские полки, и вел их с победой...

Но что это? Человек на осле ехал навстречу тысячнику.

— Эй, армянин, из какого будешь села? — спросил Омар, не меняя позы.

— Из Теха, — крестьянин своей большой натруженной рукой показал в направлении села.

— Большое село?

— Не маленькое. Больше тысячи домов.

— А народ у вас храбрый? — с иронией покосившись на сотника Рзу, спросил тысячник.

— Зачем, милый человек, спрашиваешь?

— Хочу знать.

— Ну что тебе сказать? Если намерения у тебя злые, пойди, сам и узнаешь.

— Язык твой, однако, мелет здорово... Куда ведет эта дорога? — Омар показал плетью на тропу через заброшенное пахотное поле.

— Из нашего села в Хндзореск. А по этой пойдете, можете выйти к Корнидзору. Вон та, третья тропа ведет в Карашен...

— Карашенцы народ добрый?..

— С добрыми добрые, со злыми злые — что мне еще тебе сказать, человек?..

— А Карашен большое село?

— Тоже не маленькое...

Омар пустил коня в сторону Карашена.

10

Как только кзлбаши оставили Хндзореск, сельчане спустились из своих укрытий.

Ущелье наполнилось скорбью. Помимо тяжелораненых хндзорескцы еще и убитыми потеряли сто с лишним человек. Среди них Мушег Охтанц, Похан Цлвцаланц, Тонакан и Тогат Мелик-Фарамазяны, сын Вахах — Врам, младший брат Хатапа Арчанца — Дереваг, Кецанц Шогакат — она поклялась над телом убитого мужа отомстить за него, так и произошло. Шогакат больше не поднялась в укрытие. За неимением другого оружия, она веретеном пропоролла живот десятнику, и тот, прежде чем умереть, успел выстрелом из пистолета сразить Шогаката.

Хндзорескцы понимали, что враг вернется, и с еще большими силами. Потому спешно стали подбирать оружие, оставленное врагом, — его оказалось довольно много. Трупы врагов сожгли, своих покойников завернули в саваны с тем, чтобы предать земле на следующий день.

Отпевание началось ранним утром во всех трех церквах. В церкви святой Рипсиме стояло шестьдесят гробов. Скорбно звонили колокола. Все село — женщины и мужчины пришли проститься с теми, с кем вместе жили, обрабатывали землю, трудились и кого вчера потеряли в бою за честь, за независимость.

Впереди, как и в жизни, был Мегри Мелик-Фарамазян, славный сын мелика Каси. Он лежал с черной повязкою на глазах, и сейчас уже и лицо его и повязка ничего не выражали. Руки были сложены на мече, доставшемся ему от предков. Справа и слева от Мегри лежали сыновья его брата — Тогап и Тонакан и сын сестры — Врам...

Кончилась служба. Вынесли гробы. Мегри, как завещал, похоронили в его доме, рядом с сыном...

Мирзаджан, прежде чем пойти за гробом брата, поднявшись на камень, обратился ко всем, кто собрался в церковном дворе.

— Люди Хндзореска, — сказал он, — поклянемся памятью наших святых мучеников, нашими церквами, звоном этих святых колоколов, — Мирзаджан перекрестился, глаза его были полны слез, — поклянемся, что мы скорее умрем, чем примем чужую речь и чужую веру, умрем, но не смешаем своей земли с чужой землей!..

— Клянемся!.. — в одно дыхание прозвучала стоустая клятва. И все подняли то, что держали в руках, — топоры, мечи, копья, ружья.

— А я, — продолжал Мирзаджан, — клянусь вами, кто здесь присутствует и кого нет, клянусь истерзанным прахом брата моего Мегри, прахом моих сыновей, что лежат рядом с ним, клянусь, что меч мой да не вложу в ножны, пока святую нашу землю топчут чужеземцы!

И те, кто клялся, по обычаю трижды подняв и опустив наземь гробы с телами усопших, наконец понесли своих мучеников в последний путь. В ущелье Хндзореска колокола вызванивали скорбь армян.

Всех погибших похоронили на высоком зеленом холме, осеняющем село. И может, потому, что почти все убитые были еще очень молоды — едва женившиеся или только-

только обрученные, — этот холм, ставший общей могилой, прозвали Царской горой...

Мирзаджан и его сын стали готовиться к отражению нового нашествия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Охотясь прошлым летом, Яври забрался довольно далеко вверх по течению Воротана. Охота, по сути, была только поводом вволю побродить по родным горам и ущельям. Ходил он обычно все больше один, но иногда и со слугой Торгомом, человеком своеобразным.

Торгом был что кладезь народной мудрости, разного рода преданий, сказок. Беседы с ним доставляли Яври большое удовольствие. А как он пел народные песни! Не голосом, душевностью завораживал. Голос-то у него чуть надтреснутый, но казалось, именно таким, идущим из глубины, а не каким-нибудь иным, голосом и надо петь эти песни. По природе Торгом был скорее молчалив, и потому незнакомому человеку он едва ли показался бы интересным. До конца его знал только хозяин. Выберут, бывало, тропинку, пойдут по ней, и начнет Торгом свой неторопливый рассказ о безымянных героях, что родились не себе в радость, а народу во славу, тех, кто не жалея жизни, погибал за народ, оставаясь навечно в его памяти, как цветы этих гор, украшая и даря ароматом, каждый своим...

Торгом рассказывал так, будто видел перед собой всех тех, о ком речь вел. Потом он начинал петь. И Яври на крыльях песни уносился в далекие времена...

Обычно после бесед с Торгом Яври на другой день уходил охотиться один. Хотелось еще вспомнить о рассказанном. Ему виделись дела и мысли безымянных героев, виделись сами герои... Вон скала, высокая настолько, что уже давно зашедшее солнце еще освещает ее своими лучами. На скале видны развалины крепостной стены, уцелевшая сторожевая башня и часть арки каменной кладки. И все это на фоне голубого неба выглядит фантастически. Диву даешься, как туда могли подняться да еще и построить эту крепость. Яври закрывает глаза, задумается и видит, как люди снизу вверх, из рук в руки, подают камни, прямо в небо. И там работают мастера — стоят на скале и возносят в небо крепость, с башнями, с бойницами в стене. Он отчетливо ви-

дит этих мастеров. Видит и тех, кто потом бился в этих облачных высях против чужеземных захватчиков. Бился дено и ночью. Видит, что вот ущелье полнится убитыми врагами, иногда пуля или стрела чужеземца тоже вдруг поражают героя на крепостной стене, и он падает в ущелье, а в памяти Яври остается его лицо... Чего только не виделось юноше! Вот царь армянский, как простой воин, бьется сам и других храбрцев вдохновляет.

Всех Яври видит, как живых, может даже нарисовать их, так ясно видит...

Долог путь Яври, много на нем примечательного. Вот хачкар, гладкий, без росписи, таких в Вайоцдзоре много. Они установлены в память о павших в битвах армянских полководцах. И за ними Яври видятся образы героев, как бы оживающие персонажи рассказов Торгома...

Сегодня Яври тоже вышел один. На этот раз у него не было никакой цели — просто хотелось прогуляться вверх по долине Воротана. Вокруг шелестели склонившиеся над рекой ивы и чудо стройности — чинары. Как мудрые старцы о посох, опирались о скалы ореховые деревья. Тут и там мелькали давно сбросившие плоды и ожидающие осеннего увядания нежные и грустные вишни и черешни...

Чем дальше, тем больше ив и чинар. Только их. И еще цветов. Много-много цветов... И шум Воротана вперемешку с пением птиц... Яври шел с мушкетом через плечо, не переставая дивиться тысячекратно виденному. Иной раз вдруг прямо из-под ног выскочит заяц и замечется в поисках, куда бы ему в зарослях понадежней укрыться. Не знает бедолага, что у Яври и мысли нет в него выстрелить.

Незаметно Яври дошел до ущелья Ангехаког. В роще плакучих ив что-то необычно звенело. Яври остановился, прислушался. Глянул туда, откуда доносился звук, глаза ослепил сноп лучей. Яври чуть сдвинулся, чтобы лучше видеть, заглянул в овражек. Что это? Помигал глазами, снова заглянул. Диво дивное. Яври впервые видит такое. Сердце забилося тревогой: там, в овраге, под родниковой струйкой, стоял медный кувшин, на влажных стенках которого горели лучи солнца, а рядышком на камне сидела девушка, и от нее тоже шел свет, как в сказке. Опустив босые ноги в воду, девушка заплетала косу, перекинув через плечо другую часть своих еще распущенных золотых волос. Делала она это с удивительной грацией: склонив головку набок, медленно перебирала пальчиками и сосредоточенно смотрела в зелено-голубую воду. Вот она кончила плести косу, нагну-

лась, смочила пальцы, завязала косу узлом, перекинула за спину, и в этот миг сверкнула белизной ее стройная шейка. Потом, положив руку на грудь, она стала заплетать другую косу, опять же склонив голову и векинув бровь дугой.

Вот лучи солнца, метнувшись со стенок кувшина на родниковую струю, светлыми бликами отразились на лице, на волосах девушки.

Кувшин уже давно был полон, вода переливалась через край, но девушка, не обращая на это внимания, наслаждалась покоем, окружавшим мирный источник.

Яври бесшумно отошел назад и потом только, по другой тропинке, запев песню, чтоб не испугать девушку, пошел к роднику. Когда он подходил, она уже с кувшином на плече, быстро и ловко, как олененок, вышла из кустов.

— Сестрица, не откажи, дай глоток воды из кувшина, не то промочу ноги в овраге,— ласково попросил Яври.

Девушка остановилась и сняла с плеча кувшин. Взгляды их встретились. Она смутилась и с упреком опустила глаза. Ущелье, вокруг ни души. Сердце у девушки тревожно заколотилось. И только тогда она чуть приободрилась, когда юноша почтительно сказал:

— Не бойся меня, я сын шаапуникского мелика Исраела. Знакомый вашего мелика Сафраза. Меня зовут Яври. А ты чья дочь?

— Попова дочь,— коротко ответила девушка, спеша выбраться из оврага.

— Дочь отца Гедеона или отца Давида?

— Отца Гедеона,— уже охотнее ответила девушка, обрадовавшись, что сын мелика знает ее отца.

— Меня зовут Яври,— многозначительно улыбаясь, повторил юноша.

— А меня Рипсиме,— и румянец, который было сошел с ее лица, снова полыхнул на щеках.

Чтоб не очень смущать Рипсиме, Яври отпил две ладошки воды из кувшина и протерся. Но сквозь деревья он еще долго видел, как солнце то зажжется, то расколется на влажных стенках кувшина — пока совсем не угасло за первым домом. Но огонь, горевший на медном кувшине, исчез не совсем. Он проник в сердце Яври и разгорелся там жгучим пламенем...

С того дня Яври стал чаще обычного появляться в доме своих знакомых в Ангехакоте, бывать с молодежью, участвовать в играх и всегда при этом искал глазами Рипсиме. А как-то они встретились. И встреча их не осталась в тайне.

Скоро уже все знали, что сын мелика Исраела очарован дочерью отца Гедеона.

И вот новая встреча за Ангехаком, на зеленом лугу, среди громадных каменных глыб, между которыми течет речка, голубая, как само небо Ангехакота. Речка с шумом несетя в камнях и замолкает в траве, как ребенок, которому дали грудь и утихомирили.

Яври и Рипсима сидят на камнях и слушают шум воды. Оба молчат. На этот раз Яври не говорит своей Рипсима нежных слов, не целует ее лилейных пальцев, которые всегда так чудесно плетут золотые косы... На этот раз, встретив Яври, Рипсима тревожно спросила:

— Ты грустен, Яври?

И Яври не скрыл своей печали. Он рассказал, как встретил у Чертова моста Мегри Мелик-Фарамазяна с сыном Мхитаром и о том, что видел в Татевском ущелье...

После того-то они и молчат. И молчание это нельзя нарушить ничем...

Яври посмотрел вверх: между скалами голубело мирное небо. Он соскочил с камня и помог Рипсима тоже спуститься.

— Я пришел тебе сказать, что завтра уезжаю в Сркугинк. Спешно призывает к себе отец. Может, он болен, а может, дело какое важное. Вернусь скоро...

— Будет ли конец страданиям нашего народа, Яври? — сказала Рипсима, потрясенная всем, что услышала. В глазах ее блестели слезы.

Яври только руками развел. Как ответить, чтобы не солгать и не разбить сердце любимой?

— Если в мире все так же будет царить несправедливость — помучаемся-помучаемся, а потом и нас не станет. Но если волею бога восторжествует справедливость и пробудится человеческая совесть, мы еще живем...

Рипсима хотела спросить, а возможна ли в мире справедливость, и сама побоялась, что ответ вдруг окажется слишком жестоким. Пусть уж лучше ей не все будет ясно.

Яври почувствовал, что тревожит любимую.

— Как бы то ни было, сама по себе эта справедливость нам не явится. От нас потребуется много жертв и много терпения. — Яври обнял девушку за плечи, поцеловал в щеку и побежал по зеленому лугу к ивовой роще, где его ждал Торгом с оседланными лошадьми.

Рипсима, как испуганная лань, вытянув шею и вся напрягшись, долго смотрела вслед любимому. Так долго, пока Яври не выехал из рощи и топот копыт его коня не стих вда-

ли. А когда она наконец в полузабытьи направилась к дому, из камней вдруг вышел единственный наследник богатого рода Мазманынцев. Выставив ногу в трехе¹ из буйволиной кожи и в узорчатом чулке до колена, он остановился перед Рипсиме.

— Тебе разве неизвестно, что наши отцы сговорились о нас? Или для тебя обет твоего отца ничего не значит? — резко спросил он и сердито сгреб волосы с узкого своего лба, пытаясь убрать их под папаху. — Сын мелика совсем тебя с ума свел? Говори, не молчи. Тут вопрос чести. Твой отец дает людям слово, а ты тем временем с чужим парнем забираешься в камни? Кто может с этим смириться?

— Я не знала о том, что наши отцы сговорились. Если это так, пусть твой отец и разговаривает с моим отцом, а ты-то чего преграждаешь мне дорогу? — Рипсиме, не взглянув на Аствацатура, пошла дальше.

Он следовал за ней и все говорил:

— Выходит, втаптываешь в землю клобук отца? Где это видано, без ведома родителей водить шашни на задворках?

— Не мели глупостей, не то кину в тебя камнем, да тем, что побольше.

— Так, значит? Меня ни во что не ставишь? Что ж, посмотрим, кому ты в конце концов достанешься.

Аствацатур остановился на зеленом лугу. И снова угрожающе выставил ногу. Рипсиме мелкими легкими шажками побежала и скрылась за домом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Католикос² всех армян Акоп Джугаеци пребывал в скорби и смятении. Правая рука его, добрая, старческая, более шести десятков лет курившая ладан, смешивавшая миро, листавшая страницы священных писаний, сейчас лежала на серебряном кресте, что висел у него на груди. Святейший печально смотрел на крест, на руку. Скорбь обрушилась на него неожиданно, вслед за радостью. В тот день в Эчмиадзин прибыли посланники папы римского Клементя X, священ-

¹ Трехи — род лаптей из сыромятной кожи.

² Католикос — глава армянской церкви.

нослужители Пископо и Петик, с тем чтобы засвидетельствовать принятие католикосом Акопом новой веры. И это не вопреки его воле. Целых восемь лет, борясь с собой, католикос вел переговоры с Римом. И вот прибыли... Приезд этих людей поначалу даже обрадовал святейшего, но затем... огорчил. Обрадовал потому, что вроде бы должно наконец сбыться пророческое провидение Нерсеса Партева, который ещё шестьсот лет назад утверждал, что настанет время и на помощь к томящимся под игом неверных христианам победным маршем придут римляне или франки. Придут и уничтожат ненавистное господство.

Католикос Акоп тоже верил в это, лелеял мечту о свободной Армении с армянским царем на троне, выступающим в единстве с всемогущим Римом, против гнета турок. И только во имя этого он, духовный пастырь всех армян, должен не далее как завтра в патриаршем соборе перед всей своей паствой отказаться от «раскола» и слезно молить «заблудших агнцев» принять «истинную» веру — должен дать обет смирения и покорности первосвященнику Рима...

Именно эта неизбежная и счесь тяжкая необходимость тревожила сейчас душу верховного пастыря армян. Нелегка задача отказаться от того, что унаследовано от предков как глубокое убеждение, от того, что исповедовал и проповедовал на протяжении всей жизни. Особенно трудно обнажить свое кровоточащее сердце перед паствой, убедить ее, что все это делается во имя народа, во имя армян, у которых нет иного пути к спасению...

Святейший поднял взгляд, провел рукой по седой голове, встал, подошел к узкому оконцу своего обиталища. Снаружи пахнуло свежестью — только что прошел небольшой дождик. На сказочной ясности вечернего апрельского неба величественнее обычного светились вершины Масисов¹. Под снежными шапками стелился бирюзовый туман... А совсем близко на склонах буйно цвели деревья, в зелени попрятались дома, и над ними высился, осененный крестом купол церкви святой Гаянэ. Во всем было какое-то радостное предчувствие. Так, по крайней мере, казалось святейшему, и это сознание несколько утешило его. Вся страна жила словно бы в ожидании своего далекого рассвета и прощала духовному пастырю его «вину», ценою которой должен наступить этот рассвет.

В как бы затуманенных дымом ладана, задумчивых глазах

¹ М а с и с — армянское название Арарата. М а с и с ы — большая и малая вершины горы.

католикоса вдруг блеснули слезы радости, успокоенной совестью. Отойдя от окна, он снова сел в кресло, по-прежнему положив руку на крест, и стал ждать.

Неслышно, с горящей свечой вошел дьякон Сократ и зажег два трехсвечовых канделябра. Тотчас же в книжных шкафах, на столе, в нишах, на крестах, на золоченых переплетах и окладах книг заиграли блики света.

— Да возблагодарит тебя бог, сын мой,— оторвавшись от дум, сказал католикос.— А теперь поди-ка и передай епископам Усику и Варфоломею, пусть проводят гостей ко мне. Не сюда, а в патриаршие покои.

Сократ, высоко держа в руке свечу, так же неслышно удалился, а святейший снова принял привычную позу и сидел так, пока дьякон не вернулся проводить его в патриаршие покои.

В сопровождении епископов гости поднялись по стертым каменным ступеням и вошли в большую залу. Здесь царило торжественное спокойствие, пахло лампадным маслом, со стен взирали подвеченные голубыми бликами лики святых и причисленных к святым прежних владык этих покоев, умерших католикосов. Взгляды их были устремлены на узоры устилающих пол ковров, на кресты и распятия, а у иных и в небо.

И чем-то все эти святые были очень похожи. Может, тем, что едино внушали веру и почтение к себе?..

Все четверо вошедших, не стовариваясь, едва переступили порог, склонили головы и перекрестились перед таинством исполненного особого смысла покоя этой залы. Затем под взглядом святых чинно прошли из конца в конец, свернули налево, вошли в дверь покоев патриарха и там, слутившись вниз на две ступеньки, предстали перед католикосом.

Гостям в первый миг показалось, что перед ними на троне не католикос, а сам бог. Он весь был белый. Из-под нависших бровей, как из-под пепла, светились полные неизбывной мудрости глаза.

— Приветствуем тебя, святейший! Благословен Иисус Христос! — почтительно склонившись, сказали гости.

— Во веки веков благословен! — ответил на удивление густым, звучным голосом католикос и, осенив крестным знаменем, пригласил гостей садиться.

— Прими добрые пожелания папы, святейший! — садясь ближе других к католикосу, сказал Пископо.

— Благодарение первосвященному Клементу.

— Как здоровье святейшего? — это опять спросил Пископо.

Католикос, благостно улыбаясь, сказал:

— Может, во мне и есть какая хворь, но заботы моей паствы заставляют меня забыть обо всем, и да вселят они в меня силу и мудрость, чтобы я смог довести до бога наши страдания и милостью всевышнего найти выход.

— Я думаю, выход уже есть, слава господу?.. — проговорил Пископо.

— Настал час милосердия! — подтвердил его слова армянин-католик Петик. — Я доволен, святейший, что ты наконец решился превозмочь себя ради истинной веры и ради паствы своей!..

— Только во имя Дома армянского!.. — Католикос вдруг выпрямился, поднял голову, словно нашел для себя слова убеждения. — Пригласив вас сюда в этот неурочный час, мне хочется, прежде чем я завтра, преклонив колени, отрину нашу святую просветительскую веру, заявить следующее... — Святейший на миг закрыл глаза и тряхнул головой. — Хочется заявить, что если я, приняв католичество, скажу, что тотчас стал католиком, и вы в это поверите, значит, я — не я, а вы заблуждаетесь. Нам назначено быть смиренными слугами господа на земле, и мы обязаны душу, которой он наделил нас и которая к нему же возвратится, сохранить в непорочности. Приняв формально католичество, в душе я останусь приверженцем своей веры, приверженцем церкви святого Григора Просветителя. Возможно, что бог накажет меня за двуличность, предаст мою душу вечным мукам в небесном аду. Но и тогда меня будет утешать мысль о том, что грехопадением своим я служил пастве, спасая ее от земного ада, от физического истребления!.. — Святейший снова, закрыв глаза, тряхнул головой и зажал в ладони нагрудный крест. — Если вы слушали внимательно и поняли меня, молю, будьте добры к нам и говорите правду. Не может ли случиться, что после всего вами слышанного и папа Клемент, а с ним и все римляне, все приверженные католичеству государства останутся столь же равнодушными к нашей горькой судьбе, как равнодушны сейчас наши единоверцы?

— Нет, нет!.. — в один голос заверили Пископо и Петик.

— Господь всемогущ! — католикос воздел руки и глянул в небо, будто видел там самого бога.

Пископо искренне сказал много обнадеживающих слов. Многое он говорил от имени папы — твердо и уверенно за-

веря. Потом еще заверял в своей личной преданности. И Петик, который, сам будучи из нахичеванских униатов, все предшествующие восемь лет уговаривал католикоса принять католичество во спасение армян и сейчас был здесь по поручению самого папы римского, тоже вставил свое слово.

Святейший уже не сомневался, что настал час исполнения его заветной мечты, стоит ему прожить еще только один год, и он увидит народ свой свободным от ига нечестивцев. Увидит и спокойно закроет глаза навеки... Так, убежденный в правильности своего решения, на следующий день — второго апреля, в четверг — католикос Акоп Джугаеци в первопрестольном патриаршем храме, в присутствии бесчисленного множества людей принес обет смирения и покорности первосвященнику римской католической церкви.

По окончании церемонии Акоп Джугаеци еще на какое-то время задержал у себя посланцев папы Клементя, чтобы хоть отчасти показать им, какие муки испытывает армянский народ и его церковь от персиян и турок, каким осквернением подвергается все, что свято армянам, как их грабят, угнетают, убивают, уводят в полон. При этом католикос присматривался к Пископо и поверил, что он искренен в своем намерении стоять на защите интересов армян...

Но вот миновала пасха, и католикос, вручив Пископо письма и прошения, сказал:

— Итак, в добрый путь. Я буду молиться, чтобы живой и невредимый ты дошел до места и рассказал обо всем, что видел и слышал, тем, кто из любви к богу пожелает протянуть руку помощи нашему истерзанному народу.

Пископо не суесловил, он только с почтительностью пожал протянутую руку католикоса, приложился к ней и, взглядом сказав то, что не мог выразить словом, удалился.

Католикос понял его и остался доволен...

Возвращались Петик и Пископо через Дербент, далее Каспием переправились в Астрахань, потом через Россию прибыли в Вену. В пути Петик на свежую память записал все, что видел и слышал в Армении. На третий день пребывания в Вене он добавил в своем дневнике: «Хороший день. Была гроза с молнией, громом и проливным дождем. Потом засверкало солнце: на небе, на земле, отраженное в лужах, на куполах. Всюду. И было это подобно судьбе армянской. О, господи, да помоги сотвориться доброму! Сегодня Пископо был принят императором, поведал, как трагично положение христианской Армении под игом иноземного владычества, как древний и некогда сильный народ сейчас взывает

о помощи, надеясь и на поддержку Австрии. Пископо передал монарху письмо католикоса. Император сказал слова, вселяющие надежду, дал обещания, и защитник интересов армян Пископо приободрился. Повидался он и с императрицами — вдовствующей и ныне царствующей».

Из Вены путь Пископо лежал прямо в Рим, с которым были связаны все надежды армянской церкви...

Католикос Акоп с большим вниманием и надеждой следил за развернувшимся в Европе движением в защиту армян. Следил и радовался тому, с какой энергией и преданностью действовал Пископо, при прощании скромно умолчавший о том, как именно он собирается завоевывать в Европе сторонников Армении.

Но извечно так было: едва армянам улыбнется солнце, откуда ни возьмись появится и черная туча. Так случилось и на этот раз: задавшийся целью поднять в защиту армян весь христианский мир, Пископо неожиданно скончался, что искренне опечалило католикоса и вызвало в нем несказанное душевное смятение. Но католикос Акоп не потерял своих надежд. Больше того, как наседка, которая в минуту крайней опасности готова вступить в бой с орлом, только бы спасти своих цыплят, он стал еще более решительным.

Вот уже свыше двух недель Акоп Джугасци не знает ни отдыха, ни покоя. Рассылает людей в Арцах, во все концы Сюника, сзывает меликов, будто бы на церковное празднество. Это чтобы хану в Ереване глаза отвести. Не то настоится, чего это меликов в Эчмиадзин собирают...

Ранним утром над Араратской долиной зазвонили колокола всех церквей и монастырей. Праздничное шествие началось в Вагаршапате. Отовсюду стекались паломники. Шли разные люди: крестьяне, мелики. В праздничном стечении народа едва ли кто мог обратить внимание на меликов из дальних мест, старавшихся незаметно влиться в толпу.

Как всегда, не дремали и кэлбаши. В этот день их было особенно много. Все на конях, они то и дело заезжали прямо в гущу людей и при этом размахивали плетью во все стороны — чаще просто так, для острастки, а то вдруг и хлестнут иного, чем-то не понравившегося им человека...

Люди, чем больше их угнетают, тем они делаются тверже в своей приверженности вере. Потому и праздник этот сейчас имел для армян особое значение. Была бы их воля, колокола церквей звонили бы непрерывно, а сами бы они молились своему богу и говорили бы... Власть говорили бы по-армянски, дабы утверждать, что язык их не может умолкнуть во

веки веков, и молитвы тоже; что с песней и словом они пришли в этот мир, с песней и словом и жить будут. И праздник этот был, есть и будет. И нет такой силы, которая сумела бы заглушить все это, заглушить звон священных колоколов...

Истово звучит зурна, бьют барабаны, да так, словно хотят что-то доказать обнагловшим кзлбашам. Что-то хотят сказать-доказать и канатоходцы, совершающие чудеса на фоне синего неба, молодец, подстегивая коня, когда проезжает мимо кзлбаша, и крестьянин, понукающий осла...

Но вот уже вечер, все постепенно стихло, успокоилось — и люди и город. Последние удары колоколов угасли в голубоватом вечернем дымно-туманном мареве. Погрузилась в темноту и тишь еще недавно полнившаяся непрерывной жизнью столица армян — Вагаршапат. Город стал как плененный царь, истерзанный и состарившийся во вражьей темнице. Истерзанный, но не потерявший надежды. И хоть вместо мантии на нем рубище, он царственно величествен.

Погрузилась в темноту столица, натянула на себя черное покрывало ночи и уснула со свими тревожными думами и заботами, осененная торжественными вершинами гор и крестами куполов бесчисленного множества церквей и монастырей... Уснула? Нет... Это только казалось, что уснула. Столица жила, бодрствовала. Успокоенность ее была мнимой.

2

В серебряных подсвечниках еще мерцали наполовину оплывшие свечи. Роняя блики на распятия, на задумчиво молчавших людей, светился крест на груди у восседавшего на троне католикоса Акопа. Желтыми, как пергамент, руками он крепко держался за подлокотники. На безымянном пальце фиолетовыми искорками горел перстень. Морщины вокруг глаз словно бы расправились, зато мешки под глазами набрякли больше обычного...

Католикос уже все сказал. Говорил он долго, взволнованно и кончил так, что другим, прежде чем отозваться, надо было многое взвесить.

Святейший с грустью смотрел на распятие Христа-спасителя и ждал. Слева от него восседали пятеро чернородых в клобуках. Ближе других епископ Сурен из Татевской епархии, крупный, широкоплечий, с орлиным носом — ноздри взалет, нижняя губа чуть отвисшая. Прямая посадка головы на крутой шее говорила о силе и уверенности этого человека, черные, как бархатные, глаза выражали недюжинный ум. Всем своим обликом епископ казался воином, волею

судеб принявшим сан священнослужителя. Силу и мощь его особенно подчеркивала тщедушная фигура маленького, худосочного архимандрита Саака из Шаапуникского архиепископата. Рядом с ним архимандрит Арутюн из Нахичевана, нестарый человек с темно-каштановой бородой, с живыми, подвижными глазами. Из свиты католикоса здесь были архимандрит Гарегин — поперек себя шире, румяный, курносый, с круглыми, навывкате глазами и редкой бородкой — и самый после католикоса пожилой из присутствующих архиепископ Давид — человек с печальным взглядом и маленьким лицом, опущенным непомерно большой бородой. Был здесь и протоперей Месроп — самый молодой из всех, бородка клинышком, глаза грустные с поволокой, — монастырский секретарь.

Справа от святейшего расположились мелики. Шаапуникский — Израел Прошян, плечистый, грудь колесом, большие усы, с суровым взглядом чуть раскосых глаз. Рядом с ним мелик Ангехакота Сафраз. Заложив руки за пояс, он выгнул бровь и о чем-то размышляет. Мелик Дизака Еган — человек молодой, светловолосый, с лихо закрученными усами. Положив крепко сжатый кулак на колено, он так пристально уставился на пламя свечи, что казалось, оттого оно и трепещет и вот-вот погаснет. По соседству с Еганом — мелик Кашатахка Амирбек. Этот сидит с закрытыми глазами, но лицо дышит гневом. У брнакапского мелика Мелкона на широком лбу странные круговые морщины, которые он все поглаживает дрожащими пальцами. Непокойно перебирает свою черную бороду сын Агадажана Яври.

Мелик Арцваника Пилипос, оперевшись лбом на одну из ладоней, пальцами другой крутит свой рыжеватый ус. Мелик Дзагедзора Шахназар удивленно смотрит на католикоса, сказавшего такую взволнованную речь...

Задумчивое молчание меликов и духовных отцов последовало за словом католикоса, поведавшего о том, какие беды вновь и вновь сотрясают страну то в одном, то в другом ее конце. Рассказал он о событиях в Европе, связанных с армянским вопросом. Сообщил горестную весть о смерти Пископо.

— Если мы хоть на миг перестанем поддерживать огонь, он погаснет, — сказал католикос. — Погаснет, мы сгинем во мгле, и никто нас на помянет. Вон с какой легкостью хан ослепил в Татеве прославленного воина Мегри Мелик-Фарамазяна и его сына. Хндзорескцы не простили этого. Они подняли восстание. Но что может сделать одно село против целой державы?.. Им, правда, удалось разгромить первые

отряды врага, но в конце концов противник одолеет их, и Хндзореск будет подавлен. Его даже может вовсе не стать — хндзорескцы ведь заявили, что пойдут на смерть, но униженный впредь не потерпят. И верно, больше эдакое терпеть невозможно!..

Католикос закончил свою речь призывом ко всем присутствующим во что бы то ни стало изыскать путь к спасению народа...

Над тем сейчас и задумались все, кто собрался в столь поздний час в Эчмнадзине.

Первым заговорил шуплый архимандрит Саак. Выдвинувшись вперед, он затянул своим певучим, привычным к молебнам голосом.

— Святейший отец наш! — сказал он. — Мелики армянские, духовные отцы! Мы не можем допустить, чтобы голос наш, уже услышанный в Европе, замолк раньше, чем он не достигнет слуха и совести каждого истинного христианина во всех европейских государствах. И это должен быть наш собственный, набатом бьющий голос, а не его эхо. Сполна всю боль и горечь нашего положения знаем только мы. И потому мы, а не кто другой, должны стнать и звать!.. Потому именно нам надо не откладывая, сейчас, здесь, как сказал нам святейший католикос, выбрать людей — из мирских и духовных отцов — и направить их в Европу. Представляя народ армянский и его церковь, посольство это должно совершить все возможное для спасения народа и страны. Иного выхода у нас нет!..

Все собравшиеся оживились, заговорили друг с другом.

— Я думал о том же, — сказал архимандрит Арутюн. — Не стану повторяться. От души поддерживаю все сказанное отцом Сааком. Только так и разумно действовать!..

— А я не боюсь повториться, — выпрямился в кресле мелик Мелкон. — Верно сказано. Да, мы должны наконец действовать, если не хотим окончательно потерять то, что предки наши веками сберегали и отстаивали кровью в боях. Нам следует применить всю силу ума и оружия нашего. В дни таких тяжелых испытаний мы должны быть едины, как никогда. Сейчас наша мощь ослаблена. Не приведи господь допустить разлад и междоусобицу. Сила народа в его единстве. Я согласен, что надо послать наших людей в христианские страны: пусть мир знает, что творят с нами. Посланцам предстоит нелегкое испытание. Что верно, то верно. Но люди, принявшие на себя тяготы странствий, лишений, оторванности от близких, от дома, должны быть уверены в

том, что оставшиеся здесь тоже не бездействуют. Что бы ни сделали для нас народы других стран, это будет всего только помощью. Основной нашей силой был и остается народ армянский. Но нам нужно оружие и войско. Как все это добыть и сберечь перед носом у врага — надо обдумать...

— Насилие можно одолеть только ответным насилием. Это так! — вступил в разговор мелик Еган, несмотря на молодость уже снискавший славу храброго воина. — Мы все должны быть вооружены и готовы к отпору — и стар и млад, и мужчины и женщины. Не хватит железа, перекуем на оружие колокола наших церквей. Бог простит нам, ведь мы все делаем во имя веры и народа. Да, мы должны быть едины. Но единства мало. Враг наш силен и многочислен. На опыте бесконечных войн с нами он знает наши слабости. В битве против сильного и численно превосходящего противника многое значат ум, дальновидность и ловкость. Дипломатия часто бывает действеннее любой войны. В ней обычно побеждает ум. Надо принять все меры предосторожности, чтобы голос наш, обращенный к Европе, не был бы услышан здесь, нашим врагом. Исходя из горького нашего опыта, мы не должны очень уж полагаться на обещания и надеяться, что помощь обязательно будет получена нами. От злого глаза даже камни дробятся...

Святейший с одобрением слушал мелика Егана, время от времени кивая ему в знак согласия.

— В какие страны пойдут наши люди, перед кем преклонят колени?.. — вдруг вскинувшись, высокомерно спросил епископ Сурен. — Кому кланяться будут?..

Вопрос его был неожиданным, явно тенденциозным. Все удивленно переглянулись и воззрились на католикоса, только архимандрит Гарегин продолжал перебирать четки.

Святейшего тоже и удивил и огорчил вызов отца Сурена.

— Просящему приходится преклонять колени, святой отец! Высокомерие поверженному не помогает. Не знаю, зачем ты такое говоришь...

— Я все понимаю, святейший. Но если бы, преклоняя колени, нам бы еще и знать, что в этот миг нам никто не смеется в спину.

— Этого мы увидеть не можем, поскольку, преклоняя колени, склоним и голову, как ты и сам это сказал.

Католикос был явно недоволен отцом Суреном.

— Святейший, пусть епископ разъяснит свои слова, — слышим, простуженным голосом сказал отец Гарегин, не пе-

реставая перебирать четки, которые, мерно позвякивая, легко скользили у него между пальцами. — Мне думается, он о другом. Он не против преклонить колени, но ради того, чтобы потом твердо встать на ноги, — тихо, будто читая на четках мысли отца Сурена, продолжал Гарегин. — Он хочет, чтобы мы здесь, сейчас, решили, у кого просить желаемое. Перед кем опуститься на колени, с верой, что именно в нем найдем опору? Я понимаю отца Сурена. Меня преследует тот же вопрос.

Святейший поднял руку и заговорил.

— Неужто же вам еще неизвестно, что все наши надежды связаны с папой римским, с Римско-Германской империей и с Францией?! — сказал он.

— А мне кажется, что у нас одна надежда, и это Россия! — твердо и убежденно проговорил епископ Сурен. — Без корысти в этом мире никто не приходит на помощь другому. А какая в нас корысть этим дальним государствам? Великой Армении больше нет... нас четвертовали. Оставили всего ничего. А за нами стелется Османский султанат. Кто может протянуть нам руку помощи через него? Русским, только русским есть резон прийти к нам на помощь. От них нас разделяет Грузия, которая не в лучшем положении, чем мы. Страна наша в клещах. Если России не удастся полностью разжать эти клещи, то она по крайней мере не позволит сдавить их до конца и смять нас. О помощи мы должны взывать только к России. Если нам и суждено существовать как обломку некогда сильного народа, то лишь под покровительством России! Я сказал все, что думаю.

Воцарилось выжидающее молчание. Монастырский секретарь, отложив перо, с покорностью смотрел на католика. Святейший был погружен в свои думы. Молодой протоиерей не тревожил его, дал сосредоточиться, но взгляда с него не сводил. Все почувствовали, что монастырский секретарь тоже хочет говорить, и с любопытством ждали. К нему относились с симпатией и уважением, несмотря на молодость.

Вот святейший, как бы очнувшись, посмотрел вокруг. Присмотрев просительный взгляд отца Месропа, он понял его и одобряющим кивком головы предложил говорить.

— Отец Сурен весьма своевременно высказал свое суждение, — начал Месроп. — Возводя наше строение, нам следует прорубить в нем два окна — одно к солнцу, другое к России. Окно в сторону России не для того, чтобы впустить к нам свет, а для того, чтобы обрести надежду и веру. —

Чуть помолчав, протоперей продолжал:— Между нами и русскими есть точки притяжения друг к другу. Интересы наши различны, но мы нужны друг другу. Православные по вере своей, русские по натуре благонравны, человечны, умеют держать слово. Но...— святой отец снова сделал паузу.— Но сейчас, отец Сурен, пока еще не время раздвигать штору на нашем окне, обращенном к России. У них сейчас свои трудности, и внутри страны, и в отношениях с соседними государствами: и турки теснят через крымского хана, и Польша никак не покончит с ними счетов. Россия пока не в силах кому бы то ни было помогать. Обращаясь к ней при таких обстоятельствах, мы только рискуем обнаружить свои намерения перед врагом, не получив желаемого. Сейчас нам есть резон просить помощи у других, более сильных государств. Потом ведь можно и отойти от них. А со временем, когда Россия соберется с силами, она и сама неизбежно устремит свое внимание на юг, тогда мы и попросим у нее покровительства, и тогда уже навечно!..— Месроп перевел дыхание и добавил: — Мы ослаблены настолько, что нас не трудно и совсем заглотить. Русский царь тоже не из жалостливых. Но мы, народы со схожими судьбами — армяне, грузины, аджарцы, — в единстве друг с другом будем не очень-то удобоваримым куском, — вместе нас и заглотишь, так не переваришь. С нами христианскому соседу разоннее жить в союзе. Так оно и будет. Но это я говорю о далеком будущем. А сейчас выход один, тот, что видится святейшему. Непременно следует направить наших людей в Европу. Миссия эта должна сохраняться в строжайшей тайне. Узнают враги — все пропало.

Отец Сурен молчал. И по лицу было видно, что он не собирается стоять на своем.

— Все ясно, — заговорил Сафраз. — Выберем делегатов и закончим. Возглавить их должен, по-моему, святейший, чтобы лично явиться к папе, присоединиться к его вере и заявить о нашем желании стать подданными трона святого Петра и святого Павла. Католикоса пусть сопровождает достойнейший из нас — и умом, и деяниями, и славою рода своего — мелик Израел Прошян. Вот что хотел сказать я.

Святейший окинул взглядом сидящих. Лица всех говорили об одном.

— Я доволен, — проговорил он, — что были высказаны разные суждения и что в завершение все пришли к единому мнению. Отчески благословляю вас за то, что в этот тяжелый для нашего народа час вы, его мирские и духовные

отцы, проявили мудрость и рассудительность. Я увидел, насколько глубоко вы понимаете всю нашу трагедию и ту опасность, что нависла над нами. Увидел, с какой серьезностью вы взвешивали все «за» и «против», с какой заинтересованностью высказались и обсудили мнения друг друга. Да пребудет с вами благословение спасителя нашего, Иисуса Христа! Да благословит он этот нерасторжимый союз! Аминь! — Католикос осенил крестом всех присутствующих.

Затем мелик Сафраз сказал, что двух делегатов, конечно, мало, и потому...

— Мало, очень мало. Надо по три человека — из мирских и из духовенства, — предложил мелик Пилипос.

— Правильно, — согласились все.

— Отца Сурена!..

— Мелика Шахназара!..

— Архимандрита Гургена...

— Мелика Мелкона...

Секретарь записал имена. Возражений не было. Только католикос сказал:

— А мне-то ведь уж восемьдесят исполнилось, не по силам, пожалуй, миссия!

И он улыбнулся, морщинки у глаз сбежались в пучок.

— Неужто, святейший, ты чувствуешь себя постаревшим? — скрипучим голосом спросил архиепископ Давид. — Кто же, кроме главы нашей церкви, может явиться к папе римскому?

— Архиепископ Давид прав! — согласились собравшиеся.

Католикос всех армян еще с минуту молча улыбался. Потом словно облако прошло по его лицу — улыбка погасла.

— Есть у кого-нибудь другие предложения? — спросил он.

Все молчали.

— Итак, решено.

— Когда отбывать? — спросили.

— Сообщим, как только все будет готово.

Синева в небе посветлела. Занималась заря, когда окончился тайный совет в Эчмиадзине...

Католикос остался один в покоях. Он несколько раз прошелся взад и вперед. Подошел к окну. Кусочек ясного неба уже побагровел. Все жило торжественным ожиданием рассвета. Вот показалось солнце. Святейший сощурился, вдруг оснившим, старческим голосом, в котором прослушивались нотки былой звучности и мягкости тембра, проговорил про себя: «Господь наш всемогущий, сегодня и во веки веков, мы

возглашаем: велик ты и чудотворны деяния твои. Никто не смеет сетовать на тебя, потому как волею твоею живет все сущее, твоим могуществом и твоею мудростью возвышается все живое, твое провидение правит миром!..»

Солнце совсем поднялось. Оранжевым пламенем засветилась Араратская долина.

3

Вот уже несколько дней на скалах Вайоцзора громоздились поздние осенние тучи, сеял мелкий холодный дождь. Как-то вечером дождь разошелся, но вскоре после того совсем перестал. Тучи разошлись, и небо улыбнулось.

Егенис бесновался от многоводья.

Мелик Израел промок до нитки за дорогу. А коня тем не менее держал на рысце, не торопил. Из Эчмиадзина он выехал вместе с меликом Сафразом и расстался с ним только недавно. В пути они чистосердечно обо всем поговорили, отчего еще больше растревожились души. И потому сейчас мелик Израел даже с удовольствием мок под дождем. Ведь не то, чего доброго, сгорел бы от сжигавшего внутреннего огня.

Черный конь, выгнув шею, мерно выстукивал подковами по каменистой горной тропе. На одной из развилок он на мгновение приостановился, помотал головой и свернул вправо. Мелик только тут сообразил, что перед ним уже Болораберд. Чуть спустя, по ходу дороги на западе, из туч вдруг во всем своем величии заблестел храм Пресвятой Богородицы. Но скоро он снова исчез в тучах, как покрывалом укрылся.

Мелик Израел придержал коня и, глянув на облака, укутавшие храм, перекрестился. Рука осталась на груди, готовая повторить знамение еще и еще раз. Мелик глубоко вздохнул. Вспомнились патриархи его рода: Ахбак — сын Гасана, Хачатур Къечареци, спарпет Васак Хаченц, Прош, Амир-Гасан, который построил этот храм, Григор Геракаречи, Мкртич Спитакавор, архимандрит Давид, епископ Закаре и другие прославленные имена, вечно живые для народа и для него.

Мелик Израел снова перекрестился. Мрачными были думы, так сегодня расстроившие этого человека несгибаемой воли. Ему представилось, что вдруг может иссякнуть род Прошянов, и виделось это столь отчетливо, как, бывает, видишь падающую звезду на ясном небосводе.

В тучах снова показался храм Пресвятой Богородицы. Мелик опустил голову и тронул коня.

Когда до крепости Сркугинк оставалось всего несколько метров, телохранители соскочили с коней и стали по обе стороны въезда. И пока открывали ворота, мелик, покачивая головой, изучающе рассматривал герб Прошянов (лепные львы по одну и по другую сторону арки), будто впервые его видел. Но вот ворота раскрылись, он спешился, передал телохранителю уздечку и вошел.

По каменным ступеням навстречу ему быстро спускался Яври. Мелик обнял сына, на миг прижавшись голова к голове, и спросил:

— Ты давно здесь?

— Нет, недавно.

Мелик внимательно посмотрел на Яври. Сын был бледен и не в настроении.

— Как дела, какие новости?

Яври промолчал. Они поднялись на балкон, и отец уже с беспокойством повторил:

— Как дела, я тебя спрашиваю? Как себя чувствуешь? Почему не отвечаешь?

— Ну что тебе сказать?.. — Яври вздохнул.

— Я вижу, ты устал. — Мелик понял, что у сына не очень приятные вести, но не настаивал на откровенности — сегодня он и сам уже без того переполнен волнениями. — Поди отдохни, а завтра поговорим.

— А ты откуда, отец?..

— Завтра, сын мой. Обо всем завтра! — повторил он, взглядом давая понять, что значительность того, о чем он ему поведал, не позволяет делать этого на ходу.

Они расстались. Отец пошел направо по галерее. Шаги его гулко отдавались на каменных плитах пола, но вот он поднялся по лесенке в четыре ступени и вошел к себе в комнату.

Яври остался стоять на месте, потом начал медленно прохаживаться по балкону. Шагал и думал. И мысли обрачивались зримыми образами. Ему виделась долина Ангахакота, в ней — ивовая роща. Там в камнях журчит родник, а за ветвями видна девичья головка, покорно склоненная на плечо. Полуприкрытые глаза, ротик бутонем, золотая коса по округлому плечу, спускающаяся на высокую грудь, и пальцы-лилии — они перебирают пряди волос, и коса становится все длинней и длинней. Яври видит сверкающий медный кувшин, он луженый и потому кажется белым. На нем

растрескалось солнце, и блики отсвечивают на лицо, на грудь девушки... Вот юноша слышит свой голос: «Меня зовут Яври» — и голос девушки: «А меня — Рипсима»...

Яври подошел к каменным перилам балкона, посмотрел в туманную даль. В овраге осели облака. Зеленая вершина Вардаблур высвечивалась солнечными лучами на ясном небе. А со стороны ущелья Гладзор облака поднимались к Болораберду, к Сркугинку, и дул холодный, влажный, пахнущий туманами ветер.

Яври снова зашагал по балкону и задумался. Но теперь уж о другом. Теперь ему рисовался храм Воротнаванк, восстановленный на высоком, лесистом холме из далей десятого века. Порождение гения, храм этот смотрится в буйные воды Воротана и от горя, того и гляди, обрушится на мир, чтоб под руинами своими навсегда похоронить несправедливость...

Так казалось Яври и тогда, когда, однажды проведя в храме ночь, он потом на другой день продолжал путь к Татевскому ущелью. Тогда он пережил страшное... Татевское ущелье. Вот оно. Но что это? Ущелье полнится растерзанными трупами, а над ними кружат крикливые стаи хищников. Из щели в скале, там, где левая стена храма, кто-то упал вниз. Это девушка. Коршуны сразу набросились на нее...

Тогда тоже храм готов был обрушиться, но... Яври выстрелил из мушкета...

— Яври?! — встревоженно позвала сестра.

Юноша очнулся. На лестничной площадке стояли сестра Ашхей и братья Вардан и Мамикон. Они с укором смотрели на старшего брата.

— С тобой что-нибудь случилось, Яври?.. А если ничего не случилось, тогда и вовсе все плохо!.. Тогда, выходит, сердце твое стало каменным. По отношению к нам. Больше двух месяцев тебя не было. А теперь, когда наконец приехал, почему-то прячешься от нас!..

Яври в ответ только грустно улыбнулся.

— Если ты завтра возьмешь нас с собой на охоту, значит, сердце твое не окаменело и ты не устал, — выпалил Вардан.

— Правда, возьми нас завтра на охоту, — обрадовался Мамикон, — диких козлов даже отсюда видно, когда смотришь на горы...

Яври взъерошил черные кудри младшего брата и пообещал непременно взять обоих на охоту, но только не завтра, а в ближайшее воскресенье.

— Ты, случайно, не влюблен? — шепнула ему на ухо

Ашхен и улыбнулась: — Не сердись, я так. — Она радостно поцеловала брата, сердцем почувствовав, что угадала.

Яври ничем себя не выдал.

— Зря ты гадасшь. Просто я очень люблю смотреть с нашего Болораберда на Шаапуникские горы, и больше ничего... Видите, как там прекрасно, какой закат?..

Закат в голубовато-зеленых горах Шаапуника действительно был необыкновенный. После проливного дождя небо сделалось чистое-чистое, и солнце, словно прекрасная дева после купанья, спешило укрыться за голубым занавесом гор. А так как скрыться от восторженных взглядов не очень-то просто, оно улыбалось всей своей наготой. Улыбались и островерхие шапки Шаапуникских гор.

Прохладный ветер доносил из напоенных дождями далей ароматы цветов и трав и чудные, едва уловимые звуки природы.

Мгновение замороженные дети мелика молчали.

— А за какой горой затаилась твоя любовь, Яври? — тихо выдохнула и сама влюбленная Ашхен. Так тихо, чтобы младшие братья ее не услышали. — Может, за той самой, за которую солнце заходит? Хотя нет, ты ведь приехал из Сисавана, а это в другой стороне?.. — сказала она и сама посмотрела туда, где заходило солнце, где был ее любимый. Посмотрела и вздохнула...

— Она и не в той, и не в другой стороне, а вот здесь! — Яври положил руку на сердце и засмеялся, словно бы шутил.

Ашхен очень не хотелось, чтобы это было шуткой. Она взяла Яври за руку и потянула к себе:

— Ну идем ко мне. Расскажешь, как тебе жилось без нас, как проводил время. И кто она? Что ты?.. Это у тебя недавно или, напротив, так давно, что больше не можешь скрывать?..

— А я хочу, чтобы ты мне про охоту рассказал, — потянул в свою очередь брата Мамикон...

4

В Эчмиадзине мелик Израел не проронил ни слова. Не потому, что обсуждаемый вопрос его не интересовал. Вовсе нет. Он как раз был из числа тех меликов, кто постоянно озабочен судьбой народа и ищет путей к его спасению. Просто там он молчал, потому что мысли его занимало другое. Мелик Израел был назначен в число делегатов, и в этом ему виделась гибель его меликства. Он мог бы привести веские доводы и остаться в стороне. Но не сделал этого, понимая, что путь

к большой цели неизменно связан с большими потерями, с болью, которые в случае успешного завершения дела забудутся.

Тревожимый общей бедой, самый могущественный мелик Сюника тем не менее не мог не думать о возможной своей гибели. А его гибель — это уже гибель одного из последних отпрысков древа старейшего рода Ахбакян-Прощанов.

Мелик Израел жил по соседству с нахичеванским ханом Шарифом. С ханом, который, как рак, наложил свои клешни на армянские земли и стремился сковать их. Он заселял этот край племенами своих единоверцев и их руками уничтожал армян или угонял в плен, в глубь Персии. С каждым днем все больше пустели армянские села. А так как мелик Израел был опорой сил сопротивления в этих землях, чем, понятно, ограничивал действия хана, его силу, не давал ему чувствовать себя вечным хозяином Нахичевана, Шариф решил во что бы то ни стало уничтожить и мелика и весь его род и дотянуться до Шаапуника, а там и до крепостей Сркугинк, Болораберд и Храшкаберд, которые являются северо-восточными воротами Сюника. Чтобы добиться этого, хан расставлял разного рода ловушки, передавал шаху клеветнические сообщения, среди бела дня угонял меликские стада, отары овец, табуны лошадей и мулов. Похищал женщин и девушек, совершал набеги, побуждая к вооруженным столкновениям, к войне.

Мелик Израел не давал заманить себя в ловушку, но действия хана не оставались безнаказанными. Однажды мелик во гневе был доведен до того, что даже приказал отрубить грабителям головы, и, отдавая эти головы одному из них же, сказал: «Отнеси своему хозяину. Я знаю, что он любит хаш, так скажи, что я могу послать ему таких жирных, наваристых голов, сколько душе его будет угодно. Чего не сделаешь для доброго соседа...»

Хан Шариф тогда не сразу нашелся, как на это ответить, но, придя в дикую ярость, решил жестоко отомстить...

И вот теперь все складывается так, что хан сможет беспрепятственно свершить все свои намерения. Едва узнает, что мелика нет в Сюнике, заживо заглотит его сына, совсем еще неопытного, необстрелянного юнца. А уж потом...

От самого Эчмиадзина до Вайоцзора мелик Израел не отступно думал о судьбе своего сына Яври. Тревога за него так сдавила душу могущественного владельца Шаапуника, что, будучи уже не в силах оставаться один на один со сво-

им горем, он открыл сердце мелику Сафразу незадолго до того, как им предстояло расстаться.

Они только что выехали из села Чанахчи, где жила сестра мелика Исраела и где провели ночь, передохнули.

Исраел проговорил:

— Сафраз, ты уже трижды спрашивал, чем я озабочен и почему у меня такое плохое настроение. Действительно, я очень страдаю. Мы с тобой не просто армяне. Мы, мелики, соседи и служим одному делу. Ты еще очень молод, но уже давно знаешь, что из себя представляет нахичеванский хан Шариф. Твоему покойному отцу, мелику Мелкону, было хорошо известно, как я грудью своей противостоял разбойному хану Али-Гули, тому самому, что сидел тут до хана Шарифа.

— И мне это тоже известно, мелик! — сказал Сафраз.

— Прекрасно... Я все делал, чтобы грабители не наводнили моих и ваших земель. Из страха передо мной Шариф не отваживается полностью известить истинных хозяев Нахичевана — армян. Ни один из меликов, владения которых прикрыты моими, не может сказать, что мои ворота оказывались хоть когда-нибудь не на запоре для врага. Никто не смел близко подойти к моим крепостям. Ты согласен?

— Это истинно так, мелик Исраел.

— Благодарю тебя... Беда вынуждает меня так нескромно говорить о себе. Прости!.. Так вот: духовные и мирские вожди нации, вы сегодня решили, что я необходим в важной миссии. Я уеду, и мои крепости Болораберд, Храшкаберд и другие перестанут быть неприступными для хана Шарифа. Но чтобы завладеть ими полностью, хан должен будет разделаться с моим сыном, уничтожить его! — У мелика Исраела перехватило дыхание от волнения, и он долго молчал, прежде чем снова заговорил изменившимся голосом: — Мой Яври умен, как Давид, храбр, как Амир, как великий князь Прош. Но он еще юн и неопытен... О, смотри-ка, уже виден!.. — воскликнул вдруг мелик Исраел и, придерживая коня, взгляделся туда, где за склоном горы высился купол храма Танат. — Сафраз, поклянись всемогущими святилищами господа бога нашего, храмом Танат, храмом Пресвятой Богородицы и храмом Оцопа, могилами предков и честью своей, что будешь жить с моим сыном плечо к плечу! Ты старше его и многоопытней, будь ему опорой и подмогой, а там посмотрим!.. — Мелик Исраел отпустил узду, ожидая ответа.

Сафраз молчал. Брови насуслены, черные стрелы-ресницы, того и гляди, кинжалами вонзятся в гриву коня.

Редкий стук копыт медленно бредущих лошадей звучал мерно и отдавался гулким эхом в окрестной тишине. И эхо это вывело наконец Сафраза из оцепенения. Он смутился, что так долго не отвечал почтенному мелику. А не отвечал потому, что душу его охватил гнев против хана Шарифа, поставившего в столь тяжкое и даже жалкое положение одного из самых могущественных армянских меликов.

— У каждого из наших владений свои границы, мелик, — сказал он, — но вся эта земля армянская, и никто из нас не вправе отмежевываться друг от друга границами. Я клянусь землей армянской, храмами и святыми могилами моих предков, что буду братом для Яври! И прости, не сомнение и размышление было причиной тому, что я не сразу ответил тебе. Душевная боль, порожденная твоими речами, — вот что задержало меня. Наши враги так раскроили-раскромсали армянскую землю, что мы давно уже задыхаемся. А теперь они и вовсе чувствуют себя полноправными хозяевами. Мы и княжим-то в своих владениях уже почти только символически... Не очень себе представляю, принесет ли нам спасение задуманная миссия? Чем можно помочь из такой дали?.. Другое дело, если бы русские...

— И все же надо попытаться. При желании прийти на помощь и расстояния ничтожны. Только бы завоевать симпатии, вызвать заинтересованность и пообещать им даже больше того, что мы на самом деле сможем дать. Одним словом, надо сделать все, чтобы нам протянули руку!..

Они примолкли. Снова на каменной дороге зазвучал ничем не нарушаемый стук копыт. И это длилось долго, пока Сафраз вдруг не сказал:

— Сердце у меня надрывается, мелик!..

— Что тебя тревожит?

— Не могу смириться с тем, что через века ведь и представить не смогут, какие беды мы пережили. Вон ведь и о человеке бросят недоброе слово, а пришедшее на смену поколение повторит это слово, и истина так и останется неизвестной...

— Не понимаю, о чем ты?

— Васак Сюникский, по-твоему, и в самом деле был предателем? — вопросом на вопрос ответил Сафраз.

— Удивляюсь, как ты можешь в этом сомневаться?

— А что, если он хотел изменить святой церкви только во имя спасения нации от физического ее истребления? Может, благодаря этому все мы говорили бы по-армянски, жили бы по-армянски, и Армения оставалась бы единой, цело-

стной страной, и никто не рвал бы ее на куски, и Персия была бы не врагом нашим, а союзником? И кто знает, может, в таком случае впоследствии даже и Турция стала бы заискивать перед нами?.. Эх-эх! Когда боль мучительно сильна глазу все кажется лекарством...

— Стоит изменить вере, исчезнет все, что, собираясь по крупичам, стало извечным духовным благом и богатством нации. А это куда страшнее, чем физическая смерть.

— Да, но сейчас-то мы умираем, мелик Израел? — Сафраз вздохнул, посмотрел туда, где за горой виднелся купол храма Пресвятой Богородицы, и перекрестился. В душе он даже содрогнулся оттого, что, пусть хоть и мысленно, мог допустить как возможное отречение от веры праведной. Обернувшись к мелику Израелу, он сказал: — Наша гибель словно бы свыше предрешена. Земля уже почти целиком ушла у нас из-под ног, откуда же нам сил набираться?..

— Боль утраты удвоит силы. Всякая утрата врачует, а вот потеря земли не забывается никогда. Боль утраты даст нам силы, мелик! — повторил Израел. — Я верю: что бы то ни было, а мы не исчезнем. Мы возродимся и будем жить вечно. Я верю в это потому, что духовная сила наша с нами, а она превыше всего.

— Значит, мы будем существовать, как народ армянский?

— Во веки веков!

От воодушевления мелик Сафраз огрел своего небесно-голубого скакуна, но тут же крепко натянул удила. Легкокрылый, как ветер, тонконогий конь сюникской породы был оскорблен столь неожиданным к себе непочтением, ведь он уже хотел было привычно рвануть вперед, а его вдруг удержали.

Конь дернулся, попытался сбросить своего неблагодарного седока, но Сафраз стал гладить его ладонью по гладкой, точно у голубя, шее и кое-как укротил.

Спустились в долину Егениса. Мелик Израел пригласил Сафразу погостить в Сркугинк, но Сафраз, сославшись на неотложные дела, отказался и пообещал навестить его в самые ближайшие дни. На этом они расстались. Телохранители подъехали поближе к своим господам.

5

Мелик Израел, очень привязанный к детям, сегодня, однако, не повидался с ними. Не хотелось обнаруживать душевную и физическую усталость, не хотелось, чтобы пло-

хое его настроение передалось и детям. Он уже собрался спать, когда пылавшее в маленьком сводчатом окне солнце вдруг погасло и в спальне с этим единственным оконцем и каменным потолком сразу стало темно. Вошел слуга с горящей лучиной в руке, приветственно поклонился мелику и хотел зажечь свечи в канделябрах. Мелик остановил его. Слуга удивился, но, ничего не сказав, расстелил постель, пожелал доброй ночи и вышел.

Мелик лег и сразу заснул. Но сон его был беспокойным и недолгим. Пробудился он от своего же вскрика, весь в испарине и дышал тяжело. Приснилось, что плутает где-то в незнакомом краю и все-то там по-иному. И земля, и небо, и люди, и их обычаи. А он хоть и мелик, и землю свою имеет, и народ вокруг, но чувствует себя в этом окружении совсем чужим, каким-то скованным. Особенно не по себе ему стало, когда, обратившись с просьбой помочь армянам отвоевать свободу и самостоятельность, он встретил у этих чужих христиан полное равнодушие и недоумение: мол, что за просьба, отвоевывайте себе сами свободу, если можете, а не можете — как знаете, зачем же у других искать помощи...

Для мелика, месяцы добиравшегося в эти края сушей и морем, такое отношение было оскорбительным. Он удручен: впереди возвращение ни с чем, положение его народа хуже прежнего — на грани гибели... Идет война между кзлбашами хана Шарифа и отчаявшимися храбрецами Шаапуника. От меча одного сюникца слетают десятки голов.

Шаапуникских храбрецов возглавляет сын мелика Яври. Он на белом скакуне. Вот конь заржал и вздыбился перед врагом. А на шлеме сына, на панцире и наколеннике буйствует солнце и слепит глаза. Он вырывает копые из тела одного, вонзает в спину другому. И таким громким голосом воодушевляет своих храбрецов, что враги в ужасе кидаются прочь. И отцу тоже хочется с мечом ворваться в ряды охваченных паникой кзлбашей, но ему что-то мешает. Он цепью прикован к скале, откуда ему дано только взирать на битву. Бой тем временем идет в Вайоцдзоре, чуть ниже Болораберда. Выходит, противник зашел далеко, вот-вот доберется до Сругинка; сердце прикованного мелика то сжимается, то снова освобождается при виде победоносного сражения сына. Чудится, что вот-вот все кончится, последний кзлбаш падет и страна армян обретет желанную свободу без чьей бы то ни было помощи, без унижений...

Во сне все было чудотворно. Мелику мнилось, что бой идет за всю Армению, а не только за его владения... Но вдруг

неожиданно, когда Яври уже повергает последнего кзлбаша, из-за его спины появляется сам хан Шариф — чернее и громднее обычного, на огромном коне, из-под копыт которого столбом поднимается пыль. Нацелив копые, он как туча вьется над Яври. Гибель сына неизбежна. Мелик пытается вырваться из оков, схватить меч и пресечь намерение коварного хана, пусть ценой своей жизни. Но он не может и рукой двинуть. Хан с силой бросает копые, и оно вонзается в грудь Яври!.. Вот хан вытянул копые назад, и Яври падает с коня. Со звоном слетает у него с головы шлем и скатывается по склону Болораберда, ударяется о стену храма Таната и исчезает в темном овраге. Мелик вскрикивает и... просыпается. Он еще слышит отзвук под сводом опочивальни. Но, поняв, что все было только сном, мелик глубоко, облегченно вздыхает и стирает со лба холодный пот. Темнота все еще пугает его. Он набрасывает на плечи кафтан и подходит к окну.

Далекий рассвет уже тронул темную синеву неба, звезды на горизонте мигают — вот-вот погаснут. В оврагах шелестят кронами деревья. Неподалеку светится огонек. И там же играет свирель — таинственно, тихо. Пастух словно бы сплетает мелодию из ночных шепотов.

Мелик Израел долго не отводит глаз от огонька и вслушивается в звуки свирели. Они согревают ему сердце, облегчают душу. Мелик трижды хлопает в ладоши. За дверью раздается тихое покашливание, и спустя мгновение входит слуга, на этот раз уже без лучины.

— Зажги свечу и проводи меня к Яври.

Тот с готовностью зажигает и ждет. По мнению слуги, мелик сегодня не в духе. С ним явно что-то происходит, и это пугает слугу, человека очень робкого. Он долго стоит со свечой в руках.

Мелик одевается очень тщательно, будто путь ему предстоит не в десять — двадцать шагов от почивальни, а много дальше.

Но вот он вышел. Его длинная тень скользнула по крепостной стене, и на сторожевых башнях тотчас оживились часовые, засигналили друг другу.

Мелик прошел задним двором, чтобы неурочным своим бодрствованием не всполошить домашних. Поднялся на второй этаж, миновал галерею. Вот и дверь в комнату сына. Постучал.

Открыл ему Торгом и очень удивился неожиданному ночному визиту мелика.

— Яври спит? Мне показалось, что сегодня он неважно

себя чувствовал?..— как бы между прочим спросил отец.

Торгом уже совсем пробуждается. В ответ на вопрос только плечами пожал: все, мол, в порядке.

Мелик, оставив обоих слуг в прихожей, взял свечу и вошел к сыну.

Яври спал на дубовой резной тахте, сложив руки на груди поверх одеяла.

Мелику давно уже не приходилось видеть своего взрослого сына спящим. Он приподнял в руке свечу, подумалось, что Яври, пожалуй, очень возмужал за последние несколько месяцев. Грудь раздалась и стала уже волосатой. Дышит ровно, глубоко, лицо спокойное и уверенное, плечи окрепшие, округлившиеся, в руках чувствуется сила.

Пережив страшный сон, мелик сейчас счастливо улыбался тому, что юный отпрыск рода Прошянов достоин своих предков. Однако улыбка погасла, как только вспомнилось, какую тяжкую ответственность предстоит ему возложить на любимого сына в эдакое смутное время.

Мелик Израел поднял свисший край одеяла, подоткнул его под ноги сыну и вышел. И именно в этот миг часовой на сторожевой башне кого-то окликнул:

— Кто там, эй? Не подходи!

— Из Гомри я. Сельчанин. Недобрую весть мелику принес.

В предрассветной тишине все слышалось мелику очень отчетливо, хотя голоса доносились издалека.

— Откройте ворота, пусть войдет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Потерпев поражение в Хидзореске, тысячник Омар решил с оставшейся от войска неполной сотней напасть на Карашен, Тех, Корнидзор, а на обратном пути на Кори, Арегун, Вериншен, Брун, Караундж, Алидзор, Хот, Шинуайр, Барцраван и другие села. Он во что бы то ни стало хотел разгромить их дотла, чтоб больше уже не оправились. Так Омар надеялся оправдаться перед ханом в том, что не все войско уберег,— мол, бился-то не с одним, а с пятнадцатью селами.

Но, встретив стойкое сопротивление в Карашене и поте-

рвав там еще пятнадцать кзлбашей, тысячник вынужден был наконец изменить свои намерения. Из страха, как бы в Техе не сложили головы и все остальные его воины.

Делать было нечего, и Омар отдал приказ повернуть назад и раскинуть лагерь на верхнем плато Дзагедзора.

Разлегшись в шатре на леопардовых шкурах, Омар распорядился, чтобы подыскали подходящего человека для отправки к хану с докладом. Третий день ведь уже в тревоге.

Тысячник, как ни раскидывал умом, не мог придумать, каким образом ему скрыть от хана Алама-Асадуллы результаты своего позора с хндзорескцами. Ведь, не приведи аллах, узнает обо всем шах, тотчас велит снести тысячнику голову.

С отчаяния Омар много пил и потому, едва где присядет или приляжет, сразу засыпает. Вот и сейчас дремлет. Однако при каждом шорохе то и дело разлепляет веки, выжидающе взглядывает на вход в шатер, с досадой ударяет себя кулаком по колену, а через миг опять засыпает. Но вот он углядел десятника в полном снаряжении.

Оставив коня на значительном расстоянии от шатра, тот трусой подбежал, прижав руки к груди, бросился в ноги тысячнику, с опаской приподнял голову и стал ждать.

— Ну, что смотришь, как пес, подавившийся костью? Начиная, говори! Представь, что ты сейчас у хана! — сильным голосом приказал Омар, не меняя позы и с трудом удерживаясь, чтобы не сомкнуть веки.

Десятник, все так же прижав руки к груди, затянул:

— О солнцеликий, сиятельный хан! Наше войско, возглавляемое одним из отважнейших полководцев тысячником Омаром, в Хндзорстане... в Хндзорстане погибло. Солнцеликий хан, виной тому не мы, не кзлбаши, и уж никак не наш испытанный тысячник Омар. Причина в... Причина...

Десятник сбился. Может, не мог найти пужное слово, а может, забыл придуманное.

Омар вызволил из-под себя ногу в сафьяновом сапоге и пихнул десятника в живот. Тот упал, но тут же вскочил и согнулся в прежней позе.

— Ты настоящий хамаданский осел! «Солнцеликий, сиятельный»! И ничего больше? В башке у тебя, кроме солнца, ничего нет! — Омар трижды хлопнул в ладоши, хотя прислужник вырос перед ним уже после первого хлопка. — Это же хамаданец. Сверни-ка ему шею да позови кого-нибудь другого.

— Смилуйся, солнцеликий мой тысячник! Да расте-

люсь прахом у ног твоих, пожалей! — взмолился ошалевший от страха десятник.

— Пожалеть, говоришь? Жить хочется? — Тысячник помолчал и сказал: — Ладно, живи! Только не будь таким ослом.

Десятник припал к ноге своего властелина, той самой, которой тот его пнул, облобызал сапог и, пятясь, быстро выскользнул вон. Оказавшись за пределами шатра, он бросил радостный, но еще затуманенный пережитым страхом взгляд на солнце, на все вокруг, глубоко вздохнул и потянул коня за поводья, чтобы скорее убраться от злополучного шатра тысячника.

Омар прочитал мораль адъютанту — и чутья, мол, у него нет, и ума, — велел подобрать нового гонца.

— Господин тысячник, мне кажется, что для такого дела нет лучшего человека, чем Шамси. Силой убеждения и красотой слога он может представить хану все именно так, как ты того пожелаешь, мой господин!.. Позвать его к тебе?..

Омар ответил не сразу. «Можно ли довериться смутьяну?..» — подумалось ему.

— А ну позови и гонца и этого... тронутого.

Адъютант вышел, и первым, кто тотчас предстал перед тысячником, был Шамси. Он проговорил слово приветствия. В голосе не было ни тени обиды или досады. Омару и это не понравилось. Он с сарказмом спросил:

— Чернила и перо принес?

— Зачем?..

— Принеси все, что надобно для письма.

Тем временем вошел гонец. Он, как и тот первый, приложив руки к груди, сразу бухнулся в ноги тысячнику, потом вскочил и весь обратился в слух.

— Выйди пока. Потом позову! — буркнул Омар.

Гонец исчез. Вошел Шамси. Преклонив колено на леопардовую шкуру, он разложил лист бумаги на другом колене и с готовностью взглянул на Омара.

— Обратись к хану от моего имени с достойными, соответствующими случаю словами, — приказал тысячник.

Шамси что-то написал, бросил взгляд на тысячника.

— Читай, — процедил Омар, недовольный тем, что Шамси писал так недолго.

— «Приветствую тебя, мой владыка, хан!..»

— Я повелел тебе писать достойные слова, но ты, как видно, ни к кому из людей не питаешь любви и почтения?

— Зачем говоришь такое, мой господин? Если мне когда

и отрубят голову, то лишь за мою любовь и почтение к людям. Я люблю и ценю человека в большей степени, чем это дозволено кзлбашу!..— Шамси говорил так спокойно, мягко, будто сам с собой.— Мой господин, хану ведь предстоит сообщить не радостные, а плохие вести,— добавил он тем же тоном.— Великим людям о неприятном лучше сказать коротко и без прикрас. Краткая речь доводит недобрую весть до сознания, а длинная — до нервов. Не стоит портить нервы хану. Вот я и начал так, чтобы подготовить хана к тому, что ты, мой господин, должен ему сообщить!..

Надо сказать, «смутьян» вполне убедил тысячника Омара, но он не подал виду и начал диктовать:

— «...Хитроумные, непокорные армяне собрались из всех окрестных сел в Хндзорстане и укрылись в пещерах, на недоступных высотах. Когда мое войско вошло в село, нам показалось, что от страха все сельчане побросали свои дома и разбежались. Но случилось несчастье, нежданно-негаданно обрушившееся на нас. Вот как это было: едва мое войско вошло в ущелье с намерением предать огню дома непокорных, осмелившихся пренебречь повелением моего хана, на нас вдруг со всех сторон ливнем обрушились стрелы, пули, град камней. И невесть откуда обрушились. Людей мы не видели. Наконец мои отважные кзлбашы, разглядев в скалах места их укрытий, ринулись вверх, чтоб разделиться с бунтарями, отомстить им. Бой был отчаянный. Мы перебили их видимо-невидимо. Но и мое войско тоже поредело. И если я сумел волею аллаха спасти хоть одну сотню, то лишь благодаря моему большому воинскому опыту!..

Да будь благословен, мой хан, все, что случилось, дает нам право дотла разорить эту страну, перепахать ее и засеять нужными нам семенами. Помощь мне нужна самая малая: соблаговоли прислать дополнительно пятьсот кзлбашей, а во всем остальном доверься мне. Я расположился сейчас лагерем чуть выше крепости Дзагедзор. Велика твоя мудрость, и потому я с нетерпением жду твоих советов...»

Дымка печали в подернутых влагой глазах Шамси стала сильнее обычного. Кончив писать, он с нетерпением ждал, когда ему прикажут удалиться. Ждал и смотрел на широкий меч Омара, накрест с ружьем висевший над изголовьем тысячника. На серебряных перевязях играли блики падающего через вход света. Глядя на эти орудия смерти, Шамси думал вовсе не о страшном...

А в шатер тем временем на хлопки тысячника вошел гонец. Пока Омар отдавал ему приказания, связанные с поездкой к хану в Татев, Шамси поспешно поклонился и вышел.

2

Сотник приказал всем десятникам выделить по одному человеку для отправки в Арегун и Кори за продовольствием.

— Можно мне? — попросился у своего десятника Шамси.

— Что это вдруг с тобой? — вздернув рыжую бровь, удивленно спросил десятник.

— Хочется размяться...

Десятник не переставал удивленно смотреть на него.

— Что тут странного, десятник? Два дня назад моя совесть, став мне веревкой, чуть было не удушила меня. Правда, волею аллаха, веревка оборвалась, но меня все же удушила!.. Хочу стать истинным кзлбашем, убить свою совесть, чтобы она меня никогда больше не душила...

— Иди. Но смотри не дай и меня удушить вместе с собой. Если доведется голову кому-нибудь срубить, прихвати ее в подтверждение твоего подвига и решимости. — Десятник только тут наконец опустил бровь, но сразу же вздернул другую. — Ну, а не срубишь никому головы, так уж девушку-то привезти сможешь? Какую-нибудь полненькую? — Десятник смачно чмокнул. — Иди, ладно. Посмотрим, что ты есть.

Шамси вскоре выехал в числе других тринадцати кзлбашей. Они направились в Арегун.

— Эй, певец, спой нам! — распорядился возглавляющий отряд десятник, когда они чуть удалились от лагеря.

Шамси не заставил уговаривать себя. Он запел свою самую душевную песню, вложив в нее все волнение и всю трепетность сердца. Юноша хорошо знал, что песней можно заворожить даже дикого зверя.

Пел он долго, пока не завиделись церковь и кладбище.

— Хватит, Шамси. Спасибо тебе. Да продлятся дни твоей жизни. Но нас ты убил. На такое дело идем — грабить, а ты расслабляешь нас, души наши смягчаешь! — задумчиво сказал десятник.

— А что, если не грабить, а по-хорошему? Попросить все то, что нам необходимо, и избежать кровопролития? Тысячник и без того уже попросил у хана прислать пятьсот кзлбашей, чтобы наказать армян. Жалко людей, пусть хоть

несколько дней еще поживут на белом свете... Что скажешь? Тебе-то разве их не жалко?

— Жалко,— очень тихо, чтоб не услышали другие, проговорил десятник.— Люди рождаются, чтобы жить... Ладно, попробуем!..

Шамси снова запел, только теперь уже себе под нос.

Вошли в село. Коней направили напрямик к сотникову двору. На шум кто-то выглянул в дверь, кажется юноша, и мгновенно захлопнул ее. Но вот дверь снова скрипнула, на верхней площадке высокой каменной лестницы появился сотник Ерванд, в папаче, с длинными вислыми усами. Заложив руку за свой серебряный пояс, он хмуро смотрел на толпившихся во дворе всадников.

Десятник приветствовал его. Ерванд в ответ слегка кивнул.

— Войско кормить надо, сотник,— я думаю, об этом можно договориться и без всякой брани!..— не сходя с коня, пояснил цель своего прибытия десятник.

Ерванд был полон решимости. Чуть выступив вперед, он твердо сказал:

— Вы уже однажды опустошили наше село, вѣвозили в грязи наши папачи — осквернили девочку. Нам теперь, как хндзорескцам, не до голов наших. Незачем больше их сберегать. Пусть прольется кровь. Пусть уж лучше этим же вечером, вместе с заходом солнца, кончатся и наши страдания, чем так жить, униженными, поработченными.

— Нас осталось сейчас немного,— десятник все еще надеялся на мирный исход переговоров. Сдерживался он не только из-за дайнго Шамси обещания. Ему пришлось по душе смелость Ерванда.— Да, мы делаем вам худо, но больше этого не будет...

Хозяин дома чуть подобрел. Он уже не был столь напряженно-недружелюбным. И руку из-за пояса вынул. Но тут вдруг на него накинулся Шамси. Да так, что калбаши и те удивились. Грустно-печальный певец-стихотворец вдруг вышел из себя. Что бы это значило?

А он крикнул хозяину дома:

— Сперва сойди вниз. Ты служишь тому же правителю, что и мы, а потому не говори с нами свысока. И пора бы тебе знать, что поверженные молят о пощаде, а не повелевают. Грех за души сотен наших воинов на вас, на двух селах ваших. Это тоже тебе надо знать и помнить!

Десятнику очень понравилась речь Шамси.

Хозяин дома спустился на несколько ступенек.

— Я благодарен вашему военачальнику за то, что он не намерен снова ставить меня в тяжелое положение, — заговорил Ерванд бесстрастным голосом, на грани издевки. — В таком случае не хотите ли спешиться, отдохнуть немного, пока мы соберем все то, что вам требуется?

Кзлбаши сошли с коней. Сын сотника завел их лошадей в конюшню, а отец пригласил незваных гостей в дом. Пока накрывали столы, десятник изложил свои требования.

Ерванд слушал, нахмутив брови и нервно шевеля кончиками усов.

В этот момент Шамси, пошарив рукой у себя в кармане, поднялся с места и попросил хозяина:

— Господин Ерванд, проводи-ка, где там лошадь моя стоит? Мне записать надо все, а лисьменные принадлежности остались в переметной суме.

— Ашот! — крикнул хозяин.

— Нет, ты уж сам! — настоятельно потребовал Шамси. — У вас тут небезопасно, с тобой будет понадежнее.

Сотник Ерванд с откровенной ненавистью глянул на кзлбаша-грамотея, куда более надменного, чем десятник, и нехотя встал.

Едва ступив в сопровождении хозяина дома, светившего лучиной, в конюшню, Шамси тут же схватил его за руки и пристально посмотрел в глаза. И взгляд этот был таким, что Ерванд, без слов почуяв что-то значительное, весь обратился в слух.

— Господин Ерванд, у нас говорят: «Нет бога, кроме аллаха, и Магомет — его пророк». Это — неправда. Бог един, и все мы — дети его, — таинственным шепотом, словно бы поверя сокровенную тайну, сказал Шамси. И высеченная в скале конюшня, где пятнадцать коней разом с хрустом поедали овес, обернулась для Ерванда храмом небесным, в котором с ним говорил сам бог. — У нас разная вера, разные боги, — продолжал Шамси, — и это тоже истина, но у человечества есть бог всеединый. Он над всеми богами. Все мы, поклоняясь каждый своему богу, не должны недобрыми деяниями гневить всевышнего, всеединого бога. У него нет пророков на земле, ни Христа, ни Будды, ни Магомета. Будучи невидимым и неосязаемым, он есть наша суть. Но он вне нас, он над нами, потому что он выше и значимей, чем суть каждого из нас в отдельности. В нас и вне нас, потому что он только добр, он прекрасен, он мудр. Он — само совершенство. Он человек, но человечнее всех людей, вместе взятых. Одним словом, он — порождение человека, но он и тот, к кому извечно

тянется человек, жаждущий самоусовершенствования... Не знаю, понятно ли я говорю?..

— Прекрасно говоришь, брат Шамси. Похоже, ты и есть тот, о ком речь ведешь!..

— Пусть будет так, коли хочешь, — улыбнулся Шамси. — Но теперь, положив руку на сердце, ты должен поклясться вашим Христом и всевышним, всеединым господом богом нашим, что сохранишь в великой тайне то, что сейчас тебе скажу. Но сделаешь все как должно, услышав о том, что, болея душой за армян, я поведаю на пользу им?..

Арегунский сотник не сразу ответил человеку, за чужеродным обликом которого скрывалось доброе сердце. Ему и верилось и не верилось. Однако, внимательно поглядев в глаза этому необыкновенному воину из вражьего стана, не очень разумея, чем тот может помочь армянам, сотник решился.

— Клянусь Христом-богом! — переложив лучину из правой руки в левую, он осенил себя крестом. — Клянусь всемогущим всеединым господом нашим, что в точности исполню все, что ты скажешь, если это, как ты утверждаешь, послужит на пользу армянам!

— Омар собирается дня через два снова напасть на армянские села. За этот срок вы можете упрятать ваше имущество, угнать подальше скот и сами укрыться в недостигаемых скалах и пещерах, где вас никто не сыщет. Но при этом обещаю мне, что вы не выпустите ни единой стрелы или пули в кого бы то ни было из кэлбашей. Ведь если армяне убьют хоть одного из наших, тогда я, выходит, предатель и заслуживаю того, чтобы тело мое раздавили в тисках, а душа угодила бы на вечные муки в ад.

— Ну, обещаю: если кэлбаши не обнаружат нас и не нападут, в тот день здесь не прольется ни капли их крови! — торжественно пообещал Ерванд.

— А теперь идем. Письменные принадлежности со мной?.. Да. Идем.

Сотник схватил руку Шамси, поднял лучину повыше, заглянул в печальные глаза этого человека с большой благодарностью. Хотелось найти необыкновенные слова для этого чужого сердца, которое болит за них, как за родных. Своих таких слов у сотника не нашлось, и он сказал те, что заронил в его душу этот человек:

— Шамси, ты истинно тот, кто только добр, прекрасен и мудр!..

— О нет, я всего лишь исполнитель его воли,— сказал Шамси, и они вошли в дом...

Была поздняя ночь, когда калбаши, навьючив лошадей, покинули село. Шамси снова затянул свою песню-мольбу. Мольбу о безжалостно убиенных, о скорби их жен и детей. Слова вместе с мелодией рождались тут же у него в душе. Шамси пел, а в глазах ему виделся Арегун, в котором все смешалось.

3

Солнце только-только оторвалось от горизонта и пошло ввысь, когда гонец, уже вернувшись из Татева, соскочил с коня поодаль от шатра Омара и, топчя росистую траву, по-медвежьки, вразвалку ввалился к тысячнику и слово в слово передал приказ хана.

— Мой господин тысячник,— так начал гонец,— наш солнцеликий хан велел передать, что не следует разрушать села. «Истребить людей и разрушить села,— сказал хан,— это значит осушить источники, ручейками втекающие в казну шаха, и обречь нас здесь на голод. Есть другие возможности наказать армян, ими я воспользуюсь сам,— сказал хан.— Пусть тысячник Омар пока ограничится незначительными наказаниями — посадит кое-кого на кол и с этим вернется в Татев». Вот то, что велел передать наш солнцеликий хан. И еще он просил сказать, что суд над Хндзорстаном он свершит сам, своею волей.

Омар, который, привалясь на мутаки, жадно ловил каждое слово гонца, вдруг, как ужаленный, вскочил, уселся, поджал под себя ноги и сделался мрачнее тучи. Гонец побледнел, губы, и без того синие, совсем потемнели.

Чтобы не выдать своего состояния перед подчиненным, тысячник попытался изобразить на лице довольную мину, мол, хан ничем его не оскорбил, напротив — порадовал. Но, уже приняв про себя решение относительно участи гонца, Омар еще спросил:

— Значит, хан был мною недоволен?

— Так казалось, мой господин...

— Заткнись, шайтан! Эй, Джаллат!

Влетел адъютант.

— Казнить его!..

— Мой господин, что я такого...

— Заткнуть поганую глотку!.. — взревел тысячник.

Адъютант вытолкнул гонца.

Тысячник Омар еще долго неподвижно сидел и все прислушивался. Наконец он услышал то, что хотел,— предсмертный крик.

Он снова почувствовал в себе все то, что чуть было не умертвил в нем гонец. Подобрал полы одежды, Омар победно оглянулся и опять лег на бок, глубокомысленно изрекая себе под нос:

— Пьедестал великого — страх и смерть!..

Вошел адъютант.

— А теперь готовиться в поход на села армян!

— Но нас всего восемьдесят четыре человека, непобедимый господин мой?!..

— Ничего, хватит и этого.

Адъютант поспешил выйти, чтобы довести приказ до сведения десятников...

Слева на пути следования первым было село Арегун. Вошли в него и оторопели от удивления. В селе запустение, двери всех домов настежь, такое впечатление, будто тут давно уже никто не живет. Только собаки все норовили кинуться на кзлбашей, словно чуяли, что они-то и есть причина их бездомности.

— Что бы это значило? — неизвестно к кому обращаясь, сказал тысячник.

— Просто знали, что мы близко, вот и сбежали, мой господин,— предположил кто-то. — Они, может, даже в Кашатах ушли. Совсем ушли туда жить... Ну что еще можно подумать: ушли от наказания, и все тут.

— Да... Но откуда им было знать про наш поход?..

— Просто два дня назад, после того, как наши люди пришли и забрали у них продовольствие, армяне, видно, решили, что лучше им уйти отсюда, переселиться...

— Ну, погодите у меня,— пригрозил тысячник и повернул коня в сторону Кори...

Когда кзлбаши шли ущельем Качкадзор, арегунцам ничего не стоило закидать их камнями и перестрелять, уничтожить всех до единого. Но в рядах кзлбашей понуро покачивался в седле и тот человек, которому сотник Ерванд пообещал, что в этот день не прольется кровь. И кровь не пролилась...

В Кори тоже некого было «наказывать», там тоже никого не осталось.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Старый хан Шариф сегодня был не в себе. Вот уже неделя, как он неожиданно осознал себя простым смертным, жалким рабом нерушимых законов природы. Ощутил, что шестьдесят лет его жизни промчались как вихрь. Кажется, вчера еще был молод и мог все. А сегодня...

Обычно люди, размышляя о смысле жизни и смерти, становятся мягче, терпимее. С ханом Шарифом было иначе. Он вдруг разъярился. Ударил кулаком по столу, так что бирюза у него в перстне вылетела и расколосась. И это, надо сказать, обрадовало хана. Выходит, силы еще не совсем иссякли. Довольный собой, он хлопнул в ладоши. Открылась дверь, и слуга бухнулся в ноги перед своим властелином.

— Позови ко мне гонца.

Слуга вышел, и тотчас появился гонец.

— Сколько времени тебе потребуется, чтобы съездить в Сирап и обратно?

— После полудня уже могу быть обратно.

— А если надо доставить с собой человека и он немолод?

— Подберу для него рысака и, несмотря ни на что, буду вовремя, потому как чувствую, что моему хану надо срочно...

— Так вот, в Сирапе, говорят, живет знахарь, о нем разное болтают. Аствацатуром его звать. Хочу видеть этого знахаря. Доставь его ко мне!..

— Доставлю... Только неужто мой сиятельный хан уже испытывают необходимость в знахаре? Да сократит аллах жизнь эдаких ничтожных, как я и мне подобные, и да умножатся годы моего мудрого хана!

— Я не сказал, что испытываю необходимость в знахаре. Нечего молоть языком лишнее. Иди.

— Слушаюсь, благословенный мой хан!..

Еще солнце не закатилось, когда перед ханом предстал старик. Иссохший, непомерно высокий, смиренный, но спокойно-уверенный.

Хан молча перебирал янтарные четки, но вот наконец заговорил:

— Слышал я, что ты отменный знахарь и все тебе удастся?

— Не все, благословенный хан.

Стук четок убыстрился.

— А можешь вернуть человеку то, что в определенном возрасте он начинает терять?..

— То, что отнимает бог, человек вернуть не в силах, благословенный хан.

— Бог у нас с вами разный! — Хан сделался хмурым, бросил четки на бархатную подушку и выпрямился. — Подобные мне правоверные слуги аллаха в восемьдесят — девяносто лет еще имеют детей. А мне только шестьдесят. Пойми, знахарь, если аллах лишает человека этого величайшего из земных благ, то он и сердце у него вырывает из груди. Мое сердце на месте, оно горит желанием, и силы мои не иссякли, — он глянул на перстень, туда, где был камень. — Но что-то со мной происходит... Поразмысли. Найди способ помочь мне, только не говори со мной от имени бога...

— Я понял, добрый хан. Конечно же ты еще молод. То, что случилось с тобой, это от большого волнения.

— Я слышал, что ты наделен змеиным умом. Выходит, и верно. Все так и было, как ты предполагаешь, — обрадовался хан и снова взял в руки четки.

— Я помогу тебе. Только дай время. Трав, из которых готовится возрождающее силы снадобье, в наших горах не водится. Они и вообще-то мало где есть...

— Недели тебе хватит?

— Две недели...

— Отправляйся!..

2

В гареме хана Шарифа появился едва расцветший цветок, ароматом своим и несравненною красотой заслонивший все другие цветы. Бутон, на лепестках которого, увы, остались следы крови...

Вот как это было. В надежде поохотиться и весело провести время, хан Шариф в сопровождении свиты выехал из Нахичевана, проследовал мимо Красного храма в долину Аракса, по направлению к Астапату. Ему рассказывали, что Астапат — то самое место, куда некогда с поля сражения Аварайрской битвы доставили тело прославленного полководца армян Вардана Мамиконяна. Здесь, в водах матери-Аракс, обмыли его тело и смыли кровь и пыль, обернули в саван и отправили дальше, на родину славного воина, в Тарон. А на месте, где все это совершалось, тогда же построили храм и дали ему название Астапат, что буквально и означает — здесь обернут в саван...

Шариф повелел разбить шатер прямо у храма. И едва ступил под своды храма, изрек:

— Здесь был обернут в саван действительно могучий полководец, но персам тем не менее не удалось обернуть в саван армянский народ. Вот теперь нам предстоит развеять в прах все эти храмы и церкви, которые они поставили на каждой пяди земли, утверждая тем, что армянская земля в силе. Сила — сильному. Надо разрушить эти храмы, да так, будто их вовсе и не существовало. Память о них стереть.

— Раствор, коим скреплены камни этих храмов, очень крепок, вот они и не рушатся, — тоном всезнающего оракула сказал ханский секретарь.

— Из чего он? — поинтересовался хан.

— Армяне утверждают, будто известь они разводят яичными желтками. Мне думается, что это говорится для отвода глаз, а истинный секрет держат в тайне. И раскрыть его никому не удастся. Мы можем только свалить храм, всей его громадой, но при этом камень от камня не отпадет.

— Армяне — народ безусловно хитроумный, — не без сожаления проговорил хан, с завистью во взгляде взирая на храм.

— Неведение — великая сила при разрушении. Разрушим, и следа не останется, будто никогда тут и не жил народ, умевший такое построить...

— А лаешь-то ты на своих? — испытующе глянув на говорящего, бросил хан.

— ...Этим народом надо бы нас заквашивать... Шах Аббас Великий так и поступал. Он считал, что армяне — хорошая закваска. У них ведь другого выхода нет, кроме как смешаться с большим, сильным народом. Слишком уж мало их осталось. А храмы один с другим не смешаешь — это история. Потому, может, их разрушать и не надо. Пусть стоят...

Хан, понятно, с таким суждением согласиться не мог. Но он просто уже не слушал секретаря. Его заворожили звуки зурны, доносившиеся со стороны Норагюха.

— Не повеселиться ли и нам на армянской свадьбе? — предложил он, окинув взглядом всех сидевших вокруг.

— Как будет угодно нашему повелителю, его утонченному слуху, острому глазу и взыскательному вкусу, — сказал тот, кто, как видно, был вправе первым заговорить в ответ хану.

— Свято желание солнцеликого хана! — согласно пробормотали все остальные и поднялись с мест.

— Вот и прекрасно, идемте! — Хан хотел молодцевато вскочить, как в былые времена, но чуть не завалился на спину, хорошо, его вовремя поддержали...

Скоро над всей недлинной дорогой от берега Аракса к Норагюху нависла туча пыли. Она долго не оседала, а когда наконец осела, дорога стала как вытянутый меч, и это, само собой, оборвало звуки зурны...

3

Армянин умеет трудиться. Умеет он и наслаждаться результатами своего труда. Армянин закладывает семя в камень и заставляет его воздать сторицей, вкладывает в камень речь и заставляет его изречь мудрость. И храмы армянин строит из камня.

Армянин любит возделывать сады. Предпочтение он отдает виноградарству, разведению шелковицы и абрикоса, потому как считает, что именно в них наибольшее благо для людей.

Армянин кроет свой дом тростником. Во-первых, потому, что тростник попрочнее дуба, а во-вторых, стоит только протянуть руку, можно тут же выдернуть тростину, смастерить свирель и вложить в нее свое сердце, свою боль или радость.

Армянин любит песню и музыку.

Армянин любит и умеет, сказав складное слово, возвеличить того, кто есть человек.

Во всем этом и есть извечная сила армянина.

А вот порох изобрел не армянин... Никакого оружия армянин не изобретал во веки веков.

Нет, убивать армянин не любит. Армянин никогда и ни на кого не нападал первым.

И созидатель страшен во гневе, если его довести...

Да, выносливость армянина в его созидательной силе... И в песне. Поняв это, враг только и делал, что не давал ему созидать, не давал слагать и петь песни...

Норагюхский медник Ерванд, хоть смерть уже и показала ему свои когти, решил обручить единственного сына Аршака, а потом и свадьбу сыграть по всем правилам.

И несмотря на то, что Аршак и дочь вдовы Армануш, Воски, которой днями исполнилось шестнадцать, уже без слов отдали свои сердца друг другу, Ерванд тем не менее послал человека, чтоб испросил у Армануш позволения

устроить смотрины. Армануш выразила согласие. И вот от-
правились.

Мастер Ерванд хорошо знал Воски. Однако он с интере-
сом наблюдал, какова она в доме. Испить попросил. Пока
пил, в глаза ей смотрел, статью полюбовался, оглядел, как
одета и причесана. И подумалось: «Что тут скажешь, слов-
но первый снег, чудо-краса! И величаво-покойна, как море
глубокое». Радостно стало мастеру, что такая невестка вой-
дет к нему в дом, хотя и сын его ни в чем не уступал, от-
менно хорош.

Обговорили, когда быть обручению, и возвратились до-
мой...

Мастер заново, добела, будто это серебряный, вылудил
большой медный поднос, уложил на нем три отборных гра-
ната, три краснобоких яблока и на белой подушке кольцо и
браслет. Накрыли все это голубым платком и пошли в дом
девушки на обручение. Поднос, по обычаю, несла на голове
замужняя дочь Ерванда. Для этого случая мастер пригласил
и славных музыкантов из Шарута.

В доме девушки гостей встречали ее родственники. Пер-
вым переступил порог мастер Ерванд и, обращаясь к Арма-
нуш, в ее лице приветствовал всех родичей невесты:

— Да будет добрым этот вечер!

— Да будет божьей волею, — ответила Армануш.

Все поднялись. Стали наперебой предлагать гостям ме-
ста попочетнее. Во главе стола усадили мастера Ерванда.
Рядом с ним и Аршак. Нарядный, от волнения еще более
похорошевший.

С минуту-другую все переговариваются о разных разно-
стях, не имеющих отношения к событию дня. Но вот мастер
Ерванд поднимается и, серьезно-сосредоточенный, начинает
речь:

— Прошу вас послушать меня! — Он намеренно делает
паузу, чтобы окончательно завладеть вниманием собрав-
шихся. — Всем вам известна цель нашего прихода в этот
дом. Мы не возьмем с этого стола ни крошки хлебной, пока
не узнаем, что у девушки на сердце. Где Воски? Пусть пока-
жется нам...

Из соседней комнаты, легко ступая, вошла смущенная
Воски. И в тот же миг в золотых ее косах засверкали отсветы
от лампад.

Она встала поблизости от гостей, скромно сложив руки
на серебряной пряжке пояса, с белым платком в пальцах-
линиях. Глаза опущены, брови дугой чуть подрагивают.

— Добрый вечер, дочь моя!.. — с нежностью и торжеством в голосе сказал мастер Ерванд.

Воски в ответ только еще ниже склонила голову и беззвучно шевельнула губами-розами.

— Мы здесь ради тебя! — продолжал мастер. — В этот вечер в вашем доме все в твоих руках. Ты властна принять нас и не принять. Мы пришли, чтобы обручить тебя с моим Аршаком, — он, не глядя на сына, кладет свою тяжелую, добрую отцовскую руку ему на плечо. — Если Аршак тебе по душе, подойди к нему и прими кольцо из его рук, если нет — можешь уйти к себе в комнату, а мы вернемся в свой дом...

Пока Ерванд говорил, дуги бровей Воски задрожали еще больше и над верхней губой засверкали бусинки пота. А в эту минуту старшая дочь Ерванда поставила поднос перед отцом и братом и сняла голубое покрывало. Заалели гранаты и краснобокие яблоки, засверкали кольцо и браслет.

Воски своей легкой походкой подошла совсем близко. Аршак, взяв кольцо и браслет, пошел ей навстречу. Вот он надел кольцо на безымянный палец правой руки любимой, надел и браслет.

— Будьте счастливы! — с воодушевлением проговорил мастер Ерванд. — Аминь! — Чокнувшись со всеми поочередно, он испил свою чару до дна и довольно провел ладонью по усам.

— А теперь, дочь моя, разрежь-ка эти гранаты и яблоки, угости всех собравшихся. — Ерванд подал ей поднос и обратился к музыкантам: — Вот теперь время и песне. Извлекайте-ка свои инструменты, люди истосковались по песне и музыке. До петухов будем петь-веселиться, а там будь что будет.

— Не страшно ли? — с испугом спросил один из гостей.

— Я же сказал: будь что будет. Песня возвращает людям смелость и мужество...

Пели-веселились и впрямь до петухов. К утру назначили день свадьбы — через семь месяцев со дня обручения.

Зять медника предложил уменьшить срок. Ерванд не согласился.

— Обручение — особая пора жизни, в ней свои радости. Пусть жених и невеста сполна наслаждаются — будет что вспомнить.

Так свершилось обручение.

Семь месяцев...

За это время была зима. Аршак с крыши своего дома кидал снежки во двор к Воски и тем вызывал ее из дому.

Она выбежала, смотрела туда, где, набросив на плечи бурку, стоял Аршак, улыбалась, махала ему рукой, чтоб спустился и шел к ним, потом снова убегала в дом...

Была и весна. И первый букет фиалок Аршак кинул им во двор так, что букет упал прямо на колени к Воски. Она сначала испуганно вскрикнула от неожиданности, а потом звонко засмеялась, вся искрясь радостью.

Всю весну Аршак носил ей букетики, и она всегда сначала вскрикивала от радости, потом смеялась. И смех и крик ее отдавались в сердце Аршака...

За это время была пасха. И Воски вместе с Аршаком, в сопровождении всех их родных, погнали жертвенного барана, с красной повязкой на шее, к храму Астапат. Там они вместе восхищались мастерством канатоходцев, наслаждались пением ашуга, горевали о муках страждущих. Вместе сидели на берегу Аракса и молча любовались брызгами волн.

Потом, когда жертвенных овец стали по обычаю водить вокруг храма, и позже, когда их зарезали и освежевали и когда уже и тут и там курился голубой дымок, они, опустившись на каменные плиты храма, коленапреклоненно молились богу, поверяя ему все, что было на сердце. «Господи, — зывали они, — спаси народ наш от зла, от врагов! Сохрани нам язык наш, чтоб вечно могли мы молить и славить тебя. Хвала и слава тебе, господи! Аминь!..»

Много было в их жизни неповторимо прекрасного за семь месяцев. Но жених и невеста все равно с нетерпением ждали самого большого счастья, ждали свадьбы.

И вот день настал. Вся молодежь села до полудня веселилась в доме мастера Ерванда, а после полудня отправилась за невестой...

Надрываются зурначи. Из дома невесты первыми выходят дружки с обнаженными мечами в руках, следом идут жених и невеста. На голове у нее длинная, до пят, фата. Она закрывает ей лицо. За семь месяцев Воски сделалась еще прекраснее и даже словно бы выросла, стала выше. Белым платком в белой руке она прикрывает ротик. Слева, на подрагивающей ноздре, поблескивает слеза, радость смешана с горечью расставания с отчим домом...

Аршак, тонкий в талии, широкоплечий, с застенчивым взглядом умных глаз, гордый, прямой, идет рядом. Одной рукой он ведет Воски, другая лежит на серебряной рукояти меча у пояса. Со стороны кажется, что оба эти цветка друг для друга и расцветали.

Весь Норагюх в ликовании. Во-первых, потому, что юные жених и невеста, их родители всеми в селе любимы и почитаемы. И еще потому, что уж очень давно не звучали здесь песни и музыка. Эта свадьба стала символом возрождения радости, праздником песни.

Кортеж продвигался по селу, и отовсюду с крыш люди сыпали на виновников торжества орехи, финики, миндаль — в знак соучастия в празднестве и разделенной радости, как доброе знамение на будущее. А из иных домов навстречу молодым выходили родители тех, кто тоже либо недавно поженились, либо пока еще только обручились. Они, как бы в танце, несли на головах деревянные подносы с яствами и чашами, полными вина, и опускали эти подносы перед тем, кто старше других в кортеже, прося осушить чашу за счастьем молодоженов.

Так Норагюх провожал в церковь единственного сына уважаемого мастера Ерванда и его невесту...

В церкви, точно в святой праздник, горят бесчисленные светильники, трепещет пламя многочисленных свечей. Освещен каждый уголок и все лики святых.

Дьякон машет кадиллом — курит ладан над «царем и царицей» дня, а затем и над всеми собравшимися. Но вот перед молодыми встает протоиерей Костанд в шитой золотом мантии. В руках у него крест и Библия, и он распевно возглашает:

— Дети мои, волею божьей и по обычаю нашей церкви вы венчаесть в законном, священном браке. Да сохранит вас господь в вечной неразделимой любви до глубокой вашей старости и да удостоит неувядающего венка. В юдоли мирской человеку иногда выпадают разные испытания: болезнь, нищета и многое другое. Да убережет вас господь от тяжких испытаний. Волею бога отныне и до смертного часа вы должны быть опорой друг другу!..

Осенив крестом и Библией жениха, отец Костанд вопрошает:

— Ты, сын мой, согласен быть опорой и господином до смертного часа рабе божьей Воски?

— Согласен, святой отец! Да буду волею бога опорой и господином ей!..

Отец Костанд осеняет крестом и Библией невесту:

— Ты, дочь моя, согласна быть верной женой до смертного часа рабу божьему Аршаку?

— Согласна, святой отец! Да буду волею бога верной женой ему!..

— Всемогущий господь наш, благослови этот брак, соедини брачащихся святостью и миром. Да пребудут они под сенью твоей! Аминь!..

Все выходят из церкви, к протоиерею отцу Костанду присоединяются все священнослужители. Звучит ритуальный гимн: «Солнце праведного рассвета, твоя утренняя заря...»

Норагюхцы ликуют и веселятся. Всюду музыка, песни, танцы...

И вдруг!.. Вдали за домами, как из земли, выросли всадники в белых чалмах с красным перехватом.

Они быстро приближаются, но еще быстрее катится волна ужаса: «Хан идет!..»

Оборвалась музыка, закаменели люди. Не то чтобы с отчаянием, но очень горько вздыхает мастер Ерванд.

Хан и его свита останавливаются перед свадебным кругом, буравят глазами невесту. Хан пока молчит, а конь его, уже почувствовав свободу, громко ржет и, встряхнув гривой, вырывает поводья из ослабевших пальцев хозяина.

— Значит, пренебрегаете моим повелением?! — не отрывая глаз от невесты, спрашивает у собравшихся хан Шариф.

— Ответа требуй только с меня, хан. Люди здесь ни при чем! — это сказал осипшим от волнения голосом мастер Ерванд.

— Кто ты? — хан ищет взглядом говорящего.

— Отец жениха.

Как осмелился?

— Сердце бы разорвалось, если бы не осмелился...

— И после этого рассчитываешь жить?..

— Должен жить...

— А ну, откиньте-ка покрывало. Я желаю видеть ее всю! — приказал хан своему телохранителю, стоявшему слева от него.

Тот мигом соскочил с коня и направился к невесте.

Аршак протянул руку к мечу. Отец придержал его за локоть и сам вышел вперед.

— Не смей, поганец, топтать нашу честь! — закричал он.

Ханский слуга, выхватив саблю из ножен, продолжал приближаться, уверенный, что отец жениха решительных действий не предпримет. Еще шаг-другой и... Ерванд тоже рванул меч из ножен и в мгновение ока всадил его в живот ханскому телохранителю, крутанул там и, выхватив, метнул его в хана. Шариф успел увернуться, обоюдоострый

меч наполовину вонзился в другого кэлбаша и свалил того с коня.

— Девушку в гарем, а ее родственников и жениха с его родичами предать мечу! — громогласно приказал хан начальнику свиты и направил коня в сторону Нахичевана. За ним последовало пятеро из приближенных. В их числе был и секретарь.

— Мудрым и справедливым было, солнцеликий хан, твое решение предать мечу родственников!.. — сказал секретарь. — В этих случаях смерть — награда, милость.

Хан не отозвался. Оглянулся назад. Норагох уже был далеко. Над ним дыбилась завеса пыли. Хан рванул вперед. Земля опять застонала под копытами лошадей. Спустя какое-то время хан Шариф снова оглянулся и придержал коня. За ними, тяжело пригибаясь, шла лошадь. На ней было двое: всадник и привязанная к седлу девушка. Ветер развевал ее свадебную фату...

Священнику не довелось завершить обряд повторением ритуального гимна «Солнце праведного рассвета, твоя утренняя заря...».

Свадьбу утопили в крови.

4

Окно с цветными витражами распахнуто настежь, и ветер, напоенный ароматами зрелых колосьев, фруктов и согретой солнцем земли, играет с кисейными занавесками.

Хан Шариф, развалившись на подушках, потягивает кальян и, вдыхая благоуханный воздух, рассматривает в окно Змеиную гору. За ней багровеет закат, и потому скалистая гора эта словно бы полыхает языками пламени, то гаснущими, то разгорающимися.

Долго полыхала вершина, но вот уже отгорела, а еще продолжала, вознесенная в купол небесный, царить над всем вокруг...

Хан засмотрелся на гору, и на душе у него стало мутно. Он ждал того, что требовало терпения. Но терпения-то ему и не хватало. Минуты казались часами. Он снова и снова смотрел на гору. И Змеиная гора теперь виделась ему в образе змеи.

Гору эту прозвали Змеиной из-за того, что скалы ее оставались неприступными. Но хану сейчас она и впрямь кажется змеей. Не вершина, а истинно змеиная голова с разинутой пастью.

Хан услышал позади себя какие-то шорохи. Прикинув к плитам пола, блестит чья-то лысина. Это евнух.

Хан потянулся, зевнул, раскрыв в крашенных хной усах и бороде свой круглый рот с редкими, длинными, желтыми зубами.

— Прекраснейшая Гури-пери готова доставить наслаждение моему господину, — бабьим голосом проверещал евнух, раболепно взирая на своего повелителя.

— А почему ты так долго не шел?

— Целую твои ноги, хан, она все в обморок падала.

— Отчего?

— Молода еще очень, — видно, от страха.

— Веди ее. Посмотрим...

И вскоре перед ханом на ярких розах хорасанских ковров стояла Воски, в прозрачном белом одеянии, вся благоухающая ароматами цветочных масел и притираний. Стояла, как приговоренная к смерти перед казнью: с бессильно опущенными руками, бледная, безучастная. Глаза закрыты, только чуть заметно поднимающаяся грудь говорила о том, что она еще дышит. Но и такая, полуживая, она была необыкновенна. Бледность, выражение муки и безучастность делали ее трогательно-прекрасной. Изучающе шаря по ней взглядом с тахты, где он возлежал, хан сгорал от вожделения. Но огонь, увы, всколыхнул только сердце... Проклятье! Уже в третий раз предают его годы. А может, не годы? Может, возраст тут вовсе ни при чем? Не злые ли духи, не так, так эдак, лишают его силы?.. Говорил с муллой, и тот вроде помог. Однако вот опять...

Но нет! Эта красавица способна вдохнуть жизнь и в покойника. Губы как вскрывшийся бутон. А груди — гранаты, что вот-вот лопнут. Хан молодцевато расправил плечи, провел красным языком по синим, мокрым губам и заговорил с Воски:

— Отныне ты будешь первой властительницей в моем гареме, да упьюсь я твоими губами. Все другие жены станут твоими служанками. Ну скажи, отчего ты грустна? Подойди ко мне... Так не мучай своего господина, я ведь могу и рассердиться. Ну, подойди, дай обнять тебя!..

Руки у Воски дрожат, грудь беспокойно вздымается, розы на ковре обжигают ноги. Вся она содрогається, вот-вот упадет. А хан, о боги, поднялся с тахты! Подошел, обнимает. Подхватил на руки. Уложил на тахту. Ищет ее губы своим холодным мертвым ртом... Воски извивается в его руках, бьется головой, хочет убить себя. Хан разъярен. Он

наматывает на руку шелк ее волос, тянет на себя. От запаха, исходящего старческой пастью, от страха и изнеможения Воски теряет сознание. Хан торжествует — теперь-то он возьмет свое. Целует ее в губы. Еще, еще... А мужчина в нем, похоже, умер...

Озверелый, он вышагивает взад и вперед, пока наконец не успокаивается немного. Потом вызывает евнуха, приказывает унести девушку, а сам еще долго терзается отчаянием. Потеряно то, за что отдал бы половину своего ханства.

На другое утро хан и послал человека в Сирац за знахарем Аствацатуром.

5

И в Сирапе, и в Шаапунике, в Гохтане и Сюнике произрастает целебный корень, корень жизни — чилужандрук. Аствацатур действительно владеет секретом изготовления из него живительного снадобья, обладающего и способностью омолаживать. Но вернуть силу жестокому из жестоких?! Вернуть силу кровопийце, тому, кто истребляет безвинных армян, угоняет в полон в глубь Персии, а оттуда ввозит своих единоверцев и заселяет ими армянские села? А скольких армянок с разных концов Армении он насильственно заточил в своем гареме? Знахарь Аствацатур знает, что из глаз этих женщин днем и ночью льются кровавые слезы. Знает он и то, как трагически закончилась свадьба в Норагюхе. Невеста похищена ханом. Медник Ерванд, его жена Унаб и сын Аршак заколоты мечом. Зарезаны мать Воски Армануш с тремя сыновьями — Барунаком, Корюном и Мазманом. А как растерзали зурначей из Шарута — Егика, Ерванда и Соса! Как вырвали язык у юноши по имени Багдасар, что пел песни на этой свадьбе?! И сколько еще случилось бегством протоиерей Костанд и дьякон Матевос, которых грозились повесить на церковном куполе...

Да неужто же знающий об всем этом армянин, если он хоть чем-нибудь поможет хану, не предатель?

Нет, восстанавливать силы хана Шарифа он не станет! Аствацатур не предатель. Он служит добру и человечности, и лишь благодаря этому ему открылись целебные свойства растений, чтобы он мог помогать людям, лечить их недуги. Аствацатур не станет предателем. Больше того, он воспользуется случаем и станет мстителем. И перед лицом смерти не отступится от задуманного...

И знахарь Аствацатур приготовил снадобье из белены и мураьиной травки. Оно не убивает, но медленно подтачивает тело и дух.

В назначенный день Аствацатур предстал перед ханом. Смиренно поприветствовав его, он протянул ему глиняный сосуд.

— И это должно вернуть меня к жизни? — спросил хан, с надеждой взяв в руки сосуд.

— Именно это. Только не сразу. День ото дня сил у тебя будет все больше и больше, хан...

— Как принимать?

— Ежедневно по одной чаше, натошак.

— А ты сегодня уже поел?

— Я выехал из Сирапа еще затемно, чтобы как можно раньше доставить тебе снадобье, благословенный хан, не до еды мне было.

Хан приказал слуге подать чашу, наполнил ее, посмотрел, понюхал зеленовато-желтую жидкость и протянул знахарю:

— Пей...

Аствацатур предвидел это. Он принял чашу и залпом осушил ее.

— Я приготовил так, чтобы пить было приятно. Заглушил горечь соками сладких семян и корней. Мне известны все свойства целебных трав. Будь совершенно спокоен и уверен...

— Едва лекарство окажет действие, я хорошо тебе заплачу. А до того ты в Сирап не вернешься.

— Я это знаю, хан. Подожду. Я уверен в успехе...

— Кликни главного палача, — приказал хан слуге.

Вошел палач, довольно дряхлый, на лице выражение застывшего отупения. Он глянул на знахаря, потом на хана.

— Запри-ка этого старика понадежней. Однако не забывай вовремя поить-кормить его...

Главный палач кивнул знахарю, чтобы следовал за ним.

6

Солнце поднялось, загорелись многоцветьем желтые, зеленые, красные стекла в оконных переплетах. Отсвет их окрасил все, что было в опочивальне хана. Сам хан еще не встал с постели и весь был во власти мечты о том, когда наконец чудодейственная сила лекарства позволит ему насладиться прелестями Воски-ханум... Откинув одеяло, он подо-

шел к столику, где стоял сосуд со снадобьем, сам наполнил чащу и снова вернулся на ложе. Выпил он лекарство не сразу: понюхал, попробовал на вкус и только тогда опрожнил чашу до дна. И, уставившись в потухший глаз на тигровой шкуре у ног, стал ждать действия снадобья. Что-то и впрямь с ним начало происходить довольно скоро. В голове замутилось, как от хмельного, и ужасно захотелось все бить, крушить. Вот хотя бы этот тигр со своим круглым желтым глазом — хану он уже казался живым. Вон как уставился. Того и гляди, накинется и растерзает. Шариф запустил чашей в голову тигру, чаша разлетелась на мелкие кусочки...

Слуга, вбежавший на шум, застал хана раздирающим в ключья ночной халат на себе. Испуганный слуга выскочил вон и стал кричать, звать людей. Сбежались визири.

Четверо держали хана и не могли с ним сладить — откуда сила взялась в этих сухих руках. Визири один за другим отлетали от ударов хана...

И как же все разъярились на знахаря-армянина. Несколько человек разом ворвались к нему в темницу, хотели тут же на месте расправиться, но узник опередил их. Спокойным, ровным голосом он сказал:

— Убить меня вы успеете всегда. Однако пока успокойтесь и выслушайте, что я вам скажу...

— Слуга утверждает, — прервали его, — что хан впал в такое ужасное состояние после принятия приготовленного тобой снадобья. Он сейчас там у себя все вверх дном перевернул, даже одежду рвет в ключья. Признайся, коварный армянин, ты сделал это знаячи, что творишь?

В душе знахарь ликовал.

— Да, это лекарство обладает способностью возрождать в человеке утраченные силы. Хан так желал этого, он и просил меня вернуть ему силы... Не знаю, может, только выпил лекарства больше, чем следовало. И сила, если ее больше, чем надо, не всегда в пользу. Это так. Сейчас напоите его семидневным мацуном¹. Это успокоит хана.

Визири ушли. Знахарь Аствацатур снова улегся на войлочную подстилку и мысленно заговорил с ханом:

«Нет, от одной чаши ты еще не до конца потеряешь то, о чем гредишь, и умереть тоже пока не умрешь. Да и незачем нам, чтоб ты сейчас помер. Явится другой хан, с новым рвением обрушится на наши головы. Я должен известить тебя медленной пыткой. Знаю, что армян этим не спасу. Просто

¹ М а ц у н — род квашеного молока.

это будет моя доля мести. Мне тоже не жить, я понимаю. Мы умрем с тобой вместе, хан. Днем раньше, днем позже, не столь уж важно...»

Мацун действительно успокоил разбушевавшегося хана. Но он так ослаб, словно его вытащили из-под мельничных жерновов. Не мог даже рта раскрыть, чтоб хоть слово промолвить.

Только спустя день хан велел привести знахаря, но предварительно приказал главному палачу:

— Пострадай этого армянина самыми жестокими пытками, только чтобы не подох. Я потом сам повешу его.

Главный палач склонил блестевшую, как медный таз, лысую голову, выражая полную готовность исполнить все, что от него требуется...

Удивлению хана, когда перед ним предстал знахарь, не было предела. Армянин держался вполне спокойно и даже улыбался.

— Можешь ты сказать, почему твое лекарство не оказалось на тебя того же действия, как на меня?

— Просто я сразу попросил мацуна у твоего главного палача.

— Интересно, почему же ты все-таки и меня спас мацуном, коли уж решил отравить? Расскажи-ка обо всем подробнее. Это ведь тоже неспроста. В чем дело? Не скрывая ничего, если хочешь избежать страшных пыток. А я — мастер придумывать адовы муки для своих врагов, знай это...

Аствацатур оживленным и даже довольным тоном сказал:

— Благословенный хан, ведь все шло как надо. Отчего ты тревожишься? Спроси у своих визирей: сколько человек тебя держало, а ты расшвыривал их в разные стороны, как истинный исполин...

— Я все знаю. И что же с того?

— Как что? Значит, лекарство действует. Тебе же сказали, что ты был подобен льву. Человеку хватит и человеческих сил, львиные ему не нужны. Просто ты, видно, сам себе чуть навредил: принял лекарства больше, чем следовало. И ничего другого. Это вовсе не опасно.

Хан опешил. Его поразило безмерное спокойствие знахаря и убедительность объяснения.

— Ты же сам сказал: одну чашу натошак?

— Да, но какую чашу? — улыбнулся Аствацатур. — Я показал, что это должна быть маленькая чаша. Как же ты не помнишь? Наверно, во время моих пояснений ум твой

был занят государственными заботами и делами. А размер чаши я тебе показал рукой — помню это точно. Сам-то я, правда, выпил, тебе в доказательство, большую чашу, чтоб ты не счел меня отравителем. Потому-то, что большую выпил, я и решил на всякий случай попросить мацуна. Жизнь-то, она ведь и малой козьявке дорога, мой хан. На что черви незрячи, а и то чуют беду задолго и спасаются как знают. Вот и я хоть стар уже, а жить еще хочется. Во всяком случае, умереть, как умирают грешники в твоей темнице, мне совсем ни к чему. Как я стану вредить тебе, если ты держишь меня в заточении и, чуть что, можешь отправить к праотцам? Только тем я и утешаюсь в темнице, что вины за собой не имею. Надеждой держусь. Иначе бы не вынести этого ужасного заключения. Мудрый хан, поверь, что если что и не так, то лишь по оплошности. А злого умысла в моем врачевании нет и быть не может. Ты можешь меня казнить, но лекарством не пренебрегай. Помни, кроме меня, тебе такого никто не приготовит. А оно обязательно исцелит тебя. Употребь его в должном количестве и посмотришь тогда, что тебе еще мало будет цветов твоего гарема...

Хан только пожал костлявыми плечами под тонкой тканью халата.

— А есть оно, лекарство-то, или твои люди, чего доброго, уничтожили драгоценные капли все сильного бальзама?

Хан встревоженно взглянул на столик и, увидев, что сосуд на месте, спросил:

— Через сколько дней можно снова его пить?..

— Спустя два дня.

Хан позвал главного палача.

— Уведи этого человека, — сказал он, — пусть пока проживет...

Через два дня Аствацатур снова стоял перед ханом. На этот раз ему было велено собственноручно налить или накапать (как знает) необходимую дозу лечебного снадобья.

Едва он протянул хану чашу, как тот сказал:

— Знахарь Аствацатур, имей в виду: если и на этот раз со мной приключится такое, что было в тот раз, я своими руками выдеру тебе глаза. И не только. Сотру Сирап твой с лица земли, уничтожу весь твой род!..

— Пей спокойно. Но помни, что лишь после того, как ты девять раз кряду примешь лекарство, только после этого к тебе вернется способность ощущать аромат распускающихся цветов. А вдыхать его в себя с жадностью сможешь еще того позже — через день после девятой чаши...

Хан насупился:

— Выходит, только через десять дней?..

— Через одиннадцать, — добавил еще день знахарь. — Первый прием не в счет. Ты злоупотребил им... Через одиннадцать дней.

— О аллах!.. — Хан выпил лекарство и, с чашей в руке, вперившись в тигровый зрачок на полу, снова стал ждать действия.

Чуть спустя задрожала рука. Потом он почувствовал нечто такое, что было в тот раз. Опять хотелось что-нибудь разбить, разрушить. Правда, пока он еще мог совладать с собой. Просто казалось, что все ему нипочем: вот прыгнет с высокого балкона опочивальни, и не страшно, даже со Змеиной горы может кинуться. Но пока ему все это только казалось, а делать он ничего такого не делал. Барашка вдруг захотелось, жаренного на вертеле, да чтобы целиком его одному съесть. И хан потребовал барашка. Ел его, как голодный волк.

— Видишь, мой хан, как ты сейчас хорошо себя чувствуешь? Какой у тебя прилив сил, какой богатырский аппетит?.. — улыбаясь сказал знахарь, а про себя подумал, что все идет, как задумано им.

Хан в ответ только блаженно проурчал, не в силах оторваться от барашка.

— Еще немного, и ты станешь слабеть, настолько, что руки поднять не сможешь, но это так и должно быть, не пугайся. Именно в этом весь секрет...

Хан опять пробормотал что-то несвязное, невидяще глянул на знахаря, потом, еле передвигая ноги, дотацился до тахты и снопом повалился на нее. Какое-то время лежал без движения, лоб покрылся испариной... Но вот вроде отошел, открыл глаза, посмотрел на потолок и, переведя взгляд на знахаря, сказал:

— Эй, армянин, ты меня убиваешь! — Он чуть помолчал и повторил: — Убиваешь. Это точно.

Глаза снова закрылись. Дыхание стало шумным...

Так прошли второй, третий, девятый день.

На двенадцатый день Аствацатура приволокли к хану чуть живого, на себя не похожего.

Два дня его пытали каленым железом...

Хан выгнал всех слуг и в отчаянии взмолился:

— Говори, пес, ты совсем лишил меня мужских достоинств?

— Совсем!.. — Аствацатура стоило огромных усилий сто-

ять на обожженных пятках. Но он ни на миг не забывал, что являет собой мстителя, и держался из последних сил. — Тебя вообще больше нету, хан...

— Как так нету? — испуганно вскинулся хан, потрясая в воздухе костлявым кулачищем.

— Твое мужское достоинство не было достоинством, хан Шариф. Суховой это был. Зноем спалил столько нежных цветов армянской земли. Это из их мертвых корней я готовил тебе «бальзам», мстил за них. За опаленные тобою цветы Армении, Грузии мстил. И Персии тоже. Ведь ты и там их не щадил. Я мог бы сразу отправить тебя в преисподнюю, хан Шариф, но только армянам от этого никакой пользы. Явится новый хан, зальет кровью новые свадьбы, втопчет в грязь новые цветы, с новым рвением будет душить наш язык, наши песни. Уж лучше так. Живи и мучайся сознанием, что хоть ты и завоевал себе право рвать с корнем все цветы, а делать тебе с ними уже нечего... Это наказание посильнее смерти, которая тоже не за горами. Я свое сделал и сказать тоже все сказал...

— Палач! — закричал хан. Это он кричал на знахаря, но стоявший за дверью главный палач, решив, что зовут его, влетел и бухнулся в ноги властелину.

— Я здесь, мой господин, мой солнцеликий хан.

— Вырви у этого неверного язык! Что ты, окаменел?..

— Чем большим мукам ты подвергнешь мое брненное тело, тем с большей любовью мою душу, душу праведника, вознесут добрые ангелы...

Палач выволок Аствацатура.

Хан Шариф, пошатываясь, подошел к окну, посмотрел на солнце, которое, хочет он того или нет, будет и после него светить и дарить тепло миру. Посмотрел на гарем, окнами обращенный к его опочивальне. Там, в этих окнах, он теперь то и дело ловит, как сму чудится, зазывные, беспокойные взгляды. Вон и сейчас оттуда сюда кто-то смотрит.

Хан, еле передвигая ноги, вернулся к тахте, лег и велел позвать главнокомандующего войсками сардара Аббаса Ховейда...

— Сюда, во дворец, пробрался знахарь из Сирапа, с целью отравить меня...

— Как так? — подскочил и снова сел сардар. — Хотел отравить великого нахичеванского хана?..

Теперь Аббас Ховейд встал и больше уже не сажился.

— Все это — дело рук шаапуникского мелика Исраела. Он, и никто другой, подослал отравителя.

— Прикажи, мой господин, и, не пройдет двух дней, голова этого мелика будет брошена к твоим ногам! — напыжившись, сказал Аббас Ховейд.

— Тут нужна осмотрительность,— недовольно пробурчал хан, не глядя на пышущего завидным здоровьем, могучего сардара.— Весь род мелика Исраела пользуется особым уважением у армян, даже у ихних меликов. Шаху об этом известно, и он тоже вроде бы его почитает. У армян пока еще есть сила, и расправляться с ними надо исподволь. Так советуют шаху назирь¹, и он им доверяет. А потому меликская голова может стоять нам многих голов. Но я знаю... Не понадобится и голову срубить. Надо стереть с лица земли Шаапуник, чтобы вовсе не было такого меликства. Отрежем его от Сюника, Арцаха и от Эчмиадзина — духовного средоточия армян... Мудр был шах Аббас Великий, надо следовать его примеру. Раздел, если с умом разделять, ослабляет. Заселив курдами всю Араратскую долину, он разделил на две части Малый Сюник и тем ослабил единство соседствующих армянских меликств. Так, и только так, разделив их, нам удастся подавить армян, привести к тому, что они иссякнут-иссохнут. Но мелики тоже не глупые. И они и их духовенство предвидят эту опасность. И раньше других все понял мелик Исраел. Он разгадал мои намерения. Поэтому не только бдителен и насторожен, а часто сам первым нападает и уничтожает моих кзлбашей, якобы за грабеж, насилие и прочие грехи. И ему удается, этому хитроумному, как змея, армянину, сохранять расположение шаха. Уверенный в том, что я самый страшный его враг, он постоянно прибегает к разным коварным проискам. Вот и на сей раз, проведав, что страдаю бессонницей, он подослал ко мне этого знахаря из Сирапа, пользующегося славой искусного врача-вателя. Я, как ты понимаешь, был не столь уж наивен и заставил сначала его самого испробовать приготовленного для меня зелья, потом запер знахаря в темницу и только после всего тоже принял... Одним словом... О всемогущий аллах, о Аббас!..— Хан внезапно весь скорчился и опять уставился затуманенным взглядом в тигриный глаз. Снова начались боли.

— Выходит, солнцеликий хан принял этот яд?! И драгоценному здоровью хана нанесен вред?!

— Да, теперь сонливость меня вовсе не оставляет. К то-

¹ Назир — советник.

му же какие-то боли в животе. Не сильные, но... Хорошо, я быстро понял, что к чему, не то...

— А как же знахарь? Сам-то он не пострадал от своего яда?!

— Он шел на все. Ну и потом знал ведь, что делал, может, и противоядие для себя припас?.. Они, эти армяне, фанатики: им жизни не жаль, только бы нацию сохранить.

— Нечестивцы! — сардар с остервенением хлопнул ладонью по бедру. — Тебе, солнцеликий хан, доложили, что в Хндзорстане за один день убито триста пятьдесят кэлбашей?

Хан пребывал в таком состоянии, что он даже не взволновался и не удивился, а только вяло спрашивал:

— Армяне убили кэлбашей? Триста пятьдесят человек?.. Почему убили?

Сардар с подробностями рассказал, как хан Алам-Асадулла направил войско под предводительством тысячника Омара для усмирения хндзорескцев, отказавшихся платить дань. Как это войско было разбито. Рассказал, что бунтовщиками руководил слепой старик.

— Слепой?

— Так говорят...

— Что ж, у нас теперь есть за что расплатиться с ними. Возьмем сто к одному. Сегодня же надо опустошить Сирап, чтобы потом заселить его мусульманами. И еще надо разгромить несколько сел в меликстве Исраела.

— Ты прав. И с Сирапом надо не тянуть. Сегодня же расправимся.

Сардар рвался в бой.

— Выступай в поход! — Хан воздел руку, словно целое войско благословлял.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Крестьянин, полночью въехавший в крепость мелика Исраела Сркугинк, не сразу сумел заговорить — так он был измучен. Но вот наконец перевел дыхание, а слова все не идут: волнение сжимает горло, глаза полнятся слезами.

Мелик, хоть и был встревожен, попробовал сначала успокоить пришельца, ободрить его. Положив руку на плечо крестьянину, он сказал:

— Возьми себя в руки. Что бы ни случилось, прежде всего будь мужчиной. Так уж нам, людям, суждено: испытывать боль и уметь превозмочь ее, если даже она... Успокойся и расскажи, что произошло?

И от слов мелика человек действительно немного пришел в себя.

— Разрушили и разграбили Гомри и Ариндж, мелик!.. У меня на глазах предали мечу моих сыновей-близнецов, жену, брата двоюродного — сына сестры моей матери, он бежал к нам из Сирана. И родную сестру... — Крестьянина опять забила дрожь, на глаза снова навернулись слезы. Он с трудом продолжил: — Я еле сюда добрался, чтобы поведать тебе о случившемся несчастье. Они и сейчас еще там...

— С чего все началось?

— С того вроде бы, что мы приютили у себя сирапцев, а на них они напали за то, что будто бы знахарь Аствацатур отравил хана Шарифа. И еще твердят, что ты это подстроил, ты подослал к нему знахаря...

— Как?.. Хан Шариф отравлен? Умер?..

— Так говорят. Будто бы...

— Хорошо, добрый человек, все понятно!.. — Мелик не договорил.

Во дворе поднялся необычный шум.

2

Черная весть с быстротой молнии облетела села Ехегнадзора, Вайоцдзора и Вардениса. С рассветом люди на лошадях, на мулах, стали стекаться с разных концов к Болораберду. Мелик Израел, уже знавший обо всем, что произошло, поднялся на башню. Внизу, по склону холма, дыбился лес железных вил, копий, топоров на длинных рукоятях, палиц, самодельных ружей.. И шум. Разноголосый шум наполнял все окрест. С появлением мелика на башне шум этот стал еще громче. Но вскоре он постепенно оборвался, иссяк как медный звон. В толпе какой-то бородач с непокрытой головой громко возгласил:

— Мелику Израелу честь и слава!..

В ответ мелик приветственно поднял руку.

— Позволь мне, мелик, от имени всех собравшихся сказать, зачем мы сюда сошлись, — говоривший был протоиерей Костанд из Норагюха. Без рясы, но с крестом на груди, в руке копьё, у пояса меч. Конь под ним ходил ходуном. — Мы больше не желаем, не можем так жить, мелик! — это

он уже говорил другим, более взволнованным голосом. — Не можем жить поруганными. На своей земле мы слуги у чужеземцев. И мы влачим это ярмо, потому что нас мало, а их много, потому что пока у нас нет иного выхода. Но и слуга, если его только и знают, что оскорбляют, предпочитает умереть в единоборстве с хозяином, чем влачить рабское существование. Мы, все те, что, не сговариваясь об этом, стихийно сошлись здесь, заявляем: смерть или свободная родина. Так нами решено и так тому быть! Смерть — не смиренное положение голов под мечи кзылбашей хана Шарифа. Смерть в бою — вот наш удел. В бою за поруганную честь. И если суждено, пусть мы умрем смертью мучеников, только бы в истории армян не было записано строк, вызывающих постыдную жалость к нам. Я, мелик, отец Костанд, протоиерей норагюхский. Тебе, думаю, ведомо, что натворил в Норагюхе паскудный хан Шариф?.. Мне удалось бежать оттуда вместе с дьяконом. Вот он, — отец Костанд показал на восседавшего на коне рядом с ним Матевоса, тоже с крестом. — Мы добрались до Гомринских гор и поклялись: не лежать нашим головам на мягких подушках, пока землей нашей владеет враг! За нами пошли многие. И минувшей ночью мы видели, как горел Гомри, а чуть дальше и Ариндж. И хан Шариф...

Отец Костанд хотел рассказать все, как было, но мелик прервал его.

— Мне все известно, святой отец! — сказал он.

— Так жить мы больше не хотим! — повторил свое отец Костанд.

— Не хотим! — прокатилось эхом в толпе.

Яври, который тоже поднялся на башню, стоя рядом с отцом, слышал и видел все происходящее. Кровь в жилах так и кипела, но он сдерживал себя и терпеливо ждал, что решит отец. А решить было трудно. Ведь именно сейчас, как никогда, важно сохранить хотя бы видимое спокойствие. Этого требует задуманное на тайном совете в Эчмиадзине. Неосторожный шаг может сорвать дело, которым должна решиться судьба целого народа, а не двух-трех сел. Но как объяснить это людям, нагрянувшим к нему, к мелику Израелу, за помощью, за советом? Они сейчас как бурный поток, вышедший из берегов; пока чего-нибудь не сокрушат — не уймутся.

— Отец, пусть люди изольют свой яд. Это поддержит и обновит в них дух непокорности, — сказал Яври.

И хотя отец не был согласен с сыном, ему тем не менее

было приятно, что Яври, как и он, глубоко озабочен событиями и не стоит в стороне от них.

— Беда в том, сын мой, что все это, если мы его допустим, может дать повод врагу обрушиться на нас, на армян, большую силу, даже шахское войско. Армении это сейчас очень некстати и попросту грозит повальным уничтожением. Сгинем, и нет нас. Во имя грядущего освобождения страны и народа нашего сейчас нам пока еще следует сохранять видимую покорность.

Сын мелика не ведал об эчмиадзинском собрании и потому не мог в толк взять, почему отец вдруг проповедует смирение и покорность.

— Чем мы смиреннее, тем враги удобнее усаживаются на наших головах, отец! То, что творят кзлбаши в последнее время, дает нам право показать врагу, что мы не всякую горечь готовы проглотить безропотно. Надо воспользоваться поводом, отец. Тебе ведь все равно не удастся уговорить этих потрясенных ужасом людей вернуться в свои села. Они пойдут за отцом Костандом, и столкновения с ханским войском не избежать.

— Что верно, то верно. Но одно дело — они выступят сами, а другое, если в этом участвует мелик...

— Я поведу народ, отец!

— Ни мелику, ни его сыну ханским уложением не разрешается заниматься воинскими делами в поверженной стране. Безнаказанным и незамеченным это не пройдет. К тому же ты еще очень неопытен, сын мой. И пойми меня правильно, ты знаешь, я не из трусливого десятка, ханским уложением меня в узде не удержишь. Просто есть многое такое, что я пока даже тебе сказать не могу. Знай и верь мне — нас ждут великие свершения. Я уже не молод, а тебе предстоит послужить народу верой и правдой и сделать для него очень многое.

— И я обязательно сделаю! Я вернусь целым и невредимым, будь уверен!

— Может, и вернешься... хотя трудно поверить, что можно с вилами одолеть обученное войско... Однако предположим, что ты вернулся живым. Так ведь все одно шах тебя тут же призовет к себе и...

— Я постараюсь, чтобы все кончилось хорошо!.. — упорствовал Яври. — Во всяком случае, народ должен знать, что в трудную минуту если не мелик, то сын его — с ними.

— Это в тебе говорит молодость, Яври...

— Нет, отец, только ответственность перед народом в

столь безвыходном его положении и забота о твоей чести, которая дорога мне...

— В таком случае придется мне самому.

— Заклинаю тебя, отец!..

Мелик Израел тут же на башне обнял сына.

Спустя короткое время врата крепости Сркугинк распахнулись и из них стрелой вылетел вороной конь с белой отметиной во лбу и в белом чулке по колено на одной из передних ног. И казалось, что эта белая нога земли не касается, а отметина во лбу прочерчивает в воздухе светлую линию, — так бушевал, так рвался к неведомому этот конь, застоявшийся и мало что повидавший, но уже готовый весь мир вихрем облететь. За Яври следовали его слуга Торгом и один из телохранителей мелика Израела — Баграт.

Скачущего из Болораберда юношу узнали многие.

— Сын мелика!..

— Яври!..

— Да здравствует сын мелика! — воскликнули все в один голос.

— Привет отцу Костанду! — с трудом придерживая коня, сказал Яври. — Привет вам, армянские крестьяне, и слава за то, что решили вступить в справедливый бой! Вперед!..

— Вперед!..

Родные горы стократ повторили гневное «вперед», и над дорогой, ведущей в Гомри, потянулось длинное, нескончаемое облако пыли.

3

Над Бичанагом стояла завеса желтой пыли и дым, то белый, как пучок света, то темный, курчавящийся, как шерсть. И в этой пыли и в дыму все было в смятении, стремительном, деятельном. Дыбились кони с всадниками в седле, похожими на большие тени. Бежали в разные стороны люди: одни сторожко, пригибаясь, другие быстро, тоже словно тени. Кто-то, воздев руки к небу, вдруг падал и оставался лежать. Временами в клубах дыма взвивался ввысь язык пламени и, разметавшись во все концы, снова пропадал в дымной черноте. Все окрест наполнилось запахом гари.

Сильнее обычного грохотала речка Нахичеван и глушила своим шумом крики женщин и детей, стоны стариков...

Это бесчинствовали в развалинах Бичанага кзлбаша хана Шарифа. Они уже совсем было покончили с Аринджем, когда

вдруг появились вооруженные крестьяне и все обернулось иначе.

Подстегивать и воодушевлять крестьян не приходилось, бились они и без того отважно. Но отец Костанд тем не менее в пылу боя то и дело восклицал: «Во имя святого креста!..», «Во имя армян...»

Яври рубил мечом налево и направо, а то вдруг вспрыгнет в развалины, чтоб передохнуть, но, увидев, что кто-то из кэлбашей хватается лошадь без седока, тут же кидается на беглеца, сбрасывает с коня и его же оружием препровождает вражью душу господу на покаяние.

С Яври неразлучны Торгом и Баграг. Следуя за ним, они и делают все то же, что и он. Нет им троем равных в рукопашном бою...

Быстро редели ряды кэлбашей. Брошенное оружие подбирали юноши, которых было заперли в сараях, чтобы потом угнать в неволю.

Паника во вражьем стане царила довольно долго. Но вот на какое-то время кэлбаши вроде бы оправались, стянули оставшихся в живых и, поддерживая друг друга, бились не на жизнь, а на смерть...

Падали сраженными прежде всего те из армян, кто по неопытности, гонимые гневом, бросались вперед очертя голову. Остальные действовали решительно и без излишней горячности.

И скоро иссякли последние силы противника, сопротивление было сломлено. Потерявшие надежду кэлбаши, бросая копыя, мечи и ружья, поднимали руки и сдавались.

Умолкла пальба.

Не умолкла река Нахичеван. Она глушила своим шумом стоны скорбящих армянских матерей и отцов.

Дымились развалины Бичанага...

4

По приказу Яври сельчане оставляли своих лошадей и мулов в овраге за Бичанагом, чтобы нападение было незаметным, внезапным и застало бы врага врасплох. К тому же конными вести бой на узких улочках и невозможно...

И вот теперь, разбив противника, вооружившись его же оружием и подкрепившись новыми силами из бичанагцев, уже на конях, победители направлялись в Гомри. Воодушевленные успехом люди чувствовали себя увереннее прежнего.

Яври и отец Костанд ехали рядом. Лица у них были озабоченные.

— Успеем, святой отец, или они уже сделали свое и ушли?..

— Может, и сделали, только едва ли ушли. Я думаю, войско, придя из Сирапа, здесь разделилось, здесь оно и должно соединиться, чтобы вместе вернуться восвосяи, — таков воинский порядок.

— Ты прав, отец Костанд, но что, если в Гомри нет войска?.. — Раньше, чем последовал ответ, Яври натянул поводья и оцепенел.

С горы напротив, словно выпущенные из лука, неслись конные кзлбаши.

Все ясно. Кому-то удалось вырваться из Бичанага и донести своим о случившемся.

Оцепенение Яври было минутным. Ни он, ни отец Костанд не растерялись.

— Что будем делать? — спросил Яври.

— Надо разделиться на две части, обойти гору и зайти с тыла.

— Разумно!..

И они тотчас перешли к действию.

— Враг идет на нас. Те, кто по эту сторону, — отец Костанд показал рукой, на глаз разделив людей, — за мной!..

И он погнал коня в обход горы.

Началось сражение между неискушенными в военных премудростях крестьянами и ханским регулярным войском.

Кзлбаши относительно легко разделались бы с армянами, не обойди они их с тыла.

Отцу Костанду со своим малочисленным войском удалось наделать много шума, и это на время вызвало растерянность в рядах противника. Аббас Ховеид, возглавлявший кзлбашей, даже подумал было об отходе, предположив, что прибыла большая сила в подкрепление армянам.

Армяне несли большие потери. Следовало прекратить бесполезное сражение, спасти жизнь оставшимся.

— На-зад! — крикнул Яври. — Бросайте лошадей и расseyтесь в скалах!..

5

Западный ветер едва шевелил цветы и травы, отяжеленные запекшейся кровью. Кровью были окрашены камни, кустарники. И солнце безучастно взирало на дымящиеся развалины Аринджа, Бичанага, Гомри, Сирапа.

Кзлбаша подобрала и похоронила своих. И теперь на склонах и у подножия горы Азаран-пркич лежали только тела убитых армянских крестьян.

Землепашцы спят мирным вечным сном на земле, которая, при миролюбивом хозяине, никогда тем не менее не ведала мира.

Только ветер скорбит над сынами этой земли, расчесывает их золотистые кудри. А солнце покраснело и нависло над горой, потом медленно растворилась. Земля почернела и замерла, чтоб не мешать скорбеть обгаренным кровью цветам и травам.

Перед рассветом скрывавшиеся в скалах крестьяне, а с ними священники и дьяконы из разрушенных селений, во главе с Яври и отцом Костандом, вышли, чтобы похоронить убитых.

Солнце высветило на горе крест. Отец Костанд с трудом подавил слезы. Крест блестел на груди у дьякона Матевоса, распростертого на спине. Он пал одним из последних: сразил кзлбаша, и, пока пытался извлечь у того из груди копье, ему самому кто-то угодил в спину...

Священники и дьяконы отпели погибших, как следовало по обычаю.

Собрали всех мертвецов, обмыли их родниковой водой. И над вчерашним полем битвы закурился ладан, вознеслась молитва скорби и печали. Горсть за горстью падала земля в могилу. Взял земли и Яври, да так и застыл с нею в руке: вспомнилось Татевское ущелье, кружившиеся стервятники, скала, по которой скатывалась растерзанная девушка. Яври мысленно видел могилу девушки на берегу Воротана, на холме, под обломком скалы. Видел улицы Бичанага... И вот огромная яма, которая теперь станет общей могилой для новых жертв. «Из праха вы восстали, в прах и обратитесь!» — читают священники. Яври бросил наконец свою горсть земли...

Скоро над могилой уже высился холм. Отец Костанд поднял меч.

— Смерть или свободная Армения! — произнес он.

Его клятве вторили все те немногие из его людей, кто выжил. Затем он попрощался с храбрым сыном мелика Исраела и со всеми шаапуникцами и в сопровождении своего отряда направился в сторону Змеиной горы.

В то время как шаапуникские крестьяне под предводительством Яври, вооружившись топорами да вилами, выступили на защиту чести и жизни своих соотечественников, подавленный тяжелыми думами мелик Исраел не находил себе места.

«Подняв руку на сильного, чести не защитишь, это все одно что биться головой об стену, — вышагивая по комнате из угла в угол, размышлял про себя мелик, покусывая при этом кончик уса. — Когда католикос всех армян, после долгих терзаний, решился наконец несколько преступить основы своей веры, во спасение этой же самой веры и народа своего, в ней пребывающего, тут вдруг случился этот бой в Шаапунике, который конечно же вгонит в бешенство легковозбудимого шаха Сулеймана. Он призовет к себе католикоса, и в результате смешаются все карты. И если хан Шариф до сего времени никак не мог изыскать повода предать его суду шаха, то теперь у него этот повод есть, теперь-то он, воспользовавшись событиями, опустошит все села окрест. Развеется в прах все, что исподволь подготавлил святейший Акоп Джугаеци. И только черная тень падает на незапятнанное имя Прошянов...»

«Но разве я мог сдержатъ всеобщий гнев? — мысленно спрашивал себя мелик и решительно отвечал: — Нет, не мог! Уж коли землепашец берется за топор и вилы, как за оружие, то отобрать их у него, пока он не окропит их вражеской кровью, не сможет никто».

Мелик остановился, широко расставив ноги. Насупленный, озабоченный, с двумя глубокими морщинами на переносице, он долго стоял в задумчивости. Потом вдруг вскинул голову и снова зашагал по комнате. На этот раз медленно. Но вот он сел, велел позвать к себе главного виночерпия и слугу, из тех, кто помоложе.

— Отправляйся, да мигом, чтоб как птица, в села Арфеньял, Амазу и Арастамуз, — сказал мелик слуге. — Доставь оттуда пять самых лучших ашугов, сазандаров¹ с полным набором инструментов. И кого-нибудь пошли в Ахурец за шутом Геворгом. Все должно быть подготовлено

¹ С а з а н д а р ы — группа музыкантов, исполнителей народной музыки.

к долгому путешествию. Иди и будь здесь не позже захода солнца! А ты, — это мелик уже обращался к главному виночерпию, — подготовь двадцать бурдюков старого, выдержанного вина, двадцать мешков муки сисианской пшеницы, пять мешков сухофруктов, да чтоб большей частью абрикосов и туты, и еще орехов. Прикажи зажарить на вертеле пять баранов, добавь к ним и пять вяленых. Ко всему еще три дойных коровы, три бычка, покрупнее, два жеребенка местной породы, обязательно объезженных, но норовистых, и коров с десятком, в красно-желтых тонах. Вот пока все...

Виночерпий все повторил для памяти и вышел. Слуга удалился раньше.

Мелик снова погрузился в раздумья и заходил по комнате, то ускоряя, то замедляя шаг.

2

Хотя лето еще не вступило в свои права, в Спаане стоял жаркий день. На улицах было пустынно. Время от времени промчит всадник, озираясь вокруг, — уж очень хочется, чтоб увидал его кто-нибудь, и его самого, и коня под ним. А то вдруг, мелко постукивая копытами, пройдет белый хамаданский осел и на нем седобородый старец в чалме, с босыми ногами. Иногда нет-нет и промелькнут закутанные в чадру женщины, как стая куропаток, перескакивая из тени одного куста в тень другого, из ворот в ворота.

В эту пору дня обычно пусто даже в лавках центральной части Джан-Спаана. Лавочникам только и дела, что отмахиваться от мух конскими хвостами да четки перебирать.

И именно в эдакую-то пору затишья площадь перед шахским дворцом Али-Капу вдруг заполнилась звуками: забили барабаны, застонала зурна, ей нежно вторили сазы, выводя неведомую здешним людям мелодию. Вот вступили таристы, заиграла кяманча. Разнеслись звуки баяти и мугамов, изредка перемежаясь с армянскими песнями.

Все ходило ходуном, все вокруг гремело.

Шах в этот час был в приподнятом настроении, чуть навеселе. Отдернув плотную, светонепроницаемую летнюю штору, он не без удивления посмотрел на площадь. Сквозь хмельной туман в глазах ему мало что виделось.

— Узнайте, что там творится, — приказал шах.

Через минуту ему доложили, что это прибыл навестить великого шаха мелик Шаапуника Израел, но так как сам он-де захмелел на привале неподалеку от въезда в Спаан, то вот

и велел музыкантам заиграть прямо на площади Нахиджаан¹.

В глазах у шаха и на губах заиграла веселая улыбка, которая, однако, несколько не смягчила жесткости его лица.

Шах распорядился пригласить мелика.

Мелик Израел хорошо изучил натуру шаха Сулеймана, знал, сколь кровожаден он, как властолюбив, и притом щеголь, гуляка и мот. А к питью равнодушен, как мало кто другой. Знал мелик Израел и то, что всяк пьющий предпочитает себе подобного. Вот потому-то он немного выпил перед тем, как явиться к шаху. К тому же так легче польстить глупцу, позволить ему возвыситься в собственных глазах.

Шахский дворец был окружен чинарами, недвижимыми, как на картине. Как чинары, прямыми и неподвижными были и кзлбаши, стоявшие на часах у входа. Отовсюду веяло дыханием смерти, хотя кругом были цветы и зелень.

Мелик Израел подошел к входу. Выглядел он очень внушительно. В кирманшальской сборчатой кабе², перехваченной в талии, что особенно подчеркивало размах его могучих плеч. Разрезные рукава, переливаясь шелком зеленой подкладки, спадали по спине. На ногах сафьяновые сапоги. К серебряному чеканному поясу подвешен меч с серебряной же рукоятью, надо думать, доставшийся мелику в наследство еще от Проша. На голове высокая барашковая папаха с мелким крутым завитком.

Заглушая внутреннее волнение, мелик Израел шествовал так величаво, словно это шел сам властитель Персии. Его провожал меймандар³. Рядом, слева и справа, шли телохранители мелика. Кзлбаши, стоявшие на часах, невольно вытянулись и, прижав к себе свои длинные неуклюжие мечи, дали гостю дорогу.

Мелик переступил порог, телохранители остались за дверью.

Шах Сулейман, желтый, сухой — от чревоугодия и от злости, — восседал на тахте, подложив под ноги подушку. Мелик Израел с достоинством и подобающей учтивостью поклонился, изобразив на лице беззаботность и добродушие, свойственные кутиле и прожигателю жизни.

¹ На х и д ж а а н — площадь в Спаане.

² Ка ба — род кафтана.

³ М е й м а н д а р — дворецкий.

Шах в душе позавидовал внешней привлекательности и здоровью гостя. Пошлет же бог эдакое счастье какому-то мелику. Он долго смотрел на мелика Исраела взглядом, каким смотрят на приговоренного к смерти, перед тем как отрубить ему голову, но затем чуть смягчился. Не от движения души, просто мелик своим обликом обезоружил его. Но шах тем не менее довольно высокомерно спросил:

— С добром явился, мелик?

Исраела не смутили ни тон, ни ирония во взгляде шаха. А властелину-вседержителю Персии и на ум не пришло бы, что кто-то, не только пришлый, но даже из приближенных придворных, мог бы с такой смелостью явиться к нему и такое говорить.

— Мудрый шах! — ответил мелик. — Жизнь — пять дней, и все пять — черные. Даже самый великий человек, зная это, должен иногда позволить себе стать чуть менее значительным и забыть о своих заботах. У великого и заботы великие, мудрый, благосклонный к добрым деяниям шах! Я приехал из Шаапуника в Спаан, чтобы попить с моим шахом по доброму армянскому обычаю и хоть на один-единственный день развеять по ветру все твои заботы. С собой я привез достойные моего шаха дары и все, что способствует забвению, отдохновению. Хочешь, сочти мой поступок безумием и вели срубить мою буйную голову, а хочешь, давай попируем?!

Шах засмеялся, и худые острые плечи его заходили ходуном.

— Что это тебя вдруг надоумило?..

— Суетность мирская и почтение к великому шаху!..

Шах снова посмеялся, чуть дольше прежнего.

— Вино у тебя выдержанное?

— Выдержанное — не то слово. Вот уже двадцать лет властелину нашему, шаху, ведомо армянское вино. И тем не менее в запасе всегда имеется и лучше лучшего. Я привез такое вино, первый же кубок которого прямоком уносит в объятия райских фей. Коли оно придется по нраву моему шаху, готов ежегодно доставлять сколько понадобится.

— А фей-то ты с собой прихватил?..

— Да простится мне, шах, не решился, боялся не угодить. Но в другой раз непременно!..

— Значит, хочешь с шахом пировать?..

— Велика была бы честь, сиятельный шах!..

— Ну что ж...

Зал был ярко освещен. Шах Сулейман с довольной улыбкой на болезненно багровом лице слушал армянских ашугов, которые, соревнуясь друг с другом, славили шаха своими импровизациями, плавно скользя по коврам в своеобразных ритмичных движениях.

Тамадой за пиршеским столом был мелик Исраел. Пили большими кубками. Мелик пил мало, но искусно представлялся изрядно захмелевшим и все призывал шаха и советников его осушать кубки один за другим. Так и искрился весельем: пел, танцевал и говорил цветистые тосты.

Вот он снова поднял кубок за шаха:

— Да не иссякнет твоя власть над нами, премудрый и всесильный шах Сулейман! У малой нации нет иного пути, кроме как, положившись на сильного, признать над собой власть могущественного правителя. Армяне уже начинают понимать, что из соседних великих держав добрее других к ним Персия. И добрее потому, что тронем ее владеет все-сильный, справедливый шах Сулейман, потомок великой династии Сасанидов! Ты в сердце каждого армянина, шах. Да, да! Они с содроганием думают, что было бы с ними, коли властелином Армении был бы турецкий султан... Правда, ты отдален от нас многочисленными горами, и долами, но лик твой и власть ощутимы всюду. В страхе и трепете перед тобой все беззаконное; всякое порождение недобрых помыслов либо умерщвляется в зародыше, либо предается смерти прежде, чем успеет причинить зло и разрушение. Людьми приумножается богатство казны, и, если кто-то из ханов по какому-то частному поводу разрушает пусть хоть одно-единое село, этим он прежде всего пробивает брешь в казне, уменьшает доходы, необходимые для многочисленных государственных деяний. Ты мудр, великий шах, и лучше других все разумеешь, пресекаешь недоброе, беззаконное, потому-то мы и благоденствуем в мире в наших горах. Да пребудет незабываемым твой трон, солнцеликий шах! И да будет милостив к тебе всемогущий аллах и не иссякнет род твой, достойно возвеличивая от наследника к наследнику могущественную династию Сасанидов! В каждом, кто будет наследовать твой трон, да будет твоя кровь!..

Может, на этом бы и закончил свою речь обычно немногословный мелик. Но, заметив, что слова его доставляют шаху такое же большое удовольствие, как бычку, которому почесывают холку, Исраел продолжал:

— Все, что ты совершаешь, шах, справедливо. И наказание и поощрение. Уж если ты кого велишь вздернуть на виселицу, заточить в темницу, на кол посадить или голову кому отрубить, значит, так оно и должно было быть, и мы все радуемся, что твоей властью из нашего общего тела извлечена заноза, которая, не дай бог, засидись она в нас, причинила бы вред несказанный...

Шах довольно откашлялся, прочистил горло, оглядел своих приближенных и ударил костлявым кулаком по пуховой подушке, подложенной ему под локоть.

— Наш солнцеликий шах, свети вечно на нашем небосклоне, взирай с добром на доброе, как тебе свойственно, и зло на злое, как ты это делаешь всегда! За твое здоровье! — Мелик пил долго, будто и впрямь хотел до дна осушить кубок во здравие шаха. А в кубке между тем вина было всего ничего.

Долго звучали песни и наигрыши. Ашуги не иссякали в своей хвале шаху, певцы надрывали душу. Шутками и прибаутками смешил собравшихся шут Геворг. И шах всем этим был так доволен, что и в самом деле взирал на собравшихся осоловелым, почти добрым взглядом.

Пированье длилось до рассвета. Шаха и его придворных поразили не столько ашуги и музыканты, сколько мелик Израел своим красноречием, умом и смелостью, своим заражающим весельем, остроумием, своей внешностью. А танцует как!..

Но вот закончился пир, мелик, сложив с себя обязанности тамады и сделавшись очень серьезным, попросил у шаха слова и сказал:

— Да живет шах Сулейман. Когда я, следуя сюда, проезжал через села Бичанаг, Гомри, Норагюх, сельчане, узнав, куда путь держу, просили передать тебе их подарки, как знак смирения перед шахом, и я не посмел отказать им, — мелик посмотрел туда, откуда слуги его уже вносили дары. Это были те отменные армянской выделки ковры, которые он привез из своих запасов.

Ковры расстелили перед шахом.

— А от меня лично, — продолжал мелик Израел, — прошу принять двадцать вьюков муки, пять вьюков сухих фруктов, двадцать бурдюков вина, три дойных коровы, трех телков, двух жеребцов и вот этот алмазный перстень. Все в знак смиренной покорности. Над перстнем поработали все славные шаапуникские мастера золотых дел. И каждый старался привнести что-нибудь свое в перстень, который

украсит руку шаха-вседержителя. Прими его, всемогущий шах!

Мелик подал ему на шелковом платке свой собственный перстень. Шах долго рассматривал перстень, словно пытался увидеть работу каждого из ювелиров в отдельности. Затем, с трудом удерживая на тонкой шее свою голову, спросил:

— А чего пожелает мелик?

— Светлейшему шаху здоровья и благоденствия. Ничего другого мне не надо.

Шах махнул рукой и едва пробормотал:

— Зато я вот желаю, чтобы все эти музыканты остались у меня во дворце. Славно веселят. Не все, правда, но ничего...

С ужасом переглянулись все, кто пришел с меликом, посмотрели на него с надеждой, как он решит их судьбу.

— Что ж тут сказать? Останутся, коли так угодно благословенному шаху. Слуги есть исполнители воли своего господина! — покорно ответил мелик Израел.

— Так... — прикрыв веки, сказал шах.

На этом меймандар объявил, что пиршество окончено.

Едва мелик остался один со своими людьми, те в отчаянии сгрудились вокруг него и наперебой заговорили:

— Само небо на нас обрушилось, мелик!.. Что будет с нашими детьми, с престарелыми родителями?.. Что станет с нами?

— Чего вы переполошились? Мало что он сказал? — рассердился мелик.

— Сказал, так и завтра повторит сказанное. Оставит нас здесь.

— Того, что пьяный говорит, трезвым он не повторяет...

Через три дня мелик попросил у шаха позволения отбыть из дворца, надеясь, что по этому случаю ему выпадет новая с ним встреча, и тогда-то он изощрится поведать ему о произволе, чинимом ханом Шарифом, чем настроит шаха против своевольного хана, который после того уж не сможет претворить в жизнь свои коварные замыслы. Однако шах велел повременить с возвращением, и аудиенции не последовало. Все это несколько обеспокоило мелика Израела, а люди его и вовсе упали духом. Оставалось только обнадеживать, ободрять добрым словом, а то и шуткой...

Прошло еще два дня, когда вдруг явился меймандар и с подобающим почтением объявил, что велено готовиться к выезду, шах собирается в Мушдару и хочет, чтобы там, в его летней резиденции, повторилось бы пиршество, подобное недавнему.

Нелегко было разгадать, что скрывается за этим приглашением шаха — не злой ли умысел?..

Мелик ободрял своих людей, пытался вселить в них надежду.

В путь выехали после захода солнца. Мелик был в свите шаха, его конь шел слева. И это, надо сказать, было великой милостью.

— Что слышно в Армении? — спросил шах и тут же, не дожидаясь ответа, добавил: — Почему твои соотечественники все время беспокойны? А еще говоришь, что я у них в сердце? Пусть бы лучше старались не гневить меня.

— А разве они дали тебе повод гневаться? — вопросом на вопрос ответил мелик, не видя другого выхода.

— Хндзорстан объявил мне войну. Какая же это покорность: заманить в ловушку ханское войско и истребить его до единого человека?

Мелик Израел вздохнул облегченно. Он уже было испугался, что шаху стало известно о событиях в Шаапунике, а тогда хан Шариф мог оказаться расторопнее, чем он. Теперь же ясно, что опасения напрасны и, больше того, все складывается так, что можно наконец осуществить намерение поговорить с шахом о главном.

— Наместник и пророк всемогущего господа бога, великий шах! — спокойно и уверенно начал мелик. — Эта война вовсе не против твоего величества. Люди, они ведь по природе своей терпеливы. И трудолюбивы, как пчелы. Весь день готовы гнуть спину, чтобы выжать из земли побольше. Обращайся с ними чуть по-божески и дави из них, как мед из сот, все отдадут, до последней капли, и жалить не станут. А растравишь бесчеловечным отношением, посеешь в них смуту, тогда уж, и зная, что, ужалив, сгинут, они все равно будут жалить и погибать!..

Мелик замолк. Шаху, похоже, его речи пришились по нраву.

— И что же дальше? Что ты этим хочешь сказать? — спросил он.

— Многое можно поведать. Вот, к примеру, хан Шариф большой любитель враждовать. И в нахичеванских селах, и у меня в меликстве, и по соседству — всюду ищет столкновений. Случается, что доводит дело до больших потерь и разрушений. Так он разорил мои села Сирап, Гомри, Бачанаг, Ариндж, Гладзор. Значительный урон нанес нахичеванским селам Норагюх, Кзнут, Криан, Дашт и многим другим. Конечно же, опасаясь твоего справедливого гнева, он не осме-

ливается доводить разор до крайности, до полного уничтожения и разрушения. Но подумай сам, шах-вседержитель, не злокозненны ли его деяния? Неужто же он не понимает, что, разрушая села и уничтожая народ, он осушает источники, питающие шахскую казну? Хан Алам-Асадулла тоже был неосмотрителен. Да простит великий шах своего слугу за то, что осмеливаюсь давать совет: завоеванной страной разумнее править гуманным отношением, а не мечом. Меч несет опустошение. А кому нужна опустошенная страна?..

— Нет, ты не прав! — не согласился шах. — Народ извечно следует держать в страхе. Стоит какому-нибудь правителю уничтожить виселицы, палачей и темницы, сам же народ и перестанет почитать такого правителя. Не то ты говоришь, мелик!..

Мелику Израелу оставалось только сожалеть о том, что шах никак не внял его речам. Он замолк, решив пока больше разговора об этом не продолжать, чтобы шах, чего доброго, не додумался, что только затем он и приехал.

Однако шах сказал:

— Может, я ошибаюсь?..

— Светлейший шах никогда не ошибается. Просто, может, ветер и стук копыт помешали и не все мои слова дошли до твоего благословенного слуха? Я понимаю, что распускать народ нельзя. Это прежде всего вредно ему самому. Народ должен ощущать сильную власть. Он привык преклоняться перед силой. И конечно же во все времена были и будут виновные в наказуемых проступках. Я только хотел сказать, что если вина одного заслуживает пощечины, а вина другого — топора, то не следует в обоих случаях равно прибегать к топору. Известное дело, что великий правитель еще более велик, если народ его многочислен. К чему уничтожать безвинных людей, предавать огню и мечу села? Вера — не грех, мудрый шах, вера — это совесть. Ну, а совесть совестью!.. — Мелик замолк.

И шах больше не вызывал его на разговор. Воцарилось долгое молчание, которое никто не смел нарушить. Только кони стучали копытами, и гул этот, отдаваясь в садах за глиняными заборами, производил такое впечатление, словно бы по ту сторону тоже мчался по меньшей мере целый отряд всадников.

Шах молчал, но думал он только о мелике Израеле. Подкупали смелость мелика, отвага и особенно рассудительность. Но все эти его качества невольно пробуждали в душе у шаха зависть, и она заглушала чувство симпатии. Такая двойст-

венность мешала шаху выказать определенность в своем отношении к мелику...

Дорога сейчас шла между скалами, и эхо рьяно множило топот копыт. Это вывело шаха из забытья. Едва выехали из теснины, эхо в тот же миг иссякло, вокруг стало тихо, и шах наконец-то заговорил.

— Но я-то ведь за веру еще никого не наказывал? — сказал он. — И Эчмиадзин, и Татев, и Гандзасар, и много других ваших храмов и церквей действуют?..

— Однако, если хан Шариф в Нахичеване, а хан Алам-Асадулла в Татеве каждый миг могут ворваться в окрестные храмы и творить там все что им вздумается, народ вправе считать, что это совершается волею шаха из нетерпимости к чужой вере, из вражды к ней.

— Народ прав! — бросил шах. В нем явно снова пробудился властитель, видно оттого, что мелик уж очень был смел в речах. — Мы настигли вас не сломленными и придавленными, чтобы подавать вам руку и сдувать пылинки. Наши народы враждуют друг с другом уже больше полутора тысячелетий... Мы одолели вас ценой огромных потерь и невероятных трудностей. Возьмем к примеру период от времен Аварайской битвы и до нынешних дней... Сраженного, мелик, надо ровно столько удерживать под пятой, пока не убедишься, что и поднявшись он уже впредь будет жить, как подобает поверженному!..

Мелик, учуяв, что властелин взыграл в душе шаха, решил промолчать, свести разговор на нет. Но шах не дал ему этой возможности.

— Что на это скажешь? — спросил он.

— Мудрый шах, никакой народ не может жить под пятой. Он уж скорее предпочтет умереть, коли не найдет в себе силы подняться... Победителю разумнее, одолев противника, обезоружить его, поднять из праха и поставить на ноги. Это будет актом гуманности и даст соответственный выигрыш сильному. Я не сомневаюсь, что мудрый шах думает тоже так. Так думал и шах Аббас Первый. Может, я неосторожно растревожил чувствительное сердце шаха, рассердил?..

Шах улыбнулся одними губами. Мелик не заметил этого. Он продолжал:

— Но как можно ворваться в село, расстроить свадьбу, предать смерти жениха, его отца, мать невесты, а самому девушку увести, солгав, что это шах потребовал ее в свой гарем? Такое тебе понравится, шах?

— Кто это сделал? — с дрожью в голосе спросил шах.

— Хан Шариф.

Топот копыт снова подхватило и умножило эхо.

Так было еще много раз: эхо то возникало, то пропадало — они то входили в ущелье, то выходили из него, — пока наконец не исчезло совсем, когда достигли площади в Мушдаре.

На пиршество были созваны приближенные шаха, а также его певцы и музыканты.

Армяне опять удивили шаха своим искусством, новыми песнями и наигрышами, хотя в общем-то старались не прельстить шаха, чтобы, упаси господь, не оставил бы их при себе...

Здесь, конечно, пиршеским столом правил не мелик, но держался он так свободно и оживленно, что персиянин-тамада оставался почти незамеченным. Увлеченные виночерпии то и дело переливали кубки через край. Шах ловил каждое слово.

Лилось армянское вино обильно, как воды Зендеруда, но больше, чем вино, пьянили касиды Хафиза, Хагани, Руми, Джами, Абул-Фаиза.

Пировали в саду летнего шахского дворца Буйди. Роскошные палаты воздвигнуты на основании некогда разрушенного, столь же роскошного дворца времен правления Сейфинов. Бескрайние сады раскинулись по обе стороны Зендеруда. Вокруг, где-то очень и очень далеко, они были забраны высокой недоступной каменной оградой. Во всех концах сада насажены цветы. И с какой бы стороны ни веял ветер, он доносил их аромат.

Мерно шумел спокойный равнинный Зендеруд. В вечерних сумерках, словно бы состязаясь, заливались птицы. Они как бы тоже участвовали в пиршестве.

Веселье затянулось. Но вот шах пригласил всех во дворец и торжественно наделил армян дарами. Каждому — одежды из лучших тканей Кирмана и Спаана, шитые придворными мастерами. Мелику Израелу свой подарок шах вручил собственноручно. Это была миниатюрная золотая шкатулка, уместяющаяся в ладони.

Глядя в глаза мелику, шах с благорасположением в голосе проговорил:

— Прекрасно, что ты прибыл к нам. Так надо делать почаще!.. А спасение народа армянского в этой шкатулке...

Мелик примерно догадывался, что содержалось в магической шкатулке. Он поцеловал ее, приложил ко лбу, затем поднял над головой.

Шах остался доволен...

Едва мелик оказался один, он раскрыл шкатулку. Так оно и есть, догадка его была верной: на дне шкатулки, на зеленом сукне, лежал миниатюрнейший Коран в золотом окладе. Это было знаком высочайшего доверия.

Мелик Исаиасл торжествовал...

На другой день в полуденный час шах призвал мелика к себе. Он уже был не столь благодушным, как на пиршествах, но и не очень сух в обращении. Усталый, поникший, он все улыбался мелику. И вдруг сказал:

— Послушай-ка, а ты, случайно, не персиянин, изменивший своей вере?..

Тут уж улыбнулся мелик.

— Или, может, христианин, принявший магометанство? — не унимался шах.

— В родословной досточтимой фамилии Прошянов не было случая измены праведной вере армян, солнцеликий шах. Зато примеров служения ей хоть отбавляй.

Шах помрачнел.

— Тогда почему же ты знаешь наизусть почти весь Коран? Речи свои то и дело пересыпаешь изречениями из него. Только вера в пророка Магомета дает способность столь широко и разумно мыслить, как мыслишь ты, только она открывает доступ к познанию, к глубокому пониманию бытия. Один из мудрецов некогда сказал: «В мыслях отлагается лишь то, что проникает через сердце!..»

— Нет и не может быть человека мудрее самого шаха. Сказанное тобою, великий шах, принадлежит тебе. Твоими устами глаголет сам аллах! Мы обязаны знать законы и обычаи веры великого шаха, под покровительством которого живем и здравствуем; чем больше будем знать и почитать вашу веру, тем глубже она будет проникать в наши сердца, пока не захватит их целиком. Такой исход неизбежен. Необходимо лишь одно условие: доброта и терпимость. Ведь сам Магомет, признавая единую веру, единого бога аллаха, не питал тем не менее вражды к Христу, о чем свидетельствует четвертая сура Корана...

Шах Сулейман долго и внимательно смотрел в глаза мелику, но в душу его проникнуть не мог.

В это время вдруг вошел главный визирь. Подавая шаху пергаментный свиток, он покосился на мелика и доложил:

— Письмо от нахичеванского хана Шарифа. Шаапуникские армяне напали на ханское войско, когда те отдыхали после военных маневров. Есть потери, и очень большие...

Шах, не читая письма, вернул его визирю и вопросительно посмотрел на мелика.

— Не может этого быть! — решительно заявил мелик Израел. — Хан хочет, воспользовавшись моим отсутствием, убить одним махом двух зайцев. Зная о моем к тебе дружественном визите, он намеренно нападает на мои земли с целью опустошить их и, захватив, расширить свои личные владения, а заодно к тому же надеется опорочить меня в глазах великого шаха!

— Позвать сюда гонца, доставившего послание! — приказал шах.

Вошел гонец. Увидев здесь мелика, он очень смутился.

— Рассказывай!

Это единственное слово, выцеженное сквозь зубы шахом, прозвучало так, что у гонца задрожали колени.

Он повторил то, что было в письме, сказав, что видел «все это» своими глазами.

Шах снова посмотрел на мелика.

— Поклянись на Коране, что ты не лжешь, утверждая, будто вы поднялись в горы Бичанага с одной только целью — провести там военные маневры! — сказал мелик Израел, обращаясь к гонцу. — И помни, что лжесвидетельство по Корану же и наказуемо.

И кэлбаш, невзирая на внутренний страх, поклялся голосом, который сам по себе свидетельствовал против него и его клятвы.

— Я, христианин, не дал бы ложной клятвы на священном Коране! — сказал мелик. — Бичанагские горы далеко от Нахичевана. До них ровно столько пути, как если бы дважды пройти из Мушдары в Спаан и обратно, так неужели же ханскому войску не нашлось близ Нахичевана удобного места для проведения маневров и понадобилось взбираться в эдакую высь, к тому же в нарушение запрета шаха входить в пределы Шаапуника...

Шах перевел взгляд на гонца.

— Солнцеликий шах, разве твое войско не вправе свободно передвигаться во всех концах твоей державы?..

— Как смеешь лаять, пес? То войско не мое, а хана. И действительно, что вам, мало места вокруг Нахичевана? Что за нелегкая погнала в Шаапуник?..

— Так решил тысячник Омар, великий шах!.. Армяне всегда нападают с гор. Потому, видно, тысячник и хотел поупражнять войско в высокогорье. Для этого нет лучшего места, чем Бичанагские горы.

— Да позволено мне будет сказать, солнцеликий шах: если этот гонец сможет привести из полуторавековой истории наших отношений хоть один пример того, когда армяне нападали первыми, я кладу свою голову ему под меч!.. Он не может этого сделать, и теперь все ясно: мои села разорены и разрушены. Это не первый случай: стоит хану узнать, что я выехал за пределы своих владений, как он тут же учиняет побоище и грабеж. Если мой шах хоть чуть сомневается в истинности моих слов, их можно проверить — достаточно выслать человека. Бью об заклад, что села мои развеяны в прах. Если это не так, рубите мне голову с плеч. За клевету!..

— Хану вовсе неизвестно, что ты в отъезде, мелик... — попытался было выгородить своего господина гонец.

— Ты скажи лучше, села и впрямь разрушены или нет? — спросил шах.

И тут-то уж кзлбаш не смог соврать.

— Разрушены...

— Что же еще надо хану?..

— Просит у тебя позволения наказать армян за дерзость, солнцеликий шах!..

— Значит, есть еще села, которые вы не разрушили?

— Есть, солнцеликий шах...

— Этого наглого лжеца, осмелившегося на моих глазах давать на Коране ложную клятву, казнить и голову его вместо ответа на письмо отправить хану Шарифу! — приказал шах главному визирю.

Кзлбаш было кинулся в ноги шаху, но его вывели...

Когда приказ шаха был выполнен, главный визирь, докладывая обо всем, вдруг тихо сказал, обращаясь к шаху:

— А следовало ли срубать голову ханскому гонцу, доверившись неверному мелику?..

Шах пришел в ярость. Он не терпел, когда кто-то осмеливался обсуждать его поступки.

— Это было велением аллаха, и не дело главного визиря задавать подобный вопрос шаху. И самому бы надо понимать, что такое решение справедливо. Армяне уже повсеместно поднимают головы. Казна моя пустеет. Все должно делаться с умом, даже разорение армянских сел... И за то, что этот злосчастный хан Шариф бездумно сечет головы армян, я велю снести его голову. Нам нужны люди. Только люди дают доход казне. Армян не убивать надо, а склонять к принятию магометанства. Растворить их в нас, а не уничтожать — вот что следует делать. Коли уничтожим, чем жить станем?

Армянский мелик понимает все правильно, а шахский визирь никак этого в ум не возьмет.

— Да простит мне великий шах, теперь и я понимаю, сколь справедливым и мудрым было твое решение!.. А голову гонца я уже отправил с одним из наших кзлбашей.

Шах сделал вид, что не слышал слов визиря.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В Шаапунике, да и во всем Сюнике царило видимое спокойствие, таившее, однако, в себе большую тревогу.

Никто и подумать не мог, что после событий в Сирапе, Бичанаге, Гомри, Ариндже и Хндзореске их ждут не новые кровопролития, а тихое, осиянное солнцем, мирное, трудовое лето.

Но время шло, в горах то тут, то там слышится песня пахаря, и это ослабляло тревогу, создавало иллюзию мирных будней. Хотелось верить, что нивы не сгорят покинутыми под палящим зноем и плоды не сгниют, не засохнут на деревьях...

Надо сказать, что это спокойствие тревожило армян. И не только армян. Хан Шариф — первопричина напряженности — сейчас, ничего не видя и не слыша, с ужасом ждал взрыва, под ударом которого на него обрушатся и дворец его и все благополучие...

Надеясь скрыть от шаха подробности бичанагской истории, он спешно направил гонцов ко двору бывалого сотника в сопровождении телохранителя. Они уже давно должны бы быть обратно, но отчего-то задерживались. И задержка эта очень тревожила хана. Тревожило его и безмолвствование мелика Исраела. «Молчание этого хитрого армянина чревато такой же опасностью, как соседство пороховой бочки с огнем», — думал хан с тревогой...

Был июнь. Хан Шариф мелкими шажками мерил выложенные кирпичом дорожки дворцового сада, перебирая при этом сухими дрожащими пальцами четки. Еще обжигали лучи полуполуденного солнца, золотыми нитями падающие в глубь сада, туда, где пышно цвели всевозможные цветы.

Хан с наслаждением вдыхал теплый запах клевера, доно-

симый ветром с гор, и думал свою злую думу о том, как еще много армянских голов он снесет.

Шагал хан медленно, зато быстро опустошались села Вайоцзора, Ехегнадзора, Кашатахка, Гардмана, Фарисоса, Куста, Гегаркуника, а следом за ними Ереванское ханство и Гянджинское...

В конце аллеи хан с победным видом повернулся, хотел уже шагнуть вперед и... остановился. Навстречу ему шел тот самый телохранитель, в сопровождении которого отбыл с письмом к шаху сотник. Через плечо у телохранителя перекинут пестротканый хурджин, такой, какие у каждого конного кзлбаша обычно к седлу приторочены.

Вот он остановился шагах в трех от хана, виновато опустил глаза, осторожно снял с плеча хурджин, сунул в него руку, вынул, держа за ухо, голову сотника-гонца и положил ее не перед ханом, как ему было велено, а у своих ног. После чего, сложив руки на груди, застыл в поклоне.

Хан почти догадывался, что все это значило. Руки у него задрожали еще больше, четки со стуком упали на выложенную кирпичом дорожку. Кзлбаш хотел поднять их, хан взглядом остановил его.

— Расскажи все, как было.

— Мне не многое ведомо, мой хан, да буду я прахом под твоими ногами. Шаха в Спаане не оказалось, когда мы туда прибыли. Только через день он вернулся из Мушдары, из летней своей резиденции. Сотника допустили к нему, а я остался дожидаться во дворе. Потом он вышел в сопровождении главного визиря, и его тут же передали палачам. Спустил немного один из палачей вынес вот эту голову и сказал: «Отнеси ее своему хану. Это ответ на его письмо...» А еще я видел там шаапуникского мелика. Он вышел от шаха со своими людьми, пошел к мечети Ходжа-Алам. Может, на базар зашел?..

— Шаапуникский мелик?.. — У хана глаза полезли из орбит и язык будто отнялся.

— Да, мой хан, тот самый. Мелик Шаапуника Израел... Пошел к базару, что рядом с мечетью...

— Но как он оказался в Спаане? Ты сам его видел?

— Своими собственными глазами, святейший хан!

«Так вот оно что? Опять армянская хитрость!» — бушевал в душе хан.

Взяв поданные ему кзлбашем четки, он, едва держась на подкашивающихся ногах, прошел немного вперед, свернул влево, еще влево и, миновав узкую дверь, ведущую к

парадной лестнице, стал подниматься на верхний этаж, туда, где находилась его летняя спальня.

Буйно разросшаяся виноградная лоза укрывала от солнца и веранду и окна.

Хан в отчаянии метался по комнате из конца в конец. Потом вдруг остановился, ударил костяшками пальцев по рукояти меча и заскрипел зубами. Раньше, бывало, в минуты отчаяния он забывался в объятиях юных наложниц своего гарема — о, как они умеют улаживать! — теперь и это ему было недоступно. Вместо угасших страстей в нем поселились змеи, и они жалят хана изнутри. Вот и сейчас он снова ударил по рукояти меча и заговорил сам с собой поникшим, но не потерявшим уверенности голосом: «Ну что ж, мелик Шаапуника, ты сумел восстановить против меня шаха, надругался надо мной, обезглавив моего гонца и кинув мне в ноги его голову, а я теперь отыграюсь на твоём сыне. Твоему Яври тоже не сносить головы, только я это сделаю бескровно. Так загашу дым очага Прошянов, чтобы ничто уже больше в этом очаге не возгорелось. И сделаю все своими руками. Аллах свидетель, что я от своих слов не отступаюсь!..»

Хан Шариф, оглаживая бороду, уставился в небо, вызывая к аллаху. Затем, развалившись на тахте, стал жадно тягивать кальян, предварительно подмешав к табаку гашиш. Голубой пахучий дымок очень скоро одурманил хана и смежил его отяжелевшие веки.

2

В то время как и без того больной мозг хана затуманился гашишем, мелик Израел молча смотрел из окна крепости Болораберд в облачное небо, в котором ничто не говорило о тревогах и мучениях недавних дней. Смотрел в небо, потому что внизу от некогда сильной и могучей страны остался небольшой осколок, зажатый в голых скалах.

Мелик смотрел в небо, чтобы, хоть на миг отрешившись от горестной малости своей страны, подумать о покое и безграничности.

В свои владения он вернулся на день раньше, чем кзлбаш успел доставить хану голову гонца. Вернулся с удачей, какой и не ждал. И тотчас поделился с сыном всеми подробностями визита к шаху. А Яври рассказал отцу обо всем, что произошло в Сирапе, Бичанаге и других селах. Рассказал о знахаре Аствацатуре, о том, как повесили его и Воски из Норагюха. События безусловно горестные. Но было и нечто такое, что

порадовало мелика: сын получил в Бичанагской битве первое боевое крещение и одержал победу над ханом Шарифом.

Однако едва мелик расстался с Яври, маленькая радость тотчас развеялась. За временными удачами ему уже отчетливо виделись новые коварные замыслы хана Шарифа. А надо, во что бы то ни стало надо добиться спокойствия и мира. Бремя назревающего рождения новой судьбы армянской с помощью добрых повитух — единоверных стран Европы — как никогда требует хоть относительного мира внутри страны. Но как?.. Как добиться этого мира?.. К тому же мелику Израелу ясен смысл того, что хотел сказать шах своим подарком — миниатюрным Кораном в золотом окладе — и тем, что обезглавил ханского гонца...

Заботило мелика и то, что уже близок час, когда ему придется отправиться в дальние страны, и вся ответственность здесь ляжет на сына. В такой-то тяжелой обстановке!..

И вдруг среди дум — одна горше другой — блеснуло, как молния в ночи, озарение: «Надо рассказать сыну о тайном собрании в Эчмиадзине, о цели, которую я преследовал, завосвывая доверие шаха, и о предстоящей миссии в дальние страны». И как только мелик Израел принял это решение, сын уже не казался ему не готовым к предназначению и вдруг даже вырос в глазах отца в достаточно зрелого человека.

Мелика давно уже радовал острый ум сына, его смелость и решительность. Именно благодаря этим его качествам отец довольно часто прибегал к советам Яври, но в душе никак не мог привыкнуть к тому, что он уже не ребенок. Даже действия в Бичанагской битве не сразу убедили мелика Израела в том, что Яври стал настоящим воином. Но вот теперь, кажется, наконец...

Мелик велел слуге позвать сына.

— В такой час, отец?.. Что-нибудь случилось? — спросил, входя, Яври.

— Просто хочу с тобой 'поговорить.

Ответ не успокоил Яври. Они ведь только недавно расстались, и беседа у них была долгой...

Оба смотрели друг другу в глаза, но похоже, что мелик ничего перед собой не видел. Он еще был целиком во власти своих размышлений. Но вот, как бы выйдя из оцепенения, мелик загадочно улыбнулся и проговорил:

— Я, видимо, скоро должен буду уехать из нашей страны...

И он во всех подробностях поведал сыну тайну Эчмиадзинского собрания, рассказал и об истинной цели своего ви-

зита к шаху, о том, что это тоже связано с собранием в Эчмиадзине, и, опоздай он с прибытием к шаху, хан опередил бы его со своей жалобой и тем сорвал бы их ставку, больше того, заведомо сорвал бы и успех решающей для судеб народа миссии. И может, уж навсегда...

— Отец!..

Привычное слово это сейчас прозвучало в устах Яври так, что мелик вздрогнул. Он накрыл ладонью руку сына и не мог от волнения заговорить.

— ...Значит, отвернувшееся от нас небо посылает наконец луч надежды нашей стране?..

Мелик сжал руку сына так, будто слова эти кольнули его в сердце.

Сын снова спросил:

— Значит, есть надежда, что мы наконец спасемся, поднимемся из праха и, возрожденные, будем жить в нашей праведной вере?..

— Да, Яври, надежда есть!..

Мелик ласково глянул в глаза сыну. В них было беспокойство.

— Не верится, отец!

Мелик Израел погладил ему руку.

— Ах, отец... Ну какое такое чудо может нас вдруг спасти?..

— Мы сами обретем себе спасение. А если суждено будет умереть, умрем как положено.

Сын горько улыбнулся:

— Гибель целого народа, какой бы самоотверженной она ни была, не обернется геройством. Ведь кому-то надо выжить, чтобы восславить погибших. И потом, героична гибель во имя жизни, а не сама по себе смерть. Такая гибель, о которой говоришь ты, отец, в лучшем случае оставит по себе всего несколько строк в мировой истории: был, мол, такой народ, назывался армянами... И все.

— Яври!.. — на миг отдавшись во власть отцовских чувств, мелик обнял сына, но затем уже другим, решительным тоном воина сказал: — Ты прав. Мы будем жить вечно. И в мировой истории, и во времени, будем жить, множа нашу славную историю! Увидишь, так и будет!..

— Но ты не объясняешь, отец, на чем основаны твои надежды, твоя уверенность...

— На силе судьбы и справедливости, сын мой. Христианские государства многочисленны и могущественны. Неужто же бог, которому вместе с ними молимся и мы, не подска-

жет им в роковой для нас час, что гибнет верующий в него мирный народ-созидатель и ему надо помочь? Велением бога мы отправляемся во главе с нашим католикосом напомнить о себе этим государствам и просить у них помощи.

Яври молча вздохнул и задумался.

— Надеюсь, ты справишься здесь с хозяйственными заботами и, главное, сумеешь не поддаваться на провокации Шарифа, — сказал отец. — Помни постоянно о нашей миссии. Знай, что в таких обстоятельствах надо быть терпимым ко всяческому проискам хана.

Яври был так поглощен своими думами, что отец спросил:

— Ты меня слышишь?..

Юноша поднял голову, посмотрел отцу в глаза, взял его за руку:

— А что, отец, если мне вместо тебя поехать с этой миссией?..

В душе у мелика словно солнце зажглось. И верно ведь, это же лучший способ уберечь сына, удалить от опасности!..

Но Яври объяснил свое желание иначе:

— Это не потому, отец, что я боюсь не управиться с хозяйством и с ханом Шарифом! Верь мне!.. Просто тебе будет не по силам скитальчество и все унижения, которых так или иначе не избежать в подобной миссии. Я молод. Вынесу и то и другое. Меня ничто не согнет и не остановит. На родину я не вернусь, пока не добьюсь справедливости и внимания всего мира к судьбам армян!..

— Я согласен, сын мой. В таком деле нужен недюжинный и острый ум. Тебе его не занимать. Остается уговорить святейшего. Думаю, удастся.

Эта ночь была для мелика одной из самых миротворных ночей.

3

Когда мелик Израел, по обычаю, приложился к руке католикоса всех армян, тот тоже ткнулся бородкой ему в лоб и дрогнувшим от волнения голосом сказал:

— Мне все ведомо! Понимаю, чего это тебе стоило. Ты совершил подобное тому, что некогда и я сделал с ереванским ханом Сафи. Я тогда бежал из монастыря апостола Анания, где хан заточил меня за то, что я, когда он потребовал передать в его владение озеро и прилегающие окрестности, заявил, что это земли Эчмиадзина и отторгнуть их никто не властен...

Эх, сын мой, больно за то, что шаху и султану на армянина часто наговаривает армянин. Вот я как раз перед твоим приходом с болью душевной раздумывал над всем этим... Несколько лет назад некто Егиазар Айнтапци из Иерусалимской братии, подкупив великого визиря Турции, при содействии чиновных лиц был объявлен католикосом, влияние которого простиралось на всю Турецкую Армению, что само по себе явилось опасной угрозой единству Эчмиадзинского святого трона. И это в такие тяжелые для нашего народа времена!.. Ну и, понятно, вокруг патриаршего трона кишмя закишели разного рода заговорщики. Случилось даже такое. Ехал я к шаху с жалобой. В пути меня насильственно задержал хан Сафи и заточил в Ананьинском монастыре. И в этот-то момент перешедший на сторону Егиазара Ванофий сделал много подлого. Он и до того не раз шкодил, однако я всегда прощал ему за острый ум и красноречие. Но тут чаша моего терпения переполнилась. Когда мне наконец удалось все же бежать, добраться до шаха и убедить его в виновности хана Сафи, за что шах заковал своего наместника в цепи, я взялся за Ванофия: вернувшись в Эчмиадзин, отрезал ему бороду и сослал на остров на Севане... А сегодня, сын мой, мне принесли известие о том, что он умер в горе, раскаиваясь в содеянном!.. — Католикос смахнул слезу, тяжело вздохнул. — Как бы то ни было, мы ведь прошли вместе долгую жизнь, и я стал причиной его смерти... И, однако, попробуем забыть все это. Поговорим-ка лучше о тебе. Найти такой выход в столь сложной ситуации и взять на себя ответственность достойно потомка славного рода Прошянов! Мыслимое ли дело суметь, минуя ханских ищеек, добраться до шаха, войти к нему в доверие и вернуться с желанной удачей! Будь трижды благословен, сын мой!..

Святейший часто сживал перед первым от входа окном в патриаршем покое. Оттуда хорошо просматривались Массисы и голубые вершины Армянского нагорья. Это был его любимый уголок. Там стояло несколько низких скамеек с мягкими подушками и круглый столик, тоже низкий. Католикос часто принимал тут своих посетителей. Отсюда он взирал на мир и с грустью думал о том, как необходимы долине этих гор новые озера, каналы, что надо бы заняться ремонтом и реставрацией церковей и храмов и озеленением...

В тот день он сидел на своем любимом месте, охваченный печалью и раздумьями, когда вдруг доложили о приезде мели-

ка Ираела. Встретив его, католикос не сразу оторвался от дум. Потом они долго беседовали и вот сейчас сидели молча...

Мелик смотрел туда же, куда был устремлен взгляд католикоса, на храм святой Гаянэ. Католикос заметил, что один из камней в арке над узким сводчатым окном так сильно подточен ветрами, того и гляди совсем выпадет. Досадно ему стало, что впервые это увидел, ведь храм все время перед глазами. «Надо завтра же велеть заменить камень», — подумал католикос Акоп...

— Сегодня меня привело сюда другое, святейший...

— Все, что ты делаешь, всегда благородно. Говори, я слушаю тебя, мелик.

А взгляд католикоса при этом все не отрывался от храма.

— Когда предполагается наше посольство в страны Европы?..

— Со дня, как мы об этом решили, прошло уже целых семь месяцев, но пока... То и дело какая-нибудь помеха!.. — вздохнул святейший, крутя изумрудный перстень на желтой руке. — Кзлбаши уж очень настороженны... Во всяком случае, не позже конца октября надо выезжать. Если, конечно, не произойдет ничего чрезвычайного.

— Святейший, я хочу, чтобы вместо меня с вами поехал мой сын, — без обиняков сказал мелик Ираел. — Он умен, энергичен. И к тому же молод. Не сочти, что устами моими глаголет отцовская гордость за сына. Нет, святейший. Я готов поклясться на Библии, он действительно таков. Но не в этом причина того, что сын заменит меня. Уж очень тяжелое сейчас положение в моем меликстве. Хан Шариф клином врезался в Шаапуник. Пока я отбросил его, но он конечно же не успокоится и будет строить новые козни. Ну, а не дай бог узнает, что я уехал из Шаапуника!.. Нет, я ни минуты не сомневаюсь, что Яври тоже поставит его на колени, если дело дойдет до открытого столкновения, он это уже доказал в битве за Бичанаг и Гомри. Но хан хитер и вероломен. Согласись, я не могу оставить сына во вражьей пасти. И сына, и мои владения!..

Святейший по-прежнему крутил перстень на пальце, рассматривал руки. Но вот наконец заговорил:

— Да, положение трудное. — Тон, каким он это сказал, обнадеживал мелика. — Хан Шариф сейчас будет зорко следить за тобой. Твое предположение верное. Кзлбаши укрепились в Нахичеване, теперь они тянут свои щупальца к Шаапунуку, чтобы потом задушить Сюник, а там и Арцах... Во что бы то ни стало надо преградить им путь в Шаапуник!

Иначе нам потом уже ни за что не слатать разорванную в клочья страну!— Католикос тяжело, со свистом вздохнул и пожаловался: — Ох, до чего же трудно дышится!.. Ты прав, мелик, надо подумать над этим...

— Да зацветет твой посох, святейший, как зацвел посох Агарона!

— Благослови тебя бог! — сказал католикос и, взяв стоявший рядом пастуший посох с вырезанной на нем головой дракона, поставил его между колен.

— Не пожелает ли святейший лично познакомиться с моим сыном?

— Пожалуй, пришли его.

— На этой же неделе!..

— Буду ждать.

Святейший снова устремил взгляд на храм святой Гаянэ, на камень в арке, который заметно подточен и сдвинут.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

День был нежарким, но солнечным, когда Яври выехал из крепости Сругинк. Сейчас, когда он возвращался, горы уже были укрыты снежным покровом.

Третий день, как снег сыплет и сыплет.

Яври прямо с коня потянул гонг на воротах и, когда ему открыли, сказал, чтобы лошадь в конюшню не ставили.

— Поводи по двору, чтобы не замерзла, я скоро снова поеду,— велел он конюшему и, стряхнув с себя снег, пошел к отцу.

Мелик Израел грелся у очага и весело беседовал с окружившими его детьми.

Увидев Яври, все с радостным возбуждением кинулись обнимать брата. Они встретили его так, будто бог знает сколько времени не видали. Теплота встречи тронула Яври. Так, обнявшись с сестрой и братьями, он почтительно склонился перед отцом, поцеловал протянутую руку и, подав ему вчетверо сложенный лист бумаги, в ожидании встал поодаль.

Мелик внимательно прочитал письмо католикоса, в котором тот делился впечатлением о встрече с его сыном: «Хвала тебе, отец такого сына, хвала тебе и народу нашему! Благо-

слова его на трудный путь и пожелай удачи во славу нам и народу!»

На лице мелика Исраела расцвела улыбка радости и счастья.

— А ты что так задумчив, сын мой? — спросил мелик.

— Мне надо съездить в Ангехакот.

Только Ашхен поняла брата.

Она встрепенулась, тихо вскрикнула и снова прильнула к Яври.

А отец удивленно спросил:

— В такую-то непогоду в Ангехакот? Зачем спешить, прежде немного.

— Но ведь скоро в путь! Да и снега может навалить столько, что дорога закроется...

Яври говорил уклончиво, но отец, видно, уже стал о чем-то догадываться: очень уж радостно дочка все щебетала.

— Ты разве не устал?.. Может, хоть завтра съездишь? А? Или что-нибудь неотложное?..

— Сегодня я поеду не до самого Ангехакота — остановлюсь дорогой в Мартиросе, передохну там, посмотрю, как дела, а утром отправлюсь в Ангехакот... Надо мне кое с кем повидаться...

— Ну что ж, ладно, съезди, повидайся, — уступил отец. — Но помни, что ты должен очень скоро обернуться.

Мелик Исраел задумчиво посмотрел в окно. Снег сыпал обильнее прежнего.

— Трудности обратного пути преодолеваются легче, — сказал Яври.

Отец и при этом лукаво улыбнулся.

— Верно говоришь. Но только мудрость эта к твоему случаю не очень подходит...

Яври с такой поспешностью удалился, что мелик не успел взглянуть ему в глаза, увидеть, как он воспринял его последние слова...

Спустя немного времени лошадь Яври, выбравшись из глубокого нетронутого снега на дорогу, довольно отфыркиваясь, мчалась по пути из Болораберда в Мартирос.

2

Было очень ясно, но и очень холодно. Ангехакотцы собрались в маленькой вырубленной в скале церкви и вокруг нее. Стоял мерный гул, и все находились в каком-то странном движении, словно сговорились сдвинуть с места церк-

вушку. Казалось, что она и впрямь уже стронулась и плывет. Потом гул стал похож на жужжание сгрудившегося пчелиного роя. И вдруг церковь зазвонила, загудела вместе с толпой, как бы клонясь медным звоном своим к пропасти,— того и гляди рухнет, расплескав по скалам стоны колоколов.

Но вот толпа раскололась надвое, образовав нечто вроде коридора. Взгляды всех устремились к церковному входу. Первым в нем показался протоиерей Гедеон в рясе из овчинных шкур, в золоченом клобуке, увенчанном сверкающим крестиком, на груди распятие на белой цепи. В больших руках протоиерея раскрытый псалтырь. Прямо с паперти он благословил паству, перекрестив ее распятием, и двинулся вперед, читая молитву. За ним следовали священники в шитых золотом ризах, тоже с псалтырями и с крестами. За священниками шли дьяконы — в белом, с непокрытыми головами и с кадилами в руках. Дальше шли служки, и уж за ними паства.

Среди священнослужителей шествовал мало кому знакомый юноша в мирской одежде. Всем хотелось узнать, кто он. Но был в толпе и некто, неотрывно провожавший его взглядом, полным радости и счастья.

Процессия продвигалась к Воротану.

На берегу к хору молящихся примешались звуки зурны и бубна. А на скале еще трезвонили колокола опустевшей церквушки.

Никогда дотоле Ангехакот не знал такого многолюдья и столь шумного праздника по случаю крещения. Здесь как бы слилось все: угроза навязывания чужой веры и протест против этого, горе утрат и радость победы, одержанной шаапунниками над нахичеванским ханом... Многое выразалось в этом празднестве.

Все собрались вокруг купели, загодя сделанной метрах в двадцати от берега реки. Отец Гедеон, подняв взор к небесам, возгласил своим звучным, будто самим богом ему данным, голосом:

— Сегодня и во веки веков взывая к тебе, господь наш всемогущий, мы говорим: ты велик и деяния твои чудотворны! Аминь!..

— Аминь! — в один голос повторили в толпе собравшихся. И все при этом взирали в небеса. Только одна пара глаз не отрывалась от отца Гедеона. Это были глаза его дочери Рипсима. И лишь тогда, когда отец опустил взгляд к купели, она, обратившись к небу, сказала про себя: «Господь наш,

Иисус Христос, ниспошли каждому молящему десятикратно все то, что ему по сердцу, а мне...» Из глаз ее на грудь капнула слеза.

Отец Гедеон тем временем продолжал:

— Благослови господь и освяти крестным знамением эту купель, воздай во имя отца и сына и святого духа, ныне и присно и вовеки веков!..

Священнослужители вторили отцу Гедеону. А тот, вынув из купели крест, осенил Яври и отдал ему крест. Рипсима невольно вскрикнула от радости, увидев в этом знак близости между отцом и Яври. Люди обернулись к ней на голос, и оттого многие пропустили слова протоиерея, обращенные к крестному отцу.

Снова, гремя цепями, закадили кадила, и миряне, присоединившись к священникам, затянули псалом. А вскоре все закружилось в музыке, в пении, в танцах...

Рипсима была как зачарованная. Ей казалось, что это вовсе не чье-то крещение, а ее свадьба с сыном славного мелика шаапуникского. И будто бы отец, осеняя Яври крестом, брал с него клятву верности и благословлял венчание. И народ тоже благословлял их священный союз, и теперь вот с музыкой провожают ее из отчего дома...

Так думала смущенная Рипсима и шла опустив глаза, как и подобает невесте... Но вот она подняла ресницы и увидела, что людской поток движется к берегу реки, и, очнувшись от грез, горько вздохнула. Вздохнула еще и потому, что вспомнила, как отец однажды сказал: «Не то что мелик, пусть хоть сам царевич попросит твоей руки — не отдам. Мать твоя померла, и ты, моя единственная дочь, должна выйти замуж в нашем селе, чтобы не оставить меня без призрения в дни старческой немощи. Таково веление бога! Вспомни, что в писании сказано: «Праведностью твоей да упокоишь мир...»

Когда Рипсима проходила мимо купели, там уже не оставалось ни капли освященной воды. А ей так хотелось окропить пальцы водой, в которую Яври опускал свои руки, вынимал крест.

Она все же хотела нагнуться, но кто-то вдруг, коснувшись ее локтя, протянул ей чашу со святой водой. Рипсима обернулась и, увидев глупо ухмыляющегося Степана, нахмурилась и поспешила присоединиться к подругам.

Теперь народ уже подошел к реке с той стороны, где в скалах было нечто вроде заливчика, и вода там не буйствовала, задерживалась. Священники снова затянули псалмы в ожи-

дании, пока кто-то из паствы решится войти в студеную воду и вынести крест.

Люди с любопытством высматривали, кто это будет, словно ждали, что явится ангел божий, а не кто-то из них выйдет вперед.

И ведь оно почти так и случилось. Кто-то вдруг, словно бы от самой скалы отделился, поднялся на камень, человек этот был в одном белье. Перекрестившись, он бросился в реку. Все совершилось столь мгновенно, что его и разглядеть-то никто не успел. Но вот он вынырнул, встряхнул головой и с мученической улыбкой на губах предстал перед отцом Гедеоном.

— Степан!.. — пронеслось в толпе.

Отец Гедеон осенил крестом дрожащего в ознобе нареченного жениха своей дочери. Кто-то из дьяконов протянул поднос, Степан положил на него крест и, взяв поднос в руки, крепко держал его, словно боялся выронить. Люди цепочкой потянулись целовать крест. И каждый при этом кидал монетку.

Скоро поднос был полон золота и серебра. Когда наконец все приложились к кресту, Степан, с той же мученической улыбкой на устах, подал поднос отцу Гедеону и стремглав кинулся домой.

Через неделю он умер...

3

Рипсима и Яври еще в церковном дворе договорились о встрече. И вот они в роще чинар.

Снег и солнце. Все ущелье Ворота на сверкает белизной. Морозные искры так слепят обоим глаза, что смотреть друг на друга трудно.

Яври не случайно выбрал для встречи именно это место. Здесь они некогда впервые увиделись с Рипсиме, и с того дня в ушах у него всегда звучит шелест чинар, журчание родника в мшистых камнях, струйкой вливающегося в медный кувшин, на котором раскалялось солнце, и лучики играли на чудном лице Рипсиме, в ее глазах, полных печали...

Именно отсюда увезет Яври в чужедальные страны образ любимой, чтобы жил он в нем вместе с природой, что свела их.

Сейчас зима, и чинары сбросили свой зеленый убор. Влюбленные сидят на камнях, с которых под лучами солнца стоял снег. Рипсима смотрит на Яври, и в ее глазах нет прежней печали. В них смелость любящей души и вера в счастье...

Оба молчат. Никто не решается заговорить первым. Рипсима наслаждается в безмолвии. Она терпеливо ждет. А Яври страдает. Он подыскивает слова, чтобы не повергнуть в отчаяние любимую, ждущую от него ласки, — слова, которыми можно смягчить горечь предстоящей разлуки.

И он заговорил, спросив как бы между прочим:

— Ты очень меня любишь, Рипсима?

— Нужно ли об этом спрашивать? — не без упрека в голосе сказала девушка.

— Я спрашиваю потому, что любовь ко мне может принести тебе много страданий, ты будешь вынуждена делить мою участь, а она не обещает быть легкой...

— С тобой я готова вынести и муки, подобные Христовым.

— Христос был сыном бога, мы всего лишь простые смертные. Мои муки могут оказаться не меньшими, если соизмерить их с тем, что они выпадут на долю обыкновенного земного человека.

Рипсима с испугом посмотрела на Яври. Что он говорит? Какие страдания и за что они должны выпасть на долю юного сына мелика?..

Долго смотрела Рипсима на любимого, пытаясь сердцем, без слов, проникнуть к нему в душу, понять, что тревожит его. Но как понять?..

— Твои горести — они также и мои!.. — сказала Рипсима.

— Тогда выслушай меня и сохрани в тайне все, что я поведаю. В ближайшие дни в чуждальные страны отправляется наша делегация, искать защиты для армянского народа. Я в составе этой делегации. Сколько времени я буду отсутствовать, это зависит от того, как и когда решится вопрос, ради которого мы туда едем...

У Рипсима, ожидавшей услышать что-то очень страшное, отлегло от сердца. Уедет?.. Но ведь не больше же чем на год?..

И она уже совсем спокойным голосом сказала:

— Кроме того, что я буду молиться за тебя днем и ночью, чем мне еще помочь тебе?.. — Сказала и с мольбой взглянула на церковь, от которой только купол виднелся. Высившийся на горе, он казался накренившимся.

Глаза девушки наполнились слезами.

— Ни чьи молитвы не помогут мне так, как твои. Ведь в них будет твоя готовность ждать меня. И потому даже в самых трудных обстоятельствах я буду чувствовать себя сильным!..

— Я буду ждать!.. — одними губами выдохнула Рипсима. — Если ты вдруг даже и забудешь меня, я все равно буду ждать! А не приведи бог, надежда рухнет, уйду в монастырь. Вот мое решение, и ничего другого от меня не требуй.

— Нет, Рипсима, я не хочу, чтобы было так. — Яври пересел к ней на камень. — Жди меня самое большее год! Ну, может, еще чуть-чуть... Если не вернусь, значит, меня уже нет в живых. И тогда ты забудь меня... Постарайся забыть. Жизнь свою не губи, создай семью...

— Яври!.. — воскликнула Рипсима. Это впервые с ее уст сорвалось имя любимого, отчего она очень смутилась и стыдливо склонилась к его руке.

Никогда раньше его имя не казалось Яври таким благозвучным. Не умея сдержать обуявших его чувств, Яври обнял Рипсиму, зажмурившись от счастья, накрутил на руку ее косу и сжал в кулаке...

— Поклянись, что исполнишь то, о чем попрошу!.. — шептал он.

— Нет! Не проси, не поклянусь! — тоже шепотом ответила она.

— Из всех живущих на земле народов армяне, пожалуй, единственная нация, которая чем дольше она существует, тем малочисленнее становится...

— Но это, наверное, и единственная в своем роде нация, которая, уменьшаясь, духом становится все сильнее?! — встала Рипсима, не дав Яври договорить.

Ему понравилось то, что сказала Рипсима, но он все же возразил ей:

— В чужом большинстве сильному меньшинству не мудрено задохнуться. Нам надо делать все возможное, чтобы нас было больше и больше, чтоб мы не взирали снизу вверх и на нас не взирали бы сверху вниз. А потому нельзя допускать, чтобы армянские девушки уходили в монастыри. Каждая должна стать матерью... Непременно, каждая!.. — повторил Яври, вставая и помогая Рипсима тоже подняться.

— Яври!.. — девушка, чуть не плача, приникла к его груди и стала пальчиками перебирать серебряные колечки у него на поясе.

— Ну, прощай!.. — звонко проговорил Яври.

Стараясь подбодрить Рипсиму, чтобы расставание не разбило ей сердце, он снова обнял ее за плечи, чуть откинул назад, весело засмеялся, глядя на нее глазами, полными счастья и надежды, и затем, сняв свой перстень, надел его ей на палец.

— Пусть этому необычному обручению будут свидетелями наши священные горы, этот родник, эти чинары, под сенью которых мы отдали друг другу свои сердца. И да благословит нас наш неумолчный Воротан своею вечно армянской песнью!..

Яври с нежностью сжимал в ладони лилейно-белую руку Рипсима с кольцом на безымянном пальчике.

— А я? Что же мне-то тебе подарить?.. — Сокрушаясь о том, что ей нечего отдать на память любимому, Рипсима загрустила.

— А ты подари мне поцелуй. Пусть хоть один-единственный. Я увезу память о нем с собой в чужие края и буду жить этим до самого возвращения!

И, не ожидая ответа, Яври обхватил тоненькую фигурку девушки в кольцо своих сильных рук и приник губами к ее губам.

Вскочив на коня, Яври снова склонился к Рипсима, поцеловал руку с перстнем и напомнил ей свое условие:

— Всего год или чуть-чуть побольше!

С этими словами он припустил коня, сначала рысью, а потом и вскачь.

Рипсима долго стояла в оцепенении, пока в ущелье не истаял цокот копыт удаляющейся лошади. Только после этого девушка, как бы очнувшись ото сна, огляделась вокруг и пошла по следу коня Яври до развилки, откуда отделяется тропинка, ведущая к священной скале, к месту, где люди издавна поклоняются памяти легендарного полководца Вардана, куда приходят молиться о своих печалях и радостях.

Рипсима нагнулась к следу коня, набрала из него в ладонку снега, подождала, пока растает, потеряла лоб, потом положила мокрую руку на грудь и, пройдя под сенью ив, вошла в вырубленную в скале часовню. Там было темно. Но вот глаза привыкли, и Рипсима заметила белый лучик, пробивающийся сквозь отверстие, похожее на окно-амбразуру. Он падал на стену и чуть рассеивал тьму. В глубине горела одна-единственная свеча. Выходит, здесь кто-то был совсем незадолго до Рипсима?! От свечи кругами расходились желтые блики. Колеблющиеся, они вместе с пламенем в серединке казались фантастической картиной.

Приглядевшись, Рипсима увидела, что свеча и впрямь стоит у картины. Изображен на ней полководец Вардан. В одной руке у него знамя, другую он протянул к мечу, который подает ему на расшитой подушке юноша, а рядом высится бла-

гословляющий его на ратный подвиг протоиерей Егише. Он осеняет крестом знамя армян.

Рипсима опустилась на колени перед едва трепещущей свечкой, поцеловала каменный пол часовни и, сложив на груди руки, с мольбой обратилась к лику святого полководца:

— О великий Вардан, будь в помощь каждому армянину и каждому человеку на добром пути! О пресвятой! Яври тоже пошел дорогой Вардана. Но да минует его печальный конец Вардана и рода Вардананков. Ниспошли ему силы, чтобы победил с миром, чтоб вернулся живым, невредимым и принес спасение многострадальному народу нашему. Да будь благословен, господь всемогущий! Слава тебе во веки веков! Аминь!!

Рипсима молилась коленапреклоненно, дав волю горючим слезам, переполнявшим ее с минуты встречи и до самого расставания с Яври.

Она молилась, а часовенка тихо отзывалась на горестный перезвон дальних церквей.

4

Цвета и оттенки весеннего буйства природы в Араратской долине еще не все определены и названы. И может случиться, так и не будут определены, потому как даже острому зрению человека они неподвластны. Немыслимо уловить бессчетную смену оттенков, происходящую на протяжении одного дня, немыслимо вместить их в единичное название...

Вон птица взмыла, купаясь в этих красках. Ветер срывает их с ее крыльев, оставляет в небе, а птица исчезает. Может, это она несет в себе все оттенки цветов Араратской долины?..

Вон в круговороте пчелиных роев вскипает, наполняется ароматом воздух, а спрятавшиеся в зелени ручейки шепчутся, словно девушки, поверяющие друг другу любовные тайны. И от этого шепота тоже меняются краски Араратской долины.

От мычания коров, от лошадиного ржания с деревьев опадают лепестки соцветий. От пения множества птиц пробуждаются и всходят ростки, раскрываются новые и новые почки. Земля освобождается от бремени, рождает жизнь...

Весна — это прекрасная пора. Она поднимает настроение даже у подавленного человека. Однако католикоса Акопа Джугаеци ничто не выводило из состояния тревоги и печали.

Медленно шел он от первопрестольного Эчмиадзинского

собора к храму Гаянэ и глазами, полными тоски, как бы прощался со всем вокруг. Взгляд его упал на одно из окон храма, на камень в арке над ним. На тот самый, которым недавно заменили старый, подточенный ветрами. Новый камень — очень уж он хорош или вовсе плох — почему-то не смотрится, видно нарушает гармонию древнего храма.

Однако, кто знает, может, католикосу это только так кажется, потому что он удручен?..

Католикос шел медленно, тяжело опираясь на посох. Дома с плоскими крышами, храмы с высокими куполами и весь Вагаршапат остались позади.

Солнце уже село, но краски весны пока еще не потускнели. Закат принес лишь тишину. Все дышало спокойствием ожидания.

Святейший, который вот уже несколько дней готовился к дальнему странствию, вышел, чтобы в последний раз, один на один, в полном покое лицезреть весну Араратской долины. Давно ему мечталось увидеть свершенным то, что они наметили на тайном собрании. Однако когда приблизился наконец час отъезда, сердце его переполнилось необъяснимой грустью. Такого еще не бывало, католикос всегда отличался энергичностью и уверенностью. Он не отчаивался даже тогда, когда хан Сафи взял его в полон.

Такого, как сегодня, с ним никогда не бывало. Тоска, грусть, неизбывная нежность — все смешалось в душе.

Католикос прошел всеми тропами патриарших владений, долго стоял на берегу искусственного озера, созданного уже при нем, смотрелся в водную гладь, как в зеркало, и мысли еще больше путались. Жара и духота совсем одолели.

Католикос посохом раздвинул кусты и прошел к ручью, отгоняя из-под ног ужей и ящериц. Чем ближе он подходил к воде, тем слышнее было ее журчание, тем влажнее и настояннее делался воздух вокруг, и от этого на душе становилось спокойнее и дышалось ровнее и глубже. И вдруг, привычно оперевшись о посох, святейший не смог сделать шага дальше. Земля задрожала под ним. Послышался глухой шум. Ручей, который был уже совсем рядом, забулькал, как кровь в перерезанном горле, и исчез, словно кто заглотнул его. Исчез, будто его на этом месте никогда и не было.

По всей Араратской долине вихрем промчался студеный ураганный ветер, унося с собой дрожь всех заковенных деревьев и трав.

Переложив посох из руки в руку, святейший поднял взор к коварным небесам и с трудом проговорил:

— Прости, господи!..

Он хотел было перекреститься, как все вдруг взорвалось таким грохотом, будто сам Масис разверзся. Земля заходила ходуном. Посох выпал из рук, и, потеряв равновесие, католикос и сам упал. И прямо рядом с местом, где он упал, шага за два от него, из земли забил фонтаном столб воды, пахнувшей тухлыми яйцами. Снова налетел студеный ветер и снова раскачал деревья. Отовсюду слышался тревожный лай собак: так они обычно лают во время землетрясений. И наверно, только при землетрясении так надрывно кудахчут куры, воют шакалы и кричат цапли. Слышались и другие звуки, незнакомые уху и, надо сказать, ужасные. Может, это какие-то пресмыкающиеся и насекомые, которые реагируют только на землетрясение и затмение луны и солнца?

Опершись о посох, святейший поднялся и молча воздел руки к небу, обратив к богу молящий взгляд... Над Араратской долиной уже плыл скорбный звон колоколов пяти храмов Вагаршапата и всех других пока еще выстоявших церквей. Звон этот перекликался с едва слышными переливами дальних колоколов. Под бременем многоголосой скорби католикос вдруг как бы надломился. Из глаз полились слезы, плечи сотрясались от рыданий. «Всемогущий господь наш! — хотел сказать святейший. — Ты, видно, гневаешься на паству мою, если рушишь то, что ею создано, и саму ее хоронишь под развалинами того, что она создала, — под грудями памятников, домов? И это тогда, когда вокруг и без того столько разрушителей и душителей?!»

Однако слова его так и остались невысказанными. Слезы душили католикоса. Может, от них это ему стало чуть легче, и он, опираясь на посох, зашагал к храму. Проходя мимо церкви святой Гаянэ, католикос опять внимательно оглядел ее со всех сторон. Цела, только тот новый камень над крестобразным окном немного сдвинут. Главный собор и его колокольня тоже невредимы...

— Святейший, что же это такое, что за огненная геенна обрушилась на нас?! — срывающимся голосом спросил епископ Усик, едва католикос ступил в приделы главного собора.

— И тем не менее сильнее всякой силы должна быть воля духовного пастыря, особенно в ту пору, когда паства в смятении и растерянности, — проговорил католикос и, устало вздохнув, присел на одну из надгробных плит.

Тотчас сошлась монастырская братия. Все были в ужасе. И так как они очень верили в католикоса, то и теперь, в этом страшном бедствии, ждали слов утешения от него.

Католикос молчал. А вокруг было шумно и тревожно. Всюду еще рушились поверженные здания. Тут и там из-под развалин извлекали погибших. Все содрогалось от стонов матерей, от плача осиротевших детей, от тяжких вздохов отцов, от криков разноголосой живности.

А подземные силы все буйствовали, земля продолжала сотрясаться.

— Что станем делать, святейший?.. — епископ Усик имел в виду предстоящую миссию. Он тоже был из числа тех, кто делегирован.

Католикос понял его по-своему.

— Надо нам покинуть свои кельи, — сказал он, — предоставить их сиротам и детям, оставшимся без крова. И пищей их надо снабдить, не травой же кормиться людям. Мы должны и дено и ночью быть вместе с нашей паствой, пока бог не сменит гнев на милость, пока люди не восстановят разрушенное и не свыкнутся с постигшей их бедой.

Епископ Усик все понимал, но он считал, что важность задуманной миссии превышает иных обстоятельств и откладывать ее не следует.

— Все, что ты говоришь, святейший, истинно так. Но это ведь дело долгое?..

— Армянину-созидателю привычно восстанавливать разрушенное. И сейчас все делается по возможности быстро. От духовных пастырей тоже немало зависит. В час такого бедствия мало одних наших молитв. Помогать надо действительно...

Земля снова дрогнула. Толчок был слабее прежнего, но разрушений, однако, добавилось. Опять вокруг заголосили женщины, завыли собаки, тревожно закудахтали куры.

— О господи! Остановись, сжался над многострадальным народом нашим! — взмолился католикос.

— Помилуй нас, боже!.. — выпростав руки из черных сунтан, воздели их в ясное весеннее небо все, кто окружал святейшего.

— Идите молитесь с мыслью о предстоящих заботах, о том, к чему я призываю вас... Епископ Усик, проводи меня. Расходились с надеждой.

...Войдя в патриаршие покои, католикос сразу сел. Епископ Усик остался стоять перед ним.

— Разузнай, как там в епархиях и общинах? В каком состоянии храмы, церкви и села? Извести всех, кто должен представлять нашу миссию, что выезд волею божьей откладывается...

Уже собираясь уходить, епископ Усик спросил:

— Больше ничего не прикажешь, святейший?

На миг забывшийся, ушедший в свои думы, католикос вдруг вскинулся, тряхнул седой головой и пристально глянул на епископа из-под насупленных бровей.

— Слушай меня внимательно, — сказал он решительно. — Вели немедленно отправить из наших запасов в Гарни четыре мешка фасоли, столько же зерна и бочку масла. Пошли. Пусть там в крепости, в приделах храма Гегард, накормят стариков, детей и всех немощных. То же самое надо сделать здесь, в Вагаршапате, в Ереване, в Канакере и по всей Араратской долине. И все за счет церковных средств и запасов. Заготовь буллу¹ всем епископатам, монастырским и приходским общинам Араратской долины, чтобы незамедлительно организовали помощь пострадавшим от землетрясения. Надеюсь, ничего не забудешь?

— Не забуду, святейший!..

— Доброй ночи, епископ Усик.

5

Над горами, что чуть выше садов Норка, засветилась в небе красная полоса. Но солнца еще не было видно. Краснота эта грустно-тоскливо освещала Араратскую долину, придавленную густой завесой дыма от костров, полыхавших всю ночь. Они и сейчас еще догорали кое-где у шатров, наспех раскинутых по всей долине.

На пути из Вагаршапата в село Армавир показались три всадника. Они вдруг возникли из дымного облака.

Вагаршапат был уже далеко позади. Путники — все трое — священнослужители. В черных сутанах, на черных мулах. Только борода у того, что ехал посередке, белая. Она особенно выделялась на фоне всего черного, сумрачного. Седок этот по-стариковски крючился в седле, тогда как двое других словно аршин проглотили, такие были прямые.

Они то и дело озирались по сторонам, горестно качали головами, вздыхали, изумленно разводили руками, били себя по коленям. И при этом все поминали бога.

Тем временем мрак над Араратской долиной рассеялся. Белобородый всадник выпрямился в седле, огляделся. Всюду грудился домашний скarb, бродили стада домашних живот-

¹ Булла — акт императорский, папский, патриарший.

ных. И развалин вокруг видимо-невидимо — мрачно чернеют в рассветной мгле.

А люди — диво дивное — поют!..

Группками и в одиночку напевают грустные песни.

— Подумайте только: всего три дня миновало, как было землетрясение, толчки и сейчас еще повторяются, а народ уже поет! — удивленно не сказал, а тоже словно бы пропел белобородый. Может, это от шири небесной голос его звучал напевно? А может, двум другим всадникам просто так показалось?

— По привычке поют о том, что на ум идет, — тоже распеваю, но весело сказал тот, что ехал справа от белобородого.

— Слово и песня сильнее оружия. В них сила и стойкость нашего народа, — густым, звенящим басом произнес третий всадник.

Потом они долго молчали, и тишину нарушал только сбивчивый цокот копыт их мулов.

Вдруг в тучах пробилось солнце, и черные сутаны засверкали, словно поверх них накинули пурпурные ризы.

Зазолотились и еще сильнее запахли соцветия в придорожных кустах.

Ехавшие по бокам соблюдали с подобающим почтением должную дистанцию по отношению к старшему.

— А что же все-таки нас спасет? — озабоченно спросил басовитый.

Ответ последовал не сразу. Дробнее прежнего стучали копытца мулов.

— Великомученичество во имя народа! — промолвил наконец едущий посередке, зашевелив губами в осиянных солнцем бороде и усах. — Так уж заведено на белом свете, права извечно в руках у того, кто наделен силой. И не в обращении к другим народам наше спасение. Надо склониться перед силой поправшего нас, обвести его лестью. Это и есть наша мученическая доля. Надо принять ее, ничего не поделаешь. — Он придержал мула, приложил ладонь козырьком ко лбу и посмотрел вправо от себя.

Село Армавир было разрушено дотла. Только церковь выстояла, и вокруг нее толпился народ. Старец повернул мула на тропу, что вела к Армавиру. Остальные тоже последовали за ним.

— Мы пока еще не бессильны и силы нашей, уверен, никогда не потеряем, — продолжал старец. — Создатель наш, сотворив льва, сотворил и орла. И хоть орел, он поменьше, чем

лев, но бог наделил его крыльями, чтобы летал высоко, и острыми когтями, чтобы в нужный миг нагнал страху на самого, пусть и сильного, льва. Слон вон как велик и силен, а маленькая мышь его пугает. Или, скажем, в морях и океанах обитают и огромные киты, и рыбы поменьше, и совсем мелкота. И порой те, что не такие уж и мелкие, подвергаются нападению и уничтожению, а совсем малые выживают. Господь малым своим созданиям или тем, что стали малыми, дал больше выносливости и средств самозащиты. Это и с людьми так. Главное — знать свои силы, себя знать. Если нам ниспослано богом жить среди тех, кто сильнее нас, то жить следует так, как предназначено, с помощью того «оружия», о котором речь веду. И это — не унижение, а средство, способ существования. Так было и будет, пока в мире есть сильные и слабые. Так уж случилось, такая нам досталась доля в этом мире... Окиньте-ка мысленным взором все вокруг нас. Одна только страна грузин христианская. И тоже в притеснении. Да, у них есть цари. Но уже одно то, что цари, а не царь!.. К тому же поработанные цари поработанных, разрозненных земель. Лишь один из них — Арчил — пытается сбросить турецкое ярмо и потому сейчас словно на вулкане сидит. Но он держится. И праведно его упорство и намерение. Дальше Россия. Несомненно, если бы ее самое не раздирали сейчас в клочья, она стала бы нам надежной опорой. Но в данное время Россия целиком поглощена своими заботами. Вот и выходит, что нам надо действовать очень осторожно и разумно. Вот так-то. Пока так, а дальше посмотрим...

Ему не возразили ни словом. Но само молчание свидетельствовало о том, что некогда сильная страна и впрямь стала тем куском, который можно довольно легко заглотнуть...

Однако в развалинах Армавира не тихо. Там шум, там жизнь, и жизнь эта опровергает мрачные мысли.

...Нет, мы еще не кусок, который можно заглотнуть! Падая, мы верим, что снова подымемя и будем жить вечно!..

Мулы остановились неподалеку от Армавирской церкви, под абрикосовыми деревьями. Справа от церкви разбиты шатры, и перед каждым, прямо на траве, сидят мужчины и женщины. Звонит зурна, бьют барабаны. Более сотни старых и молодых женщин и мужчин, взявшись за руки, кружат в танце, и так согласованно и плавно, что кажется, будто круг этот — единое целое. Те, что не танцуют, хлопают в такт музыке. Танец сопровождает и песня.

Все это как бы приглушает несчастье: то, что дома разрушены, и то, что кзлбаши стоят тут со своими длинными

копьями и, сложив руки на животах, тупо улыбаясь, наблюдают за танцующими. Они явились за данью — красящий корень им, видите ли, нужен, и за людьми — мастера требуются, Ереванскую крепость восстанавливать.

Первой заметила трех священнослужителей на мулах под абрикосовым деревом какая-то старуха. Вскочив с места, она, глядя на них, перекрестилась и вдруг, разволновавшись, даже прослезилась. За ней поднялись и остальные. Тоже перекрестились.

Смолкла музыка, разорвался круг танцующих. Все смотрели на священнослужителей в клобуках и вдруг разом, словно сговорившись, выдохнули:

— Святейший!..

Люди двинулись ему навстречу. Вмиг, и откуда только взяли, до самой церкви расстелили ковры.

— Не надо бы. Это обычай времен мирных и счастливых, — ступив на ковер и поправляя при этом крест на груди, проговорил католикос, а сам с печалью оглядел развалины вокруг, палатки и собравшихся сельчан.

— Не в том наша беда, что стихия обрушила на нас такие разрушения, — заговорил приземистый армавирец с землистым цветом лица и умным взглядом. — Слава богу, из людей наших никто не пострадал. Ну а разрушенное заново отстроим. Вон они — наша беда, наше несчастье, — он взглядом показал на кзлбашей. — Не дают в себя прийти, уже явились. Ты, святейший, не укоряй нас за ковры. Понимаем, что не то сейчас время, но пусть видят, пусть знают, как мы чтим нашу веру и ее служителей...

— Землепашец Бертум говорит так, словно в сердцах наших читает! — раздалось со всех концов.

— Да будет благословенна ваша воля! — католикос осенил армавирцев крестным знамением, улыбнулся и зашагал не по коврам к церкви, а к палаткам.

Веками лишенные вождя в миру, армяне привыкли искать и веру, и надежду в главе церкви, в духовном вожде...

И вот он здесь.

Люди ловили каждое его слово и мысленно повторяли, как истинно святое слово.

А католикос говорил мало. Он шел от пристанища к пристанищу и именем бога заклинал имущих прийти на помощь неимущим, чтобы у всех была крыша над головой и возможность продержаться.

— Будьте едины, будьте опорой друг другу, и в этом трудном испытании и во всем. Только в единстве, в предан-

ности вере и народу нашему мы можем выстоять, вынести бремя тяжкого ига, выждать, пока наконец придет день освобождения...

— А будет такой день? — в несколько голосов разом спросили люди.

— Непременно будет! Солнце, оно и заходит и восходит.

Все посмотрели на восток, куда протянул руку католикос. Невольно глянули в этом направлении и кзлбаши.

Там сияло солнце и, подсвеченные им, алели облака.

Кзлбаши смотрели долго, пытались, видно, разгадать, почему католикос обращает внимание людей именно туда. Но, так ничего и не поняв, они обернулись к католикосу. А тот в это время снова осенил армавирцев крестом, и потому кзлбаши решили, что все связано с культовым обрядом и вообще разговоры идут лишь вокруг землетрясения...

— А теперь, — сказал католикос, — если есть еще потерпевшие тяжелый урон, кого я обошел, просите. Святой престол по возможности окажет вам необходимую помощь.

Священник местной церкви, худой, высокий человек с темной бородой, с тонкими губами и тонким носом, смотрел словно бы полуприкрытыми глазами из-под кустистых бровей. Он стоял рядом с католикосом и хотя смотрел на народ, но слово свое обращал к нему:

— Святейший, ты не тревожься, мы будем опорой и подмогой нашим бедствующим и беспомощным. Но от имени моих прихожан я молю тебя обратиться к хану, а через него, может, и к самому шаху, чтобы хоть сейчас, когда и мы и скот наш остались без крова, без крыши, под этим открытым небом, они пощадили бы нас. Вон видишь, кзлбаши перед тобой? Они явились от имени хана за новой податью. Живя в палатках, мы должны заниматься сбором красящих корней для хана. Да еще и людей им надо, Ереванскую крепость восстанавливать...

— Спаси нас, святейший! — это уже народ взмолился, едва умолк их священник.

Сложив руки на груди, они обращались к католикосу, как к богу.

По белой бороде святейшего черной тенью скользнула усмешка.

— Хан Зал добр, — проговорил он, — добр настолько, насколько может быть добрым наместник-чужеземец... Сын христиан, он вроде бы благоволит к вере своих отцов... Был он у меня. Обещал известить шаха о постигшем нас несчастье. Посмотрим... Будем надеяться... И терпеть.

— Потерпим, святейший, что нам еще остается? — это опять говорил Бертум. — Но по мне, лучше вовсе не жить, чем жить чужой милостью. Не нужна нам их милость, ни шахская, ни ханская. Пусть лучше будут какие есть, чтобы нам не остывать, — он поднял сжатые кулаки, — чтобы мы стали сильнее!!

— Заклинаю вас, будьте спокойны и терпимы! — католикос из предосторожности даже воздух осенил крестом. — Я понимаю тебя, сын мой. Благословляю и принимаю к сердцу твои слова, в них наши общие мысли. Но пока давайте надеяться и терпеть... А сейчас соберите ваш скот, птицу, чтобы не разбегались, и сами сходитесь в церковь.

...В предвечерних сумерках зазвонили колокола. Привычный слуху армавирицев, сегодня звон их был каким-то особенно значительным и волнующим. Может, потому, что на этот раз колокола звонили над развалинами и в присутствии самого католикоса всех армян?.. А может, эта маленькая, но очень древняя церковь скорбела не только о разрушенном селе Армавир, но и о всех других разрушениях, о матери-столице Армавире, о всех городах, бывших столицами до и после нее? О всех больших и малых городах и селах, о множестве бедствий, обрушивавшихся на страну армян?.. Во всяком случае, в сегодняшнем скорбном перезвоне колоколов своей сельской церкви армавирицам все это слышалось.

Церковь наполнилась ладанным духом и мелькающими язычками горящих свечек. На стенах в полусвете просматривалась роспись. Здесь и «Распятие Христа», и «Благовест», и «Варфоломеевская ночь», и «Христос и Богоматерь», и еще многое, за скудостью освещения не видное. К тому же очень все это высоко, и иные изображения столь уже старые, что от времени потускнели.

Все это создавало некую таинственность, святость...

Во всей церкви, от северного входа до ризницы, стояли люди с выражением сосредоточенности на лицах. Сосредоточенности и настороженности.

Впереди на ковре высилось кресло. В нем восседал католикос. Густая белоснежная борода укрывала почти всю его грудь. Из-под нее лучились сиянием драгоценных камней патриарший орел и крест. В левой руке католикос сжимал скипетр с головой дракона, а правая лежала на колене, и сапфировый перстень на ней отбрасывал голубой луч на золоченую ризу.

Высоко подняв голову, католикос с доброй грустью взирал на то, как идет служба.

Служил епископ Усик. В голосе его было что-то магическое, а движения столь выразительны, что армавиры были зачарованы им. Даже сам святейший, и прежде не раз присутствовавший на службе епископа Усика, сейчас словно бы отошел от мира невзгод и волнений. Только изредка сильный голос епископа возвращал его к земной жизни, и он на миг осознавал и себя, и то, что находится здесь, в Армавирской церкви.

Были мгновения, когда епископ Усик смолкал и, скрестив на груди желтые, как пергамент, руки, обращал увлажненный взор к небесам. И это тоже были значительные мгновения. Бледные пухлые губы что-то неслышно шептали...

В такие минуты люди взволнованно вглядывались в него и тоже в молитвенном молчании обращались к небесам. И было слышно, как гаснут и трепещут горящие свечи. А верующим казалось, что свечи угасают под взмахом крыл ангелов, витающих в церкви. И они молили их про себя. «О добрые ангелы, — зывали они, — уберегите наш народ от зла и насилия, пожалейте!..»

А колокола знай позванивали, доносили безмолвные молитвы людские до бога и до ангелов. Доносили ли?..

Проповедь читал архимандрит Хорен, тоже один из священнослужителей, прибывших с католикосом. И его густой, звенящий голос вернул прихожан на землю. Они снова ощутили под собой каменные плиты пола, а вместе с ладаном в нос им ударил запах пота.

— Братья и сестры! — начал проповедник. — Армянская апостольская церковь извечно была для нашего народа не только местом моленья. Она была нам и школой, и крепостью, и спасительным убежищем...

На примере жизни и деятельности великих просветителей, мыслителей и поэтов прошлого, от Месропа Маштоца, Саака Партева, Мовсеса Хоренаци, Егише, Григора Нарекаци и до Наапета Кучака и многих других, архимандрит Хорен пояснил, как крупнейшие деятели армянского народа денно и ночью творили в лоне церкви, совершенствовались и сохраняли величайшее богатство нации — ее язык, письменность, духовную культуру, традиции и обычаи.

Проповедник напомнил и о том, что народ армянский всегда был привержен своей вере и этим противостоял многим невзгодам и превосходящим силам разного рода врагов.

— Кто бы ни ступал в пределы нашей родины, кто бы ни врывался в монастыри и храмы, а наши историки тем временем и под вражьим мечом, не отрываясь, дописывали

свои летописи, чтобы затем полить их своей же кровью.

И сколько последующих поколений, одно за другим, живущих тою же трудной судьбой, продолжали потом эти летописи. Так творилась наша история, наша культура. И за этими нашими творениями, как за хлебом насущным, словно гончие псы, тоже охотились и враги наши...

Связывая историю с ныне происходящим, архимандрит продолжал:

— Мы и по сей день под игом чужеземцев. Они пока еще позволяют нам говорить на нашем языке, потому что почва под ними не очень тверда... Мы — армяне не только нашими молитвами, нашей верой во Христа, но и тем, что у нас есть многовековая история, всем тем, что нами создано и стало нашей сутью. Отнять у нации ее национальное достоинство — это как бы дважды убить ее. Что бы то ни было — мы вечны! Землетрясение — это еще одно бедствие на наши головы. Не падайте духом. Нам надо выстоять, надо преодолеть и это. Сколько бы ни было испытаний, будем держаться тем, что мы должны жить. И мы будем жить! Жить и славить отца и сына и святого духа, ныне и присно, во веки веков! Аминь!..

Армавиры уходили из церкви приободренные. Теперь все представлялось им в несколько ином, более радужном свете. И заходящее солнце словно бы улыбалось добро и обнадеживающе. А небо было яснее обычного, — может, вняло наконец молитвам армян, и испытание землетрясением станет последним испытанием народу.

Свет солнца и неба отражался не только на людях. Его ощущали и цветы и деревья, развалины и войлочные шатры.

На всем была улыбка солнца, ясность неба.

Люди вдруг почувствовали весну с ее ароматами. А до этого они хоть и пытались в песнях и танцах забыть от кошмаров землетрясения, им было ни до чего...

Для того чтобы помочь людям полностью прийти в себя, католикос Акоп Джугаеци с епископом Усиком и архимандритом Хореном целый месяц не возвращался к главному престолу.

6

Вернувшись из поездки, святейший на следующий же день пригласил недавно названного своего преемника, епископа Микаела, и сказал:

— Больше невозможно откладывать, преосвященный. Надо спешно оповестить всех назначенных делегатов, чтобы в конце августа собрались здесь.

— Но землетрясение пока не унялось и люди не успокоились, святейший. Может, еще с месяц повременить? В беде ведь вся паства уповает на патриарший престол... Народу больше не на кого надеяться.

— Понимаю. Но ты забываешь, что век мой уже недолог, а мне очень хочется, перед тем как отойду в мир иной, узреть врата спасения моей паствы...

— Ты что-то сегодня плохо выглядишь, святейший.

— Старость. Немошь одолевает,— католикос улыбнулся, и мягкая его улыбка затаилась в уголках глаз.— Я ведь уже очень стар и только потому, что истерзанный народ наш связывает со мной свои надежды, стараюсь не думать о старости, о болезнях, но время берет свое. Ну ладно об этом. Сейчас надо спешить к великой цели, пока недуги вконец не одолели. Патриарший престол я оставляю на тебя. Уверен, что все будет как надо и мое отсутствие не изменит положения дел. Во всем и всегда будь с паствой. Молитвами и увещаниями поднимайте дух людей. Будьте едины, и да убережет вас господь от честолюбия. Не что иное, как честолюбие, привело Егиазара Айнтапцы к тому, что он, провозгласив себя католикосом в Иерусалиме, встал против Эчмиадзина. Он и сейчас не оставляет своих раскольнических происков. Берегись его. Я надеюсь в путешествии повстречаться с ним, сломить его честолюбие и убедить присоединиться к нам, способствовать общей цели. Его недюжинный ум и таланты бесспорны.

— Не худо, если бы это удалось.

— Посмотрим... А еще, преосвященный, тебе предстоит многое сделать, чтобы было восстановлено все разрушенное. Прежде всего надо выяснить, какие храмы и церкви подверглись разрушениям, чтобы знать, что требуется восстанавливать и сколько сил понадобится. Я просил епископа Усика доставить мне точные данные.— Святейший глянул в окно, не видно ли там Усика.— У него есть особая памятная книжица, он все туда записывает.

Епископ Микаел вышел, чтобы попросить позвать епископа Усика, и тут же снова вернулся.

Святейший продолжал:

— Мне хочется еще раз подчеркнуть: нужды паствы, заботы о ней — прежде всего. Занявшись восстановительными работами, не забывай об этом...

Вошел епископ Усик.

— ...Понимаю, что ты еще не отдохнул с дороги, но я вот тут даю предотъездные советы и распоряжения епископу Микаелу, в связи с этим хотелось бы узнать у тебя о размерах

разрушений и о том, какие храмы и церкви разрушены...

— У меня все это записано, святейший.— Епископ Усик сел поближе к католикоосу, раскрыл свою книжицу и начал читать: — «Разрушены храмы Айриванк, Авуцтар, Трдата-тахт, Хорвирап, Джервез, Дзагаванк, Ахджоцванк, Гегард... Разрушены церкви Норагавит, Норагех, Дзорагех, Норк, Гамрез, Аствацайин... Служа обедню,— читал дальше епископ Усик,— жертвой землетрясения стал настоятель Гегарда: заживо погребен под руинами обвалившейся церкви».

Епископ Усик тяжело вздохнул и закрыл свою книжицу. Все помолчали.

— От судьбы не уйдешь,— заговорил первым святейший.— Вон ведь как получилось: ушел из Еревана в Гегард на свою погибель... Среди принявших духовный сан сынов рода Прошянов преосвященный Степанос блистал особым блеском. Он преуспел как проповедник, как философ и теолог. И ведь он, быть может, последний священнослужитель из Прошянов? — Католикос чуть помолчал и потом спросил: — Кто заменит его?

— Может, племянник, Давид-младший? — питая к юноше особую слабость, словно бы между прочим предложил епископ Микаел.

— Где он, этот Давид?

— Месяц назад принял приход в селе. Человек молодой, энергичный, пытливый. Одним словом, вполне достойный племянник своего дяди, Давида-старшего.

— Всего месяц в священниках и сразу настоятелем эдакого храма? Возможно ли?

— Возможно, святейший!..

— Что ж, пусть будет так. Не забудь записать себе все, что узнал от епископа Усика. И о гонцах к делегатам тоже не забудь.

— Такое не забудется.

Оставшись один, католикос еще долго сидел и перебирал четки. Потом поднялся и, тяжело ступая, зашагал по покоям. Чем ближе был час отправления с миссией, тем меньшей делалась в душе католикоса уверенность в успехе. Он уже стал задумываться о том, верно ли, что ключ к спасению армянского народа в руках папы римского, и следует ли полагаться на страны, связанные с Римом?.. Есть ли вообще более или менее сильное государство, способное бескорыстно прийти на помощь угнетенному народу?.. И есть ли спасение армянам, не пришел ли конец их существованию?..

От этой последней мысли католикоса всего как бы скова-

ло. Он в ужасе даже остановился. Невозможно представить конец существования того или иного народа. Католикос в душе вознегодовал на себя за такие думы. Однако история давала немало подобных примеров, но давала она и иные, утешительные. Как бы то ни было, невозможно смириться с гибелью малого народа и вообще всего того, что мало — количеством ли, силой ли. Католикос давно пришел к убеждению, что умереть в борьбе за существование — это больше, чем жить, чем даваться насильственному смещению с другим народом и потом прозябать рядом с ним, словно ограбленный в одном доме с грабителем...

И так как думы отнюдь не радовали католикоса, то ему было не по себе. И патриаршие покои казались теснее обычного, и воздуха не хватало... Задыхаясь, он остановился, выпрямил спину, забрал бороду в кулак, потянул, словно бы приводя себя в чувство, и подошел к окну.

Во дворе тихо, солнечно. Вдали за плоскими крышами высится великолепный купол церкви святой Шогакат и чуть левее святой Рипсиме, за ними позолоченная солнцем зелень деревьев, дома и снова купола церквей.

Но ближе всех других к патриаршим покоям — купола Первопрестольного храма. Они бросили тень на каменные плиты, и в тени этой стоят и беседуют два монаха. Чуть поодаль от них еще один. Тот сидит под деревом и читает книгу. Храм открыт. Прямо против входа так называемые Врата Трдата — арка, уцелевшая под натиском землетрясения. Она так величественна, словно царь армян Трдат только что прошел сквозь нее со своей свитой или вот-вот появится из-за угла зеленой улицы и пройдет к молебну, оставив эхо шагов под аркой и на каменных плитах.

Увы, Врата Трдата уже века ждут, а царь все не появляется. Однажды ушел, и нет больше у армян царя... А они ждут с готовностью радостно отозваться эхом на шаги царя, забыв о вековом безмолвии.

— И будет ли такое? — прошептал католикос, задумавшись. — Ох, если бы... Уж тогда-то это эхо донесется до самых дальних стран, и все узнают, что есть она — Армения. И есть народ армянский!..

Последние слова католикос произнес уже не шепотом, не как молитву, а как утверждение, как повеление, отдаваемое старым полководцем, который, залечив раны, готов преподать урок упивающемуся временной удачей врагу.

А солнце на дворе делалось ярче, и зелень сияюще улыбалась...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Мелик Израел сидел в дубовом, почерневшем от времени кресле со скованными цепью резными львами на спинке. Ножки у кресла тоже в форме львиных лап, а подлокотники — подобие скрученных хвостов. Руки мелика лежали на подлокотниках. Удлиненные остроконечные рукава кабы спадали до самого пола. Узкие окна пропускали так мало света, что зеленый атлас подкладки рукавов казался почти черным.

Мелик, откинувшись головой на львов, смотрел на стоявшего перед ним сына. Тот мял в руках меховую шапку. Выражения лиц и у отца и у сына говорили о том, что они вели важную для обоих беседу и еще ее не закончили...

Запутавшая где-то вверху муха своим тревожно-монотонным жужжанием делала это молчание еще более напряженным. А два львиных глаза взирали на мелика со спинки кресла так, словно зверь вот-вот нападет на него, стоит ему еще чуть затянуть это молчание.

Но мелик не заговаривал. Видно, и молчанием он что-то говорил сыну. И сын понимал его без слов.

— У народов тех стран, где тебе придется быть, — сказал наконец мелик, — свои заботы, свои радости!.. — Мелик поднял правую руку и с размаху снова опустил ее на подлокотник, и старое дерево глухо отозвалось.

Снова они молчали. Снова жужжала муха и грозно взирали львы.

— ...У тебя всего одна забота, — продолжал мелик, — большая забота твоего народа. И одна радость, радость сознания, что народ верит тебе, полагается на тебя в решении своей тяжелой судьбы!.. — Рука опять поднялась, опять упала и сильно сжала хвост-подлокотник.

Муха больше не жужжала. Может, запуталась в паутине?..

— Уразумел сказанное мною?

— Только тем и буду руководствоваться, отец!

— Поклянись!

— Чем угодно!

— Именами тех славных сынов рода Прошянов, что погибли во имя народа и за то причислены к лику святых! И еще поклянись молоком матери! — Голос мелика дрожал, крылья ноздрей расширились, взгляд подернулся дымкой.

Яври мгновенье снова мял шапку, потом поднял голову, посмотрел отцу в глаза, которые еще были затуманены, и,

преклонившись, взял отцову правую руку, положил ее себе на колено, накрыл ладонями, заговорил гортанным голосом:

— Клянусь именами и мечами наших предков — храброго Васака Хаченца, его сыновей Папака и Мкдема, мощной дланью Проша, крестами и библиями семи архимандритов из дома Прошянов, могилами павших за святую нашу веру мелика Мартироса, мелика Агаджана, мелика Карахана, могилой моей матери, молоком ее клянусь!.. — Здесь и у Яври голос дрогнул. — Клянусь и этой твоей рукой, отец, которая и ласкала меня, и наказывала, когда следовало, по-отцовски! Клянусь, что нет и не будет у меня иной цели в жизни, кроме служения моему народу! Клянусь, что я обязательно оправдаю его доверие и буду достойным твоим сыном!..

Мелик встал, нет, не встал, а вскочил с места, заключил сына в свои широкие, сильные объятия и долго не отпускал.

Но вот он кликнул детей. И когда вошли Ашхен, Бардан и Мамикон, обрушил на них неожиданную весть:

— Прощайтесь с братом, он уезжает в далекие страны!

Дети поначалу опешили, а потом вдруг ударились в рев. Плакали горько, надрывно.

— Когда человек уезжает в далекий путь, его провожают не плачем, а пожеланием благополучного возвращения, — сказал отец ласково. И, помолчав секунду, уже решительно потребовал: — Прекратите реветь!..

И все трое мгновенно умолкли. Но на лицах была неизбывная печаль от расставания с любимым старшим братом...

Во дворе громко заржал конь и послышался голос Торгома. И теперь уже Яври, обняв отца, тоже прослезился, даже всхлипнул, совсем как в детстве, словно бы предчувствуя, что будет с отцом после него...

Мелик едва сдерживался и потому с напускной сердитостью сказал сыну:

— Куда это годится? Ты падаешь в моих глазах. Вспомни, Яври, ты же мужчина и с тобой наш народ должен связать свои надежды! — Мелик увещевал сына, а сам с трудом душил в себе слезы. — Вернешься, как ласточка — провозвестница весны, возьмешь в свои руки Шаапуникское меликство, и зацветет оно, как зацвело при Проше ущелье Гегарда. И заживете все мелики в мире и единении под одним общим знаменем, под знаменем возрожденного Государства армян. И отец твой будет рядом с тобой коротать свою счастливую старость, а когда придет час, спокойно простится с этим миром, уверенный, что народ армянский спасен от гибели...

Яври шумно вздохнул и посмотрел во двор. В рамке

арочного окна в тонкой дымке бирюзового тумана как бы плыла зеленая гряда гор. Вверх по склону самой высокой вершины вилась дорога. Она словно бы в небо уходила...

Через час в то же окно смотрел отец. Полными слез глазами он следил, как по той самой дороге его сын на коне, уменьшаясь с каждым мгновением, наконец исчез из поля зрения, как в небо ушел.

— К богу за долей армянской?..

И мелик горько улыбнулся, вспомнив, как помогает им бог.

2

Делегаты собрались в патриарших покоях — трое от мирских и столько же от церкви. Были тут и из духовенства.

Год уже скоро, как здесь же решали вопрос о поездке в чужедальние страны. В тот раз Акоп Джугаеци вел весь совет сидя. Сейчас он стоял, опираясь на скипетр. Вид у него был суровый, но заговорил он спокойно и уверенно:

— Итак, вшестером мы отправляемся в бой, и перед нами Европа. Не врагами против врагов — и однако же в бой. А как иначе, если жаждем мы победы, а боимся поражения? Что это, коли не бой? Если мы отправляемся в чужую страну решать вопрос о том, жить нашему народу или умереть, то разве это для нас не Аварайр? Одна только разница: мы не вооружены и навстречу нам не движутся персы на слонах. Мы выступаем вооруженные лишь нашей многовековой историей, в надежде убедить цивилизованные страны Европы прийти нам на помощь, чтобы мы обрели право сохранить эту историю, жить и дышать свободно, самим распоряжаться своими судьбами, сохранить и умножить нашу не запятнанную черными деяниями историю.

Мы ни у кого и ничего не хотим и не хотели отнимать. Ничто чужое нам никогда не было нужно — ни земля, ни богатства, ни поправление иной веры. И это — не от слабости. Армянам тоже дано творить и созидать, хотя тяжкая необходимость уже давно заставила довести до совершенства и владение оружием. В стремлении защитить созданное нами, народу нашему приходится преграждать путь вражьи лавинам... Но сколько можно так жить? Созидатели иссякают, а разрушителей все больше и больше! — Католикос тяжело вздохнул и после короткой паузы снова продолжал свое слово: — Вот почему всем нам, шестерым, надо знать нашу историю, чтобы суметь привлечь в наши сторонники народы, к которым мы отправляемся. А еще нам надо знать историю

наших врагов, от сотворения их и до сего дня. Это чтобы явить миру на чаше весов нашу невиновность и грехи притеснителей. И, наконец, нам еще надобно знать нравы и обычаи, то есть опять же историю, народов, населяющих страны, к которым мы постучимся за помощью и спасением. Вот чем мы должны вооружиться в наш трудный дальний поход. А теперь, может, кто-то выскажет свои мысли?..

Говорили все. И все соглашались с мнением святейшего. Молчал только сын мелика Исраела Яври, самый молодой из присутствующих. Казалось, он весь в своих раздумьях и очень далек от того, что делалось вокруг. Католикос, которого уже пленил облик этого юноши, хотел и других расположить к нему и потому решил вызвать его на разговор.

— А ты что скажешь, сын мой? — обратился святейший к Яври, пристально глядя на него и ожидая ответа.

Все тоже насторожились.

— Я?.. Пока ничего!.. — Но Яври все же встал и сказал: — По соседству с нами живет народ с судьбою, похожей на нашу. Мы не раз выступали с ним в единстве, рука об руку. Отец просил меня, святейший, передать тебе его мнение: он считает, что в пути нам надо бы встретиться с имеретинским царем Арчилом. Отец полагает, что положение грузин сейчас не лучше нашего, а потому, может, Арчил присоединится к нам?.. Два народа — это уже сила, а станем силой, так, чего доброго, и Рим скорее посчитается с нами...

Католикос и сам намеревался встретиться с Арчилом, но пока этой думы не открывал. И сейчас он только приветливо улыбнулся и сказал:

— Мелик Шаапуника, как всегда, дальновиден. Что ж, посмотрим. — И, обращаясь уже ко всем, проговорил: — Повторяю, путь наш долог и тернист. Да поведет нас память о беспримерных подвигах наших предков. Будем всечасно помнить о покинутой нами, растоптанной чужеземцами родине. Итак, в бой за священное отечество! — Католикос снял с груди крест и поднял его.

— Смерть или свободная Армения! — пав на колени, поклялись все разом.

Святейший осенил их крестом.

А во дворе был полночный покой.

Книга вторая

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Это случилось вдруг: с вечера католикос Акоп Джугаеци лег спать, а утром не смог подняться. И затем день ото дня ему становилось все хуже. И спутники его, представители духовенства Константинопольской общины, сменяя друг друга, проводили у его изголовья все ночи напролет.

Стояла иссиня-черная ночь. Окруженный Византийской стеной, покоился в дреме отуреченный Константинополь — Стамбул. Звезд в небе было немного, но светили они ярко. Отраженные в Босфоре и Мраморном море, они казались раздробившимися, увеличившимися в количестве. Игнали в воде, висели на листочках деревьев, того и гляди капнут. Но звезды не капали. Они блестели ровным блеском и на полумесяцах высоких минаретов, и на куполах церквей, на крестах. Мерцали звезды и в стеклах здания. А прибрежные пески целиком были залиты звездным светом. Мрачной была только Византийская стена. Она не отражала ни одного небесного луча...

Яври шагал вдоль восточного крыла стены, которая тянулась до прибрежного холма и заканчивалась высокой башней. Шагал и, на миг забыв о разрушениях на своей родине, думал о погибшей Византии: «Камень к камню строили крепость, чтобы жить, и нет их...» И Яври ужасался от мысли, что с лица земли может исчезнуть целый народ, и так, будто его вовсе и не было. И из далеких далей перед ним встали родные горы с построенными на их недоступных вершинах крепостями. «Крепость на крепости!.. — говорит сам с собой Яври. — Нет, нет! Мы скучимся в наших горах, пусть земли потеряем, может, разрознимся... Но исчезнуть? Никогда! Кланяюсь вам, грозные родные горы». И он поднялся

на холм, на котором высилась последняя башня Византийской стены. Вдали, там, где сходились море и небо, тянулась полоса звездного отсвета. Глядя на эту полосу, которая словно бы перекрывала путь к возвращению, Яври думал о том, как долгов этот путь... Перед глазами мгновенно всплыли все события их долгого пути. Вот царь Арчил, с густой бородой, с ниспадающими на плечи кудрями и добрыми, умными глазами. Яври мысленно заговорил с ним: «Эх, почему же ты оказался таким, царь Имеретии? Почему не понял того, что мы должны быть вместе, даже если найдем покровительство у другой великой державы? Ведь вместе мы сила. Почему ты не с нами, царь Грузии?.. Да, прости мне, что, будучи младше, я осмеливаюсь обвинять... А теперь, не дай бог, на половине нашего пути еще и угаснет святейший... Без него едва ли возможно продолжить нашу миссию. И оборвется надежда. А будь с нами царь Арчил, мы дошли бы и обязательно добились бы удачи. Ах, царь Имеретии... И ничем-то господь тебя не обделил: что внешность, что ум, и сердце доброе, и патриот. Так в чем же дело? Или ты оказался умнее?..» Но Арчил вдруг исчез, растворился в звездно-туманной мгле. А Яври все смотрел туда, где море сходилась с небом, за горизонт, где были страны, в которых должна была решаться судьба армян. Должна была, да вот немощ приковала к постели их главу, католикоса Акопа, и полоса света на горизонте стала неодолимой. Яври отвернулся от манящей полосы и зашагал к дому, где умирал католикос всех армян.

2

Горы уже позолотило солнце, а в густом саду еще таилась влажная тьма. Очень белые лучи пробивающегося сквозь деревья света кое-где перекрещивались.

В этот утренний час, заложив руки за спину, по полутемным аллеям вышагивал царь Имеретии. Он пребывал в поэтических раздумьях. Иногда остановится, хочет взглядом перехватить птичку, поющую где-то рядом волшебную песню. Но птичка, видно раньше узрев ищущий взгляд, улетала в другое место, так и не показавшись, а песня ее делалась издали еще лучше. И долго так стоял. Потом, поставив выдвинутую вперед ногу на покрытый мхом пенек, начал записывать сложившееся в уме четверостишие. В этот миг к нему подошла дочь Дариджан и голосом, похожим на птичий щебет, проговорила:

— Мамело¹, к тебе армяне из Армении...

Сначала он словно бы не расслышал слов дочери. Поиграл ее локонами, горящими золотом под лучами солнца, и уж потом только спросил:

— Кто, говоришь, приехал?

— Армяне из Армении. С ними старец, красивый. Я таких еще никогда не видела, отец.

Царь Имеретии не спеша направился к дворцу, который стоял за садом, на небольшой возвышенности. Шел, привычно сжимая бороду в кулаке, и думал: зачем это приехали к нему армяне из Армении?

Проницательным был Арчил. Он примерно предполагал, что могло привести к нему сынов народа схожей судьбы.

В гостиной царица Кетеван уже развлекала гостей. Арчил вошел и еще от порога сделал знак, чтобы гости не поднимались с мест, не беспокоились. Он широким шагом подошел, с почтением сначала пожал, затем поцеловал правую руку католикоса. Поздоровался за руку и с остальными.

Католикос, ответив на приветствие как подобает, представил своих спутников. Услышав имя сына мелика Исраела, Арчил с восхищением и долго смотрел на Яври.

— Как поживает хозяин Шаапуника? — спросил он.

— Хорошо, благодарю. Он поручил мне передать вам поклон.

— Спасибо. Мы с ним давнишние друзья. Я прошлой зимой в феврале был приглашен к нему в имение Мартирос на вардананц². Жаль, не смог съездить, были затруднения.

— Будем надеяться, что у нас скоро будет причина провести вместе более радостную встречу, по случаю праздника возрождения, и никто тогда не помешает нашему общему ликованию!.. — Яври тонко развязал узел беседы, и тонкость эта пришлась по душе католикосу.

Арчил и царица Кетеван тоже, в свою очередь, были восхищены юношей.

Однако скоро с лица Арчила слетела приветливая улыбка гостеприимного хозяина.

— Если потеряем надежды, нации останется одно — самоубийство!.. Но... — тяжелый вздох поглотил конец фразы.

— Мы должны осознать, что гибель одного из наших народов повлечет за собой и гибель другого, — заговорил Сурен

¹ М а м е л о — отец (груз.)

² В а р д а н а н ц — обряд поминовения усопших.

Татеваци. — Нам крайне важно действовать вместе, в единстве.

— Увы, как ни больно, но это невозможно! — Арчил снова вздохнул.

— Потомок Теймураза не должен говорить такое, — тихо, дружелюбно произнес католикос. — Я знаю, что ты принял мусульманство, но пришел к тебе как к христианину. Однако...

— Ну к чему же сомнения, патриарх армян? Во имя народа моего принял я на себя это чужеродное... Только во имя народа! Султан Турции поглотил бы Имеретию, не прикинься я мусульманином. И вот я «мусульманин», а уж сколько храмов и церквей построил... Святейший патриарх, я и мой брат — царь Картли Георгий — думаем так: пока Грузия еще не в состоянии собрать все свои силы и пока не объединены Картвилия и Кахетия, мы не можем противостоять ни Персии, ни Турции. Разве Теймураз думал иначе? — Арчил перевел вопрошающий взгляд с одного на другого.

— Так-то оно так, — ответил за всех епископ Усик, — но не считает ли царь Имеретии, что сколь необходимо объединение грузинских царств для создания силы и мощи, столь же, а может, и еще более необходимо и наше единение.

— Во времена тяжелых бедствий мы и были всегда вместе! — Арчил снова повел своими миндалевидными глазами из-под припухлых век.

Католикос шевельнул бровью, словно бы говоря, что, увы, не во всех случаях.

— Но сейчас мы здесь не для того, чтобы требовать единения для выступления войной на Персию или Турцию. Это пока не под силу всем грузинам и армянам, вместе взятым, до тех пор, пока мы не имеем покровительства могущественного христианского государства.

— Есть такое государство! Россия! — прервал католикоса Арчил. И сказал это как давно для себя обдуманное. — Другой возможной покровительствующей силы я не вижу.

Католикосу не захотелось сразу возражать царю, объяснять, почему, с его точки зрения, именно сейчас Россия им не помощник. Он ждал несколько иного настроения. Но тут вдруг мелик Шахназар довольно резко и уверенно сказал:

— Россия пока не может быть нам опорой. И заботы у нас не было, если могла бы! Нам сейчас нужна срочная помощь, царь. Потому-то мы и отправляемся на Запад...

Мелик Шахназар хотел закончить свою речь предложением, что хорошо бы и грузинам присоединить свою делега-

цию к ним, но воздержался, посчитал неудобным высказываться с тем, что надлежит сказать главе делегации.

— Доброго пути. Попробуйте счастья... — после продолжительной паузы проговорил Арчил, и уже никто ничего ему не предложил.

Воцарилось тяжелое молчание. Армяне обманулись в своих надеждах, и это горечью легло на их лица. Арчил все понимал и попытался рассеять неприятное впечатление.

— Я в своей стране, в своем царстве живу как на шипах... Несколько недобрых глаз наблюдают за каждым моим шагом! В дальних странах мне искать помощи бесполезно. Моя надежда на Россию. До нее близко, легче связаться и до поры сохранить тайну переговоров. И вы смотрите, будьте очень осторожны. Нам надо жить по погоде, чтобы суметь уберечь наш народ, пока и для нас взойдет солнце.

Как бы то ни было, армяне поняли, что сердцем Арчил с ними, и это подняло и царя в их глазах, и их настроение...

Был накрыт щедрый стол. И застольем правил сам гостеприимный царь Арчил. Минутами он делался беззаботным весельчаком и заражал всех вокруг, вызывая улыбку и смех, а минутами задумчив, как и подобает поэту. И тогда он на крыльях своих песен далеко уносил сидевших за столом или зажигал их патриотическим огнем. Потом вдруг разволнуется, расчувствуется, глаза наполнятся слезами, и надолго замолкает.

После одной такой паузы Арчил поднял рог с вином.

— Сделаем все, чтобы сберечь наши народы, католикос всех армян!.. — Арчил немного захмелел. Он смахнул слезу. — Сбережем, как сумеем, наши народы. Ты, может, тем, что решился в этом преклонном возрасте идти из страны в страну, взывая к чувству сострадания единоверных христиан, а я — неся унижительное имя вероотступника. Как бы то ни было, сохраним наши народы... И уснем последним сном с верой, что нация бессмертна. Да будут славны наши народы, патриарх всех армян, армянские князья и духовные отцы! Первые удары от общих наших врагов всегда падали на армян. И лавина удара докатывалась к нам либо уже ослабленной, либо и вовсе не доходила. Нельзя не вспомнить хотя бы один из многих случаев. В тысяча четыреста восемьдесят втором году это было: армяне и грузины вместе подняли знамя восстания против Персии, чтобы сбросить ее иго. Отважный полководец Ваан Мамиконян собрал в Двине войско, чтобы противостоять восьмидесятитысячной персидской армии,

присланной шахом Пирозом во главе с полководцем Фуштипананом для подавления армяно-грузинского восстания. И персы были побеждены в Нерссапатском сражении. В этом сражении участвовал и грузинский полк царя Вахтанга под командованием спарапета Ваана. Сейчас мы в более тяжелом положении, чем тогда, двести лет тому назад. Нас так раздробили, что мы, два брата, не можем соединиться в своей стране, где уж нам объединиться с вами? Могу только пожелать вам доброго пути. Не очень-то я верю, что дальние христианские государства примут к сердцу армянский вопрос, но искать выход надо. Лично я, повторяю, надеюсь только на Россию, на то, что в один прекрасный день она возьмет нас под свое крыло... Возьмет. Просто нам следует поторопить события. И в этом я приложу усилия...

— У нас положение нестерпимое! — сказал епископ Усик.

Арчил согласился.

— Да, — сказал он. — Мы еще как-то живем. А положение Армении тяжелее тяжкого. Поэтому и говорю, что вам надо срочно искать выход.

Снаружи вдруг донесся лошадиный топот. Спустя минуту вошел юноша лет восемнадцати, одетый для охоты.

— Мой сын, Александр! — сказал Арчил. — Скоро отправляется в Москву, обучаться воинскому искусству. Чтобы потом вместе с русским войском прийти и освободить свою страну. Этим я пока намечаю тропинку от Кутаиси до Москвы...

— Да храни его бог! Видно, что умен и искусен во владении оружием, — сказал католикос. — Желаю самого высокого воинского звания и доброго возвращения, как того хочет твой отец!

При последних словах католикоса Александр поцеловал ему руку, поклонился и вышел стряхнуть с себя пыль.

— Единственный сын?

— Нет, еще двое, святейший. Те пока несмышленыши. Сейчас живут под присмотром своей бабушки.

— Да не сочтет бог пределом!

— Благодарю, святейший...

Кутаиси давно уже был погружен в сон, когда армянские предводители покинули пределы города.

Сам царь сопровождал их довольно большое расстояние и, прощаясь, снова сказал:

— Доброго вам пути, патриарх армян. Мы пока поживем, изыскивая общий язык с врагом, а там посмотрим...

И сейчас, когда армянские делегаты на первых же шагах, что называется, споткнулись, у Яври было время поразмышлять, идучи по улицам Константинополя, о судьбах армян. Вспомнились и последние слова Арчила: «Мы пока проживем, изыскивая общий язык с врагом, а там посмотрим...» Да, подумалось Яври как бы в подтверждение слов Арчила, в народе говорится: ту руку, которую не можешь отрубить, облобызай и приложи к своему лбу. Однако это не помогает армянам.

Такие тяжелые думы владели самым молодым из делегатов армян. Можно подумать, что какой-то невидимый злой дух постоянно преследует армянский народ. И болезнь католикоса — не иначе как происки злых сил...

Вдали что-то грохнуло. Может, это еще один камень упал с Византийской стены? Много веков назад старались построить ее как можно крепче, связывая с каждым камнем защиту народа. А сейчас камень, может, упал сам, без приложения какой-либо силы? Просто упал, чтобы очнулся сын армян... И, очнувшись, взял себя в руки и пошел бы уверенно...

Яври вошел к святейшему. Больной лежал все в том же положении, в каком Яври оставил его. И, как прежде, вокруг него в печали сидели члены делегации и священнослужители Константинопольской общины. Приехал из Иерусалима и Егиазар Айнтапци. Он признал католикоса всех армян, покорился ему и приветствовал его миссию. Был тут и кое-кто из светских, люди, как правило, сановные.

Как всегда, кто-нибудь подходил поближе, в надежде услышать хоть слово от умирающего католикоса, может последнее.

Сейчас у изголовья стоял, склонившись над больным, Сурен Татеваци.

— Святейший, а святейший? Открой глаза...

Католикос с трудом поднял веки, невидящим взглядом посмотрел вокруг...

— Как ты себя чувствуешь, святейший? Скажи что-нибудь...

Но святейший упорно не говорил этого «что-нибудь», и неизвестно почему. Ведь что-то он должен был сказать, этот умирающий в чужой стране патриарх!

— Хорошо себя чувствую,— отвечал он всем одно и то

же, тихо, словно с того света, и опять прикрывал веки. А люди в горе и отчаянии молча смотрели друг на друга.

Лишь один Яври не выглядел печальным. Он сидел чуть поодаль от всех остальных и оглядывал присутствующих. И перемена эта в молодом княжиче в момент, когда вместе с католикосом умирала надежда армян, всех удивляла.

Откуда им было знать, что причиной этому — упавший с Византийской стены камень. Он принес прозрение юноше, в котором впредь уже ничто не сможет подавить силы духа.

Перед рассветом, когда переливчато-мраморное небо над Мраморным морем бросало косой отсвет на стекла окон, когда от чудес пробудившейся природы, развязав языки, восторженно запели птицы, когда сорвавшийся с вечнозеленых сказочных берегов Босфора напоенный ароматами ветер со стуком распахнул форточку и ворвался в покои, вдруг ожили измученные долгой бессонной ночью и душевной угнетенностью люди. И католикос тоже словно очнулся: тихо зевнул, слегка потянулся вперед и оглядел всех сидящих вокруг.

— Как ты чувствуешь себя, святейший? — спросили сразу несколько человек с надеждой в голосе.

— Слава господу!.. — ответил католикос едва слышно и даже вроде бы улыбнулся. Но это, может, просто показалось людям, привыкшим всегда видеть в его глазах добрую улыбку.

Обнадеженные, они стали придвигать стулья поближе.

— А как вы? — спросил святейший, будто он явился издалека и давно всех не видал.

— Как мы можем быть, когда вождь наш в такой час вдруг заболел? — за всех ответил Егиазар Айнтапци. — Уговорил меня действовать заодно с вами, и вот...

— На все воля божья. Не огорчайтесь!.. — Взор католикоса снова затуманился, как у младенца перед глубоким сном.

— Отдохни, святейший. Хочешь, мы оставим тебя одного?

Святейший повернул на подушке голову туда, откуда донесся голос говорящего. Это был Яври. Католикос ласково проговорил:

— Нет, не надо. Я и так скоро уединюсь... Пока оставайтесь...

Подобие улыбки снова скользнуло по лицу и тут же исчезло.

— Я голоден...

Люди засуетились, подложили подушки, чтобы ему было поудобней.

Католикос благодарно посмотрел вокруг и снова прикрыл веки. Он тяжело задышал, и все опять забеспокоились.

— Святейший?..

Больной открыл глаза, но посмотрел он на свои руки. Желтые, как пергамент.

— Вы все здесь? — тихо спросил католикос.

— Все, святейший!..

— Сейчас надо быть сплоченными более, чем когда-либо!.. Чем когда-либо... — вздохнув, повторил он. — Превыше нужд народа ничего нет. Я поручаю вам заботу о народе. Уберегите его, сделайте все, чтобы не погиб.

Люди слушали с напряженным вниманием. Католикос закрыл глаза, но еще дышал, и потому все были исполнены молчаливого внимания.

— Я бы хотел... — Он опять прерывисто вздохнул. — Я бы хотел, чтобы после меня на патриарший престол воссел епископ Егиазар, чтобы у Эчмиадзина не было противоборца...

Кровь прилила и так же быстро отхлынула от лица Егиазара. Он стыдливо опустил взгляд.

— Епископ Егиазар умен и деятелен...

— Святейший!.. — с болью проговорили сразу несколько человек.

— Ну вот... Я умираю...

4

Похороны были скорбными. Не только потому, что почил в бозе почитаемый всеми восьмидесятитрехлетний католикос, долго и разумно правивший паствой. Люди оплакивали свою судьбу, свою тяжкую долю, из-за коей и престарелый пастырь армян вынужден был вопреки всем мучениям, самолично пуститься в трудный путь, искать сочувствия и помощи у правителей христианских государств.

Католикос лежал в гробу, и люди скорбели о нем и о трагической судьбе нации.

В скорби пребывало все, что было армянского в этом чужом городе. Скорбным был шелест пергамента псалтыремаштоцев в руках священников, скорбно звучали армянские слова. Четырехголосой скорбью скорбели колокола всех церквей. Скорбели в молчании язычками трепещущего пламени свечи и мелодично позванивающие цепями, курящие ладаном кадила. Скорбели вырезанные в камне месроповские письма.

И всеобщая эта скорбь передавалась всем, кто присутствовал на похоронах, вызывая слезы у каждого.

И только у одного человека глаза оставались сухими, хотя и он глубоко переживал и чувствовал все происходящее. Он думал о том, что в стеснении и семья, и община, и народ испытывают необходимость в ком-то одном, способном властвовать умами, кто может слезы людские обернуть во гнев, побудить народ ковать свою судьбу собственными руками.

Тот, кто думал такое, родился, чтобы стать новым Варданом, Васаком Мамиконяном или Васаком Хаченцем. Но так уж сложилось, что на него пока пала роль скромного ходатая, с мольбой взывающего к совести чужих народов. И даже в этом пока не сумел сослужить службу своему народу.

Однако сын мелика Исраела Яври (а это был он) не терял надежд. Все семь скорбных дней он строил планы.

И какие планы! Поделись он ими с кем-нибудь, только улыбку бы вызвал. Но для Яври ничего невозможного не было. Самые дерзновенные мечты не казались ему неосуществимыми. Переживая про себя то, что, по его мнению, следовало делать, Яври не замечал, что творилось вокруг.

А спустя немного, когда церемония отпевания была завершена и усопшего католикоса уже должны были похоронить, Яври в надгробной речи передал это свое настроение окружающим.

Речь его была краткой:

— Не скорбеть, не горевать нам сейчас следует. Это расслабляет. Давайте лучше поклянемся святой и свежей могилой нашего духовного пастыря, что мы будем едины и исполним все то, что задумал, но не успел выполнить он!

Едва Яври закончил свою речь, как какой-то молодой человек, вдруг взяв его за руку, отвел в сторону и, исполненный воодушевления, обнял и расцеловал Яври.

— Я купец Ованес-Спират! — назвался он.

— Рад познакомиться! — проговорил Исраел Яври, мысленно повторяя услышанное имя, чтобы не забыть.

— Мы еще встретимся! — сказал Ованес-Спират.

Взгляды собравшихся были устремлены на Яври. И было в этих взглядах большое почтение.

Смолкшие было колокола снова скорбно зазвонили и стихли.

Погребение свершилось.

Отметили сороковины по католикосу, и члены миссии собрались на совет. По праву старшего первым заговорил Сурен Татеваци.

— Смерть католикоса,— сказал он,— обнаружила нас и наши намерения. Теперь турки будут следить за каждым нашим шагом и станут рьяно подстрекать персов против нас, чем могут причинить много вреда. Они рады случаю наслать на армян новую беду. Это во-первых, а во-вторых, нет больше католикоса, и так как надо выбирать нового, то, пока у нас его нет, папа римский едва ли согласится внять нашему голосу как голосу народа и Эчмиадзина. Вот и выходит, что нам остается возвратиться и вместе с нашей паствой искать иной путь, иную надежду.

— Весть о смерти католикоса может вызвать панику и переполох в Эчмиадзине, во всех епархиях и общинах. Нам остается поскорее вернуться,— сказал и епископ Усик, и остальные священнослужители молча согласились с ним.

— Другого выхода нет! — подтвердили разом мелик Шахназар и мелик Мелкон.

Яври молчал, но его молчание, судя по выражению лица, не означало согласия с общим мнением.

— А что думает Израел Яври? — спросил Сурен Татеваци.

— Я остаюсь, преосвященный.

— Как?... — с удивлением воскликнули все.

— Когда мой отец провожал меня в путь, он сказал: «Страна во мгле, я посылаю тебя за светом. Хотя бы один луч... Без этого не возвращайся».

— Но что ты один можешь сделать на этой холодной чужбине? Подумай, Яври!.. Ты молод, мы обязаны вернуть тебя твоему отцу. А уж там как знаешь...

Израел Яври, как всегда спокойно и ровно, сказал:

— Я прошу вас, преосвященный, не говорить со мной, как с неоперившимся юнцом. А чтоб не быть в ответе, считайте без вести пропавшим, гордецом или безумцем, который как приехал в чужую страну, так и на глаза вам не являлся. Пусть обо мне забудут. Только знайте, что решение мое твердое, и не рассчитывайте уломать меня. Так надо. Отец простит мне. Он знает своего сына... И сын знает своего отца... Я вернусь только после того, как исполню его наказ. Если он не доживет до этого дня, приду к нему на могилу...

— Бессмысленно это, Яври, дорогой мой, пытаться паль-

чем вращать мельничный жернов. Зачем ни за что пропадать? — вмешался и мелик Шахназар. — Если мы все без католика ничего сделать не можем, то как же ты один будешь представлять там целый народ?

— Во-первых, вы и не пробовали, не приложили никаких усилий, чтобы узнать, можете что-нибудь сделать без католика или нет. И потом, для того чтобы показать миру истину, не надо множества людей. Может хватить и одного, если он, горя ярким пламенем, бросит свет на эту истину.

— Господь с тобой! — сдаваясь, сказал преосвященный Сурен Татеваци.

— Мне жаль мелика Исраела! — не отступался мелик Шахназар. — И без того велики его заботы. Как можно неопытного юношу оставить в этой чужой стране и уехать? Какой ответ мы дадим его отцу?

— Если он и не совершит чего-нибудь особенно полезного нации, то и пропасть не пропадет! — уверенно сказал Сурен Татеваци. — Пожелаем ему удачи!

— Доброе намерение да будет благословенно! — присоединились и остальные священники.

— В таком случае надо собрать ему кое-что на первое время, пока осмотрится... — предложил мелик Мелкон.

— Нет, никакой помощи мне не надо, — решительно отказался Яври. — Я могу из ничего добыть золото, если оно мне понадобится.

— То есть как так? — удивленно спросили все.

— Неважно как. Только будьте уверены в этом и напрасну не заботьте себя.

— Никто, конечно, не поверил тому, что приехавший сюда юноша с Шаапуникских гор может из ничего выколотить золото, если оно ему понадобится, но все были восхищены его решимостью и верой в свои силы. Об этом говорили их взгляды, коими они долго испытующе изучали Яври.

На следующий день корабль, на котором члены неудавшейся миссии возвращались домой, вошел в зеленые воды Босфора и стал постепенно уменьшаться. Яври следил за ним, пока он вовсе не исчез с глаз... Но юноша еще долго стоял, устремив взгляд на почти невидимую синюю точку — корабль, уносящий на редину людей ему близких и теперь уже таких далеких.

Почувствовав себя совсем одиноким, Яври наконец двинулся с места и, задумавшись о том, что же ему теперь делать, вспомнил про купца Ованеса-Спирата и пошел искать его.

Утесы в ущелье Гладзор прогрелись вдруг.

За одну ночь набухли и почки, и к рассвету от теплого дыхания еще не взошедшего солнца раскрылись все цветы. И хотя воздух был напоен ароматом земли и цветов, мелик Израел не в силах был вдохнуть его. Ему было тяжело и душно.

Впервые в жизни высота родных гор, родной страны теснила его. Он родился в этих горах, и стихией его всегда были эти лазурные высоты, полнящиеся гомоном и шорохами ущелья. А сейчас казалось, что вот-вот эти горы обрушатся на него или, сомкнувшись, задушат. Какая-то необъяснимая печаль вошла в сердце мелика и давила его. Вошла она месяца два назад и с тех пор поселилась там прочно. Мелик искал объяснения этой своей тоски. Иногда он относил ее за счет тяжелого состояния страны, но внутренний голос возражал ему: «А когда оно, это состояние страны, было более благополучным?» Попытался связать свою печаль с решением сына не возвращаться, пока не привезет хоть луча надежды. Но это был его, отцов, наказ и решение сына в этом случае только преисполнило мелика Израела гордостью, когда вернувшиеся делегаты передали ему все, что сказал Яври.

Угнетенность своей души мелик связывал со многими причинами, потом сам же отвергал их. Не думал он лишь о том, что это может быть предчувствием новых козней и ловушек со стороны заклятого врага.

Эта необъяснимая тревога привела к тому, что всегда деятельный, уверенный в себе мелик Израел раньше обычного покинул Сркугинк и отправился в свое летнее поместье Мартирос.

Не надеясь, что в Мартиросе его тревога рассеется, мелик Израел отослал сыновей и дочь в Чанахчи, к сестре, чтобы не огорчать их своим днем ото дня ухудшающимся состоянием.

В Мартирос он прибыл уже в первых числах мая. Здесь-то и произошло то, чего он никак не ожидал. Два дня моления в домашней церкви, гуляние в долинах Хачидзора — и дурного настроения как не бывало. Он снова стал собранным и уверенным. И когда прибыл из Нахичевана посол хана с «искренним и доброжелательным саламом» от своего хозяина, мелик был уже совсем здоров.

Посол заявил: «Я приехал сказать, что сиятельный хан мой, желая впредь поддерживать добрососедские отношения с великим меликом Прошяном, хочет видеть его под своим кровом как самого дорогого гостя и друга. Добрый и мудрый наместник всевышнего хан Мухаммед-Рза выразил желание, чтобы ты взял с собой к нему и сыновей. Если всех невозможно, то хотя бы старшего сына обязательно. Хану угодно вести дружбу не только с вами, меликами, но и с вашими сыновьями...»

Мелик Израел был не столь наивен, чтобы верить в дружбу и искреннее гостеприимство чужака с хозяйским норовом. Но и предположить, что заменивший умершего всего несколько месяцев назад хана Шарифа Мухаммед-Рза не извлек урока из ошибок предшественника, мелик не мог, а потому он принял приглашение. Когда нет другого выхода, разумно сохранять видимый мир и дружбу. Мелик Израел воздал подобающие почести послу хана и, когда провожал его в обратный путь, сказал:

— Передай хану Мухаммеду-Рзе мою большую благодарность за дружеское приглашение. В первые дни июня я непременно буду в Нахичеване.

— Может, точнее назовешь день, сиятельный мелик? Ведь когда приглашают гостей, готовятся достойно встретить их?..

— Точно сказать день не могу! — Мелик посмотрел послу в глаза и почувствовал, что за улыбкой тот прячет что-то недоброе. — Я с пути извещу о моем прибытии, — сказал мелик и после минутной паузы продолжил горестным тоном: — Недавно у нас случился обвал в моей крепости Сркугинк, и мои сыновья... Теперь у меня только одна дочь. А дочь, она рождена, чтобы осчастливить другого. Вот почему я не смогу сполна ответить на приглашение хана.

— Очень жаль, очень жаль! — перс, изобразив огорчение, покачал головой. — Значит, мелик теперь совсем одинок.

— С народом...

— Хан искренне огорчится, узнав о твоём большом несчастье.

— Я верю...

* * *

Хан Шариф не только не смог больше бывать в своем гареме, но слабел с каждым днем. Начали редеть волосы на голове, на бороде. Все тело покрылось язвами. Он еще раз по-

пытался побороться со смертью, когда приехал сменить его хан Мухаммед-Рза.

— Умираю, Мухаммед,— едва слышно проговорил хан Шариф, когда тот в первый же день зашел навесить его.

Сказал и вперился ставшими на осунувшемся лице огромными глазами в своего преемника.

— Не умрешь!..— не нашел других утешительных слов Мухаммед-Рза.— Выздоровеешь еще и будешь править своим ханством, а мне и при дворе хорошо.

— Я хочу перед смертью завещать тебе два своих дела,— не слушая его, сказал Шариф.

— Готов исполнить...

— Надо кончать с соседством армян.

— Разве мы не покончили с ними?..

— Не покончили.

— Покончили!..— упорствовал Мухаммед-Рза.

— Ты не дашь мне спокойно умереть! Пойми, будешь столь наивен, армяне и тебя прикончат.

Хан Мухаммед-Рза улыбнулся.

Шариф продолжал свое:

— Видел, какая змея мелик Израел, как провел шаха, как настроил его против меня? И это в то время, когда я делал все, чтобы выбить армян из этой щели. И, наконец, когда я гибну от руки армянина.

Хан Мухаммед-Рза снова усмехнулся про себя.

Шариф продолжал:

— Если хочешь, чтобы мелик Израел и тебя не сломал, поскорее убеди шаха, что между Ереванским и Нахичеванским ханствами не должно быть меликства Шаапунника. Это меликство — змея, затаившаяся в горячих скалах Ехегнадзора. В один день смертельно ужалит нас, если мы не разобьем его! — Шариф говорил, а сам не мигая смотрел на преемника.

Понимая, что Шариф умирает, Мухаммед-Рза, говоря с ним о шахе, не выбирал выражений.

— Если шах ничего не понимает, так и нечего говорить с ним как с разумным человеком. Ты ведь взывал к нему, просил. Мол, мудрый, великий, богоданный шах, сделай то-то и то-то! А с ним надо иначе. Выскажи мысль, будет влопад — припиши ее шаху, он все исполнит.

— Я так всегда и делал, а он взял и унизил меня перед армянским меликом!..

Мухаммед-Рза снова усмехнулся и лизнул языком красные губы. Не хотелось ему больше спорить с умирающим, говорить, как, по его мнению, надо покончить с Шаапунником

без лишнего шума и что шах потому и унизил Шарифа перед армянином, что не хан, а мелик Израел оказался хитроумнее.

Мухаммед-Рза поднялся и проговорил:

— Все будет, как желаешь. Ты только выздоравливай.

— Спасибо на добром слове, мне осталось жить день-другой.

Но прожил он после того еще два месяца.

2

Одиннадцатого июня мелик Израел выехал из Мартироса в Нахичеван. Хоть ехал он в гости по приглашению, но настроен был далеко не благодушно. При нем был тяжелый меч спарапета Амир-Гасана, который, переходя от героя к герою по наследству, дошел до него, — меч с медной крестообразной рукоятью, завершающейся бычьими рогами, на ножны натянута змеиная кожа; что как бы напоминало о смерти. На голове у мелика шлем с гербом рода Прошянов, сам он в кольчуге из медных пластин, как в рыбьей чешуе, в сапогах со шпорами и в наколенниках из жести. Конь под ним белый, с круглыми ноздрями, над которыми проткнуты еще отверстия, чтобы во время быстрой скачки свободнее дышалось. Грива у коня редкая, в глазах злость оттого, что придержан двойной уздой, шел он по земле плавно, как бы с высокомерием.

Мелик хоть и был уже в возрасте, но в седле держался ладно, словно прирос к нему.

В полной боевой готовности была и его свита.

Выехав за пределы Шаапуника, мелик выслал вперед двух гонцов известить хана о своем приезде, а сам при этом замедлил ход. Гонцы сорвались и скоро исчезли за горой.

Когда до Нахичевана оставался всего час пути, они вернулись и сообщили, что хан пять дней назад переехал в летнюю резиденцию в Апракунисе и что городской голова Нахичевана отправил туда своих людей предупредить хана о приезде мелика Израела.

Сделав небольшой привал у разрушенного Бичанага, в долине реки Нахичеван, мелик свернул влево, к Апракунису.

У подножия Змеиной горы сам хан встретил мелика. Он еще издали почтительно поклонился и остановился. На миг хану показалось, что это не мелик Израел, а кто-то другой. Спесивый конь мелика Израела звонко заржал и вздыбился. Да так, что тяжелые копыта его угрожающе нависли над головой хана.

Мелик и хан одновременно спешились, подошли друг к другу и обменялись рукопожатиями.

Соскочили с коней и сопровождающие их люди.

Некоторое расстояние они шли пешком. Говорил преимущественно только Мухаммед-Рза, все больше и больше увлекаясь. Поначалу он сказал, что ему известны подвиги мелика, его благородный характер, что представлял себе шаапуникского мелика именно таким, каким сейчас его видит. Затем хан выразил большое удовлетворение, что судьба послала ему встретиться с человеком, увидевшись с которым единожды будешь желать новых с ним встреч... Говорил он и о дружбе, о необходимости быть в ней искренними и доброжелательными.

Почувствовав, что мелик все молчит, хан стал задавать ему вопросы для поддержания беседы:

— Каково драгоценное здоровье мелика?

— Слава богу, не жалуясь.

— Как положение в стране?

— Неплохо, пока шах взирает на нас с добром.

— Шах всегда добр.

— А к нам особенно.

— Я слышал о постигшем мелика несчастье. Глубоко сочувствую...

— Случилась беда, что уж тут поделаешь.

Хана удивило такое хладнокровие.

— Чем утешаешься? — спросил он.

— Народом и богом.

Хан помолчал и сказал:

— Похвальна твоя приверженность и тому и другому...

— Хан говорит удивительное.

— Никак, обидел?

— Почему, собственно, надо оценивать мою приверженность самому себе?

По лицу хана скользнула лукавая улыбка. Мелик Израел заметил это и сказал:

— Народ в каждом из нас, и каждый в своем народе. И приверженность своему народу — не долг, а необходимое условие существования человека.

— Были народы, мелик, которых и след простыл. Потомки их растворились в других народах и не знают, не помнят, что когда-нибудь жили иной жизнью.

— Это убиение народа.

— Ну, почему же убиение? Просто смешение.

— Насильственное смешение равнозначно убиению.

На крашенных хной бороде и усах хана снова скользнула коварная улыбка. Мелик Израел отозвался на нее:

— Кто знает, может, потому убивают, что возможно убить? Но невозможно убийство народа-созидателя. Созидающий становится все сильнее и сильнее. Вот, к примеру, персов тоже многие старались уничтожить, а они есть и будут всегда.

Хан погладил бороду и переменял речь.

— Ты, я вижу, благородный мелик, будто и не в гости собрался, а на войну, — сказал он. — Или так уж разуверился в соседе?

— Будем откровенны, хан?

— Только откровенны.

— В чьих владениях твое ханство?

— Во владениях великого шаха Персии.

— Да, но у кого он отобрал Нахичеван?

— У армян. Но за это он пролил кровь персов. Что обретоено ценою крови, то становится законной собственностью.

— Положим, так; но если я, тоже пролив кровь, не смог защитить свое владение, то как же мне быть другом тому, кто, хоть и ценою крови, отобрал мое, да еще зарится на все остальное?.. Как я могу другом ступить в Нахичеван, если еще не остыл пепел Бичанага, Аринджа, Гомри, Сирапа?..

Хан вздернул бровь и краем глаза глянул на мелика.

— Тогда зачем же ты принял мое приглашение?

Мелик Израел ответил не сразу. Он долго смотрел на Змеиную гору, потом сказал:

— У любого человека, даже у такого, кто способен совершить много зла, где-то в глубине души дремлет совесть, которую иногда можно разбудить хлебом-солью, словом. Вот я и думаю, что нам надо вкусить хлеб-соль друг у друга — сначала мне у тебя, потом тебе у меня — и тогда ты, быть может, не станешь впредь тянуться к тому, что пока еще осталось в наших руках... И будешь добр к подвластным тебе армянам.

— Не слишком ли ты откровенен, мелик?

— Когда людям недолго остается жить, они невольно делают откровенны.

Хан прищурил глаза и про себя подумал: «Неужто этот старый волк догадался о моей задумке?»

— Почему ты вдруг так отчаялся, мелик? — испытующе спросил он. — В седле еще как юноша держишься. По всему видно, что проживешь долго.

— Как бы то ни было, а годы делают свое. У меня ведь уже шестьдесят позади.

Мелик сказал это таким тоном, что хан не почувствовал в его словах двусмысленности и успокоился.

— Я очень тебя уважаю, мелик Израел, за отвагу твою и патриотизм. К тому же ты такой человек, что можешь словом обезоружить целое войско. Ну и годами старше меня, и опытом побогаче. И если я спорил с тобой, то лишь затем, чтобы лучше тебя понять. Я непременно приеду к тебе, только пригласи. И не возьму с собой ни единого воина, в знак искренней дружбы и мира. Ничто другое, благороднейший мелик, от меня не зависит. Но не тянуться, как ты говоришь, к твоим землям, подобно хану Шарифу, и быть добрым к армянам, хотя они все еще беспокойны, это я тебе обещаю. Могу даже на Коране поклясться.

— Посмотрим...— проговорил мелик, но хан не слышал его, так как в эту минуту вернулись двое из четверых посланных на разведку. Увидев их, мелик и хан сели на коней и стали ждать, не сделав ни шагу вперед.

Разведчики подъехали и остановились на почтительном расстоянии каждый перед своим господином.

Первым докладывал армянин:

— Господин мелик, позволь доложить, что со стороны Смбабаберда сюда движутся какие-то люди. Судя по одежде, это армяне. Они с белым флагом.

— И много их? — спросил мелик.

— Человек сто.

— Только мужчины?

— Только.

— Безоружные и с белым флагом?

— Да, господин мелик.

— Иди, пусть явится другой, с более подробными сведениями...

Видно, ни мелик, ни хан не ждали никакой опасности от этой безоружной толпы, а потому спокойно двинулись вперед, даже словом об этом не перекинувшись.

Чуть спустя подъехали двое других разведчиков.

Армянин доложил:

— Господин мой, это армянские сельчане. Узнав, что новый хан приехал из Нахичевана в летнюю резиденцию и сегодня выедет на прогулку, люди решили встретить его хлебом-солью и заявить о своей покорности.

Мелик насупился. Речь эта ему не понравилась. Не потому, что, не видя иного выхода, сельчане решили покориться хану, а потому, что унижительная эта церемония произойдет у него на глазах. Он подумал даже, что все подстроено специ-

ально и что с этого и должно начаться то, из-за чего хан затеял «приглашение» гостя.

— Передай людям, что я здесь,— сказал он по-армянски,— и что церемония эта не должна происходить при мне. Я не пощажу, если ослушаются.

— Они, господин мелик, знают о том, что ты сегодня должен быть в гостях у хана.

— Да?..

— Это все седобородые старцы, господин мелик. И один, который, кажется, возглавляет их, говорит: «Зачем мелик так смело переступает порог дома врага?»

— Вот как?..— мелик Израел задумался, но хану старался своих мыслей не выдать.— Значит, говоришь, все седобородые?.. Ну хорошо, иди, но если они захотят что-нибудь мне передать, сообщи с осторожностью.

Разведчик развернулся и припустил коня.

Хана очень обеспокоила довольно затянувшаяся беседа мелика с разведчиком. Он осторожно полюбопытствовал:

— Как считаешь, благороднейший мелик, поверить мне клятве армян, их хлебу-соли?

— Почему же не поверить, если поклянутся?..

Хан Мухаммед-Рза испытующе взглядывался в мелика, нет ли за его словами чего-то другого?..

— А о чем ты с ним так долго шептался? Нет ли под белым флагом армян коварства?

Мелик пожал плечами.

— Армянин может быть хитрым,— сказал он,— но коварным — никогда. Это не свойственно нам. Как бы то ни было, но они ведь безоружны, а безоружные не опасны.

— Хочу верить тебе, мелик Израел! — конечно же вовсе не веря, сказал хан Мухаммед-Рза.

Он считал, что все это — подстроенная меликом ловушка. И хотя знал, сколько тут сейчас с ним людей, тем не менее примерился взглядом и остался недоволен. Подумалось, что, увы, он еще не столь многоопытен и дальновиден, как ему казалось. И оттого, что он пал в своем мнении, хану стало не по себе.

— Я понимаю, что заботит в этот миг храброго хана! — сказал мелик Израел.

Хан очнулся от дум.

— И что же? — спросил он.

— Если Костанд Астапатци осмелится поднять оружие против тех, кто прибыл встретить приглашенного в гости армянского мелика, клянусь, мой хан, я своим собственным

мечом и только с одними своими людьми так разделаюсь за это несвойственное армянам поругание, что с твоей стороны не будет никаких потерь, ни на волосок!..

Мухаммед-Рза не стал отрицать, что думал он именно об этом. Но ему и не хотелось быть свидетелем столь щедрого великодушия в человеке, которого он призвал к себе совсем не с добрыми намерениями. И хан не мог больше скрывать за улыбкой и сладкоречием своей сути.

— Я никогда не боялся этого разбойника! — сказал он. — За голову каждого убитого им кзлбаша он терял десятерых. Дело не в моих потерях, мелик. Разве армяне прежде всего вредят не себе тем, что уходят в горы?

— Эти армяне живут за границей моих владений, и я не властен над ними, уважаемый хан. Знаю только, что причиной, побудившей священника Костанда возглавить повстанцев, был хан Шариф. Нельзя было так топтать честь людей, даже если они брошены к ногам... Что же до того, что за голову каждого кзлбаша слетает десять армянских голов,— восставших это не останавливает. Они считают, что их цель стоит таких жертв.

Хан ничего не сказал. Мелик подстегнул коня. Мухаммед-Рза не спешил за ним. Его конь едва переступал. Так было до тех пор, пока не вернулся один из ханских разведчиков. Они долго о чем-то перешептывались, и хан отправил его обратно.

Солнце уже зашло, но и впрямь похожая на пасть змеи вершина скалистой Змеиной горы еще горела яркой желтизной на спокойной синеве неба. И может, от этого темнота еще не заволокла овраги, а в воздухе дымилась золотистая пыль.

От садов Апракуниса дул теплый ветер, напоенный запахом жатвы. Там протекала река Ерджак. Небольшое расстояние она несла свои воды равниной и была там голубая, потом входила в тутовые сады и делалась зеленой. Именно там и собралось около ста обросших бородачей, опаленных солнцем. Вид у них был воинственный, хотя одеты кто во что, безоружны и безлошадны. Только один человек восседал на черном коне. Это был Костанд Астанатчи. После битвы в Гомри он с отрядом своих храбрецов укрепился в неприступных высотах Змеиной горы, и за короткое время под его знамя собралось более трехсот повстанцев из Нахичевана и Гохтана. Воинство его пополнялось день ото дня. И день ото дня он всеял все больше и больше страха в противника.

На голове у Костанда и сейчас был клобук, и одет он в сутану, правда выцветшую от солнца и дождей и для удобства

передвижения сильно укороченную. На груди крест на серебряной цепочке. Зато ниже креста, за поясом, два пистолета и меч...

Едва завиделась свита хана и мелика, повстанцы повернулись к ним лицом и, сложив руки на груди в знак почтения и покорности, стали ждать приближения. Костанд Астапатци, еле сдерживая коня, возгласил:

— Приветствуем хана Мухаммеда-Рзы!

— Приветствую и я, — недовольно отвечал хан.

— Приветствуем и армянского мелика, его храбрецов!..

— Приветствуем!.. — загремело в долине.

Костанд осенил себя крестом и, положив руку на рукоять меча, снова воскликнул:

— Хан, позволь мне говорить с тобой?

— Говори! — Недовольства в голосе хана было больше прежнего. А все оттого, что в ушах еще звенело раскатное эхо армянского приветствия мелику.

— Выслушай меня сердцем, хан. До тебя в нашей стране властвовал хан Шариф, а до него — Али-Гули. Они очень изранили наши души. Так что нам теперь трудно прийти в себя. Так изранили, что эти люди, — он показал на сельчап, которые хоть и сложили руки на груди, но таили в себе угрозу, — эти извечные землепашцы, уста которых никогда не произносили хулы, не знали ничего, кроме молитв и оровела¹, теперь вот клянут врагов и, покинув дома свои, высыпав из добрых рук семенное зерно, взяли топоры и мечи, копыя и палицы и поднялись в горы!..

— Могущественный мой хан! — пробурчал над ухом Мухаммеда-Рзы его сардар. — Прикажи, и я сотру в порошок этих шайтанов! Как они смеют говорить грязные слова верным слугам ислама?

Хан не обратил внимания на слова своего военачальника. И конь его, словно бы чувствовал, как говорят с его хозяином, тупо взрывал копытом землю и позванивал бубенцами на удилах, качал головой.

— Продолжай! — обратился хан к Костанду. — Что дальше скажешь?

— А дальше мы желаем тебе здоровья, хан, и очень хотим снова вернуться к нашей трудной жизни. Так мы решили, потому что видим в тебе человеколюбие, надеемся, что будешь уважать нашу честь и нашу веру. Ну, и к тому же у нас ведь нет иного пути, как покорно служить хозяину...

¹ О р о в е л — песня пахаря.

Хан кашлянул в кулак.

— Разве не честны наши намерения, доблестный хан? — спросил в заключение отец Костанд и дождался ответа.

Хан ответил не сразу, потому как сардар опять что-то бурчал ему на ухо.

— Коли покоряетесь, так надо, во-первых, сложить оружие! — заговорил наконец хан. — А вы упрятали его, явились сюда, как непорочные послушники медресе, сложили уки на груди, будто на вас и нет мусульманской крови. Не очень-то вам поверишь... Вот прикажу всех покарать и кровью окрасить эту зеленую воду! — вдруг зло рявкнул хан.

В свите мелика Исраела прокатился шум. Но все быстро стихло, потому как отец Костанд снова заговорил:

— Я уже сказал, что, в отличие от своих предшественников, ты, хан Мухаммед-Рза, добр и великодушен. И мы надеемся, не станешь попустительствовать кровопролитию. Но одно дело надежда, другое — уверенность. Потому мы и не решаемся безоружными выйти навстречу противнику, который пока не гарантирует нам жизнь. Мы не спрятали оружие. Просто нас немного больше, чем здесь... — Костанд Астапатци улыбнулся. — И оружие наше у товарищей, а они вон в тех горах и из всех расщелин следят за нами. Стоит хану прислушаться к советам своего недалёковидного сардара и поднять оружие, пусть хоть на одного из моих безоружных храбрецов, наши люди тотчас лавиной скатятся с гор и сметут вас. Так давайте-ка лучше и вы и мы будем разумны, хан...

Солнце над Змеиной горой уже погасло, и в долину реки спустилась тьма, но и во тьме глаза Астапатци при этих словах горели гневом, как у льва.

— До чего же он нагл! Просто нестерпим! — пробурчал себе под нос сардар, устремив взгляд на отца Костанда, на груди которого сверкал крест, и упрекая себя за то, что в день злополучной свадьбы не вырвал у него этот смелый язык прямо в церкви.

Хан услышал слова своего военачальника и в душе злился на то, что в столь серьезных обстоятельствах они, эти слова, увы, будоражат его и могут испортить все дело.

— В твоих действиях я, однако, не вижу ни разумности, ни покорности, кешиш¹, — хан старался казаться спокойным. — Надеюсь, это подтвердит и мелик Исраел? — хан вопрошающе посмотрел на мелика.

¹ К е ш и ш — священник (тюркск.).

— Мне пока не все ясно, потому не знаю, что и сказать... — проговорил мелик.

— Да, я еще не кончил, — снова вступил Костанд.

— Ну так говори же. — Хан вздохнул, оперся локтем на седло и приготовился слушать.

— Как мы могли бросить оружие к твоим ногам, если у нас нет уверенности, что этим же оружием ты потом не велишь нас же и резать... Мы пришли объявить свои условия и желания. Если они окажутся приемлемы для тебя — будем верными слугами, а нет — останемся в наших горах.

Хан с иронией в голосе проговорил:

— Желание понятно, а каково же условие?

— Условие таково: мы сложим наше оружие в день, когда мелик Шаапуника Израел благополучно отбудет к себе, прямо здесь, на берегу Ерджака, и сложим. Я думаю, если ты оказал ему честь и лично встретил, так ведь после доброго гостеприимства принято достойно проводить!.. Не так ли?..

Хана будто огнем ожгли. Хитроумность священника потрясла его, но он и виду не подал, а внешне даже вроде бы помягчел.

— Странное условие. Что ж, пусть будет так. Подождем! — сказал он.

— В таком случае прими у нас хлеб-соль.

При этих словах своего предводителя вперед вышел старик и, не ожидая ответа хана, протянул ему на деревянном подносе выпеченный в горах мужицкими руками хлеб и соль в черепашьем панцире.

Хан не прикоснулся к хлебу.

— Вы придаете хлебу-соли большое значение?

— Очень большое. Люди, возделывающие хлеб, ценят его превыше всего! — отрезал отец Костанд.

— Тебе ведь известно: мы не прикасаемся ни к чему, что приготовлено руками христиан. И потом, хлеб-соль разделяют с другом. А здесь между нами никакой дружбы не родилось.

— Думаю, родилась! Так когда же, сиятельный хан, прикажешь нам сложить оружие?

— Через два дня.

— Мы будем ждать!..

Хан, не ответив, проехал вперед.

— И тем не менее, мелик, будь осторожен!.. — шепнул отец Костанд едущему за ханом мелику Израелу.

Встреча с армянами-повстанцами ввела мелика Исраела в смятение. Он всячески старался скрыть от хана свое состояние. Но удавалось это плохо. Спасало лишь то, что у хана тоже было что скрывать, и потому он стал многословен, шутил, закатывался фальшивым смехом.

Причиной взволнованности мелика послужило вовсе не то, что отец Костанд напомнил ему о злых кознях, таившихся в ханском приглашении. Мелик и сам все понимал. Он этого ждал от хана. И ехал сюда с мыслью, что легко не сдастся и, если суждено, умрет, но не позволит унижить себя. Однако думы эти были подспудными, а на самом деле казалось, что все может обойтись. И вот отец Костанд развеял все иллюзии. Теперь мелик уже не мог обманывать себя и выносить лицемерие вероломного врага.

Каждое слово, каждое движение хана и его придворных сейчас были связаны с меликом, обращены к нему. А мелик не слышал их, не замечал. Думал он только об одном: как и откуда Костанд Астапатци мог узнать о его сегодняшнем приезде и о кознях хана? Вспоминал день, когда, собравшись у подножия Болораберда вместе с сельчанами, отец Костанд просил его возглавить их отряд и проучить разбойничье войско хана Шарифа, которое разоряло Бичанаг, Гомри, Сирап. И вот теперь этот священнослужитель уже грозно разговаривает с могучим ханом Нахичевана и его сардаром.

Мелик думал, а перед ним стояли измученные, обожженные солнцем, обросшие, но полные решимости повстанцы и их предводитель с крестом и мечом. И люди эти вселили в него веру. Веру в будущее. Все опасения, заботы и горести как рукой сняло...

Мелик очнулся от дум, когда всюду запылали огни и осветили скатерть с яствами. Настроение у него стало значительно лучше.

Чего только не было подано. Плов с шафраном, обложенный вокруг курятиной; ариса с корицей; шашлыки разных сортов: из мяса дикого барана, бастурма и шашлык в жаровне. А вареные языки и жаренные на вертеле куропатки искусно украшены зеленью и приправами.

В знак уважения к высокому гостю были поданы и армянские кушанья: вяленое мясо особого приготовления, колодак, зажаренные на углях в тинире молодые барашки с красным перцем и чесночной подливкой.

Вино подавали красное, в красных глиняных кувшинах.

Сосуды из цветного стекла наполнились всевозможными шер-бетами, гранатовым вином, густым и темным, как кровь буй-вола.

Придворные сазандары сидели скрестив ноги и с самоуверенностью победивших в состязании мастеров, ждали приказаний.

Хан и мелик Израел восседали на широкой тахте, облокотясь на бархатные подушки. Хан казался очень смуглым рядом с белолицым меликом. Глаза у него черные, круглые и подвижные, как у куницы, нос прямой, тонкие, большие губы. На ногах золоченые мягкие сапоги. Одет в атласную, шитую золотом кабу. Вокруг торса дважды обернута голубая ткань, это вместо пояса. На голове чалма из белого шелка и в ней сверкающий алмаз.

У мелика на лбу глубокие морщины, нос орлиный, взгляд строгий. На голове папаха из дорогого меха, одет в коричневую кабу, длинные, подбитые шелком рукава которой отвернуты и закреплены на плечах, и это придает ему вид приготовившегося к прыжку орла. Подпоясан серебряным поясом с ажурной оригинальной пряжкой. На ногах — сафьяновые сапоги с длинными голенищами. Сам он чуть крупнее хана, и, чтобы это не так бросалось в глаза, хан подложил под себя подушки...

За спиной у мелика стояли два армянина с копьями. А позади хана — два кзлбаша с топорами на длинных топорщах.

Главный визирь, сардар, главный палач, судья и секретарь сидели по одну сторону, тарханы и калантары¹ — по другую. Меймандар сновал из конца в конец и все отдавал распоряжения.

Хан поднял чашу с вином, и тотчас воцарилась мертвая тишина. Однако говорить он начал не сразу. Держал чашу, и на всех пальцах сверкали перстни с драгоценными камнями разных цветов и оттенков.

Обращаясь к мелику, он сказал:

— Храбрый и благородный мелик Израел! У нас, арийцев (хан не перс, но считает себя арийцем), есть такая поговорка: «Сосед по дому дороже иного брата». Хан Шариф не уразумел великой мудрости этого речения и дорого заплатился. Великий шах, сочувствуя тебе, отрубил голову посланцу хана Шарифа; хан не пережил этого и помер. Он был еще очень крепким — все пополнял гарем юными женами. Жить

¹ Т а р х а н — чиновник, к а л а н т а р — староста, городской голова, воевода.

бы да жить, а горе сломило несчастного. Я, мелик, решил следовать во всем нашему великому, мудрому шаху и избрал для себя путь дружбы и добрососедства. Хочу, чтобы мы открыто смотрели друг другу в лицо. А потому ты для меня дорогой человек, дорогой гость!..

Никто, кроме главного визиря, не знал, что задумал хан под видом гостеприимства. И поэтому любезные речи хана в адрес мелика коробили его приближенных. Они то и дело сдвигали чалмы взад-вперед.

А хан передохнул, собрался с мыслями и продолжал:

— Мудрый и благородный мелик, я с первого нашего знакомства проникся к тебе уважением. Простотой своей и смелостью ты способен устыдить даже такого врага, что и тебя посильнее. Я хочу ответить на твою откровенность такой же откровенностью. Ты знаешь, мелик, что я покорный слуга моего шаха и готов стать пылью под его стопами. Все готов сделать, чтобы и волоска с его головы не упало. И вот, если этот мой шах вдруг бы сейчас, в эту минуту, прислал бы мне приказ немедленно напасть на Шаапуник и стереть с лица земли в границах Нахичеванского ханства это меликство (военачальники, нахмурившись, вытянулись так, словно уже и в самом деле поступил такой приказ и они готовы к нападению), я все равно с честью проводил бы тебя с твоей свитой, как моего гостя, до берега Ерджака, туда, где сегодня кешиш Костанд угрожал мне!.. — Хан на минуту замолк, чтобы молчанием этим дать мелику понять, сколь неудобоваримо было то, что ему пришлось проглотить во имя законов гостеприимства. — И там, на берегу Ерджака, пожав твою руку, сказал бы тебе: «А теперь, мелик Израел, иди и готовься, будем сражаться, — есть, мол, приказ шаха завтра мне выступать в поход на тебя...» Поверь в мою искренность, мелик. Я таков. Но слава аллаху и моему шаху, приказа эдакого нет и, будем надеяться, никогда не последует, а значит, жить мы станем мирно, добрососедски, забыв былые обиды. Будем откровенны друг с другом. И да не будет за душой у нас отточенного ножа наготове.

— Да будем жить в мире! — сказал мелик и чокнулся с ханом, но не выпил.

И хан отметил это.

— Что, муха в вине? — спросил он так, словно ничего иного и быть не могло. — Саги, — позвал хан тихо. Услышал его только сидящий рядом, но, однако же, тотчас подошел меймандар. — Пусть мелику сменят кубок. И пусть виночерпием станет человек из свиты мелика, для нас обонх.

— Зачем это, хан? — как бы обидевшись, сказал мелик Израел.

— Чтобы ты был спокойнее, мелик.

Началось пиршество. Подозрения мелика постепенно отступали. И этому способствовали не только слова хана, щедрое угощение, но прежде всего — желание верить. Мелик жил сейчас большими надеждами, связанными с сыном, который один взял на себя обязанности целого посольства и, испытывая мучения и трудности, действовал в дальних далях, чтобы потом однажды вновь возникнуть на армянской земле подобно голубю из легенды, что явился во время потопа с зеленой веточкой в клюве как вестник спасения отчаявшимся людям, как вестник того, что есть еще суша на земле...

В ожидании, пока армяне получают весть о возрождении, весть о том, что их земля снова будет принадлежать им самим, надо еще продержаться. А продержаться можно на тех условиях, какие предлагает сам враг, хан Мухаммед-Рза. Если это, по каким-то соображениям, нужно им, то армянам — тем более.

Поэтому, выслушав хана внимательно, мелик сказал:

— У меня и в мыслях такого нет, что новый властитель Нахичевана, благородный хан Мухаммед-Рза, может на словах говорить одно, а на деле быть совсем другим. Я верю всему, что здесь сказано. Что же касается меня, скажу одно: я из рода Прошянов и предки мои — Хахбакяны. В нашем роду никогда и никто не отличался неблагородством. Клянусь честью, что и я не буду вероломен по отношению к соседу, к хану Нахичевана, если он не отступится от сказанного. Если он честен...

Мухаммед-Рза воодушевился оттого, что сумел внушить мелику доверие к себе. Никто, кажется, не почувствовал, что на самом деле доверие это было не столь уж велико...

Скорбно запела кяманча в руках краснолицего, тучного старика. Играл он с закрытыми глазами. Только раз приподнял веки, посмотрел на сидящего рядом юношу, который, положив голову на бубен, слушал музыканта. Заметив взгляд старика кяманчиста, он тонкими своими пальцами ударил в бубен и запел. Да как запел! От голоса его растаяла скорбь кяманчи. Все оцепенели. Даже глаза главного палача на миг приобрели человеческое выражение.

Песня была о страдании юноши-мусульманина, полюбившего девушку-христианку, о том, что судьба не дает им надежд на соединение. И столько чувств было вложено в песню, что казалось, будто он, певец, и есть этот влюбленный.

Кончив петь, он уставился затуманенным взглядом в одну точку. Тонкие, длинные брови его медленно поднялись. Юноша был словно совсем один. Он думал о чем-то своем.

Вокруг тоже была тишина. Песня усыпила. Все были умнротворены, будто и розни между ними никакой не бывало.

«Есть, значит, сила, объединяющая людей, и она делает их человечнее... Эта сила в слове и песне», — подумал юноша-певец. А люди все еще хранили молчание. Но вот постепенно чары сладкозвучного пения рассеялись. Хан вздохнул, унизированной перстнями рукой ударил по колену и полусерьезно-полушутя сказал:

— Э, Шамси, напрасно я уберег твою голову от топора хана Алама-Асадуллы! Ты и впрямь неверный. Однако жаль твоей красивой головы!..

— Голова эта всегда в твоей власти, мой хан, душа — другое дело...

— Я не давал тебе права отвечать мне, Шамси!.. Скажи-ка лучше что-нибудь из Саади, Руми или Джами. Что-нибудь подходящее случаю.

Шамси встал. Только он умел держаться так, читая стихи. В такие минуты он и сам весь был как песня или стихи. Одухотворенный, прекрасный.

Названные ханом имена были священны для Шамси. Он знал поэзию этих великих поэтов, в отличие от хана и всех собравшихся, которые знали только имена...

Шамси читал о девушке, похожей на вновь раскрывшийся мак на вершине горы. Ветры обходят чудо-вершину, само солнце лелеет лепестки. Но вот вершина попадает во власть злых чужеземцев, цветок вырван с корнем, лепестки его, как кровь, алеют на растоптанных травах...

Шамси читал на чудесном своем языке, тоже похожем на песню, читал и подыгрывал себе на кяманче. Стихи заканчивались мыслью, что пришелец должен быть в чужой стране лишь гостем...

Шамси кончил, а господин его недоумевал: великий поэт прошлого словно бы сам с ним говорил, клеймил его... Тогда в чем же его величие? Но вслух своих дум хан не высказал.

Один лишь мелик Израел разгадал, что юноша читал свои стихи, и смелость его поразила мелика. Он ждал страшной расправы.

Действительно, скоро прозвучал грозный голос хана:

— Шамси!..

— С слушаю, мой господин.

— И все же я ошибся!..

Шамси понял хана, но изобразил на лице недоумение. Хан сдержался. Он только распорядился повеселить гостей.

Музыканты настроили свои инструменты. Ударил бубен. Заиграли танцевальную мелодию. Затрепетали кисейные занавесы, и из-за них вдруг выступили в танце десять юношей. Пятеро из них были одеты кзлбашами, а другие пятеро — в армянских костюмах. Они танцевали воинственный танец двух противоборствующих сил. Поверженными в «стычках» всякий раз оказывались «армяне». И при этом раздавались смех и рукоплескания в свите хана. И все победно смотрели на мелика Израела, словно бы он один выстоял в «битве» и вот теперь можно над ним издеваться. Однако сам мелик тоже смеялся. И больше других. А когда «кзлбашки» победили «армян», он вдруг вскочил на тахту, где сидел хан, заложил руки за свой чеканный серебряный пояс и, заливаясь смехом, сказал:

— Но эти оборванцы-«армяне» тоже ведь кзлбашки, не так ли?

— Конечно! — дружелюбно ответил хан. — Все это для веселья, мелик. Не надо к сердцу принимать!

— Я понимаю, но мне хочется, чтобы мы еще больше и веселее смеялись.

— Что для этого надо? — поинтересовался хан.

Все остальные тоже с любопытством уставились на мелика.

— Предлагаю, чтобы всех этих ряженных армян заменил один истинный армянин!

Все посмотрели на хана.

— Что ж, я не против, — вынужден был согласиться хан.

— А ну, позови-ка сюда Моцак Арута! — велел мелик одному из своих телохранителей.

Спустя немного перед танцорами стоял растерянный, длинноногий, длиннорукий, с вытянутой шеей Моцак Арут. Стоял, смотрел на мелика и ждал.

Мелик сказал ему:

— Ты должен помериться силой с этими танцорами.

Моцак Арут пожал плечами:

— Как скажешь, мелик. Но я в жизни никогда не танцевал...

Ему показали несколько движений. И началось. Пятеро кзлбашей по очереди теснили его, а Моцак Арут стоял как пригвожденный. Силища у него, похоже, необыкновенная.

И выглядел он при этом так комично, что невольно вызывал смех у присутствующих.

В последней «битве» к Моцак Аруту первым подошел самый сильный из пятерых и торжественно протянул ему руку. Тот вложил в нее свою ладонь. Кзлбаш начал было сжимать ее, а потом попробовал скрутить. Арут стоял неподвижно, широко расставив ноги, и кзлбаш безуспешно возился с его рукой.

Но вот они поменялись ролями. И теперь Моцак Арут взял в свою ладонь руку противника. Чуть тряхнул, словно бы для того, чтобы тот очнулся, и сжал. Кзлбаш попытался устоять, но не сумел — приподнялся на носки. Моцак Арут крутанул его руку, она тут же треснула, как сухая ветка. Кзлбаш упал к ногам Арута.

Воцарилась тишина. Остальные четверо кзлбашей отказались от этого состязания.

Моцак Арут виновато посмотрел на мелика, как бы говоря взглядом, что, мол, было делать: крутанул, а она сломалась?.. И хотя мелик улыбался, Арут ждал наказания.

— Дарю тебе лучшего коня! — сказал хан с такой злобой, словно отдавал приказ о расправе. — Но ты должен также переломать кости и другим четверым...

Моцак Арут опустил голову — как, мол, можно?

— Что не веселы? — закричал хан.

Снова заиграла музыка, снова затрепетали в глубине зала занавесы, и бесшумно, как тени, выплыли танцовщицы. В тонких прозрачных тюниках, с диадемами в волосах, легкие и плавные, как ветер, они заполнили все нежностью и благоуханием.

Одна другой прелестнее, танцовщицы пытались завладеть вниманием хана, а он, улы, был очень далек в мыслях и, перебирая четки, думал о своем...

Долго длился пир. Под конец было решено на следующий день поохотиться в Цовасаре. На этом все разошлись. Хан ушел к себе в спальню, мелика проводили к его шатру, раскинутому чуть поодаль от ханской резиденции.

4

Хотя было уже далеко за полночь и хан так устал, он, однако, не лег. Походил взад-вперед по небольшой опочивальне, опустив голову и сложив руки на груди. Потом внезапно остановился и ударил в ладоши. Слуга, словно из этого хлопка родился, тотчас предстал.

— Позови сюда певца из Татева.

Слуга кинулся к двери, но хан жестом остановил его:

— Подожди-ка!.. — Помолчал, потеревил бороду и добавил: — И палача позови! — Сказал и снова стал вышагивать...

Певец из Татева?..

Речь шла о Шамси.

Его спас товарищ, когда тысячник Омар хотел повесить юношу на пути из Хндзореска в Тех. Но, избежав расправы, Шамси угодил в другую ловушку. Хан Алам-Асадулла отдал приказ снести ему голову за то, что он будто бы «туманит» мозги кэлбашам, воспеваает иноверных, восхваляет их.

Алам-Асадулла уже готов был выйти на балкон смерти, когда в Татев вдруг прибыл Мухаммед-Рза. Явился он с предложением создать объединенные силы и вместе уничтожить восставших армян, укрывшихся в горах и ущельях. Сатрап Татева пригласил нахичеванского хана присутствовать, как он сказал, при «казни предателя». Мухаммед-Рза охотно принял это приглашение и вместе с ханом вышел на балкон смерти. И надо сказать, был потрясен, увидев перед плахой столь прекрасного юношу, каких никогда прежде не видал. Надломилось сердце Мухаммеда-Рзы. Он хотел бы уйти со злополучного балкона, но это могло не понравиться Аламу-Асадулле и собравшиеся внизу расценили бы такой шаг как протест против приговора...

Палач уже поднял топор, готовый опустить его на тонкую шею юноши, когда мулла произнес:

— Приговоренному последнее слово!..

— Я хочу спеть.

Алам-Асадулла хотел было отказать, но Мухаммед-Рза попросил:

— Пусть споет.

— Трудно будет казнить после того, как услышим его голос. А казнить надо. Он уже несколько раз спасался от смерти.

— Видно, на то была воля аллаха. Пусть все же споет! — повторил свою просьбу Мухаммед-Рза.

И Шамси запел. Он пел о родине, о своей к ней любви, о печали, о боли, что суждено ему быть похороненным в чужой земле...

А голос!.. Как звучал его голос!..

— Алам-Асадулла! — взмолился Мухаммед-Рза. — Проси за его голову сколько захочешь, но отдай мне этого юношу!

Алам-Асадулла не решился обидеть гостя.

— Бери в подарок! — сказал он.

Кзлбаш Шамси все еще пел, пел как свою последнюю песню, когда хан, вдруг уйдя с балкона смерти, появился на соседнем балконе и уже в зеленой мантии на плечах. Все вздохнули с облегчением, даже палач.

И через два дня Мухаммед-Рза вернулся из Татева в Нахичеван, привез с собой Шамси и назначил его музыкантом. Он велел ему снять облачение кзлбаша, надеть коричневый халат, отделанный желтыми лентами, обувь цвета мака и папаху. Все это очень шло стройному красавцу Шамси. Все наперебой восхищались им, но он оставался так же мрачен, как перед плахой, словно ничего хорошего с ним вовсе и не произошло.

Хан был безмерно доволен своим придворным музыкантом и певцом. Шамси прекрасно играл на таре и кяманче, чудно пел и знал бессчетное количество стихов. В определенные часы хан призывал его к себе, просил услаждать слух и щедро за это одаривал. Но ни подарки, ни благополучное положение не меняли настроения юноши. И хан удивлялся такому характеру своего певца, все больше и больше задабривал его, чтобы все больше и больше удивляться непреклонности юноши, а потом и вовсе изломать его строптивую душу...

И вот шел уже третий месяц пребывания Шамси во дворце, когда хан наконец вышел из себя...

Было это однажды вечером. Развлекая хана, Шамси спел ту самую песню, что пел сегодня, о девушке с армянских гор. Хан тогда слушал его с обычным удовлетворением. Но едва Шамси кончил, человек в сердце Мухаммеда-Рзы уступил хану.

— Зачем ты это спел? — спросил он у юноши. — Мог бы петь и о персиянке.

— Для поэта все, кто создан богом, равны, будь они армяне, индийцы, арабы или персы.

— По-твоему, поэт выше бога? Как видишь, бог ведь различает народы?

— И все же это так, мой господин. Бог — творец совершенного. Всякое начало имеет свой конец...

— Ты в заблуждении. — Хан не мигая посмотрел на Шамси. — И к тому же неверный. Но я заставлю тебя понять, что ничем-то ты не выше бога. И научу отличать нечестивцев от верных слуг Магомета.

Эти угрозы Шамси выслушал с тем же безразличием, с

каким он стоял у плахи. И взбешенный хан тотчас же обернул слово делом, позвал главного палача и приказал жестоко высечь Шамси.

Десять дней пролежал Шамси. И едва пришел в себя только перед тем, как в Апракунис прибыл мелик Израел.

Хан позвал его и сказал:

— Ты должен петь сегодня...

И Шамси пел...

...И вот хан Мухаммед-Рза ходит по своей опочивальне. На дворе стояла темная, тихая ночь...

Вошел Шамси. Он почтительно поклонился хану. Поднял на него смелый взгляд, понимая, что его ждет.

— Ты слышал, когда я велел читать из Саади или из Джами? Зачем же пресмыкался перед армянином, предатель?.. — сказал хан, подойдя вплотную и пытаясь заглянуть в глаза Шамси, прочитать, что в них таится, но это было очень нелегко, так как глаза у того были глубокие, умные и пронзительные.

— Я говорил то, что сказали бы Фирдоуси и Руми, Саади и Джами, только у них это было бы выражено и прекраснее и более мудро, — ответил Шамси и при этом так посмотрел на хана, что тот заморгал.

— Теперь я понимаю, что ты везде искал себе смерть!..

Явился палач.

— Жизнь я искал, без страха смерти! — поправил хана юноша.

— Какую жизнь!..

— Таковую, в которой не было бы человеческого страдания.

— Уведи его, палач!.. Пусть никогда больше не увидит страдания дорогих его сердцу нечестивцев! — приказал хан и как был, в одежде, вошел под балдахин.

Однако уснуть он не мог. В ушах звучал божественный голос, который через минуту-другую навсегда замолкнет под топором палача. Очень жаль! Хан места себе не находил. Он даже застонал. Всего один хлопок — и еще можно вернуть к жизни чудо-голос. Мухаммед-Рза приготовился, чтобы ударить в ладоши, но не ударил. «Слово хана должно быть законом», — подумал он и лег.

5

Всего было раскинуто одиннадцать шатров. И меликский ничем не отличался от других. Часовые всю ночь кружили около шатров и были бдительны. Очень скоро они узнали,

что ханские кзлбаши тайно следили за ними. Вот кто-то, казалось, вырос вдруг прямо перед палаткой мелика. Это был сельчанин с редкой бороденкой, среднего роста, в бараньей папахе. Когда, оглядевшись, он уже хотел концом палки приподнять полог меликского шатра, подоспели часовые и схватили его.

— Мне нужен мелик, — спокойно проговорил сельчанин.

— В жизни своей не увидишь мелика, предатель! Как ты пролез? — Они рванули его и потащили в сторону. — Мы сейчас переломаем тебе кости.

— Не будьте столь неразумны, я должен сообщить мелику важную вещь.

— Говори, как ты пробрался сюда, ловкая лиса? Сначала скажи, а уж потом мы решим, вести ли тебя к мелику...

Мелик, который только что вернулся от хана, услышал шум и вышел из шатра.

— Что случилось? — спросил он.

Часовые рассказали.

— Если уж он сумел дойти до самого моего шатра, с какой бы целью ни явился, пусть войдет, — сказал мелик и направился обратно в шатер.

— Доброго здравия мелику Израелу! — вытянувшись в струну как воин сказал незнакомец.

— Доброго здравия.

— Твоя жизнь принадлежит не только тебе, мелик, а потому позволь спросить: почему ты так неосторожен?

— Кто ты и почему тебя заботит моя жизнь?

— Придвинь поближе лампаду — может, узнаешь.

Мелик пододвинул лампаду. Сельчанин снял папаху, пригладил взлохмаченную для виду бороду, и мелик удивился:

— Отец Костанд? Как ты пробрался сюда? За нами ведь неотступно следят кзлбаши?

— Мои храбрецы доставят меня, куда только захочу. Я прошел под носом у хваленых кзлбашей и мог бы всех до единого убрать бесшумно, да рискованно, как бы тебе не навредить... А ты знаешь, что тебя вызвали сюда, чтобы лишить жизни?

— Садись-ка, отец Костанд!.. Можно ли мне отсиживаться дома, если армянская земля разодрана в клочья?..

— Но и то, что в такое время ты уезжаешь из дома, для армян тоже никакой пользы не приносит!.. Если мы или, скажем, повстанцы Гохтана и Сюника с оружием в руках укрепились в горах и в ущельях, чтобы хоть чуть передохнули

мирные жители, то делали мы это с надеждой, что в случае чего нас поддержат меликства Арцаха, Шаапуника, Сюника. Для нас, нахичеванских повстанцев, особенно велико значение Шаапуника. Не дай бог, сгинет — все пропало. И тебе мелику Израелу Прошяну, это, понятно, известно лучше, чем кому-либо. Я пришел к тебе от имени сотен повстанцев просить-умолять, чтобы любой ценой ты изыскал повод не принимать участия в завтрашней охоте.

— Проявить трусость не могу, отец Костанд. Думаю, что хан Мухаммед-Рза, прикидываясь другом, действительно хочет некоторое время сохранять спокойствие в пределах своего ханства. Ему это нужно. Ведь он знает, как шах наказал хана Шарифа. И нам тоже нужно это временное затишье. А значит, пусть, хоть обманывая друг друга, пока сохраним этот видимый мир до желанного часа...

— Нам настолько хорошо известны хитросплетения хана Мухаммеда-Рзы, мелик, что, ей-богу, слушая тебя, я думаю, что ты просто ищешь гибели. Пойми, этот хан много хитрее своего предшественника. И шах намеренно направил сюда такого хитреца, чтобы то, что Шариф не смог сделать силой, этот сделал бы хитростью. И еще знай, мелик, что, если бы мы не спустились с гор на берег Ернджака, в эту ночь на пиру ты уже был бы отравлен, а всех твоих телохранителей должны были вырезать!..

— Я догадывался, но не до конца этому верил. Однако держался осторожно и совсем не случайно разбил шатры для моих людей подальше от резиденции хана. Я не скрыл своих подозрений от хана. Но в то же время показал, что надеюсь найти с ним общий язык. Думаю, что сейчас, опасаясь вас, хан ничего мне не сделает, и потому нет надобности в поступках, которые могут все испортить.

— Я понимаю тебя, мелик, но ничто не должно свершиться ценой твоей жизни. Не сумев провести свой план — отравить тебя и уничтожить твоих телохранителей, хан решил пойти на новую хитрость: во время охоты тебя должны тяжело ранить, так, чтобы ты чуть живой остался. И это он велел сделать столь хитро, чтоб тебе и в голову не пришло, что все было подстроено.

— Отец Костанд, ты связываешь мне не только руки, но и язык. Я хочу усыпить в себе подозрения, а ты всячески стараешься разбудить их. Тогда что же прикажешь делать, чтобы выиграть время?

— Дело не в подозрениях, мелик. Я говорю то, что знаю точно.

— Откуда ты можешь так точно знать, что происходит в ханском дворце?

Костанд Астапатци хитро улыбнулся.

— Есть вещи, которые мы скрываем даже от себя,— сказал он.— У людей, живущих под открытым небом и уповающих в конечной цели только на свои мечи,— свои законы, не придуманные, а рожденные из общих интересов самих же этих людей. Я не скажу тебе всего, мелик, потому что мне не дано такого права. Скажу лишь, что у нас есть свой человек, приставленный непосредственно к хану...

Мелик долго молчал.

— Попробую отказаться от охоты!..— проговорил он наконец.

— Обязательно надо отказаться.

— Попробую!..— повторил мелик.

— Ну, уже рассветает, пусть будет добрым это утро, мелик!

— Доброго тебе пути, отец Костанд. Желаю удачи твоим храбрецам. Сохраним наш народ!..

— Армянин должен жить!.. Девиз этот мы должны нести на наших мечах и передать его нашим потомкам. И так до тех пор, пока жизнь не восторжествует и за нее уже не надо будет биться!..

— Чем могу тебе помочь, чтобы обеспечить безопасность твоего возвращения?..

— Здесь неподалеку меня ждут мои храбрецы и мой конь. Все будет хорошо. Доброго утра, мелик.

Ушел Костанд Астапатци, а мелик Израел так и не лег спать. Светало, но он все не мог решить, что ему делать. Глядя на тлеющую лучину, он думал о том, что отец Костанд, пожалуй, излишне осторожен, хочет удержать его подальше от возможных опасностей. «И откуда он узнал, что хан собирается на охоту? Откуда узнал, что встретит меня сегодня на берегу Ерджака?.. Да, ему известно все, что происходит во дворце. Это необыкновенный человек... Но как отказаться от охоты?..»

Сон сморил его, так и не дав подыскать причину отказа.

6

По дну ущелья протекал тоненький ручеек. Он бился в камнях, и в ночной тишине это было похоже на цокот копыт: будто ущельем едут всадники.

Отец Костанд и с ним двое других только что вывели из

пещеры лошадей и еще не сели на них, когда какие-то шаги вокруг смешались с рокотом ручья. Они снова загнали лошадей в пещеру и, выбрав укромное место, стали ждать. Звук шагов, приближаясь, становился отчетливей. И вот показались двое. Они остановились чуть в стороне от пещеры.

— Не стану тебя долго мучить. Немного ты пороешь, потом я,— сказал один из них, вооруженный топором и мечом.

— А я считаю, что тебе и вовсе нечего утруждать себя. К чему мне могила в этой чужой стране? Пусть уж лучше стану добычей для птиц. К тому же и родина моя отсюда недалеко. Может, птицы донесут что-нибудь от меня и до нее... Секи мне голову, если не хочешь очень меня мучить.

— Понимаю тебя. Но ущелье это расположено слишком близко от ханского дома, воздух испортится. Из-за тебя беды не оберешься. Копай давай. Земля мягкая, одолеешь...

Тут-то над ними выросли трое.

— Похоронить легко, но ты сначала скажи, за какие грехи будешь рубить голову этому юноше? — спросил один из них.

Палач решил, что перед ним пастухи-крестьяне и спрашивают из чистого любопытства.

— Палача не касается, за что ему велят рубить головы. И пока я заодно не отрубил и ваши, сгиньте поскорее отсюда. Кто разрешил вам зайти в этот заповедник?..

— Я Костанд Астапатци. Мы сейчас так тебя похороним, палач, что твой хан ни за что не почует плохого запаха.

Палач хотел что-то крикнуть, но Астапатци, выхватив меч из ножен, ударил плашмя, и топор выпал у палача из рук. В то же мгновение один из повстанцев ударил палача кулаком в висок. Разделались с ним без крови. Палач упал замертво.

Спасенный от смерти юноша растерянно стоял в стороне.

— Если вы действительно хорошие люди,— сказал он наконец,— позвольте мне совершить намаз, возблагодарить чудо, уже в какой раз спасающее меня от смерти.

— Что ж, молись. Это праведно. Тем более в такое священное утро. Но промедление опасно. Надо спешить в горы. А один из нас,— он повернулся к своим товарищам,— должен взять этот труп к себе на лошадь: оставлять его здесь нельзя. Хан пусть думает, что в его палаче вдруг проснулась совесть и он сбежал вместе с приговоренным.

Спасенный от смерти перс тоже забрался на круп другой лошади, и они поднялись в горы.

Около Смбабаберда, на краю глубокой пропасти, Костанд Астапатци придержал коня.

— Ну, а теперь кидайте этого мерзавца! — сказал он. — А как тебя зовут, юноша?

— Шамси.

— Не знаю, что у тебя в душе, но имя носишь доброе.

Шамси ничего не сказал.

— В этих горах человек ближе к богу, Шамси. Можешь зайти хоть вон за ту скалу, и ты уже наедине с собой, со своим аллахом. Молись себе сколько хочешь. Если ты в самом деле спасался от многих смертей, значит, есть сила, которая тебя бережет. Ну, иди же.

— А куда вы меня потом поведете? — поинтересовался Шамси.

— Кончай с намазом, узнаешь...

Костанд говорил строго и решительно, но Шамси не волновался. Совершив намаз, он скоро вернулся.

— По всему видно, что ты из придворных, за что же тебе вдруг решили отрубить голову? — спросил отец Костанд.

— Только за то, что пришелся не по душе хану!

Шамси не стал рассказывать подробностей.

— Что делал при дворе?

— Пел.

— Ну, тогда что же удивляться, что не раз спасался от смерти? Песню убить нельзя, — сказал отец Костанд. — Мы повстанцы, Шамси. Обитаем сейчас здесь, в этих горах, потому что очень уж вы, персы и турки, задавили нас, отняли нашу родину, разрушили наши дома, храмы, затоптали нашу честь. Если нам и не суждено снова обрести родину, мы умрем как армяне: только в бою.

Шамси виновато опустил голову.

— Что ж теперь с тобой делать?.. — раздумывал отец Костанд.

— Убейте, как одного из тех, кто отнял у вас родину и загнал в эти горы!..

Отец Костанд улыбнулся:

— Я имею в виду, чем бы тебе помочь? Хочешь, останься у нас, будем братьями? Ты со своим аллахом, а мы — с нашим богом. А если тебе есть куда идти, можем доставить...

— Для вас каждый перс — это враг, не так ли? — спросил Шамси.

— Каждый, кто пришел на нашу землю поработителем, захватчиком.

— Понимаю. Но я знаю; что не все оказавшиеся здесь

персы хотят отнять у вас землю. И, однако, вы убьете всякого, кто вам попадется. А они ведь мои соотечественники, как же я могу видеть, как льется их кровь, хоть я и понимаю, что вы правы? Если ты, отец, не знаю почему, но жалеешь меня, прикажи одному из твоих людей проводить меня до берега Аракса.

— Хорошо, этой же ночью тебя проводят.

7

Уже на рассвете стало известно, что палач не вернулся из ущелья. Послали туда людей — никаких следов. Ничего иного не подумали, кроме того, что, наверно, Шамси своим пением околдовал палача и они вместе бежали на родину. Версия казалась убедительной, и потому само событие не вызвало никакой сумятицы в ханском стане. Даже хан, когда главный визирь сообщил ему о случившемся, и тот очень спокойно сказал:

— В конце каждого дня можно не задумываясь срубить головы всем слугам, не проверяя, совершили они какой-нибудь проступок или нет. Если и не совершили, то лишь потому, что не выдался случай.

— Я думаю, — главный визирь почесал за ухом, — если человек тверит угодное аллаху, то не потому, что палача из него не получится... Бог с ними, поговорим лучше о наших делах. Мелик не желает идти на охоту, сказался больным.

Хан закусил палец своими белыми, крепкими зубами и долго так держал его. Трудно сказать, какие мысли роились у него в мозгу. А с камня на его перстне падал сверкающий солнечный луч. Он падал на черную губу хана, на его черного коня. Но человек, глядя на этот луч, забыл бы, что на свете есть черный цвет, черные деяния...

Высвободив палец, хан проговорил:

— Подозрение у мелика родилось не само по себе. Надо во что бы то ни стало уговорить его ехать с нами. Не для того, чтобы свершить задуманное, а, наоборот, чтобы не делать этого. Иначе действительно все это может вызвать гнев хитрого кешиша и нанести нам большой вред. Надо с подобающим почтением проводить мелика в Шаапуник... Об остальном потом. Сейчас пошлите кого-нибудь, кто сможет уговорить мелика принять участие в охоте. Надо сказать ему, что прямо с охоты мы проводим его в Шаапуник.

С этими словами хан удалился и скоро вышел одетым

к охоте. Он в самом деле был хороший охотник. Когда все было готово, опять появился главный визирь, передал, что мелик согласен принять участие в охоте, и посоветовал хану не упускать удобного случая, что решать их проблему в Шаапунике дело трудное, там оно потребует больших усилий.

Хан выслушал визиря, но в ответ ничего не сказал.

Солнце едва оторвалось от горизонта. Большая группа людей поднималась по склону Змеиной горы. На пути был родник и рощица в несколько деревьев. Повара, музыканты и другие слуги остались там. Сразу после охоты решено на привале дать прощальный обед мелику Исраелу и проводить его в Шаапуник.

Согласившись выехать на охоту, мелик не все отдал на волю providения. Он выбрал из своей свиты, как бы в помощь на охоте, пять хороших стрелков из ружья и из лука и объяснил им, какую коварную цель может преследовать хан под видом охоты и что в таком случае должны делать они.

Тем временем и отец Костанд, узнав, что мелик все же согласился принять участие в охоте, тоже расставил своих людей в скалах Змеиной горы, распорядившись, что, если что-нибудь приключится с меликом, люди эти должны будут расправиться и с ханом и с его свитой со всей жестокостью, пусть даже ценой последующих разрушений Гохтана и Нахичевана.

Но вот охота началась, и заботы со стороны хана по отношению к мелику было столько, что последний чувствовал себя даже неловко.

Хан был очень предупредителен, все повторял:

— Ты ведь нездоров, мелик, а потому не рвись во все концы, места тут опасные. Преследуя козлов и диких баранов, сюда с того берега Аракса часто заходит много рысей. Это очень коварные звери. Ты лучше поднимись со своими людьми вон на тот холм и смотри оттуда, это тоже увлекательно. Я знаю и твою храбрость, и храбрость твоих людей, но ты гость у меня, и мне держать ответ за тебя перед шахом, за тебя и твою жизнь!..

Мелик принял предложение хана. Не согласился лишь с тем, что и люди его не будут участвовать в охоте.

А хан настаивал.

— Нет, нет! — твердил он. — Они тоже гости и тоже могут подвергнуться опасности. Это ни к чему. Прощу тебя, мелик...

— Что ж, ладно,— согласился мелик и вместе со своими людьми поднялся на холм.

Охота началась.

8

Был полдень. Вытянулись тени деревьев. Ручьи стали светло-голубыми. У родника горели костры, а поблизости испускали дух забитые косули, дикие бараны, лани дивной красоты, словно вовсе они и не убитые. Как живая, грозной казалась и рысь с окровавленной пастью. Она как бы припала к земле, изготовилась кинуться на свою жертву.

Это была единственная рысь, убитая ханом. Случилось все так: люди заметили зверя, прижавшегося к земле, с вытянутым, похожим на золотистую гюрзу в черных пятнах, длинным хвостом. Зверь этот своими красками так слился с медноцветными камнями и мхом, что только очень бывалый охотник мог заметить поблескивание его желто-фиолетовых глаз и белых клыков. И, заметив, потом уж и разглядеть засевшую в засаде рысь.

Эту рысь именно так и заметили и указали хану. Он тотчас же распорядился, чтобы никто, кроме него, не смел пустить в нее стрелу или пулю. И сам пошел на рысь не с луком, а с копьем. Не обращая внимания ни на визирей, ни на телохранителей, которые умоляли его держаться подальше от страшного зверя, хан пошел смело, крепко держа копьё и раскачиваясь в коленях. Чем короче делалось расстояние между ханом и зверем, тем зверь больше вжимался в землю, и хвост был словно не его. Когда расстояние между ними было всего в длину копья, рысь, ощерив клыки под усатыми губами, прыгнула на хана. Хан, ничуть не растерявшись, сам сжался в комок, как зверь, снизу прицелился в белый живот рыси и так всадил копьё ей в сердце, что острие его навывлет пропороло туловище и показалось между ребрами зверя. Хан отпустил копьё, и рысь, извиваясь, рухнула наземь и замерла. Хан подошел, извлек копьё из туши, и, положив ногу на голову зверя, самодовольно улыбаясь, посмотрел сначала на холм, где находился мелик, потом — на своих людей.

— Слава нашему солнцеликому хану, что подобен Рустаму Залу! — зашумели со всех сторон.

И теперь все, кто не был занят приготовлениями к пиршеству, только о том и говорили, как хан рысь убил. Каждый описывал это по-своему, но сходились на одном: со

времени, как аллах сотворил человека и зверя, и по сей день такого подвига никто не совершал.

И хан с гордостью слушал все восхваления. Он слушал бы их с еще большим удовольствием, если бы говорили эти слова не каких-нибудь сто человек, а тысячи и тысячи.

...Костры прогорели, и дым над вертелами стал рассеиваться.

Начался пир. Опять говорили о добрососедстве и веротерпимости. Но короче, чем накануне. С трапезой тоже торопились.

Солнце клонилось к закату, и в природе все становилось краше. Все с благоговением вдыхали ароматы цветов и трав, наслаждались гармонией света и тени, журчанием воды в ручье, шелестом листьев, пением птиц и стрекотанием невидимых насекомых.

Здесь, у подножья Змеиной горы, природа словно бы силилась воссоединить то, что она давно разделила, хотела, чтоб были едины господа и слуги, чтобы и бог был един для людей, чтобы сильный не рубил бы мечом своим слабого, и великий не поглощал бы малого, а видел бы в нем цветок, которому должно жить, дополняя красотой своей и ароматом цветение жизни на земле.

Беден этот склон Змеиной горы: из чудес природы здесь только несколько деревьев, один ручей и один родник среди трав и цветов в горной прохладе. Но мгновение воссоединило здесь все и провело по одной дороге... Одно мгновение.

Велико заблуждение, и исправить его уже нелегко.

Хан очнулся первый...

— Итак, кончаем!..

Все спустились со склона Змеиной горы туда, где был раскинут шатер мелика Исраела. Там все уже было готово к отъезду. Выделенные в провожатые кэлбаши, слуги и свита мелика ждали последних прощальных напутствий.

Только хан, главный визирь, мелик и его телохранители были уже в седле. Все остальные еще стояли подле своих лошадей, держа их за узду: с одной стороны — армяне, с другой — кэлбаши. По приказу хана подвели вороного коня. И сбруя, и седло, и все-то на нем было украшено серебром да золотом. Опустив голову, конь с чувством собственного достоинства из-под наостренных ушей выразительно оглядел всех других лошадей. Он явно гордился своим роскошным убранством, делом рук многих отменных мастеров.

За этим конем вывели еще три других. Они уже были

гружены: один — хорасанскими коврами, другой — одеждой из тонкосуконных тканей, а третий — собольей шубой и шкурой убитой ханом рыси.

От имени хана речь повел меймандар.

— Мой благословенный хан, — сказал он, — дарит тебе, уважаемый мелик, этого аргмака, единственного коня этой породы во всех ханских табунах!.. А эти священные одежды носил славный Ростом — полководец племени каджаров, из рода которого происходит наш всемогущий хан. Пусть этот дар будет символом неподкупности и верной дружбы между Шаапуникским меликством и Нахичеванским ханством... Ну, а это — знаменитые ковры из Хорасана, досточтимый мелик. Самый большой из них под ноги нашему храброму хану расстелил знаменитый Хасан-Али-Мансур в честь победы над его разноплеменным войском. Солнцеликий хан Мухаммед-Рза дарит тебе этот ковер за то, что ты сумел покорить сердце хана. «А покорить мое сердце, — сказал хан, — труднее, чем крепость покорить». Остальные ковры да украсят твою опочивальню. Соболья шуба, согревая тебя, досточтимый мелик, в дни, когда холод сойдет в Болораберд, пусть добром напоминает тебе друга твоего, любимца шаха, могущественного и блистательного хана Мухаммеда-Рзу. И, наконец, эту шкуру рыси дарят тебе все назир-визирь, дабы владетель Шаапуника всегда помнил о силе хана и об этом безоблачном дне!..

Мелик только кивком головы выразил благодарность. А меймандар тем временем продолжал.

— Кто будет Моцак Арут? — спросил он и поискал взглядом среди армян.

Арут вышел на шаг вперед.

— Наш великодушный хан и тебе также дарит коня! — Меймандар подал знак, и тотчас подвели златогривого, еще не седланного коня. — Ты играючи одолел самого сильного кзлбаша. Наш мудрейший из мудрых хан преклоняется перед силой, кто бы ею ни владел. Да будет этот конь тебе в удачу!.. — Он подал Аруту поводья и, повернувшись к мелику, сказал: — Счастья мелику Шаапуника и доброго пути!

На этом меймандар кончил церемонию. Боясь выдать неискренность своей души, он, так и не подняв взгляда, попятился назад и исчез среди слуг.

Мелик обратился к хану:

— Мы уезжаем довольные гостеприимством благословенного хана и прежде всего тем союзом, который укрепился между нами в эти дни. Щедрый дары твои, хан, я принимаю

как залог нашей дружбы. Возвратившись к себе, мы с нетерпением будем ждать дня, когда великий хан обрадует наши сердца своим визитом. Надеемся, что и он будет уезжать из Шаапуника довольным.

Хан улыбнулся и поднял руку над головой, тем самым как бы говоря, что он охотно принимает приглашение...

Наконец все тронулись в путь. Хан и мелик ехали рядом. Когда они, в сопровождении своих телохранителей, удалились достаточно далеко, с того же места другая вооруженная группа тоже взяла направление на Шаапуник, но по иному пути...

Хан проводил мелика до берега Ерджака, туда, где встречал его. Как договаривались, там был и Костанд Астапатци со своими людьми. Но теперь они не были безоружны, как прежде.

Едва показался мелик, все крикнули:

— Слава тебе, мелик Шаапуника! Солнца и света тебе!..

Затей отца Костанда пришлось не по душе мелику Израелу: нет нужды злить хана, который так тщится изобразить миролюбие. Но делать нечего, ответить на приветствие надо. И мелик, сняв шапку, долго махал армянам-повстанцам. Примеру мелика последовали и его телохранители.

Хан, как бы шутя, заметил:

— Как же так, ты друг мне и приветствуешь беглецов из моей страны, ставших мне врагами?..

— Это люди, которым в своей стране, увы, негде приклонить голову. Хан Шариф рассеял их по этим горам. Они пока еще считают, что и ты будешь жесток с ними. Прошу тебя, прояви доброту к хозяевам страны, и они спустятся с гор, сложат перед тобой оружие.

— Но где это видано, чтобы побежденные так возвышались над победителями?.. — усмехаясь, хан рукоятью плети показал в сторону повстанцев. — И на конях и вооружены!..

— Они обещали твоему величеству, что сложат оружие и станут сеять и жать. Обещали и сделают это.

— Обещали!.. — По крашеной бороде хана снова скользнула кривая усмешка. — Пусть сделают это сейчас, на твоих глазах. К тому же ты сам их на это подвигни, скажи, что между нами установилась дружба, утвердился мир и новым кровопролитием можно его разрушить. Знаешь, какие они штуки выкидывают? Нападают на каджарцев, прибывших сюда на поселение, рушат их юрты, угоняют стада. Вели им сложить оружие, подтверди этим, что ты в самом деле мой

искренний друг!.. — последние слова хан сопровождал елейной улыбкой.

Мелик придержал коня. Через мгновение совсем встал.

— Эти люди — жители твоей страны. У меня нет власти над ними. И к тому же чем я могу быть гарантирован, что, отняв у них оружие, не отнимут и души?.. Что касается искренности нашей дружбы, о ней ведомо сердцам нашим. Ну, и дела покажут. А сейчас прощай, хан. Буду ждать тебя в моем Мартиросе. В начале следующего месяца.

— Жди!.. — даже это единственное слово хан не сумел произнести так, чтобы не обнаружить истинного состояния своей коварной души.

Мелик почувствовал это, но едва ли до конца...

Он тронул коня и пустил его рысью. За ним с той же скоростью последовали телохранители.

Хан еще долго не уезжал. Высвободив ноги из стремян и подбоченившись, он, хитро ухмыляясь, смотрел вслед удаляющемуся мелику.

Там, где дорога сворачивала в сторону, мелик спешился и подошел к повстанцам. Костанд Астапатци сказал:

— Мелик Израел, не думай, что отец Костанд ошибся. Пес — порождение пса, и повадки у них одни. Не думай, что Мухаммед-Рза чем-нибудь лучше Шарифа. Будь всегда настороже. Счастливого пути!..

Мелик тоже предупредил его.

— Ни в коем случае не складывайте оружия, — сказал он.

— О чем говоришь, мелик! Как можно?..

— Ни в коем случае! — повторил мелик Израел.

— Будь осторожен и помни: ты наша каменная стена.

— До свидания, армянские храбрецы.

— Счастливого пути, мелик!..

И Костанд Астапатци подъехал поближе к хану.

— Привет хану Мухаммеду-Рзе, человеку с львиным сердцем, который храбро поразил рысь в момент прыжка!.. — сказал он громко.

Хан не ответил на приветствие. В словах Астапатци ему послышалась ирония.

— Эй, кешиш! — крикнул он. — Что ж, вели своим безумцам, пусть сложат оружие и возвращаются к повседневным заботам!..

— О каких заботах речь, досточтимый хан? У нас же ни у кого нет домов: коли не сожжены, так отняты. Проще

всего сложить оружие, а где мы жить будем? Выгони из наших домов каджаров, тогда, может...

— Вы народ-строитель, постройте себе новые дома. Каджары — кочевники, не умеют и камня к камню положить. — Хан говорил миролюбиво, потому что свита его была окружена со всех сторон. — Жалко их, они-то ведь вам никакого урона не принесли?..

— Вон что? Жалко тех, кто вошел в нашу страну незванным и захватил наши дома?.. Ну, положим, мы разоружились. Где гарантия, что ты отпустишь нас целыми и невредимыми, хан?..

В вечерней тишине отчетливо звучало каждое слово священника. Его с интересом слушали не только армяне, но и кзлбаши.

— Хозяин слугам не клянется! — отрезал хан. — Вы должны верить вашему хану на слово.

Отец Костанд невольно засмеялся.

Даже конь под ним заржал.

Хана оскорбил смех священника и ржание его коня.

— Чего ты гогочешь, отродье дьявола? — тихо процедил он сквозь зубы.

— Да когда же это было, досточтимый хан, — проговорил отец Костанд, — чтобы кто-то из ваших был честен в поступках по отношению к нам? Кто способен из корысти изменить вере, в том вообще нет понятия веры. Вы — кзлбаши — были сунитами, стали шиитами, чтобы завладеть тронном Персии, Ваша вера извечно допускала грабежи, захват чужих земель. Нет, хан! Мы передумали. Мы еще не намерены складывать наше оружие. Нельзя нам этого делать. У всех племен и народов свят обычай не убивать в своем доме даже врага. А ты пригласил мелика Исраела с тем, чтобы отравить его у себя в доме. Когда мы срываем твой план, ты меняешь его — решаешь ранить мелика отравленной стрелой во время охоты. Потом придумываешь еще более хитроумные вещи: хочешь бросить его в «когти» замаскировавшегося в шкуру рыси кзлбаша. Но, вовремя сообразив, что, убив мелика, ты будешь иметь дело с нами, решаешь «удивить» своих «гостей» и своих кзлбашей и убиваешь «рысь». Я думаю, ты и сейчас, наверно, расставил не менее хитрые ловушки мелику?.. Вот какова твоя честность, хан...

Мухаммед-Рза на миг опешил от подробностей, которые были ведомы Костанду Астапатци. Очнувшись, он рванул из-за пояса короткую кривую саблю и заорал:

— Заткни глотку, не то сейчас всех вас сотру с лица земли!

— Хан, такого оскорбления нельзя простить! Прикажи, и я научу их разговаривать со всемогущим ханом! — хвастливо крикнул главный визирь.

— Не забывай только, что нас много и местоположение наше удобнее, — сказал отец Костанд. — Мы не хотим проливать кровь. Одно слово, хан, и мы можем мирно разойтись. Оружия не сдадим. Людям, которые не притрагиваются к нашей хлеб-соли, считая ее поганой, но при этом живут за счет нас, сдавать оружие опасно. Мы останемся в этих горах, пока не освободим нашу страну. И предупреждаем: если ты когда-нибудь поднимешь руку на мелика Ираела, это будет стоить жизни тысячам твоих кзлбашей.

— За жизнь одного кзлбаша я предаю огню и мечу все села Нахичевана, Гохтана и Шаапуника! Это мой тебе ответ! — выкрикнул хан.

— Мы закалены в огне, нас огнем не сжечь! — ответил ему Костанд Астапатци.

И в этот миг стрела, просвистев над ухом Костанда, вонзилась в землю. И словно та же самая стрела, вернувшись тем же путем, вошла в сердце того, кто ее пускал, и свалила его с лошади.

— Не дурите! Нас всего сотня, а их много! — и хан погнался коня.

За ним, нарушив строй, поспешили кзлбаша. Когда, как казалось хану, опасность миновала, он, наклонившись к главному визирю, сказал:

— И снова мы ошиблись!..

— О чем твоя тревога, наш всемогущий хан?

— Шила в мешке не утаишь... Мелик Ираел пребывает под недремлющим оком всего армянства, а мы?.. Э, визирь! Нам надо перетрясти всех моих приближенных. Не могу я один всюду поспеть!

— Аллах наделил тебя могуществом, но хорошие помощники нужны и тебе. Чтобы ты мог сберечь свои силы! — согласился главный визирь. И, чуть помолчав, добавил: — Но я хотел бы знать, что всемогущий хан считает новой ошибкой своих визирей?..

— А то, что не следовало посылать людей за меликом Ираелом. Как ты узнал со слов кешаши, это не осталось в тайне. Его надо было уничтожить рукой армянина, в его же доме.

— Такого армянина мы не нашли. Как подсказал тебе

твой мудрый ум, мелик Шаапуника и впрямь пребывает под недремлющим оком всего армянства. Берегут они его.

— Провал любого глупого замысла можно объяснить опять же глупостью. Но здесь есть я. Что значит не нашли бы армянина, готового поднять руку на мелика? Армяне говорят: дай молле золотой и мочись в мечети!.. — Хан был взбешен неудачей. — Если все раскроется, вылезет, как дерьмо из-под снега, не одна голова полетит с плеч!.. Не понимаю, чего ты так хорохорился? Видал, как тебя осекли? И зачем из лука разрешил выстрелить? А если бы стрела ваша достигла желанной цели, понимаешь, что тебя бы тогда сейчас уже в живых не было? Нельзя быть слепым, как котенок, когда по чужой земле ходишь. Тут надо видеть зорче и дальше обычного! Главному визирю особенно!..

Никто не смел слова вымолвить. И все в природе вроде бы замерло. Так, по крайней мере, казалось хану, и это снова подняло его в собственных глазах.

9

На всем пути мелик неотступно думал о хане. Думал молча, ни с кем не делясь своими мыслями и стараясь забыть о словах отца Костанда. Хотелось верить, что коварные замыслы хана пока не идут дальше того, что ему тоже нужен временный мир, хотя бы затем, чтобы возможно больше урвать у армян для своей и шахской казны. Мелика сейчас устраивало и это. Армянам нужно во что бы то ни стало немного продержаться. И потому мелик Израел не хотел видеть ничего иного за щедрыми дарами и гостеприимством хана. Он считал, что если среди приближенных хана и есть человек отца Костанда, то едва ли человек этот все так уже доподлинно точно знает.

Мелик оценивал события и с другой стороны: предполагал, что заблуждается, что Мухаммед-Рза действительно хитроумнее своих предшественников и безмерным лицемерием хочет обвести его вокруг пальца, чтобы потом...

Голова кругом шла от раздумий. Мелик огляделся. В небе светила полная луна, мерно проплывали облака. Вокруг горы, ущелья с таинственным шумом.

— Приближаемся к монастырю, мелик, — вызывая его на разговор, сказал Арут. — Выйдем из ущелья, а там и Мартирос.

— Хорошо добрались, — словно очнувшись от сна, проговорил мелик.

— Отчего, наш мелик, ты так печален? — спросил Гандзи, старший из телохранителей. — Неужели хан чем-нибудь огорчил?

— Уже одно пребывание хана на нашей земле — есть огорчение!..

Въехали в ущелье.

Монастырское ущелье начиналось очень узким проходом между горами. На спуске проход этот, постепенно расширяясь, оборачивался зеленой поляной, где пели-шумели родники и ручейки. Справа высилась высеченная в скале церковь — одно из чудесных творений Прошянов в скалах Гегарда.

Свита растянулась. Тропа шла краем пропасти, двум всадникам не разминуться — так она узка. Арут и Гандзи ехали впереди, расчищая путь мелику. Всего их было сорок человек, а казалось, что ущельем проходит большая армия. Эхо удесятряло лошадиный топот. К тому же и скатывающиеся из-под копыт камни тоже многогласно громыхали. Однако весь этот шум был мерным, ровным. Но вот он словно разорвался, нарушился. Из расщелины скалы вылетела стрела. Угодив в мелика, она свалила его с коня.

Левая нога еще оставалась в стремени. Испуганная лошадь, потеряв равновесие, скользнула с узкой тропы и рухнула в пропасть. Следом с грохотом покатались камни.

Все смешалось. Кто-то было попытался рвануться за меликом. Некоторые из тех, что были сзади и не поняли, что произошло, пытались свернуть лошадей с дороги, предполагая, что впереди обвал. Даже идущий вслед за меликом телохранитель не сразу сообразил, что случилось. Но вот еще кто-то рухнул в пропасть. И еще... Падая, кто-то крикнул:

— Измена!..

И дальше наперебой повторяли:

— Мы в ловушке!..

— Убили мелика!..

— Осиротели!..

— Хан обманул!..

Отовсюду — из темных расщелин, из пещер, из кустов — со свистом вылетали стрелы, и ни одна не падала на землю. Враг был невидим. Поэтому никто и не попытался взяться за ружья или за меч. Решив, что надо хоть как-то спастись, люди побросали лошадей и кинулись кто куда мог.

Из сорока человек только тринадцать вышли в долину. А в ущелье еще долго ржали обезумевшие от страха лошади, стонали умирающие и звучала чужая речь убийц.

Был уже поздний вечер, когда Костанд Астапатци после переговоров с ханом вернулся туда, где они укрывались на Змеиной горе. Оставшиеся там сообщили, что двадцать пять конных кзлбашей прошли той стороной горы и что за ними проследили до самого Гомри. А от Гомри кзлбаши спустились к крепости Шаапуник и оттуда, свернув направо, взяли в направлении к Мартиросу.

Эти сведения перевернули душу Костанда Астапатци. Схватившись за бороду и закрыв глаза, он с минуту молчал. А когда вновь открыл, в них уже было другое выражение.

— В какой час это было? — спросил он.

— В предзакатный, когда солнцу оставалось с аршин пути до горизонта.

На глаза отцу Костанду навернулись слезы.

— Убили мелика Израела!..

— Этого не может быть!.. — впервые повстанцы не захотели поверить своему предводителю.

Отец Костанд мрачным, но твердым голосом сказал:

— И, однако, это так, его убили!..

— Так идемте же, попытаемся помочь!.. — вскричали все в один голос.

— Уже поздно! — это сказал Костанд.

Все разом воскликнули, и Змеиная гора вторила людям:

— Мщенья!.. Мщенья!.. Мщенья!.. Смерть или свободная Армения!

Костанд Астапатци молчал. Он стоял на небольшом возвышении. Ветер развеивал короткие полы его пилона и, сдвинув на одну сторону редкую, но великолепную бороду, открыл глазу сверкающий серебряный крест на груди. Печально светился он при луне. Глядя на отца Костанда, лишенные крова и взявшие в руки оружие крестьяне видели в нем своего избавителя, точно с неба спустившегося в эти тяжелые дни, чтобы быть им верой и опорой. Они готовы были по одному его слову кинуться и в огонь и в воду. Но отец Костанд продолжал молчать. Гибель мелика Шаапуника была для него невосполнимой потерей.

— Что теперь можно сделать?.. — Костанд Астапатци так сказал эти слова, словно бога вопрошал. И был в них прямой укор.

Но ответили ему люди: за всех один.

— Ясно, что нам следует делать, отец Костанд. Нас — двести пятьдесят мечей и столько же ружей. Мы не затем поднялись в эти горы, чтобы выступать против шахского войска. И мы не брали на себя смелости таким количеством оружия вызволять нашу родину из неволи. Но мы поклялись святым крестом, — говоривший показал на грудь отца Костанда, — поклялись, не жалея наших жизней, мстить тем, кто отнимает у нас родину и веру праведную. Мы пришли в эти горы, чтобы незваные гости не испытывали нашего терпения, не переступали границ. Но они зарвались. Убили мелика и тянутся к Шаапунуку, стремясь выбить у нас из-под ног последние клочки земли. Мы должны отомстить! Должны снести те двадцать пять голов, которые совершили черное дело, убили самого могущественного нашего мелика. И если решение будет твердым — надо напасть и на хана.

— Возвращаться они будут совсем другой дорогой, мой благородный Мигран.

— Нет, отец Костанд! Как бы они ни петляли, а к ханской резиденции путь их все одно пройдет Орлиным ущельем, — сказал хорошо знавший эти места Гегам Гомреци.

— Удобнее всего засесть в Волчьем ущелье. Оно здесь, на склоне Змеиной горы! — посоветовал кто-то другой.

Всех внимательно выслушав, Костанд Астapatци сошел с возвышения, откуда он обычно говорил речи.

Спустились в Волчье ущелье. Справа и слева высились скалы, внизу была глубокая пропасть.

Волчье ущелье стелилось над пропастью. По нему бежал тоненький ручей и петляла узкая тропа. Где-то поодаль ручей сворачивал и с шумом падал вниз в другое ущелье. А дорога... Самая укромная дорога может вызвать большой шум. Шумы иных дорог доходят до людских ушей и спустя много веков...

Тропа в Волчьем ущелье, свернув в сторону от ручья, извиваясь, шла вверх, часто исчезала в нишах скал и сквозь коридоры и туннели выходила на другой склон Змеиной горы, где внизу раскинулся Апракунис.

Здесь повстанцы уже работали кирками, вырыли на пересечении дорог яму глубиной в две стрелы, накрыли ее тростником, сверху присыпали землей и, замаскировавшись во впадинах скал, стали ждать.

Луна постепенно тускнела от приближающегося рассвета. Падающий в пропасть ручей монотонным шумом будто тянул время. Повстанцы беспокоились в своих укрытиях,

теряли терпение, но ждали. Вот вдаль ударила о камень подкова. Топот стал громче и ближе.

Да, это были они. Шли галопом. У них были свои заботы: спешили ночью пройти ущелье Змеиной горы, чтобы не угодить в беду и поспеть в Апракунис раньше, чем хан приступит к утреннему намазу...

Вот они мелькнули в проеме скал и быстро исчезли. В ущелье дорога делала крутой поворот. Там конский топот было затих, а потом постепенно снова стал звонче.

Теперь кзлбаши уже были видны отчетливо. Кроме двадцати пяти всадников впереди еще шли лошади без седоков и три груженные. Это те самыс, с подарками, которыми хан «щедро» одарил мелика в знак «верной дружбы».

На спуске дорога была чуть круче и шире. Кзлбаши ускорили там свой бег. И словно пропасть разверзлась перед ними — вдруг один за другим вместе с лошадьми рухнули вниз. Те несколько человек, которые ехали сзади и потому как бы остановились, не могли сообразить, что случилось. А тем временем им наперерез из-за скал выскочили армяне, сверкая мечами под светом луны.

— Не пытайтесь сопротивляться,— загремел голос Костанда Астапатци,— если не хотите умереть смертью мучеников.

— Все равно ведь умрем?..— Один из кзлбашей схватился за меч. Но тут же рухнул и покатился в пропасть.

На востоке уже алело солнце. Надо было скорее все кончать, чтобы шум раньше времени не докатился куда не следует... Из тех, кто угодил в яму, только пятеро были на-смерть смяты лошадьми. Остальные хоть и пострадали, но остались живы. Мертвых, и лошадей и кзлбашей, сбросили в пропасть. Живых, привязав их к лошадям, погнали в укрытия на Змеиной горе.

...Был полдень. В долине Аракса земля трескалась от жары, а здесь, на вершине Змеиной горы, едва пригревало. Лучи блистали золотом на влажной траве, а на камнях печально отливали желтизной. В сплошной синеве безоблачного, неподвижного неба была торжественность ожидания, а солнце на нем было похоже на налитое кровью и гневом око. Казалось, что оно взирает только на вершину Змеиной горы, где засели восставшие армяне.

Костанд Астапатци стоял на возвышении, откуда он

обычно говорил свои речи. Хмурый, настороженный. В левой руке меч, в правой — плеть из бычьих жил. Крест почти не виден из-под бороды, у ног, на камне, отрубленная голова с короткими волнистыми волосами, с густыми усами, на лбу, на виске и в уголке крепко сжатого рта капли застывшей крови... Мелик Исаел.

— Кто у вас десятник? — голос Костанда Астапатци был как звон чугуна.

— Я!..

— Выйди вперед!

Все расступились. Вперед вышел огромный детина. Уже встав перед Астапатци, он вдруг потерял равновесие и чуть не грохнулся наземь. Его поддержали.

Костанд Астапатци спросил:

— За что вы убили мелика?

— Мы прах под твоими ногами, всеильный господин!.. — Десятник не знал, как бы ему позначительней возвеличить Костанда. — Пощади нас! Мы ведь только слуги хана и не можем не исполнить его приказа! Если бы не приказ, мы никогда не посмели бы поднять меч на такого человека! — налитыми кровью глазами он посмотрел на лежащую на камне голову. — Поверь, что я говорю чистую правду.

— Верю!.. — сказал Костанд, и слово его прозвучало столь спокойно, что приободренный кзлбаш, вздохнув, повторил:

— Если бы не приказ хана, зачем бы нам убивать мелика? У нас нет иных счетов, кроме как заработать себе кусок хлеба. А это, увы, достигается беспрекословным исполнением приказов властелина. Разве не так, всеильный господин? Ты-то ведь хорошо знаешь, что такое властелин и слуга...

— Кто отрубил голову мелика?!

Десятник растерянно огляделся вокруг, будто бы и впрямь искал среди кзлбашей, кто бы то был. Потом, словно опомнившись, сказал:

— Да!.. Я это сделал. Хан мне приказал. И если бы я не подчинился — он отрубил бы мне голову! — Слова о хане десятник произнес тихо, чтоб остальные кзлбаши его не услышали. — А мелик, когда я отрубил ему голову, уже отдал богу душу. И ты, благословенный господин Костанд, должен поверить мне в этом! Должен учесть...

— Верю!..

— Зверь он, этот хан Мухаммед-Рза! Где такое видано:

пригласить человека в гости, а потом послать ему вслед людей, чтоб убили! — Он снова оглянулся, не слышат ли его кзлбаши. — Да, очень жестоко поступил хан. Ну, а мы слуги, и нашей вины тут нет!..

— Хан приказал вам также, чтобы вы и дары обратно доставили?

— И дары, и лошадей. Но мы всех поймать не смогли... Хан еще приказал, чтобы поубивали телохранителей мелика. Но мы не всех уничтожили. Дали кое-кому унести ноги, вернуться невредимыми к своим семьям.

— И о чем же вы теперь нас за это будете просить? То же чтобы не всех уничтожали?..

— Пожалей нас, всесильный господин! Ты же видишь, что мы не виноваты? Не виноваты!..

— Ну, так как? О чем просите? — обратился Костанд к остальным кзлбашам.

Все разом бухнулись на колени и взмолились:

— Не убивай нас, мы — прах под твоими ногами и правда ни в чем не виноваты!..

Костанд посмотрел на голову, что лежала на камне.

— А что прикажет своим войнам мелик Шаапуника Исраел? — он произнес эти слова так, что все армяне содрогнулись от прозвучавших в его голосе горя, волнения и еще многих чувств, которым нет названия.

Все кзлбаши поднялись и стали понурив головы.

Воцарилось тяжелое молчание.

— Вы слышали, кзлбаши, что приказал армянский мелик? — спросил Костанд.

Все молчали.

— А вы, мои храбрецы?..

— Слово в слово...

— В таком случае выполняйте его приказ!..

На какое-то время все смешалось. И в минуту все было кончено...

Голову мелика похоронили у вершины Змеиной горы, откуда был виден Масис, Араратская долина и Аракс. Затем они спустились в ущелье, отыскивали тело мелика, отвезли в Мартирос и там похоронили в церкви, рядом с могилами погибших за народ и за веру других сынов славного рода Прощанов — мелика Агаджана и мелика Карахана. Похоронив и убитых телохранителей мелика, отец Костанд поспешил вернуться со своими людьми на Змеиную гору, чтобы стоять там дозором на случай, если хан осмелится учинить расправу в армянских селах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Ночью шел сильный дождь. Зато утро в Венеции было ясное. Доходивший до самой синевы неба купол собора святого Марка был залит солнцем. На площади еще стояли лужицы. Влажные каменные плиты поблескивали отсветами лучей. Эти желтые отблески делались все больше и больше, а солнце спускалось с купола все ниже и ниже. Вот оно уже на резном обрамлении Палаццо дождей и оттуда стало сходить по узкой улочке к площади Сан-Марко. Плиты теперь целиком забиты солнцем.

По обе стороны площади высятся дома, в которых нижние этажи заняты рядами лавок и магазинчиков.

Двери магазинов раскрывались с шумом и грохотом. И тотчас вниз слетели голуби и стали важно вышагивать.

Восемь раз пробили часы на площади. Звон их был мягкий, глубокий. Но никто словно бы и не придавал им значения: прохожий шел, не замедляя шага, занятый беседой продолжал разговаривать. Даже голуби не переставали вышагивать, только некоторые из них при первом ударе чуть вытянули шеи, посмотрели наверх, откуда, как им показалось, шел звук, и, будто распознав, что этими ударами всего лишь измеряется время, опять продолжали вышагивать.

Перед одним из магазинов столпилось необычно много народу, люди — у одних на лицах улыбка, у других удивление — спешили сюда.

Толпа все росла. Задние поднимались на носочках, чтобы заглянуть внутрь магазина.

Вот какая-то синьора с остатками былой красоты, запыхавшись, примчалась сюда и спросила:

- Что тут происходит, синьоры?
- Какой-то армянин торгует в магазине.
- Наверное, товарами из Армении?
- Нет, только венецианскими.
- А что же он такое продает?
- Все.

Синьора пожала плечами.

Но уйти не ушла. Теперь-то уж ей необходимо увидеть армянина, собравшего столько людей у своего магазина. Она протискивается вперед.

Вот кто-то выбрался из магазина. Человек явно устал от давки, но в глазах светится радость.

— Что вы купили, синьор?

Синьор невзначай глянул на свои покупки, давая понять, что главное не в этом.

— Мундефиасконское вино и...

— Но этого вина сколько угодно в лавке у Джузеппе?!

— Что верно, то верно, синьора. Но очень уж осточертела старая, сморщенная физиономия Джузеппе. А этот юноша-армянин... — Человек причмокнул от удовольствия и снова заулыбался.

2

В этот день Яври проснулся чуть позже обычного. Огляделся вокруг и загрустил. А как увидел в окне все ту же картину, напоминающую о том, что он на чужбине, — голубой купол мечети в соседстве с мозаичными колоннами двух минаретов, — так загрустил еще больше. Минареты эти были как протянутые к аллаху руки. И венчали их полумесяцы.

После девяти месяцев пребывания в этом далеком — за морями, за горами — доме часто чудится, что вот откроет глаза, и он уже у себя в крепости Сркугинк, и в окне виден зеленый холм Вардаблур, и внизу под ним фиолетовый туман, а сверху — ясное небо.

Обычно не терявший присутствия духа, всегда деятельный и уверенный в себе, Яври вдруг сдал. Может, потому, что за день до того проводил своих соотечественников и остался один-одинешенек?

Минувшей ночью ему снился отец очень помолодевшим и в хорошем настроении. В таком хорошем, что Яври предложил ему принять участие в военных играх, и отец не отказался. Они вместе спустились в долину Гладзора. День был ясный, такой, что все цветы Вайоцдзора радостно сияли. И журчанье ручьев Гладзора и Ехегниса было похоже на песню. И они с отцом мчались на лошадях по этим цветам, и цветы не сникали потому, что копыта лошадей не касались земли, а словно бы плыли в воздухе, едва задевая тычинки цветков.

Мчались, держа копыта позади себя, а впереди был «враг» — молодая стройная чинара. С определенного расстояния они вместе бросили копыта, те долго плыли в воздухе, попеременно обгоняя друг друга. Но вот уже совсем

у цели, его копьё вдруг пролетело мимо, а отцовское, пропоров чинару насквозь, ещё долго летит в воздухе.

Они вновь и вновь бросают копья, и всякий раз отец так весело смеется, что от этого смеха прямо у них на глазах распускаются цветы, кусты выбрасывают новые побеги и зеленеют дотоле иссохшие горы Ехегнадзора.

И в один такой миг, когда отец смеялся от души, откуда-то вдруг вылетела стрела, угодила ему в смеющийся рот и прошла насквозь через затылок. Отец зажал рот рукой, и тотчас пальцы его залились кровью, сказал: «Не огорчайся, сын, что ты не мастер метать копьё. Наша сила ныне в слове. Овладей прежде словом. Живи не для себя. Проклянута могила, если...» И он чуть было не свалился с коня, но цветы все вмиг переплелись, приняли его в свое лоно, и он медленно растворился в них...

· Может, печальный конец этого радостного сна был причиной того, что Яври проснулся в дурном настроении?.. Кто знает, может, именно в эту самую ночь враг настиг и убил его отца? Возможно, что сердце сына в этой дальней дали почувствовало горестную потерю? Но истины Яври не ведал, и потому печаль его скоро рассеялась...

В дверь постучали и смело ее отворили. Это пришел Ованес-Спират, тот самый купец, с которым Яври познакомился в день похорон католикоса. Это был уже не первый его приход.

— Ты все еще лежишь? — спросил он и пододвинул себе стул.

— А ты всю ночь не спал? — вопросом на вопрос ответил Яври.

— Для купца не существует ни дня, ни ночи.

Яври, который уже одевался, глубоко вздохнул.

— Почему ты так тяжело вздыхаешь при моих словах? — спросил удивленный Ованес-Спират.

— Любой народ на свете был бы сильным и непреклонным, если бы люди в мире думали и заботились не только о своих личных делах. Я прав, дорогой Ованес?..

— Да, но это невозможно.

— А почему?

— Наверное, потому, что человек не вечен. Должен согнуться и снова родиться, снова повториться. Кто знает, может, все уже тысячу раз повторялось...

— Может, да, а может, и нет! — Яври не захотелось спорить. — Но мы должны жить собственной жизнью.

— Только так. Однако оставим эти рассуждения. Я хочу

знать, какой ты задался целью, оставшись здесь? И еще хочу знать, чем могу быть полезен тебе на чужбине? Будь со мной откровенен, как с братом.

Яври постучал по столу, разглядывая при этом свои пальцы.

— Цель одна: пробудить чувство сострадания у христианских государств к судьбе единоверного древнего народа.

— Пробудить сострадание? — Ованес-Спират нахмурил брови и сузил глаза.

— Да, в ком-то пробудить сострадание, а в ком-то вызвать заинтересованность. Ну, а где удастся — и то и другое.

Ованес-Спират поднял брови.

— Позволь мне, как торговцу, дать тебе один совет. — Он улыбнулся. — Везде, где возможно, соблазняй лишь заинтересованностью. Не знаю, может ли какой-нибудь народ сострадать другому, но жалость мощны не раскрывает. Корусть... Вот она открывает сердца. А что тебе требуется для твоей великой цели?

— Великое терпенье.

— Еще?..

— И еще терпенье.

— А еще?..

— Ну, и немного денег, чтобы я мог, пустив их в оборот, преумножить эти деньги. Без них мне далеко не уйти.

Ованес-Спират засмеялся:

— Неужели ты способен наживать деньги? Это никак не вяжется с твоим характером и твоими целями.

— Ради главного я могу пойти на все, и в этом для меня нет ничего невозможного.

— Я думаю, что прежде всего тебе надо встретиться с папой римским. У тебя есть свидетельства того, что ты княжич из великого рода Прошянов и уполномочен народом искать ему защиты?

Яври молча снова постучал по столу.

Ованес-Спират добавил:

— Ты столь еще молод, дорогой Яври, что одним только словом едва ли сможешь открыть сердца чужих тебе людей. Ведь чтобы только выслушать тебя, принять, они захотят знать, кто ты есть.

— С собой у меня лишь бумага татевского епископа Сурена о том, что я происхожу из княжеского рода. В ней также объяснена причина возвращения нашей делегации на родину и подробности задачи, с которой я здесь остался. Больше ничего. Но если бы и этой бумаги у меня не было,

я так или иначе должен открыть все двери и заставить выслушать себя. И капля камень точит... Для этого нужны воля и терпение. Слава богу, мне вроде бы их не занимать...

И без того очарованный юношей, Ованес-Спират еще более пленился его речью и решимостью.

— Через три месяца я отправлюсь в Венецию, — сказал он. — С удовольствием готов сопровождать тебя. И дам тебе тысячу золотых. Если сможешь пустить их в рост — хорошо, а нет — я всегда готов служить тебе в твоём великом начинании.

— Принимаю у тебя эти деньги с условием вернуть их через четыре-пять месяцев.

Ованес-Спират нахмурился.

— Не надо обижаться, дорогой Ованес, — Яври положил свою ладонь на его белую руку. — Иначе я не могу.

— Я тоже армянин. И может, не меньший патриот, чем ты. Зачем же отказываешь мне в возможности быть хоть малостью полезным моему народу?

— Дело в том, что я еще ничего не сделал для родины, и, может быть, ничего и не смогу сделать. Все мои мечты и надежды еще в задумке. И материальные издержки пока будут сугубо личными. Вот почему мне хочется, чтобы совесть у меня была спокойна. Но если дело вдруг пойдет так, что для пользы народа понадобится все твоё состояние, я обещаю, что потребую у тебя его. А коли ничего не совершу, так пусть никто тогда не подумает, что я, как какой-то авантюрист, мотался по чужим странам, вымогая у людей деньги на свои нужды. Дать в долг — это тоже большая помощь, брат. Приедешь однажды в Венецию и увидишь, чего доброго, что я уже и не нуждаюсь в деньгах...

Ованес-Спират не стал больше спорить.

Прошло три месяца, прежде чем Яври покинул Константинополь. Истекшее время он потратил не зря: днём и ночью изучал историю, нравы и быт той страны, куда предстояло ехать.

3

И вот хозяином магазина на площади Сан-Марко в Венеции, который привлек к себе внимание венецианцев, был сам Израел Яври — он не называл себя Яври, сын Израела, как принято, ему нравилось просто Израел Яври...

Столь большим было оживление перед его магазином, что

даже солдаты, ведущие приговоренного на казнь — из Палатцо дождей к эшафоту, приостановившись, спросили у тех, кто выходил из магазина, что это там делается.

— Армянин один торгует! — нехотя отвечали им, с грустью взирая на приговоренного.

— Ну и что?..

— Ничего. Просто очень он приветлив, любезен, остроумен и красив. Забываешь о том, что в Венеции существует Мост вздохов, по которому вы ежедневно уводите кого-нибудь на тот берег, и человек этот больше не возвращается...

Солдаты, словно вспомнив о своей ответственности, посерьезнели, вытянулись и приказали приговоренному продолжать путь...

А красавица синьора тем временем протолкалась наконец в магазин. Она с восхищением уставилась на купца, с таким же восхищением, с каким ее супруг вчитывался в историю армянского народа. Она сейчас только вспомнила, что супруг очень увлечен армянами, и поняла почему... Синьору больше уже ничто в этом магазине не интересовало. Она смотрела на купца и думала о том, что этот юноша с наружностью Ахилла рожден совсем не для того, чтобы торговать, что он достоин славы героя Троянской войны. Красавица синьора подумала даже про себя, что такое бывает лишь в сказках. И не иначе, что юноша этот какой-нибудь принц, пустившийся в странствия в поисках невесты, и что он только прикинулся купцом-армянином.

— Что желает уважаемая синьора? — спросил Яври на ломаном итальянском, и в устах его это звучало довольно забавно. — Конечно же бесовского вина? Вы, итальянцы, дали ему чудесное название — Христовы слезы. Достаточно испить две капли этих слез, чтобы забыть все свои пролитые слезы. А может, желаете тосканского инжира, миндаля или фиников, ломбардийского риса, масла, мальтийских гранатов или сицилийского варенья?..

А синьора все еще не могла глаз оторвать от юноши. И Яври решил пошутить:

— Может, желаете узнать, что ждет вас в ближайшем будущем? Вторая молодость. Только сама по себе она к вам не явится. Для этого надо целых пять лет есть кишмиш с миндалем.

— Вы, юноша, еле говорите по-итальянски, а так хорошо знаете Италию! Откуда вы родом? — поинтересовалась она, скрывая в уголках глаз скупую улыбку.

— Из далекой Армении. И я бы не сказал, что так уж

хорошо знаю Италию. Просто мне ведомо, откуда мои товары. Купцу это следует знать.

Синьора вконец уверилась, что купец этот не кто иной, как переодетый принц. Какой армянин явился бы из далекой Армении в Венецию торговать итальянскими товарами.

— Значит, говорите, вы армянин?.. — и она недвусмысленно усмехнулась.

— Армянин. Об этом говорю не только я, но и моя внешность.

— Если это так, я попросила бы вас оказать честь моему дому и прийти к нам. Мой супруг всю свою жизнь интересуется армянской историей и даже немного знает язык ваш. И дочь моя тоже.

И женщина назвала улицу, где искать ее дом.

— Я признателен вам за приглашение, высококочтимая синьора. Непременно приду высказать свое почтение и благодарность вашему супругу и дочери за то, что они не равнодушны к судьбам моего народа.

— Будем ждать вас.

Сделав покупки и велев носильщику нести их до дому, она легкой походкой вышла из магазина. А Израел Яври продолжал свою бойкую торговлю.

Увидев перед собой молодого турка, Яври спросил:

— Вам нужен миланский кинжал? Оружием я не торгую. Есть фески из Брадо. Пожалуйста, пройдите налево. А вам, синьорина, венецианских кружев, не так ли? Или брошь из сицилийского янтаря? А может, браслет червонного золота?

— Соломенную шляпку из Ниццы, — нежно проворковала синьорина.

— Пройдите направо и выберите, что пожелаете!..

— Мне бы шелку на платье!.. — спросила почтенная дама.

— Самый лучший в мире шелк — сардинский. Прошу вас, синьора!.. Что желают синьоры? «Санта вина»? Отличное вино, только пить его надо по рюмке к обеду. У вас, итальянцев, такая же горячая кровь, как у нас: выпьете больше — не оберетесь хлопот!..

И так каждый день, с утра до поздней ночи, из магазина Израела Яври все уносили товары. В остальных магазинах торговля шла вовсе не так бойко. Начались пересуды среди торговцев, постепенно зрел заговор против «хитрого армянина», который «переманил» всех венецианских покупателей.

Через четыре месяца Яври закрыл свой магазин. Теперь у него была возможность разъезжать хоть по всей Европе. Мешало одно: он еще не распутал своих мыслей, не нашел кончика, с коего следовало бы начинать деятельность во благо народа. Вспомнился Ованес-Спират. Он действительно из чувства истинного патриотизма, а не из честолюбия помогает находящимся на чужбине армянским церквям, духовным семинариям. Он не просто купец-корыстолюбец. Яври знал, что человек он образованный — учился в Европе, с пытливым и острым умом. Но, увы, Ованес-Спират сейчас в Риме, и еще целый месяц до его возвращения.

И Яври терпеливо прождал этот месяц. Ждал с присутствием ему терпением. Никто сейчас не сказал бы, что это тот самый живой, остроумный, словоохотливый торговец из магазина на площади Сан-Марко, который еще месяц назад очаровывал всех. Прошедшее и для Яври было чем-то вроде сна.

Сейчас он целыми днями сидел за картами и книгами. Только иногда выходил на балкон, смотрел на бьющиеся о стену волны, а мысленно уносился далеко-далеко...

И вот однажды, когда он, сидя на балконе, предавался раздумьям, кто-то сзади закрыл ему глаза ладонями. Он ощупал перстни на пальцах, хотя в общем-то знал, кто мог здесь, на чужбине, прийти к нему.

— Ованес!..

И они обнялись. Впервые — совсем как близкие, как родные.

— Ну рассказывай, как идут твои дела? — Ованес-Спират имел в виду успехи Яври в торговле.

— Все кончилось благополучно. Целый месяц жду тебя.

— Теперь-то я верю, что для тебя нет невозможного, — сказал Ованес-Спират.

Яври не возражал ему, но и не возгордился. Пригласил друга в комнату. Сели, разговорились. Говорил все больше Ованес-Спират: о своих римских делах, обо всем, что видел и слышал, о прошлых приездах в Венецию.

Яври слушал его с большим интересом, но на шумный смех нового друга отвечал лишь улыбкой, а на печальные вздохи — взлетом бровей да постукиванием по столу. Ованесу-Спирату хотелось во что бы то ни стало отвлечь Яври от тяжелых раздумий. Он поднялся с места и, потирая руки,

зашагал по комнате. Но вот, бросив взгляд в окно, на синие, просторные дали, снова сел и сказал:

— Ну, а теперь говори. Тебе ведомо, какая в женщинах сила?

Яври молчал, потом заговорил:

— Действительно, в мире есть радости. Для того люди и живут. Но есть и горе, и большая боль, они способны заглушить все другие чувства. Мое горе — это горе целого народа. И потому я пока не думаю о радостях жизни. Если мы не ощутим себя армянами, мы лишимся армянства, погибнем!..

Ованес-Спират слушал взволнованный. Яври, как всегда, обезоружил его, и возразить было нечего.

— Нет ли вестей с родины, от родных?— спросил Ованес-Спират уже иным тоном.

— Я прервал связь с родными. Так надо.

— Это очень жестокое решение. Зачем мучить их, когда ты жив?

— Родные покручинятся и утешатся. Ни на родине, ни в странах, где мне доведется побывать, не должны знать, кто я и зачем явился. Все должно быть в тайне, до свершения задуманного, до дня спасения.

— День спасения!.. Господи, возможно ли?— Ованес-Спират воздел руки к небу.— А куда же ты решил отправиться из Венеции?

— Во всяком случае, не в Рим. Папа не удостоит вниманием мирянина, у которого нет покровителей среди духовенства. Тем более что из Константинополя его уже, наверное, известили о смерти католикоса и о возвращении делегации. Откуда папе знать, будет ли новый католикос следовать своему предшественнику. Я долго думал и пришел к выводу, что начинать надо с малого: пройти из страны в страну, разузнать, каковы настроения у правителей государств, и выбрать среди них такое, которое имеет больше возможностей и будет заинтересовано протянуть руку помощи Армении.

Ованес-Спират задумался.

— Что ты скажешь о моем плане?— спросил Яври.

— План хорош, только осуществить его невысказанно.

— Почему?

— Это выше человеческих возможностей. Да и не понимаю я дела, успех которого может выявиться только через пятнадцать — двадцать лет...

Яври улыбнулся:

— На это мало и пятнадцать — двадцати лет. Целой жизни не хватит на это. Я хочу искать пути к спасению моего народа. Результатов содеянного мной, может, и не увижу — погибну где-нибудь на дорогах исканий, но верю, что по моим следам пойдет кто-то другой и он оставит новый след для нового искателя, пока наконец не сыщется истинный путь к спасению...

— Такой воли и такого терпения нет, наверное, и у самого бога. Нет и не будет! — вздохнул Ованес-Спират. — Это невероятно, но я в тебя верю, Яври. Поруганный человек посильнее бога. Падает и вновь подымается. Я не могу сыскать тебе никакого совета, потому что ты уже все продумал. Только одно я могу тебе посоветовать: ехать надо в Париж. Париж — центр мира. Там ты обретешь ключ, отмыкающий все двери, — французский язык... И кто знает, может, разумнее всего ухватиться за Францию?..

Помолчали оба.

— Что ж, еду в Париж. Время дорого, и терять его не следует.

Ованес-Спират с грустью посмотрел на Яври.

— Мы обязательно еще встретимся! — сказал Яври и, подойдя к шкафу, вынул какой-то мешочек. — И встретимся в лучших условиях. — Яври положил мешочек перед Ованесом. — Может, даже и вместе поедем на родину. Освободим ее, — глядишь, и ты останешься там. Ведь мы тогда станем торговать со всеми странами мира.

— Что это? — Ованес-Спират показал на мешочек.

— Как уговорились... Долг...

Ованес-Спират не стал спорить. Он уже знал силу слова Исаела Яври. Только сказал:

— Мне жаль, что ты не хочешь большего нашего сближения. И все же помни: если потребуется, можешь располагать всем моим состоянием. Я предпочел бы быть простым писцом у себя на родине, нежели богатейшим купцом в Европе, но где она, родина?..

Он вскочил с места. Яври также поднялся. Они горячо обнялись.

5

Корабль должен был отойти из Венеции только вечером. Времени еще оставалось много. И Яври решил все-таки исполнить обещание, данное синьоре Лоле, и навестить ее супруга.

Дверь открыла прелестная девушка. Она, видно, укладывала свои золотистые пышные волосы и не успела закончить прически, потому как с одной стороны все было поднято и заколото, а с другой волосы волнами спадали на плечо, и она удерживала их пальчиками, чтоб не закрыли лица. Отворив дверь, девушка удивилась и, смущенная, не пригласив гостя, поспешно скрылась за голубыми занавесями.

В тот же миг оттуда вышла синьора Лола с сияющей улыбкой на лице. Она жестом предложила «принцу» пройти и провела его в просторную залу, по одну стену которой высились книжные шкафы. Все другие стены были расписаны батальными сценами.

Синьора Лола предложила гостю сесть в кресло, но оно было столь роскошно, что Яври предпочел обычный стул. Синьора не настаивала и с улыбкой проговорила:

— Благодарю, синьор, что вы, хоть с большим опозданием, все же исполнили свое обещание... Извините, я на минуту покину вас...

Яври стал рассматривать картины и роспись и вдруг, словно окаменев, остановился. Перед ним была гравюра с изображением Аварайрской битвы. Живописец изобразил момент, когда персы — на слонах, на конях и пешие — терпели поражение от армян. Поле битвы было усеяно трупами неприятельских воинов. Враг отступал под натиском вздыбленного коня полководца Вардана, перед его разящим мечом. Для Яври сразу стали близкими этот таинственный дом, синьора Лола и та девушка, что открыла ему дверь, но не пригласила войти.

Яври не отходил от картины до тех пор, пока не вернулась синьора Лола и не пригласила его к мужу. Увидев, что Яври увлечен «Аварайром», она виновато спросила:

— Так вы действительно армянин?..

— Армянин, конечно же армянин, — сказал Яври. — А почему вы сомневаетесь в этом?

— Да нет...

Кабинет супруга синьоры тоже был большим, как зала. Мебели тут почти не было, стены задрапированы.

Желтые маятники больших французских часов, что стояли в углу, бесшумно качались. Казалось, что они отмеривают тишину, а вовсе не время. Потолок был очень высокий, и потому все представлялось уменьшенным — и мебель, и даже внушительного роста человек, который встал из-за большого стола, прошел по восточным коврам на се-

редину кабинета, протянул руку Яври, испытующе глянул на него и сказал по-армянски:

— Добро пожаловать. Мое имя Джованни Теста!— И, взяв Яври под локоть, он повел его влево, туда, где на площадке, тремя ступенями выше, стоял обитый дамасской кожей диван, чуть потемневший от времени.

Они сели. Напротив было большое окно, через которое просматривалась вся улица.

— Вы говорите по-итальянски?— спросил Джованни Теста.

— Очень плохо,— смутившись, сказал Яври, потрясенный тем, как этот человек почти безупречно владел языком его народа.

— Какие же языки вы знаете?

— Персидский и турецкий.

— Торговать — это ведь значит уговаривать. Как же вы решились податься в Европу, не зная какого-нибудь из европейских языков? И торговали, кажется, итальянскими товарами?..

И внешне и внутренне Джованни Теста произвел на Яври столь сильное впечатление, что он не сумел быть с ним неискренним. Кроме того, Яври еще не чувствовал себя в определенном русле, и в душе его мелькнула надежда, что, может, этот многоопытный и не равнодушный к судьбам армян человек смог бы ему чем-то помочь. И потому Яври решил чуть приоткрыть себя и свои замыслы.

— Я не купец, синьор Джованни. Я сын мелика Исрасла и путешествую по Европе. Магазин, в котором я торговал, принадлежит купцу Ованесу-Спирату. Я познакомился с ним в Константинополе. Он уезжал по делам в Рим, вот я и подумал, что торговля будет мне полезна, поможет приобрести навык общения с незнакомым народом, ну и язык чужой поучить.

— Хорошо придумали,— улыбнулся синьор Джованни.— Как прозывается меликский ваш род?

— Прощяны мы.

Морщины между бровями Джованни Тесты залегли глубже прежнего. Он заговорил как бы сам с собой:

— Да, Прош-Гасан, должно быть, из третьего колена рода Хахбакинов. Сын Хахбака-А — Хахбак-Б, а его сыновья Гасан, Джаджу, Васак, Григор, Абус. У Васака и жены его родились сыновья Мкдем, Папак, Прош-Гасан... Силен и велик ваш род и народу дал многих славных сынов. Чудесные строения Гегарда были созданы по почину Проша. Гри-

гор Кечареци тоже, должно быть, из рода Хахбакянов? — Он замолк, но так, словно бы вспоминал все новые и новые имена. А Яври, ошеломленный, смотрел на его широкий, гладкий лоб и все ждал.

— Куда вы поедете из Венеции? — неожиданно спросил Джованни.

— Сегодня вечером отправляюсь в Париж.

Синьор Джованни насупил брови, заметно мрачней:

— Жаль, мне бы не хотелось ограничиться одной-единственной встречей с вами. Вы и сами мне очень понравились. И то, что вы армянин...

— Будем надеяться, что мы еще встретимся. Друзья не расстаются навеки. Если бы я мог раньше себе представить, что в Венеции есть человек, заинтересованный судьбой нашего народа, столь хорошо знающий его историю, в доме которого почетное место отдано картине о героической Аварайрской битве, в первый же день прибытия в Венецию я был бы счастлив навестить вас...

Джованни улыбнулся уголками глаз.

В разговоре выяснилось, что Джованни Теста не чистокровный итальянец. Его прадед был грек, после падения Византии он вместе со многими греками эмигрировал в Сорренто. Потом греки частью перебрались в Неаполь и с годами ассимилировались. Дед Джованни родился уже в Италии. Мать происходила из немцев. Но все они считали уже себя итальянцами. Отец, Альберто, командовал войсками Тосканского герцогства и был историком. За то, что он был сторонником объединения Италии и сделал в этом направлении серьезные шаги, герцог сначала приговорил его к смерти, потом, принимая во внимание возраст и большие заслуги, сослал на принадлежавший тогда республике Сан-Марино остров Корсику.

Будучи в преклонных годах, синьор Альберто занялся мемуарами, иногда охотился. И однажды был ранен шальной пулей. Перед смертью он завещал сыну: «Если ты поставил себе цель изучать историю народов Востока, то займись этим серьезно. Знай, что там живут народы, которые зажгли свет во тьме Востока, но сейчас их самих вгоняют во тьму. Займись историей самого древнего из этих гонимых народов — историей армян. Пиши и говори об их судьбе всюду, вынеси это на суд человечества. Тем самым ты поможешь и своему народу».

После смерти отца Джованни Теста переехал в Венецию. И вот уже более тридцати лет он преподает историю наро-

дов Востока в университетах Венеции и Рима, имеет многочисленные труды, и в том числе по истории Армении и армянского народа...

По мощной улице проехала карета, запряженная четверкой лошадей. Яври выглянул, всюду были дома с высокими скатными крышами и застекленными верандами, вместо колонн поддерживаемыми кариатидами. Яври не сразу сообразил, где он находится, так отвлек его от мира действительности своими речами итальянский историк...

— Кроме удовольствий от путешествия, есть ли у вас какие еще цели?— спросил под конец Джованни.

— Если удастся, останусь учиться,— придумал первое попавшееся Яври.

— Вы вечно окружены врагами. Вам крайне необходимо одновременно с искусством дипломатии владеть тонкостями военного дела. Я могу черкнуть пару строк одному из преподавателей Парижской военной школы, по происхождению армянину, мать которого была в родстве с моей матерью.

Чудо, но, кажется, это так! Яври схватился за кончик спутанного клубка.

— Буду вам признателен!— приложив руку к сердцу, сказал Яври.

Вошла пожилая женщина, вся в белом, и волосы под белой наколкой. По всему видно, служанка. Она прямо от дверей проговорила:

— Синьора ждет!..

Сказала и удалилась.

В столовой никого еще не было. Но стол был сервирован на четверых. Было время обеда, и из супницы, стоявшей посреди стола, шел пар. Яври почуял запах куриного бульона.

— Пожалуйста, сюда!..— Джованни предложил гостю самое почетное место за столом, а сам сел поодаль. Стоявший рядом стул остался свободным.

Чуть спустя вошла сияющая улыбкой, помолодевшая и казавшаяся куда красивее, чем там, в магазине у Яври, синьора Лола. Она внесла с собой ощущение свежести. Подойдя к столу, она разлила суп в тарелки и села рядом с мужем. Джованни налил четыре бокала вина.

Они явно кого-то ждали. Но вот послышался перестук каблучков, и под шелест шелкового платья вошла златокудрая девушка, та самая, которая, открыв перед Яври дверь, стремительно исчезла. Сейчас ее волосы были собраны вы-

соко на голове, и круглый обруч с какой-то гордостью подерживал эту дивную красоту. Темно-лиловое платье с глубоким вырезом, сильно затянутое в талии, пышными складками ниспадало до пола. Она стояла, и только кончик башмачка выглядывал из-под платья. Одной рукой девушка слегка приподняла платье, а другую руку приложила к полубнаженной груди, так, словно прятала что-то очень таинственное под этой рукой с бирюзовым колечком на безымянном пальце.

Постояв так мгновение, она наконец улыбнулась голубыми глазами, полураскрыв и потом быстро сомкнув пухлые полудетские губы. Родители поднялись ей навстречу. Яври тоже. Отец представил гостю девушку.

— Наша дочь, — сказал он.

Яври направился к ней. И она тоже шагнула ему навстречу. Платье снова зашелестело, и комната наполнилась ароматом духов и девичьей свежести. Они пожали друг другу руки, и девушка первая назвала свое имя:

— Астра!..

— Яври.

— Оври? — попыталась повторить Астра, но, так как снова ошиблась, смутилась и залилась краской.

Искаженное имя Яври в устах девушки прозвучало так ласково, что он не только не старался поправить ее, а, наоборот, сказал:

— О да, Оври! Так и зовите меня — Оври!..

Астра улыбнулась, прикрывая шелковым платочком рот.

Восточная красота юноши очаровала Астру с первого взгляда. И сейчас, сидя за столом, она огорчалась в душе, что не может смотреть на него, не видит. Во-первых, потому, что сидят рядом, а во-вторых, из страха, как бы глаза не выдали ее восхищения.

Обедали сначала молча. Видно, никак не находилась общая тема разговора. Астра наконец не выдержала, глянула краем глаза и совсем близко увидела прямую линию лба, черную густую бровь, изогнутую дугой, глаз и длинные загнутые ресницы. Веко было опущено, лицо выражало озабоченность. Чуть с горбинкой нос тонул в черных усах и бороде.

Астра хотела было вздохнуть, но застеснялась. Положила ложку и долго не поднимала глаз, уставившись в тарелку...

Оври тревожится. О чем бы это? Кто знает, может, причиной тому несчастная любовь?..

Джованни провел салфеткой по губам и взялся за бокал с вином.

— Родные мои, — он обратил взгляд сначала к жене, потом к дочери, — выпьем-ка за нашего дорогого гостя! — и, чуть помолчав, добавил: — Он — потомок одного из самого могущественного рода страны Армянской, сын мелика Исраела. Поблагодарим, что оказал нам великую честь своим посещением.

— Я же сразу почувствовала, что он знатен родом!.. — не удержалась синьора Лола.

— Да, целью его торгового предприятия было сойтись с итальянцами. После путешествия по Европе он останется в Париже изучать военное дело!.. — И затем, обращаясь к гостю, синьор Джованни сказал: — Тяжела судьба армян. Окруженные иноверными народами, армяне всегда одни защищали свою страну и веру. Единоверцы ничем им не помогли. И пока никакой большой и сильной нацией не движет чувство гуманности и единения, армянам не приходится надеяться на помощь других. Надежда только на свой патриотизм. Один лишь он может породить в народе богатырскую силу. Желаю удачного возвращения и овладения искусством управлять народом сложной судьбы. Желаю сил для битв, достойных Аварайра!..

Все время, пока говорил отец, Астра была поглощена тем, кого она назвала Оври. Как только отец кончил, она с нетерпением стала ждать ответа юноши. И, неизвестно почему, ей казалось, что он будет говорить долго. Может, просто ей так хотелось? Однако Яври лишь поблагодарил за добрые слова и еще более погрузтел.

Астра решила вызвать его на разговор несколькими заученными ею с помощью отца армянскими фразами.

— Оври!..

Яври с улыбкой посмотрел на нее.

— Армянин храбрый, армянин умный, армянин красивый, армянин грустный. Вы армянин?..

Яври взглядом поблагодарил Астру.

— Говорят, ваша страна — страна высоких гор, так ли это? — спросила она уже по-итальянски.

— Да, горы у нас такие высокие, что, когда у их подножий раскрываются цветы, вокруг вершин еще долго бушуют снежные вихри. Но страна наша — это не только страна гор. У нас было и много равнин. Бескрайних равнин. Таких, что, если бы решил проехать их от горизонта до горизонта на коне, который мчал бы быстрее ветра, только

после пятого заката достиг бы противоположного конца... Вот какие у нас были равнины... И врагов было много... Они и отняли наши равнины. Чтобы сохранить себя и все свои ценности, мы укрепились в горах. Мы живем, как в Ноевом ковчеге.

Воцарилось глубокое молчание.

— Да будут благословенны защищающие вас горы! — с состраданием проговорила Астра, вкладывая в свои слова и другой смысл.

Яври улыбнулся, и Астре показалось, что он понял ее.

После обеда Джованни Теста удалился к себе в кабинет и вскоре вернулся с обещанным письмом. Вручая его Яври, он сказал:

— По-отечески благословляю в путь. Надеюсь, снова встретимся.

— Мы всегда будем ждать вас! — с грустью в голосе проговорила синьора Лола. — Спасибо за то большое удовольствие, которое вы доставили нам своим визитом.

— Что вы, синьора. Это вы оказали мне честь и помощь. Спасибо вам. В вашем доме я чувствовал себя, как в Армении, откуда вот уже год как выехал. Я расстаюсь с вами как с родными и всегда буду помнить этот день.

— Благослови тебя господь, сын мой! — Джованни Теста похлопал Яври по плечу и добавил уже по-армянски: — Счастливого пути!

Синьора Лола повторила армянские слова, сказанные мужем, поняв, что это слова прощания.

— А можно, чтобы синьорина Астра проводила меня немного?..

— Я думаю, наша дочь обязана это сделать, — любезно сказал Джованни.

Яври вместе с Астрой вышли на улицу. Оба молчали. Астра была озабочена тем, что не может говорить с Оври свободно — он ведь не силен в итальянском, на котором иногда говорят одно, а подразумевают другое. Яври же, почувствовав, что юная итальянка питает к нему нежные чувства, был озабочен тем, чтобы не дать разгореться пламени. Тем более что и сам он не остался равнодушен к ней.

Когда молчание слишком уж затянулось, Астра робко проговорила:

— Оври...

— Слушаю вас, синьорина.

— Куда бы вы ни отправились потом из Парижа, сде-

лайте так, чтобы дорога ваша прошла через Венецию. Ладно?

— Постараюсь.

И тон ответа, и то, что он назвал ее синьориной, не понравилось Астре. Яври это почувствовал, но не сделал попытки внушить ей надежду. Только когда они дошли до угла, где была галантерейная лавка, он остановился...

— Прошу, не откажите принять что-нибудь на память от меня.

— В залог чего?..— Она прижала надушенный кружевной платок к глазам и так, пряча взгляд, ждала ответа.

— В залог нашей дружбы. В память о тех армянских словах, что вы мне сказали. В память о новом имени, которым вы меня окрестили. Теперь я тоже буду называть себя иначе — Ори. Израел Ори...

И, однако, все сказанное не утешило Астру, не обнадежило ее. Но она тем не менее молча последовала за ним.

Он долго выбирал и наконец купил украшенный бриллиантами медальон и тут же попросил выгравировать слова, которые сказал Джованни Теста: «Человек должен порождать все самое человеческое!» Затем он надел медальон на шею Астры. Девушка улыбкой поблагодарила.

Однако предстояло расстаться. Ори взял в свои ладони тонкую теплую руку Астры и сказал:

— Будем друзьями и постараемся не забыть друг друга.

Астра не смогла ничего выговорить. Она лишь кивнула, медленно высвободила руку из его ладоней, с трудом оторвала от него взгляд, чуть отбежала и потом пошла все быстрее и быстрее, перестукивая каблучками по каменным плитам.

Ори стоял, пока Астра не дошла до угла. Она не обернулась, а он, признаться, ждал ее взгляда...

Он шел медленно, забыв про красоты Венеции. Ему казалось, что идет он по берегу Воротана, к роще чинар, где со скал падает вода, а на обломке скалы, под кружевом ивовых ветвей, сидит Рипсима: одной рукой подтирает щеку, а другой держит медный кувшин. Сидит и ждет. Кувшин давно наполнился, и вода бесшумно стекает по его стенкам, течет, смешанная с солнцем, которое вливается в нее сквозь мелкие листья ивы. Ори ускорил шаги, чтобы быстрее дойти до любимой, но пронзительный гудок оторвал его от дум...

Он осмотрелся вокруг. Дом, где он жил, давно позади.

Ори бросился в первую попавшуюся гондолу и стал торопить гондольера, чтобы не опоздать на корабль.

...На пристани было шумно. Грузчики с криками прокладывали себе дорогу. Мелкие торговцы сновали с лотками и наперебой расхваливали свой товар: апельсины и гранаты, жареные каштаны и сушеный инжир и еще всякую всячину. Хотя времени до отплытия судна было еще много, люди уже прощались, утирали слезы.

Зная, что провожать его некому, Ори поднялся по трапу, отыскал свое место и, выйдя на палубу, наблюдал за суетой в толпе на берегу.

— Яври!.. — вдруг в общем гвалте раздался знакомый голос.

Ори взглядом поискал и нашел Ованеса-Спирата. Хотел сбежать вниз, но носильщик поставил прямо перед ним тяжеленный сундук, и сойти с корабля ему не удалось — раздался третий гудок.

— На случай неудач помни! — крикнул Ованес-Спират и, сцепив руки, потряс ими в воздухе.

Ори закивал, замахал ему, показывая, что понял, что верит в дружбу, что зачем было беспокоиться...

Судно качнулось, отошло от причала. Ованес-Спират все махал. А воздух вдруг взорвался пронзительным женским криком:

— Оври-и-и!..

Он посмотрел туда, откуда донесся крик. Вон лиловый платок... Но берег был уже далеко, и Ори не мог откликнуться синьорине Астре. Он только поднял соединенные руки — как Ованес-Спират — и долго держал их так, пока синеватый платок не истаял в синеве моря.

Судно полным ходом устремилось в открытое море.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В сводчатых палатах дворца царила беспокойная тишина. Придворные восседали на подушках, устремив взгляды на узкий проход в глубине зала, с правой стороны. Там была лестница, ведущая на второй этаж. В полумраке виднелись только две-три нижние ступени. Но вот лестница осветилась. Показался сначала один золоченый башмак с загну-

тым носком, потом другой. Придворные еще более напряглись в ожидании. Выплыла отороченная собольим мехом пола темно-коричневого халата, затем появился круглый живот, опоясанный ярко-красным шелком, -- за пояс по рукоять засунута кривая сабля. И наконец предстал сам хан Мухаммед-Рза, во весь свой рост. На мгновение он остановился, молча кивнул поднявшимся ему навстречу назир-визирям и пошел к трону. Красный свет соскользнул со ступеней лестницы, и вход показался черней прежнего.

Стояла зима. Был полдень. Снег толстым слоем лежал на плоских крышах Нахичевана. В белой туманной завесе не было видно и ближнего дома. Хан Мухаммед-Рза, оторвавшись взглядом от окна, посмотрел на потрескивающий в камине огонь и сел. Визирь уставился ему в глаза. Но вот наконец и хан удостоил их вниманием. Оглядел всех и спросил:

— Что будем делать?.. Два месяца назад, как вы знаете, в ущелье у Змеиной горы кешиш Костанд со своими людьми изрубил отряд в двадцать пять кэлбашей, да еще и велел доставить их головы мне. Ценою трех десятков голов я уничтожил Шаапуникское меликство. У мелика Ираела не осталось наследника, который мог бы сменить отца и поднять павшее меликство. Шаапуник будет разделен между Нахичеванским и Ереванским ханствами, и конец тогда этому оплоту непокорных армян, опираясь на который они содеяли много злого против шахиншаха... Важная это победа, и одержал я ее без битвы... Однако несколько дней назад эти бунтовщики опять подняли головы — напали на мусульман-поселенцев. Возле Кафана то и дело бесследно исчезают кэлбаши. После событий в Хндзореске жители многих окрестных сел ушли в горы. Отряды Костанда Астанатци умножились и действуют теперь не только на Змеиной горе, но и в Смбабаберде, в Ехегнадзоре, в горах Гохтана, в Даште, в Цгнадзоре. Новые гнезда бунтовщиков появились в предгорье Арамазда, вокруг крепости Васак, в ущелье Ворота-на. Эти сведения достоверны. Их передал мне прибывший в Татев сборщик налогов, племянник хана Алама-Асадуллы Джумшуд-бек. Мы уже не можем свободно передвигаться по стране! — закончил хан.

— Всесильный хан, — первым заговорил главный визирь, — эти бунтовщики ведь в горах не травой питаются? Их кормят те же села...

— Ну и что? — с иронией спросил хан.

— Надо предать огню все эти села, — не обратив внимания

на иронию в голосе хана или не почувствовав ее, сказал визирь.

— А шаху мы будем пепел возить? И сами будем здесь камни жевать?

— Но почему мы должны позволять армянам издеваться над шахом, над тобой, наконец? — выпалил визирь и испугался своих слов. — Я не говорю, что надо предать огню все армянские села. По два-три в каждой округе... Это единственная возможность образумить тех, кто никак не желает смириться.

— Мы не можем иссушать питающие нас источники. Ни одного села не можем предать огню, пока наши новые поселенцы-мусульмане не привыкнут к оседлой жизни и не станут земледельцами и строителями. Придумайте пока что-нибудь другое.

Хан говорил резко, и визири были озабочены не тем, чтобы высказать свое мнение, они хотели одного: угадать его, хана, мнение.

Молчание затягивалось.

— Говори, казий! ¹ — не выдержал хан.

— Села и верно не надо предавать огню, как ты мудро считаешь, всесильный наш хан. Армянские села нас кормят, это наши источники. И иссушать их неразумно, — вторя хану, сказал судья и добавил: — Нужно, я думаю, раз в шесть месяцев в каждом из сел сажать на кол пять-шесть человек мужчин и женщин, из немощных, из тех, кто не способен работать. Надо карать их под видом бунтовщиков. Так мы будем держать в страхе всех, кто помогает бунтовщикам, — и они отойдут. — Он загнул мизинец на левой руке и глянул вверх. И так, уставившись в потолок, продолжал: — А вторых, мудрый хан, необходимо быстрее заселять армянские села мусульманами, и число их должно превысить армян, но не сразу. Вначале может быть и поровну. Главное, чтобы, живя бок о бок с армянами, они переняли у них искусność в ремеслах и в земледелии. А потом можно армян и вовсе извести. И еще надо немедленно изловить этого Костанда Астапатци. Заодно с ним уничтожить всех бунтовщиков. Как только они лишатся помощи сел, расправиться с ними будет легче. Только надо обязательно направить человека в Татев, к Джумшуд-беку, чтобы он со стороны гор, от Кафана до Шаапуника, помог нам взять их в кольцо и сжимать до тех пор, пока и птице будет не

¹ К а з и й — судья.

вылететь из этого кольца. Только так можно все ввести в берега.

Хан внимательно выслушал сказанное, но в ответ ничего не произнес.

— Говори ты, Мухаммед-Зулфи! — обратился он наконец к сардару.

Мухаммед-Зулфи встал, с важным видом верховного главнокомандующего всех оглядел и проговорил:

— Что мне сказать, всемогущий хан? Прикажи только, и я завтра же уничтожу смуту и доложу твоему величеству, что в границах твоего ханства дух армянский и тот изведен!.. Конечно, не легко придется, мы не привыкли воевать в горах, тем более в такую жестокую зиму. Бунтовщики укреплены в скалах, и каждый из своего укрытия может вывести из строя не меньше ста кзлбашей. Лучшее время для наступления, чтобы наверняка окружить их, — это март.

— Пятнадцать дней... На шестнадцатый они должны быть в кольце, от Кафана и до Шаапуника! — приказал хан. — Если наших отрядов и Татевского полка будет мало, обращусь к ереванскому и гянджинскому ханам; они, я уверен, помогут нам. Кому не известно, что зима помогает отыскивать следы? Закроем все проходы в горах, все дороги, отрежем бунтовщиков от сел, голод заставит их сдаться. Что ты на это скажешь, визирь Нури? — обратился он уже к главному визирю, который после своей нудачной речи был в некотором унынии.

— Мудры твои мысли, светлейший хан! Что еще могу сказать я, когда твоими устами говорит сам аллах.

Губы хана тронула самодовольная улыбка.

— Ну, так-то! Ты все записал, писарь?

— Все, что сказали уста моего хана и всех визирей, — сказал молодой писарь, высоко держа перо.

Хан хлопнул в ладоши, и из приемной вбежал слуга.

Он только глянул в глаза хану, без слов его понял, вышел и тотчас вернулся, неся гранатовый шербет в маленьких чашках. Хан и придворные пили напиток, причмокивая от удовольствия. Когда закончили, хан поднялся и сказал:

— В Татев поедет главный визирь! — Он посмотрел на кончик пера в руках у писаря, затем перевел взгляд на выход — и все поняли знак и покинули зал. Хан подошел к лестнице и покашлял. Каменные ступеньки тотчас осветились красным светом, и, приподняв полы халата, он взбежал наверх, сурово посмотрел на молодого слугу и спросил:

— Ты не слышишь нас?

Слуга, словно бы не поняв его, не ответил. Хан пожалел о том, что задал свой вопрос.

2

Хан Алам-Асадулла большую часть времени проводил в своих владениях в Атрпатакане. В Татев он приезжал только поздней осенью собирать дань и оставался там до конца зимы. В этот год его замечал племянник Джумшуд-бек. Бек — это титул побольше ханского. Джумшуд унаследовал его от покойного отца вместе с бескрайними владениями.

Визирь Нури направился в Татев к Джумшуд-беку, взяв с собой среди других даров и прекрасную Шогакат из Танакерта.

Шогакат была обручена с крестьянским юношей по имени Вшнасп. Как-то, проезжая мимо садов Танакерта, кзлбашский десятник, заслышав женские голоса, попридержал коня и увидел там Шогакат. Спешившись, он хотел было схватить ее. Но в этот самый миг не упускавший из виду свою невесту Вшнасп преградил кзлбашу дорогу и заколол его. После чего, собрав группу юношей из своего села, укрылся в ущелье.

Через несколько дней он узнал, что приказано пленить Шогакат и отпустить ее только после того, как сдастся Вшнасп...

Увидев юную девушку, визирь Нури онемел от восторга, так она была прекрасна. Однако разгульная жизнь рано лишила его радости наслаждаться женской прелестью, и визирю оставалось только гладить ее...

Перед отъездом в Татев визирь Нури решил расщедриться, отдать Шогакат Джумшуд-беку.

— Всесильный хан, — сказал он, — более дорогого подарка не придумаешь. Едва Джумшуд-бек увидит танакертскую красавицу, тотчас даст нам полк, а то и сам возьмется за оружие.

— Вези девушку, так и быть, но за оружие он не возьмется, потому что никогда не держал его в руках. Мы и без него обойдемся, пусть только полк даст...

Когда визирь Нури в сопровождении сотни кзлбашей ехал в Татев, в ущелье Воротана на них было совершено внезапное нападение. Кзлбаши до того растерялись, что и про оружие забыли, но нападающие увезли только девушку.

...И вот главный визирь Нахичеванского ханства сидит с

беком Маранда в татевской резиденции и улаживает его беседой, отогревая у очага свои промерзшие кости. Когда визирь Нури заговорил о войске, Джумшуд-бек невольно подтянулся и протер влажные глаза.

— Мы никак не можем покорить армян,— говорил визирь.— Они поднялись от Малого Сюника и до Шаапуника. Опасность увеличивается с каждым днем. И если шах, который наделил нас такими правами и силой, узнает, что мы не можем поставить на колени врага, нам всем несдобровать.

Настроение у бека сразу упало. После щекочущих разговоров о наслаждениях вдруг какая-то угроза, опять армяне, опять государственные заботы! Он с неохотой слушал визиря, который продолжал говорить все более мрачные слова:

— Нельзя допустить, чтобы так продолжалось. Здесь подняли головы новые бунтовщики из Арцваника. В позапрошлом году хидзорстанцы ввергли твоего дядю в тяжелое положение. В этом году жители Теха и Кориндзора отказались платить налоги. А техцы народ упорный, сказали «нет» — так оно и будет. Наконец, ужас что делает отряд Мирзаджана Мелик-Фарамазяна в Агванской долине. Он мстит за своего брата Мегри. А что творят бунтовщики на Змеиной горе? Жизни не дают мусульманам Нахичевана и Гохтана. И чтобы не опозориться перед двором, благословенный бек, чтобы не ввести во гнев нашего шаха, надо принять решительные меры! Необходимо отрезать горы Сюника, Гохтана, Нахичевана и Шаапуника и навсегда покончить с бунтовщиками. Я прибыл сюда от имени нашего сиятельного хана просить, чтобы для предотвращения угрожающей нам опасности ты поставил своих кзлбашей под общее командование.

— Этого я сделать не могу! — после продолжительной паузы ответил бек. — Потому что Татевский полк — вовсе не полноценный полк. Я открываю тебе это как тайну. В Дизмаре и Маранде в свое время тоже были волнения, и потому дядя оставил здесь ровно столько кзлбашей, сколько надо, чтобы мы могли себя защитить. Если я рассею войско по горам, на следующий же день армяне сбросят всех нас в Монастырское ущелье...

Визирь Нури терпеливо выслушал бека до конца и еще долго сохранял молчание. Потом наконец заговорил:

— Благословенный бек прав: если полк и без того слаб, не следует выводить его на другое дело... — Визирь снова

помолчал, а потом, как бы с болью в душе, сказал:— Дело в том, что самым тяжелым окажется тогда твое положение. Поясню почему: ни наши полки, ни вспомогательный полк ереванского хана не смогут разом покончить с бунтовщиками. К тому же эти полки понесут большие потери, потому что будут иметь дело с затаившимся, хорошо знакомым с местностью врагом. И если нам, в лучшем случае, удастся их потеснить, отступая, оставляя горы Шаапуника, Гохтана, Нахичевана, они найдут прибежище в горах Кафана, в Татеве, в ущельях Воротана, Дзагедзора. И тогда, конечно, положение в этих местах сразу ухудшится. И налогов с нечестивцев вы не получите, потому как сброд этот разрушит и растащит все, чтобы ничего не досталось ни шаху, ни тебе, благословенный бек. И потому, посылая меня сюда, мой хан прежде всего заботился о благополучии Татева.

Джумшуд-бек, внутренне очень взволнованный, внешне старался казаться спокойным.

— Если дело дойдет до того,— сказал он,— что мы не сможем требовать от местных меликов ответственности за нашу безопасность, тогда обратимся к шаху, и на помощь нам придут его полки.

— Что ж, будем считать наши переговоры оконченными.

Визирь Нури деланно улыбнулся и оборвал разговор, выражая этим твердость своей позиции. И надо сказать, он прижал бека. Тот занервничал, не знал, как снова вернуть визиря к прерванной беседе. А хитрому визирю только того и надо было. Уж он-то умел читать в душах людей...

— Между прочим, я ведь привез тебе мальчика,— как бы невзначай сказал визирь.— И какого мальчика...— Он причмокнул языком и тонкими губами приложился к щепотке соединенных кончиков своих костлявых пальцев.— Хан берег его для себя, но, собираясь сюда, я выпросил у него тебе в подарок...

И спустя мгновение на коврах стоял лорийский мальчик — босой, наголо бритый, в красном халате. Он не знал, что его ждет, озирался вокруг взглядом затравленного орленка. Бек воззрился на босые детские ступни.

Когда мальчика увели, Джумшуд-бек проговорил:

— Какая в нем непокорность!.. Армяне — удивительный народ. Победены, мы завоевали их, но ни на миг не можем чувствовать себя спокойными. Народ, подобный льву, который и убитый все шевелит хвостом.

— А он, кстати, не убит и не только хвостом шевелит,— заметил визирь.— Может ударить так, что и дух не перевер-

дешь. Вон ведь откуда и куда растянулся: от Гегамских гор до Змеиной горы, до Арамазда и Сгванаарта, до ущелий Джрахарнурда.

— Ты верно отметил, пронизательный визирь: отсецешь ему голову, а она снова вырастает.

— Именно поэтому храбрый Мухаммед-Рза решил обложить его со всех сторон, сделать так, чтобы лишить туловища, из которого может вырасти голова. Храбр и дальновиден Мухаммед-Рза, всеильный бек. Видал, как он убрал в пределах Нахичевана Шаапуникское меликство? Дай время, и он так же разделается со всеми мелкими меликствами Сюника. И тогда тебе уже не надо будет приезжать в Татев собирать налоги. Все эти земли присоединятся к твоим владениям и владениям твоего дяди. И знай, Мухаммед-Рза свершит это не ради своей славы, а во имя Магомета и священного Корана!

— Что ж, если создано общее командование, я тоже могу выделить моих кэлбашей, — сказал бек, словно это не он только что отказывался отдать своих воинов.

Главный визирь поскреб бороду:

— Но ты же говоришь, что полк неполный? Нельзя ли его пополнить? Дело в том, всеильный бек, что ни ты, ни твой дядя не знаете до конца все, что здесь происходит. Вы ведь бываете тут не постоянно. Очагом всех волнений является именно Сюник. И это не случайно. За ним меликства Кафана, Дзагедзор, Кашатахк, Хачен, Варанд, Дизак, Джраберд, Гюлистан. Они, как звенья в цепи, составляют одно целое. Вот почему дальновидный хан Мухаммед-Рза наибольшую опасность видит в этих местах, а не в Шаапунике или внутри своего ханства. В этих скалах сила армян удваивается самими горами, мой бек. Если станем медлить, то и шахские войска не помогут. Да шах к тому же не простит ни вам, ни нам, если эта лавина с гор скатится сюда! — тоном пророка закончил визирь и, вытянув сквозь усы и бороду красный кончик языка, смочил пальцы, поправил нависшие на глаза брови и пригладил усы.

Джумшуд-бек мгновение подумал и сказал:

— Нельзя считать, что полк мой слабый. После событий в Хндзорстане он пополнился и снова стал боеспособным. Только часть его, и то незначительную, хан Алам-Асадулла взял с собой. Нельзя не учитывать и того, что его командир — опытный военачальник Омар.

— Тот самый, что был наголову разбит в Хндзорстане? — ухмыляясь, спросил визирь Нури.

— Того Омара убили в селе Тех. А не убили бы, так хан Алам-Асадулла сам бы с ним расправился, хоть он и приходился ему шурином. Тысячник уж очень изоврался, пытаясь скрыть от хана позорное поражение в Хиндзорстане. Карашенцы, дзагедзорцы и алидзорцы потом почти всех перебили, и едва человек пятнадцать добрались до Татева... Вот так-то. Я надеюсь, теперь ты понял, главный визирь, почему я дрожу над этим полком? И если, о всемогущий Аббас, и у этого полка будет такой же бесславный конец, тогда уж несомненно шах Сулейман посадит нас на кол и заберет себе и Маранд и Дизмар. Тебе ведь ведомо, что наш шах, да убавит аллах моих лет и прибавит ему жизни, беспощаден...

— Все понимаю. Здесь враг не прольет ни капли крови. Сейчас, когда мы нашли общий язык, поговорим о деле. Начало наших действий назначено на пятнадцатое марта. До первого апреля кольцо окружения должно быть сжато и ни единого бунтовщика не должно остаться в этих горах. В течение этого времени к каждому из тех армян — будь то мужчина, женщина или ребенок, — кто выйдет за пределы своего села, будет применена смертная казнь. Но приказ об этом следует довести до населения не раньше тридцатого марта. Догадываешься почему, всемогущий бек?

— Д-да, мне ясно...

— Я тоже думаю, что ясно! — Визирь Нури хитро сощурил глаза.

— Итак, договорились! — заключил Джумшуд-бек.

Визирь Нури согласно кивнул и довольно заулыбался. Так как все окончилось успешно, к Джумшуд-беку вернулось хорошее настроение, он вспомнил о мальчишке из Лори, возжеленно потянулся, широко зевнул.

Вдруг вошел слуга визиря и сказал:

— Господин мой, мальчишка удрал! — Испуганно выпучив глаза и дыша тяжело, как загнанная лошадь, он ждал реакции своего хозяина.

— Какой мальчишка? — непонимающе спросил Нури.

— Тот, которого мы привезли в подарок беку, мой господин...

3

В начале февраля Костанду Астапатци стало известно о тайном решении ханского дивана предпринять окружение. Он спешно разослал гонцов во все концы, чтобы известить

повстанцев, объявить тревогу и однодневный траур в связи с годовщиной со дня падения Шаапуникского меликства и раздела его между Нахичеванским и Ереванским ханствами.

Первый из гонцов, который вышел из Смбабаберда девятого февраля, уже одиннадцатого к заутрене был в ущелье Джрахарнурда. Отряды мелика Мирзаджана Мелик-Фарамазяна, созданные после событий в Техе и Хндзореске, укрепились именно в этом ущелье. Одна часть — в Девичьей крепости, которая находилась слева от входа в ущелье, на высокой скале; другая — в пещерах Агванаарта, что в самом конце ущелья, там, где воды Джрахарнурда впадают в Воротан. Укрепляясь в этом ущелье, мелик Мирзаджан преследовал две цели. Первая — это останавливать следующие в Персию караваны с награбленным в армянских селах добром и деньгами, и вторая — внезапным нападением разбивать отряды кзлбашей, идущих из Персии в Сюник на помощь своим.

В том, что он разделил свои силы и расположил их в двух разных местах, сказалась многоопытность мелика Мирзаджана. Он считал, что, подвергнувшись нападению в первой точке, враг несколько расслабится, решит, что опасность позади. Вот тут-то, не дав ему прийти в себя, и можно бить в другом месте. Причем этот удар будет уже потяжелее. Мелик Мирзаджан часто так поступал и достигал цели. Все отобранное у народа он возвращал людям. И вместе с тем вселил такой страх и ужас во врагов, что те прозвали Джрахарнурд Кровавым ущельем...

И вот гонец соскочил с коня в Агванаарте, бросил поводья, вонзил копые в снег и, отойдя шагов на двадцать от коня и от копыя, сложив руки в рупор, крикнул в сторону высоких пещер:

— Э-эй, хндзорескцы и техцы! Я гонец от Костанда Астапатци! Слышите меня? У меня для вас важные вести. Не бойтесь, выходите. Видите, я отошел далеко и от лошади, и от копыя. Если попытаюсь хоть на шаг к ним приблизиться, можете стрелять в меня. Поверьте мне, спустите веревку, я поднимусь к вам. Да поскорее.

В одной из расщелин кто-то мелькнул. И вот в другой вырос человек гигантского роста. Он стоял, широко расставив ноги. На голове барашковая папаха. Из-под нее выбиваются длинные волосы. Бородатый.

— Кто будешь? — крикнул он сиплым голосом.

— Гаспаром меня зовут.

— Откуда идешь, Гаспар? И чего хочешь?

— Из Нахичевана я, из Смбаберда. От отца Костанда Астапатци. Письмо доставил!— Сунув руки за пазуху, он вынул письмо и помахал им над головой.

— Хорошая новость?— Человек бросил конец веревки, не дожидаясь ответа.

— Мне поручено отдать письмо в руки мелику Мирзаджану. Хорошее оно или нет, узнает он.

— Так и сделаем. А тебя тянуть или сам взберешься?

— Попробую не беспокоить тебя!— И хотя гонец в этих скалах был впервые, он довольно ловко поднялся по веревке вверх.

Пещера имела множество углублений, и все были заполнены людьми. Где-то спали, подложив под головы папахи, где-то латали трехи и одежду, а где-то готовили пули из свинца, точили копья, мечи и при этом весело беседовали.

Новоприбывший привлек всеобщее внимание. Люди побросали свои дела. От шума проснулись те, кто дремал. Гонец вмиг оказался в окружении людей. Те, кто не смог приблизиться, старались через головы рассмотреть пришельца, и казалось, что уже догадываются о цели его прибытия.

Гаспар спросил, кто будет Мирзаджан Мелик-Фарамазян.

Сгрудившиеся вокруг него люди оглянулись туда, где в глубине, облокотясь о седло из козлиной шкуры, стоял тот самый великан, который переговаривался с гонцом из расщелины и спустил ему веревку. Гонец приветствовал его по обычаю воинов — прижав руку к сердцу и затем подняв ее над головой, положил письмо на седло меликовой лошади и отошел.

Мелик Мирзаджан не спеша развернул послание, которое таинственно зашелестело, и, беззвучно шевеля губами в черной бороде и усах, прочитал его, по обросшему лицу мелика никто бы не определил, добрую или недобрую весть принесло письмо.

Мирзаджан сложил прочитанное письмо, тоже положил его на седло и окинул взглядом собравшихся. Вот он нашел, кого искал, и поманил к себе.

— Проводи и накорми гонца Гаспара!— сказал он и затем тоном приказа объявил:— Все спускайтесь в церковь!

В одной из впадин в скале еще в незапамятные времена была построена просторная церковь с двумя окнами, устроенными так, что все внутри освещалось ровно и мягко.

Все очень скоро собрались в церкви. И хотя не было тут ни икон, ни креста, не курился ладан, не горели свечи, все тем не менее стояли с непокрытыми головами, серьезные и сосредоточенные, как и подобает в святом храме.

Мелик стал лицом к людям.

— Письмо очень важное, — сказал он, — слушайте внимательно.

И начал читать, четко выговаривая каждое слово:

— «Костанд Астапатци, слуга Иисуса Христа, и волею божьей протоиерей церкви святого Саркиса в Норагюхе, и опять же незыблемой волею божьей вождь армян из Нахичевана, восставших Гохтана и Шаапуника.

Сюникским храбрецам и их вождю, потомку славного рода Мелик-Фарамазянов мелику Мирзаджану — благословенный и приветов бесчисленно.

Храбрые мужи сюникские, уже то, что вы оставили ваши теплые очаги, ваших престарелых родителей, ваших жен и детей и взяли за оружие против врага, не дает мне права считать, что наша нация на сегодня повержена и к горлу ее подставлен нож. Ваша решимость говорит о том, что наш народ хочет жить и будет жить. Это говорит о том, что вы и сами знаете, как справедливы наши действия, как не зря мы льем кровь за землю, на которой ее проливаем. Это говорит о том, что вы и сами знаете, что мы никогда не будем одиноки в нашей священной борьбе за веру праведную и за свободу народа. Но, храбрецы сюникские, чем более растет наше стремление жить, тем сильнее злобятся наши враги.

Итак, да будет вам известно, что диван нахичеванского хана решил уже пятнадцатого марта окружить все горы Сюника, Шаапуника, Гохтана, чтобы, под угрозой голода и истребления, заставить нас сдаться.

Армяне Сюника, помните: лучше умереть в бою с надеждой, чтобы жила родина, чем, сдавшись, жить на родной земле безродными! А потому готовьтесь к сопротивлению. Пусть предателю и трусу не будет места в наших рядах. Да будем едины духом, едины телом. В единстве главная сила, главный залог жизни, борьбы за жизнь!

Храбрецы армянские, сегодня в день годовщины падения Шаапуникского меликства, в день нашего общенационального траура, кзлбаши хотят праздновать новую победу. Но пусть траур обернется в вас гневом, и гнев этот да направит ваш удар по врагу, удвоив его силу.

Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!

Есмь и да буду с молитвами о возлюбленном народе своим отец Костанд Астапатци».

Мелик Мирзаджан положил письмо на алтарь. И снова, повернувшись лицом к собравшимся, засунул руку за серебряный пояс и долго молча смотрел на всех. Смотрел таким взглядом, что в людях невольно вскипал гнев. Они зашатались, закашляли.

Из угла прозвучал хриплый голос:

— Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!

Все узнали, чей это голос, но все равно обернулись. И хотя были заодно, но, глянув на человека, содрогнулись, — так горели гневом глаза в обрамлении всклокоченных волос и бороды.

Вскинули руки и трижды повторили эти принятые повстанцами слова клятвы:

— Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!..

Мелик Мирзаджан сошел к людям и, обернувшись к гонцу, который шел рядом, сказал:

— Все, что видел и слышал, поведай отцу Костанду Астапатци. А вместе с этим передай ему и наше нижайшее почтение, благословение божье и превеликую благодарность за то, что предупредил нас об опасности. Передай и это: чем больше будет нависшая над родиной опасность, тем мы будем сильнее и сплоченнее. Этим мы извечно преграждали и будем преграждать путь вражьиим лавинам. Передай отцу Костанду Астапатци и то, что мы не запремся в наших укрытиях и не будем ждать счастливой случайности. Наши ружья и наши мечи и стрелы остановят кзлбашей, чтобы черные их тени не прошли по нашей святой земле, чтобы не искали они пищи в нашей стране. И вы, в Смбаберде и на Змеиной горе, будьте такими же. Отцу Костанду Астапатци передай и то, что мы, взявшиеся за оружие сюникцы, не одиноки. С нами наши родители, наши жены и дети. И еще одно слово: если храбрецам Змеиной горы будет недоставать хлеба и мяса, шлите весть. Хоть на крыльях птиц.

Снова поднялись сжатые в кулак руки, снова троекратно прозвучали слова клятвы:

— Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!..

И в древней церкви, высеченной в скале, слова этой клятвы, набрав силу, эхом покатались по ущелью и вернулись обратно, как отклик дедов-творцов...

За день до этого в подземной складке ущелья Воротана зажглись свечи. При скудном, колеблющемся свете их видны были только лица. Лица измученные и бледные, в волосах по-юношески мягких и редких. Лица, изборожденные морщинами, искаженные. Лица, на которых только и есть что мрачные бороды и злые глаза. Лица, как на иконах, углубленные в думы. И одно лицо среди всей этой мрачности кроткое, как у богоматери.

И все эти лица были обращены к стройному юноше, который, казалось, только захоти — устремится, как стрела из натянутого лука. Это был Вшнасп, который со своим отрядом молодых людей пришел из Танакерта в ущелье Воротана, отобрал у визиря Нури свою Шогакат и присоединился к повстанцам, укрепившимся в этом ущелье, а вскоре стал и их предводителем.

Вшнасп уже прочитал письмо Костанда Астапатци и теперь говорил сам. Говорил внешне спокойно. После такого письма иначе нельзя, не сдержи себя — разорвешься от гнева...

— Сейчас в Вайоцдзоре, в Девичьей крепости, в Агванарте, в лесах Арцваника, всюду повстанцы-армяне собрались, как мы, и читают эти письма Костанда Астапатци о коварном решении дивана нахичеванского хана. В свете пламени этой свечи я словно бы и на расстоянии вижу их гневные лица, слышу их голоса, которые звучат как один глас народа. «Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!» — повторяют всюду слова клятвы непокоренные армяне. Наш отряд самый маленький, и опыт наш мал, и мы еще не привыкли к жизни на вершинах скал, но чтобы были нам мягкими камни под головой, чтобы мы выстояли зимние бури, чтобы ничто не смогло сломить нашей воли, давайте тоже повторим слова священной клятвы.

Смерть или свободная Армения! Мы будем жить!..

Все в один голос повторили за ним. Среди других выделился звонкий женский голос, проникающий в душу. Это был голос Шогакат.

Пятнадцатого марта весь день из низко нависших мрачных туч мягкими снежинками валил густой снег. К вечеру тучи поднялись, обернулись молочно-белыми сплошными

облаками, и снег теперь падал пушистыми подсвеченными хлопьями. Так продолжалось до полуночи. Утром шестнадцатого марта на ясном горизонте ослепительно блеснуло солнце, заискрился снег. Воздух был без запахов, холодный. Может, от ничем не нарушаемой тишины?

Казалось, что жизнь погребена под снегом. А ведь в эту пору в селах из домов должен бы струиться дым и голубые тени его должны бы смягчать слепящую белизну. И воздуху надлежало бы полиниться запахами сгорающих поленьев, распаренной шерстяной одежды и ячменного масла. Морды греющихся на солнце лошадей должны бы млеть от удовольствия, и от этого сами лошади должны бы ржать, да так, что от ржанья их должны бы оттаять горные ручьи и журча, нести свои воды, то сливаясь, то разливаясь. А юноши должны бы разгрести в снегу тропинки к родникам, и девушки с глиняными и медными кувшинами на плечах должны бы гуськом пробираться по этим тропинкам, наполняя все вокруг перезвоном сережек и бус, блеском пряжек на поясах, украшений во лбу и начищенных кувшинов. Над оврагами, на вершинах скал, должны бы появиться пастухи, пригнавшие стада на зимовье. Пастухи, и сами похожие на скалы, непомерно огромные в своих бурках и папахах, напоминающих стога сена, с широкими мечами в ножнах, отделанных змеиной кожей, с большими крючковатыми посохами на плечах. Они хоть и были бы очень далеко от сел, но должны бы периодически окликать своих отцов или братьев, и потревоженные их голосами собаки должны бы лаять и в селах и на зимовьях. И сквозь этот лай, откуда-то издали, должны бы доноситься до пастухов слова предупреждения о том, что лучше бы стада на пастбища не выгонять, а им, повстанцам-де, надо бы доставить сено для овец, овса для волов и для них самих надо бы соли и крупы...

Солнце поднялось довольно высоко, день разгулялся и потеплел. Там и тут с веток деревьев начал падать снег. Это единственное, что нарушало тишину, да еще дятел стал долбить кору, и, как ни странно, завывли шакалы. Обычно днем они не подавали голоса.

Наступил полдень. На снегу не было ни следа, если не считать тех немногих, что оставили шакалы.

Спустя час после полудня на вершине горы Кайцакаар вдруг появился всадник. Так как позади него голубело небо, черный всадник издали казался огромным. Вот появился второй, третий, и все они, уже вместе, двинулись. Потом

показались еще всадники. Эти вперед не поехали. Только головы их лошадей были видны за тремя другими. Они остановились и смотрели на Хндзореск.

— Ничего тебе не говорит эта тишина, сотник Хейдар? — спросил тысячник Омар-Дин, не глядя на сотника.

Хейдар побоялся высказать свое мнение. Чуть помедлив, он ответил вопросом на вопрос:

— А что думает наш мудрый полководец?

— Эти хндзорстанцы хитроумны, не учуяли ли чего?

— Не может быть! — с фальшивой уверенностью сказал сотник Хейдар и покосился на тысячника.

— И на улицах, и во дворах — ни души... Я хотел отомстить им. Это село — надежда всех других сел. Я развею в прах Хндзорстан. — Омар-Дин говорил сам с собой, не беря в счет двух своих помощников.

Но стоявший слева сотник, лошадь которого, казавшаяся меньше, чем он сам, с трудом выдерживала его тяжесть и потому он без конца ерзал на ней, льстиво приговаривал:

— Наш полк один раз уже был разбит здесь. Не так ли, мой господин? Стоит ли снова рисковать? Тем более что, как заметил острый глаз и ум моего господина, эта тишина и безлюдье несколько подозрительны...

Тон, каким сотник давал свои советы, не понравился Омар-Дину, но в душе тысячник был с ним согласен.

— Да, но откуда эти дьяволы могли узнать эту строжайшую нашу тайну? — Тысячник опять словно бы спрашивал сам себя.

И тот же сотник снова сказал:

— Мало ли предателей и шпионов? В самом диване хана Мухаммеда-Рзы...

— Лишнее ты мелешь, сотник Абулфас! — Омар-Дин рассердился не потому, что считал, что в диване у хана или во дворце у Джумшуд-бека не могло быть шпионов. Наоборот, ему это показалось настолько вероятным, что он ужаснулся. Ужаснулся и потому, что вторично провалить такое дело — это все одно что положить голову под топор хана Алама-Мсадуллы. Тем более в такое время, когда в Дизмаре прошли волнения и хан взбешен.

Сотник Абулфас продолжал:

— Как ни горько, но это так! — Лошадь мешала ему своим беспокойством, и сотник спешился, ухватившись за узды лошади Омар-Дина. И, глядя теперь уже снизу вверх, он не переставал рассуждать: — Мы прошли Алидзор, Ши-

нуайр, Хот, Караундж, Маганджуг, Арегун, Кори и вот Хндзореск. Встретили мы на этих дорогах хоть одного сельчанина? Мой господин не скажет, что встретили. И ты, мой тысячник, своим мудрым умом и острым зрением заметил, не мог не заметить, что всюду были наглухо заперты двери и окна, были пусты все двory и все крыши. Даже курицы мы не увидели. Это, конечно, подготовлено не одним днем. Уверен, многоопытный в военном искусстве тысячник думает так же. Конечно же так. И вот теперь наш полководец орлиным взором смотрит на Хндзорстан и опять же думает: «Что ж это такое? Мы же их ни о чем не предупреждали». Так или нет я говорю? И кто из нас может зорче разглядеть суть происшедшего, нежели наш многоопытный полководец тысячник Омар-Дин? И конечно же, поразмыслив над всем, наш вождь убедился, что были среди нас предатели и шпионы и они самое меньшее дней десять назад все донесли этим армянам. Не так ли, мой господин?

Омар-Дин не сказал ни слова в ответ. Он повернул коня к сгрудившемуся позади них войску и, став на стремяна, приказал:

— Развернуться вправо и влево!..

И пока двухрядное соединение развертывалось в два крыла, Омар-Дин, обращаясь к сотнику справа, сказал:

— Тебе поручаю командовать правым крылом, сотник Хейдар. Отрежь и перекрой входы в ущелья Дзагедзора, Воротана, Воротнадзора и пути сообщения между селами. И держи постоянную связь со мной. Если все будет не так, как этого угодно шахиншаху, нашему хану и мне, ответишь головой!..

— Отвечу головой, если все будет не так, как угодно нашему солнцеликому шахиншаху, господину нашему хану и нашему нанхрабрейшему из храбрых, львоподобному тысячнику!.. — выпрямившись в седле, отчеканил сотник Абулфас и подождал разрешения приступить к исполнению приказа.

— Иди! — сказал тысячник и повернулся к тяжеловесному сотнику, лошадь которого по-прежнему беспокойно дергалась под его тяжестью. — А мы будем иметь дело с одной стороны, с Хндзорстаном, Техом, Карашеном, Корнидзором, Аравусом, Хнацахом, Хазнаваром, Баяндуром, а с другой — с Арегун, Кори, Маганджугом. Бунтовщики этих сел укрепились в двух местах: ниже Джрахарнурда, в пещерах Агванаарта и в скалах Дзагедзора. Это самые отчаянные.

— Точно отметил, мой господин! — подтвердил слова тысячника сотник и добавил: — Не так, однако, страшен черт, как его малюют. Нам бы только терпение, чтобы голодом уморить этих «отчаянных» в их пещерах. Они ничего не смогут сделать.

— Ты считаешь, мы выйдем из этого дела без потерь? — спросил Омар-Дин, на сей раз удостоив сотника взглядом, чем очень польстил тому.

— Мой полководец умом своим способен постигнуть и познать непостижимое, в начале события угадать его исход. Это так. А коротким умом слуги его мы должны без ощутимых потерь завершить полное подавление повстанческого движения армян. И мой господин должен получить за это волею шаха титул сардара!..

Омар-Дин кашлянул в кулак.

Отряд, который должен был растянуться от Дзагедзора до Воротнадзора, удалился уже довольно далеко. Другая часть войска, выстроившись, ждала приказа. Омар-Дин направился к войску и на ходу бросил:

— Армяне этих гор и мертвые опасны.

— От армянина сейчас можно ждать ровно столько опасности, всесильный господин мой, сколько от человека, в которого выстрелили и попали, а он еще по инерции идет на стрелявшего с поднятым мечом, и едва попробует ударить, как рухнет и отдаст богу душу. Все, что предпринимают сейчас армяне, — это предсмертные потуги, мой господин.

— Не очень ли ты расхвастался, Хейдар?

— Я говорю то, что мой господин думает, но не высказывает, потому что его заботы глубже и значительней и он не спешит высказывать свои думы.

— Хейдар, — уже совсем подобрев, сказал Омар-Дин, — а не удобнее ли нам здесь переночевать? И место хорошее, есть где разбить шатры, и лес близко, будет из чего костры запалить...

— Нет, мой господин! — тотчас ответил сотник Хейдар. — Я знаю, ты спрашиваешь, чтобы испытать меня, потому как тебе ведь известно, что отсюда до пещер Агванаарта дорога долгая, и если мы переночуем здесь, то завтра на место прибудем усталые, измученные, и враг использует это, напад первым. Мы должны сегодня обязательно одолеть большую часть пути, чтобы на месте быть во всей силе.

— Подавай команду в путь!

Хейдар отдал приказ, и кзлбаши двинулись.

Тьму небесную ничем не смягчали звезды, которые словно бы стремились погрузиться в эту черную бездну, но сдерживали себя, чтобы на миг блеснуть еще ярче.

Оттого, что снег в Джрахарнурде уже растаял, и от густой непроглядной темноты горы казались черными, а ущелья бездонными пропастями.

Маленькая щель в Девичьей крепости светилась красным светом лучины, и в этой сплошной черноте она сияла, как звезда. Красный свет падал на куст, что рос чуть ниже, прямо в стене.

У подножия крепости в глубоком ущелье монотонно шумела река, и шум ее вторился в разветвлении множества других ущелий. Многоголосое эхо со всех сторон вливалось в полуразрушенную крепость, поглощая и новые шумы, врывающиеся в ущелье. А врывались ни больше ни меньше шумы войска Омар-Дина, топот копыт его конницы, мчащейся на свет в крепости.

Но часовые не дремали. Они увидели, как подошли и расположились в ущелье войска кзлбашей, и тотчас дали знать повстанцам. Этого ждали, и потому сообщение не вызвало паники. Только предводитель отряда Мелик-Фарамазян увеличил число часовых и приказал всем быть еще более бдительными.

Ночь и для той и для другой стороны длилась долго. Рассвет подсек ее белой полосой где-то в самом низу ущелья. Иссякая, ночь как бы уносила с собой и часть шумов, смягчала их. Спустия немного над белой линией горизонта сгрудились облака, сгустились и словно бы загорелись, подсвеченные лучами еще невидимого солнца. И стены крепости тоже стали желтыми.

По другую сторону ущелья, прямо против крепости, засветилась вершина скалы, и на ней появился рослый человек в сопровождении двух стрелков. Они подошли к самой пропасти. Стрелки стали на некотором расстоянии и натянули луки, а рослый, подняв одну ногу повыше, оперся локтем о колено и крикнул:

— Э-э-эй, э! Кто вы там, прячущиеся в развалинах крепости? Если не трусы, выходите, поговорим...

На крепостной вышке показался человек, тоже с двумя стрелками. Стоявший на скале кзлбаш презрительно хмыкнул и, играя могучими плечами, спросил:

— Как зовут тебя, храбрый армянский воин?..

— Артак, — сказал человек на вышке спокойно, не уподобляясь кэлбашу.

Тот опять заиграл плечами. Он и прежде слышал имя Артака в связи с Хндзоресской битвой. И вот этот человек сейчас стоял перед ним, и ничего-то в нем особо примечательного не было.

— Что у тебя на уме, сын Мирзаджана — Артак? — кэлбаш напустил на себя еще более грозный вид. — Какая цель?

— Кто спрашивает?

— Сотник Хейдар, помощник тысячника Омар-Дина.

— Сотник Хейдар, а тебе разве неведомо наше желание?

— Значит, неведомо, раз спрашиваю.

— Мы не желаем, чтобы вы жили в нашей стране, хозяйничали в ней и правили народом нашим. Но, как тебе известно, у нас не хватает сил, чтобы изгнать вас, вот мы и забрались в эти горы, чтобы каждый из нас, умирая, мог бы хоть десяток врагов уложить.

— Понятно. И до каких же пор так будет?..

— Вечно. Из поколения в поколение, пока враг будет ступать по нашей земле и пока бог не поможет нам.

— Понятно! — снова прогремел в ответ сотник Хейдар. — Но бог вам не поможет, потому что нет у вас бога. Если бы он у вас был, давно уж протянул бы вам руку помощи. Образумьтесь же наконец, армяне! Нет иного бога, кроме аллаха, и Магомет его пророк. Зачем понапрасну кидаетесь в жерло смерти? Благословен наш шах Сулейман, он избранник аллаха и потому умеет прощать заблудших. Он завоевал вашу страну, но позволил вам остаться такими, какие вы есть, — безбожниками, противниками аллаха и великого пророка его — Магомета. Позволил, полагая, что вы образумитесь, станете правоверными мусульманами. Но вы не знаете меры в своей непокорности. И потому я по приказу моего господина тысячника прибыл передать вам последнее решение могущественнейшего шаха Сулеймана. Он еще раз прощает вам ваши заблуждения с условием, что вы сложите оружие, спуститесь с гор, приметесь за работу и впредь будете покорны. Ну, а не подчинитесь, опять же повелением шаха, наместника аллаха на земле, мы будем жестоко преследовать каждого — и старого и малого, и женщин и мужчин. И эта река, в которую впадают воды верхних источников, станет красной от крови... Выбирай, Мелик-Фарамазьян Артак, что тебе выгоднее. Если подумать хочешь, иди подумай, даю тебе день на размышления.

— Думать мне нечего.

— Говори тогда свое решение.

— Наше решение прежнее. Будем жить как армяне, и страна наша была и будет вечно называться Арменией.

— Шелудивый пес! — сотник зло сплюнул и повернулся, чтобы уйти.

— Хейдар! — крикнул Артак.

Сотник обернулся.

— Не в наших обычаях поднимать оружие на того, кто явился вести переговоры. Но сегодня я волен поступать по вашим законам. Ибо ты не сохранил достойной выдержки, позволил себе издеваться и надо мной, и над всеми нами. Коль сошлись мы не на жизнь, а на смерть, так давай испробуем силу наших стрел, начнем первыми...

— Чего это ты расхвастался, Артак?..

Стрелки Хейдара, видимо получив на то его разрешение, один за другим выпустили стрелы, которые, однако, не долетев до крепости, упали в ущелье. Попробовал метнуть стрелу и сам Хейдар, со злостью выхватив лук у одного из стрелков. Его стрела должна была пронзить Артака, не сумей тот увернуться. И тогда Артак взял в руку две стрелы. Пустил первую. Сотник Хейдар наклонился, и стрела пролетела чуть выше его головы. Но едва он приподнялся, вторая стрела угодила в висок. Сотник подогнулся в коленях и упал. Два его кзлбаша не сумели удержать тяжелое, могучее тело сотника, и он рухнул в ущелье. Видевшие все это кзлбаша начали в ярости обстрел крепости. Пошли в ход и ружья и стрелы. Ущелье гремело, облака белого порохового дыма сгущались. Ответных выстрелов из крепости не было. Лишь изредка вылетали одиночные стрелы, а то и мушкет прогремит, и почти всякий раз они достигали цели.

Крепость извечно была неприступной, потому ее и прозвали Девичьей. Воздвигнутая на высокой скале, она веками подмывалась в подножии водами реки, и воды эти, подрывая ее с четырех сторон, сделали крепость еще более неприступной, подняли к небу. Сейчас она была связана с внешним миром всего лишь узенькой тропкой.

Кзлбаша шли вперед, подстегиваемые своими же криками, выстрелами и еще тем, наверное, что убили их известного сотника, что души их полнились ненавистью...

Но вот выстрелы вдруг прекратились и ущелье наполнилось бешеным лаем собак и дикими воплями.

А случилось вот что: когда засевшим в крепости повстанцам стало известно, что их хотят окружить и заморить го-

лодом, они собрали сюда из сел всех собак — бесхвостых и безухих, закрыли в погреба и стали кормить их сырым мясом да кровью. И вот теперь, когда вражеское кольцо начало сужаться, собак выпустили, и они, разъяренные, набросились на пришельцев. Те от неожиданности не успевали перезаряжать ружья. В рядах кзлбашей поднялась паника. А тем временем из щелей в крепостной стене обрушился еще и дождь стрел, и противник совсем растерялся...

Оставшихся в живых собак вернули назад только поздно ночью, когда лай их перешел уже в вой и когда, кто знает почему, они начали грызться друг с другом.

7

Джумшуд-бек спешно созвал в Татев всех меликов Сюника, всю местную знать, представителей епископатов и общин и всех сотников.

В назначенный день прибыли из Брнакота сын Сукиаса Шахназар, из Ангехакота сын Мелкона Сафраз, из Шаки Джаваир Саруханян, из Лори сын Агаджана Паум, из Сициана, сын Мгера Акиз, из Шагата сын Яври Наринбек, из Танаата Грант Исаджанян, из Ерицатумба Мовсес-Матевос, из Вагадна сын Атома Нав, из Алидзора сын Григора Аствацатур и писарь Багдасар, из Арцваника Бабкен Тер-Тадевосян, из Гомри Сурен Мелик-Мартirosян, из Беха Сурен Аствацатрян, из Каварта княжич по имени Васак, из Теха мелик Бархудар Мелик-Бархударян, которому к тому времени было уже лет двадцать, из Ханацаха прибыл сотник по имени Бахши, из Хндзореска — Нерсес Грдиланц, Айрапет Чалунц и Айрапет Колунц. От общины Цицернаванка прибыл архимандрит по имени Григорис, от общины Воротнаванка — епископ Абраам и архимандрит Бардугимеос, от Бгнованка прибыл отец Давид. Настоятель Татевской монастырской братии прислал преосвященного Вана, протоиерея Егише, архимандрита Месропа. Само село Татев представляли сотник Ага и глава большого семейства Вардазар Межлумян.

Все эти люди и еще другие, чьи имена не названы, сидели в зале в ожидании бека. Но так как он запаздывал, а все уже успели обменяться новостями, то теперь оставалось молча смотреть в окно на купола Татева с крестами.

День был мрачный, померкшими и мрачными были и кресты.

Наконец скрипнула низкая боковая дверь и привлекла внимание всех присутствующих. Некоторое время она оставалась открытой, потом показался Джумшуд-бек и с ним великий визирь Дизмарского ханства, который, в связи с чрезвычайностью событий, по личному повелению хана Алама-Асадуллы срочно прибыл из Гандахара в Татев, чтобы разумными советами помочь Джумшуд-беку.

Бек на мгновение остановился в дверном проеме, оставив позади себя низкорослого тучного главного визиря, бросил недобрый взгляд на армян и прошел к своему месту, сохраняя в глазах все то же недоброе выражение. И только когда нога его коснулась подушки, он отвел взгляд от зала и сел, не поздоровавшись. Потом стал буравить взглядом сидящих. Злорадно усмехнулся.

Мелик Сафраз не выдержал.

— В чем дело, Джумшуд-бек? — спросил он.

— Мелик... Ты выходишь за рамки дозволенного! Как ты разговариваешь с беком Дизмара, поставленным над тобою господином по приказу самого властителя морей и суши, шахиншаха Сулеймана?

— Хватит унижений! Уже выше головы! Больше не выдерживаем!

Мелик Сафраз говорил столь смело, будто за спиной у него стояло могучее войско. И смелость эта не на шутку испугала бека.

И зал вторил мелику:

— Хватит!.. Не выдерживаем!..

Джумшуд-бек не мог позволить себе отступить от своей первоначальной задумки, хоть сделал бы это сейчас с огромным удовольствием. Он встал и громко спросил:

— Вы когда-нибудь где-нибудь видели такое или слышали, чтобы страна, завоеванная могучей державой, имела свое войско? — Он подождал ответа и сказал: — Отвечайте, я спрашиваю...

Не отвечали, хотя поняли, о чем речь ведет.

— Так неужели вы думаете, что вам позволят вооружаться?

— О каком войске речь, бек? — это спросил преосвященный Ваан. — Клянусь моим крестом! — он положил белую руку на крест у себя на груди. — Нет никакого войска и не может быть. Откуда в нашем истерзанном народе столько силы, чтобы взяться за оружие и содержать войско? Не верь наушникам. Это принесет нам много бед. Но не только нам, и вы пострадаете понапрасну.

— Ты не прикидывайся овцой, чернорясник, и меня не принимай за овцу. Вы превратили ваши церкви и монастыри в крепости. Носите кресты на груди, а снимите с вас сутаны, под ними наверняка оружие.

Мелик Сафраз вскочил с места. Паум потянул было его за руку, но Сафраз резко вырвался.

Все сразу напряглись.

— Джумшуд-бек, опомнись! — сдерживая гнев, сказал Сафраз. — Ханства в Сюнике не было, нет и не будет!.. Мы хозяева нашей земли! — При этих словах голос мелика звучал громче и голубые глаза его метали молнии. — Ни твой сородич хан Маранды Алам-Асадулла, ни твое высочество бек Дизмара не вправе распорядиться в нашей стране, как в своих владениях. Вы здесь — сборщики дани. Не больше. Однако забываетесь... За кого ты нас принимаешь, Джумшуд-бек, — мелик показал на сидящих, — что позволяешь себе при нас оскорблять нашего духовного пастыря?

Армяне задвигались, зашумели.

— Давайте сегодня же пошлем человека к справедливому шаху, пусть спросит, какими правами шах наделяет сборщиков дани, — попробовал дать разговору иной поворот Паум, обращаясь ко всем сидящим армянам. — Заодно пусть поведает мудрому шаху, что нельзя нам больше так жить, что и хан Алам-Асадулла и его племянник Джумшуд-бек только и знают что губят народ наш, издеваются, придумливают все новые пытки и этим способствуют тому, что люди оставляют свое дело и, взявши в руки оружие, уходят в горы, спасаются как могут. А это ведь ой как невыгодно благословенному шаху. Какую уж тут дань собирать, когда люди, вместо того чтобы работать, вынуждены уносить ноги от мучителей.

— Верно говорит, обязательно надо послать человека к великому шахиншаху! — прозвучал молодой голос вслед за Паумом. Все посмотрели в сторону, где сидел говоривший. Это был юный Бархудар Мелик-Бархударян, широкоплечий и стройный, с черными огненными глазами, со сросшимися бровями и с ямочкой на одной щеке. — Так сделал шаапуникский мелик Израел. Явился к шаху, рассказал ему обо всех злодеяниях, которые совершал нахичеванский хан Шариф в Шаапунике и в самом Нахичеване тоже. И шах, чья справедливая рука достойна лобызания, велел срубить голову гонцу хана Шарифа, приехавшему к нему с ложными донесениями, да еще и отослал ее, эту голову, хану, чтоб

впредь не лгал и беззаконием не занимался. И нам нельзя больше терпеть, братья. Что же это такое?..

Все присутствующие знали, какой коварной была игра шаха и как хан Мухаммед-Рза разделался с Шаапуником. Молодой мелик тоже хорошо все знал.

Он намеренно сейчас говорил так. Все его понимали и поддерживали.

— Мудр и справедлив шах Сулейман, и мы его покорные подданные. Спросим у него, узнаем, как нам быть! — сказали люди.

Молчали только некоторые из армянских сотников. Они одинаково боялись и армян и кэзбашей.

Джумшуд-бек в душе злился на своего великого визиря, по совету которого были созваны эти люди, притом в такой момент, когда в Татеве у него никого, кроме телохранителей и часовых, нет. Но бек усиленно показывал, что сказанные тут слова его вовсе не волнуют. Сложив руки на груди, выставив ногу и сощурился глазами, он выслушал все до конца и долго еще, после того как армяне уже кончили говорить, оставался в такой позе. Армяне теперь сидели молчаливые и мрачные, а бек думал о том, как ему выйти из трудного положения. Поза выражала гордость, а в душе было смятение. Смута в Гандахаре, ответственность перед жестоким сородичем ханом Аламом-Асадуллою, доверившим ему в такое тяжелое время столь ответственное дело, которое он тут совсем запутал, — все это ужасно. Ответ за все придется, пожалуй, держать перед самим шахом!.. Взгляд Джумшуд-бека полнился ядом, и яд этот скапливался против нахичеванского хана Мухаммеда-Рзы и его великого визиря, которые втянули его, бека, в свои сети, выудив из спокойной жизни.

Джумшуд-бек чувствовал, что гневное молчание его слишком затянулось и, чего доброго, потеряет свой устрашающий смысл. Он вскинул руки, покачал головой и пробурчал:

— Так, так...

Главный визирь, который, сложив руки на животе, не отступно стоял рядом с беком, с трудом согнул тостую шею и что-то шепнул на ухо господину. Тот не шелохнулся. Но, видно, и молчание было знаком того, что говорить разрешено. И визирь шагнул вперед. Вид у него был весьма грозный. Скуластый, с широким плоским носом, и глаза вроде бы один выше другого. Выйдя вперед, визирь оглядел всех своим выпученным слезящимся глазом и начал гово-

речь. Голос у него оказался мягкий и звонкий. Таким бы доброе говорить.

И он заговорил добро:

— Я попросил могущественного владыку Дизмара сительнейшего Джумшуд-бека, чтобы он не очень гневался в ответ на ваше возмущение. И надеюсь, что всесильный бек, из уважения к своему старому визирю, смягчится и не обрушит на вас огня. Хотя... — Визирь склонил голову и вторым, запавшим глазом тоже наставился на армян. А глаз был неподвижный, черный, немигающий. — Хотя... — повторил он, — вы все, здесь сидящие, заслуживаете того, чтобы вас казнили. — И, резко обернувшись, визирь посмотрел на бека, который, смежив веки, возлежал на подушках и словно бы думал, что ему предпринять. Но вот бек открыл глаза, и визирь прочел в его взгляде одобрение. — Так вот, — снова заговорил визирь. — Дальше так не пойдет, армяне. Вы знаете, что послушный ягненок двух маток сосет. Отчего же не хотите быть послушными? Отчего столь непокорны? Вы думаете, если шах узнает, что горы и ущелья Сюника полны бунтующих армян, он похвалит вас за это? Великий шах скажет вам то же, что и бек... Всем ясно, что эти отряды повстанцев есть не что иное, как замаскированное войско. Вожди Сюника только и ждут удобного случая, чтобы двинуть его против шаха. Вам всем известно, что несколько дней тому назад мелик Мирзаджан Мелик-Фарамазян в Агванаарте и его сын Артак, окопавшийся у Девичьей крепости, уничтожили сто семьдесят кэлбашей и трупы их бросили собакам на растерзание. Как это называется? Вы понимаете, что значит осквернять души павших за Магомета?.. Если победоносный Джумшуд-бек спустит вам это, сам аллах ниспошлет на вас огонь. Против вас всколыхнется гнев всего мусульманского мира, едва прознают про такое зверство безбожников по отношению к слугам аллаха! — Визирь погрозил в зал кулаком и снова обернулся к беку.

— Говори, говори! — поддержал его тот.

Но, неведомо почему, визирь вдруг сбавил пыл. Вытер ладонью влажный глаз и с притворным укором в голосе сказал:

— Ну как же так, армяне? Дальше так нельзя... — Глаз снова заслезился.

Воспользовавшись минутной паузой, Бабкен Тер-Тадевосян из Арцваника спросил:

— Кажется, в Воротнадзоре тоже разгромлен отряд кэлбашей? Не так ли?..

— Так! — нехотя подтвердил визирь.

— И повстанцев в Воротнадзоре, мне помнится, возглавляет юноша из Гохтана. Не так ли?..

Визирь посмотрел на бека.

— Кажется, так, — пробурчал Джумшуд-бек.

— Говорят, что поначалу с юношей в ущелье ушли всего одиннадцать человек. А сейчас их много больше. Знаешь, главный визирь, почему этот юноша стал повстанцем, попал из Гохтана в Воротнадзор? Все потому же. Кэлбаши похитили его невесту. И нахичеванский визирь Нури хотел подарить девушку Джумшуд-беку, задобрить его, чтобы он выделил свой полк на подмогу нахичеванской рати в борьбе с армянами. Юноша проведал об этом, узнал, что визирь должен проехать через Воротнадзор, и засел там в засаде, отбил у Нури свою нареченную. Отбил и остался в ущелье, чтоб другим помогать в беде. Сейчас его отряд увеличился. А знаешь почему, благословенный визирь? Потому что, потеряв девушку, визирь Нури, чтобы не приехать к беку с пустыми руками, похитил в Лори мальчика. И лорийцы и все жители этой долины в отместку вооружились топорами и пошли в отряд юноши из Гохтана. Правда, мальчику удалось бежать. Но что же это творится? Мы не знаем, видит ли все это ваш аллах или нет, и если видит, то как это расценивает. Но мы, армяне, с этим смириться не можем. Вот из-за таких-то надругательств и образуются отряды, которые уходят в горы и ущелья, чтобы биться за свою честь.

Среди армян снова зашумели.

— Уймись, я еще не кончил! — вскричал визирь. — Что вы взваливаете дела и поступки нахичеванского хана да его визиря на моего бека! Они у себя хозяева, как хотят, так и правят. Ни сюникцев, ни нас это не касается.

— Откройте дверь, ведущую из монастыря в захваченную вами маслобойню, и позвольте кому-нибудь из наших спуститься в подземелье!.. — еще больше разволновался Бабкен. — Каждый день из наших сел исчезают совсем еще дети — девочки и мальчики. Куда деваются эти невинные души?.. От криков кружащих над ущельем стервятников глохнут люди. Отчего их так много слетается? Оттого что, усладившись невинными жертвами, вы сбрасываете их в это ущелье на съедение стервятникам!..

— Мы прямо отсюда направимся к шаху! — взорвался зал.

Джумшуд-бек, хоть он и побледнел, попробовал было

сдержат армян. Он жестом предложил визирю отойти в сторону и сам с места ответил говорившему:

— Мелики армянские, духовные отцы и сотники, одумайтесь. Есть ли на свете государство, которое не имело бы темниц, не судило бы и не казнило преступников? Здесь есть ваши владения, и вы в них — власть. А над вами тоже власть. Наша власть. И у нас есть свои темницы, и в них, понятно, несут наказание и армяне. При этом люди обоего пола и всех возрастов. Не пытайтесь вмешиваться в наши государственные дела. Ведите себя как подобает подвластным.— И, обернувшись к визирю, бек сказал: — Продолжай!..

Визирь понимал, что значит продолжать. Понимал, что хоть бек и был строг, но ему хотелось, чтобы визирь успокоил армян, ни к чему это, чтобы они шли к шаху с жалобой. Шаху не по нраву те, кто не может сомкнуть вокруг армян огненное кольцо так, чтобы им на пути к нему было его не прорвать. А уж если к нему все же прорывался кто-нибудь из армян, шах приходил в бешенство и нещадно наказывал своих наместников — ханов и беков.

На счастье, Джумшуд-бек и его великий визирь не догадывались, что армяне боятся шаха не меньше, чем они, и что все угрозы «пожаловаться шаху» — уловки, в надежде сдержать произвол.

— Всесильный господин! — снова начал визирь, обращаясь к беку.— Уважь мои годы. Я думаю, не стоит портить кровь всемогущему шаху. У него и без того много забот, да он еще сейчас в таком состоянии, когда гнев его может быть безграничным и наказание жесточайшим. Жалко тех армян, кои безвинно пострададут заодно со смутьянами. Будь милостив, великодушный бек, каким и должен быть истинный служитель Магомета...

Джумшуд-бек не сказал ни слова, но выразительно вздернул бровь: мол, пусть сначала заверят, что не пойдут жаловаться.

— А вы, собравшаяся здесь армянская знать, будьте благодарны всеильному беку, который, вняв моей мольбе, прощает вас.

Воцарилось молчание.

— Однако...— это заговорил бек. Он угрожающе поднял указательный палец, выпрямился и объявил свое решение: — Кровь ста пятидесяти калбашей надо оплатить!

На это ответил мелик Наринбек:

— Если мы расстанемся, примирившись друг с другом,

то как понять твою речь об уплате, солнцеликий бек? Какой новой данью ты собираешься нас обложить? У нас и так ведь положение — хуже некуда. Один за одним гаснут очаги налогоплательщиков. Люди уходят в горы...

— И что же ты прикажешь мне делать, старец?..

Бека взбесило то, что сказал Наринбек. Чего захотели — примирения.

— Он прежде всего мелик, господин бек, а не старец, — строго сказал Мелик Сафраз. — А что надо делать, скажу я. Не мы убили ваших людей. И не нам платить за их кровь. Убили их повстанцы, так они и нас могут поубивать, если пойдем против них. Надо прекратить унижать людей, облагать их все новыми податями. Вот что надо делать, если вы хотите завоевать доверие и расположение армян. Я даже думал, что, если пойдем к шаху, я и ему скажу, как надо относиться к армянам. Тогда вам, может, даже удалось бы в свою веру их обратить...

В зале раздался гул возмущения. Те из армян, кто не понял иронии Сафраз, бросили на него мрачный взгляд. Но мелик сделал движение головой, и армяне притихли, хотя смотрели настороженно.

Мелик Сафраз тем временем закончил свою речь:

— Вот что надо делать, наш бек и наш добрый визирь. Подавить страну мечом — это еще не значит завоевать ее!..

— Возвращайтесь к своим делам, — устало и раздраженно объявил бек. — А мне надо подумать, какой мне держать ответ перед шахом за то, что разбит еще один полк...

* * *

Стояла осиянная снегом ночь. Все сплошь бело. Только скалистые вершины высоких гор выделялись на синем звездном небе. Вбирая в себя свет звезд и снега, они тоже словно бы светились.

Воздух был напоен морозной свежестью. Все глубоко вздохнули, и преосвященный Сурен, осенив себя крестом, сказал:

— Благословение господу, что помог нам унять бека, заткнуть ему глотку.

В ответ прозвучал голос мелика Бархударя:

— Раз закроешь, два закроешь, а потом? Надо искать иной выход, преосвященный. Выход к спасению. До каких пор нам так мучиться?..

— Твоими устами глаголет истина, — сын мой, — согла-

сился преосвященный.— Да воздаст тебе бог за смелость и благородство. Будем надеяться, что волею божьей ты сам отыщешь желанный выход. Мы, как видишь, уже немолоды и, затыкая глотки врагу, выгадываем время для тебя и твоих сверстников.

...В это самое время в приемной, все еще лежа на подушках и тупо разглядывая перстень на пальце, бек думал. Главный визирь не думал, но молчал. Джумшуд ждал, что молчание это первым нарушит визирь, скажет что-нибудь обнадеживающее. Он ждал, а тот молчал. Бек не вытерпел; оторвав взгляд от перстня, он шумно вздохнул и пробурчал себе под нос:

— И зачем я призвал к себе армян, ничего ведь из этого не вышло... Разве так все должно было быть?

— Так! Только так, всесильный господин мой! — успокоил главный визирь.— Могущественный властитель Дизмара никогда не ошибается.

— Какой сейчас месяц?..

— Раби-аль-аввал.

— Раби-аль-аввал, Раби-аль-сани, Джамоди-аль-аввал, Джамоди-аль-сани, Раджаб!.. — загибая пальцы, бек распевно назвал все месяцы и прикрыл глаза.

— О чем это ты, мой господин? — поинтересовался главный визирь.

Бек помолчал, но потом вдруг сказал:

— Хоть бы приехал хан Алам-Асадулла. С этими армянами трудно, очень трудно.

— Их вообще не должно быть, мой господин. Но не мечом надо уничтожать армян. Они сами по себе сгинут. А разом их не уничтожишь. Надо поглотить их, смешать кровь. На это потребуется время. Ты очень мудро поступил, мой господин, не дав им пойти с жалобой к шаху, ты спас нас от гнева солнцеликого шаха. А сейчас тебе надо отдохнуть. Ночь уже наполовину прошла.

Джумшуд-бек широко зевнул.

8

Мухаммед-Рза срочно потребовал во дворец своего главного визиря, сардара, судью, меймандара, начальника внутренней охраны и главного палача.

— У меня во дворце завелись уши, которые все слышат и доносят армянам, — сказал хан.— То, что у Змеиной горы обезглавили двадцать пять кзлбашей, возвращавшихся из

Шаапуника, и то, что наше решение об окружении повстанческих очагов с целью отрезать их от сел армянам стало известно раньше, чем наступило шестнадцатое марта, подтверждает мои подозрения. Есть и много других фактов. Даю вам пять дней. Тебе, начальник внутренней охраны, тебе, главный палач, и тебе, судья. Если за это время вы не обнаружите ползучей змеи в моем дворце, я жестоко разделюсь с вами... Для чего в доме кошки, если мыши вольготно хороводятся? Тогда хозяину остается запихнуть их в мешок и сбросить со скалы. Верно говорю? — он испытующе уставился на собравшихся.

— Горько слышать, что среди нас завелся предатель, — от имени всех заговорил главный визирь. — Это — предательство вдвойне — и хану и исламу. В таком предателе, не иначе, течет христианская кровь. Невозможно представить себе мусульманина.

— Предчувствие не обманывает нашего мудрого хана, — сказал меймандар.

Каждый хотел отвести от себя подозрение, и потому все норовили, как могли, клеймить еще не пойманного шпиона. Но хан не дал им такой возможности.

— Решено — пять дней, и предатель должен предстать передо мной! — сказал он и дал понять, что все свободны.

Выходили, как из дома, где был покойник...

Ровно через пять дней начальник внутренней охраны, главный палач и судья бросили к ногам хана человека, избитого в кровь.

— Вот эта змея, всесильный хан! — доложил начальник внутренней охраны и гордо положил руку на рукоять меча.

— Кто он? — Хан не признал в изуродованном пытками человеке своего придворного.

— Секретарь, всесильный хан.

— Неужто? — Глаза хана округлились. Он был поражен. И оттого, что не узнал его, и оттого, что предателем оказался тихий и покорный секретарь.

— Как вы это узнали?..

Начальник внутренней охраны самодовольно улыбнулся, но ничего не сказал.

— Вон, значит, что? Это ты, змея, передаешь армянам наши тайны? — закричал хан.

Секретарь едва заметно отрицательно качнул головой.

Начальник внутренней охраны перехватил взгляд хана и снова довольно улыбнулся.

— Увести его и содержать так, чтобы не издох,— приказал хан.

Секретаря увели.

Хан обратился к главному палачу:

— Как думаешь поступить с ним?

— Предатель будет казнен на дворцовой площади. Я самолично брошу его на плаху, снесу ему топором голову, и потом вздернем на центральной площади по отдельности голову и туловище, на страх всем, чтоб впредь никому не вздумалось предавать.

Хан не одобрил палача. И вообще промолчал. Он думал. А палач и судья боялисьдохнуть, чтобы не рассердить его.

— Ты, однако, совсем отупел! — Хан презрительно посмотрел на главного палача.

И тот только что не сказал: «Да, мой господин, я туп». Но на лице у него была такая глупая ухмылка, что она сама по себе подтверждала сказанное ханом.

— Во-первых, ни к чему нам здесь зловоние и мухи, а во-вторых, так убивают воров. Что скажешь, судья? Как, по-твоему, следует расправиться с предателем?

— Я скажу так, всемогущий хан! — не раздумывая, выпалил судья. — Сначала надо выжечь ему на людях один глаз, а через несколько дней — второй. Потом, спустя еще день-другой, отрезать уши, которыми он слушал наши тайны, и вырвать язык, коим он эти тайны передавал врагу. Затем четвертовать его. Такая казнь подходит предателю. И к тому же она отобьет охоту у всех непокорных задумывать что-либо против хана.

— Что ж, подобная расправа не нова, но справедлива.

Судья воодушевился.

— Я должен сказать еще нечто, — продолжал он, — о чем мой мудрый хан, очень занятый другими важными делами, не имел времени подумать. Дело в том, что в чем-то интересы христиан и мусульман иногда смыкаются. В таких случаях мусульмане становятся для нас опаснее гяуров. Народ всегда надо держать в страхе, чтобы его мозг был занят только одним: как уберечь свою жизнь. Запуганным народом легче управлять. Поэтому такие казни надо совершать в городах и в селах. И почаще. Причем не всегда это должен быть великий грешник. Страх бывает сильнее, если у человека мелькает мысль, что и невиновный может оказаться на плахе. Я думаю так, всемогущий хан, твоя воля решить, сколь я прав.

Хан молча внимательно выслушал судью и затем сказал о своем:

— Ну, вот что: отправляйтесь-ка и распорядитесь — пусть глашатай оповестит, в чем грехи предателя и когда назначена казнь...

Судья решил, что слова его пришлись не по душе хану. И еще ему показалось, что молчание хана было знаком презрения к нему. Судья покинул дворец с тяжелым настроением. Но в тот же день главный визирь вызвал судью и объявил, что хан назначает его своим первым назиром.

...Зловещий голос глашатая сначала очень четко прозвучал близ дворца. Потом, удаляясь, он словно бы заглох.

Голос этот, казалось, пригвоздил слугу Парвизи к каменным плитам лестницы, когда он нес жаровню с углями в спальню хана. Жар огня, который до этого обжигал только лицо, обдал вдруг все тело. Однако пот, выступивший на его гладком лбу, был холодным как лед.

Парвизи словно пьяный вошел в спальню, поставил жаровню на ковер, поближе к тахте, и стал, опустив голову. В глазах огонь, и лицо в огне.

Хан широко зевнул, потянулся.

Войдя в помещение для слуг, Парвизи попросил товарища заменить его, а сам, сказавшись больным, лег и укрылся с головой. В ушах все еще звучал крик глашатая, а в глазах рисовалась картина: окаменевшая людская толпа, палачи в красном, хан со своими назир-визирями. И секретарь. Дымится выжженный глаз, а тот, другой, который выжгут потом, через три дня, уставлен на него, на Парвизи...

Бедняга заткнул пальцами уши и закрыл веки. Но ни голоса глашатая не смог заглушить, ни страшная картина не исчезла из глаз. Парвизи забылся. Ему показалось, что он вскочил и выбежал из комнаты. Углубился в сад. Все дальше и дальше. День был не солнечный, но снег таял. И было слышно, как он тает... Все было слышно — и чирикание птиц, и карканье ворон, и далекий вой шакалов, и еще какие-то шумы. Парвизи слышал все это, но ничто не заглушало леденящий голос глашатая, который раскалывался в ушах, как стекло, и острые его осколки резали самое сердце. И ничего-то он не видел, ни зимних полей, ни гор. Перед ним стоял секретарь, и палач уже готовился к новой пытке... И хан... Довольно воззрился в дымящийся глаз секретаря. И главный визирь, сомкнув ступни своих кривых ног, стоит рядом, пряча улыбку в желтой бороде и в уголках губ, ту самую улыбку, которая появляется у него только

в присутствии хана. Тут же торчит столь же громадный ростом, сколь и толстый, меймандар, красномордый, чернобородый, с круглыми немигающими глазами, разодетый так, словно на праздник пришел. И начальник внутренней охраны тут, со своим непомерно выпяченным животом, нос как крюк, за поясом кривой ятаган. А усы особенные — на выбритом лице узкой полоской окольцовывают подбородок, почти соединяясь. Главный палач без бороды. Ремесло не позволяет ему эдакой роскоши: при ударе топором по шее приговоренного борода, будь она у него, может испачкаться. Сейчас у палача на бритой, круглой, как арбуз, голове только вращающиеся, как челнок, глаза.

Здесь же и шейх ислама, длинношей, с узкими плечами и маленькой головой в большой чалме. Бороденка у него редкая, но до самого живота, эдакой плетью висит. А на животе сложены руки, и в них четки черными зернами. Шейх так увлечен предстоящей казнью, что костлявые его пальцы не играют четками.

Кого только нет в толпе: беззаботные калантары, тарханы. И народ, который согнали сюда силой. Народ в беспokoйстве, но вопросов о том, за что так мученически убивают человека, никто не задает. Просто все в ужассе от сознания, что человеку можно выжечь глаза, четвертовать...

Весь напряженный, Парвизи шел к месту казни. Ему только что исполнился двадцать один год. Кровь в нем кипела, и он не испытывал нужды в оружии. И без меча может с легкостью снести голову хану. Хану, который осквернил его юность, унизил его гордую молодость... А потом Парвизи с тем же удовольствием снесет головы и всем прислужникам хана. Напрягши ноги и сжав руки в кулаки, шел Парвизи. Он все ускорял шаг, но расстояние не уменьшалось, и потому придворные, хоть они и видели, как стремительно он идет, не обращали на него никакого внимания.

Солнце почти совсем зашло. Стало холодно, облака плыли низко, словно касаясь земли. Но вдруг, будто прямо из облаков, возник человек и встал перед Парвизи. И Парвизи узнал его. Это был известный всему Нахичевану ткач. Он ткал для хана лучшую в мире парчу. Именно через него Парвизи передавал армянским повстанцам на Змеиной горе все, что доводилось узнать о тайных сговорах при дворе хана.

— Что нового, мастер Овсен? — с печалью в голосе спросил Парвизи, обрадованный этой неожиданной встречей.

— Что тут происходит? — вопросом на вопрос с тревогой спросил ткач.

— Все для меня кончено, мастер Овсеп... Последние события вызвали у хана подозрение, и он приказал в течение пяти дней разыскать шпиона. И вот нашли... Секретарь был такой добрый, умный человек. Он умел так говорить!.. Хан даже иногда прислушивался к нему. А он выражал свое отношение к тем, кто любит рубить мечом, довольно определенно. Вот почему, когда истекли пять дней, ханские люди отдали его в жертву.

— И он не пытался оправдываться?

— Не мог. Его столько били, так истязали, что он уже не мог говорить. Ему легче было умереть, чем оправдываться. Да и эти назир-визиря не дали бы ему оправдаться; истекали назначенные ханом пять дней, и им во что бы то ни стало надо было найти виновного.

— Я, как услышал голос глашатая,— сказал ткач,— сразу почувствовал беду. Весь день сновал вокруг дворца, все искал тебя. А для отвода глаз приносил все новую и новую парчу для жен хана. Потом мне сказали, что ты нездоров. Счастье, что встретились. Тебе надо немедленно покинуть дворец, Парвизи. Я у себя в мастерской так тебя спрячу, что никто не дознается, а потом, когда станет потише, переправлю на родину. Боюсь, что этой казнью все не кончится.

— Я не могу. Получается, что вместо меня убьют невинного человека!.. — Парвизи вдруг очнулся. — Это чудовищная несправедливость, мастер Овсеп! Я должен...

— Ты сошел с ума, Парвизи. Он почти мертв. Сейчас его уже ничем не спасешь. Да и не молод он — свое отжил. А у тебя все еще впереди!.. Пойдем. Я дам тебе переодеться, останешься у меня, научу, как из нитей ткать весну и, живя в холодной зиме, ощущать весеннюю прелесть... Не делай глупости, Парвизи.

— Глупости?.. Ну, а как быть с человечностью, мастер? Нет, это невыносимо, жить, сознавая, что вместо тебя пал жертвой невинный. Все равно моя жизнь разбита и я сломлен настолько, что никогда уже не смогу ощутить ни весны, ни счастья...

Туман вдруг рассеялся, и они увидели, что стоят у калитки в дворцовой стене. Парвизи, в тревоге, чтобы ткач не настаивал на своем, поспешил подать ему руку и сказал:

— Я не жалею о том, что совершил!
И он быстро вошел в калитку...

Прежде чем идти к месту казни, Парвизи еще нужно было кое-что сделать. И потому он несколько запоздал. Там уже собралась большая толпа. Все было почти так, как ему и представлялось во сне. Только дым шел не из глаза секретаря, а из жаровни, в которой пока еще калили железо. И у главного палача взгляд был не как у барана. Он смотрел убийцей. Особенно когда подручный вынимал из огня раскаленное докрасна железо, чтобы показать ему, готово ли. Палач много раз, снова и снова, велел опять положить железо в огонь, а сам, подбоченившись и широко расставив ноги, озирает и жертву, и всех, кого согнали быть свидетелями того, сколь он искусен в своем ремесле.

Если бы при других обстоятельствах в присутствии хана он, палач, позволил себе хоть одно-единственное движение, ему бы за дерзость голову снесли. А сейчас хан Мухаммед-Рза сидел всего в трех шагах от него, и это нисколько не смущало главного палача, потому что он работал. А работа у него не такая, чтобы стоять, как шейху ислама, сложив руки на животе, и перебирать четки. Ему все время надо быть в движении. И он снова и снова велит калить железо, снова и снова закатывает рукава своей красной рубахи, снова слюнявит свои и без того прилизанные усы и то и дело грозно взглядывает то на свою жертву, то на собравшихся людей.

Парвизи подошел к плахе с той стороны, где грудился простой люд. Ему дали дорогу, пропустили вперед, потому как по одежде признали в нем ханского слугу.

Пылающий в жаровне огонь, главный палач с помощниками и секретарь возвышались над всем. Белые руки жертвы были связаны грубой веревкой. Больше не было на нем всегдашней белоснежной чалмы, на узле которой обычно играл сапфир в булавке. Ему обрили и бороду и голову. Как объявил глашатай, он умрет не как мусульманин, а как безбожник и пособник безбожников, как шпион и предатель.

Секретарь еле держался на ногах. Плечи опущены, голова тоже. Взгляд невидящий, затуманенный. На виске кровоподтек. От уха по шее пролегла засохшая струйка крови. Дышал он отрывисто, со свистом.

Наконец судья, выйдя вперед, привычно четко перечислил все грехи приговоренного, рассказал, как он еще со времен покойного хана Шарифа, прикрываясь почетной и столь зна-

чимой должностью секретаря, вступил в контакты с армянскими повстанцами и передавал им все решения ханского совета — дивана. Рассказал и о том, что путем тщательного расследования установлено, что этот самый секретарь, прозываемый Юсубом, происходит из армян и настоящее его имя Овсеп. Что совсем недавно передал армянам о секретном решении относительно этих беглых нечестивцев и стал причиной гибели пятисот кзлбашей, пятисот правоверных мусульман.

— Казните его! Мы хотим видеть его казнь! — загудели в толпе.

Шейх ислама поднял руку с четками, все затихли и, затаив негодование, стали ждать, что будет дальше.

А судья все нагнетал обстановку, подробно описывая, каково будет наказание предателя, и не преминул сказать, что впредь даже по малейшему подозрению всякого виновного в связях с армянами будут подвергать такой же пытке.

Но вот судья умолк, и главный палач взял у подручного раскаленное железо, подбросил его вверх и тут же ловко поймал, покрутил в руках, чтобы чуть поостыло. А подручные тем временем повалили секретаря Юсуба. Один держал голову, другой сел на него верхом и, как в клещах, зажал несчастному плечи.

Парвизи, будто его уже обожгли, задышал тяжело, сердце комком подкатило к самому горлу. Но он с трудом взял себя в руки, потрогал что-то за поясом. И уже хотел было ринуться к плахе, как кто-то крепко схватил его за руку и, потянув назад, прошептал над ухом:

— Не делай глупости, Парвизи. Пропадешь ни за что. Он все равно уже мертв.

И в это мгновение раздался страшный стон, который затем перешел в хрип, и в холодном зимнем воздухе запахло паленым.

— Что ты наделал, мастер Овсеп?.. Заклеймил мою совесть! — И лихорадочно блестевшие черные глаза Парвизи наполнились слезами.

Через десять дней все повторилось: снова по улицам Нахичевана прогремел голос глашатая, и на следующий день главный палач со своими подручными снова пытал секретаря. Только теперь тот уже не был похож на себя. На месте выжженного глаза зияла черная впадина, ею он словно бы и видел и говорил больше, чем может увидеть и сказать зрячий. Хотя приговоренный не мог держаться на ногах, руки у него были по-прежнему крепко связаны.

На этот раз Парвизи стоял среди дворцовых слуг. Он тоже очень переменялся за эти дни. Шея вытянулась, глаза на исхудалом лице казались огромными. Но осанка была гордой. И гордость эта родилась в его душе в борьбе между жизнью и смертью. И чем сильнее становилось сознание, что он должен умереть, тем больше крепла в нем гордая решимость.

Судья повторил прежнюю речь, не изменив в ней ни слова. И едва он закончил, взлетело в воздух раскаленное железо, заиграло в руках у главного палача. И в то самое мгновение Парвизи прыжком вскочил на плаху, встал между жертвой и палачом и, раскинув руки, вскричал:

— Остановитесь!.. Уберите это железо! Не мучайте его. Этот человек невиновен! Я!.. Я передавал армянам о всех тайных решениях ханского дивана!.. — Голос Парвизи прозвенел над толпой подобно колоколу. — Все делал я, и я вам это докажу. Когда готовились пригласить шаапуникского мелика Исраела и хан предложил отравить его, я, услышав это, сообщил обо всем предводителю повстанцев, засевших на Змеиной горе, Костанду Астапатци, и он, спустившись к берегу Ерджака, успел предупредить мелика, и хана тоже... Отравление не удалось, но мелика они все равно убили. Послали вслед за ним кзлбашей, и те убили его в пределах его меликства. Я и об этом известил повстанцев, и они отомстили за мелика. И потом, когда вы, шейх ислама, хан Мухаммед-Рза, и ты, главный визирь, все вы, меймандар, сардар, начальник внутренней охраны, назирь и калантары, собрались на совет, — я тогда провожал хана, светил ему на лестнице, — когда вы собрались и решили устроить резню армян в Нахичеване, в Ортвате и Агулисе, в селах Шаапуника, чтобы, истребив армян, поселить там вместо них мусульман, я тоже слышал все это и сообщил о ваших коварных планах Костанду Астапатци, и у вас ничего не вышло!.. Нужны ли еще доказательства, что все делал я, а не этот несчастный?..

Мухаммед-Рза тяжело встал с места, хмуро оглядел Парвизи и хотел было отдать приказ: «Ворвать ему язык!..» — но Парвизи вдруг, обращаясь к толпе, сказал:

— А почему я шпионил, как вы думаете?

Хана это очень даже заинтересовало, и потому он помедлил с приказом.

— Разве армяне не богом сотворены? Как можно так безбожно с ними обращаться? Что же это за бог, что за аллах, если он не наказывает вас за такие безбожные деяния?..

Ведь бог одинаково создал и меня и хана, так почему же хан Шзриф сделал мир в моих глазах черным, когда я еще был ребенком?.. И почему ты, хан Мухаммед-Рза, растоптал мою молодость?.. И тогда почему, если аллах спокойно взирает на всю творимую вами скверну, я должен сидеть сложа руки, а не мстить вам?..

— Вырвать язык этому лжецу! — взревел хан.

— Подождите! — еще громче крикнул Парвизи, и в руках у него блеснул кинжал. — Я хотел бы всем вам вспороть животы! Вот так!.. — И он всадил кинжал себе в живот, кртанул его и упал бездыханный.

Никто не взирал на все, что творилось, с таким удивлением, как несчастный секретарь своим единственным глазом...

Хан приказал разогнать народ и сам, заложив руки за пояс, медленно подошел, глянул в глаза начальнику внутренней охраны, затем круто повернулся и зашагал к судье, тоже долго, не мигая, смотрел на него. Хотел уже подойти к главному палачу, когда вдруг один за другим грохнули два удара. Хан обернулся, все так же держа руки за поясом. Оба, и судья, и палач, лежали лицом вниз — они всадили в себя кинжалы.

Солнце зашло. Горизонт был кроваво-красным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Исраел Яври в Марселе не задержался. Его влекла надежда поступить в Парижскую военную школу, и хотелось как можно скорее осуществить это свое желание. Интересовала его эта школа не тем, что даст ему знания и славу. Яври считал, что там он начнет свою деятельность во имя народа, что это будет первый очаг в Европе, где он возбудит интерес к армянскому вопросу — сначала у учащихся, затем и у преподавателей. А потом уж станет ясно, как быть дальше.

И вот он шагает по набережной Сены. Это уже совсем не тот юноша, что выехал из Шаапуника два года назад. И внутренне и внешне. Он отпустил бороду, дав обет сбрить ее лишь после того, как родина сбросит с себя гнет персидского и турецкого ига. Кожа на лице стала тоньше и блед-

нее. В глазах теперь постоянно была озабоченность. Волосы были зачесаны слева направо без пробора, и в них, как и в бороде, появились первые седые волосы.

Яври шел, как в родных горах, никуда не глядя.

Ничто из красот Парижа не отвлекало его от дум и забот. Только время от времени останавливался у перекрестков и протягивал прохожим бумагу с адресом, который дал ему Джованни Теста. А те сначала на миг застывали, захваченные привлекательной внешностью иностранца, а потом любезно растолковывали ему и словами и жестами, как пройти.

Только в одном месте Яври вдруг остановился как вкопанный. Вдали, в тумане, ему предстала старая крепостная стена. Как раз в той стороне ослепительно сияло солнце, и лучи его, достигнув туманной дымки, окрашивали ее в сказочные красно-лиловые тона. В таком освещении стена эта вставала как из глубин истории. И она вдруг увела Яври из Парижа в родной Сркугинк. Да, да! Перед ним и впрямь была крепость Сркугинк на высоком склоне Болораберда. А за ее башнями и зубчатыми стенами виднелось только небо. Внизу стелилось ущелье Гладзор. А дальше Танат. Над клубами дыма в пламени горит каменный купол, увенчанный черным крестом.

Шум большого города вернул Яври к жизни. Он зашагал дальше и у ближайшего моста свернул налево. Узкая улица, старые дома, перед домами гомонящие дети, ссорящиеся соседки, лоточники, мирно беседующие старушки и юноши и девушки, говорящие друг другу что-то свое.

Эта улица чем-то напоминала Вагаршапат, и потому Яври шел медленно. Дальше была еще улица. Она отличалась от предыдущей, как город от села...

И вот Яври остановился перед военной школой. Это было многоэтажное здание, с колоннами, лепными карнизами, с торжественно парадным входом. Прежде чем войти, Яври сунул руку в карман, потрогал письмо Джованни, но это не прибавило ему смелости. Что, если адресат — француз армянского происхождения — не знает языка своих предков? Как только объясниться с ним? Яври так и стоял в раздумье с рукой в кармане, когда дверь вдруг открылась и перед ним возник пожилой человек.

— Что угодно, юноша? — спросил он.

Яври протянул письмо. Старик долго близоруко вчитывался, потом вернул письмо и сказал:

— Его больше нет...

Яври показал, что, мол, не понимает.

— Вы итальянец?

— Ар-мя-нин! — проговорил он.

— Тот, кого вы ищете, скончался месяц назад! — Эти слова, на удивление Яври, старик произнес по-армянски, с любопытством уставившись на юношу. — Так, значит, вы армянин?.. — Он даже рот раскрыл от удивления.

А Яври не отвечал, ошеломленный тем, что услышал... «Скончался месяц назад».

— И письмо из Армении? — Старику не терпелось, чтобы юноша заговорил по-армянски.

— Нет, письмо из Венеции.

— Да, у покойного были друзья в Венеции. Он рассказывал о них... Может, я смогу вам быть чем-нибудь полезным? Что привело вас в Париж?

— Желание учиться в этой школе...

— Учиться?.. — Старик покачал головой, не отрывая доброго взгляда от удивившего его юноши. Подумать только, приехал из Армении в Париж учиться военному искусству. Потом вдруг сделался серьезным и сказал: — Да, но вы не говорите по-французски.

— Язык можно выучить.

— Вы княжеского рода?

— Да.

— Вои что!.. Княжич, значит? — Старик опять заулыбался удивленно и не без восхищения. — Как прозывается ваш род?

— Прошяны мы.

— Прошян... Хорошо... — И он снова озабоченно спросил: — Но как же вы собираетесь, не зная французского, здесь учиться?

— Мне бы только быть принятым, месяца через три я наверняка буду говорить по-французски.

— Через три месяца? Неужели?

— Через три месяца! Ни больше ни меньше!..

— Надо вручить это письмо Жану Эрнесту Шамети. Есть тут такой человек. Он был очень близок с покойным и высоко ценил его, — сказал старик.

Надежда снова окрылила Яври.

— Как мне вас называть? — спросил он.

Старик улыбнулся:

— Мосье Карл. Так обращаются ко мне французы. Но мне хотелось бы, чтобы вы говорили со мной как армянин с армянином: пусть для вас я буду дядей Каранетом.

— А вы армянин?..

— Об этом как-нибудь потом... А теперь вот что: я поговорю с мосье Шамети, и вы зайдете к нему домой. Так будет лучше. Он живет совсем один. Вы только оставьте мне свой адрес.

Яври сказал адрес и еще спросил:

— А что преподает мосье Жан Эрнест Шамети?

— Не могу сказать. У меня тут свои обязанности, и недосуг разбираться в том, кто и чем занимается. На мне обслуга помещений, порядок и оснащение школы. Но, если вам необходимо знать это еще до того, как пойдете к мосье, я могу поинтересоваться...

— Очень необходимо, дядя Карапет... Всегда лучше знать, с кем говоришь.

— Но вы не сможете говорить без переводчика!

— Смогу... Если он человек настоящий...

— Очень даже настоящий человек, — поспешил заверить мосье Карл. — Но о чем вы станете с ним говорить?

— Прежде всего о беде армян...

Старик, которого Яври ни на минуту не принимал за армянина, только головой покачал, и голубые выцветшие глаза его наполнились слезами.

— Да, сын мой, это вы верно сказали. Горе, на каком бы языке о нем ни поведать, всем понятно... — Он приложил указательный палец к губам, помолчал и добавил: — И радость тоже... Только наше горе понятно армянину, и рассказать о нем можно тоже армянину... Так что я найду к вам дня через два-три.

И он ушел.

2

Порт д'Орлеан — район Парижа, где дома, как ласточкины гнезда, похожи один на другой, с удобствами, рассчитанными не на людей, а именно на ласточек. Здесь селится мелкий ремесленный люд Парижа, торговцы в розницу и люди без определенных занятий.

Хотя Париж пошел от Порт д'Орлеана, сейчас здесь не осталось ничего парижского.

Жалкие лачуги не оставили обитателям предместья ни пяди пространства. И новые люди тут уже не появлялись. Лишь от случая к случаю то один, то другой человек покидал свое обиталище, отойдя в мир иной. А узнавали об этом, по большей части, когда ко всем привычным запахам ветер

вдруг приносил еще и трупный смрад. Выяснялось, что какой-то вдовец или захудалый одинокий забулдыга лег и больше не встал... Вот тогда-то кто-нибудь забирался в такую лачугу, становился ее хозяином и обзаводился семьей.

В этом квартале было много «отелей». Проще говоря, люди делили свои лачуги перегородками на углы и сдавали их бродячим комедиантам, нищим, крестьянам, приехавшим в Париж попытать счастья...

— Что ж, если здесь не оценят моего ремесла, поеду в Лондон, — подстрекая любопытство еврей-сапожника, говорил ему Яври.

Еврей этот знал по-итальянски примерно столько же, сколько и Яври.

— А какое такое твое ремесло? — заинтересовался еврей.

— Обработка шкур. Любой из них я могу придать эластичность и прочность, могу окрасить в разные цвета. А из шерсти войлок свалить. И в жару и в холод спасет.

— И как же ты это делаешь? К примеру, как готовишь краски? Любопытно.

— Понимаю, что любопытно, только мы, мастеровые, своих секретов не раскрываем. Других обучишь — как сам жить станешь?

— А ты-то как этому обучился?

— Отец мой немалые деньги заплатил тому, кто меня ремеслу обучал. А мастер тот взял с меня клятву, что уж коли придется когда поделиться с другими умением, так и я не продешевлю. Один из своих секретов я, пожалуй, тебе открою, но за это тыпустишь меня к себе на жительство и поучишь, сколько можешь, говорить по-французски.

— Французскому-то я тебя поучу, и жить к себе пущу, и чувствовать-то ты будешь себя как дома. Но, может, нам бы и работать лучше вместе? Вдвоем ведь больше зарабатываем.

— Попробуем.

На том и договорились.

...Сам себе удивляясь, еврей-сапожник довольно легко овладел, с помощью Яври, умением выделывать бараньи шкуры.

За этим-то и застал их мосье Карл. Он вошел с опаской. Его еще у двери остановило зловоние.

— О, дядя Карапет, пришли наконец? Вы уж простите за здешние запахи, но что поделать? Входите, прошу вас!..

Армянская речь и приветливость Яври несколько приободрили старика, но нос он все же зажал пальцами.

— Что это?.. — спросил он, показывая на хозяина.

— Зайдем, я расскажу, — и, взяв его за руку, Яври повел старика в свой закуток, усадил на подобие дивана и, так как другого места тут не было, сам тоже сел рядом. — Пока мне здесь удобно, дядя Карапет. Тот, кто решил служить народу, тот и жить должен, как простой люд. Иначе выходит, что человек живет только для себя, а народ — это лишь средство жить. У меня есть деньги и кое-что другое... — Он взглядом показал на сундучок в сторонке. — Но намерение у меня такое, что надо жить скромно, работать и умножать свое состояние. Я еще с детства, наблюдая за мастеровыми, обучился выделывать шкуры, валять бурки. И вот встретил здесь корыстолюбца, с его помощью рассчитываю развернуть это дело. И пусть вас не удивляет, дядя Карапет...

Княжеский сын из далекой Армении. Стремится в лучшее военное заведение Франции. Озабочен судьбой своего народа. И эти кожи, это зловоние, эта лачуга и его угол в ней, похожий на узкую могилу или келью отшельника!.. Все очень удивляло мосье Карла. И потому он не сразу поверил Яври.

— А что же вы станете делать с деньгами?..

Мосье Карл, который укрепил в Яври надежду поступить в военную школу и который, пусть на миг, проникся горем армянского народа, — будь он мосье Карл или дядя Карапет, хотя Яври не сомневался, что он не армянин, — не заслуживал недоверия. И Яври решился с ним быть откровенным.

— Дело в том, что дальняя моя цель, если удастся, вызвать у Франции и Англии интерес к судьбе Армении, купить здесь оружие. Вот для чего я собираюсь наживать и копить деньги. Нам нужна помощь. За кого бы мы ни ухватились, всяк сейчас будет нам опорой и надеждой. А бороться с нашими врагами должны мы сами. Для этого нужно оружие. У нас его нет. Все наши действия под присмотром, нам не разрешают даже топор изготовить — и это считают оружием.

Мосье Карл слушал Яври и верил ему.

— Я боюсь вас, Яври. Если вы действительно Яври? — И мосье Карл прижал руку к сердцу, как бы прося простить, что говорит такое.

— С чего вам бояться меня? Я вас ни в какое опасное дело не вовлекаю. Я просто...

Мосье Карл не дал ему договорить:

— Почти дитя, пусть в бороде и усах, но дитя. Ведь вам, я думаю, лет двадцать, не больше. В такие годы взять на себя решение судьбы народа!..

Яври ласково обнял узкие плечи старика.

— А вы бывали когда-нибудь в Армении, дядя Карапет, если вы и впрямь Карапет?..

— Нет. В Армении я не был. И Карапетом меня называл только мой отец. Потому что он так меня окрестил. Я попросил вас, чтобы вы, как армянин, называли меня моим настоящим именем. Если вам этого не хочется, можете величать меня мосье Карлом, и я на вас не обижусь.

— Но как это вы так хорошо говорите по-армянски? Как настоящий армянин.

— Об этом вы узнаете позже, если вы тот...

— Кто?

— Кого я жду. Сейчас я пришел сообщить вам, что Жан Эрнест Шамети — преподаватель французского и английского языков и что завтра, после полудня, я провожу вас к нему.

— Только не завтра, дядя Карапет. Если можно — через десять дней.

— Но почему? Вы же хотели?

— Я должен ему кое-что сказать, а завтра я еще не сумею. Вот через десять дней...

— Мосье Шамети свободно владеет итальянским, и вы немного говорите на этом языке. Вот и объяснитесь.

— Да. Но я не хочу, чтобы меня приняли в эту школу только из сострадания к моему народу. Француз ведь не знает, что народ Арташеса, Артавазда, Аршака, Вардана и Ваана Мамиконянов, Васака Хаченца, Вараздата, Сурена, Мжежа Гнуни, Теодороса Рштуни, Ашота Багратуни, Ашота Ерката и многих им подобных не пошлет кого попало из армян в чужую страну обучаться военному делу. И пусть не знает. Я хочу, чтобы здесь во мне видели только мое личное стремление и склонности. И тогда мне не станут делать унижительных послаблений. Я объявлю мосье Шамети, что хочу стать гражданином Франции и поступаю в школу, чтобы потом служить Франции. И заверю, что за три месяца непременно выучу французский настолько, что у меня не будет затруднений в учебе. И я докажу это делом.

— Невероятно! Но я хочу верить вам. Мне кажется, что в вас колдовская сила. И эта ваша сила привлекает к вам, внушает веру в вас и... простите, страх.— Мосье Карл и

впрямь смотрел на Яври с чувством веры и боязни. — Вот так, — закончил он и добавил: — Значит, через десять дней. Что ж, схожу к нему снова...

...Десять дней в Порт д'Орлеане зажигались и гасли лампы, и круглое окошко, как покрасневшее от слез око, долго глядело поверх громоздящихся друг на друге лачуг. Это было окно обиталища еврея-сапожника. И до полуночи там сидел Израел Яври. После целого дня работы он учил французский язык.

Прошло десять дней, снова явился мосье Карл. И на этот раз он морщился от запаха кожи, опять хватался за нос, но вошел смело и, уже дружески поприветствовав сапожника, прошел прямо к Яври. Тот лежал на спине, положив руки под голову. Увидев гостя, тотчас вскочил.

— О, мосье Карл, добро пожаловать. Как вы точны! — Эти слова Яври сказал по-французски, да с таким правильным произношением, что мосье Карл даже рот разинул.

— Не шутите со мной, юноша, — сказал и он по-французски.

А Яври продолжал по-французски:

— Так идем к мосье Жану Эрнесту Шамети?

— Нет, не идем!

— Почему же? — искренне удивился Яври.

— Может, вы вовсе и не армянин?..

Яври улыбнулся и перешел на армянский:

— Увы, я еще не столь преуспел, чтобы понять все, что вы говорите.

— Вы хотите уверить меня, что только начинаете учить французский?.. А я утверждаю, что вы вовсе не армянин!

— Кто же я тогда, если не армянин? — спокойно спросил Яври.

И это его спокойствие мосье Карл также отнес за счет хитроумности.

— Кто угодно, только не армянин!

— Я вас не понимаю, дядя Карапет!..

— Я тоже вас не понимаю. Зачем было скрывать, что вы знаете французский?

Яври рассмеялся, да так невинно, что мосье Карл снова смягчился. Но никак не мог поверить заверениям Яври, что запас французских слов исчерпывается у него пока еще несколькими десятками, заученными им с помощью хозяина-сапожника.

— Мне так хочется поверить тебе, Яври! — Мосье Карл

впервые перешел на «ты». — Я, как видишь, у порога в мир иной. Мне еще надо успеть... — Его выцветшие глаза наполнились слезами. — Однако ладно! Идем!

3

Жан Эрнест Шамети — высокий, худой человек с большой лысой головой. Лет ему за пятьдесят. Длинный заостренный нос, тонкая линия рта и глубоко засевающие светло-зеленые глаза не внушали особого доверия. Он вроде бы даже сделал вид, что не расслышал или не заметил, когда слуга ввел юного Яври и мосье Карла и сам тотчас удалился. Однако когда Карл подошел к нему, тихо поздоровался и Шамети и тут не поднял головы, Яври, как это принято у армян, ударил себя ладонью по бедру, затем, подняв руку над головой, громко проговорил по-французски:

— Приветствую вас, мосье Шамети. И да простите нас, что не вовремя явились, побеспокоили.

Шамети, который и в самом деле был занят письмом, на мгновение поднял взгляд из-под светлых бровей, посмотрел на Яври и кивнул, предлагая садиться, а сам еще продолжал писать.

Яври вовсе не обескуражила строгая холодность хозяина. Он сел и стал ждать. И когда Шамети оторвался от бумаг, Яври подал ему письмо, адресованное покойному, и положил его на покрытый зеленым сукном стол. Шамети не взял письма. Из-под нависших бровей он уставился в черные, как маслины, глаза этого бородатого юноши, в одном из зрачков у которого на белке была коричневая точка, — и так смотрел долго. Хотел и не мог оторвать взгляда. Но вот наконец глянул на письмо. И его длинные, тонкие, даже костлявые пальцы потянулись к письму. Он с большой осторожностью раскрыл его. Прочитал и снова положил на стол. А на глаза вдруг навернулись слезы. У столь холодного внешне человека и вдруг слезы! Мосье Шамети вынул платок, приложил его к глазам и спросил:

— Говорят, Армения в очень тяжелом положении?

— Я, увы, не говорю по-французски, — сказал Яври.

— Да, но отвечаете мне по-французски. Как же вас понимать?

Карл, видя, что преподаватель французского языка Парижской военной школы, так же как было с ним, сомневается в искренности Яври, беспокойно заерзал в кресле. Но потому как встреча эта состоялась при его содействии, он не

только сдержал себя, но мягко и несколько высокопарно, так он говорил только с преподавателями, сказал:

— Мосье Шамети, осмелюсь сообщить вам, что, насколько я смог за это короткое время узнать моего соотечественника, у него выдающиеся лингвистические способности. В течение нескольких месяцев, проведенных в Венеции, он почти выучил итальянский. А по-французски буквально за десять дней пребывания в Париже тоже научился изъясняться так, что понять его можно вполне. К тому же юноша владеет несколькими восточными языками.

Ни удивления, ни восхищения на белом бескровном лице Жана Шамети сообщение мосье Карла не вызвало. Он смотрел в одну точку, и казалось, что ни единого слова из сказанного Карлом слух его не воспринял.

— Какие цели вы связываете с учебой в военной школе? — спросил он по-итальянски и снова краем глаза посмотрел на Яври, на его зрачок с точечкой.

Яври давно ждал этого вопроса и давно приготовился ответить на него.

Заговорил он по-итальянски, перемежая речь французскими словами, но чаще обращаясь к помощи Карла как переводчика.

— Цели у меня не совсем определенные. Будучи горцем, я всегда питал пристрастие к оружию, к доблести. Положение у нас в стране сейчас сложное. По совету своего отца, мелика Израела Прошняна, я уехал, чтобы быть здесь в безопасности. Коли мне удастся поступить тут учиться, то я останусь и буду служить Франции верой и правдой, если ей это будет нужно. Наши народы связаны религией. Ну, а случись, что мой народ наконец разогнет спину и поднимется против своих врагов, тогда я с благодарностью расстанусь и с Парижем, и с радушными французами и присоединюсь к своему народу.

Что-то похожее на печальную улыбку скользнуло по лицу Шамети.

— Как вас зовут? — спросил он чуть спустя.

В ушах у Яври прозвенел нежный голосок итальянки Астры. И он сказал:

— Израел Ори.

Рот мосье Карла опять удивленно полуоткрылся.

А длинные пальцы Жана Эрнеста Шамети задвигались по столу, нашарили перо и бумагу. Записав все, что ему было необходимо, мосье Шамети взглядом дал понять, что аудиенция окончена. Ори тут же поднялся. Он с первой минуты

встречи почувствовал, что за человек мосье Шамети и как с ним надо держаться. Прощаясь, Израел Ори опять приложил руку к груди, затем поднял ее над головой и сказал:

— Будьте здоровы, мосье Шамети!

— Рад знакомству!

— Больше ничего не скажете? — нетерпеливо спросил юноша.

Мосье Карлу вопрос этот показался дерзким. Он занскивающе улыбнулся преподавателю, чтобы тот извинил гостя, но Шамети не взглянул на него. Он был занят своими ногтями.

Ори ждал ответа.

— Я разве не сказал? С завтрашнего дня вы можете посещать занятия.

Ори поблагодарил и вышел. Карл последовал было за ним, но Шамети жестом руки остановил его.

— Откуда вы знаете этого юношу? — спросил он.

Карл ответил не сразу. Он был несколько смущен и подбирая слова, когда Шамети вдруг сказал:

— А парень не промах!..

— Это не обычное творение создателя, мосье! — воскликнул довольный старик. — Всего дней двадцать, как я его знаю, и чем чаще встречаюсь с ним, тем больше удивляюсь. Какие способности, какие цели и планы!.. И это в столь еще юном возрасте!..

— Да, быть бы ему французом!

— Но будь он французом, так был бы совсем иным...

Карл ждал, что Шамети спросит, почему это он был бы иным. Но тот не спросил. Помолчав, шумно вздохнул и проговорил:

— Вы правы, мосье Карл, талант порождается не человеком, а временем.

4

Там, где зашло солнце, туча, еще мгновение назад красная, вдруг почернела и как бы разрослась. Только раз рванул ветер и, сорвав, развеял во все стороны белые соцветия вишен. Ветер унесся и оставил за собой напоенную ароматами недолгую тишину. Туча на горизонте осветилась, вздрогнула, как спина лошади от укуса овода, и опять почернела. Вдали что-то гроыхнуло, словно бы мощный взрыв, и эхо донесло этот грохот до Порт д'Орлеана. Хоть оно и было уже

ослабленным, но дома тем не менее вздрогнули. Небо потемнело. И вот уже туча разорвалась огненным громом над древней крепостной стеной, и казалось, что искры вот-вот посыплются вниз, но туча вдруг сомкнулась. И гром теперь грянул над высокой башней крепостной стены, и грохоту было — как пушка ударила.

Оконное стекло вывалилось, упало внутрь, но не разбилось. Ветром занесло в лачугу несколько капель дождя, и каморка наполнилась запахом свежести, мокрой земли. Ори сидел у откидной доски, служившей столом, и мысленно подытоживал впечатления двух последних дней, намереваясь все записать. В миг, когда влетело стекло, он отложил обмакнутое в чернила перо и, выглянув в окно, посмотрел на небо. Дождь уже лил стеной, и ничего не было видно. Сквозь стену дождя Ори вдруг представил свою далекую Армению и случай один, не очень-то давний. Дело было в Шаапунике. Там еще не ступала нога ни единого кэлбаша в чалме. Ничто армянское еще не было осквернено. Но вот вдруг свершилось зло, звенят мечи, ржут вздыбившиеся кони, бьют кремневые ружья, мортиры, в воздухе носятся стрелы, гремят медные щиты от ударов мечей и копий.

Ори видит и себя в той битве. Два года назад это было. Вот конь ринулся на сотника. А тот и внимания не обращает. Даже черный аргамак его полон презрения: стоит, составив передние ноги, выгнув шею и поджав морду. Ноздри у него раздуты, и он смотрит на приближающуюся лошадь.

И вот когда расстояние между ними совсем уже сократилось, он мелко заржал и встал на дыбы. И в это же самое время рожденный для войн кэлбаш выхватил меч и подставил свой щит под первый удар противника. Аргамак опустил ноги и, словно бы набравшись от земли новых сил, опять вздыбился выше прежнего. Сотник направил острие меча туда, где латы оставляли открытой часть тела между плечом и поясом, но Ори снизу так ударил его, что выбил меч из рук сотника...

Слух Ори уловил сквозь шум дождя звон вражеского меча, унавшего на камни годы назад. Тогда этот угасающий звон прежде всего воодушевил жеребца под Ори. Жеребец звонко заржал и снова встал на дыбы. И Ори в то самое мгновение поверг сотника наземь.

...Молния осветила нити дождя. Оконный проем заполнился светом и сразу же погас. Ори почувствовал, что под ногами все задрожало. Ливень усилился. Вокруг стало черным-

черно, но это не мешало Израелу Ори мысленно видеть в свое маленькое оконце родную Армению.

...Идут походным маршем конные полки. Идут из Нахичевана к сердцу Шаапуника Сркугинку. Ведет их сардар. Бой разгорается. Но остается в разрушенном и опустошенном Шаапунике еще неприступная крепость Сркугинк. Стоит величественно, вознесясь к небу. Но вот открываются ворота главного въезда в крепость, и в арке появляется его отец — могущественный владетель Шаапуника. И хотя он подтянут, горд и величествен в своем меликском одеянии и с мечом рода Прошянов в руке, но вокруг него кзлбаши.

Ори очнулся, открыл глаза, обмакнул перо в чернила и записал в своем «журнале раздумий», как он его назвал: «Кого и чем ты можешь завлечь, мой бедный армянский народ? Твои кладези мудрости — древнейшие манускрипты, твои великие творцы: Месроп Маштоц и Мовсес Хоренаци, Григор Нарекаци и Анания Ширакаци, твой Давид Непобедимый, твой добрый древний язык — ничто не нужно ни французу, ни римлянину, никому. Всем сильным и великим нужны еще сила, еще просторы, нужны новые земли и новые налогоплательщики. Но ты, мой народ, не должен быть убит. Ты должен и будешь жить. Для этого тебе надо иметь оружие и умудренность... И я, который добровольно поклялся и всецело посвятил себя служению тебе, возлагаю большие надежды на твой гений, на твою мудрость».

Впечатлений в последние дни было много. В школе Ори уже завел среди учащихся разговор об армянском вопросе, и один из юношей сказал ему: «Армения обречена. Никто больше не сможет спасти ее, ни папа римский, никакая другая единоверная страна». И он же добавил: «Народ, который уменьшился до того, что уже не может сохранить равновесие на международной арене, неизбежно должен пасть. Мне даже думается, что обусловлено это исторически. Малые и те, что покажутся малыми, рано или поздно гибнут, а народы ассимилируются. Так было с Вавилоном, Ассирией и всеми теми, кто был и кого теперь нет».

Другой юноша возражал. «Гибель малых наций вовсе не неизбежность и не обусловлена историей! — сказал он. — Это беда и большая потеря для всего человечества. Такие древние нации, как армяне, сутью которых является мирное созидание, должны выжить. И конечно же папа римский или какое-нибудь могущественное государство должны помочь

Армении. И не просто во имя Армении, во имя веры праведной, но и во имя себя. Для утверждения своей силы и мощи. Ведь, погибнув как страна, Армения не унесет с собой в бездну свое главное богатство — свой народ. Рассеявшись, народ этот падет на чашу чужих весов, и увеличится вес их владельца. А это не выгодно тем, чей вес от этого уменьшится. Ведь все может случиться, и опасность всегда может нарушить равновесие на пути любого народа. Сейчас Армении крайне необходимо найти тех, кто обязан помочь ей во имя своего же будущего. Я даже думаю, что наиболее дальновидные страны, такие, как, скажем, Римско-Германская Священная империя, и сами протянут руку Армении...»

Всех подробностей Ори не записал в свой «журнал раздумий». Не записал он и того, что в эти дни много думал о Рипсиме. Перед глазами то и дело блестел серебром отрезок Воротана в роще чинар, виделся зеленый берег, где раскинулись дома Ангехакота, церковь на вершине горы и дом отца Гедеона рядом с церковью. Во дворе дома нет-нет да и появится Рипсима, постоит, посмотрит в сторону рощи чинар и исчезнет. Ангехакот иногда сменялся видами Венеции. И тогда Ори видел Астру. Она смеялась. И рокошущим нежным говорком звала его: «Оври...» Звала и убегала.

Не записал Ори и того, что ремесло кожевника приносит большой доход. Такой большой, что сапожник уже купил себе по соседству новый домишко, целиком предоставив свои старые апартаменты «мастеру, отворившему врата счастья», чтобы ему легче дышалось.

Вообще Ори решил не записывать ничего такого, что касалось только его личной жизни.

5

Во время встречи с Жаном Эрнестом Шамети Карл твердо решил, что бородатый красавец не армянин, а подсланный из какого-нибудь государства. Зная армянский, он поймал его, старика, в свои сети. И, уходя из дома Шамети, мосье Карл считал себя тоже чуть ли не шпионом Франции. Старик даже растерялся, увидев, что «шпион» стоит себе у парадного входа и дожидается его.

— Кого вы, наконец, обманываете? Меня или уважаемого мосье Шамети? — вскричал мосье Карл. — Кто вы? Яври или Ори? Или ни тот ни другой?

Ори улыбнулся:

— Вы Карапет, а французы зовут вас Карлом, не так

ли? Ори — это тот же Яври. Я, конечно, предпочитал бы, чтобы мое имя произносили правильно, но не у всех это получается. К тому же новое звучание моего имени мне нравится. Ну, и оно поможет мне в какой-то степени сохранить инкогнито, что в моем положении немаловажно. А почему — я расскажу когда-нибудь...

С тех пор прошло несколько месяцев, и Карл решил однажды, что княжич достаточно пообжился в Париже и хорошо бы пригласить его к себе в гости. Правда, погода не очень тому благоприятствовала — Париж заливало дождями.

Карл часами стоял у окна, выжидая, когда наконец распогодится. И при этом все трубку курил. Держит ее в уголке рта и попыхивает. Дым ест глаза, они слезятся, и Карл то и дело закрывает их, а потом взглядывает в небо с надеждой, что кончится дождь, выглянет солнце и подъедет экипаж, из которого выйдет Ори...

Дождь перестал незаметно. Постепенно рассеялись тучи, и улица засверкала молочным светом. Карл протер рукавом запотевшее стекло, вынул трубку изо рта и засмотрелся по-верх крыш на умытые дали. Тем временем на улице, от его дома, под звон колокольчиков отъехал какой-то экипаж. А через минуту кто-то постучал в дверь.

Вошел Ори и прямо от дверей окинул комнату взглядом. Карл тотчас разгадал его мысли. Вид его жилища удивлял всякого, входящего к нему впервые.

Комната была квадратная, просторная, с кафельным камином, с двумя широкими окнами. И, однако же, в большой этой комнате негде было шагу шагнуть. Шкафы вдоль стен полны книг, всевозможных колб, шкатулок, кубков и всякой всячины. И на шкафах чего только нет. А книги даже на полу. Лишь местами они перемежаются с разного рода медными и глиняными вазами и серебряными подносами.

И везде цветочницы: на стопках книг, на подоконниках, на камине. В них, словно ручейки, вьются побеги комнатных растений. Спадаая, они оплетают и книги, и все, что попадаетеся. Над всем этим высится лохматая, длинноухая собака, отлитая в бронзе. Она восседает на задних лапах посреди комнаты на переносной лестнице. Тут же устроилась и кошка со своими тремя уже подросшими котятками. В комнате стоит специфический запах, какой бывает всюду, где много книг.

У стола с гнутыми ножками было два кресла. Ори удобно устроился в одном из них, продолжая рассматривать все, что его окружало. В другом кресле сидел окутанный клубами

дыма от своей трубки мосье Карл. Ничего не говоря, он глубоко вздохнул.

— Что? — обернулся к нему Ори.

— Вы еще должны убедить меня в том, что действительно являетесь сыном армянского мелика и направлены в наши края, как вы сказали, добывать оружие. Все интересующее вас из того, что знаю я, великая тайна. Отец мой перед смертью взял с меня клятву сохранить ее.

— Я вовсе не для того сюда приехал, чтобы скупать здесь оружие для Армении. Вы, дядя Карапет, первый человек, кому я открылся в Париже. И открылся прежде всего потому, что поверил вам. Да, я действительно сын мелика Исраэла из рода Прошянов. Я и правда говорил вам, что буду покупать тут оружие. Но это не главная моя цель. У меня задача посложнее — завязать связи с каким-нибудь из христианских народов, чтобы он затем протянул руку помощи Армении. Оно конечно, лучше бы нам представлять определенную силу, иначе ведь никому в нас нет корысти. Чтобы являть собой силу, нам необходимо оружие. Вот почему приобретение оружия также входит в мои планы и является второй моей целью. И все, что мне следует сделать, я должен совершать в строгой тайне, чтобы ничем себя не обнаружить. Не дай бог, враги наши прознают, что армяне послали в Европу человека со своей заботой, — изведут всех армян. И меня уберут. Вот почему, когда в Венеции случайно исказили мое имя, я охотно принял его необычное звучание. Этим жизнь как бы сама подсказала то, что мне надлежало сделать, только, может, чуть позже. Чтобы дружба наша и вера укрепились, я в подтверждение своих речей откроюсь вам сегодня еще больше. Только и вы, мосье Карл, должны подтвердить, что заслуживаете такого доверия. Иначе эта ночь не кончится для нас рассветом...

— Если я тут же на месте не подтверждаю вам своей преданности, можете не откладывать решения...

Ори вспорол подкладку шапки и вынул сложенный вдвое пергамент.

— Читать или вы сами? — спросил он.

— Сам.

Мосье Карл начал читать вслух:

— «В году 1678 в святом Эчмиадзине была утверждена делегация во главе с католикосом всех армян Акопом Джугаеци. В состав делегации входил и Яври, сын мелика Исраэла из славного рода Прошянов. Делегация должна была явиться в Рим и принести клятву верности католической церк-

ви и просить папу римского о помощи армянам, с тем чтобы они смогли сбросить персидско-турецкое иго.

В году 1680 в пути, в Константинополе, святейший патриарх наш, Акоп Джугаеци, скончался, и это помешало нам исполнить возложенное на нас дело. Делегация вынуждена была вернуться. И только Яври, сын мелика Исраела, не пожелал отказаться от цели и решил пройти намеченный путь и попытаться довести до единоверных народов страдания и великие горести армян. Подлинность сказанного подтверждаю своей подписью и печатью я, самолично, епископ Сурен Татеваци, глава церковных общин Татева и всего Сюника».

Мосье Карл, прежде чем вернуть письмо, приложился к нему губами, посмотрел на Ори, затем перевел взгляд на святую икону и сказал:

— Теперь следуй за мной, дорогой Ори. Я докажу, что заслуживаю твоего доверия и что ждал тебя очень давно, испытывая большие страдания... — Мосье Карл зажег свечи в трехлистом подсвечнике. — Идем!..

Он шагнул к шкафу, который был набит более других.

Вместе с Ори они быстро вынули все из шкафа и отодвинули его в сторону. Мосье Карл поднял одну из досок пола, и Ори увидел глубокий ход. Карл спустил туда лестницу и первым начал с осторожностью сходить по ней, высоко держа подсвечник. И потом, уже снизу, он осветил Ори, чтобы тоже спустился. Ори помешкал, но последовал за ним.

Подпол был тесный, тоже квадратный, полный разных ненужных вещей, до того, что повернуться трудно. Но стены оклеены явно свежими обоями. Мосье Карл, передвигая вещи с места на место, прошел вперед, ведя за собой Ори. Дойдя до стены, он передал ему подсвечник, а сам, постукивая, начал что-то искать в стене. Вот, кажется, нашел. Врезал ножом обои, под ними оказалась дверь. Открыв ее, старик переступил порог. Ори последовал за ним. Это тоже был подвал и тоже оклеенный обоями, но пустой. И здесь мосье Карл, постукивая, опять искал в стене. И снова что-то нашел. Но тут под обоями была не дверь, а кирпичная стена, неоштукатуренная. Он легко вынул кирпичи. За ними была ниша. Ори увидел, как в луче пламени сверкнул обитый жемчужной сундучок. Старик с большой осторожностью поставил его на пол, затем из какого-то углубления в той же нише вынул желтый медный ключ. Вставил его в замочную скважину сундука, раздался мелодичный звук, словно кто-то провел пальцами по струнам арфы. Крышка

сразу откинулась, и все зазолотилось в пламени свечи. Ори глазам своим не поверил.

— Золото. Оно принадлежит Армении. Передаю тебе его, чтобы было на что купить оружие! — сказал мосье Карл и со вздохом добавил: — Это и счастье и несчастье мое...

Высоко держа подсвечник, Ори смотрел на сундук и все еще ничего не мог понять.

— Это принадлежит армянам! — повторил мосье Карл. — Я должен был сам все отвезти. Так завещал мне отец. Но обстоятельства изменились, положение в Армении было таким, что я не смог туда поехать. Сам бог послал тебя, сын мой. Более удобного случая и более надежных рук мне не найти.

Мгновение оба молчали. Наконец Ори сказал:

— Вот, значит, как, дядя Карапет!.. Но я ведь говорил: приобретение оружия не главная моя задача. К сожалению, и для главного дела я пока не совершил ничего особого и не вижу еще той точки, куда мне следует двигаться. А я ведь поклялся, не возвращаться на родину без ростка надежды. Ну, а коли срок моего возвращения пока не определен, я не могу возить за собой столь огромное богатство. Но мне бы хотелось знать, дядя Карапет, что это? Откуда такое чудо? Похоже на сказку!..

— Сейчас каждый армянин должен быть готовым к чудесам, — сказал мосье Карл и грустно улыбнулся.

— За эти слова вас надо бы расцеловать, дядя Карапет!

— Наконец-то я хоть частью исполнил свой долг! — перевел разговор мосье Карл. — Теперь будет легче. Передаю тебе этот ключ и этот клад, как было завещано. Приходи и забирай его, как только сможешь. Не забывай при этом, что я уже стар... Что же до чуда, то я тебе еще кое-что расскажу. Все расскажу...

6

Жан Эрнест Шамети пользовался большим уважением. Все его немного стеснялись, смущались в разговоре с ним. Даже коллеги. Между тем и сам Шамети был вроде бы даже и холоден и равнодушен к окружающему. Сам он всегда приветствовал знакомых, но никогда не отвечал на приветствия. И никто не обижался на него. Быть может, все знали, что человек он особенный: очень ранимый и глубоко человеческий. Что касается знаний, у него их хватило бы на де-

сятерых, но держался он более чем скромно. Видно, потому-то его так ценили за все то, чего он сам в себе не ценил. Удостоиться внимания Шамети было мечтой многих. И конечно же никому в голову не пришло бы, что есть некто, чьего внимания Шамети искал сам. Может, это только из праздного любопытства, но Шамети и впрямь, на удивление другим своим ученикам, искал общения с тем восточным юношей, который если и привлекал своих соучеников, то лишь необычной бородой.

И вот однажды, поразив всех, Шамети взял бородатого юношу под руку, улыбнулся ему, о чем-то спросил, и они вместе вышли...

День был ясный, спокойный. После дождя все ожило. Даже плиты тротуаров словно улыбались. Листья деревьев и цветов, казалось, шелестели не от ветра, а от девичьего смеха, звучащего где-то рядом, от вздоха заспешившей старушки, идущей по мосту через Сену, от радостного крика младенца, пытавшегося ловить солнечный луч, от звона колоколов собора Парижской богородицы, от гитары, подыгрывавшей уличному шансонье...

Так воспринимал все окружающее Ори, и ему казалось, что Жан Эрнест Шамети думает о том же, молча шагая с ним рядом.

И, словно почувствовав это, Шамети сжал локоть Ори и сказал:

— От великой боли человек стонет обычно в одиночестве. Жалуясь себе, он испытывает некоторое облегчение, но... Будь откровенен со мной! — Он уже давно перешел с ним на «ты».

— Мне нечего скрывать, мосье Шамети. Можно ли скрывать судьбу армян?

Шамети показалось, что Ори и его обвиняет.

— Я очень хорошо тебя понимаю, Ори. Но что могут сделать французы? Положим, я закричу на всю Францию. Но что это даст? Французы вздохнут, пожалеют, что гибнет где-то христианский народ. И больше ничего. Народом управляют государи. Своих прав у народов нет. А значит, надо довести голос народа до правителей. И тут уж другая беда.

— Вы совершенно правы, мосье Шамети. Армянин, который думает о спасении народа и обращается к правителю другого народа, должен уповать не на милосердие, а на корыстность и честолюбие. Армения — страна очень богатая, она многих может соблазнить...

— Увы, она и очень далеко от тех государств, которые могли бы поддасться соблазну...

Шамети остановился, изучающе посмотрел на Ори.

С Сены подуло влажным ветром. И теперь цветы и листья на деревьях шелестели уже от ветра. Люди на набережной останавливались и жадно вдыхали напоенный ароматами воздух. Наслаждались все, кроме Ори и Шамети. Только они не заметили перемены в природе.

— Сейчас Франция не соблазнится богатствами Армении. Она в раздоре с Англией, и с каждым днем отношения между ними все более запутываются. И гордиев узел этот можно разрубить лишь мечом... Может, Германия? Да, да, Германия. Она извечно стремится выйти за пределы своих границ. Однако с ней надо быть осторожными. Впрочем, не слишком. У вас ведь такой сильный сосед, как Россия. Она не позволит Германии укрепиться на ее юге...

Ветер с Сены стал крепче и холоднее. Шамети начал поеживаться, но, увлеченный разговором, не придавал этому особого значения. Они представляли довольно странное зрелище — сжавшийся от холода, с худыми узкими плечами Шамети и одержимый, вытянутый и напряженный, как журавль в поле, Ори. Они подошли к собору Парижской богоматери, и тут вдруг колокола его седым звоном поплыли над Парижем.

Шамети и Ори остановились, посмотрели друг другу в глаза, и каждый зашептал свою молитву, один по-французски, другой по-армянски.

На прощание Шамети подал Ори руку и сказал:

— Попробую оказать тебе полезным. Мой глаз конечно же Армении не спасет, но, подобно звону этих колоколов, он, я надеюсь, проникнет в сердце многих французов...

7

Над Монмартром нависла луна. Ее белый свет падал в окно лачуги Ори, ложился на стол у стены и молоком стекал на пол. Ори, заложив руки под голову, разлегшись на тахте, смотрел на луну. Она в это мгновение венчала купол церкви Сакрс-Кер. Однако мыслью Ори был в пахнущей старыми книгами комнате мосье Карла, и виделась ему вовсе не луна, а ложе в полутемном конце комнаты и на нем мосье Карл, рассказывающий историю своего рода...

История оказалась длинной и очень интересной.

В семье, где после пяти девочек родился наконец сын,

Панак, радости, увь, не прибавилось. Панак подросток, а надежд отцовых не оправдал. Отец, по имени тоже Панак, был известным в Ване купцом — торговал сырцом для шелка и сушеными фруктами. Золота он скопил изрядно и земли имел немало. И всему этому суждено было после его смерти расплыться, потому как единственный наследник не проявлял никаких способностей к хозяйствованию. Пристрастия у сына были совсем иные. Он целыми днями бродил в развалинах старых крепостей и поселений, на кладбищах, много читал, любил природу, записывал в народе легенды, песни, сказки, собирал травы и пытался готовить из них лечебные снадобья.

В общем, юношу занимало все, кроме торговли. И отца это очень огорчало. А тут еще вдруг из Парижа приехал тамошний купец с дочерью Рузанной, — отец решил показать ей Восток. Надо сказать, что девушку сразу захватило все, что она увидела в неведомом ей прежде мире. Особенно же покорила ее сын купца Панака.

В вихре любви закружилось все. Не последнюю роль в глазах француженки играло и то, что юный Панак был наследником несметных богатств.

Потерял голову и Панак. Рузанна была поистине прекрасна. И не только в глазах влюбленного. Удивительно прелестная, нежная и женственная.

Отец юноши молил сына, чтобы если уж купцом не хочет стать, то исполнил бы хоть одну его просьбу: женился бы на армянке. При этом он сказал: «Я не стал бы противиться твоей женитьбе на девушке любой нации, знай, что тебе удастся ее обернуть армянкой и что дети твои тоже будут армянами. С этим я бы еще смирился и спокойно закрыл бы глаза, отходя в мир иной. Но поскольку мне ведомо, что армяне обычно, женившись на иностранках, и сами делаются словно бы иностранцами и теряют не только то, что приобреталось многими поколениями, но и в тысячу раз больше, я огорчен. А нашему роду грозит еще и то, что мы потеряем и наши богатства, наше золото!..»

Сын не внял просьбам отца. Сказал, что понимает его, но чувство, мол, сильнее разума и расчета, а потому он женится, пусть и без благословения родителей и святой армянской церкви.

Отец после этого прожил недолго. И хотя умер семидесяти с лишним лет, сын так и не смог отделаться от горького чувства, что он ускорила его смерть. А Рузанна тосковала по родине и грозилась со дня на день уехать в Париж. И Панак

вынужден был, едва миновали сороковины по отцу, перевести в золото все родительское имущество и последовать за женой в Париж. Втайне от нее он взял с собой окованный жестью сундук, в котором отец хранил свои накопления. Панак не сказал про сундук, потому что, впервые открыв его, увидел в нем завещание отца, где было сказано: «Каждый свершивший глупость, прожив пятьдесят лет, коли голова его того в толк раньше не возьмет, начинает сердцем тянуться к земле, где покоятся кости его предков. Заведомо знаю, куда тебя занесет. И потому завещаю тебе второй раз открыть этот сундук не раньше, чем тебе исполнится пятьдесят лет. И если в сердце твоём впрямь будет предрекаемая мною тоска, используй эти накопления на патриотические цели: воздвигни храм, построй школы для скитальцев армян или сделай еще что-нибудь значительное во спасение души в горе почившего отца и недостойного сына. И тогда простится тебе твой грех передо мной и да очистится твоя совесть. Иначе ты вечно пребудешь под моим проклятием...»

Сразу же по приезде в Париж для Панака началась мучительная жизнь. Этот город во всем был для него чужим. Он не говорил с ним, как Ван. Каждое утро, едва проснется, чудилось, что видит перед собой вершину горы Сипан, опоясанную зеленью кустов, с туманным шлейфом понизу. Но каждый раз сердце сжималось так, будто каменело, потому как в окне было совсем другое: чужие окна и балконы незнакомых домов.

Тоска увеличивалась с каждым днем. Ванские тропы беспорядочно вились в глазах. И озеро Ван, называемое армянами морем, тоже не отступало. И храм Ахтамар на острове — сам как остров. И ванское небо... Оно необычное, не голубое. Иногда зеленое, как Айгестан, иногда голубовато-зеленое, как озеро. А временами светится всеми красками, если, конечно, смотреть на него глазами ванца. Многоцветье неба — это обычно признак того, что в Айгестане осень. А ванская луна!.. Это не та луна, которую видят, знают все. Ее можно назвать только ванской луной. Она, правда, тоже в небе нарождается, но тут же падает в море и множится в нем стократ — на каждой волне по луне. Они иногда растекаются и — откуда ни глянешь — кажутся расплавленными. Потом вдруг снова уменьшаются и плавают, как круги. И тогда кажется, стоит рыбаку закинуть сеть, он вытащит вместе с рыбами на берег много-много лун. Такие луны бывают и на листьях ванских шелковиц, на грядах, где

растет эстрагон и укроп, на украшениях женщин и в их глазах. Такие луны бывают на мордах возвращающихся с пастбищ коров, в черноте их глаз, в каждой чешуйке выловленной в озере Ван рыбы...

Все для Панака стало одним лишь видением. И вместе с тем отношения с женой становились все сложнее. Пропасть между ними делалась все глубже и глубже. Теперь уже Рузанне все армянское казалось невыносимым. Даже имя.

Панак назвал сына Карапетом, мать нарекла его Карлом. И уж вовсе не могла жена смириться с тем, что Панак говорил с сыном по-армянски. А потом и совсем стала чураться своего дома и близких, начала искать новых развлечений. И нашла их. А как нашла, ее уже больше не волновало то, что Панак звал сына Карапетом, что говорил с ним по-армянски и часто поминал свою родину. И вот однажды она ушла из дому, чтобы никогда уже в него не возвращаться. Ушла так легко, словно не было у нее сына и пятнадцати лет супружества с Панаком. А Панак при этом совсем сник, и чужбина казалась ему истинным адом. Он хотел вернуться на родину. Пусть сын запалит очаг рода Бзнуни.

Мечтая об этом, Панак стал единственным учителем своего сына, обучая его армянской истории, философии, искусству, чтобы в душе у него в этой чужой стране жила до времени и маленькая Армения. До времени, пока окончатся войны и откроется дорога в Армению.

Дорога открылась, но поздно. Исыякла жизнь. Панак слег, чтобы уже не подняться. Предчувствуя свой конец, он посвятил сына в тайну заветного сундука, заклиная его исполнить волю деда и не жениться, пока не доставит это накопленное богатство туда, где оно нажито, — на родину — и не построит там то, что завещано дедом, во спасение души Панака-деда и Панака-отца. На остальное вполне можно хозяйствовать в Ване и жить там безбедной жизнью. И еще отец молил, если дела когда-нибудь бросят сына в Париж, пусть увезет его останки и похоронит в ванской земле...

Карапет спрятал клад туда, где он пролежал годы, и, решив непременно исполнить наказ отца, стал ждать благоприятных времен для возвращения на родину.

Шли годы, и всякий раз что-нибудь да мешало Карапету исполнить желаемое — отбыть в Армению. И чем старше он становился, тем больше терзался думой о том, как исполнить завещанное отцом, как доставить его богатство в страну, где оно было нажито. И вот явился человек, который

всей сутью своей предназначен для претворения завещанного отцом Карапетом Панаком. Он-то и употребит на пользу Армении и армян сбереженное богатство...

Может, впервые за много-много лет, вручив ключ от заветного сундука Израелу Ори, Карапет спал всю ночь спокойным сном...

Луна спустилась с купола Сакре-Кер. И теперь этот купол казался еще выше. Он, как бы угасая в синеве неба, растворялся в свете луны.

Ори, с трудом оторвав взгляд от купола, встал, подошел к столу, запалил свечу, взял в руки перо и стоя записал:

«Низко кланяюсь тебе, народ армянский, измученный, многострадальный, но и стойкий, единый, всегда творящий доброе. Гуманный и гордый народ мой, верный делу своих предков, чья еще земля подвергалась стольким напастям, стольким терзаниям, как твоя? В жилах сынов твоих течет кровь преданных патриотов. Рожденный от армянина Панака и француженки Рузанны, живет в Париже Карапет. Живет, как армянин, и мечтает быть похороненным в Ване. Живет бедно, но не прикасается к богатству, отцом и дедом завещанному на деяния, полезные родине.

Низко кланяюсь тебе, земля родины. Все муки за тебя — ничто, только бы, даже испуская дыхание, сознавать, что ты наконец свободна!»

Ори не перечитал написанное, чуть спустя он ниже добавил:

«Из головы у меня не идут итальянец Джованни Теста и француз Жан Шамети. И в каждом народе, я верю в это, есть такие люди, и именно они — будущее человечества. У Шамети, с виду кажущегося таким холодным и педантичным, глаза наполнились слезами, когда я рассказывал ему об Армении. Он пишет книгу, которая должна стать голосом его протеста, набатом, бьющим против равнодушия христианских государств, безучастно смотрящих на гибель единоверного народа. Шамети в разговоре со мной сказал, что никакое государство Европы не станет заниматься сейчас нуждами армян, пока не выйдет из тупика своих неразрешенных проблем. Может, только Германия заинтересуется.

Я тоже склоняюсь к тому, что воинственная и сильная Германия может спасти Армению. Но и от Франции я еще не отступаю и не теряю надежды. Французы — народ добрый...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ночью прошел небольшой снег с дождем, и зима на этом кончилась. Утром опять светило солнце, и сразу все растаяло, отогрелось. Долина Аракса ненадолго утонула в тумане. Сквозь этот туман краснели пылающие огнем возрождающейся жизни почки на деревьях садов.

А на Змеинной горе было холодно. И потому из пещер шел пар. Вот из одной из них вышел Костанд Астапатци. Поглаживая на груди бороду, он зашагал к лощине, туда, где была захоронена голова мелика Исраела и где минувшей ночью похоронили и тех, кто храбро сражался и погиб во время прошедшей осады. Из этой лощины просматривалась вся Нахичеванская долина, начиная от места, где сливаются реки Аракс и Тхмут, до склонов Масиса.

За Астапатци вышли все, кто был с ним в пещере, потом к ним присоединились и остальные люди отряда. Шли молча. Каждый был занят своими мыслями. Но думали об одном и том же... Потому все и были мрачные и понурые.

Первым в лощину ступил Костанд. Ступил и остановился. Привычно поглаживая бороду, он ждал, пока подтянутся остальные. И когда собрались, поднялся на обломок скалы и, четко выговаривая каждое слово, сказал:

— После долгой осады и кровопролитных боев мы вышли победителями. За целый месяц едва ли не первую ночь спали. Понятно, что никакая победа не дается без жертв, но потери врага во сто крат больше наших. Все вы проявили беспримерную храбрость. И хоть все это происходило далеко от глаз народа, здесь, в горах, и, может, никому из нас не суждено остаться в живых, чтобы потом поведать обо всем, что тут было, но битва наша войдет в историю. Потому что эти, политые нашей кровью, скалы сами расскажут потомкам, как в году одна тысяча шестьсот восемьдесят втором, в феврале и марте месяце, ханские полки осаждали Змеинную гору под общим командованием сардара Мухаммеда-Зулфи. Войско его состояло из соединений стрелков из ружей, из лучников и копьеносцев. Многие воины имели сабли, войску была придана дальнобойная пушка и две мортиры, но они почему-то бездействовали. Враг уже не раз предпринимал подобные окружения, рассчитывая взять на измор, поставить армянских повстанцев на колени. Но враг жестоко просчитался. Ему противостояло пять сотен. Армя-

не выдержали и холод, и голод, и жажду и не отчаялись, не рассеялись. Проявили сплоченность, оказали упорное сопротивление. И часто, нападая внезапно, и ночью и днем, закидывали врага лавиной камня и, загнав в ущелья, истребляли его. Ряды врагов редели с такой быстротой, что они вынуждены были отказаться от осады и, испросив разрешения у хана Мухаммеда-Рзы, в ночь на седьмое марта отвели остатки своего войска. И вы, грядущие потомки, живя на обильно политой кровью земле нашей, помните и благословляйте имена тех, кто сражался — один к ста — и победил...

Отец Костанд вынул из-за пазухи бумагу и стал по ней читать. Называл прежде тех, кто жив, — имя и какого села житель...

— Отец Костанд, ты себя забыл! — крикнул кто-то.

— Я с каждым из вас.

— Ты и с каждым из нас, и сам по себе. Дай, мы запишем твое имя! — сказали сразу в несколько голосов.

Кто-то взял у него бумагу. А когда вернул, там уже было дописано: «В этой неравной битве, и прежде и после нее, вождем был нам протоиерей из Норагюха отец Костанд Астапатци».

— Теперь помянем павших!.. — объявил Костанд.

Все вынули мечи из ножен и опустили их к земле.

Отец Костанд снова начал читать:

— «Из Кзнута — Ованес, сын Аракела, Тер-Марукян Степанос, из Шарута — Саакян Беймураз, Даллакян Атанес, Багратуни Сагомон».

Так, перечислив всех, отец Костанд поднял бумагу над головой и проговорил:

— Слава! Тысячу раз слава тем, кто пал за родину и за веру праведную!

— Слава, тысячу раз слава! — повторили за ним. — Смерть или свобода Армения! Мы будем жить!..

И, как всегда, ущелье эхом разнесло эти слова, отчего клятва сделалась многозначнее. И когда все снова вложили мечи в ножны, отец Костанд, спрятав бумагу, по которой читал, вынул другую. Но прежде чем опять углубиться в чтение, он сказал:

— Мы не воители, мы люди от земли. Беда вынудила нас вместо плуга, лопаты и мотыги взять в руки оружие. Но смотрите!.. — Он протянул руку в сторону долины. — Нет ни клочка вспаханного поля, нет ни единого возделанного сада. Что будут есть наши дети, наши жены, мы? Повстанцы

Сюника, которые тоже одержали большую победу над Татевским полком, не слагая оружия, сейчас, однако, заняты пахотой и севом. У нас тут все немного иначе. Землю полностью отняли, армян-меликов извели, но все равно надо искать выход. И мы почти нашли его. Решили предъявить хану вот какое требование. — И он начал: — «Много лет жизни тебе, благословенный хан Мухаммед-Рза. Да хранит тебя бог, наступила весна, и в твоём ханстве это видно только по тому, что в камыши на Араксе опустились несколько аистов, и по тому, что от таяния снегов в горах река вышла из берегов, ну и еще, может, потому, что сейчас тебе к завтраку подают зелень, а слух твой ласкает пенные птиц. Однако ты знаешь, что весна знатна не этим. Настоящую весну знаменует звучащая в поле песня пахаря, урчание волов, скрежет лемехов и запах свежевспаханной земли. И еще сеянье. Да хранит тебя бог, хан, о чем бы тебе ни думалось, но не можешь ты не думать о том, как будут жить твоё войско, твои люди. Не можешь не думать и о том, с чего взять те большие налоги, которыми ты обложил крестьян. Ведь если не пахать, не сеять, богатый обеднеет, а бедный сгинет. Ты, хан, знаешь, что мы люди отчаявшиеся и можем нанести тебе очень много вреда, как уже и нанесли. Но мы не делали ничего такого, на что не вызывали бы нас вы... Мы только потому и остаемся в горах, чтобы не позволить вам безнаказанно оскорблять нас и наши семьи.

Да будь дальновидным, хан Мухаммед-Рза, и знай, что, если мы найдем себе могилы в этих горах, этим все не кончится. Нас заменят наши сыновья, а им на смену придут их сыновья. Твое войско не выдержало наших ударов и отошло от склонов Змеиной горы. Мы не захотели воспользоваться этим его отступлением и нанести еще более жестокий удар, когда к тому были все условия. Но сейчас считаем себя вправе поставить перед тобой несколько требований, которые одинаково выгодны и тебе. Во-первых, мы хотим, не все, а частями, спуститься с гор и посеять на наших клочках хлеб, возделывать сады. Для этого надо, чтобы ни один кзлбаш не попался на нашем пути. Гонцы могут появляться на дороге, ведущей из Нахичевана в Персию, но ни в каком случае не на пути из Нахичевана в Ереван. Потому как со стороны Ереванского ханства для нас всегда есть угроза. Во-вторых, мы требуем снять бесчеловечный налог на голубей, на соль и на красящие растения. И без того на нас налогов видимо-невидимо. Требуем прекратить издева-

тельства над армянскими крестьянами, прекратить красть армянских девушек и воровать наши национальные реликвии, прекратить надругательства над нашей верой. Хранит господь хана, если эти наши требования приемлемы. Дай нам свое письменное заверение, что исполнишь наши требования, и мы не заставим тебя об этом пожалеть. И если ты согласен, то в знак благодарности мы отпустим на свободу тех сто пятьдесят пленников, которых держим у себя».

— Спасибо, отец Костанд, хорошо все решил! — соглашась с ним, сказали все разом.

И только один человек сказал иное слово:

— Отец Костанд, стоит нам спуститься со Зменной горы, они захватят наши укрепления, и мы уже больше нигде не сможем так укрепиться!..

— Сказано ведь, спустимся по частям, — ответил отец Костанд. — Поначалу оставим здесь большую часть, а меньшая сойдет вниз.

— Ясно.

— Кто возьмется доставить это послание хану?

— Я!.. — вырвалось сразу у многих.

Костанд Астапатци довольно улыбнулся, но остановил взгляд на юноше, который был моложе других.

Час спустя из пещеры выехал всадник и пронесся по склону в ущелье, перешел Ернджак, на мгновение затерялся в садах и, выйдя на прямую дорогу, ведущую в Нахичеван, умчался... Только желтые клубы пыли вздымались из-за его спины, говорили о том, что копыта стремительного коня касаются земли.

2

Перед главным входом ханского дворца остановился всадник. Он соскочил с коня и смело ударил в железный гонг. Открылось маленькое оконце, и в нем блеснули два глаза. Они как бы обшарили прибывшего.

— Что надо? — спросил страж, удивляясь, что видит перед собой вооруженного армянина.

— У меня к хану послание.

— От кого послание?

— От полководца Костанда.

В рамке оконца, как челнок, закрутились глаза.

— Такого полководца нет. Дай-ка сюда, посмотрю, что у тебя за бумага, — и он протянул два пальца.

— Мне велено вручить только лично.

— Ты скорее затылок свой увидишь, нежели хана. Чей он пес, твой Костанд, чтобы гонец его ступал своими погаными ногами в ханский дворец?

— Эй ты, истинно пес! Тебя поставили у этого входа, чтобы ты сообщал хозяину о приходе чужого человека. Других у тебя нет прав, и, если ты сейчас же не выполнишь свою службу, поверь, что хан сам снесет твою голову с плеч.

Стражник с грохотом захлопнул оконце. Шаги его, удаляясь, скоро совсем заглохли. Спустя какое-то время шаги снова возникли и стихли у ворот.

Гонец подождал, пока опять откроется оконце. На этот раз в нем сверкнули другие глаза.

— Кто тебе позволил, вооруженному и на коне, так близко подъехать к ханскому дворцу? — спросил новый стражник.

— Я гонец к хану, в этом и мое право.

— Что ты имеешь сообщить?

— Кто ты, спрашивающий меня?

— Представитель ханского дивана.

— У меня послание, которое я должен вручить лично хану.

— Хан приказал взять у тебя это послание. Я доложу, а ты подожди.

Делать нечего, отдал и стал ждать.

И вдруг неожиданно открылось не окно, а створка ворот, и гонца Костанда Астапатци не пригласили, а силой втащили внутрь, прямо во дворе сорвали с него меч и увели в темницу.

На следующий день у ворот ханского дворца снова ударили в гонг, снова открылось оконце и в нем снова сверкнули два глаза...

— Я гонец от Костанда Астапатци. По его приказу, вручая хану эту голову, я должен сказать ему два слова.

В спину стражника будто вонзили копье, когда он увидел, что гонец вынул из хурджина голову сотника Мухтара и, держа ее за волосы, стал ждать ответа.

Стражник, забыв закрыть оконце, метался по двору, кричал. Сбежались люди. Они готовы были тут же на месте растерзать бородатого армянина, который стоял с невозмутимым видом и держал в руке голову сотника Мухтара, прославленного в ханском войске небывалой храбростью и

ловкостью. Но люди хана понимали, что расправу эту надо предоставить хану.

Гонца повели ко дворцу. И каждый на пути, срывая свой гнев, старался пнуть его ногой.

3

Хан Мухаммед-Рза и главный визирь сидели мрачные, и чувствовалось, что между ними только что произошел неприятный разговор. Визирь совсем поник, казался старше обычного, а лицо хана горело гневом. Перед ним на покрытой зеленым бархатом скамейке лежала голова сотника Мухтара. Лицо иссиня-белое, глаза закрыты. Похоже было, что никогда не обременявший себя размышлениями, сотник сейчас погружен в философское раздумье о суетности мира.

Дверь отворилась, и ввели второго гонца Астапатци, того, что привез голову сотника. Борода у него была коричневая и лоб цвета меди. Гонец встал перед ханом и великим визирем и поверх них, сквозь кисейные занавески, уставился в окно. Там, в ханском саду, расцветала весна. Вдали поле переходило в холмы, а над ними, совсем далеко, господствовала Змеиная гора, которая сейчас была почти голубой, чуть темнее неба.

— Говорят, ты хочешь мне что-то сказать? — спросил хан, встретившись взглядом с гонцом и не дав ему отвести глаза. — Говори, я слушаю.

— У меня не свое слово.

— А чье же?

— Полководца нашего Костанда Астапатци.

Хан едва заметно усмехнулся.

— С каких это пор поп стал полководцем?

— Когда победил в последней битве с ханским войском.

Хан склонился над четками и начал бесшумно перебирать янтарные бусины.

— И что же передал твой полководец? — спросил хан, не поднимая головы.

— Наш светлейший полководец говорит, что, если солнцеликий хан не согласен удовлетворить его требования, пусть хотя бы отпустит гонца. В противном случае, сказал он, головы сорока девяти плененных им кзбашей будут срублены, как эта, — гонец показал на голову сотника Мухтара, — и отправлены не хану, а шаху, чтобы знал, кто правит его ханствами и как сберегает головы его воинов...

— Больше ничего не скажешь? — гневно спросил хан.

— Ничего больше не велено.

Хан подал знак, и гонца вывели. Воцарилось молчание, которое терзало главного визиря. Хан понимал это и потому намеренно затягивал молчание.

Но вот он заговорил:

— Выходит, и я тоже глуп, коли считал, что ты умней? Визирь молчал.

— Как же ты не угадал, на что могут пойти отчаявшиеся армяне? Э-эх, великий визирь!.. Выложат перед шахом головы кзлбашей, поведают, как они, всего горстка, разбили мое войско. Не думаешь ли ты, что шах облобызает нас за это?.. Или догадываешься, что он прибавит к этим головам еще две? Ты посадил в темницу гонца и хотел убедить меня, что хану унизительно придавать значение гонцу повстанцев. Может, оно и верно, но тут ты невольно стал причиной нового нашего бесчестия.

Хан уж собрался продолжать свои упреки, когда великий визирь вдруг, прикрыв глаза и завалившись на бок, медленно сполз на пол. Чалма слетела, и лысая, желтая продолговатая голова ударилась об пол. Хан невозмутимо поднялся, подошел к визирю. Потянул его за похожие на желтые осенние листья уши. Визирь Нури с трудом открыл глаза.

— И не совестно тебе, великий визирь?..— пожурил хан.— Падаешь в обморок, точно девица.

Ночью, когда все в ханском дворце спали, отворилась дверь темницы и гонцам-армянам предложили выйти. Сам главный визирь вывел их за крепостную стену и, вручая бумагу, сказал:

— Наш справедливый, мудрый хан, надеясь, что беглые армяне когда-нибудь возмутятся за ум и совсем сойдут с гор, платит вам добром за ваше зло. Идите и вместе со своим вождем подумайте, поразмыслите обо всем.

4

Семь пар волов цвета солнца на рассвете протянули первую борозду в долине Аракса. Впервые прозвучала давно уже оборванная страхом перед врагами песня пахаря. Прозвучала, как молитва. Она лилась свободно, и волю усердно, покорно тянули плуги. И пахари шли за ними с ружьями и мечами...

А вдали, как неприступная крепость, высилась Змеяная гора с ее изрезанной вершиной.

На другой день песню пахаря пели уже не только тут. И земля зачернела не только в долине Аракса, но и в предгорьях Бичанага, и в долинах Астапата и Сирапа, на склонах Гохтана. Вскоре в садах и на огородах стали появляться девушки и женщины. Поначалу они были робки и молчаливы, но потом слышались и их голоса.

И так почти вся весна прошла в мире и трудах.

5

Село, которое прозывается Кзнутом, расположено в низинах, а церковь чуть повыше, на взлобке предгорья. Светлая сельская церквушка на майской изумрудной зелени. Узкая каменистая тропа выводит из села и кончается у церковной паперти. По обочине, поодаль друг от друга, печалются ивы. Потому, кажется, и печалются, что далеки друг от друга...

Солнце уже зашло. Очаги пускали в небо клубы голубого дыма. Кудрявясь в вышине, он постепенно рассеивался. Мерно вызванивали церковные колокола. А скоро во всех домах засветились лампы, окна стали желтыми, а по тропе к церкви потянулась людская цепочка.

Врата церкви были настежь, изнутри лился белый свет. Он еще издали освещал лица поспешающих прихожан. Они осеняли себя крестом и входили в церковь. Белым светом светились и оба церковных окна.

Народ собрался, и колокола перестали звонить. Вечернюю службу служил не приходской священник отец Гукас, а какой-то никому не знакомый священник, очень крупный, дородный человек. И дьяконы, и служки, и даже сам отец Гукас как-то поуменьшились перед ним. И крест у него на широкой груди тоже казался необычайно маленьким. И голос у незнакомца был такой мощный, будто не один, а пятеро читали молебен.

Закончив обедню, священник, воздев крест, заговорил о том, как надо защищаться в эти трудные дни и что убежденность в грядущем спасении родины да будет им в помощь. Он поминал битвы при Аварайре, Акоре и Нерсесапате, говорил, что эти завоевания, достигнутые ценою крови, и защищать надо кровью. Перечислил он и имена героев-повстанцев, погибших недавно за народ и за веру. Они пали за то, чтобы хоть одну весну армянам пожилось мирно. В конце проповеди священник призвал не покоряться чужеземцам.

Снова прозвонили колокола, и на этом кончилась вечерняя служба. А когда прямо тут, в церкви, священник снял с плеч рясу, все, кроме отца Гукаса, издали возглас удивления, увидев его вооруженным. Он понял удивление народа и сказал:

— Пока страна во власти чужеземца, жить можно только так: с крестом и оружием! — Затем, вынув из обшлага свернутую бумагу и вручив ее приходскому священнику, добавил: — Святой отец, бережно храни эту бумагу вместе с другими реликвиями церкви, пока она не станет предметом исторических повествований. Здесь имена тех, кто поклялся умереть на высотах Змеиной горы и в горах Гохтана, только бы не иссякла в народе надежда на возрождение священной отчизны. Они погибли в неравной битве, я помянул их во время службы. И вы поминайте. Ежегодно в эти дни. Пусть каждый армянин помнит их и старается быть похожим на них!

Звонарь, забывшись, вдруг трижды ударил в колокола... Странный священник попрощался со всеми и удалился. На церковном кладбище его поджидали четверо. Сев на коней, они пустились в галоп. А прихожане не расходились. Они ошеломленно смотрели на отца Гукаса.

— Вы видели и слышали отца Костанда Астапатци, — сказал он.

И тут все лавиной выбежали из церкви, стали всматриваться в темную даль и вслушиваться в конский топот...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Бургомистр города смотрел в окно из своего кабинета в ратуше.

В Дюссельдорфе шел снег. Первые два дня падал мягкий, словно стараясь не нарушить покоя этого старинного города. Но сейчас, уже четвертый день, сыплет всюю. Преобразилось все под снежными шапками: мраморные могильные плиты герцогов Элеве, Берда, Вольфганга и Вильгельма. Сказочным казался купол собора св. Ламберта. В туманной дымке тонул Карлштадт. И только Рейн был величаво-спокойным в своем равнинно-белом ложе.

Но не снег и не причудливые сугробы захватили внимание бургомистра, а сама зима... Он всматривался и думал о своей жизни, о том, что на исходе четвертый десяток, о тех зимах, которые хоть и не так обильно, но с тихим упорством серебрят снежком его самого, да таким, что уже никакая весна не растопит...

Он погладил бороду, повернулся туда, где рядом с мерно тикающими часами виселось большое зеркало, посмотрел на себя и, как всегда, удивился. Седой была только одна левая сторона бороды. С той же стороны и в волосах тоже седины было больше. Грустно про себя улыбнувшись, бургомистр подумал: «Зима нисходит и в мое сердце...»

Продолжая поглаживать бороду, он подошел к креслу, сел, положил руки на подлокотники и начал медленно читать то, что написал раньше. Прочитал дважды. Что-то ему не понравилось. Перечеркнул, хотел было начать заново, но тут вдруг открылась дверь и вошел посыльный от курфюрста. Щелкнув каблуками и склонившись, он сказал:

— Ваше превосходительство, курфюрет просит вас пожаловать к нему.

2

Наследный принц Иоганн-Вильгельм сидел на диване. Подперев голову белой рукой, смотрел в одну точку и улыбался. Если бы в этот миг кто-то набрался смелости спросить, чему улыбается наследник престола, он бы охотно рассказал во всех подробностях. Потому как очень уж велико было в нем желание поделиться думами.

Три дня тому назад был день рождения курфюрста. Отмечали круглую дату, собрались приближенные и чиновные люди. Германо-римский кайзер Леопольд, посланники короля Испании Карла II, короля Португалии Петра II, принцы Пармы и Пиаленцо, великий герцог Флоренции. Были гости из шведского, саксонского, польского королевств. Здесь же присутствовал бургомистр всех четырех городов княжества Пфальц, который интриговал всех своим явно восточным обликом.

Празднество еще не началось. Бургомистр, неизвестно почему, пребывал в глубоком раздумье. На гостей, приехавших из дальних мест, он производил впечатление человека усталого и молчаливого. И для всех было неожиданнос-

тью, что на открытии празднества он вдруг встал и заявил:

— Вести застолье буду я.

И странно, но его звучный голос и твердость речи были встречены аплодисментами.

Наследный принц Пфальца, который очень любил своего бургомистра, был восхищен его смелостью и тем, что в числе приближенных имеет человека, вызывающего столь большой интерес среди высокородных гостей.

А как он потом вел застолье!.. Тосты произносил сдержанно, но каждого старался возвеличить. Был щедр повосточному на шутки-прибаутки и на поговорки, чем вызвал всеобщее веселье. А в конце, когда надлежало сложить обязанности руководителя застолья, он сказал:

— Дамы и господа! Благодарю вас за то, что вы позволили мне вести это застолье отчасти по обычаям народа, меня породившего, по-армянски...

— Мы восхищены и благодарны!.. — откликнулись мужчины.

Женщины с улыбкой и лаской во взглядах согласились с ними.

Бургомистр продолжал:

У нас последний кубок поднимают за того, кто вел застолье. Я отказываюсь от этой привилегии и прошу разрешить мне осушить этот кубок за мой армянский народ и сказать вам, почему я пожелал сделать это здесь...

Великий герцог Флоренции поправлял под подбородком белую салфетку. На его изрезанном глубокими морщинами лице шли красные пятна — от обильного возлияния. Но глаза при этом были добрые, улыбочивые. Он посмотрел на бургомистра и старческим, скрипучим голосом проговорил:

— Скоро рассветет, и мы уже утомлены, особенно дамы, но и за вас, и за ваш древний народ высьем охотно!

Все захлопали в ладоши и присоединились к предложению старого герцога. А он, продолжая свою речь, говорил еще о том, какое получил удовольствие от общения с бургомистром. И все кивали, соглашаясь с ним, не отрывая взглядов от необычного облика смуглого человека с курчавой бородой, одна сторона которой была как бы рассечена лучом белого света.

Кое-что собравшиеся узнали о нем из тоста Иоганна-Вильгельма. Однако это только обострило интерес. Гости из

разных стран узнали, что бургомистр происходит из рода армянских князей Просянов, что он сын славного мелика Исаела. Узнали гости и о том, что молодой Ори получил высшее военное образование в Париже, участвовал во франко-английской войне, проявил личный героизм и отвагу, умело командовал своим воинским подразделением, но, на беду, в одном из сражений был тяжело ранен и попал в плен. Вернувшись из плена, он покинул Париж и поселился в Дюссельдорфе...

— И род его занятий здесь был иным... — с улыбкой продолжал наследный принц. — Но однажды случай вернул его к прежнему... В границах моих владений произошли беспорядки, угрожавшие обернуться большой бедой. Исаел Ори добровольно взялся отвести опасность и действительно отвел ее. С тех пор прошло три года. И три года, как господин Исаел Ори — бургомистр всех четырех городов моего княжества... Это в радость мне и на счастье моим городам! — Вильгельм улыбнулся Ори.

В бороде и усах Ори сверкнули крепкие, здоровые зубы, глаза чуть прищурились. Он тоже улыбнулся.

Вильгельм долго еще говорил о своем бургомистре, превознося его. Всегда скромный Ори при иных обстоятельствах не дал бы хвалить себя. Но сейчас он, пожалуй, даже спротоцировал это и был доволен.

Наследный принц закончил, и опять все ему аплодировали, что-то выкрикивали. Потом зазвенели хрустальные бокалы и зазвучала музыка. Многие дамы выразили желание пройти круг в танце с армянским княжичем, бургомистром четырех городов. Танцевали с ним и юная, жеманная принцесса, и ее далеко не юная мать, как две капли воды похожие друг на друга. Но вот и музыка смолкла. Выбрав момент затишья, Ори заговорил о своем:

— Я понимаю, что здесь сейчас не к месту заводить речь о том, о чем хочу сказать я. Но попробую, воспользовавшись вашей благосклонностью, сказать и это, хотя я и без того сегодня необычно многословен. Надеюсь, вы извините меня. Вот уже двадцать лет я не нахожу слушателей для того, что крайне необходимо высказать моему народу, если бы и ему посчастливилось чудом вдруг видеть собранными воедино избранников божьих, властителей единоверных государств. Все вы христиане, но думаю, что не знаете о древнем, тоже христианском народе, теснимом вражеским кольцом, находящемся под угрозой ассимиляции и уничтожения.

Это мой, армянский народ. Но он еще может подняться, достаточно хоть немного помочь ему. Если какое-либо христианское государство поможет армянам, — освободившись, они расплатятся с ним как истинные христиане — верностью и дружбой!.. Но увы, такого государства, желающего помочь армянам, пока нет, и потому нам остается поднять наши бокалы и пожелать им долготерпения, авось кто-то и преградит путь лавине.

— Есть еще Россия. Она велика. Лавина, если и ринется дальше, в России иссякнет! — это сказал посланник испанского короля Карла, который понял то, что хотел сказать Ори.

Исраел Ори вздохнул, и это не понравилось испанцу. Он вздернул бровь и глянул на Ори.

— История многое знала... Два века хозяйничали в России татаро-монголы. По просторам степей и ветер быстрее носится. Никогда нельзя забывать, что на всем российском берегу Черного моря располагается Крымское ханство, а за спиной у него — султанат Турции. К тому же от самых берегов Каспийского моря и до верховьев Волги земли также в руках у татар. А между ними два небольших христианских народа, живущих бок о бок: армяне и грузины, связь которых, вот уже века, постоянно стремятся нарушить. Если это удастся, тогда, поверьте, угроза распространится и на всю христианскую Европу.

— За Армению! Пожелаем ей божьей милостью спасения! — поднимая бокал, провозгласил Иоганн-Вильгельм и многозначительно улыбнулся, глядя на Ори.

Поднятый бургомистром вопрос невольно завладел вниманием присутствующих.

— Христианский мир не вправе оставаться равнодушным к судьбам армян! — сказал герцог Флоренции и, обращаясь к Ори, спросил: — А что, армяне католики?

— Нет, сиятельный герцог. Григориане.

— Поразительно! Столь малочисленны — и своя религия! Непостижимо!..

— Когда армяне принимали христианство, сиятельный герцог, Армения была великой страной и простиралась до границ Римской империи...

— Бог милостив!.. — прервал его герцог.

Звонко звенели хрустальные бокалы. И один вдруг разбился. Слуги поспешно собрали осколки, но на белой скатерти осталось темное пятно от вина. Глянув на него, Ори тяжело вздохнул и опустил глаза.

Все это было месяц назад. Курфюрст за это время мысленно не раз возвращался к застойной речи Ори. И надо сказать, его Рейнская область теперь казалась ему слишком маленькой для его возможностей и славы. Нет-нет да и представлялось, что он восседает на армянском престоле. И чем больше об этом думалось, тем более возможным все казалось. Исполнившись решимости, курфюрст призвал к себе Ори.

Бургомистр не заставил долго ждать. Едва он вошел, Иоганн-Вильгельм, пригласив его сесть, заговорил без обиняков:

— У меня из головы не идет Армения. Ты, дорогой Ори, человек необыкновенный.

— Чем же необыкновенный, мой курфюрст?

— Ты зажигаешь в душах огонь, который не только не гаснет, а, напротив, разгорается. Вот видишь, я уже озабочен судьбой Армении, так, словно и сам армянин. Жалко мне ее...

Ори обрадовался. Может, наконец близка к осуществлению его мечта?.. Сдерживая волнение, он в то же время подумал о том, что полностью доверяться курфюрсту нельзя. Корысть в нем конечно же сильнее всех других чувств. И тем не менее сказал:

— Благодарю вас. Мы были бы рады любой помощи. Но лично я хотел бы, чтобы это были вы, с вашими добрыми чувствами к моему народу... О, если бы вы знали его непосредственно!..

Ори снова рассказывал об Армении, с большими подробностями. Говорил спокойно, убедительно. Курфюрст слушал его, поглаживая пальцем бровь.

— А что, если все это только ваше желание?..

— Не только. Все мелики, весь народ будут готовы покориться вам!

— Как в этом убедиться?

— Если моя программа приемлема для вас, я скажу как.

— Что ж, слушаю.

— Высокородный курфюрст даст мне письмо, адресованное к армянским меликам, о том, что согласен протянуть им руку помощи, если они попросят об этом. Я отправлюсь с этим письмом в Армению и привезу ответ с просьбой о помощи с заверениями, что, в случае победы, признают ваше превосходительство властителем Армении.

Иоганн-Вильгельм едва заметно улыбнулся:

— Но при этом существенна и религиозная принадлежность!

— Неужели не достаточно быть просто христианином? — не без удивления спросил Ори.

— По мне, достаточно быть просто христианином, дорогой Ори, но моему народу не безразлично, какова религиозная принадлежность народа, во имя которого он принесет жертвы...

— Понимаю. В общем-то, сейчас, когда ислам подавляет душу армянина, он, я думаю, не станет противиться незначительным изменениям в своих религиозных обрядах.

— В таком случае я приготовлю письмо, которое ты любезно готов доставить своим соотечественникам. Но...

— Что еще тревожит моего курфюрста?

— Ума не приложу, кто сможет заменить тебя, дорогой Ори! — растерянно сказал Иоганн-Вильгельм, действительно привязавшийся к Ори.

— Только бог незаменим. Много таких, кто куда лучше, чем я, справится с делом.

— Во всяком случае, это конечно же проблема, не сравнимая с судьбой целого народа. Иди и готовься к отъезду, к своей миссии...

Курфюрст улыбнулся Ори и пожал ему руку.

— От миссии — к миссии!.. — едва слышно прошептал Ори.

Иоганн-Вильгельм то ли не расслышал его, то ли просто ничего не сказал.

4

Это было три года назад. Ори, только что освободившийся из английского плена, поселился в Дюссельдорфе. Стояла осень, и воды Рейна приносили красно-желтые листья из дальних мест. Приносили и уносили опять вдаль.

Ори шагал вдоль берега. Потом сел и загляделся на проплывающие листья. На другом берегу ветер трепал ветви каштанов, и они тоже сбрасывали свои листья в воду.

Между Рейном и Воротаном никакого сходства. И тем не менее река, несущая осенние листья, багровый закат, тени от деревьев на воде, хочешь не хочешь, напоминали о родине, о Воротане. Особенно о том его отрезке, который, выгнувшись серпом, протекает под Ангехахотом. И ряды ив и чинар вдоль берега тоже причудливо изгибались, то склоня-

ясь, как зеленый мост, над рекой, то вытянувшись, как дым, к небу. А два дерева жались друг к другу, словно влюбленные... Ори, может в тысячный раз, вспоминал, как из-за этих двух свившихся деревьев некогда вышла Рипсима с медным кувшином на плече. А вспомнив, всякий раз после этого слышал он и певучий перезвон колоколов церкви Ангехакота и видел, как вьется дым над крышами, как мягко падают хлопья снега...

В праздник крещения Воротан, объятый холодом, почти не шумит. Он дышит ладаном курящихся кадил и принимает крест с изображением распятия... Ори не чувствует режущего холода, когда опускает руку, чтобы вынуть из воды крест. Не чувствует, потому что два жарко пылающих глаза из толпы согревают его...

Между Ангехакотом и Венецией тоже нет никакого сходства. Но стоит вспомнить сценку в Ангехакоте, и тотчас вспоминается Венеция. Дверь, которую ему открыла девушка с ликом богоматери. Из сердца Ори тогда вылетело все, даже думы о великом горе армян. Только любовь была в нем в тот миг!..

Ори протянул руку и вытащил лист, самый желтый из тех, что уносила вода. Лист был похож на язык птицы и горел, как пламя масляной лампы. Вглядываясь в этот светящийся лист, Ори как бы хотел из глубины прошедших лет увидеть Астру, такой, какая она есть сейчас. Но виделась она только прежней. Ори даже услышал ее смех. Она смеялась по-особому, как куропатка курлыкала... Смех этот тоже был из тех лет... Увы, лист не бросал света на нынешний день. И Ори кинул его в реку. Кинул и поднялся с места...

Два дня не давали покоя мысли о том, как сложилась судьба созданной для счастья Астры, как и чем она живет?.. И, не надеясь получить ответ, Ори все же написал ей письмо. «Помнишь ли Оври? — писал он. — Так ты называла меня, и так теперь все зовут вот уже сколько лет. Как вы живете, и ты, Астри, и родители?.. Я помнил вас все эти годы. А надо сказать, жизнь моя за эти пятнадцать лет наполнилась почти одними только страданиями... Я так хочу знать о вас все, так хочу видеть!..»

Шли дни и месяцы. Ори не удивлялся тому, что нет ответа. Удивился он тогда, когда ему вручили письмо из Венеции! Письмо было от Астры. «...Вы, наверно, все же не просто человек!.. — писала она. — Поначалу ваше письмо меня не обрадовало, а скорее испугало. От дурного предчувст-

вия сердце замерло. Вы и в первый раз как с неба свалились. И как это бывает с наивными глупышками, едва открывшими глаза на мир, я позволила себе полюбить вас... Прошло столько лет — и новое явление. Так являются только ангелы божьи... Может, лишь теперь я окончательно поняла, как велико ваше горе, кинувшее вас в скитальчество. И теперь мое сердце, сжимавшееся от обиды и оскорбленного женского самолюбия, наконец успокоилось. Успокоилось, когда я прочла ваше письмо... Вы хотели бы видеть всех нас?.. Увы, это невозможно, ни папу, ни маму вы уже не сможете увидеть. Их давно нет в живых. Что касается меня, то, если когда-нибудь дорога ваших скитаний пройдет через Венецию, вы найдете меня в нашем старом доме. Только я уже не та Астри, которую вы знали. Перед вами предстанет глубоко несчастная женщина, потерявшая к тому же и супруга (он утонул в море четыре года назад)...»

Ровно через неделю Ори был в Венеции. Они сидели с Астрой на том самом диване, где когда-то сидели с ее отцом, говорили о судьбах армян... За окном была та же улица, по которой они однажды с Астрой вместе дошли до ювелирной лавки и Ори купил ей там золотой медальон с бриллиантками... На этом же диване, вернувшись после прощания с Ори, Астри выплакала слезы первого своего горя, так мгновенно сменившего радость...

Заветный медальон все долгие годы сверкал у нее на груди, как закаменевшая слезинка...

Астри сейчас была еще прекраснее. Нежная прелесть юности сменилась осознанной и величественной женской красотой. По-прежнему гибкой и стройной была ее талия, высокой грудь и гордой осанка.

Они говорили долго, и вид у них был у обоих очень озабоченный. И когда Астри уже должна была ответить на последний вопрос Ори, он сказал:

— Я не обещаю вам ничего хорошего. С моей великой заботой я едва ли сумею сделать вас счастливой. Но и в моих горестях есть то, что окрыляет, дает силы. Готовы ли вы разделить со мной все трудности на благо моего народа?..

Астри ответила не сразу, хотя ответ у нее был готов давно.

— Ну, так как?.. — не утерпел Ори.

— Какой ты хотел бы видеть дочь Джованни? — сказала Астри.

Ори вопросительно посмотрел на нее.

— Человеку, живущему судьбой своего народа, ясно, что

личное не должно занимать в его жизни слишком большого места, — сказала Астра. — Так воспитал меня мой отец, своим примером. Я разделю с тобой все твои тяготы и, если это будет мне по силам, клянусь никогда не возроптать!..

Счастливая улыбка засияла в глазах Ори и осветила все лицо, даже темную часть бороды, так, словно седины в ней прибавилось.

— Благодарю! — Ори взял руку Астры и положил себе на колено.

— Можно еще об одном?.. — в голосе Астры была мольба.

— Что, дорогая?

— У нас будут дети?

Ори глубоко вздохнул и, прищурив глаза, посмотрел в окно, на голубой горизонт.

Астра забеспокоилась.

— Я знаю, велика твоя цель и много еще дорог тебе придется пройти. С детьми я всегда буду ощущать тебя рядом с собой, и мне будет легче. Извини, Оври, женщины, обладающие сильной волей, наделены от природы великой слабостью — жаждой материнства. Ребенок никогда не помешает тебе в твоём предназначении.

— Ты так думаешь?.. — Ори едва заметно улыбнулся. — Восточный человек и в любви и в ненависти подобен племени. Да, и в ненависти. Не дай бог пробудить в нем зверя. Все сметет. И уснуть в его душе зверь этот может только от тоски. А убийственную тоску в нем могут породить родители, жена, дети или девушка, любви которой он тщетно домогается. Земля предков, отчий дом, где впервые открыл глаза на мир и откуда судьба увела его в чужие края, тот отрезок дороги, скажем, где-то на горе, который вел к его дому и который увел в чужедальные страны... Нет, Астра, ребенок стал бы мукой для меня. Я вечно тосковал бы по нем и страдал бы, сознавая себя плохим отцом. А хорошим я быть не могу. Судьба послала меня искать счастья для всех. И ничто не должно отвлекать меня от главной цели. Каждую каплю своих сил, до последнего вдоха, я обязан отдавать Армении, не отвлекаясь на личные заботы, тревоги и радости!.. Но, милая, если бог разделит твоё желание и даст нам дитя, так тому и быть...

— Ты очень добр, Оври... — Глаза Астры наполнились слезами радости. — Я очень хорошо тебя понимаю. Но если бог действительно исполнит мое желание, то во все твои трудные минуты да будет тебе в радость надежда, что по твоему пути пойдет твой сын. Как бы ни сложилась твоя

жизнь, куда бы ни увели тебя заботы, мое верное сердце, разум и силы будут отданы тебе и... воспитанию твоего сына.

Ори взял руку Астры и прижал ее к мягкой бороде и долго не отпускал.

5

Как щенята, барахтались на ковре близнецы Прошик и Израел, когда вошел отец. Увлеченные игрой, малыши не заметили его прихода, а он себя не обнаружил. Остановился у двери и с умилением смотрел на них, беззаботных в своем младенческом поведении. Волнение переполняло душу Ори. В соседней комнате послышался шум шагов. Ори подошел, оторвал от брата Израела, подбросил его, рассмешил и сам засмеялся. Зарылся лицом в шейку мальчика, вдохнул его отдающий материнским молоком дух и, усадив на место, взял в руки Прошика.

— Почему так запоздал, Оври? — спросила жена, озабоченно глядя на него.

— Почему запоздал?.. — повторил ее вопрос Ори и затянул паузу, чтобы подготовить Астру к тому, что должен был сказать. — Был у курфюрста... — Он вздохнул, выражая большую заботу. — Впереди опять долгая дорога... Опять...

— Я ведь, предвидя все и заранее смирившись с тем, что нас ждет, пошла за тебя замуж, но ты, дорогой, почему-то опять не доверяешь моей силе воли и преданности?..

— Ну, разве я не доверяю? Просто мне хочется уберечь тебя, дорогая Астрада, от горя. Хотя моя доля потяжелее. Ты будешь тосковать только по мне, а я — по тебе и по ним, — улыбаясь, он показал на резвящихся малышей.

— Опять, значит, уезжаешь?..

— Да, родная. Ничего не поделаешь.

— Доброго тебе пути! — Астрада развела сложенные на груди руки мужа, положила свои ладони ему на плечи, посмотрела в глаза и сказала: — Я не только буду тосковать по тебе душой, буду мысленно делить с тобой все невзгоды твоего сложного пути. И куда же ты поедешь на этот раз? Снова в Рим?

— На родину.

— А какие у тебя планы?

— О планах ведомо лишь мне, богу да курфюрсту Пфальца. Пока так, моя дорогая.

— О господи! — вздохнула Астрада и, оторвав взгляд от

мужа, обратила его к небесам.— Тебя молит не армянка, но я говорю истинную правду! — Астра опять посмотрела на мужа. Он ласково улыбался ей, и Астра теперь уже не богу в нем, а ему самому сказала: — Господь услышал меня, это будет последней твоей мукой. Враги будут изгнаны из Армении, мы все вместе поедem к тебе на родину и станем жить в Сркугинке или в Мартиросе, в Гарни или Сисанаване. Не так ли?

— Только так.— Ори взял руки Астры в свои ладони, поднес к губам, потом приложил к груди и закрыл глаза.

— И не грусти, пожалуйста! — Астра убрала руки.— О нас не тревожься. Нам будет хорошо! — И она повела мужа в столовую.

Вскоре после обеда Ори ушел к себе в кабинет и стал просматривать свои записи недавних лет. Вот и последняя из них: «Да упокоится душа Панака из Вана, погребенного на парижском кладбище Пер-Лашез. Аминь! Если он отчасти и отошел от пути, предназначенного святым Григором Просветителем, то всем, что завещал сыну своему, и кладом, оставленным родине, он искупил грех перед народом и верой. А сын Панака, нареченный Карапетом, живет в Париже. Родился от матери-француженки. Живя в бедности, он богат душой и отличается высоким патриотизмом. Терпя лишения, тем не менее в целостности сохранил то, что оставил ему отец, заклинаящий все потом передать родине. Стремясь всей душой в Армению, но так туда и не попав, он эти сбережения передал мне, поверив на слово, без свидетелей, полагаясь только на мою честность...»

Такой была последняя запись Ори.

Обмакнув гусиное перо в чернила, он, не пометив даты, продолжил старую запись: «Вот, кажется, и наступает час, когда можно оправдать доверие Карапета... Да помоги так все сделать, чтобы, пока он жив (а я надеюсь, что жив, потому как год назад видел его в добром здравии), чтобы, пока жив, все свершилось бы, как было угодно ему и его отцу».

После этих слов Ори поставил дату написания.

Чуть отступая, Ори сделал новую запись:

«В глазах властителя Пфальца загорелись огни, когда я «возложил» на него армянскую корону. Он это живо представил себе. Не ведает, что чужие короны обычно не подходят на чужие головы, но ощутимо это, как правило, не для тех, кто корону носит, а для народа. И народ в таких случаях сбрасывает корону вместе с головой самозванца...»

И, однако же, если сиятельный герцог сумеет осуществить свой вождеденный план, мои соотечественники не короной, конечно, но оплатят ему освобождение. Мне да простится, что ничем иным не мог соблазнить честолюбивого правителя...»

На этом кончились записи, сделанные в Дюссельдорфе.

Ори бережно закрыл журнал и отложил его в сторону, вместе с другими предметами, необходимыми в дальнем странствии.

За окном уже было темно. В воздухе не было ни движения, а листья тем не менее шелестели. Ори, прислушиваясь к шорохам ночи, думал о своем посольстве. Думал о том, как, должно быть, изменилась за двадцать лет родина, истоптанная врагами, обескровленная, растерзанная в клочья... Хотелось зримо представить знакомые места. При этом уже не слышались наружные шорохи, все фокусировалось в одном, в зрении. Видения сменяли друг друга, чередой проходили перед глазами. А вот и величественные вершины Масиса в снежных накидках, скрывающие в себе тайны чудес сотворения мира. У подножия горы стелется Араратская долина, а в центре ее высится Эчмиадзинский храм, окутанный многовековым дымом ладана, незыблемый извечной приверженностью верующих... Золотым осенним солнцем освящены Врата Трдата, плиты двора и знакомые лица духовных отцов, толпящихся во дворе.

Ори высматривал католикоса. И так как не знал его, мысленно рисовал себе желаемый образ. И странно, но образ этот не был приветливым. Ори не покидала мысль о том, достанет ли новому католикосу рассудительности покойного Джугаеци, сумеет ли он, осознав всю серьезность ситуации, согласиться на некоторые изменения в вероисповедании армян и тем расположить к себе иностранца, протягивающего руку помощи?..

Тихо постучали в дверь кабинета, а затем и приоткрыли ее.

Послышался самый родной голос:

— Оври, пора ужинать.

6

— Будем надеяться, что Армения на века избавится от угрозы гибели и снова будет процветать, как некогда, обретя старые границы времен царства Тиграна, — вручая Ори необходимые документы, сказал Иоганн-Вильгельм. И, как

бы в залог этого хорошего будущего Армении, пожал ему руку.

— Все деяния и добрая воля вашей светлости, а также создавшиеся благоприятные обстоятельства — поражение Турции в войне с Польшей — залог тому. Будем надеяться, что все совершится!..

— Увидим...

Ори только глубоко вздохнул.

— Как проляжет твой путь? — поинтересовался курфюрст.

— Как продиктуют обстоятельства. Из Кельна во Франкфурт, далее Нюрнберг, Ратисбона, Вена. Потом через Турцию в Армению. Пока так, если не возникнут особые условия и не заставят изменить этот маршрут.

— Во всяком случае, до Вены, я думаю, ничто не изменится. А там ты должен встретиться с кайзером. Во-первых, с его помощью получишь бумагу на поездку в Армению, а потом он передаст с тобой послание, обращенное к армянским меликам, и другие бумаги. Обо всем этом я сам договорился с кайзером.

Ори не нашел слов для выражения своей благодарности. Только крепко пожал руку курфюрста.

— Я сделаю все возможное, чтобы Армения стала независимой, чтобы ты был доволен! — заверил он своего бургомистра с улыбкой. — Но для этого ты должен держать меня в курсе всех твоих дел и твоего передвижения. О семье не тревожься. Она будет всем обеспечена.

— Благодарю вас, ваша светлость!..

На лице Вильгельма снова расцвела добрая улыбка.

Листья тихо падали на облитые августовским солнцем воды Рейна.

7

— ...Я много думал и долго совещался. Не в моих правах давать армянским князьям заверения и приказы. Тем более что сами они ко мне и не обращались. Не так ли? — сказал кайзер Леопольд, слегка постукивая худой, усыпанной веснушками рукой по подлокотнику золоченого трона и дружелюбно разглядывая Ори.

Ори промолчал в ответ...

— Есть и другое обстоятельство, — продолжал кайзер. — Вы знаете, конечно, что мы сейчас в Карловице ведем переговоры с Турцией о мире. Правда, переговоры эти ведутся

между победителем и побежденным, но Турция тем не менее не потерпит, чтобы такие христианские страны, как Армения и Грузия, с помощью другого христианского государства поднялись у нее за спиной. Вот почему нам пока следует остерегаться турок. И потому будет неразумно, если я в такой момент дам письменное заверение помочь Армении. Оно ведь может попасть в руки турок. Не так ли?

И хотя Ори мог бы возразить, но он предпочел не спорить понапрасну. Ори еще мог бы задеть самолюбие кайзера. Было у него для этого основание. Но не стал, решил польстить ему.

— Великий кайзер необычайно дальновиден! — сказал он. — Сейчас и впрямь следует действовать с осторожностью.

Кайзер Леопольд улыбнулся своими слезящимися глазами, полураскрыв тонкие губы. Довольный словами гостя, он долго смотрел на него и затем сказал:

— Вы получите бумаги для поездки в Армению с правом представлять нас мирским и духовным вождем Армении. А там поступайте как знаете! Помните, что на тех условиях, о которых говорил мне курфюрст, я готов, как только это станет возможным, помочь армянам. Знаю, что вы хотели бы большего, но сейчас пока пределы возможного таковы!

И кайзер, на сей раз сильнее прежнего, хлопнул рукой по подлокотнику.

— Мудры мысли вашего величества. И если Армении удастся спастись с помощью вашего величества, народ армянский будет вечно славить ваше имя наряду с именами Тиграна, Арташеса и Артавазда.

— Да будет так! — Кайзер еще раз ударил по подлокотнику.

Книга третья

ОТ МИССИИ К МИССИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Ночью над Араратской долиной стелился туман. Рассеялся он лишь к утру от предрассветного ветра. И сейчас таинственное спокойствие весенней зари нарушалось только пением птиц. Масисы были еще в снегу до самых подножий, хотя в долине уже налились финики, еще не распустив листьев, расцвел миндаль и, касаясь синевы неба, шелестели зеленые огоньки чинар.

Солнце пока не взошло, но седая голова большого Масиса давно горела золотом. И от этого к голубой дымке в долине примешался оттенок сказочного света. Казалось, будто Араратская долина еще пребывала во времени сотворения мира, когда над страной не носились ни смерть, ни горе, ни страдания. И чем больше солнце стекало с Масисов, тем сказочнее становилась игра света над равниной, тем сильнее благоухали финики, миндаль и земля и шелест чинар был как дыхание земли. Но вот солнце спускалось к Араксу, он приходил в ужас и делался кровавым в объятиях своей страны... Над селами лениво поднимался дым, и иногда от тоскливого мычания телящейся коровы вздрагивал воздух. Колокола Эчмиадзинского собора звали к заутрене, а на дорогах было необычно оживленное движение...

В это апрельское утро с высот Агавнатана, восседая на коне, смотрел на Масисы и на долину человек необычного вида, в шляпе с полями, которую он снял, как перед святыней, и настоянный ароматами ветер сейчас трепал его волосы и бороду. Хотя внешне человек этот казался непроницаемым, но волнение явно сломило его сильную душу: ноздри раздулись, глаза полны слез. Вон они скатываются на бороду, а одна повисла на ресницах.

С той же торжественностью, с какою снял шляпу, он

опять надел ее на голову, вложил ногу в стремя и направил коня в сторону Вагаршапата...

Передав узду конюху, иностранец через восточный вход ступил во двор храма. После утренней службы там было пусто. Лишь несколько священников, собравшись у Врат Трдата, вели беседу. Иностранец снял шляпу, благоговейно перекрестился и стал внимательно осматривать храм. И конечно же он тотчас привлек внимание священников. Прервав беседу, они разглядывали его. Незнакомец подошел, поздоровался по-французски:

— Доброе утро, святые отцы.

— Доброе утро, — ответил за всех один, тоже по-французски.

Иностранец обратился к тому, кто знал французский:

— Скажите, у вас есть священник по имени Усик?

— Есть. Он епископ.

— И я могу его видеть?

Поняв, о ком говорит приезжий, остальные священники пожелали узнать, кто интересуется епископом Усиком. И очень удивились, когда человек этот сам ответил им на ломаном армянском:

— Я из Парижа. Изучаю армянскую историю. Приехал посмотреть древности: Эчмиадзин, Звартноц, Гарни, Гладзор, Татев, Гандзавар...

— Гандзасар, — поправили его.

— Да, Гандзасар.

— Добрые твои намерения, добро пожаловать, — от имени всех сказал один из священников, тот, что постарше других.

— Что думают в христианском мире об Армении?.. — И голос священника задрожал.

— Я путешественник. Политика — дело не мое. Меня волнует история... — ответил француз.

Старый священник вздохнул и покачал головой:

— История, значит, интересует? А зачем изучают историю? Неужели без всякого смысла?.. Пойдем, провожу к преосвященному Усику...

Епископу Усику было за пятьдесят, еще бодрый, осанистый, но весь седой. Француз приложился к его руке.

— Чем могу быть полезен? — спросил преосвященный.

— Я давно собирался приехать. В Париже был у меня один знакомый армянин по имени Яври, он умер. Все говорил мне: «Будешь в Армении и в Эчмиадзине, повидайся с епископом Усиком, поклонись ему за меня и попроси, чтобы

проводил тебя в ризницу церкви святой Гаянэ. Там у мощей святой девственницы в присутствии самого епископа поставь свечу и скажи слово...» И он шепнул мне то слово... Яври был истинным армянином. Я бы хотел исполнить его желание.

— Но кто он, этот Яври из Парижа, знавший меня? — Епископ взял бороду в кулак и закрыл глаза. — Не сын ли Исраела Просяна?! — Он вдруг уставился на француза.

— Сын Исраела Просяна?.. Да, наверное... — пробормотал француз.

Епископ Усик мгновенно стоял как окаменелый, устремив взгляд вдаль, потом зашагал вместе с иностранцем к храму святой Гаянэ, что был неподалеку от Эчмиадзинского собора. Зажгли по свечке при входе в церковь, безмолвно двинулись к ризнице, спустились на несколько ступенек вниз. Там на круглом гладком камне догорало несколько свечей. Когда епископ и француз поставили свои свечки на камень, вся келья вдруг осветилась. Усик перекрестил седую бороду и, выпрямившись, бросил испытующий взгляд на француза, который тоже многозначительно смотрел на него.

— Не узнаешь?

Глаза Усика округлились.

— Я Яври.

— Яври? Сын мелика Исраела?

— Сын мелика Исраела.

И прямо в ризнице они обнялись...

Путь от Дюссельдорфа до этой ризницы в церкви святой Гаянэ Ори одолел за восемь месяцев. И с какими мучениями!.. Из Вены он поехал не в Турцию, как предполагалось. Соглашение о мире еще не было подписано, и передвижение в Турции было бы очень затруднено. Ори предпочел проехать через Польшу в Москву и там по Волге спуститься к Кавказу. Однако в дороге узнал, что Волга зимой замерзает, и взял южнее: через Бессарабию, через города Синятин и Яссы дошел до Киля, чтобы там сесть на корабль и отправиться в Трапезунд. Все это путешествие он совершил с торговым караваном, одетый под купца. Несмотря на это, в Кронштадте засомневались в том, что он купец, и арестовали его. Ори приложил много сил, прежде чем сумел наконец убедить, что он впрямь купец, и добился освобождения из-под стражи.

Возвратившись в Трапезунд, Ори не стал предпринимать новой попытки. Он вернулся в Польшу и застрял там до девятого марта тысяча шестьсот девяносто девятого года, то есть до подписания Карловицкого соглашения. После чего, опять с одним из торговых караванов, из Валахии по Дунаю проехал в Турцию. Отделившись в городе Русчук от каравана, Ори стал выдавать себя за француза, за путешествующего историка. В Адрианополе он в этом звании явился даже к французскому послу и благодаря ему имел встречу с великим визирем Турции.

Посла Франции так привлекала личность Ори, что он дал в его честь обед, с приглашением большого количества гостей. Ори и здесь, как всюду, удивил всех своими разносторонними знаниями и красноречием. Он с увлечением вдавался в беседу в прошлое Франции, говорил о своем участии во франко-английской войне, о пленении, говорил и о Турции, о Карловицком соглашении.

Турецкие дипломаты тоже не остались равнодушны к французскому историку, особенно за то, что он весьма высоко оценил успехи турецкой дипломатии. Но тот факт, что он сам переводил свои речи на турецкий, ввел великого визиря в сомнение. Склонив голову в чалме к сидящему рядом с ним турку, визирь шепнул:

— Это не француз!..

Ори перехватил недоверчивый взгляд великого визиря. Чуть позже, когда представится случай, он, словно бы между прочим, скажет:

— Я очень жалею, что не сумел овладеть турецким языком в совершенстве.— Скажет и, как бы извиняясь, взглянет на турок.— Когда я учился, меня увлекало многое, и Турция особенно. Углубившись в изучение ее истории, я очень полюбил Турцию. Ну, а чтобы лучше узнать страну, необходимо изучить язык ее народа. В этом мне помог молодой турок по имени Джамал Эрки. Он тогда тоже учился в Парижской военной школе. Однако скоро началась война с Англией, я расстался со своим турецким другом и потому так мало знаю ваш язык...

Ори рассеял сомнения великого визиря. И тот, узнав, что француз-историк собирается через восточные области Турции отправиться на Кавказ, потом в Россию, тут же пообещал не только обеспечить ему безопасное путешествие до границ Кавказа, но и дать сопровождающих, хорошо знающих достопримечательности Турции, чтобы они и его познакомили с ними.

И через несколько дней в сопровождении десяти телохранителей султана и двух человек, «хорошо знающих достопримечательности Турции», Ори отправился в путь и через Измир, Токат, Парансар и Баберд добрался до Эрзерума, а оттуда — в Вагаршапат.

И вот он в ризнице церкви святой Гаянэ, рядом с епископом Усиком. Тем самым Усиком, который в те далекие дни тоже был избран послом от Эчмиадзинского собрания...

— Неужели это ты, Яври?.. — взволнованно спросил епископ.

— Я, преосвященный Усик. Яври, которого теперь зовут Ори. Но запомни: никто не должен знать, что я ступил в Армению. Дойдет до слуха кзлбашей — конец нашему делу...

И Ори подробно рассказал преосвященному Усику о своих планах. А когда кончил, удивился, что это ничуть не воодушевило епископа. Большой, очень прямой, он смотрел на пламя свечи и молчал.

Ори не выдержал.

— Почему ты молчишь, преосвященный? — спросил он.

— Ты для меня не Ори! — оторвав взгляд от свечи, преосвященный Усик уставился на Ори. — Ты апостол божий, по велению которого я здесь, в этой ризнице, и ты мне явился. И сейчас говоришь со мной от имени бога, и я, воздев руки к небу, — преосвященный запрокинул голову, — благодарю и небо и господа бога нашего за то, что мы пока еще живы в его памяти! Значит, так тебе было угодно, господи!.. Испепелить нас и вновь воссоздать. Неужто мы все-таки восстанем из пепла?.. — Епископ обратил горящий взгляд на Ори. — Ты сейчас передо мной не как человек, а как сама вера, обернувшаяся человеком, дорогой Ори. И я должен быть искренним с тобой. Первые шаги ты совершай не через католика Наапета. После святейшего Егназара пришел в упадок и армянский патриарший престол... Этот, будь он не ладен, Наапет Едесацы держится только подкупам. Спустив все сбережения святой церкви, продал нашу веру. Он будет чинить тебе препятствия, едва ты явишься к нему со своими предложениями. Держись подальше от Эчмиадзина и попробуй разбудить патриотизм в меликах. Если я нужен тебе и могу быть полезным, готов скинуть сутану и клобук и последовать за тобой. Бог простит мне, потому как

сделаю это не против креста, а во имя спасения народа и веры.

— Оставайся тут, преосвященный, и молись за спасение нашего народа. И никому ни слова. Я явился сюда, чтобы повидаться с тобой, и исчез...

ГЛАВА ВТОРАЯ

По дороге из Чанахчи в Мартирос, приспустив поводья коня, медленно ехал Израел Ори. Ничто не ускользало от взгляда. Все о чем-то говорило его сердцу: дороги, церкви, часовни, хачкары. И тянущиеся к небу крепости, укрепления. Разрушенные, но выстоявшие. С поросшими травой тропками...

Ори казалось, что земля его страны тоже, как он, постарела, и не на двадцать лет, а на двадцать веков.

Вот и Болораберд. Ори остановил коня. Внизу текла река Арпа, солнечно-голубоватая. За рекой гряда холмов, на холмах сады, все больше у подножий холмов. За холмами — суровые горы, дальше — Гладзор, а за ним — Болораберд и на самой вершине — крепость Сркугинк, едва виднеющаяся в туманной дымке... Лошадь бьет тяжелым копытом по изъезженной дороге и взмахивает гривой. Поводья выскользывают из рук Ори, и из глаз невольно скатываются слезы.

Из Эчмиадзина Ори сначала поехал в Чанахчи, где, как он помнил, жила сестра его отца. В живых ее конечно же давно уже не было.

Едва Ори стукнул в дверь, пред ним предстал сын тетушки, Вазген. Несмотря на темноту и на прошедшие годы, Ори узнал его в узкой полоске света, падающей из двери. Однако, прикинувшись чужеземцем, он спросил:

— Не примете ли гостя?

— Гость от бога, — как принято у армян, ответил Вазген и широко раскрыл двери своего дома перед ночным гостем.

И в этом доме у родных, где обитали Вазген с женой, их сыновья и невестки, Ори опять же был французом-путешественником, который немного знал армянский, и все на том же ломаном языке целую ночь говорил с двоюродным братом и его сыновьями. Он задавал много вопросов, и все как бы от любознательности историка. Но вот, словно бы невзначай, спросил, какому мелику принадлежат все эти

земли. На что Вазген, сначала глубоко вздохнув, проговорил:

— Все это владения моего дяди. Он был отважным и мудрым человеком, звали его меликом Израелом... — Вазген снова вздохнул и долго молчал.

Потом он подробно рассказал о мелике, о его высоких добродетелях, беспримерных подвигах и о том, как хан Нахичевана коварно уничтожил его.

Ори, пряча глаза, грустно покачал головой и спросил:

— А у этого благородного князя остались, конечно, дети?

Вазген рассказал сначала о Яври, который отправился в христианские страны искать спасения для родины и не вернулся. Рассказал и о том, что у мелика осталось трое наследников — Вардан, Мамикон, Ашхен. Они долгое время, скрываясь от врагов, жили здесь, у него, а сейчас находятся в отцовом поместье в Мартиросе.

Ори спросил, далеко ли до Мартироса от Чанахчи и не даст ли Вазген записки к двоюродным братьям, чтобы приняли его, чтобы мог собрать там кое-какие сведения из истории их великого рода и из жизни славного мелика Израела. Вазген с готовностью откликнулся на просьбу гостя и, больше того, предложил сопровождать его до Мартироса, но тот отказался наотрез, сославшись на то, что хочет быть в дороге наедине со своими мыслями. Вазгену ничего не оставалось, как проводить гостя и вернуться.

И вот Ори один и, как ни старается, не может разглядеть окутанного туманом Болораберда, развалины Сркугинка. Не может, потому что слезы застилают глаза.

Спустился в ущелье.

Волшебная долина Ехегнадзора... Дорога идет то правой, то левой, а потом снова правой стороной. Затем отделившийся от ущелья овраг ведет к тем горам, в зеленом объятии которых на протяжении веков находилось полящееся жизнью поместье рода Прошянов Мартирос. Множество родников образовали реку, названную, как и поместье, Мартиросом. И теперь знакомый рокот гремел у ног вернувшегося на родину сына. Знакомый рокот, сейчас звучащий очень грустно. Грусть во всем, даже в песне устремившей взгляд в небо птички на ветке. Она просвищет и ждет, а эхо не отзывается. Снова просвищет и снова ждет. И Ори улавливает горечь ее безответного зова. Он вторит ей своим посвистом и наблюдает за птичкой. Она оборачивается на ответный звук и заливается, теперь уже веселее.

— Надежда даже птичке придает силы... — шепчет про себя Ори и продолжает путь.

Ущелье ширится. В зеленой траве на склонах горы, словно желтые звезды, лучатся одуванчики. Местами синеют фиалки. Несет яйцо куропатка и потому не может взлететь, но инстинктом чувствует, что в ущелье появилась опасность. Она тянет головку из трав и внимательно вглядывается, не приближается ли эта опасность к ее гнезду.

Только очень хорошо знакомый с этими местами человек может заметить в этих цветущих травах головку куропатки. Травы осыпаны разноцветьем. Особенно много оранжевых цветочков, похожих на глаза куропатки...

Ори направляет коня стороной, чтоб не потревожить куропатку...

Путь еще долог. Ущелье сужается. На высокой скале возникает отрезок крепостной стены. Пустившая корни в стене алыча уже одета в зеленый убор. На дереве местами горят красные огоньки. Это прошлогодние ягоды. Двадцать лет назад эта алыча была такая же, как сейчас, только расщелина расширилась.

Ори всматривался в неприступную вершину скалы и по отрезку крепостной стены мысленно видел всю крепость. Видел и армянских мастеров, славными руками которых во множестве возводились в неприступной высоте крепости и укрепления. Он видел своих предков, слышал, как они воодушевляли храбрецов, обрушивали шквал стрел и огня на захватчиков в чалмах.

Века стояла эта крепость как оплот. А сейчас от нее остался только кусок стены, обломок. И эта алыча, не сдаваясь и не старея, упорно хочет разрушить последний обломок крепости. Ей ничего не жаль. Алыча ведь тоже не из здешних. В Шаапунике нет алычи. Кто знает, какая птица и откуда принесла сюда косточку алычи? Теперь она пустила корни и будет жить на погибель стене...

Ори спустился в теснину, куда не проникает ни лучика света. Влажный песок шуршит под копытами коня, и от этого веет холодом в лицо Ори. В расщелинах скал воркуют голуби, щелкают клювами и машут крыльями орлы. А река тут так шумит, что кажется, будто не одна, а сотни, тысячи лошадей идут ущельем. И очень бы стало грустно Ори в этой шумной теснине, если бы ему вдруг издали не заулыбались омытые солнцем листья инжира, которыми был занавешен выход из этого ущелья. Ори нарочно не отвел головы, чтобы жесткие листья коснулись лица, чтобы сильнее

ощутить их острый, но приятный аромат и почуять в этом дух камня и земли Армении...

Кончились заросли инжира, а за спиной еще долго слышался шелест листьев.

От ущелья дорога круто взбирается в горы. Лошадь замедляет ход, потом и вовсе останавливается на холме, словно подслушав желание своего всадника. С этого холма хорошо видны церковь Мартироса, часть родника и хачкар подле него. «Селение основано в 1283 году по велению Мхитара, сына князя Проша и его сына Амиргасана», — мысленно прочитал Ори тысячекратно читанную в былые годы запись на хачкаре.

Дорога, теперь спускаясь с холма, пересекала зеленую поляну и вилась между церковью и родником, вела прямо в поместье.

В детстве всякий раз, когда ехал с отцом по этой дороге из Мартироса в Сркугинк, Ори здесь, на этой поляне, испытывал своего коня и свою ловкость владения им.

Покрытая гравием дорога извечно, словно куропатка, кудахтала под копытами лошадей, и скалы напротив эхом вторили этому кудахтанью. И хоть кони у Ори всегда были самыми лучшими, он обычно не позволял, чтобы отец шел позади. И сейчас, когда его конь идет легкой рысью этой дорогой, Ори представляется, что он мчится галопом, а впереди отец, как прежде. Ори видит его широкую спину, сильную, крутую шею над воротом кабы, крепкие плечи, тяжело вжатые в стремяна натруженные ноги. Оттого, как сильно они жмут, конь даже выгнул живот к земле, и кажется, что так стремглав несется, чтобы поскорее освободиться от тяжелого бремени...

Увы, сейчас Ори совсем один и ступит в отчий дом как чужой, в иноземном обличьи...

Кроме церкви, хачкара и родника с аркой над ним, теперь уже видны и дома в предвечернем тумане и голубом дыму. Ори натягивает поводья. Вот воздух доносит запахи навоза и лошадиного пота, потом ветер уносит их, наполняя все духом прорастающей пшеницы, горькой полыни, жаром пропитавшего камень солнца, дыханием мха, оплодотворенной земли и тепла.

А подул ветер с высокой скалы, от храма. И кукушка кукует с вершины этой скалы, и Ори знает, что кукушка в этот час кукует не просто так. От ее кукования в предвечерье частенько многое пробуждается. И в ней самой, и в другой кукушке, и в человеке, и во всем живом, чему ку-

кование кукушки — как луч солнца, как капля воды, поцелуй тучи и грохот грома...

Все в родной стороне разговаривает с Ори. Говорят с ним травы и птицы, говорят дороги, говорит прах предков из далеких веков. И он отзывается немолчному говору.

«Родина. Это и есть то, чем богат человек, чем он есть человек! Если нет родины, значит, нет и тебя, человек! Потерян ты для себя и для всех!..»

У церкви лошадь стала. Несколько человек из собравшихся к вечерне подошли поближе.

— Кого надо? — спросил, помогая себе жестами, один из людей.

Ори достал из кармана записку Вазгена.

— Прошянов? Вардана, Мамикона или Ашхен?

Спрашивающий поискал вокруг себя и, не найдя нужного человека, сказал:

— Пошли!

Из вежливости и Ори решил спешиться. Нужный дом оказался совсем близко. Сельчанин остановился у ворот двухэтажного дома. Из-за высокого забора был виден только второй этаж.

Хотя на дворе еще не стемнело, в окнах горел свет. Сельчанин крикнул. На зов вышла женщина.

— Сестрица Ашхен, тут вас спрашивают!.. — И он повернул обратно к церкви.

Ашхен, высокая женщина со строгим взглядом, не спеша спустилась по лестнице, открыла тяжелую створку ворот и удивленно оглядела человека, похожего на чужеземца. Не зная, что сказать, она молчала. Ори протянул ей записку.

— Вазген!.. — сказал он одно слово.

— Прошу, пожалуйста! — не предполагая, что он может не знать армянского, предложила Ашхен, приказав слуге взять у гостя поводья коня.

По выстланной плитами дорожке просторного двора Ори ступал и смотрел вокруг так, словно вошел в святилище, как паломник, преодолевший горы и пустыни на пути к святой святых.

По каменным ступеням Ашхен пошла впереди Ори. Рука ее на перилах. И Ори не может оторвать взгляда от руки сестры. Как о многом она ему говорит... И прежде всего о матери. Ах, припасть бы сейчас к этой родимой руке, прижать ее к лицу, к груди, облить всеми сдерживаемыми горячими слезами!

Вот и порог отчего дома. Комната, где отец принимал гостей. Та же тахта орехового дерева у стены. Застлана ковром, спускающимся от самого потолка. На тахте бархатные подушки, справа и слева на стенах канделябры, и в них белым пламенем горит ароматное льняное масло. Пол тоже устлан коврами, и две шкуры местных бурых медведей — одна у входа лежит, другая — перед тахтой. Вдоль стен лежат круглые подушки. Больше нигде ничего, никаких украшений, кроме широкого родового меча Просянов, дошедшего до славного мелика Исраела и теперь подвешенного над тахтой.

В этой просторной гостиной три двери. Одна ведет в комнаты правой стороны дома, другая — левой. Оба входа задрапированы занавесями, и над ними горит слабый свет. Третья дверь, дубовая, от времени почерневшая, ведет в погреба и в тайники с оружием.

Ашхен взбила и без того пушистую подушку на тахте и пригласила гостя садиться. Ори сел по-восточному, скрестив под собой ноги. Держался он при этом очень свободно, как у себя в доме.

— Сестрица Ашхен, неужто вы одиноки?

— Ты армянин, брат? — удивилась Ашхен.

— Француз, но говорю по-армянски.

— Спасибо, что уважаешь нас! — приложив руку к груди, сказала Ашхен, после чего ответила на вопрос: — Не я одна осталась одинокой. Многие армянские женщины и девушки обездолены. Да ты о нас не спрашивай. Расскажи лучше про свою Францию, — попросила Ашхен, с любопытством разглядывая француза. Но тут вдруг предательская слезинка упала на щеку. Она быстро смахнула ее, чтобы гость не приметил. — Это мой отчий дом. Здесь живут и мои братья. Они скоро придут.

— Отчего вы так взволновались, сестрица? — спросил Ори, который заметил и ее слезы, и то, как она рассматривала его, и, чтобы рассеять ее печаль, сказал: — Армения обязательно возродится, будет такой, как была... Не надо печалиться...

Ашхен горько усмехнулась:

— Может, она и возродится, но никогда уже не будет такой, как была. Это невозможно. А волнение мое сейчас не о том. Глаза у тебя такие, как у моего брата. У него тоже в одном зрачке было пятнышко, как у тебя!..

— Тем лучше, какая же в том причина для волнения?

— Его сейчас нет... — Ашхен снова провела пальцем под

глазами.— Двадцать лет, как уехал искать помощи и сострадания христианских народов, в надежде привлечь их внимание к армянам. Он тоже думал, что Армения будет спасена с помощью другого народа... Восемнадцать лет назад мы получили одно-единственное письмо из Парижа, и больше никаких вестей...

— Как вашего брата зовут? — невзмутимо спросил Ори, внутренне раздумывая, как бы и чем утешить сестру.

— Яври... — грустно сказала Ашхен.

— Яври? — Ори как бы задумался.— Я знаю одного такого армянина в Париже, с которым мы, как говорили люди, действительно похожи...

— Он чуть смуглее и выше ростом,— Ашхен посмотрела гостью прямо в глаза и совсем загрустила.— Нет, вы удивительно похожи! Как будто брат на меня смотрит!..— Она невольно отвела полные слез глаза.

— Если это он, то брат ваш жив и здоров. Я видел его с год назад и думаю, что за это время с ним ничего не могло случиться. Ну зачем же вы плачете?

— Нет! Это невозможно, чтобы он!..— Ашхен не верила, что армянин, знакомый француза, ее брат.— Неужели за восемнадцать лет он ни разу не вспомнил бы, что у него есть родные, не пожалел бы нас? Ведь мы все глаза на дорогу проглядели!..

— Этого я вам объяснить не могу. Бывают ведь такие обстоятельства, когда человеку нельзя себя обнаруживать. Но поверьте, я даже помню, что мой парижский знакомый назывался сыном мелика Израела из великого рода Прошянов... Но всякое бывает. Может, это был вовсе и не ваш брат, а какой-нибудь самозванец-авантюрист, который выдавал себя за вашего Яври?.. Только это сомнительно. Я сам лично видел этого человека и верю ему...

— И он говорил, что из рода Прошянов?..— Ашхен задыхалась от волнения.— И что сын мелика Израела? — Она опять посмотрела гостью в глаза и вдруг быстро вышла.

Ори остался один в отчем доме. Смотрел на стены, на узоры ковров, на тахту, на канделябры, на отцовский меч. Все было родным, все взывало к нему и негодовало: как можешь вести себя здесь словно чужой? Ори взволнованно трогал узоры на ковре, трогал стены, гладил ножны меча...

Ашхен поднялась на балкон и осталась там, а двое очень похожих друг на друга мужчин тем временем вошли в гостиную, приветствуя гостя. Оба были в традиционных армянских архадуках из черного атласа, подпоясанные серебря-

ными поясами и с мечами. Черные высокие папахи из бараньих шкур придавали им строгий вид. Они подошли, не очень любезно протянули гостю руки и сели.

Ори сразу узнал братьев.

Ашхен, когда пошла звать братьев, рассказала им о записке Вазгена и о том, что француз знает Яври. Но у них уже был случай: когда-то один авантюрист, надеясь пожить, тоже представился им парижанином и тоже будто бы своими глазами видел Яври. И потому Вардан и Мамикон были сейчас настороже, они даже не без холода в голосе начали расспрашивать гостя.

Вардан, пристально глядя ему в глаза, сказал:

— Ты уж прости нас, но, прежде чем поднести хлеб-соль, мы хотели бы знать, с кем будем иметь честь разделить трапезу.

— Хотите знать больше того, что сообщил вам ваш двоюродный брат? — улыбнулся Ори.

Мамикон взглядом испросил у Вардана позволения говорить.

— Если бы ты был армянином, то, по нашим обычаям, мы, считая тебя гостем от бога, довольствовались бы и тем, что ты сам захотел бы сказать о себе. Но ты, как видно, чужеземец, а мы уж давно в притеснении у чужеземцев...

— Ну, не все чужеземцы вас притесняют, — пожал плечами Ори.

— Все! — сердито бросил Мамикон.

Вардан неодобрительно глянул на брата, считая, что он преступает границы дозволенного законами гостеприимства.

— Мамикон! — укоризненно сказал он.

Но Мамикон, не обращая внимания на брата, продолжал:

— Все чужеземцы, и вместе с ними бог, безучастны к нашим страданиям и к нашей горькой судьбе. И это печалит и оскорбляет нас не меньше, чем бесчинства откровенных врагов наших.

Вардан с упреком и любовно положил руку на плечо брату.

— Мамикон, дорогой, остановись. Не все и не везде можно говорить, — сказал он и, обернувшись к гостю, добавил: — Извини нас, брат, от тяжелого нашего положения мы стали подозрительны и нелюбезны. Вот только скажи, ты с добром к нам?.. В страну нашу, в дом? Прости, так у нас все складывается, что мы вынуждены задавать такой вопрос... Сестра говорит, что будто бы ты год назад видел нашего брата, а мы наверняка знаем, что он уже восемнадцать лет как умер в

Париже. Ашхен мы этого не говорим, скрываем от нее. Как нам понимать твои речи?..

Внешне Ори старался казаться спокойным, но в душе все клокотало... Двадцать лет горя, тоски... Как хочется прильнуть к родным, ко всему, что окружает его, чтобы стало легче... Но это невозможно. Погасишь одну искру в огне своей тоски, и вместо нее загорятся пожары из боли и горя, и в них стгорит дотла все, что надо народу. Ведь в стране властвует враг, он во все глаза следит за слушниками. От него пока еще надо скрываться. Этого требует дело...

Ори в душе молил братьев простить ему...

— Может, в мире не один Яври, который из рода Прошянов и сын мелика Исраела? Бывает же и такое. Но я повторяю, что есть, живет в Париже сын мелика Исраела Прошяна Яври и он не безучастен к судьбе армян. Может, сейчас он даже и не в Париже, а где-нибудь в Риме, в Венеции или покупает оружие в Дамаске, а может, уговаривает кого-нибудь из европейских правителей протянуть руку помощи Армении. Но он есть! Я видел его восемь-девять месяцев назад, когда собирался в ваши края.

Вардан с почтением и верой спросил:

— И он знал, что ты едешь в Армению?

— Поначалу я собирался в Турцию. Армения в моих планах была в будущем. Но уже в пути я подумал, даст ли мне бог столько жизни, заверну-ка заодно и в Армению.

— Как вы познакомились с Яври и что вас связывало? — спросил Вардан.

— То, что я изучал историю стран Востока. Ну и, естественно, знакомился с живущими в Париже сынами восточных народов, чтобы побольше узнать, поупражняться в языках, которые я изучал с помощью книг. Когда я познакомился с Яври, люди не раз, видя нас вместе, находили, что мы даже чем-то похожи.

— Вы и правда были похожи? — это сказал Мамикон.

— Да, говорили, что в глазах у нас с ним одинаковые пятнышки. И кожа у обоих смуглая...

Мамикон глянул в глаза француза и тяжело вздохнул. Подумалось: не может он так врать!..

Вардан позвал Ашхен.

— Слава господу, жив наш брат! — сказал он, еще не веря себе. — Раз он видел и знает нашего Яври, значит, и он нам как наш Яври... Накрой такой стол, как если бы мы принимали нашего брата.

Ашхен уже собралась выйти, отдать приказания слугам, но Ори остановил ее:

— Только, прошу, никому ни слова, если вам дорог ваш брат!..

Все насторожились. Ори чуть помолчал и затем сказал:

— Если он восемнадцать лет не обнаруживал себя, значит, была необходимость. Не станем открывать его местопребывание. Это и для меня будет лучше. Его враги могут и меня начать преследовать. А я ведь с целью изучения древностей иногда могу по нескольку дней оставаться где-нибудь в разрушенной церкви, в развалинах погибшего города, села...

Ответ последовал не сразу. Но вот Вардан шумно вздохнул и дружески положил руку на колено гостя.

— Спасибо! Хороший даешь совет. Но слово рождает ответственное слово, не обидишься, если еще одну вещь скажу?

— Я знаю, что армяне очень гостеприимны. Не может быть, чтобы они обидели гостя.

— Это так! Но мы решили иначе: пока ты у нас в доме, будь нам не гостем, а братом? И жить будем как братья. Где и поспорим друг с другом, чур, не обижаться. Ладно?

Ори улыбнулся. Заулыбались и Вардан с Мамиконом. Ашхен лишь тайком вздохнула и, прижав руку к груди, подумала: «И смех как у брата...»

Вардан, обращаясь к Ори, сказал:

— Известное дело, что иной и не самый хороший сосед лучше родственника, который за тридевять земель. Почему наш брат не понял этого? Пусть, скажем, французы, римляне или немцы решат нам помочь. Не за красивые же глаза они станут это делать. У каждого своя корысть. Так надо ли было забираться в такие дали, когда Россия рядом?..

Ори молча теребил бороду, разглядывая розы на ковре немигающими глазами. Потом перевел взгляд на Мамикона. Тот явно согласен со старшим братом. Об этом говорят глаза. А Ашхен?.. Она думает о чем-то своем, прикрыв веки.

— Армян не изведут. И ни один народ в мире впредь не должен исчезнуть. Человечество и без того уже понесло немалый урон от того, что с лица земли исчезли многие народы со своей самобытностью, культурой...

Мамикон, как ассириец, восставший из могилы, грозно и печально проговорил:

— Тем, кого уже нет, какой толк от того, что о них скорбят...

— Что верно, то верно, — согласился Ори, — погибшие сгнули. Но гибель их служит уроком. Малые народы объеди-

няют свои усилия в сопротивлении врагу и выживают. Взять хотя бы грузин и армян. Действуя вместе, они отводили немало опасностей. вспомните, как в составе войска Ваана Мамиконяна в битве действовал грузинский вспомогательный полк? Много подобных примеров... Ну, а почему ваш брат не в Россию подался, на это, надо думать, у него были веские доводы...

Скоро сс двора запахло шашлыком. Собралось довольно много народу. Началось пированье в честь диковинного гостя из Франции.

Всю ночь Ори провел без сна. Встреча с родными очень его растревожила. Было радостно и горько от сознания, что пришлось скрыть от них, кто он есть. После стольких своих бедствий они еще и о нем горевали, о том, что горячо любимый старший брат мыкается в чуждадных странах... Надо было открыться. Неужто же братья и сестра Ашхен не уберегли бы тайну его истинного имени, скажи он им, что никакой он не француз, а их брат Яври?.. Ведь он здесь, в отчем доме, гость на день, на два, а потом опять потянутся дни скитаний, тревог и неожиданностей. И кто знает, выпадет ли ему снова дорога в этот дом, к этим, таким ему близким, людем?..

Солнце зажгло скалистую вершину горы, на которой высилась церковь.

Нигде в мире солнце не светит так ярко. По ту сторону этой солнечной горы четыре меликства Сюника, дальше Арцах...

Ори вспомнил дни, проведенные с меликом Эмирбеком...

Солнце спустилось с горы, и во множестве шумов потонули таинственные шорохи природы. Ори стоял у окна и жадно всматривался, вслушивался во все происходящее. Наконец вынул из дорожного саквояжа свой «журнал раздумий» и, снова подойдя к окну, подумал и записал: «Пока ни проблеска надежды как-то связать Армению с Германией... Трудно с народом, который уже несколько веков живет без царя, как паства без пастыря. Разрозненный, он, этот народ, не объединен общенациональными интересами, кои только и составляют залог силы и мощи всякого народа. Наапет Едесаци пекся лишь о себе, наследуя католикосат у Степана Джугаеци. Потерявшему все народу Армении остается только одно — держаться за веру. И он цепляется за нее слепо. Как же убедить его, что, несколько отступив от исконной религиозной основы, он не понесет особого урона. Напротив, спасется. Корыстолюбивый и честолюбивый, Наапет будет стоять на том, что,

мол, лучше погибнуть всей нацией, чем отклониться от веры. Грузинский царь Арчил, формально приняв мусульманство, строил в своей стране христианские храмы, и его народ никогда не считал своего царя предателем, понимал, что все сделано во имя нации. Честь и слава Арчилу... Если сохранить народ можно только обманным путем, значит, следует обмануть. Ложь во спасение — не ложь. Я найду тебе спасение, родина, где правдой, а где и обманом...»

Луч солнца упал на страницы. Ори посмотрел, откуда он падает. Перед окном нежно зеленела листвою вишня. Солнце запуталось в ее зелени. Один листочек раскрылся больше других, и с него, как с доброй руки, стекал луч солнца. День был тихий, безветренный...

В дверь несмело постучали.

— Войдите.

Это была Ашхен.

— О, сестрица...

— Ты проснулся? — поистине как сестра, с нежностью спросила Ашхен. — А я пришла разбудить, чтобы подышал свежим воздухом.

— Давно уже проснулся.

— Отчего не спалось? Может, постель неудобная?

— Оттого, что слишком удобная! — Ори уже не старался произносить армянские слова ломано. — Где Вардан и Мамикон?

— Сейчас придут.

— Я жду их.

Ашхен вышла.

— Боже праведный, ты словно бы мне в наказание послал к нам в дом этого француза с обликом брата? И голос, и жесты... — и Ашхен перекрестилась, роняя на руку слезы.

Пришли Вардан с Мамиконом, поздоровались так, будто за ночь соскучились.

— Не хочешь походить по нашим весям, поглядеть, что лучше, Париж или наш Мартирос? — пошутил Вардан, весело улыбаясь.

— Конечно, Мартирос. Родина человеку дороже всех Парижей, — сказал Ори.

При этом он так вздохнул, что Вардан спросил:

— А что, ты разве не в Париже родился?

— Очень далеко от Парижа. А где сестрица Ашхен? Я хочу попрощаться с вами.

— Мы так скоро тебя не отпустим! — насупился Мамикон. — Может, тебе еще доведется встретиться с Яври, что ты

ему скажешь про нас, если даже не посидим как следует?.. Неделю ты наш гость, а там как знаешь!..

— Мне и недели было бы с вами мало,— печально улыбнулся Ори,— да дел у меня много.

Кликнули Ашхен.

— Вы приняли меня как брата, и потому мне хотелось бы оставить о себе память,— Ори вынул из кармана и дал каждому из братьев золотые часы, а Ашхен медальон с бриллиантом.

— Спасибо,— за всех поблагодарил Вардан и тут же про себя решил, чем ответить на это.— Но ты уж не забудь нас, как Яври, когда уедешь! Пожалуйста! А если сумеешь заставить его написать нам собственноручно несколько слов, мы осыпем тебя золотом. Будешь обеспечен на всю жизнь.

— А что, если я и есть Яври?..

— То есть как это ты Яври? — растерянно спросил Вардан. А у Ашхен тем временем сердце так заколотилось,— казалось, еще удар — и разорвется.

Мамикон пристально взгляделся в гостя.

— Я действительно ваш брат Яври, поверьте,— с этими словами Ори снял с головы парик с длинными кудрями.— Прикиньте к тому, что помните, перемены, которые происходят за двадцать лет, и вот...

Ашхен вскрикнула и бросилась брату на шею. Вардан и Мамикон тоже кинулись к нему. Ашхен обливалась слезами и все причитала: «Брат мой, сиротинушка...»

Когда улеглась первая волна чувств, Ашхен и Мамикон хотели было поделиться своей нежданной радостью с близкими, но Ори удержал их:

— Не дай бог, кто-нибудь, кроме вас, узнает, что я в Мартиросе. Ни за что пропадут все двадцать лет моих усилий в скитальчестве. Я и вам-то потому не хотел открываться, да сил душевных не хватило! Поймите меня и не подведите.

— Как прикажет наш старший брат, так и будет! — сказал Вардан.— У нас к тебе только одна просьба...

— Я слушаю.

— Подари нам еще день.

— Могу и два, но не больше.

Велика была радость.

...Через два дня весь Мартирос собрался проводить французского гостя. Правда, люди видели его все больше издали, на кладбищах, в развалинах старого села, у церкви. Подойти поближе никто не осмеливался. На проводах только

и представилось увидеть его вблизи и, может, еще и перекинуться словом — благо гость говорит по-армянски.

Сначала слуга вывел из конюшни коня с мягким армянским седлом. У коня была маленькая ладная голова, короткая грива, и весь он был стройный, тонконогий, одно слово — арцахской породы. А заржал, как конь из сказки.

Все тотчас стало известно, что сын мелика Исаиэла Вардан подарил этого коня французу.

Вот на балконе появился и сам француз. На плечи изпод широкополой шляпы падают черные кудри, в странной, непривычной одежде, он медленно спустился по лестнице до половины, остановился, с улыбкой посмотрел на собравшихся и громко сказал:

— Здравствуйте...

Ему только поклонились в ответ.

— Как вам живется? Хорошо ли, плохо ли?

— Если скажу, поймешь? — спросил стоявший поодаль старик и подошел ближе. Он оперся о посох, вздернул реденькую бороденку и вперился подслеповатыми глазами туда, где стоял «француз». — Плохо нам живется, слышишь?..

— Слышу...

— Очень плохо. Потому плохо, что со всех сторон поедом нас едят. И еще потому плохо, что мы одиноки в этом мире. Да, одиноки. И по языку и по судьбе нет у нас братьев. Нету... И избранная нами вера, она тоже... — Старик перекрестил лицо. — Да, она тоже... А разве ваша французская Библия не утверждает равенства и братства?.. Где оно, это братство? Бог-то у нас не один разве? Слышишь?

— Слышу, слышу.

— Говорю, не один у нас бог?

— Один.

Старик смеется и качает головой.

— Чему смеешься, дед?

— Таким богом и я могу быть. А нас тем временем пожирают! — Он постучал палкой по земле. — Слышишь, говорю, пожирают нас...

— Да, дедушка, слышу.

— Извини. От горя и боли мы стали болтливы. Армянин — человек дела. Жаль, изведут нас...

— Не изведут, дедушка, — утешил старика Ори. — Все христианские народы с вами... Армянин крепок, выдержит. Придут ему на помощь, немного терпения и...

— Ах! — не унимался старик. — Так и конец свету наступит. Ну и бог с ним. Какой это свет, если нет в нем армян?

На мгновение Ори кажется, что нет у него ответа старику. Но слова приходят сами по себе. Старика уже не видно, и Ори обращается к народу:

— Да, мир не мир без армян, без разных народов. И они будут, пока есть мир. Прощайте!

— Путь добрый!

Ори направлялся в Ангехакот, и братья сознательно не провожали его. С ним ехали двое их слуг. У выезда из Мартироса Вардан, Мамикон и Ашхен снова пожали ему руку, помахали вслед, как гостю, который пришелся им по сердцу. Махали шапками и все сельчане. А Ашхен, прикрыв веки, долго вслушивалась в топот коня. И брат, как живой, стоял перед ней...

Чем глуше становился топот, тем больше разрывалось от горя сердце. Вот топота уже совсем не слышно, а Ашхен стоит, как застывшая, у ворот и вслушивается, вслушивается. Ух-ух-ух... Нет, это ее сердце. Оно это. Не топот... И Ашхен, скрестив руки на груди, мелкими, быстрыми шагами пошла по каменной дорожке, пересекающей двор, поднялась по лестнице и, едва добравшись до тахты, упала на нее.

Пришли братья, и не было у них слов для утешения сестры.

Вардан задумчиво посмотрел на Мамикона и спросил:

— Уж не сон ли это был?..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Мелик Сафраз расхаживал по просторному залу на втором этаже своего дома. Левая рука лежала на рукояти меча, правой он крутил ус. Тут же были старший сын Нав, племянник Врам, управляющий поместьями Бархудар, полевой сторож Егник и пахарь Овасап, у которого была перевязана голова и кровь еще просачивалась через повязку.

Мелик Сафраз на мгновение остановился и, резко накрутив на палец ус, спросил:

— Расскажи по порядку, как все произошло?

Овасап откашлялся, переступил с ноги на ногу.

— А было так, мелик: я запряг волов, начал пахать. Сделал четыре или пять борозд. Земля у Горячей воды очень хорошая, и плуг шел без помех. Только корни похрустывали

да марена окрашивала в красное край лемехов. Но вот вдруг, когда волю должны были повернуть, прямо передо мной вырос конь мелика Эмирбека. «Что делаете?» — спросил он. «Мелик, — отвечаю я ему, — пахарю не говорят, что делаешь, ему принято говорить: добрый день, воздаст бог»... Эмирбек прямо с коня так хватанул меня плетью, что голова до сих пор раскалывается. Я только расслышал, как он сказал: «Пусть твой хозяин знает, на чьи земли зарится, и, если голова ему не в тяжесть, пусть лучше в этих краях не показывается»... Ну и после этого я упал в борозду и больше ничего не слышал...

Мелик Сафраз непроизвольно вытащил меч наполовину и снова всадил его в ножны. Затем, широко расставив ноги, он стал перед Овасапом.

— Ты что же, ничего к ране не приложил, чтоб кровь остановить?

— Приложил сухого конского навоза.

— Навоз надо класть не сухой, а свежий. Пойди переложил, чтоб завтра мог продолжать пахоту.

— Зачем переключивать, мелик? Эмирбек все одно завтра опять накинется.

— Завтра его уже не будет...

Пахарь Овасап, внутренне ужаснувшись, вышел из зала.

— Отец, позволь нам с Врамом сейчас же поехать в Кашатахк! — сказал Нав.

Мелик Сафраз приподнял бровь и долго молча смотрел на сына.

— Вы не имеете права обгагрять свои руки кровью армянина. Нельзя быть злыми. Он меня оскорбил, и я сам должен свести с ним счеты! — сказал мелик и обернулся к Бархудару: — Завтра раньше обычного пошлешь пахать землю у Горячей воды. И сам будь неотлучно там, чтоб волю Эмирбека и шагу там не ступили!..

За окном послышался конский топот, и собаки чуть с цепи не сорвались...

Мелик Сафраз выглянул, и на лице его изобразилось удивление.

— Нездешний кто-то... Поди-ка, Нав, встретить!

Сын вышел и вскоре вернулся вместе с гостем.

— Приветствую славного мелика Сафразы! — сказал гость и, обернувшись к остальным, добавил: — Здравствуйте и вы...

Мелик Сафраз тяжелыми шагами подошел к пришельцу, протянул руку и громко произнес:

— Добро пожаловать, дорогой гость!

— У меня важное дело к тебе, мелик.

— Охотно выслушаю, — мелик Сафраз жестом пригласил гостя сесть.

Гость окинул взглядом присутствующих. Мелик понял его без слов.

— Вы можете идти! — сказал он всем. — А ты, Нав, останься. Мой сын, — представил Сафраз.

— Очень рад. Но прошу простить, я прибыл от грузинского князя Георга, и в нашем разговоре третьего человека быть не должно.

Сафраз взглянул на сына, и тот тоже вышел.

Сели. Гость спросил с хитринкой в глазах:

— Как чувствует себя мелик?

— А как чувствуют себя грузинские князья, угодничая перед турками и задирая друг друга? — вопросом на вопрос ответил мелик Сафраз. — Одно слово, смутные времена.

— О временах потом. Ты знавал, мелик, сына шаапуникского мелика Израела?

— Как же! Только где он?

— А если увидишь его, узнаешь?

— Много лет прошло, но думаю, все же узнал бы.

— Я — Яври.

— Ты Яври?.. — Сафраз оглядел гостя с ног до головы.

— Ты не смотри на мои волосы, они у меня чужие. — И Ори сдернул парик.

И Сафраз убедился, что перед ним Яври.

— Нет в тебе бога! — обняв его, с волнением в голосе сказал мелик. — «У меня много врагов, Сафраз, — говорил твой покойный отец, когда мы возвращались с ним с Эчмиадзинского собрания и ему предстояло отправиться с делегацией. — Мой Яври неопытен и горяч, следи, как за братом, чтобы не наступил ногой на хвост змеи — нахичеванского хана, чтобы всегда держался подальше, не то ужалит...» И надо ведь, змея ужалила его самого. Яври, душа моя, неужели это действительно ты?.. Верить ли мне своим глазам? — Он снова обнял его, хотел было кликнуть слугу, но Ори не дал.

— Я сейчас не Яври, а Ори и нахожусь здесь как посол императора Леопольда и рейнского курфюрста Иоганна-Вильгельма. Все должно оставаться в тайне: и мое истинное имя, и то, о чем мы будем говорить, что будем делать. И император и курфюрст вручили мне это письмо — понятно, по моей просьбе. — И он подал мелику пакет. — Здесь сказано, что, если армянские мелики действительно ищут помощи, пусть письменно обратятся, и тогда Римско-Германская им-

перия во имя единой веры спасет Армению от рабства и физического истребления...

Сафраз слушал с большим вниманием, потом с воодушевлением сказал:

— Ты, Ори, бог армян, который тринадцать веков назад отринул нас и теперь явился, чтобы спасти! Ханские слуги на лошадях въезжают в святилища нашей веры, разрушают и уничтожают все. Разворотили купола Воротнаванка — искали клады, считая, что они спрятаны в карасах¹, вделанных в эти купола для улучшения акустики, сожгли бесценные рукописи, разграбили церковную утварь и все, что из золота и серебра. Каждый год придумывают новые поборы. Я уж не говорю, как они втоптывают в землю нашу честь. А сколько трудовых рук вынужденно взялись за оружие и ушли в горы? Люди предпочитают умереть с оружием в руках, только бы не рабство. Горы и ущелья уже не один десяток лет полнятся повстанцами. Ты помнишь, я думаю, Костанда Астапатци, Артака Мелик-Фарамазяна? Их имена знают и в Персии. Они погибли. Их заменили новые храбрецы. Достаточно небольшой помощи извне, и у нас даже женщины возьмут в руки оружие...

На мгновение воцарилось молчание. Только в тишине Ори почувствовал, что в доме со сводчатым потолком довольно явственно отдается грохот Воротана. Он словно вливается в дом и уносит с собой усталость и рожденную на чужбине тоску. Ори хотелось слушать и слушать этот мерный шум. Но он скоро очнулся и спросил:

— Ты думаешь, все мелики Сюника с готовностью примут условия этого послания?

— Все, кроме Эмирбека.

— А что Эмирбек? — удивился Ори.

— Эмирбек предатель. Решено уже, завтра утром я его прикончу.

— Эмирбек предатель?..

— Да, он с кзлбашиами. Поэтому бесстыдно хочет захватить мои земли. Видал такое: мелик Кашатахка решил потягаться с Сафразом? Храбрый оттого, что кзлбаши его поддерживают, что его приглашают в Татев, и он, поганя святость Цицернаванка, ответно пирует с ними на берегу Агары. И не далее как сегодня осмелился поднять руку на моего пахаря!

И Сафраз с возмущением рассказал о случившемся.

¹ Карас — большой глиняный кувшин.

А Воротан все шумел, и в шуме его была печаль, возрождающая в памяти Ори былые истории.

— Сейчас не до мести,— говорит Ори.— У нас одна важная задача. Нам надо спасти родину. В этом все должны быть едины, все должны объединить силы. Личные обиды ничто перед главным. О тебе, мелик Сафраз, знают и австрийский император Леопольд и курфюрст Пфальца. Знают, что ты преданный народу патриот. Они, и я вместе с ними, обсуждали армянский вопрос, связывали с тобой большие надежды. Сегодня, когда почти вся Армения ушла из рук армян, неразумно радовать врага междуусобицей из-за клочка пахотной земли. Если от наших и без того малых сил отойдет еще одно меликство, враг тотчас это использует. Давайте в столь тяжелые времена прежде всего сохранять наше единство. То, что общее,— вечно...

Мелик Сафраз хотя и нахмурил брови, но слушал Ори с большим вниманием.

— Что скажешь? — спросил Ори.

— А что бы ты хотел услышать? — вопросом на вопрос ответил Сафраз.

— Помирись с Эмирбеком.

— Помириться с Эмирбеком?!

— Во имя всего армянского!

— Готов ради задуманного тобой дела, только чтобы честь мою не втапывали в землю! — после недолгой паузы сказал мелик Сафраз.

— Вот теперь я верю, что вместе мы в самом деле совершим великое во имя родины. Я и сам хочу встретиться с Эмирбеком завтра же утром, там, где ты собрался сводить с ним счеты...

2

Ори, будучи очень усталым, заснул рано и рано проснулся. С его пробуждением и Воротан как бы влился к нему в опочивальню. Луны в небе уже не было, но звезды еще не истаяли, и окно омывалось их светом. В опочивальне на стенах висело оружие всех видов.

Ори поймал взглядом яркую звезду и задумался, но не о ней. В голове вертелись слова брата: «...Иной и не самый хороший сосед лучше родственника, который за тридцать земель. Почему наш брат не понял этого?..» И Ори, в какой уже раз, задумался о России. В голове круговертью носились мысли, и ни одна не побеждала.

На мгновение затих шум Воротана, потому что в ушах Ори прозвенел голос старика: «Слышишь, говорю, пожирают нас...»

Воротан снова шумел. Заалел горизонт, отделив горы от неба. Вдали слышался лошадиный топот. Где-то мычал вол. Но что это? Шаги?.. Вон и собаки, того и гляди, с цепи сорвутся, так лают-надрываются...

3

Утром пахари Эмирбека и Сафразы явились на земли у Горячей воды почти одновременно. Волы Сафразы были запряжены. Об этом не замедлили доложить Эмирбеку...

Земли здесь в самом деле хорошие. В давно минувшие времена тут лес стоял. Он исчез, оставив земле свою силу.

Восемь пар волов тяжело тянули глубоко врезавшийся в землю плуг. Слой за слоем взрезали они черную, пахнущую родным духом землю. Ори шагал рядом с пахарем и глубоко вдыхал этот запах. Пахарь затянул песню. На все поле только одна песня!.. Оттого что других пахарей нет. Шаапуник у врага. Нахичеван тоже. По ту сторону гор, во владения меликов Арцаха, вклинился хан Ибрагим и постепенно все расширял границы захвата. Армяне бились с ним за каждую пядь и потому кое-какие клочки отстояли. Но теперь местами и сами армянские мелики берут друг друга за глотку...

Разливалась песня пахаря в небывалой тишине. И печаль в ней была неизбывная. Песня словно бы жаловалась на долю армянскую...

Ори взялся за плуг. Под его сильными руками лемеха еще глубже вошли в землю, и волы напряглись. Вдали тем временем показались всадники. Один впереди, остальные группой ехали за ним. Это был мелик Эмирбек. Даже по ходу коня можно было понять, что он во гневе.

Ори продолжал идти за плугом. Люди мелика Сафразы напряжинились. Хотя и погоняли волов, но думали уже о том, что произойдет через минуту-другую. Боялись, что разъяренный мелик, чего доброго, не пощадит и гостя.

Но Эмирбек, неожиданно увидев за плугом странного пахаря в заморском одеянии, удивился и невольно придержал коня.

— День добрый, — сказал он холодно и, сняв шапку, указательным пальцем стер пот со лба, так, что пролился на седло.

Ори передал плуг пахарю и сам вышел из борозды.

— Добро пожаловать, Эмирбек, — ответил он, не глядя на мелика, и, вынув из кармана белый платок, тоже вытер лоб.

Эмирбек соскочил с коня, подошел к незнакомцу и с почтением подал ему руку.

— Прошу прощения, не имею чести знать тебя, чужеземец.

— Я прибыл из Священной Римско-Германской империи! — представился Ори. — Послом от могущественного императора Леопольда.

— Могу ли чем-нибудь служить послу великого императора? — спросил Эмирбек, еще не совсем остудив гнев в себе.

Ори взял его под локоть, и они зашагали полем. Эмирбек напряженно ждал, о чем будет разговор. Ори молчал, чтобы подалеже удалиться от людей, а заодно, глядишь, и гнев строптивного мелика поутихнет.

— Может, тебя больше интересует, что делает в этих молчаливых горах Армении посол Леопольда и откуда он знает тебя? Но так как ты не спрашиваешь, позволь, я задам один вопрос: что привело в этот час в поле владельца Кашатахка?

— У меня спор вышел с соседом, меликом Сафразом, за эту самую землю, что ты пахал! — признался Эмирбек.

Ори на миг остановился, посмотрел на него и снова зашагал. Очень Эмирбек изменился. Но к лучшему. Стал более мужественным, красивым и значительным. В маленьких глазах сейчас не было прежней беззаботности. В уголках их лучики мелких морщин, а в зрачках и озабоченность и решимость. Бородка светлая, короткая, усы вислые, концы их мешаются с бородой. Ростом он повыше Ори...

Зашли за холм. Теперь уже никого не было видно. Ори снова остановился и сказал:

— Разумно ли, когда чужеземцы всю Армению разодрали в клочья, вы из-за горстки земли затеяли междоусобицу?

→ И тем не менее наш спор решится только кровью! — резко бросил Эмирбек.

— Неужели?

— Только!

— И в том случае, если спор ваш стал бы помехой в решении судьбы всей родины в целом?

— Ничто не может удержать меня...

Ори подумал, что Эмирбек, видно, и впрямь заодно с кзлбашами. Но в душе еще теплилась надежда: надо только подыскать ключ, и упорство мелика сломится. Пока то, что он посол императора, помогло лишь в одном — мелик с ним почтителен. Теперь надо сыграть на его честолюбии и патриотизме.

— Значит, напрасно я проделал такой долгий путь, — как бы сам себе сказал Ори. — Армению того и гляди сотрут с лица земли. А мой император хочет помочь. «Жаль, говорит, этот древний народ». Он специально послал меня к вам, армянским меликам, сказать, что готов прийти вам на помощь. Ему казалось, что у вас, как у немецких курфюрстов, при всей разрозненности существует единство во имя общей великой родины. Признаться, и я не думал, что армянским меликам каждому своя корысть ближе, чем общее дело! — Последние слова Ори сказал, чтобы задеть Эмирбека за душу. На самом деле он понимал, что это не так.

— Не знаю, почему ты составил такое нелестное мнение об армянских меликах! — сказал Эмирбек. — Не земля сделала меня врагом Сафраза, а то, что он распространил в народе слух, будто я продался врагу; принял мусульманство и по ночам совершаю намаз; будто кзлбаша сделали мне обрезание и я теперь клянусь именами Али и Гусейна! Вот какие оскорбления я терплю через него. Простить — значит смириться со всем этим.

— Сафраз ссылается на то, что ты пригласил хана Алама-Асадуллу, пировал с ним в Цицернаванке и тот издевался над братией. Говорит, что и сам хан часто приглашает тебя в Татев, что вы там вместе охотитесь... Что хан питает к тебе почтение. Сафраз считает, что на это у хана есть особые причины.

Эмирбек засмеялся с дрожью в голосе.

— Особые причины? — сказал он. — Руку, которую не можешь отрубить, приходится лобызать. У нас еще нет человека, который смог бы собрать воедино все наши разрозненные силы и повести в бой. Значит, пока приходится ждать кого-нибудь, подобного Леопольду, кто бескорыстно предложит нам помощь. Такой человек еще не сыскался, вот и приходится искать с ними общий язык, чтобы не очень мучили людей. Десять лет прошло с тех пор, как я приглашал хана Алама-Асадуллу к себе, надеясь смягчить его. То были дни Вардавара, когда люди со всех концов собираются в долину Агары, в Цицернаванк. Алам-Асадулла выразил жела-

ние побывать в Цицернаванке на празднике Вардавара. Как было отказать? Он поначалу держался ничего, забавлялся мастерством канатоходцев, наездников, шутов, слушал песни и музыку. Но потом вдруг взбесился: увидел лик богоматери и начал куражиться — мол, дайте ему эту женщину, да и только. Понравилась она, видите ли. Ну и, понятно, священники очень разгневались. Я кое-как привел хана в чувство. Тем все и кончилось. А мелик Сафраз по сей день мне этого не прощает.

— Я вижу в тебе благородного мелика и вождя... — сказал Ори.

Он знал Эмирбека еще с детства, когда они всей семьей ездили в Цицернаванк и гостеприимный отец Эмирбека, мелик Мартирос, неделями не отпускал от себя мелика Израела. Яври с Эмирбеком спускались в ущелье Кашатахка, удили рыбу, стреляли из лука или беседовали с мельником Атаном допоздна. А когда мелик Мартирос приезжал с семьей в гости к мелику Израелу, тогда Яври и Эмирбек обычно ездили верхом или зачитывались «Нареком» и историей Давида Непобедимого. В те времена они вместе учились в Татевской школе...

— ...Я вижу в тебе благородного мелика и вождя. И не сомневаюсь, что ты не останешься в стороне, когда судьба Армении потребует объединения всех меликов, всех сил народа!

— В этом я могу быть с Сафразом... В остальном он до гроба мой личный враг.

— Эмирбек... — ласково пожурил Ори.

— Я от своего не отступлюсь! — сурово бросил Эмирбек.

Ори решил пока оставить его в покое.

Они повернули к пашне. Шли молча. Ори посмотрел на небо. Огляделся вокруг. Как чудно-то! В ущельях журчат ручьи, дозором стоят леса под голубовато-зеленой дымкой. Тут и там проступают полянки, тоже окутанные бирюзовым туманом. И над всем царит река Агара. Буйно шумит и то там, то тут выныривает в зелени золоченной солнцем гладью. На одном из отрезков реки к берегу жметя мельница — зеленый кораблик на белой пене, — с черной дверцей, об одно оконце. Рядом с мельницей два дерева — большое и маленькое. И трава. Зеленая, густая... Ори глубоко вздохнул и сказал:

— Неужели у человека, живущего в такой стране, душа может наполниться местью?

— Человек видит окружающих не только глазами, но и

сердцем, — сказал Эмирбек. — Посмотри на все это обиженным сердцем и почувствуешь иное. А наши сердца тут издавна полнятся горькой обидой.

Ори, тронутый ответом, спросил о другом:

— Мельница Атана еще стоит в ущелье?

Эмирбек удивленно посмотрел на чужеземного посла.

— Мельница стоит. Атана нет...

— Ущелье и теперь задавлено орешником?

— Как всегда...

Ори сорвал цветок, понюхал, бросил. Сорвал новый...

— Помнишь, Эмир, Караванк у поместья мелика Исраэла?.. Ты и сейчас еще помнишь что-нибудь наизусть из «Нарека»? Когда-то ведь знал его от начала до конца.

Эмирбек остановился, испытующе уставился на Ори и наконец с волнением спросил:

— Кто ты есть в самом деле?

— Я бы так и ушел от тебя как иностранец, если бы не почувствовал, что ты остался тем же благородным, истинным Эмирбеком.

На лице у Эмирбека теперь было одно беспокойство.

Ори положил руку ему на плечо, посмотрел в глаза и сказал:

— Неужто ты забыл своего друга Яври?

— Забыть Яври?.. Но...

— Если ничто во мне не подтверждает моего признания, придется поверить на слово. — И он, как бы между прочим, снял шапку, а с ней и парик.

...Земли у Горячей воды зазвенели песнями пахарей. Начинал Овасап, подхватывали один за одним все другие...

О вол, мой вол.
Тяни, мой брат...

И волы оживились, и земля задышала глубже...

Никто не понял, как все произошло, с чего началось, только видели и удивлялись: мелик Эмирбек и иностранец увлеченно беседовали и мелик был непривычно весел и благодарен.

Ниже грозной гряды Кашатахка, там, где сливаются две речки, в их объятиях лежит просторная лощина. В седьмом веке некий строитель по имени Барунак, страждущий по

причине бездетности, решил, что коли не смог он передать свою душу и мастерство потомку, то, пока жив, отдаст их небу, оставив на земле свое творение — храм, превосходящий красотой все храмы в этих краях. Долго искал он место. В долине Агары нет недостатка в живописных уголках: на скрещении удобных дорог лесистые холмы, открытые со всех сторон, горные долины с пахотными землями, с пастбищами и звонкими родниками. Но у мастера была своя задумка. Он решил вложить в каменное творение свою жажду жить после смерти, жажду не дать угаснуть очагу. И потому он искал какое-нибудь скалистое темное ущелье, где из камней рождаются родники, сливаясь, текут по ущелью, питают зеленую жизнь земли. Храм будет стоять в ущелье, а купол вознесется туда, где летают ласточки. По представлению мастера, ласточки, являя боль его сердца, летали в небесах.

После долгих поисков, однажды мастер остановил свою лошадь у слияния двух рек: вот оно, место, созданное для его творения.

Семь лет строил Барунак. Ему помогали люди из всех окрестных сел — весь Сюник и Арцах. Уложив последний камень купола и водрузив на него крест, мастер спустился вниз и оттуда, запрокинув голову, посмотрел на свое творение. И показалось ему, что, касаясь креста, над ним вьются ласточки. «Вот и мой Цицернакаванк»¹, — сказал мастер. Так и закрепилось название. Только в народе его чуть усекли — Цицернаванком прозвали. И с тех самых времен шли в этот храм со всех мест те, кому бог не дал любви, обездолил бесплодием. В год по несколько раз тут бывают свои святые праздники.

Вот и сейчас сюда стекаются люди по случаю предстоящей пасхи. Уже вырос лес палаток и шатров:

Приглашая Ори в Кашатахк, Эмирбек сказал:

— Через три дня пасха. Побываем в Цицернакаванке, вспомним былое.

Ори с удовольствием согласился. Он решил воспользоваться этим обстоятельством и шепнул полевому сторожу, чтобы передал мелику Сафразу: пусть тоже с семьей и с другими меликами собираются на пасху в Цицернакаванк...

Так все и съехались. Мелик Сафраз раскинул свой шатер довольно далеко от Эмирбека. Он еще не показывался, и мелики направились навестить его. Младший сын Сафраз

¹ Цицернакаванк — ласточкин дом.

Вреж с беззаботной веселостью играл со своими сверстниками, среди которых был и сын Эмирбека...

С утра до поздней ночи надрывались сазы, бубны, пели ашуги, блеяли жертвенные овцы. Гремело все ущелье. Воздух наполнился всевозможными запахами — дымом костров и жареного мяса, запахом ладана.

Было время завтрака, и мелики, смешавшись с народом, вкушали праздничные яства. Мелик Сукиас, сидя на корточках перед костром, ел горячий шашлык и пил красное вино из глиняного кубка. Настроение у мелика Тадевоса было тоже приподнятое. Он слушал ашуга. Печальная песнь волновала душу. Мелик Мелкон плясал под звуки бубна и зурны, одна рука на рукояти меча, другая, сжатая в кулак, за спиной. Казалось, ноги его не касаются земли, так лихо он танцевал. Ему хлопали, подкрикивали, а то и входили в круг, пройти в танце с меликом. Многие увлеклись зрелищем, особенно канатоходцами. Церковники не могли надивиться. Давно уже им не доводилось видеть на цистернакаванкских празднествах такого количества меликов...

Люди в эти дни предавались веселью, стараясь забыться в нем от горя и забот.

Все ждали появления самого могущественного из меликов — Сафраза, но он не выходил. Не видно было и мелика Эмирбека. Он в это время спорил в своей палатке с Ори.

— ...В знак примирения ты должен, Эмир, пожать Сафразу руку, — говорил Ори.

— Прикажи — отрублю свою руку, но пожать руку Сафраза — никогда! Он шельмовал меня целых десять лет. И его отец Мелкон был врагом моему отцу. Не заставляй меня делать невозможное, Ори.

— Этого требуют интересы родины, Эмир. Двадцать лет во имя ее я скитался по миру, не имел ни дома, ни покоя. Лобызал пятки чужеземцам, чтобы они обратили свой взгляд в нашу сторону. И вот луч надежды засветил нам из далекой Германии... Чужой готов ценой жертв сдasti нашу родину, утвердить твою власть в Кашатахке, расширить твои владения за счет отобранных у тебя земель, а ты, забыв добрые дела своих предков, предаешься мелочным счетам. И каково будет мне, промаявшись девять месяцев по дорогам и весям, вернуться и сказать: «Ваше величество, моя миссия не удалась. Армянские мелики заняты междоусобными распрями, у них нет времени подумать о родине!..»

Эмирбек раскурил трубку, втянул горький дым табака и, выпустив его кольцами, сказал:

— Хорошо, в таком случае пусть он придет ко мне...

— Нет. Он сейчас на твоей земле, и к тому же он старше. А ты, Эмирбек, ты, кто дни и ночи читал и восхищался мыслями великих мудрецов наших — Воротнеци, Ширакаци, Нурекаци, ты должен быть щедр душою и сердцем. В минуты опасности даже звери объединяются, а мы, Эмир, мы люди, и опасность грозит не только нашей жизни, но и народу нашему!

Эмирбек стряхнул пепел.

— Дай подумать до вечера, — сказал он.

— Подумать? Да ты ведь уже думал, к тому же и времени у нас нет. Вечером мы должны собрать совет и этой же ночью отправиться в Гандзасар...

...Сафраз был в палатке один. Его жена Ашхен ушла в храм поставить свечу и приложиться к святому кресту. Сафраз, облокотившись на подушку, смотрел через открытый вход шатра. Он был сильно не в духе. Надо думать, причиной тому было всеобщее веселье вокруг и неопределенность положения. И когда он совсем того не ждал, в проеме вдруг возник мелик Эмирбек.

— Добрый день, мелик Сафраз! — еще от входа приветствовал Эмирбек.

Сафраз сел, но не ответил.

Эмирбек вошел, за ним следовал Ори.

Сафраз встал.

— С сегодняшнего дня я не держу в душе на тебя обиды, мелик, и, если ты тоже можешь впредь быть доброжелательным ко мне, вот моя рука! — сказал Эмирбек и протянул широкую ладонь Сафразу.

Мелик Сафраз посмотрел ему в глаза. Долго, внимательно. В них и впрямь была искренность. И он крепко пожал протянутую руку, затем обнял Эмирбека. Откуда ни возьмись тут же подали хлеб-соль. Они молча, словно клялись, отломали по куску, обмакнули в соль и съели. Сафраз обтер усы, сгреб в объятия Ори и крепко расцеловал его.

5

К вечеру исчезли все палатки, а через несколько часов в ущелье воцарилась тьма и тишина. Только Агара дышала да шелестели деревья, цветы и травы. И еще были звуки, едва уловимые и потому таинственные.

Уйдя в забытье, задремал уставший от небывалого шума храм, только колеблющимся пламенем догорающих свечей связанный с небом...

Палатка мелика Эмирбека, лишь одна тут оставшаяся, тоже утонула во тьме. Лампада, что горела в ней, будто не бросала света наружу. Она едва освещала хмурые, задумчивые лица, окутанные табачным дымом.

Иногда неподалеку ржали лошади, и черная безграничная завеса тьмы тогда колыхалась, — казалось, сейчас она обрушится, и свет лампы, обернувшись солнцем, вечным днем осветит эти горы...

Лампада горела долго, и дым от трубок стал таким густым, что лица в нем уже казались призрачными. Потом лампада угасла, снова зажглась и снова угасла. Истаяли звезды. И скоро с гор Кашатахка скатились камни, это кони умчались от палатки, и топот их удалился. Снова приблизился и снова удалился, чтоб совсем исчезнуть...

6

— Христианскому миру сейчас доподлинно известно, в каком положении находится Армения. Известно и то, какая опасность станет грозить Европе, если Армения будет уничтожена. Вот почему курфюрст Иоганн-Вильгельм решил прийти на помощь, спасти Армению! — заявил Ори. — Вот его грамота! — И он протянул ее католикошу Пилипосу.

Католикос мягкими белыми пальцами взял послание, осторожно развернул его, прижал локти к круглому животу и долго рассматривал непонятные письма.

Гандзасарский храм объединяет две церкви. Собрание было во второй из них. Хотя на дворе светило яркое солнце, тут было и холодно и сумрачно, что придавало всему таинственность. Мелики сидели рядом. Против них, кроме католикоса, восседали еще четыре убеленных сединами священника с крестами на черных сутанах. Один из них сильно отличался от остальных: очень уж дряхлый, углубленный в какие-то свои думы и очень какой-то измученный, удрученный. У него было узкое, удлиненное лицо, запавшие щеки, жиденькая белая борода. Сцепив пальцы на впалом животе, он смотрел в одну точку абсолютно отрешенным взглядом.

— Да будет благословенно доброе намерение курфюрста. Дадим ему серебра, сколько потребует, и бог не оставит его, — сказал приятным голосом католикос и протянул пись-

мо старцу епископу, что сидел рядом с ним. Тот все еще пребывал в своих думах и потому не среагировал. — Преосвященный Есаи, это грамота Иоганна-Вильгельма. Он хочет спасти нас...

Преосвященный Есаи с благоговением взял послание и, не взглянув на него, передал соседу. Тот долго его рассматривал с улыбкой в глазах и наконец пробасил:

— Да поможет бог немецкому князю!

Сказал и передал дальше.

— Аминь! Аминь! — пробурчал третий и тоже повертел послание перед глазами.

Вертел так долго, что четвертый священник не удержался, выхватил у него грамоту со словами:

— О чем там говорит этот немец?

Ори ждал такого вопроса.

— О чем говорит немец, спрашиваете? — сказал Ори. — Он, понятно, готов помочь Армении на своих условиях. Иоганн-Вильгельм в родстве со всемогущим императором Римско-Германской Священной империи Леопольдом. И не только с ним, но и с другими королями и герцогами. Если такой правитель берет на себя защиту Армении, можно считать, что весь христианский мир будет опорой армянам!..

— Слава господу! — католикос воздел руки к небу.

— Но, как вы знаете, большая часть христианской Европы отвержена католичеству...

Католикос насупил брови, приложил ладонь к уху, чтобы не пропустить ни слова.

Ори продолжал:

— Итак, Иоганн-Вильгельм этим посланием сообщает о своей готовности оружием и войском, то есть немецкой кровью, вернуть Армении жизнь, если армянские духовные вожди дадут слово принять католичество.

Трое из епископов с тревогой посмотрели на святейшего, что он скажет.

И тот сказал тоном, не допускающим прекословия:

— Никогда! Никогда и ни за что!

— Как можно?! — вскинулись и епископы. — Никогда!..

Ори горько улыбнулся, потом долго смотрел на Пилипоса и его троих епископов. И наконец сказал:

— Подумайте, прежде чем выносить решение. Не навлеките на себя проклятие потомков! Кто из вас может перечислить все различия в обрядах армяно-григорианской апостольской церкви и католической?.. Молчите? Значит, не

знаете?.. — И Ори сам привел примеры из священных книг в доказательство того, как незначительны эти различия. — Не скрою, — добавил он, — есть в этом акте и скрытая опасность. Но пока, хоть формально, надо присягнуть католической церкви, если вы действительно хотите спасти нацию.

— Формально? — с ужасом спросил католикос Арцах. — А что мы ответим перед судом божьим? Нет, сын мой, если нам суждено погибнуть, значит, так богу угодно.

— О господи, не отвергни нас, не дай отклонить от пути праведного! — воздев руки, шептали епископы.

Ори с почтением спросил:

— А что скажет на это преосвященный Есаи Гасан-Джалаян?

Есаи, не двинувшись с места, взглянул на Ори, в бороде мелькнула горькая улыбка и погасла. Казалось, он так ничего и не промолвит, но нет...

— Одно скажу, — проговорил Есаи, — судьбу нашу мы должны связать с Россией, и только. И соседствует с нами, и могущественна, и по вере едина. Ничто нам от нее не грозит злом. И воля твоя, сын мой, сильна, и речи полны любви к Армении, и за это благослови тебя бог, но все надо начинать сначала!.. Наша опора — Россия. Все надежды надо связывать с ней. Такое сильное государство, как Украина, и та присоединилась к России. И ее душили с юга Крымское и Астраханское ханства... И тигр слона не одолевает, а мышь вдруг свалит. Вот Украина и присоединилась к России. Тяжело, сын мой, открывать новый путь, но ты не должен падать духом, если уж посвятил себя народу!

— Да, сейчас наша надежда на Россию! — слышалось отовсюду.

— Россия извечно стояла у меня в глазах, но я обходил ее. Делал это не бездумно. Прошло два десятка лет. В жизни России произошли большие изменения, но она и сейчас еще сводит счеты со своими старыми врагами, и трудно представить, как она отнеслась бы к нашей просьбе. Прощупывая наши возможности в России, не следует снимать со счета предложение курфюрста. Невыносимое положение нашего народа требует этого! — Последние слова Ори сказал для меликов. — Очень жаль, что мы думаем разное: вы, духовные вожди, — одно, а мы, мелики, — другое.

Ори оглядел всех меликов.

И католикос в свою очередь вопросительно посмотрел на меликов:

— Разве меликам не безразлично, что, приняв католиче-

ство, пусть и формально, они изменят исконно армянской религии?

Сафраз покрутил ус.

— Не безразлично, святейший. Но сейчас в Нахичеване, Шаацунике, Ереване, Васпуракане и в других порабощенных землях Армении разве спрашивают, что армянам ближе — Коран или Библия? Нет, не спрашивают. А скоро и нас не будут спрашивать: и здесь, и в Арцахе. Просто наложат на нас Коран и повернут нашу историю. Чтобы спасти хоть то, что осталось, надо идти на компромисс. Сейчас не то время, когда мы можем отважиться на новый Аварайр. Нет больше прежней Армении. И Вардан сейчас — он, — Сафраз показал на Ори. — Мелики ничего не пожалеют: ни золота, ни серебра, ни хлеба, ни оружия, и жизнью своих не пожалеет. А вам надо стать нашим новым Егише.

— Егише не был католиком.

— Стать католиком не так уж страшно. Тот же Христос, тот же крест. И та же Библия на всех. Хватит, сколько мы терпели!.. Пока надо бороться, будем католиками. Спасем — станем снова жить своей верой!

— Господи, направо заблудших! — Католикос воздел руки к небу.

— Господи! — повторили за ним.

7

— Значит, не все потеряно? — с отчаянием спросил мелик Мелкон.

Никто не ответил ему. Ждали, что скажет Ори, а он пребывал в задумчивости. Мелики прогуливались по зеленому двору храма в ожидании приглашения к обеду и последующего наступления темноты, когда им можно будет уехать.

— Ничего не потеряно! — сказал наконец очень уверенным голосом Ори. — Главное — это наше единство. Мне нужен в помощь почтенного возраста, мудрый священник, который поседет со мной и к кайзеру и к курфюрсту как представитель армянской церкви, приехавший лично засвидетельствовать готовность армянского духовенства присягнуть католичеству. Я думаю, такой священник, понимающий значение всего происходящего, все же найдется?

— Преосвященный Есаи поможет тебе в этом, — сказал мелик Сукиас. — Он достойный потомок рода Гасан-Джалалянов, учен, видит далеко, не ограничиваясь церковной колокольней.

— Надо с ним поговорить! — поддержал мелик Эмирбек.

— После обеда обстоятельно поговорим, — согласился Ори.

...Трапеза была скромной, но обильной. И вся пища оказалась растительной, искусно приготовленной и приправленной чесноком, яйцами, маслом. Даже пироги были с начинкой из конского щавеля и крапивы. Мелики, которые давно пресытились мясными кушаньями, ели все с удовольствием.

— У нас есть шкуры, войлок и свободные кельи. Длинна и утомительна предстоящая вам дорога, не мешало бы вам отдохнуть, — заботливо посоветовал католикос.

Все ушли отдыхать, кроме Ори. Он сразу после обеда вышел во двор. От ворот храма узкая тропинка вела в глубь леса. Ори зашагал по ней, пересек поляну. В полдень и лес тоже отдыхал. Не пели птицы, не носились испуганные лани, и под ногами не шелестела трава. Медведи не искали желудей и груш под деревьями и не прислушивались, стоя совсем по-человечьи, на задних лапах, где упадет еще одна груша. Но Ори, который прекрасно знал жизнь горного леса и так мечтал снова увидеть его, был словно замороженный. Ему все казалось, что он вот-вот увидит, как заяц, сидя на корточках, жует травку и, шевеля ушками, озирается, нет ли поблизости опасности; а когда над ним вдруг раскинет крылья горный орел, косою приникнет к земле от ужаса, но в этот миг Ори избавит его от страха и гибели. Стрела со свистом пролетит между орлом и зайцем. Орел взмахнет крыльями и поднимется в небо, кичув злой взгляд вниз, что, мол, такое отняло у него добычу. А заяц в страхе умчится от одной опасности к другой...

Чего и кого только нет в лесу. То олениху с олененком увидишь. Жмется в ногах у матери, шатаясь на тоненьких ножках, сосет молоко, а мать-олениха, забыв обо всех тающихся в лесу опасностях, блаженно по-матерински улыбается, радуется детенышу... Где-то щебечет птичка, дятел упорно стучит клювом по коре дерева.

Лес дышит так спокойно, словно и в мире все спокойно...

Сейчас, в полдень, деревья в весеннем лесу омыты солнечными лучами. Иные еще едва выпустили почки. Это потому, что они расположены в тени больших деревьев. Вон расцвела дикая яблоня. Похоже, это какое-то больное или очень старое дерево спешит прожить еще одну бурную весну...

Лес затягивал Ори в свои глубины. Он на какое-то время даже забыл, зачем сюда пришел. Шагал и думал свое, но вот наконец очнулся и повернул назад. Еще издали, сквозь деревья, Ори увидел преосвященного. Прислонясь спиной к поросшему мхом дереву, он читал. Чтобы не испугать его неожиданным появлением, Ори начал насвистывать. Преосвященный закрыл книгу и посмотрел туда, откуда донесся свист. Ори подошел и сделал вид, что случайно наткнулся на него.

— О, преосвященный, ты здесь? Наверно, очень любишь лес, как и я?

— И не люби, так нужда заставит полюбить. Храм-то в лесу — куда еще пойти? Отчего ты уединился, сын мой? Смотри, как бы забота тебя здесь вовсе не одолела.

— Ну нет. Я умею находить выход из трудных положений, никакие заботы меня не одолеют.

— Хорошо сказано...

— Ах, святой отец!.. — Ори вздохнул и сел рядом с Есаи. — Быть бы мне на несколько лет моложе.

— Зачем это тебе, сын мой? Каждому возрасту свои заботы.

— Однако для значительных свершений лучше быть помоложе!

— Для всякого дела родится свой человек. Только надо, чтобы человек этот обрел уготованное ему судьбой дело. А возврат к молодости тут не поможет.

— Одна птица — не стая, святой отец. Я вот думаю о России. Отправиться к Петру надо по крайней мере двоим — всё как бы послы. И второй обязательно должен быть духовным лицом. То есть посольство будет и от мирских и от духовных вождей.

Есаи посмотрел на свои руки цвета пергамента и, словно бы читая по ним, сказал:

— Недалеко отсюда монастырь святого Якова. Настоятелем там архимандрит Минас Тигранян. Он превосходит всех священнослужителей и физической и духовной силой. Пламенем сгорит, только бы стать хоть каплей света на пути своей измученной паствы. Трудно сыскать другого такого человека, кто, как он, способен был бы разделить с тобой все твои мучения, быть во всем помощником и надежной опорой. А мучения твои, сын мой, велики. И потому с тобой должен быть настоящий человек, истинный сподвижник. Ты очень верно заметил, сказав, что одна птица — не стая...

— Да, но согласится ли архимандрит Минас на такое испытание?

Епископ Есаи повторил свои слова, опять же глядя на руки:

— Пламенем сгорит...

— А как бы мне с ним повидаться?

— Монастырь здесь неподалеку. Чуть вправо с пути свернешь. Возьми с собой кого-нибудь из меликов, чтобы шуму не наделать, не испугнуть монастырскую братию. Выходит, все надежды, которые ты связывал с Европой, рухнули?..

— Что ты, святой отец? Думать так, как думает святейший Пилипос и его епископы, можно только здесь, на высотах Гандзасара, в этом монастыре, огражденном крепостной стеной. Нам очень дорого время. Пока не получим поддержки у России, надо крепко держаться за рейнского курфюрста...

— А то, что церковь против него?

— Когда народ, мыкающийся по горам и ущельям, увидит тут христиан, пришедших к нему на помощь, в борьбе с кзлбашами, и церковь ничего не сможет сделать...

— Да, но ведь Иоганн-Вильгельм не пришлет сюда своего войска, пока не получит согласия церкви?

— Я приведу!.. Зачем я прошу с собой представителя от духовенства?

— Вот как? — покачал головой Есаи. — И немец, чего доброго, воссядет на армянский трон?

— Иного выхода пока нет.

— И ты не усматриваешь в этом опасности, сын мой?

— Есть опасность, святой отец. И бoльшая. Но мы соберемся с силами и не дадим немцу стать опасностью...

— А католичество?

— То, что подклеивается, можно без труда отодрать. Тем более что у нас за спиной всегда Россия. Народ, который сам побывал под гнетом иноземцев, к тому же очень долгое время, не может не сочувствовать нам. Есть и другое обстоятельство, святой отец. Задумайся-ка о будущем России... Сейчас она собирается с силами, и, может, ей пока трудно прийти нам на помощь. Но как только она укрепит свои границы на западе, непременно обернется к югу. Там у России тоже свои заботы. И опорой ей там Армения и Грузия.

— Россия и впрямь становится сильной... — Есаи поскреб бороду и прищурил глаза, устремленные в одну точку. А че-

рез минуту откинул голову, отстегнул пуговицу ворота и, тяжело вздохнув, проговорил: — Трудно быть малым народом...

— С ним, с малым, вон как бывает,— Ори показал на маленькое дерево, росшее в тени ветвей большого.

Епископу не понравилось сравнение.

— Бог — опора и большому и малому,— сказал он.— Хвала и слава тебе, о господи! — И сквозь деревья он глянул на яркий, сияющий край неба.

— Но бог наказывает и даже вычеркивает из рядов наций те народы, которые уповают лишь на бога...

— Благословенны твои речи, Ори. Сам бог глаголет твоими устами!..

Ори только вздохнул.

Лес пробудился от послеполуденной дремы. Затем заворковали птицы, где-то прерывисто завыл шакал, словно хотел помешать вызывающему зависть птичьему хору. Холодный ветер сорвался с гор, еще дышащих зимой, смягчился на весеннем пути и обернулся пахучей прохладой. Сейчас он играл на поляне травами и цветами и развеивал бороды Ори и епископа: одну, как облако в конце лета, другую — как зимнюю тучу.

8

Келья настоятеля монастыря была круглая, с куполообразным потолком, с глиняным полом, устланным черным войлоком. Единственное оконце смотрелось в ущелье. В ущелье было темно, как в ночи. По дну протекал ручей, который шумел, точно большая река. Сейчас этот шум с легким ветром вливался в келью. Временами ветер так сужал и вытягивал пламя от лампы, что его и видно-то не было, но загасить не мог. Лишь на мгновение в келье становилось темно, и в это мгновение огонь в камине казался краснее обычного и еще ярче делалась одинокая желтая звезда в окне. От огня красными казались бороды архимандрита Минаса, мелика Эмирбека и Исраела Ори.

Минуту назад они закончили свой разговор, и вдруг все трое впали в раздумье.

Ори решительно поднялся.

— Значит, так!..

Архимандрит Минас тоже встал. Он весь был в черном: и ряса с широкими рукавами, и клобук, и пышная борода во

всю грудь, и глаза, которые, однако, излучали свет в черноту.

— Да, так! Смерть или свободная Армения! — сказал архимандрит Минас и крепко пожал руки Эмирбеку и Ори. — Из нашей обители молитвы уже не доходят до слуха господнего, ибо все они лишь о горестях и, видать, надоели отцу небесному. Делом надо послужить ему и о деле молить.

Ори, еще держа в своей ладони руку настоятеля, посмотрел на него и сказал:

— Значит, ждешь гонца из Ангехакота. И либо я отсюда, либо ты оттуда приедешь в Ангехакот. Спокойной ночи...

— Спокойной ночи, друзья. Что мне взять с собой?

— Ничего, кроме максимума знаний и данных о всех соседних странах, будь то магометанские или христианские. Чем подробнее, тем лучше. У меня немало книг на разных языках, о нашей стране и соседях. И карты есть, и рукописные сведения. Но я повторяю, что мы идем на своеобразный Аварайр. Нам тоже придется решать: быть или не быть нашему народу. Только в нашем случае это будет решаться словом, без войска и без оружия. И если в слове не будет достаточно силы, значит, наше оружие окажется тупым. Спокойной ночи, Минас...

— Спокойной ночи и доброго пути.

Тьма поглотила двух выехавших из монастыря всадников. Был слышен лишь удаляющийся топот. Настоятель монастыря перекрестил шумящую темноту и, прикрыв низкую дверь своей кельи, тяжелыми шагами прошелся взад-вперед, затем, став перед окном, посмотрел на единственную яркую звезду на черном небе...

— Ах, если бы все наши священнослужители были так дальновидны, как этот архимандрит!.. — вздохнул мелик Эмирбек.

— Если бы! — согласился и Ори...

Они встретились с остальными меликами в Седишенском лесу, как и договаривались.

— Ну и как, что он за человек, этот архимандрит Минас? — интересовались мелики.

— Такой, каким мы хотели, чтобы он был, — ответил Эмирбек.

Мелики тем не менее хотели знать мнение Ори. И он подтвердил:

— Действительно, это тот, кого мы искали.

— Слава богу, может, с этого и повернет на удачу наше дело,— проговорил тихо Сафраз.

Лесистые, курчавые горы выступили из темноты неба. Мечтательно угасали звезды. Светало. Нужно было пересидеть в Седишене, пока снова не стемнеет...

Через две ночи въехали в Кашатахк. Мелик Эмирбек дал обед для знатных гостей, которые в эти тяжелые дни каким-то чудом соединились наконец друг с другом. Хоть в Гандзасаре и не нашли общего языка с католикосом, но надежда на освобождение страны тем не менее постепенно оживала, и это очень воодушевляло меликов. На пиру у Эмирбека опорожнили не один карас с вином и съели шашлык не из одного барана.

У Эмирбека была прелестная десятилетняя дочка. Чтобы, не дай бог, снова не нарушился мир между Сафразом и вспыльчивым Эмирбеком, Ори задумал обручение этой девочки с четырнадцатилетним сыном Сафразы. И когда он сказал об этом, все приняли его предложение с бурной радостью.

Мелик Сафраз встал — в одной руке кубок с вином, другой крутит ус.

— Я пью за то, чтобы солнце обильно светило моему сыну Аветику и моей будущей невестке Азгануш, если мелик Эмирбек не против. Дай бог, чтобы они соединились в освобожденной родине и их дети не видели того, что видели до нас наши отцы, видели мы и видят они! — И он медленно выпил все до последней капли.

Слово взял мелик Эмирбек. Широкоплечий, высокий, светлые вислые усы смешались с бородой, одна рука на мече, в другой — кубок. Чеканя слова, он сказал:

— Сейчас Ори — наш царь, наш бог! Я думаю, может ли он сделать что-нибудь такое, что не следует делать, и сам себе отвечаю: никогда. И потому пусть будет, как он сказал: с сегодняшнего дня моя любимая дочка наречена невесткой мелика Сафразы и его сын Аветик — мне зять!

И до того, как это обручение будет освящено при свидетельстве девяти меликов и Ори, Сафраз и Эмирбек в знак нерасторжимости союза обменялись мечами и фамильными бирюзовыми перстнями.

Зазвенели кубки. Пир продолжался до утра, когда все наконец, распрощавшись, разъехались по своим поместьям, чтобы через два дня вновь собраться в Ангехакоте для обсуждения неотложных дел во имя борьбы за свободу страны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В Ангехакоте царило необычное оживление. Сюда со всех концов Сюника съезжались мелики с телохранителями. Поначалу ангехакотцы удивились. Чего только не доводилось им слышать о распрях, о ссорах между меликами. Своими глазами не раз видели столкновения между Сафразом и Эмирбеком. И вдруг такое единство... Однако, поверив этому, ангехакотцы только обрадовались. Обрадовались они и тому, что мир закрепится обручением дочери мелика Эмирбека и сына мелика Сафраза, по поводу чего и собрались. Все были оживлены, и даже казалось, что и детей, и юношей, и женщин вообще стало больше. Люди осмелели, ходили к соседям, надо не надо — сновали повсюду...

Из дома мелика Сафраза до позднего вечера курился дым, дым, напоенный ароматом шашлыка и разной вкусной еды. А когда приходила ночь, во всех комнатах гас свет, кроме одной, окна которой были похожи во тьме на горящие глаза. И свет этих глаз не угасал. К утру он смешивался с дневным светом, и потому его не было заметно до тех пор, пока снова не стемнеет...

Первое заседание совета началось поздно ночью, когда люди в Ангехакоте и в соседних селах, уставшие за день от весенних полевых работ, давно уже спали. В сон погрузились и все дороги, ведущие в Ангехакот, сады в оврагах и пастбища в горах. Было так тихо, что дозорные, стоявшие на часах вокруг меликского дома, ясно слышали шум крыльев бодрствующих в расщелинах дальних скал орлов.

Низкие широкие тахты были устланы новыми коврами, и поверх них набросаны бархатные подушки. В конце комнаты особняком стояла маленькая тахта. На ней только две подушки для сидения и две мутаки. На ней же стоял низкий, маленький столик с бумагой и письменными принадлежностями.

Свечи в серебряных канделябрах на стене по обе стороны тахты бросали белый свет на тахту. Одна свеча в подсвечнике горела и на столике.

У каждой другой тахты горели масляные лампы. В одиннадцати местах в глубоких деревянных тарелках лежал желтый резаный ангехакотский табак и одиннадцать длинных чубуков. Всюду были расставлены серебряные

блюда, полные дарпасских яблок, мегринских гранатов, шиванадзорского винограда.

В комнате еще никого не было. Воздух был чистый, наполнился всеми ароматами — и коврами пахло, и фруктами, и горящим маслом.

Со стороны гостиной послышались шаги. Дверь раскрылась, и первым вошел хозяин, приглашая и остальных. Скоро все уже сидели. Были тут мелики из Малого Капана — двое их: Пилипос, чисто выбритый, с длинными вислыми усами, круглыми, немного навывкате глазами, — он из Арцваника; и Сарухан — этот из Вачагана. Похож на Пилипоса, только чуть полнее и моложе. Рядом с ними сидел Эмирбек из Кашатахка. Мелик Шахназар из Дзагедзора, широкоплечий, коротконогий, с бритой круглой головой, тоже с бородой и усами, но очень суровый на вид. Справа от него сидел дядя техского мелика Бархудары, мелик Агаджан, седовласый человек с добрыми, мудрыми глазами и добрыми морщинками. Мелик Саргисджан прибыл из Хндзореска и, так как ранее он не был с другими меликами в Гандзасаре, держался очень гордо, словно мелик из меликов, с которым не очень-то и поговоришь. У него были черные, жесткие, непокорные усы, такие же, как и брови. И одна из бровей была все время вздернутой. Из-под нее он испытующе оглядывал всех одним глазом. Ованес из Хнацаха, низкорослый человек, без усов, без бороды, одноглазый. Но в этом одном глазу столько всего!.. Мелик Брнакота Мелкон, самый молодой из присутствующих, с тонкими чертами лица, с маленькими усиками и бородкой, живой, общительный.

Рядом с меликом Сафразом восседал мелик Дарпаса Сукиас, краснощекий, смеющийся. Был тут и мелик Мелкон из Кармракара.

Ори сидел отдельно, на маленькой тахте, с ним рядом архимандрит Минас.

Все молчали, и было слышно, как потрескивают свечи и масло.

Первым заговорил Ори.

— Соотечественники, — начал он, — вместе с большинством из вас мы были в Гандзасаре и вот уже три дня как находимся здесь. Многие видели и слышали, многое обсудили во время наших бесед. Два наших религиозных центра — Эчмиадзин и Гандзасар — отказались действовать с нами, отказались, по сути дела, от возможности спасти Армению. Но вы не отчаивайтесь. Надежда в нас тем не менее жива. А вы знаете, надежда горы сворачивает.

Мелики оживились.

— Наши духовные вожди, — продолжал Ори, — и слышать не захотели о католичестве. И формально не решились принять его, в страхе, что совершат грех. Все их упования на молитвы. Но мы вот уже из века в век все молимся, а нас истребляют тоже из века в век, порой прямо за молитвами. Я все скажу, как на духу, а вы взвесьте. Рейнский курфюрст Иоганн-Вильгельм — человек большого ума, очень деятельный, связанный с правителями многих стран и, как я уже говорил, в родстве с кайзером Леопольдом. И этот человек готов прийти нам на помощь. Не потому, что бог ему велит. У Иоганна-Вильгельма свой расчет. Он желает, чтобы мы расплатились с ними за кровь, которую они прольют за нас. Расплатились бы армянским тронном. И тем, что примем католичество.

— Расплатимся! — сказали все.

— У нас нет трона, мои соотечественники. Если бы он у нас был и даже царь бы на нем восседал, все легче бы было, но царя у нас нет, свергать некого, и возродить трон не в наших силах. А Вильгельм возродит его и...

— На армянский трон сесть должен только ты! И только ты достоин быть нашим вождем! — угольком загорелся единственный глаз мелика Ованеса.

— Ты наш царь!.. — откликнулись остальные.

Ори нахмурился и поднял руку:

— Оставьте это, я хочу одного: видеть в Армении трон и на нем армянского царя, пусть даже этот царь в первый же день царствования издал бы приказ меня повесить. Но сейчас не о том. Скажите, согласны ли вы написать письмо папе римскому, что мы, духовные и мирские вожди армян, принимаем католичество и ждем его распоряжений?

— Согласны! — единодушно прозвучали грозные меликские голоса.

— Одного я не пойму!.. — Из-под приподнятой лохматой брови на Ори глянул круглый глаз.

— Что тебе непонятно, мелик Саргисджан?

— После освобождения страны нас обратят в католичество или до того?

— Одновременно все должно быть.

— Ну тогда, пожалуй, и я согласен, — не сразу сказал он и набил чубук.

Были и еще недоуменные вопросы. Ори на все давал исчерпывающие ответы.

Архимандрит Минас скрупулезно все записывал.

Время от времени тот или иной из меликов или Ори шутками вызывали смех, оживление. В эти минуты уставшие от волнений и крепкого табака люди вспоминали о яблоках, гранатах и о винограде...

На следующий день архимандрит Минас зачитал письмо, адресованное папе. Были еще кое-какие добавления, были и споры.

Мелик Саргисджан опять обратился к Ори.

— Мы, армяне, будем биться против нашего врага, — сказал он. — И кайзеровское войско нам поможет... Будет надеждой. Но на врага мы пойдем с нашим знаменем. С одной стороны распятие, с другой сам Григор Просветитель... Вот что вдохновит армянина на победу над большой силой... Поэтому в письме надо сказать, что, соглашаясь принять католичество, мы настаиваем на том, что сделаем это только после полного освобождения Армении. Слово в слово запиши все, что я сказал.

Меликам пришлось по душе слова Саргисджана. А тот ждал ответа.

— Мы просим, а не настаиваем, — сказал Ори. — Когда просят, и к тому же письмом, стараются не дать повода для подозрений. Слово просящего должно вызывать к состраданию и сочувствию. А требуя, он должен обещать слишком многое. Одно неосторожное слово может вызвать гнев, задеть самолюбие и испортить наше большое дело. Твои слова, мелик, верные. Но писать их не следует. Я надеюсь, что письмо папе вручу лично и тогда скажу ему об этом, а ранее скажу еще и Иоганну-Вильгельму, и кайзеру Леопольду тоже.

— Будь по-твоему, — согласился Саргисджан.

На этом кончили с письмом к папе римскому.

— Ну, а теперь продолжим, — сказал Ори. — Итак, в нашем письме курфюрсту мы излагаем, какими богатствами обладает Армения, рассказываем, каким подвергаемся притеснениям, и просим христианскую державу, чтобы спасла нас и нашу древнюю страну, обещая при этом, что готовы принять католичество и призвать на армянский трон Иоганна-Вильгельма. И все вы печатью и подписями подтвердите прошение.

— Подтвердим!..

— Согласны!..

Письмо писали и переписывали, внося в него поправки, не один раз. Но наконец закончили и с ним.

А спустя день Ори снова говорил:

— Сложна судьба нашей страны, и дела наши осложняются... Ближайший наш сосед — Россия. Если бы Россия могла сейчас прийти к нам на помощь, не потребовалось бы никаких жертв и никакого бы католичества не надо было принимать. И России хорошо бы иметь на юге верного соседа... Все еще может случиться. Вдруг да и к Петру откроется дорожка. Надо и русскому царю написать. Пусть со мной будет и такое письмо.

— Дай бог, чтобы так сложилось! — сказал мелник Сафраз.— Россия — опора надежнее.

— Россия нам во всем ближе!..— раздалось сразу несколько голосов.

— Россия ближе, а обещание Иоганна-Вильгельма уже есть.

— Я вот подумал...— это заговорил Сукиас.

Все обернулись к нему.

— Письмо в Россию писать не надо. Мы верим Израелу Ори или нет?

— Как в самого себя!

— Как в самого себя!..— повторил Сукиас.— А тогда нечего время тратить, поставим свои подписи на листе и дадим ему: что потребуют обстоятельства, то он потом и напишет.

— Мы готовы поступить так!..

— Одна голова хорошо, а тринадцать — во столько же раз лучше,— сказал Ори.— Давайте напишем письмо Петру, а бумагу само собой можно взять...

И приступили к письму русскому царю. Тоже писали и переписывали. Три дня прошло, пока все пришли к согласию и попросили архимандрита Минаса, чтобы в последний раз прочитал. Набили трубки табаком, приготовились курить и слушать.

И архимандрит Минас принялся за чтение:

— «Князь князей, могущественный царь России, великий Петр Алексеевич, привет тебе и добрые пожелания.

Мы, князья и мелики Великой Армении, издалека, колени-преклоненно взываем к тебе: услышь нас, узнай, какие муки терпим мы от врагов наших — от персов и турок,— и соизволь могуществом своим содействовать освобождению изнывающих христиан.

Мы еще в году 1678-м обсудили и решили, что только с твоей помощью возможно наше спасение. И выбрали троих князей и троих священнослужителей послами к тебе. Однако по причине того, что ты, великий царь, был одолеваем вра-

гами с востока, посольство наше к тебе не состоялось, послы вернулись с пути. В числе их был и сын одного из самых значительных меликов Армении, Исраела, потомка славного рода Прошянов. Яври звался тот отрок. Он не вернулся тогда с другими послами. Попал во Францию, получил там военное образование, в качестве военачальника участвовал в англо-французской войне, а позже поселился в Германии, откуда и прибыл спустя много лет в свою Армению. Он теперь зовется Исраел Ори. Курфюрст рейнский и кайзер Леопольд через него предлагают нам свою помощь. Но нам желательнее опереться на твой великий трон, и потому мы снова направляем к тебе, великий царь, Исраела Ори, а с ним и настоятеля монастыря святого Якова, архимандрита Минаса. Все, что они скажут великому царю, угодно нам. Боясь врагов, мы пишем кратко, они скажут полнее. Одно нам ведомо -- спасение Армении в России. Прими нас в свое лоно, великий царь.

Твоему величеству известно также, что в таких же страданиях и муках пребывает грузинский народ, близкий нам и верой и духом.

Также сообщаем великому царю, что мы, посылая к твоему величеству Исраела Ори из славного рода Прошянов, который на пути к спасению Армении уже претерпел большие мучения, во всем ему доверяемся.

Мы, мелики, клянемся, что будем покорны твоей власти и исполним все, как ты велишь. В твое распоряжение поступим и мы, и наши сыновья, и все наши владения. И да поможет тебе господь, не отвернись от нашей мольбы!..

А пока с благодарностью и чистым сердцем ставим наши печати, удостоверяя наши подписи:

Я, сын Акиза (Егнаса), Плинос,

Я, сын Асатура, Сарухан,

Я, сын Мелкона, Сафраз,

Я, сын Наринбека, Шахназар,

Я, сын Паума, Мелкон,

Я, сын Багдасара, Тадевос,

Я, сын Яври, Агаджан,

Я, сын Нава, Ованес,

Я, сын Багдасара, Мелкон,

Я, сын Шаэна, Сукнас».

Мелик Эмирбек четыре дня назад тяжело заболел и уехал в Кашатахк. По этой причине только его подписи и не было под посланием.

Ангехакотское собрание завершилось в конце апреля. Для принесения клятвы верности был назначен день второго мая.

Ори возразил.

— Лучше прямо сейчас, — сказал он.

— В церкви принимать клятву не следует, тут всюду снуют кзлбаши, — предупредил Сафраз.

— Удобнее всего у Святого Вардана. Там далеко от дороги, в скалах. Поедем поздно ночью, никто нас не увидит, — посоветовал мелик Сисакана Ованес.

— К чему выискивать особое место для принесения клятвы? — сказал Ори. — Нам и нужна-то всего горсть земли, окропленная кровью армянина.

— Как скажешь, — тотчас согласились все.

И чуть спустя блюдо с весенней, пахнувшей прелью землей уже стояло на тахте. Отец Минас благословил эту землю, затем все, положив в нее кончики пальцев, в один голос проговорили:

— «Клянемся этой обильно политой кровью наших предков землей, родиной нашей, Арменией, что мы все, оставаясь свято верными ей, никогда не откажемся от наших общих решений и никогда не нарушим нашего союза. Клянемся! Клянемся! Клянемся! Смерть или свободная Армения!»

Произнеся слова клятвы, каждый взял по щепотке земли и кинул себе за ворот. Этим закончилось двадцатидневное собрание, и в ту же ночь мелики разъехались по домам.

2

В Ангехакоте словно колокол разнес весть о том, что этим утром в Святом Сергисе будет служить архимандрит. Ну, а архимандрит меликского дома был уже всем известен. Люди, завидев его, еще издали крестились и останавливались. Было раннее утро, а в церковном дворе уже собралось видимо-невидимо народу. И поток не иссякал. Ори и Сафраз тоже шли в церковь. Когда проходили мимо дома отца Гедеона, Ори спросил:

— Скажи, мелик, святой отец жив еще?

— Жив, но горе сломило его.

— Какое горе?

— Единственная дочь, Рипсима, умом тронулась... Не

вышла замуж. А какие пари просили руки... И теперь такое страдание. И все на глазах у несчастных родителей...

— А почему она не вышла замуж? — не сразу спросил Ори.

— Говорят, зарок дала не выходить... Никто толком не знает. Может, ждала кого?

— Ждала?!

— Ну это я предполагаю. А может, и не так... Ей сейчас уже за тридцать... Одним словом, отец Гедеон очень несчастный. Наверное, увидишь их, и Рипсима, и отца Гедеона.

«Подождешь год, не больше...» — вспомнил Ори свои слова... А она ждала двадцать лет... и еще ждет, и будет ждать... словно горячей, а потом и холодной водой окатили Ори. Он с болью подумал о том, что, избегая греха, сам невольно совершил большой грех, погубил человека и ничем никогда его не утешит. И сразу же накатила другая мысль: всяк смертный подвластен греху; только один, совершив грех, спит спокойно, а другой мастея, если и без вины виновен...

Народ, столпившийся во дворе церкви и жадно ловивший звуки божественного голоса проповедника, покорно расступился перед меликом и его иностранным гостем, с завистью взирая, как им легко входит внутрь.

И внутри церкви люди тоже заметили и мелика и иностранца. Здесь также все расступилось перед ними. Они прошли и смиренно, как подобает, стали у колонны. Ори был потрясен. Он и сам будто впервые видел архимандрита. Осанка, жесты, голос! А глаза!..

Все это очень обрадовало Ори. Ведь архимандрит Минас должен предстать перед папой, Иоганном-Вильгельмом, кайзером Леопольдом, Петром Великим и мало ли еще перед кем как посол Армении. И это прекрасно, что он обладает такой внешностью и такой завораживающей силой.

Вокруг амвона стояли священники в золоченых ризах. Когда архимандрит смолк, проповедь продолжил один из священников, чуть надтреснутым, но приятным голосом. Внимание Ори привлекли знакомые черты лица священника. Отец Гедеон. Облысел, борода седая, редкая. Ори обвел взглядом церковь. Сердце колотилось. Не нашел, кого искал. Священник читал, глядя на лик Христа перед собой, затем, обернувшись к пастве, осенил ее крестом, и тут зазвонили

колокола. Молодой дьякон встал перед образом Христа, трижды повел кадилом, затем развернулся в поклоне и тоже трижды прокадил перед архимандритом, сошел вниз, туда, где стояли мелик и Ори, и, обдав их дымом ладана, отошел в сторонку. Ори снова искал взглядом и снова не нашел, кого искал. Нет, как бы она ни переменялась, он узнал бы ее по глазам, по рукам. Непременно узнал бы...

— Это точно отец Гедеон? — тихо спросил мелика Ори.

— Узнал? — обрадовался мелик. — А дочь стоит рядом с тобой.

Ори онемел. Он долго не мог повернуться и посмотреть на стоящую по другую сторону колонны Рипсима. Лишь чуть придя в себя, заглянул и увидел женщину. Это была Рипсима и не Рипсима.

...Только прежним блеском сверкал на ней подаренный им перстень.

У Ори, впервые в жизни познавшего угрызение совести, защемило сердце. Он быстро отвернулся и прикрыл глаза руками. И больше уже не слышал ни звона колоколов, ни молитв священников, ни запаха ладана... «Лучше уже не будить в себе былого», — подумал Ори...

Служба кончилась проповедью архимандрита Минаса.

...Люди двинулись к выходу. В толпе были и Сафраз с Ори. Теперь взгляды всех были устремлены на них. Ори не только чувствовал на себе тяжесть печального взгляда Рипсима, он даже касался ее руки. Так ему казалось. Казалось, что Рипсима идет рядом и достаточно ему слегка повернуть голову, их взгляды встретятся...

Выйдя, Ори быстро отделился от толпы, чтобы сбросить гнет. И сбросил. Но это лишь на мгновение. Душа его еще была в смятении.

— Что тебя опечалило? — спросил Сафраз.

...Шаги — удаляющиеся и приближающиеся, смешивающиеся в один общий гул. Голоса — громкие и тихие, и шум Воротана...

— Через двадцать лет я вернулся с чужбины на родину как чужой и ухожу как чужой. Попробуй хоть мысленно представить себя на моем месте...

Сафраз вздохнул.

А Воротан шумел, гудели голоса, и слышались шаги...

— Архимандрит остался? — Ори только сейчас вспомнил о нем.

— Он придет с моими сыновьями.

Ворота с тяжелым скрипом отворились и снова накрепко закрылись. Но все то, что должно бы остаться по ту сторону ворот, увы, вошло сюда вместе с Ори...

3

Ори складывал свои вещи с чувством человека, вынужденно покидающего родные места. Взяв в руки подвернувшийся «журнал раздумий», он и впрямь задумался. Потом сел, тут же на вещах, и написал: «Есть ли на свете сила большая, чем родина? Если человек без родины не корабль без паруса, брошенный в бурное, безбрежное море, то он оборотень. А если он к тому же и отрекается от своей национальности, чтобы пристроиться, то он подобен дрессированному дикому животному, угодливо повторяющему все, что делает хозяин...»

Во дворе раскатиисто заржала лошадь, словно сам рассвет вскричал, вступая в объятия гор. Это была лошадь, которую Вардан подарил брату. Ори узнал ее. И ему показалось, что она зовет его. Он вышел. Архимандрит Минас и Сафраз уже ждали его, готовые в путь.

Выехали втроем. Сафраз провожал их. Он без конца шутил и смеялся. Не отставали от него архимандрит Минас и Израел Ори. Смеялись нарочито. На самом деле настроенные у них было хуже некуда. Просто старались рассеяться. Однако грусть брала свое. И скоро они затихли, едва завиделся Бичанаг, где предстояло распрощаться с меликом Сафразом.

Они долго стояли на перевале, сойдясь лошадами морда в морду. Смотрели друг на друга, и взгляды их говорили одно: «Значит, смерть или свободная Армения!»

Не сказав больше ни слова, они, ударив ладонями в грудь и затем воздев руки к небу, расстались.

Мелик Сафраз долго смотрел вслед удаляющимся Израелу Ори и архимандриту Минасу. Вот на повороте желтым лучом блеснул крест на груди архимандрита, и скоро они совсем скрылись.

А Сафраз все стоял, но смотрел уже не на дорогу, а на далекий горизонт. Но вот он повернул коня и тронул в сторону Ангехакота.

Все те подробные письма, которые Ори посылал Иоганну-Вильгельму с сообщениями о ходе своего путешествия и результатах деятельности, поражали курфюрста. Он все так же был полон веры и симпатии к Ори и ждал его очень, даже тосковал. Вот почему, когда Ори вошел к нему, курфюрст встал ему навстречу, пожал руку и обнял за плечи от радости. Ори ответил ему тем же и представил архимандрита Минаса, который с достоинством стоял в стороне и ждал, скрестив руки на груди.

— Позвольте представить вашему высочеству архимандрита Минаса, одного из духовных пастырей армян, который пользуется безграничным уважением и любовью во всей Великой Армении. Именно благодаря этим его достоинствам армянские князья и священнослужители, направляя вашему величеству свое прошение, хотели, чтобы он лично предстал перед вами, их будущим государем, и сам передал о всеобщем желании и о том, как армяне ждут вас на своей земле.

Курфюрст, польщенный, с улыбкой на просветленном лице, пожал руку архимандрита Минаса, слегка поклонившись ему.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил он, показав на мягкий диван.

Сели. Курфюрст посередине.

— Уму непостижимо, сколько мук вы испытали! — восторженно глядя на Ори, проговорил Иоганн-Вильгельм.

— Но это было необходимо и дало мне успокоение, — сказал Ори.

— Оно, конечно, так, — согласился курфюрст и повернулся к архимандриту Минасу.

Минас не отвечал на улыбки курфюрста. Даже не шелхнулся. Чуть спустя он заговорил размеренно, с большим достоинством:

— Армянский народ с нетерпением ждет своего освободителя. Не пассивно-беспомощный, а вооруженный, боеспособный, готовый на всяческие жертвы. Он примет как посланца божьего того, кто поведет его в бой за освобождение от векового унижения и бесчестия, кто вернет Армении царский трон и воссядет на нем. И тогда народ присягнет той религии, которая приемлема для его царя. И он, мой народ,

всегда будет славить и возвышать этот трон, будет преданно служить своему христианскому царю...

Ори перевел все сказанное слово в слово.

Иоганну-Вильгельму понравилась речь священника, но словами он этого не выразил. Встал, прошелся и сел за стол. Ори понял его: подал послание, кратко охарактеризовал всех меликов, рассказал об их возможностях.

— А через некоторое время, — добавил он, — я представлю вашему величеству мой доклад, и вы из него в подробностях узнаете, что имелось, что было сделано и что еще надлежит сделать в нынешних условиях.

Иоганна-Вильгельма вполне удовлетворило и то, что было написано в послании армян, и все, что ему поведали и Ори и священник.

— А сейчас надо отдохнуть, дорогой! — заботливо сказал курфюрст и протянул руку Ори.

— Для отдыха человеку даже слишком много времени. Настанет и час отдыха, а пока будем действовать! — улыбнулся Ори.

На лице курфюрста расцвела улыбка. Он с почтением попрощался и с архимандритом Минасом.

...Едва вышли на улицу, Минас тихо, как говорят только с богом его служители, проговорил:

— Господи, хвала и слава тебе! — И он так и прошел несколько шагов, с обращенным к небу взором. Но руки постепенно опустились и вера в глазах погасла. Ему вдруг показалось, что слишком уж безучастно чужое небо к его чувству.

— Хвала и слава тысячу крат! — неожиданно отозвался Ори. Неожиданно потому, что Минасу казалось, будто он про себя славил господа.

— Знаешь, за что я воздаю ему хвалу?

— Верно, за то, что, похоже, близится час нашего истинного освобождения?!

Архимандрит остановился. Ори тоже. Их взгляды сказали друг другу многое, у одного в глазах было удивление, у другого отрицание. Через минуту они снова шли, в душе воображая, что шагают по освобожденной Армении.

— Любопытно, понял ли курфюрст Пфальца твою мысль о том, что армяне присягнут католичеству лишь после того, как почувствуют себя освобожденными? При переводе я старался выделить это, подчеркнуть особо...

Архимандрит шагал, вглядываясь в туманный горизонт Дюссельдорфа, и думал свое.

— Да, я сознательно это говорил, — сказал он наконец. — Решил прощупать его. Честно говоря, по его лицу и я тоже не распознал, понял он меня или нет...

— Ничего, — улыбнулся Ори, — в своем докладе я все ему объясню. Мы пойдем на врага в своей вере, а там посмотрим...

— Только так!..

2

Израел и Прошик, вдоволь наигравшись с отцом, крепко спали. Госпожа Астра сидела у стола задумавшись. Руки расслабленно лежали на коленях. Ори подошел, взял одну ее руку в свою ладонь, поцеловал и бережно опустил.

— Я всю ночь буду работать, ты ложись, дорогая! — сказал он и ушел к себе в кабинет.

Астра с грустью сметрела на руки, униженные перстнями и браслетами, и словно жалела, что, такие красивые, эти руки принадлежат ей, несчастной. Да, несчастной. Что она видела в жизни, хоть и была рождена для наслаждений?..

Правда, вначале Астру даже воодушевляли деятельность супруга, его неистощимая энергия. Она и себя считала не только женой, но и другом, который во всем будет делить с ним тяготы печальной судьбы, помогать, чем сможет, в стремлении служить его народу в поисках свободы и справедливости. Но ее хватило ненадолго, нервы не выдержали. Ори бесконечно странствовал, бесконечно бывал занят, и ни дня они не жили для любви, для счастья семьи. Ни дня она, женщина, не жила истинной женщиной. Постепенно Астра привыкла чувствовать себя несчастной. И это ощущение обострилось особенно, когда Ори, чтобы ее подготовить, поделился своими планами на ближайшее будущее, рассказал о предстоящем путешествии в Рим, Вену, Дамаск и Тоскану...

Именно это было причиной того, что Астра сейчас проливала тихие слезы.

Войдя в кабинет, Ори не сразу приступил к работе. Он понимал, что происходит с женой, и мысленно представлял то, что творилось за стеной. Но не хотелось ему уступить этим разрушительным чувствам, ведь они могли встать на пути его цели.

Чуть спустя он сел за стол. Надо было записать все, что занимало его ум и сердце в последнее время.

«Светлейший курфюрст, в знак верного исполнения предписанного Вами, считаю своим долгом представить Вам сей доклад от имени тех, кто поручил мне со всем смиренным сообщать Вам мои мысли о великом деле, которое носит такой характер, что требует участия многих. Последняя причина обязывает меня просить и Ваше величество, чтобы и Вы также приняли на себя заботы о судьбах армян.

Его величество кайзер только тогда и согласится поддерживать столь важное и угодное святой религии и августейшему дому предприятие, как спасение Армении, когда, ознакомившись с просьбой князей Армении, увидит, что и Вы, Ваше высочество, собственноручным письмом рекомендуете ему оказать содействие страдающему единоверному народу. Хорошо все понимая, кайзер по великодушию своему будет добродетелен.

Принимая во внимание и то, что у нас есть также письмо на имя святейшего папы, которое свидетельствует о готовности князей Армении подчиниться святому престолу, было бы значительным и то, чтобы Вы Вашей милостью поддержали и его. И мы уверены, святейший папа также, едва увидит, что дело это легко выполнимо, сочтет себя обязанным по своему положению единого отца всей церкви принять в нем участие.

Если Ваше высочество найдет удобным добиться и содействия высокородного герцога Тосканы, это тоже будет полезно делу. Его авторитет перед святой церковью очень велик, и Ваше высочество он ценит безмерно и потому поддерживает Вас всею силой. Вот, как мне кажется, союзники, которые нужны Вашему высочеству для данного дела, и мы готовы по Вашему велению представлять Ваше высочество и всю Армению. Если Вы решите послать с нами еще кого-нибудь, и того лучше. Надеемся, наше посольство поможет успеху дела, если счастье Вам улыбнется. А если, на беду, ничего не получится, само намерение по доброте и человечности своей увенчает Вас славой и одобрением лучших людей мира.

Когда поименованный союз войдет в силу, надо будет просить и у короля Польши и царя России пропустить Ваше войско. Они, почитая Ваше высочество и великого кайзера Леопольда, не станут чинить никаких препятствий,

ни тот, ни другой. Русские с удовольствием исполнят это, еще и потому, что с нами у них связан свой интерес».

Ори отложил перо. Ему теперь предстояло изложить все потребности в силах, необходимых для ведения военных действий. Этот вопрос занимал его особо. Прежде всего необходимо реально представлять силы врага, чтобы, исходя из этого, знать, что ему противопоставить. Нужно выявить, какой силой могут быть представлены сами армяне. Ведь если их войско будет уступать войску союзников, может произойти то, что, освободившись от одного насильника, они, чего доброго, угодят к другому, более сильному. Ори думал еще и о том, что, если представить Армению обнищавшей, союзники могут и отказаться от своих намерений. Но на данном этапе главное — вовлечь их, а потом уж они будут вынуждены сами заботиться о своих интересах!..

Ори ходил по своей маленькой комнате, задумавшись. Но вот, чтобы отчетливее все представить, достал карту Армении и разложил ее на столе. Угроза справа — Турция. Она протянула свои щупальца до Грузии. Ори мысленно поставил Армению в самое тяжелое положение.

Он распластался над картой, и на душе у него внезапно просветлело. Явилась мысль, которой надо было поделиться с архимандритом Минасом...

...А следующей ночью Ори снова писал:

«Когда будет получено разрешение на проход войск, Ваше высочество очень поможет, если даст нам тысячу всадников, тысячу драгун, сто grenадеров, двадцать пять пушкарей, двадцать пять бомбардиров, четыре пушки малого калибра и две — большого, сто ядер, одну мортиру, пятьсот ружей и к ним соответственно порох, сто знамен, с расклятием по одну сторону и ликом Григора Просветителя по другую, к тому же с надписью на армянском языке. Этим Вы подчеркнете то, что народ наш всегда уповал на силу и мощь святого креста своего покровителя святого Григора. Знамена нужно раздать в меликствах. Вот все, о чем мы просим Ваше высочество, во имя бога и народа, который все свои надежды возлагает на милосердие и помощь Вашего высочества.

А все, что нужно в смысле провианта войску и лошадям, мы будем искать всюду, и главным образом в Москве, где все обильно и дешево и сена для лошадей — сколько угодно.

Войска будут содержаться за счет армян, и все расходы кайзера Леопольда и великого герцога Тосканы будут возмещены.

В Армении богатые залежи меди и железа. Если Ваше высочество соизволит послать туда мастеров-литейщиков, можно будет лить там пушки. Войска Вашего высочества могут отправиться отсюда в конце наступающего мая. Они пройдут Богемию, Польшу, Краков и Московию, откуда на судах по реке спустятся до порта Астрахань, на Каспийском море. Там войску будет предоставлено все необходимое. От Астрахани они пойдут по названному морю на тех же кораблях, потому что это море не глубоко и не широко. Если погода будет благоприятна, войска пересекут море за два-три дня и выйдут в гавань, в окрестностях которой нет ни городов, ни сел. Это место отстоит на десять миль от персидской земли, на двадцать миль от Шемахи и на десять миль от Баку, где есть два чудо-фонтана: из одного бьет черное масло, из другого — белое. Тут-то и есть граница Армении...»

Ори всячески старался подогреть в курфюрсте интерес к Армении как к лакомому куску.

«Из вышенизложенного видно, что необходимо во всем заручиться еще и согласием кайзера Леопольда, папы римского и великого герцога Тосканы, но ни словом нельзя обмолвиться ни королю Польши, ни царю московскому, потому как это может вызвать в них вождеделение. Особенно у короля Польши. Пятнадцать лет назад его предшественник уже собирался направить в Великую Армению тридцатитысячное войско, хотел завоевать ее, если мелики Кафана того пожелают. Но те не пожелали. Новый царь российский питает большое уважение и симпатию к армянам. Он, предоставляя им право свободной торговли, дает свободный доступ во все уголки своей страны. В Москве около двух тысяч армян. Это, несомненно, будет способствовать нашим действиям. Войска Вашего величества могут войти в Персию в начале октября тысяча семисотого года. Первым опорным пунктом станет Шемаха. Это богатый торговый город, в котором нет никакого войска. Владыкой там персидский губернатор, с личной охраной не более двадцати человек. Там мы имеем семь армянских духовных общин, и все торговцы города — тоже армяне. Стоит им увидеть знамена с крестом, к войску тут же присоединится тысяча десять армянских всадников.

Из Шемахи десять миль до владений досточтимого мелика Эмирбека.

После Шемахи войско можно поделить на четыре равных соединения. Одна часть пойдет на Гандзак, где есть губернатор и при нем тоже всего один отряд. В городе нет ни гарнизона, ни укреплений. Все жители его окрестностей — христиане. Вторая часть пойдет в Лори, где тоже нет вражьего войска. Третье соединение войдет в Кафан. Четвертое, составленное из самых отборных войск, направится в Нахичеван, где у губернатора полк в тысячу человек, потому как он главный в ряду наместников шаха и это он хозяйничает в наших провинциях. К слову — это смертельный враг моей семьи и многих других меликов...

Далее путь будет лежать к Араксу. Итак, от Шемахи до Нахичевана войско пройдет без особых затруднений.

Затем надо будет направить пять тысяч человек в Ереван. Это укрепленный город на реке Раздан, довольно близко от Арарата, колыбели Ноева ковчега. У ереванского губернатора две тысячи солдат, тридцать пушек, без ядер. Город укреплен четырьмя крепостными стенами, без рвов вокруг них, так что пушки можно вывести под стены. В крепость ведут два въезда. И если сохранить в тайне подход войск, можно предупредить заранее верных нам людей, строителя Навасарда и управителя складами, оба они армяне. В нужную минуту, по сигналу, эти люди сумеют убрать часовых на воротах.

Внутри города все уже будет прощсе... Город можно продержать в осаде до подхода артиллерии. Вот и все укрепления персиян.

Немаловажный момент — проследить, чтобы силы армян, захвативших Нахичеван, не двинулись сразу в Персию. Горячность может погубить дело. Тавриз трудноодолим. Там совсем нет армян, и поблизости их очень мало, нужна большая армия, чтобы завоевать его. К тому же и арсенал в Тавризе велик...»

— Оври, ну до каких же пор? — Астра нежно обхватила руками шею мужа, который, усталый и измученный, сидел в кресле. Он словно бы пережил все, что начертал на бумаге, чувствовал себя полководцем, уже оставившим позади освобожденные земли родины. Вот он еще преследует врага, гонит его дальше и дальше, разбивает, чтоб никогда больше не зарился на чужие страны...

— Человек ведь только раз живет на свете, Оври, — шептала ему Астра, — ты совсем не думаешь о себе. Не живешь

ни для себя, ни для детей, ни... Ах, я-то ладно, я чужая тебе!— И она заплакала, беззвучно, но слезы лились ручьем.

— Ты права, дорогая!— Ори проводил жену до спальни.— Ничего, будем надеяться, что потом проживем и для себя. Будем надеяться, дорогая!— Он поцеловал ее, вернулся к себе и опять принялся писать.

«Я твердо убежден, что войска персидского шаха ничего не смогут предпринять против нас ни в начале зимы, ни весной.

Под властью шаха, не считая тех пяти наших областей, что захватили турки, сейчас находятся следующие армянские области: Шаки, которая может дать нам десять тысяч человек, Варанда может дать шестьсот человек, Кашатахк — десять тысяч человек, Большой Кафан (в котором восемь губерний) может безболезненно дать шестьдесят тысяч человек, Гандзак — полторы тысячи человек, Лори — шестьсот человек, Гегаркуни — пятнадцать тысяч человек, Задам — пять тысяч человек, Ереван — пятнадцать тысяч, Даралагыз — десять тысяч человек, Нахичеван — пять тысяч, Шарур и Шамб — пять тысяч, Ерджак — десять тысяч человек, Агулис — шесть тысяч, Мегри — три тысячи и Гетатах — пять тысяч человек. И все вместе это составит огромную силу, около двухсот тысяч человек.

Ко всему этому к нам готова присоединиться Грузия, которая сможет поднять до восьмидесяти тысяч человек...»

Затем Ори подробно изложил, какую материальную поддержку могут оказать армянские области, находящиеся под турецким господством. Чтобы убедить курфюрста на фактах, он описал подробности своего путешествия по Турции: встречи с должностными лицами и именитыми торговцами — все из армян, — которые обещали предоставить большие средства для борьбы за освобождение Армении от турецкого и персидского ига.

Ори во всех этих описаниях помнил главное — курфюрста надо завлекать возможностью извлечь большие выгоды. Потому-то он всяко расписывал богатства Персии, Турции, Армении и Грузии. Не забывал при этом и подробности военной мощи стран-поработительниц. Хотя в общем-то ни Персия, ни Турция, как он считал и показывал это, не представляли особой опасности...

Дав исчерпывающее описание оборонительных возможностей врага, Ори остановился также на том, какую, по его

мнению, займет позицию Турция в случае стычки с Персией. Он и здесь постарался не «пугать» курфюрста, упирая на малую вероятность того, что Турция вмешается. И что если она даже и попытается это сделать, то Польша и Россия уймут ее, убедят, что война не против Турции, а против Персии...

Свое послание Ори закончил так:

«Прошу по возможности ускорить все это дело. И да воздаст всемогущий господь бог великодушному и всемогущему курфюрсту и роду его ныне и во веки веков. К этому моему пожеланию присоединяются все мелики, давшие мне поручение и полномочия!»

Ори отложил перо и поднялся, потирая при этом руки.

3

И снова была осень. Архимандрит Минас и Израел Ори сидели на балконе, окруженном деревьями. Тихий ветер словно бы рождался в увядающих листьях и со вздохом относил их вдаль, навевая при этом грустные мысли.

Оба молчали и то, уйдя в себя, вглядывались и вслушивались в окружающее, а то, подобно листьям, срывались и шли друг другу навстречу — беседовали, потом снова мысленно удалялись в ту далекую страну, откуда другой, разрушительный ветер-шквал занес их в эти края. Занес, чтобы...

Порыв ветра встряхнул деревья.

Архимандрит Минас первым вернулся к действительности.

— Ты поспешил, Израел Ори, и слишком рано вручил свой доклад курфюрсту.

— Напротив, скорее поздно.

— Понимаю, но спешка тоже может повредить. Я остаюсь при своем мнении, считаю, что недостаточно выявил силу страшного врага. И это может подвергнуть сомнению все другие доводы. Иначе почему бы он так долго не призывает нас к себе?..

— Я знаю их лучше, святой отец. Прости, но не могу не повторить: немец никогда не сделает шагу, если не видит для себя большой выгоды. Не легко из такого далека вести войну, к тому же не с одной, а с двумя странами. А что Турция не останется в стороне, я уверен. И выходит, наша задача любой ценой втянуть их в войну, а там уж могущест-

венная Римско-Германская империя, которая только что заставила Турцию подписать договор о мире, не отступится, не уйдет с поля битвы, не опозорит себя перед всем миром...

Порыв ветра снова качнул деревья. Листья зашелестели, но скоро все опять стихло, и воцарилась тишина.

4

Курфюрст Иоганн-Вильгельм стоял в проеме узкого окна и смотрел в сторону Рейна. Светило яркое солнце, весело шелестели листья, и река играла в лучах.

Лицо у курфюрста тоже поначалу светилось покоем и улыбкой, но постепенно оно как бы угасло. Может, оттого, что солнце зашло и унесло с собой ощущение ясности и света?..

Курфюрст медленно пошел к столу. Там лежала грамота Исаи Ори. Перелистал ее, просмотрел еще несколько страниц. Стукнул кулаком по столу и про себя подумал: «Это огромная сила, при которой никто чужой не сможет завладеть властью в Армении! Ее, эту силу, надо смять, уничтожить!..» Курфюрст вспомнил об Ори и тихо проговорил: «А жаль!» И взгляд его потеплел.

5

— Итак, говоришь, тебе не страшно, что, показав Армении столь боееспособной, богатой и завлекательной, можешь вдруг вселить неуверенность во всех этих европейских правителей? — сказал архимандрит Минас.

— Не страшно. И не потому, что я не пуглив, а, как уже сказал, не вижу путей к отступлению для наших союзников. Конечно, если бы дело было только в курфюрсте, я бы все представил ему иначе. Но нам нужны и кайзер Леопольд и великий герцог Тосканы!

Минас глянул в печальное осеннее небо. Тут вдруг появился гонец курфюрста.

...Ори вошел к Иоганну-Вильгельму, когда тот опять стоял перед окном. Увидев Ори, он направился к нему навстречу с озабоченным видом.

— Я доволен разработанным тобой планом. И очень глубоко изучил его. Да, воодушевление мое было безгранично, но... — Курфюрст с сожалением развел руками. — Умер король Испании...

Глаза Ори расширились.

— Значит, умер армянский вопрос?..

— Ну почему же умер? Просто откладывается, — спокойно сказал курфюрст. — Иначе невозможно. Сам понимаешь, что означает смерть короля Испании.

— Понимаю, ваше величество.

— Пока выяснится, кто наследует испанский трон, король Франции Людовик Четырнадцатый или император Леопольд, — это, наверно, не решится мирно, — вы будете готовиться к походу, — как ни в чем не бывало проговорил Иоганн-Вильгельм. — Для закрепления тройственного союза поедешь от меня послом к великому герцогу Тосканы и папе римскому.

— К папе?.. К папе пошли другого, светлейший князь, не армянина. Там армянские клерикалы-интриганы, которые могут повредить делу, — посоветовал Ори, снова цепляясь в душе за призрачную надежду.

— Тебя никто не может заменить. Явишься там к моему агенту с ручательной грамотой, и все будет как надо. Потом вы оба должны вернуться к себе на родину, чтобы люди там не ударились в тревогу по поводу оттяжки нашего прихода. Я пошлю с вами ободряющее письмо армянским меликам.

— Когда следует отправиться к папе и герцогу Тосканы?

— Через два дня.

6

— Тяжела же судьба Армении! — вздохнул Ори. — За тридцать земель умирает в чужой стране король, а на нее ложится камень...

— О чем ты? — с беспокойством спросил архимандрит Минас.

— В Испании король помер.

— Ну и что? — удивился Минас.

— У него нет прямого наследника, а косвенные — король Франции Людовик Четырнадцатый и кайзер Леопольд, они в родственных связях с царствующим домом Испании. Вот и начнут дележ. И хотя король завещал трон внуку Людовику Четырнадцатому, Леопольд тем не менее прочит своего сына — на случай осечки он заключил мир с Турцией, чтобы при необходимости в союзе с ней пойти войной против Испании. Эта война, если она начнется, будет продолжительной и кровопролитной. Испания велика, если иметь в виду все ее колонии. На ее земли зарятся и Англия и Гол-

ландия. И они, в свою очередь, тоже заключат союз с Леопольдом, и, таким образом, король Франции будет вынужден воевать с половиной Европы. Вот почему судьба Армении никого здесь сейчас больше не интересует. И это теперь надолго.

— Так все перевернулось?..

Ори кивнул головой.

— Значит, что же нам делать?

— До последнего дыхания не отступаться от битвы за родину. Мы еще не потеряли нашу самую верную надежду — Россию. В ближайшие два дня отправляемся в Рим и Тоскану. Посмотрим, что посоветуют нам папа и великий герцог Тосканы. Потом тронемся к московскому царю. Формально будем просить у него разрешения провести через его страну войска. Заодно прощупаем настроение и возможности, и, может быть... А до того, архимандрит, я отправлюсь в Амстердам за оружием. Нам надо любой ценой вооружаться.

— Э, брат Ори, с горя иногда вдруг становишься мечтательным, как юноша. Где взять столько золота, чтобы вооружить целый народ? Да еще и покупая оружие в далеком Амстердаме?

— С горя, говоришь, мечтательными делаются? Нет, святой отец, горе не мечты рождает. Оно их разбивает. Только от безграничной любви молодеет пожилой мужчина. Далекая, но безмерно любимая армянская земля придает мне силы, мелодит меня, окрыляет мечтой, — оживился Ори. — Она наделяет меня божественной силой: хочешь, осеню крестом все эти вещи — и они превратятся в золото? А ты еще спрашиваешь, откуда золото.

И Ори засмеялся. Но архимандриту Минасу слова его не показались шуткой. Он знал, что этот странный человек никогда не бросает слов на ветер. Если уж он говорит, значит, будет и золото, будет и оружие.

— А здесь будем действовать до тех пор, — продолжал Ори, — пока не угаснет последний луч надежды. И ты готовься предстать перед папой не как архимандрит, а как аббат. Он знает историю о том, как еще католикос Акоп принимал католичество, знает и о его делегации, о мучениях в пути и о смерти. Знает о католикосе Егиазаре, который остался верен своему предшественнику и сохранил приверженность папскому престолу. Вот так-то, святой отец, будем собираться!

— Я хоть сейчас готов...

Зима показалась Астре вечностью. Никогда еще время не тянулось для нее так долго. Едва темнело, она уже мечтала о рассвете, и наоборот.

Но вот наступила весна, набухли почки, кое-где на деревьях распустились и листья — блестели, как зеленые огоньки.

Астра сидела на балконе и никак не могла понять, почему пробуждение земли вызвало в ней такую глубокую печаль. В этом возрождении природы ей виделась смерть. Она и страшилась смерти и звала ее. Может, потому и страшилась, что хотела умереть? Страдания столь мучительны и безысходны, что сердце уже не выдерживает. И мучительней всего ожидание. О, сколько она прождала! Только и жила ожиданием: ждала своего Оври, которого носило по свету.

Подул легкий ветер. Астре почудилось, что запахло водорослями, потом она вдруг услышала неуловимые шорохи, решила, что это почки лопаются, одевая новой зеленью деревья. Но нет... Что там? Не топот ли конский?.. Сердце заколотилось. И вот уже ее мальчики, ее сыновья выскочили за ворота и побежали навстречу топоту. А через минуту Астра услышала крик:

— Папа!..

Она сбежала с балкона в сад и тоже вышла на улицу.

Медленно подъезжала карета, а рядом с ней шагал Ори за руки с сыновьями. Астра бросилась было к мужу, но вдруг повернула назад, миновала двор, вошла в дом и прикрыла дверь. Ори заметил это. И когда он переступил порог дома, жена не встретила его. Чтобы рассеять недоумение детей, Ори придумал, будто мать их просто в шутку спряталась в одной из комнат, и стал с мальчиками искать ее. «Нашли» они ее в спальне, куда ввалились с веселым шумом. Астра сидела в кресле. Услышав голоса, она подняла взгляд и посмотрела на мужа. Он улыбался, но лицо у него было страдальческим. Ей показалось, что за эти три с половиной месяца он постарел на десять лет и стал уже сплошь седым. У нее защемило сердце. Вскочив, Астра с нежностью пошла ему навстречу.

— Ах, Оври, ты так себя мучаешь! — Она положила голову ему на грудь, взъерошила бороду, погладила лицо, на минуту затихла. И наконец сказала: — Неужто ты вечно бу-

дешь скитаться? Ну что это за жизнь!.. — Сказала и заплакала.

— Плачешь? — с укором спросил Ори. — О, если бы и я мог поплакать. В слезах горе тает. Потом, правда, возрождается, но омытое. Его тогда какое-то время легче переносить... Успокойся, прошу тебя, дорогая...

— Курфюрст говорит, что ты снова должен отправиться в Армению, я не могу больше этого выносить!..

— У каждого в жизни свои страдания. Тебе выпала тяжелая доля, я понимаю. А что это курфюрст пустился с тобой в откровения о моей поездке в Армению?

— И сама не знаю. Все говорят о войне. Курфюрст спешно уехал в Баварию, и ходят слухи, что оттуда он направится еще куда-то. Перед отъездом призвал меня, дал какие-то бумаги для тебя и сказал, что ты должен срочно ехать через Россию в Армению...

...На следующий день, едва Ори ушел к себе в кабинет, Астра вышла на балкон. Заходящее солнце постепенно соскользнуло с купола собора, разлилось между деревьями и исчезло, как в землю ушло. Только маленькая красная линия на месте его погребения напомнила Астре небрежно брошенный на ночном столике медальон с золотой цепочкой, который Ори подарил ей много лет назад и который она, счастливая, долгие годы носила на своей груди. Вспомнила ушедший в небытие день, когда медальон этот стал первым звеном в цепи, их связавшей, день, который отмечен в ее сердце такой вот красной линией, как эта, что сейчас разделяет на горизонте небо от земли.

«Стоит жить, хотя бы для того, чтобы вспоминать тот день!» — подумала Астра.

А Ори думал свое, сидя с пером в руке за столом. Через минуту он уже писал: «Папа римский принял нас любезно. Казался озабоченным армянскими бедами и кое-что обещал. И великий герцог Тосканы тоже был доброжелателен и участлив, говорил, что при благоприятных обстоятельствах готов в союзе с курфюрстом рейнским и кайзером Леопольдом прийти на помощь Армении. Нет, хоронить надежды, связанные с европейскими правителями и странами, еще рано, как бы призрачны они ни казались...»

Отложив перо, Ори снова раскрыл пакеты, переданные ему через жену Иоганном-Вильгельмом. В них были письма — одно к русскому царю, другое к мелику Саф-разу.

Москва. После проливного дождя солнце еще было затенено облаками, но золоченные купола Архангельского собора в седом Кремле уже лучились. Ведающий посольскими делами боярин Федор Головин с увлечением взирает на игру света в дымке молочного тумана. Царь Петр, вытянув длинные ноги, внимательно вчитывался в приказы и, какие следовало, закреплял своей подписью. И боярин хоть смотрел на купола, но не упускал ни единого движения царя. Вот почему, едва тот отложил гусиное перо, Федор тотчас доложил:

— Ваше величество, это важное письмо от смоленского воеводы, Володьки Шереметьева,— и он протянул пакет.

— Если письмо послано мне, то откуда тебе ведомо, что оно важное?— спросил Петр, медленно распечатывая пакет.

— Я его не читал. Но только после того, как ваше величество изволит с ним ознакомиться, скажу, откуда я знаю, что оно должно быть важным.

Петр сжал губы и надул щеки пуще прежнего.

«Великому царю и великому князю Петру Алексеевичу, самодержцу Великой и Малой и Белой Руси,— читал царь,— твой слуга Володька Шереметьев кланяется в ноги. Государь, сего 1701 года, 30-го дня июня, перейдя границу Литвы, в Смоленск вошли два иностранца и один священник римской религии. Одного из этих иностранцев зовут Исраел Ори, другого — Орехович. Они идут к тебе, великому царю, в Москву послами из Рима. Сии иностранцы показали мне, твоему слуге, грамоту, удостоверяющую их посольскую миссию, подписанную самим императором.

Только все у них написано не по-нашему — по-немецки да по-латыни, а потому прочитать и перевести эти бумаги никто не может по причине того, что в Смоленске нет толмача. И я, твой слуга, отправил этих иностранцев и священника вместе с двумя их слугами из Смоленска в Москву, дав им телеги и назначив проводником Ботьку Евстафьева, вместе с этим письмом, которое писано 30-го июня. И приказал, чтобы об иностранцах сих и о священнике сообщили государеву посольскому советнику Федору Алексеевичу Головину или его помощнику».

— Где эти люди?— прочитав письмо, спросил Петр.

— Ваше величество, этот Ори — армянин, и он же посол

от пфальцкого курфюрста. Священник также армянин, по имени Минас. И толмач ихний, по прозванию Назар Орехович, тоже армянин, издавна живущий в Польше. Я, конечно, как приличествует, принял их, устроил и слуг к ним приставил. Должен сказать еще вашему величеству, что призывал к себе этого Ори, чтобы узнать о цели миссии, но он упорно молчал, показывая что по-русски не знает и через переводчика все скажет только царю, потому как строго секретна цель его приезда.

— Любопытно! — проговорил Петр. — Армяне — и вдруг послы пфальцкого курфюрста!..

— Да, ваше величество, так-то!

— Сейчас я их не приму. Занят. Но ты следи за ними в оба...

— Слушаюсь, милостивый государь.

2

Ори был рад, что Петр примет его попозже. Он многое знал о нем как о могущественном правителе, имеющем намерение пробудить свой народ, вывести из вековой дремоты, расширить границы своей страны так, чтобы удобно было их укрепить. Но каков он человек, с каким характером, с какими слабостями — этого Ори не ведал. А знать это при установлении дипломатических отношений Ори считал необходимым. И потому решил до приема кое-что поразведать. При встрече с Головиным и другими придворными он то и дело заводил разговор о царе. И из бесед узнал, что царь — человек дела, в меру суров, во гневе страшен, особенно когда ему лгут, льстят. Узнал, что царь придирчив в вопросах соблюдения этикета, хотя сам иногда и делает очень страшные вещи, к примеру собственноручно остриг бороды многим своим боярам, пообкорнал их длиннополые кафтаны, заставил некоторых бояр надеть парики и много другого им уложил в своих указах да правилах: как кушать и как говорить следует... И за всякое нарушение назначил наказание.

Ори от души смеялся, узнав, как Петр наказывает бояр за те или иные нарушения: нальет огромный кубок водки и велит опорожнить одним духом. И всяк с такого потчеванья на месте падает. Один Меншиков выдерживает.

Однажды между боярином Головиным и Ори произошел такой разговор — понятно, что через переводчика.

— А скажите, Федор Алексеевич, как царь Петр пере-

жил победу малочисленных шведов под Нарвой над многочисленным русским войском?..

— Очень достойно, — отвечал Головин, — так, как приличествует великому царю. «Русским надлежит учиться воевать у побеждающего их врага, — сказал тогда царь. — А научатся, вот враги тогда и познают его силу». А почему тебя это интересует?.. — изнывающе посмотрев на Ори, спросил Головин.

— Это было давно, а царь пока еще не ответил врагу по достоинству. А спросил я о том потому, что задумываюсь, как меня будет слушать великий царь — со спокойным сердцем или взволнованно?

— В общем, поражением царь это не считает. По его разумению, битва со шведами была уроком.

— Спасибо. Понял. А на каких языках он говорит?

— На немецком.

— Федор Алексеевич, что думает царь о южных границах своей страны?

— То, что думает царь, известно только ему, — ответил с осторожностью Головин.

— Желательно, чтобы он отнесся ко мне дружески, поверил бы...

— Я-то склоняюсь к этому, но не убежден, что царь...

— Разве я дал повод для сомнений?..

Голубые глаза боярина в улыбке скрываются в отечных веках.

— Свои тайны ты сберегаешь для царя, — значит, мне-то не доверяешь, — хитро подкатил со своей думой боярин Федор Головин.

— По мне, так я бы мог и вам ее поведать. Но как можно нарушить повеление того, кем я сюда прислан? К тому же, узнав, в чем состоит моя миссия, и вы, я уверен в этом, согласились бы, что царю первому надобно слышать то, о чем просьба.

— А можно поинтересоваться?.. — спросил боярин.

— Интересоваться всегда можно...

— Я говорю это в смысле — можно ли узнать?

— Во всяком случае, по возможности я отвечу.

— Почему послами у пфальцкого курфюрста и у кайзера Леопольда — армяне? Это, кстати, интересует и моего государя...

— Тут секрета нет. Моя миссия прямо касается армянского вопроса, в котором достаточно заинтересованы и Леопольд и Иоганн-Вильгельм.

— Понятно. Теперь мне все ясно.

— Я бы хотел, чтобы этим вопросом заинтересовалась и Россия,— заметил Ори и, хитро улыбаясь, добавил:— Ваш император хочет укрепить границы, выведя их к морю. Это хорошо... К несчастью, на юге опасность угрожает России не с моря, а с суши. И это очень плохо. Так-то...

— Я завтра должен быть у царя...— сказал Головин. Ори понял его и поблагодарил кивком.

3

Выйдя из дома Головина, Ори попрощался с Ореховичем, решив в одиночестве побродить по московским улицам. У Спасской башни Кремля он свернул направо и спустился к Москве-реке, постоял на берегу, затем снова повернул направо и мимо Боровицких ворот прошел до Охотного ряда — шумного торгового ряда, где продавалась всевозможная снедь, свезенная сюда с бескрайних русских земель. Ори иногда останавливался, рассматривал незнакомых ему птиц, животных. Среди светловолосых и светлобородых голов взгляд его вдруг выхватил очень знакомое лицо, резко выделяющееся на фоне остальных. Но прежде чем он всмотрелся, лицо исчезло. Ори стал искать. Вот человек этот снова выплыл в толпе — мелькнули длинные черные кудри, широкая спина и сильные плечи. И едва он обернулся, Ори рассмотрел его: умные глаза, прямой, длинный нос и аккуратная волнистая бородка — черная с проседью. Расталкивая людей, Ори приблизился к нему вплотную. Лицо и знакомое и незнакомое. Но откуда в сердце вдруг всколыхнулось чувство родственности к этому человеку? А тот продолжал свой путь, и люди были к нему почтительны. Улыбались вслед, засматривались. Человек этот был и впрямь очень хорош собой. На мгновение для Ори замолк и исчез Охотный ряд, обернулся зеленым, тихим уголком Кутаиси. Ори зримо представил царя Имретини Арчила — молодого, полного сил, царицу Кетеван, их сыновей — Александра, Давида, Мамуку, дочь Дариджан... Ори очнулся и подумал: «Что делает время...» И он зашагал за Арчилом, пока тот не остановился перед деревянным двухэтажным домом. Там его кто-то ждал. По-видимому, тот, с кем он говорил о типографских шрифтах и еще о чем-то (Ори слышал только обрывки фраз), должен был уйти. И вот действительно человек этот ушел, а Арчи на

минуту задержался на месте, глядячи ему вслед, и тут Ори, приблизившись, сказал:

— Привет царю Имеретии и Кахетии!

Арчил ответил не сразу. Он, видно, тоже перебирал в памяти. Лицо Ори, надо думать, показалось ему знакомым, но...

— Не могу вспомнить, ты уж извини.

— Сын шаапуникского мелика Исраела...

— Неужели?— Арчил поразился и очень разволновался.— Яври, не так ли?

— Не забыл, благороднейший царь?

— Ну, идем, поговорим, послушаем друг друга. Вспомним!..— И, взяв под руку, он повел Ори через парадный вход.

Когда они наконец сели, Арчил устало вздохнул, посмотрел пристально в лицо Ори и тихо проговорил:

— Страдающие могут встретиться везде: страдание — сила движущая. Откуда и куда, сын мой?

Ори рассказал все, о чем мог поведать из событий своей жизни после их встречи в Кутаиси.

— Ну, а обо мне что сказать?— снова вздохнул Арчил.— Все, в общем, очень похоже. Мучений не меньше твоих...

И Арчил рассказал, как в том же тысяча шестьсот семьдесят девятом году турки напали на Имеретию и он, не сумев оказать сопротивление их огромным силам и не желая, чтобы варварски опустошили его страну, подался в горы Осетии, решив там переждать беду. Но враги шли по пятам, и он вынужден был перебраться в Астрахань, с намерением оттуда по Волге пройти в Москву, просить московского царя помочь ему очистить страну от турок, сломить силу внутренних врагов, особенно Ираклия-Назара-Али-хана, создать в Грузии единое государство и, как это сделал царь Теймураз, возглавить борьбу христианской Грузии против мусульманских завоевателей. Казалось, что все благоприятствовало тому, чтобы Россия начала поход против Турции. В то время алчная Турция довольно-таки обессилела. Греция, вся Азия, все гонимые турками страны связывали свои надежды с Россией. И надо сказать, больше, чем кому бы то ни было, это сулило выгоды самой России. Окончательное поражение турок позволило бы ей отрезать Крымское ханство от Турции и выйти к морю и на этих границах. А освобожденные Армения и Грузия стали бы ее надежными союзниками. Но Москва молчала. В ней царили сразу трое: Иван, Петр и Софья.

И когда наконец Софья забрала всю власть, Арчил попросил у нее разрешения прибыть в Москву, на переговоры. Перед тем он отправил туда своих сыновей Александра и Мамуку, которые пребывали там под опекой князя Василия Голицына...

Прожив три года в Москве, Арчил понял, что Россия в ближайшие времена не окажет помощи Грузии, и вместе с сыновьями вернулся на родину. У него был плач совместно с братом, царем Картли Георгием, объединенными силами самим освободить страну от персидского и турецкого владычества...

— И тут снова все провалилось,— Арчил не просто вздохнул, а как бы простонал и, помолчав, снова заговорил: — Персидский шах написал брату Георгию, потребовал к себе двух других братьев наших — Баграта с Леваном — и сына самого Георгия. Поклялся, что приглашение дружественное и что не задержит их долго. Георгий поверил. Едва братья и племянник доехали до Исфагана, как в Грузию уже вторгся царевич Николай из Персии с кзлбашами, с намерением прибрать к рукам страну и убить Георгия. Георгий не оказал сопротивления, боясь за сына и братьев, находившихся у шаха. Пришлось покинуть страну. И он прибыл в Имеретию, но и там его притесняли: с одной стороны турки, с другой — Николай. Тогда-то он и написал в Москву: «Помоги, брат, я один не могу устоять против них». Так я оказался на родине. Сыновей еще в пути оставил в горах, где в это время скрывался Георгий. Возглавив большой отряд патриотов, я отвоевал часть своего царства. Но из Персии подошли новые войска. Активизировалась и Турция, зашебурились в междоусобице и кое-кто из наших князей. Я вынужден был снова покинуть Имеретию. Пробраться к сыновьям не удалось, подал им весть, велел ехать в Москву, а сам ушел в горы...

Потом были новые муки. Одна за другой рушились все надежды. Умерла невестка Феодосия Ивановна, один за другим уходили друзья, имевшие власть в придворных кругах, а вскоре и вовсе Петр, взяв власть в свои руки, изолировал сестру Софью, казнил начальника стрелецких войск Федора Шаклова и сослал в дальние края Василия Голицына.

Все надо было начинать сначала... В растерянности Арчил попросил у Москвы денег, рассчитывая выкупить у турок Имеретию и навести порядок в разрушенной бесконечными войнами стране. Ответа ждал долго, но получил только весть о смерти сына — Мамуки. И в этом тяжком горе

он метался по Кавказу, появляясь то на Терекe, то в Кабарде, то где-нибудь в глухом уголке своей страны. И всюду его по пятам преследовали враги. В тысяча шестьсот девяносто третьем году, на пути к Тереку, он все же угодил в руки властителя Малой Кабарды Кулчука Килимбетова. Шамхал Бутай Тараков потребовал, чтобы Кулчук отдал ему Арчила, для выдачи шаху Ирана. Чудом выпутавшись из этого смертельного клубка, Арчил снова скрылся в горах. Скоро вокруг него собрались все недовольные ставленником турецкого султана в его стране, и он завладел Имеретией.

Укрепившись в ней, Арчил попросил Москву отправить к нему сына Александра. Однако Петр не смог этого сделать. Война, начатая Леопольдом против Испании за наследство, нарушила союз четырех стран, и Турция снова вышла из сдерживающего кольца и опять представляла большую угрозу. Петр был в тайных дипломатических сношениях с ней и готовился расширить свои границы на севере Балтики. К тому же в это время он присвоил Александру, прошедшему военную подготовку за границей, звание генерала и назначил начальником артиллерии.

А тут еще началась война со шведами. Александр получил приказ выступать из-под Нарвы. А турки тем временем снова напали на Имеретию, и он, Арчил, потерпев очередное поражение, подался по Волге в Москву, и опять же с надеждой, что русские победят шведов и уж тогда помогут ему раз и навсегда освободить Грузию от рабства...

— Ну, и, как ты знаешь, победы не получилось. И мой сын, последняя моя опора и наследник — Александр, попал в плен. — Арчил опустил веки. — И не было никакой надежды освободить его. Шведский король Карл потребовал в качестве выкупа очень много золота. А где его было взять?..

Ори с болью и сочувствием смотрел на старого царя и молчал. Теперь ему уже было невозможно говорить о том, о чем собирался поведать в первый миг чудесной встречи.

— На пути к спасению родины я безвозвратно потерял все, но саму родину потерять нельзя!.. — словно подбадривая Ори, сказал Арчил. — Думаю создать типографию для печатания книг, там, в Имеретии. А сам пока еще крепко держусь за Россию. Хотя надежд на нее сейчас мало.

— Не отчаивайся! — сказал Ори. — У меня есть письма от пфальцского курфюрста и от Леопольда к нашим меликам и к твоему брату Георгию. Они оба обещают, если Петр разрешит, и Георгий, и мелики армянские, придя к соглашению, обратятся к ним с просьбой — сразу после войны с Ис-

панией отправить войска на освобождение Грузии и Армении от персидского и турецкого владычества.

— Но я уверен, — проговорил Арчил, — что Россия и особенно царь Петр не позволят, чтобы какое-либо европейское государство имело власть в сопредельных южных христианских странах. Ведь идущие нам на помощь будут не бескорыстны?..

— Да, мудрейший царь! Но прежде всего мы должны дать понять Петру, что есть и другие заинтересованные страны, готовые нам помочь. Тогда, может, он ускорит то, что должен сделать? И потом еще другое: мы можем, пользуясь сложившимися обстоятельствами — помощью курфюрста и других союзных с ним стран, заключить соглашение о дружбе с Россией. Я, в общем-то, уверен, что Россия только с помощью наших двух стран сумеет оградить себя от персидской и турецкой опасности. А если мы будем ждать, пока она укрепит свои границы на северо-западе и лишь потом займется югом, наши народы придут в такой упадок, что уже трудно будет возродить в них национальный дух... Надо сделать все возможное, мой царь, чтобы наши силы тоже объединились.

— Твои речи правильны, сын мой, но сейчас я ничего тебе не могу обещать. В моих руках ничего нет. Жду вестей, надеюсь снова вернуться на родину. Если смогу наконец попасть туда и укрепиться в своем царстве, я согласен с твоим планом — мы будем вместе. Мне всегда виделось, что наши страны — как два груза на чашах весов: сними один — упадет другой...

Они еще долго беседовали, пока царица Кетеван не пригласила их к обеду. И хотя и Кетеван, и дочь Дариджан были печальны из-за пленения Александра, но старались не перекладывать своего горя на гостя. Обед был вкусным — грузинским. Вино тоже было грузинским. В заключение Арчил читал свои новые стихи.

4

После долгих приготовлений началось новое наступление русских против шведов, которое проходило успешно. Шведы шаг за шагом отступали, оставляя эту землю. Петр самолично направился в Архангельск наблюдать за укреплением берега Белого моря, откуда ждал усиленного нападения шведов. Перед отъездом он через канцлера Федора Голицына сообщил Ори, что внимательно ознакомился со

всеми его письмами, с планами и прошениями армянских князей, что все это представило для него большой интерес и, как только успешно закончится шведская война, он обещает обязательно сделать все, что намечено и о чем просят армянские князья. Сказал и то, что, как вернется, сразу примет Ори. О том, что Ори еще раньше просил принять его в Москве на военную службу и, раз уж дела его родины откладываются, позволить ему участвовать в шведской войне, царь сообщил, чтобы он и с этим повременил до его возвращения из Архангельска...

Ори и архимандрит Минас, получив эти обнадеживающие вести, прежде всего поспешили передать Петру свою благодарность. Затем Ори отправил переводчика Ореховича к Иоганну-Вильгельму с докладом о том, как Москва приняла его, как благословенный великий русский царь внял их плану и обещал помощь.

Спустя некоторое время Ори послал и в Армению надежного человека, по происхождению армянина, но звали его Мирон Василев — он целых тридцать лет служил в русской армии и получил чин капитана, отсюда и имя. Будучи тем не менее патриотом своей праматери-родины, Мирон с готовностью откликнулся на пресьбу Ори. И вот отправился в Армению, к мелику Сафразу и ко всем другим армянам, с ободряющими вестями.

И сейчас, сидя друг против друга, Ори и Минас читали ответное письмо Иоганна-Вильгельма. Читал Ори. Курфюрст писал: «Молю бога, чтобы он благословил ваши стремления, и я почувствую себя счастливым, если чем-нибудь смогу помочь вашему великому делу. Но мы пока воюем против Франции, Испании и их союзников... Молитесь богу, чтобы война наша завершилась победой, и тогда я приложу все силы, чтобы помочь вам и доказать, сколь искренни мои заверения».

Ори дочитал и глянул в окно. Небо было облачное. Минас тоже посмотрел на небо, на тучи. В разрывах кое-где проклевывались звезды, улыбались в свой холодный просвет, но набегали новые тучи и прятали улыбку.

— Как долго будут длиться эти чужие войны против нас? — сказал Ори.

— Почему против нас? — спросил архимандрит.

— Ну, а как иначе? Если они помешали нашему делу, то разве такие войны не против нас?

Архимандрит не ответил.

Молчали долго. Небо за окном все чернело, и, как из глаз горящей матери, две капли дождя, похожие на две слезинки, упали на подоконник. И сразу поднялся такой ветер, что вмиг очистил небо от туч. Только где-то на горизонте метнулась бессильная молния.

— Хвала тебе, господи, и отврати зло от сотворенного тобой! — пробормотал архимандрит, глядя на кусок черной и недоброй тучи, задержавшейся в окне. — Неужели господь хочет нам что-то сказать тем, что навесил этот зловещий клочок тучи над нашими окнами?..

Ори горько улыбнулся и сказал:

— Может, в этот момент царь Имеретии Арчил подумал о том же, сидя перед своим окном, у себя дома? Ведь обездоленные одинаково во всем видят беду для себя.

— Волею божьей это так. Но, чтобы жить, надо надеяться и верить. Мне ведомы все страдания благородного Арчила. Неужели и он сейчас здесь?

— Вчера встретил его случайно, и мы долго беседовали. Велико его горе. Из трех сыновей остался жив один, и тот в плену у шведа. Но таков уж, видно, Арчил. Он и теперь весь в заботах о Грузии. Верит, что война со шведами кончится скоро и русские тогда вместе с грузинами и армянами изгонят наших врагов и впредь будут с нами оберегать южные границы. Кроме того, он еще сочиняет стихи и старается создать в Москве грузинскую типографию, на что уже есть указ Петра...

— Любовь к родине сильнее всего. Ты не ознакомил Арчила со своими планами?

— Мы с ним о многом говорили. У него дело хуже. Нет опоры внутри страны. И он и брат его обобраны врагом. Но народ душой с ними. Царь Арчил утверждает, что, если Петр разрешит Иоганну-Вильгельму провести войска через Россию, он сразу же может составить грузинские полки и присоединиться к этому войску.

— А как он считает, даст Петр дорогу иностранным войскам?

— Пока идет испанская война, какие там иностранные войска? — уклонился от прямого ответа Ори. — Русские скорее могут закончить свою кампанию со шведами, чем Леопольд с Испанией.

— И что же будем делать? Сидеть и ждать?

— Я отправлюсь в Персию как представитель папы, просить, чтобы не преследовали христиан, и, прикрываясь этим, постараюсь поднять там армян, подготовить их к бу-

душим войнам. А ты останешься здесь, в Москве, чтобы своим присутствием не давать забыть про нас...

Настало время дать отдых душе и телу в ночном сне. Они поднялись. Архимандрит снова поглядел на небо, на облако и с мольбой возгласил:

— Господь наш всемогущий, всевидящий и чудотворный, обрати свой благословенный взгляд на чада свои, услышь наши молитвы! Убереги нас, дай исполниться делу нашему и благослови! Аминь!..

Утро принесло им неожиданную весть, сообщили, что вернувшийся государь просит армянских послов пожаловать к нему.

Царя Петра Алексеевича заинтересовала личность Исраела Ори, предъявленные им записки, что вел он в течение двух лет, и особенно план действий (это была та самая программа, что Ори представил и Иоганну-Вильгельму, лишь отчасти подвергнутая изменениям). Прочтя и осмыслив их суть, Петр был поражен эрудицией Исраела Ори, его умом и тактом. И особенно его военными познаниями. Все это подтверждалось сведениями, собранными о нем за прошедшее время...

Все эти записки и прошение меликов Армении Петр сложил на одном конце стола и вынул из пачки только письмо Иоганна-Вильгельма. Федор Голицын, перед тем как явиться ся армянам, сказал царю:

— Ведомо ли вашему величеству, что Арчил Вахтангович лично знает Ори и был близок с его отцом — князем, или, как они сами называют, меликом Исраелом? Он высказал много хорошего об Ори и о его предках.

— Это подтверждают и армянские князья.

— Важно то, что у них одни цели и стремления, это поможет и в наших делах на юге.

— Ладно, посмотрим! — и Петр шумно выдохнул.

И вот теперь Петр ждал! Закинув ногу на ногу, сложив на груди руки, он искоса поглядывал на дверь, когда вошел Ори и с ним архимандрит Минас. Надо сказать, что они отнюдь не производили впечатления просителей.

А молодой царь на первый взгляд показался Ори совсем не таким, как он представлял его себе. Надменный, хмурый. Ори, однако, приветствовал его с почтением, без слов — по армянскому обычаю. Царь непроизвольно протянул ему руку, но не отвел круглых, холодных глаз от глаз Ори. Может, потому, что увидел и в нем человека недюжинной силы.

Подошел так и архимандрит Минас, в черном клобуке, черноглазый, чернобородый, и на всей этой черноте — простой равносторонний серебряный крест.

Слегка склонив голову, он сказал:

— Да пребудет незыблемым трон христианского царя! Благослови господь твою славу и да пошли тебе еще большего, чтобы был ты опорой всем единоверным государствам, с твоим царством граничащим, страдающим и поруганным. Прими низкий поклон и благословение от многострадального, измученного народа нашего, от паствы святой нашей церкви! Аминь!

Все это прозвучало под сводами дворца по-армянски. Царю понравилась музыка чужой речи. Это было видно по улыбке. Любезно предложив послам сесть, он еще долго переводил взгляд с Ори на Минаса и с Минаса на Ори. Но вот выпрямился, взялся за золоченые подлокотники трона и громко сказал:

— Так, слушаю вас!..

— Я отчасти уже изложил вашему величеству на бумаге наши цели и просьбы!.. — начал Ори, хотя сказать ему предстояло много больше, чем было написано в его письмах.

— И я все прочитал! — сказал Петр.

Ори ждал, как царь отзовется о прочитанном, но, видя, что тот молчит, заговорил сам.

— Великий царь великой Руси! — сказал он. — Народ наш задыхается. Отобрали почти все земли, а народ без земли никогда еще не был свободным. Значит, считай, что у нас отобрали и свободу. Та малая горсть земли, что еще остается у армян, дорога нам больше жизни, она дает ощущение силы, и армяне готовы умереть за нее. То, что я пал на колени перед Иоганном-Вильгельмом, перед кайзером Австрии Леопольдом, перед папой римским и великим герцогом Тосканы и теперь вот перед вашим величеством, — это лишь затем, чтобы мой народ не был брошен на колени...

Левая бровь у Петра вздернулась, изогнулась дугой, сверкнули белые зубы, добрая улыбка скользнула по лицу и спряталась в уголках карих глаз. Это была улыбка человека, уверенного в своих силах, великодушно прощающего дерзость своим подданным. Но именно потому, что Ори знал об искренности и открытости Петра, он продолжал свою речь с тем же спокойствием, прямотушием и уверенностью:

— На глазах у христианских народов и государей уничтожают единоверный народ, попирают его веру и права, и

никто не протягивает ему руку помощи. Бессердечность и корысть безграничны. По ятно, что армяне ищут не нового порабитителя, а истинной помощи, за что готовы платить вечной приверженностью и благодарностью.

Петр слушал с явным поощрением во взгляде. Смелость суждений Ори ему определено была по душе...

— Ваше величество,— продолжал Ори,— армянин жилет и ловок, он и упадет, и поднимется, но никогда не сгинет. Он, как всякий, кому свойственно строить и созидать, добр душой, но способен и зубами защитить и себя и содеянное им. Помогите нам, государь, во имя веры праведной и человеколюбия. И мы не останемся в долгу у России, будем на страже ее южных границ, заслоном встанем. Верь, государь, в Армению и Грузию, и ты не ошибешься в них, в их приверженности и преданности.

— Тем количеством войск, какое ты называл в своих писаниях, на юге не повоюешь. Не надо забывать, что там Турция.

Ори тут же извлек карту Армении и разложил ее перед царем.

— Забыть о Турции, государь, я никак не мог. Став свидетельницей поражения Персии, она конечно же не останется в стороне, особенно пока Европа занята войнами. Но я убежден, что против объединенных грузино-армянских сил, а с ними и великой Руси Турция будет бессильна. Вот она,— он показал на карте границы владений Турции в Армении.— Я уже показал, как легко мы можем отбить Ереванскую крепость. Ну, а восточнее — горы. В этих горах минимальными силами можно одолеть немало вражьего войска. Двигаться мы будем в трех направлениях и остановимся вот здесь: с одной стороны горы, с другой — Каспийское море. Они-то и станут нашей границей...

Петр долго еще не отводил взгляда от карты. Но вот он встал с места, зашагал вдоль большого зала, вернулся и, опять подсев к столу, начал изучать карту.

Архимандриту Минасу показалось, что Петр уже склонен протянуть им руку помощи, что молчание его говорит об этом. Воодушевившись, святой отец сказал:

— Благолюбивый царь, армяне ждут своего спасения только от Руси, от московского дома. Они верят и надеются.

Петр, который внимательно слушал армянскую речь архимандрита, обратил взгляд на Ори. Тот перевел все на не-

мецкий. Царь снова прошел в конец зала, вернулся и заговорил:

— Я понимаю, в каком положении пребывают армяне. Понимаю и то, как велика была бы роль армян в борьбе за южные границы моего царства, но тем не менее мы сейчас не имеем никакой возможности заниматься армянами. Я не вправе дробить мои силы тогда, как мы воюем со шведами. Обещаю, что вы дождетесь меня на юге, будьте в этом более чем уверены. Я приду туда, даже если Иоганн-Вильгельм, кайзер Леопольд или какой-либо другой христианский император уже успеет что-то для вас сделать.

На мгновение горячая кровь заиграла в жилах горца Ори. Петра, выходит, тоже не трогает, что именно сейчас гибнет древний армянский народ. Он, видите ли, придет на юг, когда ему это будет удобно. Может, тогда, когда армяне с помощью другого народа обретут самостоятельность... Но внешне Ори не выдал себя ничем. Однако пронизательный царь почувствовал перемену. Попытался даже смягчить его настроение.

— Вам не нравятся мои слова? Я понимаю, вы не можете ждать...

Ори шумно вздохнул.

— Ваше величество так или иначе заинтересовано в южных границах... А нам нужна помощь. Что касается ожидания — потерпим. У нас нет другого выхода, от веры своей нам отступить нельзя. Будем надеяться и ждать. Армянин говорит: «Утопающий и за пену хватается».

Ори говорил резко, но речь его понравилась императору. Поднявшись на носки, Петр пригладил усы и взял со стола письмо Иоганна-Вильгельма.

— Вот что пишет мне ваш друг курфюрст: «Правители и князья Армении, желая выйти из-под персидского ига, через Исрасла Ори из княжеского рода Прошянов обратились к нам за помощью, прося, чтобы мы послали в их страну войско, которое, соединившись с армянскими силами, помогло бы им освободить Армению. Желая уважить эту просьбу армян, я прошу потрудиться и проверить, насколько близко к истине и к удачному исходу это намерение армян. Если Ваше величество сочтет их просьбу выполнимой и разрешит мне провести войска через свою страну, я дам свое согласие армянам».

Петр дочитал письмо, положил его на стол.

Исраел Ори попытался было заговорить, но Петр прервал его:

— Я разрешаю курфюрсту Пфальца, и кайзеру Леопольду тоже, провести через мою страну три-четыре полка. Могу хоть сейчас повелеть подготовить все нужные бумаги и дать вам их в руки.

Царь явно хитрил, понимая, что по причине войны с Испанией сейчас никто и никуда никакого войска направлять не станет.

— Я писал вашему величеству и говорил, что мы отказываемся от помощи этих стран, поняв, что помощь их будет не бескорыстна. Иоганн-Вильгельм вожделеет стать царем в Стране Армянской. А мы мечтаем о возрождении истинно армянского трона и государства. Хотим быть тем, чем были, и надеемся, желание наше достаточно правомерно?..

— Безусловно, но как вы собираетесь это осуществить?

— Ваше величество позволит мне сказать как?..

— Говори доподлинно и чистосердечно.

— Вы, государь, понимаете, что сейчас ни курфюрст, ни его союзники не могут дать нам войска. Но вы напишите, что разрешаете им провести эти войска через свою страну. И Иоганн-Вильгельм и кайзер Леопольд будут вынуждены отказать нам, мотивируя тем, что идет война. И тогда я попрошу отпустить со мной в Москву несколько ученых математиков и военных специалистов. С этими людьми отправлюсь отсюда в Персию в качестве посла вашего величества, представлюсь шаху как военный, прибывший купить лошадей для войска российского. В Персии лошадей много, торговля ими ведется издавна, и, я уверен, меня примут как желанного посредника и купца. Там я надеюсь связаться с армянами, согнанными туда еще шахом Аббасом, опустошившим Нахичеван, и вернусь с достаточно важными результатами, которые потом сыграют свою роль в будущих южных походах вашего величества. К тому времени милостью божьей и силой своего гения вы, государь, может, уже и завершите северный поход...

Вжавшись в оконное стекло, назойливо жужжала оса, и жужжание ее долго ничем не нарушалось.

— Ценю твой ум!— эти слова Петр проговорил едва слышно и сам все еще хитро смотрел в одну точку. Но вот, обернувшись к Ори, он сказал:— В одном из писем ты просился ко мне в полковники. Помню, объяснял, зачем тебе это надобно.— Петр поискал, вынул из бумаг записки Ори, полистал, снова положил их на стол и спросил:— Военному искусству обучен?

— Окончил военную школу в Париже, участвовал в англо-французской войне...

— Я бы сию же минуту произвел тебя в генерал-фельдцейхмейстеры и с уверенностью послал бы на шведов. И не потому, что Парижская военная школа меня впечатляет или там опыт войны с англичанами, а вот это...— Петр ударил ладонью по запискам Ори.— Но так как генеральское звание может только помешать в той тайной и мудрой войне, которую ты собираешься вести без выстрелов, ограничусь тем, что сегодня же подпишу указ о присвоении тебе чина полковника. А когда вернешься из Европы, отдам все необходимые распоряжения, чтобы обеспечили твою миссию в Персию, помогли провести ее удачно.

— Благодарю!— сказал Ори, прижимая руку к груди.

— Ты тут еще писал о том, что хочешь провезти оружие через мою страну без пошлины?..

— Да, ваше величество. Есть у меня такое намерение: хочу после Персии вооружить армянские полки и явиться с одним из них к вашему величеству, показать вам, что у нас тоже есть своя сила.

Петр был поражен: откуда и на какие средства этот человек добудет столько оружия, чтобы полки вооружить?.. Однако он не дал себе снизойти до любопытства и никаких вопросов на этот счет не задал, только сказал:

— Что ж, и это тебе разрешается. К тому же будет велено, чтобы, пока идет время, святому отцу были созданы все условия.

— Благословляю и молю господа бога, чтобы незыблем был твой трон и неприкосновенна корона!— проговорил архимандрит Минас.— А что до условий, мне ничего не надо. Нельзя мне жить лучше того, как живет каждый из моей паствы. И просить ни о чем не стану, кроме как о спасении нашего многострадального народа...

Петр слушал его с величайшим вниманием. Царю нравились и голос, и осанка, и весь лик святого отца...

Тем закончилась первая встреча армянских делегатов с русским царем.

Камни брусчатки Кремля глухо постукивали под неторопливыми шагами Ори и Минаса. Шли они мимо Благовещенского и Архангельского соборов, мимо колокольни Ивана Великого, мимо дворцов и палат. Шагали молча, но молчание это было выразительнее иных речей. Оба словно бы слышали друг друга. Выйдя из Боровицких ворот, они пошли по траве, и шаги приглохли.

— Если бы Московский Кремль так же отзывался на наши беды, как и на наши шаги... — сказал Минас. — У Петра также свои заботы...

— Наша беда — наша боль. Для русского мы еще представляем интерес, а что до европейцев, на них надежды нет... Нам бы лучше с Россией...

— Эх, лучше не думать. Бог велик!

— И мы не меньше бога!

— Не говори так, Ори, не гневи всевышнего!

— А что же он о нас-то не думает? И нас и язык наш под такой угрозой оставляет?..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Человек в форме офицера русской армии, светловолосый, но с чертами лица явно не русскими, несмотря на солидный возраст — похоже, ему лет за сорок, — как искусный наездник, с ходу соскочил с коня на площади в Ангехакоте. Породистый конь тут же ударил копытом рядом с хозяином, заржал, вскинув голову, и отфыркнулся. Вокруг было пусто, только куры копошились в дынных и арбузных корках.

Стояла поздняя осень. Давно окончились полевые работы. И потому необычная тишь и пустынность казались странными. Только по ту сторону ущелья перезванивались колокола, и металлическая скорбь их проносилась над осенней безмолвностью Воротана, над пустыми домами Ангехакота. Незнакомцу, быть может, и не показался бы грустным звон этих колоколов, если бы площадь села, как всюду в это время года, наполнилась бы оживленной молодежью.

Прямо на площади, недалеко от старой ивы, скрипнула дверь дома с плоской крышей, и худая, высокая девица вышла на ступени каменной лестницы, ведущей во двор. Приложив козырьком руку к глазам, она посмотрела туда, откуда донеслось ржание коня. Солнце ушло на камень ее перстенька, на пряжку серебряного пояса, туго обтягивающего стройную талию, и, расколотившись, загорелось белыми, мелкими лучиками в серебряных украшениях ее наряда.

Напоенный ароматами осени ветер дул не переставая, и

казалось, что вместе с листьями ивы шелестят и лучи на серебре.

Увидев коня с роскошной сбруей, девушка было кинулась обратно в дом, но передумала и осталась стоять. Всадник — явно не кзлбаш и не турок. Но она тем не менее удивилась, когда незнакомец спросил ее по-армянски:

— Сестричка, где тут дом мелника Сафраза?

Девушка показала рукой и тут же ладонью хлопнула себя по бедру, на что в ответ возле нее тотчас вырос мальчик лет восьми-девяти. Девушка что-то шепнула ему на ухо, и мальчик, жадно разглядывавший диковинного незнакомца, сказал:

— Мелник умер. Вон его хоронят.

А девушка с грустью покачала головой.

2

У гандзасарского католикоса Симона участились головокружения и приступы удушья. Он уже не выдерживал кровопускания, а знахарь все ставил пиявки. И тогда посоветовали на время спуститься с высоты Гандзасара, где находился монастырь, в долину реки Хачен, пожить в деревне, в Ванке или в Кусапате. Католикос счел для себя более приемлемым и удобным Чардахлу, где жила его сестра. И переселился туда.

Мирон Василев, который прибыл из Астрахани в Шемаху, оттуда в Гандзак и собирался уже проследовать в Гандзасар, вдруг узнал, что католикос Симон временно находится в Чардахлу. Это очень его обрадовало. Он и сам был родом из Чардахлу, и вот выдался случай через тридцать лет побывать в родном селе. На другой день, после полудня, он направил коня в сторону Шамхорских гор и доехал с наступлением темноты.

Осень есть осень. Запахи дымов в очагах смешались с запахами бродившего в карасах молодого вина, набитых в погребя яблок и груш, прелой соломы на пашнях. Мирон остановил коня на дороге в село и с чувством счастья глубоко вдохнул все, чем дышало село, о котором мечталось более тридцати лет. Дальше он ехал медленно и все смотрел, смотрел на едва виднеющиеся в темноте горы, дома, видел все, будто солнцем облитое. Слева был холм, на холме — кладбище. Там похоронили отца, и с того дня все началось... Ему тогда было пятнадцать лет. Отец его, Васил, на коне подъехал к кзлбашу хана Гандзака, явившемуся за тем, чтобы увезти в ханский гарем дочь священника Марука Вард. Все село

собралось на церковном дворе. Женщины и девушки плакали, мужчины были жалки в своей беспомощности и молчаливы. Вард — совсем дитя — не знала, что ее ждет в Гандзаке. Ей было страшно уже оттого, что чужой человек с рыжей бородой и в чалме уводил ее из дома родителей куда-то в чужую сторону.

Васил подъехал и, к удивлению всех, дико заорал на кзлбаша, который стоял, взяв за узду свою лошадь:

— Убирайся отсюда, собака!..

— Если вы своими руками не вырвете язык этому человеку, я уйду отсюда, но уже завтра вечером ни из одного очага в Чардахлу не поднимется дым, — предупредил кзлбаш.

— Уйди, Васил! Не дай разрушить наши дома! Пожалей! — взмолились люди.

Но Васил будто не слышал их.

— Эй, — закричал он, — тебе говорю! Плевал я на твоего хана. Я, Васил из Чардахлу! Слышишь?..

— Это какому же хану ты собрался плевать в лицо своей поганой слюной? — сквозь щербатые зубы процедил кзлбаш и выхватил длинную кривую саблю. Но не успел он размахнуться ею, как Васил, изловчившись, ударил своим коротким мечом по шее кзлбаша. Село заголосило, наполнилось воплями. Все понимали, что им пришел конец.

Васил соскочил с коня и обратился к народу:

— Что вы стонете, сельчане, не понимаете разве, что, коли не прольется сегодня кровь, завтра у вас из рук вырвут ваших жен? Да и не лучше ли умереть, чем быть обесчещенными?

— Умереть всем селом? — спросил кто-то из толпы.

— Ну зачем же? Хан все одно меня прикончит. Так я уж лучше сам себя порешу, а вы скажете, что сделали это всем селом, он вас и не тронет, но будет помнить, что не все ему легко дается. — И, перекрестившись, Васил ударил мечом себя в грудь.

Кзлбаша гандзакского хана, явившись на расправу и узнав, что жители Чардахлу сами уже расправились с человеком, замахнувшимся на права шаха Султан-Гусейна, сельчан не тронули, только увели в гарем дочь отца Марука Вард и убили жену Василя. А маленький Мирон, никем не замеченный, убежал из села. Вначале все решили, что кзлбаша и его убили или увели... Только через несколько лет дошел слух, что он жив и служит в войске московского царя. «Большим человеком» стал, как говорили сельчане...

И вот Мирон Василев в родном селе. Вспомнилось все. Он

остановил коня там, где дорога сворачивала к их дому. Живет ли еще в нем сестра отца? Как поступить — погнать коня к дому или сначала заехать к католику Симону? С одной стороны, чувство долга, с другой — тридцатилетняя тоска по родному дому, по деревьям во дворе, посаженным еще отцом, по всему, что связано с матерью.

— Кого ищешь? — спросил прохожий.

— Где тут живет святейший?

— Ты проехал. Поезжай за мной.

Мирон последовал за крестьянином и спросил вдруг:

— Слышал про Багунц Василя?

— Как это не слышал? — сказал крестьянин, как будто обидевшись, что ему задают такой вопрос. — А ты откуда такой, что про Василя спрашиваешь? Уже тридцать лет, как все это было...

— Из Москвы я. Слышал, что был в Чардахлу такой храбрый человек.

Крестьянин шумно вздохнул.

— Ты русский, братец?

— Армянин я.

— Вах! Выходит, о Василе и в Москве знают? Он-то был настоящий армянин. Что ты или я? Какие мы армяне. А он! За честь армянина Васил убил себя. Не задумавшись. Словно армянин за армянина так и должен умирать. А если бы он себя не убил, ничего бы сейчас не было, ни села Чардахлу, ни нас, ни наших детей. А кзлбаша не убил бы, так в Чардахлу, не осталось бы ни одной молодой девушки. Правда, поповскую Вард все равно увели, и жену Василя убили, и сын его сгинул, но этим все и кончилось. Кзлбаша стали бояться нас. Говорю — нас, потому что в Чардахлу есть много таких людей, как Васил.

— Значит, сын его так и пропал?

— Слышали, что в России он. Получили однажды письмо от него и ему написали. На том все и кончилось. А святейший вот здесь живет... Матушка Манушак, о-эй, матушка Манушак!..

Манушак показалась на низком балконе.

— Вас спрашивают... Ну, спокойной ночи, братец. Со здоровьем у святейшего худо, тебе в его доме будет не очень удобно. Я живу через два дома. Милости прошу. Придешь, поговорим о нашем Чардахлу, о Москве. Места у меня много, отдохнешь.

— Я обязательно приду к тебе, а пока доброй ночи.

— Через два дома! — повторил крестьянин и ушел.

Католикос Симон полулежал на низкой тахте. Он очень тяжело дышал. Широкие грузиные плечи обвисли, большие волосатые руки тяжело лежали на одеяле. Мирон Василев опустился на колени перед постелью больного, взял его холодную правую руку в свою ладонь, приложился губами и, осторожно опустив на одеяло, спросил, как себя чувствует святейший католикос.

— Хвала всемогущему богу, вот уже четвертый день, как дышу посвободнее и, милостью добрых ангелов, головокружений не стало. Аппетит тоже получше, недавно съел целую курицу. — Он улыбнулся. — Потихоньку, кажется, выздоравливаю. А ты кто будешь и откуда, сын мой?

— Из Москвы я прибыл, вручить вашему святейшеству это письмо и доставить обратно ответ, — сказал Мирон Василев и подал католикосу пакет.

Католикос читал долго и медленно. Время от времени отпивал глоток мацуна. Лицо его ничего не говорило. Кончив чтение, он с той же медлительностью снова сложил письмо, сунул его под подушку и сказал:

— Архимандрит Минас в письме сообщает о трудностях, которые испытывает Ори. Трудности бывают разные, одни порождают дело, другие — ничего, кроме новых трудностей. Кому нужна бесплодная суета?.. А тебе, сын мой, снова надо вернуться в Москву?

— Я приехал только для того, чтобы вручить это письмо и доставить ответ.

— Велики твои старания, да благословит тебя господь. Где еще ты должен быть?

— В Ангехакоте, у мелика Сафраза, и в Ереване...

— Пока побываешь в тех местах, я выздоровею и буду в Гандзасаре. К тому времени и ответ будет готов.

Мирон приложился к руке святейшего.

— У кого ты остановился в Чардахлу? — поинтересовался католикос, часто моргая ресницами.

— Через два дома отсюда.

— Это дом Багунцев, — объяснила сестра католикоса, принеся для гостя свежего, холодного мацуна и отборных яблок. — Старший сын Мариам привел его к тебе...

Мирон вздрогнул. Выходит, он должен пойти в свой дом и пригласившим его был двоюродный брат?..

А католикос, прикрыв глаза, как бы в полудреме, проговорил:

— Благословен тот очаг, в достойный дом ты попал! — И он запыхтел сквозь усы и бороду, тяжело, но ровно. Уснул...

Мирон Василев бесшумно вышел из опочивальни католи-
коса.

...Тетушка Мариам подкинула хворосту в очаг и шла к
дому за солью, когда вдруг появился Мирон и обнял ее, ма-
ленькую, какую-то ужавшуюся за годы. Приник лицом к ее
пахнущей дымом одежде, и долго они так стояли: Мариам
тоже обняла светловолосую голову и кропила слезами, хотя не
знала, кто это. Достаточно ей было и того, что армянин, —
значит, стоит материнских ее ласк. В сердце женщины, да
еще старой, всегда есть сострадание к чужой боли. Озадачен-
ный сын ее курил трубку и ждал, не понимая, что это с челове-
ком из Москвы, который слышал историю его дяди...

А гость вдруг сказал:

— Я сын Василя — Мирон...

Как гром разразился. В доме все смешалось.

— Сердце подсказывало мне, что это он: единственный
сын моего единственного брата! — повторяла Мариам и все
целовала, обливая слезами, такого странного в этой чужой
одежде и такого родного ей человека...

Долго они сидели, долго разговаривали, и Погос и мать
его всё с удивлением смотрели на Мирона, от которого толь-
ко раз за целых тридцать лет получили письмо. И им все не
верилось, что это в самом деле их Мирон. Как же он смог,
пятнадцатилетний, босой, полураздетый мальчонка, выбра-
ться из полной опасностей и невзгод страны, дойти до далекой
России и еще и дослужиться там до эдаких чинов?..

— Умереть мне за тебя, за ум твой и способности, Мирон,
дорогой! Если ты так близок к русским и у тебя такой чин,
отчего допустил, что мы тут так пропадаем? — причитала
Мариам, будто все только и зависело от Мирона. — Где это
слыхано: на воду — налог, на землю — налог, на дорогу —
налог, на соль — налог, на дым, на голову — все налог? Все
отдавай хану, беку, кзлбашу, мелику.

— Так, брат! — подтвердил Погос. — Верно мать говорит.
Неужто и на русских нам нет надежды?

— Есть, как же нет. Два великих армянина мучаются,
чтобы испросить помощи у русского царя. Петр обещает...

Утром Мирон проснулся рано, чтобы успеть побродить
по всем местам, по которым истосковался за годы. И так целую
неделю он вставал чуть свет и тем не менее повидал далеко
не все, что хотелось. Потому, видно, когда Погос провожал
его в Ангехакот, он в пути вдруг спросил:

— Погос, кто, по-твоему, счастливый?

Погос подумал и не нашел ответа, только плечами пожал.

— Тот, кто не знал чужбины, кто рождается, живет и умирает на своей родной земле! — ответил сам себе Мирон.

— Брат, а кто, по-твоему, самый несчастный в мире? Теперь задумался Мирон, а Погос, не дожидаясь ответа, сказал:

— Тот, кто в своей стране живет как чужой! — Чуть помолчал и добавил: — Скажи, Мирон, за что мы, армяне, так несчастны?

— За то, наверно, что праведны и справедливы. А праведны потому, что нас мало...

— Ты прав, Мирон! Я тебя понимаю! — Погос тяжело вздохнул. И река Загам, в долину которой они вышли, тоже вздохнула.

Здесь, на берегу, предстояло расстаться. Погосу надо было возвращаться в родное село, чтобы жить там как чужому, а Мирон Василев снова уезжал на чужбину.

3

Мирон Василев стоял на площади в Ангехакоте и вслушивался в звон скорбящих по мелику Сафразу колоколов. А в кармане лежало письмо, адресованное умершему. Мирон привязал коня на площади и сам пошел к церкви.

Гроб с телом мелика Сафраза только что вынесли из церкви, шестеро юношей несли его на плечах. Все они были с мечами, с пистолетами за поясом. Впереди черноволосый и сам весь в черном, с головы до пят, юноша вел за узду белоснежного меликова коня, поверх седла у которого была наброшена черная попона. По обе стороны гроба двое, тоже в черном, несли флаги: один — меликский, красный, с орлом на нем, второй церковный, перекрещенный, с изображением распятия и ангела.

За гробом шли священники всех приходов меликств, в золоченых пилонах и клобуках, окутанные дымом курящегося ладана. За ними следовали сыновья мелика, племянники и все родственники. Съехались все мелики, сошелся и весь народ. Похоронная процессия медленно поднималась по горной дороге, ведущей к кладбищу, и не было ей конца.

Осенне-желтое солнце скользило по лезвию меча, с холодностью стали угасавшего у скрещенных рук своего прославленного хозяина.

Мирон Василев своим появлением привлек всеобщее внимание. Сняв шапку, он, как истинный военный, стал на-

вытяжку и стоял до тех пор, пока не пронесли перед ним почитаемого покойника и не прошла вся похоронная процессия...

Кладбище наполнилось разношерстной толпой. И все больше люди измученные, усталые, в лохмотьях и вооруженные. Кто чем. От лука и стрел до мечей и ружей, до копий и топоров, даже кое-кто с вилами. Оказалось, что это все люди из беглых армян-повстанцев, скитающихся в горах Одзасара, Кафана, в Воротнадзоре и прочих местах. Прослышав о смерти мелика-патриота, они пришли проститься с ним. И когда на кладбище внесли гроб с телом Сафразы, все вскинули оружие и прокричали:

— Смерть или свободная Армения!..

И сразу в воздухе загремели выстрелы, и к дыму ладына примешался дым пороха, зазвенели мечи, топоры и вилы. А когда тело мелика было предано земле, люди опустили оружие к могиле и возгласили:

— Клянемся, что будем жить как армяне!

Потом люди начали расходиться.

— Кто ты, братец, что, будучи незнакомым, почтил память нашего покойного мелика? — спросили вдруг Мирона Василева.

— Я офицер армии русского царя, зовут меня Мирон Василев. И имя мелика Сафразы мне знакомо!.. Его знают в России как благородного князя и славного воина. Когда я отпирывался на Кавказ, свидеться с родственниками, царь Имеретии Арчил, который сейчас тоже в Москве, сказал мне, чтобы я, если увижу мелика Сафразы и мелика Яври, передал бы им его поклон и добрые пожелания! — на ходу придумал Мирон и продолжал: — Я прошел долгий путь и прибыл сегодня в Ангехакот, чтобы лично встретиться с меликом и исполнить просьбу престарелого царя, и вот...

— Благодарим тебя за твою беспокойство и грузинского царя за его добрую память, — выступив вперед, сказал человек с лихо закрученными усами и крутым лбом. Он протянул Мирону Василеву руку: — Я мелик Яври.

Мирон ответил на рукопожатие и сказал:

— Сожалею, что в тяжкий день повстречались.

— Бывает и так, ничего не поделаешь. Пожелаем удачи тому, ради чего встретились...

— Пожелаем удачи, — повторил Мирон Василев.

Вошли в дом мелика Сафразы помянуть праведную душу усопшего чаркой вина. Столы были накрыты во дворе, так как ночь стояла лунная, светлая. Мелики задавали Мирону осто-

рожные вопросы: что поделывает царь Петр, что вообще в России?

Мирон в свою очередь тоже отвечал не бездумно.

После поминок, когда все прибывшие издалека собрались в путь, мелик Мелкон воспротивился этому.

— Поздно уже, — сказал он, — не испытывайте судьбу, времена тревожные, все может случиться. Брат Мирон, и ты будь моим гостем! — закончил мелик.

Мелики Сисакана, разобрав по себе приезжих, разошлись и разъехались по домам.

Поместье мелика Мелкона — Брнакот — было недалеко от Ангехакота. Тропинка к нему из ущелья была узка, и потому лошади шли гуськом, по порядку старшинства седоков. Впереди ехал мелик Мелкон, как хозяин округи. В качестве почетного гостя из чужедальней страны за ним следовал Мирон Василев. За Мироном держался мелик Дизака Еган. Затем Григор Гасан-Джалалян, Есаи и другие мелики. Растянувшись на узкой тропе, они не могли и словом перекинуться. Потому в тишине лунной ночи ясно и гулко отдавался топот копыт... Казалось, целая армия движется по ущелью Воротана. Создавая иллюзию, звуки эти наполняли сердца меликов счастливой надеждой...

Ехали полем, когда мелик Яври сказал:

— Брат Мирон, если кто-то внушил тебе доверие ко мне, то прими и всех этих меликов, верь и им, как мне. И скажи наконец, кто ты есть и с чем прибыл?

— Я вестник от Исаела Ори.

Все как по чьему-то знаку остановили коней и восторженно глянули на Мирона.

— Он дал мне письмо к мелику Сафразу, но при этом сказал: «Все может случиться, если не будет мелика Сафрара, вручишь его мелику Яври — Брнакот недалеко от Ангехакота». Все, что я говорил от имени царя Арчила, только предлог, чтобы узнать, кто из вас мелик Яври.

— Благоприятны ли обстоятельства? — поинтересовался мелик Еган. — Обнадеживает ли нас царь Петр?

— Я ничего не могу сказать, высокочтимый мелик, — вежливо уклонился Мирон. — Наверное, все есть в письме. Я только знаю, что царь любезно принял Ори и архимандрита Минаса. О чем они говорили, мне неизвестно. Могу лишь сказать, что после той встречи Ори предстояло вернуться в Дюссельдорф, а архимандрит остался в Москве.

— Понятно!.. — многозначительно сказал мелик Еган, и это всех озадачило — что ему понятно?

— И как ты все объяснишь, мелик? — спросил Гасан-Джалалян.

— Видно, Петр не решается в одиночку идти на освобождение Армении и Грузии, хочет заключить союз с пфальцским курфюрстом и с кайзером Австрии, потому Ори и отправился снова на переговоры.

— А почему ты говоришь о Грузии? Может, грузины вовсе не просят Петра о помощи?..

— Ну, во-первых, потому, что Арчил в Москве, а значит, просит — иначе и быть не может, он вон уже сколько времени, как держится за Россию. Думается, что судьба Армении не может решаться в отрыве от Грузии. Она — наш ближний сосед. И для России два ломтя лучше, чем один...

По деревянному мосту перешли на другой берег Воротана, и опять дорога, войдя в ущелье, сузилась. Снова все замолчали, стали думать о письме, адресованном мелику Сафразу.

В Брнакоте было темным-темно. Только в доме мелика Мелкона горел свет. Но скоро зажглись новые огни и задвигались тени, это когда от топота коней загудела дотоле пустынная улица.

Хотя мелики вот уже пятый день как из дому и ни одной ночи толком не спали, они и сейчас, хоть была уже поздняя ночь, не подумали о сне, собравшись в одной из комнат мелика Мелкона.

Мирон Василев, обедая всех торжественным взглядом, слово призывая в свидетели, вручил мелику Яври сразу два пакета. Тот принял, поцеловал сургучные печати и поискал взглядом, кто бы прочитал. Все посмотрели на Егана. Но Еган, сославшись на простуду и хрипоту, отказался, и читать вызвался мелик Пилипос. Тоже приложившись сначала губами к сургучной печати, мелик распечатал письмо — первым то, что писано было архимандритом Минасом. Он взывал к меликам, чтобы сплывались и объединялись, говоря, что есть уже надежда, что близок день, когда спасительная армия могучего царя двинется на юг.

Далее, характеризуя Петра, архимандрит Минас отмечал, что это такой царь, который денно и нощно в трудах и заботах и на лаврах достигнутой славы не поживает. Что он хочет, расширяя границы России, связать торговлей свою страну со всеми странами. И Армению он обязательно спасет. И на фактах доказывал, как мечтает русский царь установить торговые связи с Индией, путь в которую может идти только через

Армению, и что армянские купцы в этом деле ему тоже нужны.

Архимандрит Минас в своем письме много места отвел Израелу Ори, подробно изложив его мудрую дипломатию и преданность родине до последней капли крови, до последнего дыхания. А когда дело в письме пошло о материальных трудностях, переживаемых Израелом Ори, мелик Яври сказал:

— Мы тут повинны, но и он тоже. Когда был здесь, покойный мелик Сафраз сказал: «Возьми с собой столько золота, сколько можешь. Как тебе дело делать без денег?» И мы тоже просили...

— Верно говорит, — подтвердил мелик Пилипос.

Яври добавил:

— Он тогда сказал, что путь его всегда полон опасностей и потому взять с собой золото не может.

— Надо выдать вексель на имя кого-нибудь из русских, кого сам Ори хорошо знает. Пусть берет у него деньги, а мы потом вернем с процентами, — посоветовал мелик Еган. — Ладно, подумаем, а ты пока продолжай читать...

В конце письма архимандрит Минас писал, что если война русских со шведами затянется, а в это время закончится война с Испанией, то, может, на помощь Армении тогда придут войска Иоганна-Вильгельма и кайзера Леопольда. А Петр обещал, что пропустит их через Россию. Вот почему Ори и едет в Дюссельдорф, чтобы не упустить момент...

Мелики впервые вздохнули посвободнее — какая ни на есть, а надежда.

— Хвала и слава тебе, господи, что дашь наконец этой руке посчитаться за все наши обиды! — воздев кулак в небо, сказал мелик Еган.

Пилипос развернул следующее письмо. Сначала он насутился, увидев, что писано на непонятном языке. Но вот морщины на лбу расправились — тут же был вложен листок, где рукою Ори давался перевод. Пилипос начал читать:

— «Мы, Иоганн-Вильгельм, милостью божьей герцог Рейнского Палатината, князь-курфюрст Священной Германской империи, герцог Баварии, маркграф Равенсбурга и властитель Равенштейна, получили ваши, высокородные князья и владыки Армении, любезные письма, врученные нам господином Израелом Ори, нашим общим посредником, благороднейшим из людей, и его спутником архимандритом Минасом, настоятелем монастыря св. Якова, за что и благодарю. Во время нашей с ними встречи и беседы они еще и устно

заверили нас в том, что вы питаете к нам доверие и с надеждой ждете дружеского участия. Мы со своей стороны не можем не выразить нашей радости и почтения к вам. И обещаем, что приложим все усилия, чтобы ваши надежды оправдались и все благородные намерения и поиски оставались допрежь в тайне, дабы не дошли они до слуха тех, кто враждебен народу армянскому. Одновременно заверяем ваши княжеские высочества, что задуманному вами благочестивому делу окажем всяческую возможную помощь, как мы сами лично, так и через наших союзников, у которых со всем усердием будем просить помощи в столь благородном деле, в деле спасения миллионов душ от зла и насилия, от нечестивцев. Чтобы свершить это праведное намерение, мы во всем будем соотносить наши действия с советами и желаниями господ Ори и Минаса, которые действительно умны и праведны безмерно. Особенно Ори, человек преданный и самоотверженный. Мы верим, при всемогущем содействии бога он доведет все до конца. Верим и надеемся. Бог избрал его, и нам остается только помогать ему, и благоденствие низойдет на великую христианскую Армению. Верьте и вы Израелу Ори и архимандриту Минасу, верьте всему, что скажут они и от нашего имени вашим княжеским высочествам. *Позвольте заверить вас в нашем искреннем почтении и любви к вам, в том, что мы всей душой готовы сделать все для вашего спасения, для вашего спокойствия и счастья.

Да пошлет нам бог подтвердить сказанное на деле...»

Мелик Пилипос с почтением и осторожностью, как блещущий сосуд, положил письмо и оглядел меликов, словно сам был Иоганном-Вильгельмом: чего, мол, вы еще хотите? Где-то вблизи хрипло пропел петух и словно бы тьму разорвал. Ему тотчас завторили другие собратья, но голоса тех не дошли до меликов. Крик первого петуха взорвал и их гробовое молчание.

— Все сейчас на нашей стороне. И даже петух возвестил нам сейчас наш рассвет!.. — заговорил мелик Яври. — А значит, не все для нас складывается так уж неудачно.

— Не все!..

— Слава Израелу Ори!

— Да здравствуют Ори и архимандрит Минас!

— Благодарение Мирону Василеву!..

— Братья, а не выпить ли нам по случаю такой радости? — воодушевился мелик Яври. — Да простит нас душа мелика Сафраза, и он ведь мечтал о таком дне, о дне, когда к нам вернется надежда, что Армения будет спасена, будет

существовать как свободная страна. Две могущественные державы дали нам на то свои обещания, я верю их обещаниям!

— Добрые вести. Безусловно, обнадеживающие! — подтвердил и мелик Еган.

— Как тут не поверить? — согласились и остальные.

— Пока наш народ стонет под тяжестью чужеземного ига, слово доброжелателя еще не есть дело. Но надежда, она что веревка, брошенная утопающему... Итак, выпьем и на славу попируем, мелик Яври, за надежду, которую нам подали курфюрст Иоганн-Вильгельм и русский царь Петр Алексеевич, — раздумчиво проговорил мелик Еган. — Только есть еще кое-что, требующее уяснения. Я хочу знать, господин Мирон привез только эти письма и поручения, адресованные мелику Сафразу, или у него и еще что-то есть?

— Было, — ответил Мирон Василев. — Письмо католикозу Симону было. Я передал ему в руки. Есть еще и католикозу Наапету.

— Теперь все ясно? Не так ли? — спросил Еган.

— Ни Наапета, ни Симона сейчас ничто не интересует. Им бы только спокойно прожить остаток жизни, — сказал мелик Яври. — Двоим из нас, вместе с господином Мироном Василевым, надо съездить в Эчмиадзин, прощупать настроение католикоза Наапета. Если ему по-прежнему хочется ценою подкупа нечестивцев продремать, как старому коту, конец своих дней, то и письмо ему ни о чем. А Ори с Минасом ждут, — значит, ответ писать надо нам!..

— Прав мелик Яври...

— Ты, мелик Яври, и ты, мелик Костанд, поедете с господином Мироном, — сказал мелик Мелкон.

— Верно, пусть они едут...

— А как быть с католикозом Симоном?

— Его поручите мне и мелику Абову, — сказал мелик Джраберда Есаи. — Мы посмотрим, как пойдет...

— Обо всем этом надо сегодня же известить всех меликов, пока не разъехались...

— Всех ли?..

— Кроме мелика Варанды. Он все еще юлит перед ханом шушинским.

— Других шатких среди нас нет?

— Нет...

На этом закончил совет. Во дворе уже пели все петухи, возвещая рассвет, и лаяли все собаки, взбудораженные петухами.

Мелик Григор Гасан-Джалалян подошел к окну, посмотрел

шел на восток, туда, где выселись горы и, вернувшись обратно, сказал:

— Если хотим известить меликов, гонцов надо посылать тотчас. Скоро рассвет, они, того и гляди, разъедутся.

Мелик Яври, поднявшись, спросил:

— Что гонцы должны сказать меликам?

Все задумались.

— Пусть очень сдержанно сообщат, что офицер русской армии, которого они видели на похоронах мелика Сафраза, — вестник от Израела Ори и архимандрита Минаса, — сказал мелик Еган. — Пусть также сообщат, что есть от них письма, окрыляющие всех нас. И что, мол, пусть ждут, скоро соберемся на совет в Гандзасаре.

— Значит, сюда им не приезжать?

— Зачем же сюда?.. Если уж кто особо нетерпеливый, может, конечно, и приехать, но вообще-то...

— Мелик Еган прав, — согласились собравшиеся.

Яври хотел выйти, отдать распоряжение насчет гонцов, но его удержали. Посовещались, решили, что в таком деле никому нельзя доверять, лучше, если поедут двое из меликов.

Мелик Пилипос и мелик Костанд, сравнительно более молодые из всех, вызвались взять на себя эту миссию.

— Ну, мелик Мелкон, теперь приказывай подавать вина!..

4

Масисы снизу доверху были в белом снегу и от этого казались еще выше обычного, еще величественнее на бесснежной равнине, на фоне осеннего сине-зеленоватого неба. Снега с каждым днем все ниже спускались к равнине, а Масисы при этом словно бы все устремлялись к небу.

Так начинается власть зимы в Армении.

Был уже октябрь. А начиная с сентября на Змеиной горе артишоки так покрывались инеем, что походили на ветвистые серебряные канделябры, со свечами, горевшими ночью небесным холодным светом, а днем — желтыми лучами солнца. И травы, которые проросли второй своей жизнью и снова увяли, смялись, и кусты, с которых ветер не сумел сорвать листья, и деревья — все превратилось от широкого дыхания библейского Арарата в хрустальную вязь, в благородное серебро, все горело в этих давно потерявших былую славу, но священных развалинах.

После разрушения Смбаберда и с того дня, когда Нахичеван был захвачен кэлбашами, в этих местах не было созда-

но ничего рукотворного, доброго. Только одно странное надгробие появилось тут. И сейчас оно, в белой пустынности, походило на вздетый в небо черный кулак.

И это действительно был каменный кулак. Когда-то обломок скалы, может, от землетрясения, сорвался с вершины Змеиной горы и упал в ущелье Тхмут у Масисов. У этого камня всегда собирались повстанцы, тут они обсуждали свои дела. А с тех пор как здесь похоронили голову мелика Исраела, высота стала священной. Потом, когда умер отец Костанд, его тоже похоронили у этого камня. Мастера долго думали, долго советовались и начали задуманное дело. Прошел год, камень превратился в огромный кулак — символ протеста против великой несправедливости мира.

Так это место стало вдвойне святым...

Отец Костанд в одном из боев получил легкую рану, но кровь так и не удалось унять. Потому он и умер. А перед смертью передал свой меч и крест, как знаки старшинства, Теруну Танакертци. Но вскоре пал и Терун. Меч и крест переходили из рук в руки не раз — от Вагана Симоняна к Вагану Сафунцу, от него к Глухому Асатуру, потом к Галусту Грозному...

Сейчас крест и меч носил Егор Астапатци, десятый вожьд после отца Костанда.

Была ночь, когда в темном проеме входа в пещеру Змеиной горы сверкнул стальным блеском меч Егора Астапатци. Он вышел на площадь, вздернув светлую бороду, глянул на звезды и поторопил своих храбрецов:

— Что вы там?..

И после этого полчас, а может и больше, в темном проеме входа в пещеру сверкали мечи, как молнии в ночном небе. Скоро все собрались, с копьями, с мечами и ружьями.

Егор Астапатци, вскинув перед собой меч, зашагал к могиле Костанда Астапатци. Остальные тоже, держа мечи перед собой, последовали за ним. Совершив ритуал принесения клятвы у священной могилы, все спустились к конюшням. Лошади сдержанно заржали, заслышав приближающиеся шаги...

...Двадцать пятого сентября все церкви в ближних и дальних селах, в Красном монастыре, в Астапате и Шоруте полнились прихожанами. Было воздвижение. Всюду звонили колокола, дымились очаги с жертвенной птицей, кадили кадиль, горели свечи, возносились молитвы. Особенно прекрасно было в долине Аракса, близ Астапата. Здесь и людей собралось больше, чем в других местах. И церковь и двор были пол-

ны народу. Вдруг показались всадники. Приблизившись, один из них, городской голова Нахичевана, подъехал к монастырю.

— Позовите настоятеля! — приказал он, уставив одну руку в бок, а другой сжимая плеть из бычьих жил, концы которой свисали до самой земли.

Вышел старый священник. В глазах мольба и страх.

— Настоятель служит обедню, — сказал он, — не может он выйти, добрый человек. Может, мне повелишь сделать то, что надобно?

— Велю позвать настоятеля! — рявкнул городской голова и вскинул при этом плеть. — Иль говорю непонятное?..

Священник быстро исчез и спустя минуту в широко раскрытой двери возник архиепископ Арцруни, настолько старый, что казалось, век уже прожил и сегодня его последний день. Однако старик с гордым достоинством носил крест на груди. В дрожащих руках у него тоже был крест, и высокий клобук с крестиком на макушке. Голова вскинута, борода белая, взгляд словно бы остановился.

— Что хочет от нас господин городской голова?

— Что у вас тут за праздник?

— Воздвижение...

— Объясни толком, что это значит.

Настоятель решил:

— Было время, персияне завладели крестом господним, христиане забрали его обратно. Вот с тех пор все церкви каждый год отмечают этот день... В этом нет ничего такого. Напрасно ты гневаешься.

— У нас под самым носом собрали весь народ, под предлогом какого-то креста. Нет, видите ли, ничего особенного!

Кзлбаш хлестнул плетью, и белая борода настоятеля вмиг сделалась красной от крови.

И в храме и во дворе со стоном метнулась безоружная, бесправная толпа.

— Боже праведный! — взмолились люди.

Нашлись смельчаки, которые схватили за узду коня городского головы и плюнули на всадника, в его крашенную хной бороду.

— Как смеешь ты оскорблять нашу веру! — закричали люди и свалили его с коня. — Поднимать руку на нашего преосвященного!

— О, не убивайте! — взмолились женщины. — Подумайте о том, что за этим последует!..

Но тут кзлбаши вызволили своего предводителя. А уж потом...

Замолкли шумы праздника, перестали звонить колокола. Над долиной и над храмом поднялось облако дыма и пепла. Кони топтали женщин и детей.

В храме все было перевернуто вверх дном. Грудились на полу образа, святые книги, кресты, подсвечники. Прямо в дверях, широко раскинув руки, лежал архиепископ Арцруни, устремив удивленный, закаменевший взгляд к звездам. Догорающие свечи сочили воск, как слезы.

Вот почему, когда весть о трагедии дошла до Зменной горы, повстанцы, вырвав мечи из ножен, призвали к мести. И Егору Астатаци не пришлось повторять приказ.

Двадцать шестого сентября, то есть через день после кровавых событий, хану Мухаммеду-Рза вручили письмо. Подавая его, секретарь сказал:

— Мой господин, это один из нечестивцев сунул стражнику со словами: «Пусть твой хан приготовится переступить врата смерти». Он тотчас унесся. Мы не успели схватить его... Читать?

Хан молча кивнул, и секретарь начал:

— «Хан Мухаммед-Рза, это письмо шлют тебе повстанцы Змейной горы. Ты знаешь, хан, что мы люди отчаявшиеся и нам ничто не страшно. Твои кзлбаши вновь оскорбили нас и пролили кровь безвинных прихожан. А ведь у нас был уговор с твоими предшественниками, с ханами Али-Гули и Шарифом. И тебе мы напоминали о том, чтобы твои люди не задевали нашу совесть и честь. За что со своей стороны обещали покорно нести наш тяжкий крест, пока бог не пошлет нам милосердие. Договор наш, как сказано, еще два десятилетия назад освятили наш вождь Костанд Астатаци и шах Сулейман. И в нем сказано, что мы, лишенные дома и крова, за кровь армян будем проливать кровь, бесчестье будем бесчестить. Хан, мы, повстанцы Змейной горы, поклялись и готовы быть верными клятве. Однако, если ты, хан Мухаммед-Рза, согласно этому договору, не отдашь в наши руки городского голову Нахичевана, от меча которого пал настоятель Астатата Арцруни и пять других священников и бесчестия коего породили кровопролитие, стали причиной гибели многих мужчин, матерей и детей, мы спросим за все с тебя ценой твоей жизни. Ответа мы ждем только один день.

Письмо писано от имени повстанцев мною, Егором Астатаци, волей божьей вождем повстанцев».

Хан усмехнулся, взял у секретаря письмо, сложил, хотел разорвать, но передумал и вернул со словами:

— Сохрани, этим мы запалим пожар в их селах!..

На следующий день, после полуденного отдыха, колено в колено сидели шейх ислама, сардар и хан. Беседа длилась долго. После гневной речи шейха она на какое-то время прервалась.

— Не надо было разрушать церкви! — сказал шейх после паузы. — У нас ведь нет мечетей, и построить не можем, а по шариаду не возбраняется читать Коран и совершать намаз в церквях. Вон ведь как обнаглели армяне: угрожают нам. Что-то они последнее время особенно обнаглели. Уж не идет ли им откуда-то сила в помощь?

— Поговаривают, что они окрылились какой-то надеждой.

— Вот я и чувствую, не иначе, на русских уповают...

— Так говорят, и, наверно, это правда. А то откуда бы у них, зажатых в горах, столько смелости? Требования, видите ли, предъявляют... И Россия становится все сильнее. Скоро падет Крымское ханство, и на севере добились успехов. Аппетит у этого царя очень большой и ум не малый...

— Ум?.. — пробурчал с иронией шейх. — Аллах всемогущ, а ум нечестивца гяура — ничто. Вот покончим с армянами, чтобы у русских не было тут опоры, а там объединимся с турками, и пусть тогда Россия подойдет к этим краям...

— Уничтожив всех армян, мы, считай, потеряем их земли, шейх, — сказал хан и посмотрел на сардара. Тот упорно молчал, явно побаивался духовного вождя. Хан пояснил свои слова: — Кто бы они ни были, эти армяне, а работники они отменные, умеют строить, выделывать кожи, сажать сады. Мусульмане знают одно — пасти овец да коз. Козье молоко — это хорошо, но войско им не прокормишь. Ты, шейх, говоришь, что, если русские сюда пойдут, мы заключим союз с турками. Не думай, что турки нам меньшие враги. Напомни мне какой-нибудь военный договор, которого турки честно придерживались бы до конца. Стоит им сюда заявиться, никогда уже не уйдут.

— Ты забываешь, хан, что мы едины перед аллахом, и клеймишь приверженцев ислама, восхваляя при этом армян. Может, шайтан вселился в эту минуту в твою душу, иначе как объяснить такие мысли? — Шейх говорил размеренно, убежденно.

Хан не пожелал продолжать разговор в этом направлении. В глубине души он терпеть не мог шейха, вечно указывающего ему.

— Если решите очищать страну от армян, — сказал он, обращаясь к сардару, — начинайте с повстанцев на Змеиной горе. Даю десять дней на размышления и на все!..

Сардар понял настроение хана.

— Светлейший хан! — заговорил наконец он. — Ты знаешь, что вот уже более двадцати лет, как эти нечестивцы укрепились на Змеиной горе. И до меня сардары пытались их оттуда выкурить, но не сладили. Там один стоит против сотни, такое у них местоположение. Голову готов положить на плаху, если кому-то и впрямь удастся провести войска в укрепления Змеиной горы...

— В письме их вождь Егор Астапатци грозит, что, если не выдам им городского головы, со мной расправится, — хан усмехнулся. — Дали мне день для раздумья. Срок этот миновал. Надо полагать, они уже спустились с гор, коли верны угрозе?..

Сардару ничего не оставалось, как с готовностью воскликнуть:

— В поле я не оставляю в живых ни единого человека. Приказываешь, светлейший хан, выступать?..

— И немедленно. Не позже чем завтра они исполнят свое намерение.

— Грозятся только, — снова с уверенностью сказал шейх ислама. — Зачем им было предупреждать? И потом, на какие силы им рассчитывать, нападая на могущественного хана?

Хан вскинул брови:

— Оружие у них есть. Они все сами делают: и порох, и мечи куют. У них в пещерах все приспособлено. Целые мастерские. Говорят, даже пушки начали отливать, чтобы потом вместе с русскими напасть на нас...

Шейх ислама вздернул бороденку:

— Будь они прокляты! Я думаю, что не посмеют удалиться от своих неприступных гор, — высказался хан. — Они понимают, что это может стоить им жизни.

— На равнине я и с маленьким отрядом разделаюсь с ними, — хорохорился сардар.

Хан, не обращая внимания на него, сказал:

— Однако шайтан, он ведь с чем только не играет! Вот что, сардар, расположи свое войско неподалеку от дворца. Они, если и решатся прийти, поначалу лазутчиков вышлют. Этих пропустишь. И обратно дашь уйти...

— Я сразу угадал твои мудрые мысли, мой господин...

— Подожди!.. — оборвал его хан. — И помни, слов на ветер я не бросаю: они не явятся, ты пойдешь в горы. Иди.

Хан остался с шейхом ислама. Но вскоре и тот поднялся, расправил полы кабы, глянул в окно и сказал:

— Стемнело, пойду к намазу... Я вот тоже подумал, как

же нам усмирить армян? Уничтожить, пожалуй, действительно не время еще. Они — источник нашего существования. Иссуши его...

Хан подернул плечами и ничего не ответил.

— Может, принудить их веру переменить?..

— Силой?

— Надо селить мусульман среди армян и сделать так, чтобы мусульман было больше...

— Так делали и до меня. Братались, а веры не меняли.

— Никакого братания. По шариату это невозможно. Разделивший хлеб-соль с гяуром и сам становится нечистым. Не может быть с ними дружбы!.. — шейх почти взвизгнул.

— Э, шейх, — махнул рукой хан, — все это так, но когда душа нащупывает другую душу, и про ад забывают. А жизнь в соседстве неволью порождает связи. Живя рядом, людиближаются. В Цхне не кто-нибудь, а сами мусульмане до смерти забили камнями чиновника Хосрова. Тебя тогда не было в Нахичеване, и не знаю, слышал ли? Этот Хосров в Цхне молодую жену попа уволок. Поп молил его отдать жену, потому как по законам их церкви он не может жениться во второй раз. «Чтоб тебе не мучиться без жены, — сказал ему Хосров, — давай порешу тебя». И рубанул попа мечом по голове. Мусульмане, и без того обозленные этим сборщиком налогов, насмерть забили Хосрова и в ту же ночь вместе с армянами бежали в горы. С тех пор шах Султан-Гусейн приказал держать мусульман подальше от армян. И верно приказал, ни к чему хорошему это привести не может.

Шейх ислама не посмел ничего сказать против шаха, только еще раз кинул проклятие в адрес армян и вышел.

5

Взошло солнце, и побледнело пламя, пожирающее дом городского головы Нахичевана. Но горело еще до самого полудня. А потом постепенно огонь угас, и на месте строения осталось только пепелище.

После полудня, когда солнце обожгло вершину Змеиной горы, вождь повстанцев Егор Астапатци, безоружный, вышел из своего укрытия. Усталый, но довольный, он зашагал к горному плато. Дошел до холма с надгробием и оттуда посмотрел в сторону Нахичевана. Над городом стояли неподвижные клубы дыма. Астапатци вспомнил события минувшей ночи, оглянулся. Его люди вели городского голову вместе с тремя его телохранителями. Слева вывели еще одну группу кзлаба-

шей. Потом появилась толпа женщин, детей и мужчин. Все сошлись на плато. Женщины и дети в голос плакали, и ущелья и пещеры тоже эхом плакали вместе с ними. Мужчины, примирившиеся с неизбежностью смерти, молчали, понурились. Молчал и городской голова. Только пальцы связанных ивовою корой рук шевелились. Все стояли вокруг надгробия.

Егор Астапатци не смог вынести стенаний женщин и детей. Он закричал. Не на них, на свою нелепую совесть. Но все сразу смолкли. Заложив руки за спину, Егор прошел перед толпой, внимательно всех оглядел и спросил:

— Чья добыча? Какого отряда?

— Моего, — гордо ответил Давид Дайян. — Я взял их ровно столько, сколько они погубили армян в наш святой праздник...

— Где брал?

— В Шахтахе...

— И почему только голову за голову?..

— Больше не успел бы. Светать начало...

— А можно было больше взять?

— Можно было...

— Но неужели мы тоже станем истреблять невинных женщин и детей или этих сельчан?.. — Егор Астапатци вопросительно оглядел своих и не услышал ответа, может потому, что снова поднялся плач женщин и детей.

— Мы вас не тронем, расходитесь по своим домам, — объявил Егор Астапатци.

В ответ на эти слова они заголосили громче прежнего. Астапатци подошел вплотную к нахичеванскому голове и, глядя снизу вверх (тот был выше ростом), сказал:

— Ну, калантар, ты знаешь, что мы, армяне, не убийцы. Рубить голову с плеч, пусть и врагу, всегда трудно, а нам особенно. Но тебе мы отрубим голову. Ты пролил кровь безвинных в наших святых церквах. Этого тебе простить нельзя. — Егор обернулся к толпе: — Бог этой смерти не предписывает, но он все видел и простит нам, потому как это смерть за много смертей. А вы все расходитесь и впредь учите своих детей, чтобы они никогда не сеяли зло, чтобы не пожинать смерти.

6

Проводив шейха, хан совершил горячее омовение. Все тело ломило. Решив, что он простужен, хан велел растереть себя козьим жиром, затем умылся ширазской розовой

водой и лег, надеясь уснуть. Но не тут-то было. Поднялся жар, обдало потом и зазнобило. Да так сильно, как никогда раньше. Пуховая перина казалась ему твердой, как камень. Дышать было нечем. А из головы, как ни странно, не шло письмо Астапатци. Невольно навалился страх, что жизнь в опасности. И ничего-то тут не сделаешь, ни ханской властью, ни превосходящими силами. Всяк слабый, решив пойти на смерть, может убить самого сильного. И уж коли они решили разделаться с ним, найдут момент, когда и где это сделать...

Хан сел в постели, посмотрел в окно. Так как в спальне горели светильники, окно казалось черным. Но что это?.. Тьма вдруг качнулась, и в ней сверкнули огни!.. Хан, решив, что где-то поблизости горят костры, испуганно хлопнул в ладоши. И тотчас вошел слуга, пал ниц перед постелью властелина, вжавшись лицом в пушистый ковер.

— Мне не спится. Приготовь кальян с гашишем, принеси нарды¹ и позови меймандара.

Немного спустя он, уже лежа на боку, с наслаждением втягивал в себя дурмящий дым кальяна и, прищурив глаза, смотрел из-за тяжелой парчи, завешивающей балдахин, в окно, в котором трепыхались кровавые блики. Вошел меймандар, поклонился.

— Мирза-Гусейн, что делается на улице? — спросил хан, раскрывая нарды. — Ночь какая-то очень тяжелая, сон не идет...

— Светлейший хан, ищи причину в себе, ночи все одинаковы. В городе где-то горит. Другие спят, да так, словно во всем мире ничего дурного не происходит... — старческим и потому очень душевным голосом сказал меймандар.

Мимо ханского дворца галопом проскакали и удалились лошади. Что-то крикнул кзлбаш на сторожевой башне, закрипели ворота, и топот копыт звенел уже на каменных плитах двора. Кто-то соскочил с коня и быстро поднялся по лестнице. Хан отодвинул нарды в сторону и с тревогой в лице стал ждать.

Вошел сотник. Он прямо у входа бухнулся на колени.

— Всемогущий хан, — сказал сотник, — нечестивец Егор Астапатци спалил дом Реза-калантара, взял в плен его самого и еще трех кзлбашей и трех чиновников. А из домоладцев никто не спасся. Всемогущий хан, сардар, который

¹ Нарды — игра в кости.

сейчас охраняет твой дворец, ждет твоего приказа, как ему поступить в ответ на такое поругание?..

Внешне хан был спокоен. Но в душе у него бушевала буря. Глянул из-под насупленных бровей сотнику в глаза и сказал:

— Пусть сардар продолжает охранять дворец, а с рассветом чтоб был здесь! И прежде чем войдет сюда, пусть проследит, как взойдет солнце... Иди! — И хан снова хлопнул в ладоши, и снова, едва переступив порог, слуга распластался в поклоне. — Добавь гашинша в кальян и подними всех во дворце. Ко мне пусть никто не входит, пока не позову, но спать чтобы никто не смел! — С этими словами хан лег, задернул справа шторку, чтобы окна не было видно, и затянулся кальяном.

Старый меймандар, сцепив мягкие короткие пальцы, положил руки на круглый живот. Потом тайком извлек табак, понюхал его, чихнул в ладони, широко раскрыл глаза и стал ждать, что прикажет ему хан.

— Если бы в моем распоряжении было хоть с десяток армян-вероотступников, я бы их руками поотрубал головы моим назир-визирям, калантарам и всем тупым чиновникам и передал бы им всю власть. И чего только эти армяне держатся за свое христианство? — И хан опять приложился к трубке.

Мирза-Гусейн тоже снова нюхнул табак и едва удержался, чтобы не чихнуть, но зато слезы так и потекли у него из глаз, а вместе со слезами куда и страх девался — он вдруг сделался разговорчив.

— Армяне хитры. Но не думай, светлейший хан, что ум их и другим стал бы служить столь гибко, как самим себе. А что касается перемены религии, так я знаю армян, которые, изменив своей вере, и другим служили — плоше некуда. По мне, нет хуже человека, чем отрекающийся от своей нации. Я много жил, светлейший хан, говорю то, что знаю. Присказка есть такая: увяз в болоте осел, собралось много сильных людей, но не нашлось среди них сильнее его хозяина... Рассчитывать нам надо только на себя. А что, собственно, так взволновало моего господина?

— Обманул меня вождь беглых армян! — Хан сел и свесил ноги с постели. — Он письмом потребовал выдать им городского голову Нахичевана за нападение на их людей и на храмы, — мол, иначе нападут на мой дворец и меня убьют. Письмо я читал при шейхе и сардаре. Оба они уверяли, что ничего не будет, что армяне только грозятся. И ни-

кому не пришло в голову, что они отвлекали нас, чтобы мы сосредоточили наше внимание на охране ханского дворца, а сами тем временем безнаказанно расправились с калантаром.

— Мой хан напрасно так думает. Потому как, если они, кому письмо читано, не догадались, то ведь и ты, мой мудрый хан, не разгадал уловки армян? — сказал Мирза-Гусейн...

Хан вдавил свои босые ноги в ковер и напряг все внимание.

Мирза-Гусейн, перед тем как снова заговорить, помолчал, подумал.

— Сейчас не стоит гневаться на то, что твой всегда бодрствующий ум на мгновение уснул, — продолжал меймандар. — Над минувшим лучше поразмыслить... Это ведь ты нас всегда к тому призываешь. Я только позволил себе вернуть тебе твою же мысль в нужную минуту.

— Жаль, что ты слишком стар, Мирза-Гусейн, чтобы быть моим визирем! — вздохнул хан.

— И на том тебе спасибо, мой хан. Мне осталось жить всего ничего. Я доволен судьбой. Только хотел бы, чтобы ты не повторил ошибок ханов Али-Гули и Шарифа. Надеюсь, твое величие тебе этого не позволит. Они ведь оба так и не удостоились расположения шаха Сулеймана и шаха Султан-Гусейна. Больше того, шах Султан даже казнил гонца хана Шарифа...

И Мирза-Гусейн во всех подробностях рассказал о том, как шаапуникский мелик Израел стал причиной шахского гнева на Шарифа не потому, что шах был добр к армянам, а потому, что хан не сумел вырвать дерево так, чтобы, падая, оно не закрипело и не разбудило лесных обитателей.

— До шахского слуха надо доводить только приятные речи. Будь всегда осмотрителен. Не допускай, чтобы шум сразу делался шумом. — Мирза-Гусейн вздохнул. — Не надо было убивать армян... А уж коли убивать, так не в храмах, а на поле брани. Теперь, когда калантара не стало, призови на помощь всю свою мудрость... Спокойной ночи, мой господин.

Хан проводил его до двери и сказал:

— Изволь присутствовать на совете.

— Слушаюсь, но разреши мне там ничего не говорить, светлейший хан. Мои слова могут вызвать гнев у многих, а у меня сейчас нет сил...

— Ты свое слово сказал, и уж теперь слушай и исполняй!

Меймандар поклонился и вышел.

Хан отдал распоряжения о созыве совета и лег.

Он закрыл глаза, но ему долго не спалось. Однако, когда разнял веки, в окне уже алеял срез солнца. Хан вскочил с постели, велел принести одеться.

Облачившись с ног до головы во все огненное, хан сунул за пояс саблю, снял с руки все перстни, оставив только один, на указательном пальце, с янтарем, горевшим, как глаз тигра, и по винтовой лестнице спустился в помещение, где обычно собирается совет. Там все уже давно были в сборе: главный визирь Муса-Пехлеви (Нури год назад отдал богу душу), назиры Вали-Вахид, Мухтар-Баян, тысячник Али-Джаани, судья Муса, начальник внутренней сторожевой службы Хуршуд и меймандар Мирза-Гусейн.

Завидев хана еще на ступенях лестницы, все встали и, сложив руки на груди, согнулись в поклоне. Хан медленно прошел перед ними, остановился у своего привычного места. Собравшиеся чуть приподняли головы, посмотрели на хана и снова склонились, пока он наконец не подал знака садиться.

Тишина была зловещая. Только слышалось, как секретарь Арам Табрзеви помешал в чернильнице пером. Хан поводил опухшими от бессонницы глазами и спросил:

— Где сардар?

— Он еще не вернулся с позиций, — ответил главный визирь.

— Было велено явиться к рассвету.

Визирь почему-то посмотрел в окно на солнце.

— Все смешалось нынче, светлейший хан...

— Смешалось, говоришь? — хан зло посмотрел на главного визиря.

Тут вдруг явился тот самый сотник, который ночью принес весть о сожжении дома калантара. Рухнув на колени, он сказал:

— Светлейший хан, сардар убил себя. Я передал ему твое повеление явиться с восходом, а он еще затемно покурил кальян, сбросил чалму и...

— Что ж, похороните его, а сами снимайтесь с позиций и возвращайтесь, — сказал хан и спросил: — Что вы на это скажете?

— Против повстанцев-армян надо вызвать шахские войска, — заговорил тысячник Али-Джаани. — Уже более

четверти века они, как меч, занесены над ними на этой Змеиной горе, и мы ничего не можем с ними сделать...

Хан поднял указательный палец, сверкнул, как глаз тигра, камень на перстне, и тысячник не договорил свою мысль.

— Прежде чем просить шахское войско против горстки армян, мне следует перевешать всех моих военачальников и сообщить шаху, что, будучи бездарными воинами, они и убивший себя сардар не сумели справиться со своим делом, и потому мне нужно шахское войско. Верно говорю?..

— Мудры все решения нашего господина! — поспешно согласился тысячник, но голос его задрожал.

На всех советах назир-визиря обычно с нетерпением ждали своей очереди высказаться, и каждый жаждал своим красноречием всецело завладеть вниманием хана. Сейчас все старались избежать выступления и только вынужденно отвечали на вопросы хана, стремясь при этом высказывать лишь заведомо приятное ему. И все потому, что сегодня каждое слово, каждый жест хана источали зло...

Мухаммед-Рза знал, что делал. И одежда его, кровавого цвета, и речь — все имело особый смысл. Вокруг вилась паутина интриг, заговоров. Все это возмущало шаха Султан-Гусейна. А потому, вняв совету меймандара и поразмыслив, хан решил, что ответственность за все происшедшее он должен возложить на своих придворных.

И именно для этого он и одежду свою продумал, и речи...

Совет длился долго.

Из назиров лишь Вали-Вахид предложил кое-что дельное, чтобы поставить на колени повстанцев Змеиной горы: он считал, что надо предать огню все ближние села. Тысячник добавил, что сжечь надо и Норагюх — хоть это село и дальше, — чтобы впредь больше не рождались разбойники, подобные Костанду и Егору Астапатци, кои оба из того села. И еще, желая поправить свое положение, он сказал, что у шаха можно попросить всего один полк, и то только для окончательного штурма бунтовщиков во всем Сюнике, а не в одном Нахичеване.

— А что ты скажешь, Мирза-Гусейн? — обратился хан к меймандару, который подремывал, скрестив руки на животе. — Говори. Кто долго жил, тот и знает много. Дай совет...

Меймандар размежил веки, посмотрел на хана и сказал:

— Да, я жил долго, благословенный хан, но военными делами никогда не интересовался. И прежде в ханстве у Маку, и вот уже долгие годы под властью твоего сиятельства я занимался лишь тем, что принимал и провожал гостей... Благодарение аллаху, никого никогда не гневил. Где уж мне в мои годы ни с того ни с сего вдруг соваться не в свое дело?..

— Говори, если молишь аллаха не о бесславной смерти! И говори только то, что думаешь.

— Я в жизни никогда и никого не боялся, мой милостивый властелин, потому как бояся не бойся — от судьбы далеко не уйдешь. Если твоей светлости нужно и мое мнение, скажу. Армяне всегда будут биться за свободу. Снесем с лица земли Змеиную гору, они найдут новое пристанище — и гор и крепостей у них хоть отбавляй. Сожжем села, пепел их обернется людьми в другом месте. И они будут много раз восставать из пепла. Они если и сгорают, то лишь для того, чтобы утроиться в силе живущих. А потому давайте смотреть правде в глаза. Армяне — народ, множество раз восстававший из пепла, и чем их делается меньше, тем они становятся сильнее. Если мы с этим смиримся, то нам надо зацануть терпением. Они должны медленно сгинуть в нашем терпеливом окружении.

Хан не уловил глубокого смысла последних слов, но остался доволен тем, что меймандар приблизительно повторил то, что говорил ему ночью, призывал не создавать шум из шума. Да, не создавать лишнего шума сейчас — единственная забота хана. Об этом он и повел длинную речь. Говорил о больших заботах шаха и о том, что шах вполне справедливо обрушивает огонь своего гнева не на армян Нахичевана, а на мусульман, непредусмотрительно разворошивших муравейник...

Он говорил и жестикулировал, всем своим видом и речью давая понять, что, рискуя головой, будет стараться скрыть этот позор от мудрого шаха, чтобы сберечь пустые головы тех, кто создал такое нелепое положение ненужным шумом.

7

Мирон Василев, мелик Яври и мелик Костандин Григорян намеренно задержались в пути и в Вагаршапат ступили только поздно вечером. Мелик Яври не сразу пошел к католикосу. Поначалу он незамеченным проник в келью

к архимандриту Минасу, не тому, что делил скитальчество с Исраелом Ори. Этот уже давно был объявлен наследником патриаршего престола и находился в большой близости с меликом Сафразом и меликом Яври. Их особенно связывали безмерная любовь и преданность родине...

Встреча была теплой, несмотря на холод и тесноту кельи. словно солнце проникло наконец в эту келью, где оно никогда не бывало, едва преосвященный узнал, что от Исраела Ори и архимандрита Минаса прибыл гонец из Москвы и привез письмо с сообщением о том, что русский царь Петр готов взять на себя дело освобождения Армении.

Преосвященный воздел руки вверх и зашентал: «Отверзши врата нашего спасения, господь всемогущий, слава тебе во веки веков, аминь!»

Потом, обернувшись к мелику, он уже другим, земным голосом сказал:

— Благослови господь и этого русского Мирона Василева!

— Он армянин, преосвященный.

Архимандрит сдвинул седые редкие брови:

— Человек, меняющий свое имя, должно быть, и душу, при надобности, приспосабливает к условиям? Странно, что он взялся за эдакое трудное дело...

Мелик Яври рассказал историю жизни Мирона Василева, которую слышал от него самого, выразил свое мнение:

— Он хороший армянин, преосвященный. Не корыстолюбие заставило его на годы покинуть семью и пуститься в такое странствие. И, наконец, Ори не доверился бы непроверенному человеку.

— Где этот человек сейчас?

— Здесь, в Вагаршапате. С нами и мелик Костандин. Прежде чем известить святейшего о письме и обо всем вообще, надо знать его настроение, потому как нам следует написать благодарственное письмо Ори и архимандриту Минасу. Если святейший опять стал бы уклоняться, то, может, и не нужно к нему обращаться? И нас словно бы тут и не было?.. А письмо написать необходимо. Оно нужно Ори. Он покажет его царю как свидетельство того, с каким нетерпением Армения ждет русской помощи.

Патриарший престолонаследник Минас сообщил, что святейшего призвали в Ереван, к хану. В праздник воздвижения и там произошли стычки и кровопролития. Кзлбаши вторглись в храмы и церкви, надругались над священниками, над святынями. Ну и их не пощадили. Прихожане

вступили в перепалку, избивали кзлбашей. Ну и к тому же события в Сюнике и то, как за все отомстили кзлбашам повстанцы Змеиной горы...

— Ереванский хан во всем обвиняет католикоса. Говорит, что праздник воздвижения был вызовом против Персии. Католикос только вернулся из Еревана, — со вздохом закончил преосвященный.

— И что?.. — с нетерпением любопытствовал мелик.

— А что могло быть? Этот католикос — не Акоп Джугаеци и не Егиазар Айтипацци, у него на все один ответ — взятка побольше. Этот не задумывается о завтрашнем дне. Ему бы только хлопот поменьше... И в вашем деле рассчитывать на его содействие тоже не следует. Мы сами сделаем все, что надо.

...На следующий день, поздно вечером, в той же келье горело свечей больше обычного, освещая тяжелую дубовую подставку для книг, за которой, скрестив ноги, сидел архимандрит Минас и до поздней ночи читал «Нарек». Читал, наверное, в сотый раз и в сотый раз мысленно видел в божественном обличе творца «Нарека» Григора¹, жалующегося богу... на бога же. Вот создал язык армянский, и все, что осталось теперь армянам, это лишь жаловаться на этом богоданном языке тому же создателю...

Сейчас вокруг подставки для книг сидели четверо: сам престолонаследник Минас, мелик Яври, мелик Костандии и Мирон Василев. Преосвященный прочитал письмо архимандрита Минаса католикосу всех армян Наапету Первому Едесацци, в котором была попытка убедить в том, как многое делает Израел Ори для Армении и как велика в настоящее время надежда, что счастье постучится наконец к армянскому народу.

Прочитал он и письмо Иоганна-Вильгельма к мелику Сафразу. Мирон Василев подробно ознакомил преосвященного с тем, как прошла встреча Израела Ори с царем Петром. Все уже было ясно. Сейчас обменивались мнениями о том, что написать Израелу Ори и архимандриту Минасу. Наконец письмо было закончено: «От престолонаследника Святого Эчмиадзина архимандрита Минаса, от сына мелика Агаджана мелика Яври, от сына мелика Григора мелика Костандина. Почитаемые нами архимандрит Минас и господин Израел Ори, денно и ночью молим всемогущего бо-

¹ Григор Нарекаци — великий армянский поэт X века. «Нарек», или «Книга скорбных песнопений», его великое творение.

га, чтобы ваши деяния увенчались доброй удачей. До нас дошли ваши обнадеживающие вести, кои вызвали великую радость тем, что наконец исполнится божье провидение. Мы бы ответили вам подробнее, но боимся пробудить зверя. Не обессудьте нас за краткость...»

В письме они изложили и то, как с каждым днем тяжелее становится доля народная и что все упование теперь на те добрые надежды, весть о которых дошла до них благодаря благословенному армянину Миرونу Василеву, архимандриту Минасу и Исраелу Ори. Описали и то, как истощенный народ тем не менее защищает свою честь и национальное достоинство, рассказывали о кровавых событиях по случаю праздника воздвижения в Нахичеване и Ереване, поведали о беспримерных подвигах повстанцев Змеиной горы. Затем все подписались, приложили печать и вручили Миرونу Василеву.

Преосвященный благословил его обратный путь.

8

Над Гандзасаром разлилось ясное майское утро. Вместе с первым лучом света в узком окне резиденции показалась седая голова католикоса Есаи Гасан-Джалаляна. Он оглядел усталым взором омытые алмазным светом лесистые горы Джраберда, осенил крестом свои уста и прошептал молитву, благодаря бога за ниспосланное утро.

Над горизонтом стелилась голубовато-зеленая дымка. От таяния снегов на дальних вершинах стал полноводнее Хачен, и рокошующий шум сделался куда громче, но покоя гор не нарушал и он. Казалось, что это и есть голос тишины и быстротечного времени. Голос, который для того и рождался, чтобы напомнить, что все на этом свете сводится к вопросу: быть или не быть?

И в самом деле, всего сорок три дня назад католикосом на престоле был святейший Симон. Есаи еще перед вечерней службой тогда навестил его.

— Знаю, преосвященный, цель твоего визита, но ты ведь сам понимаешь: моя воля непоколебима! — сухим, неуступчивым тоном сказал тогда католикос, едва Есаи подобрал полы сутаны, собираясь сесть. .

— Не всегда полезно быть непоколебимым, святейший. Воля должна родиться из смирения, — сказал преосвященный тихо, спокойно. И затем, подумав, добавил: — А муж

сей, Мирон, прибыл и ждет ответа. И мы должны ответить, потому что наше спасение, если оно вообще возможно, нам принесет только Россия. Только Россия, святейший.. Окинь мысленным взором все окрест: кто нас окружает и что еще нас ждет? Подумай, святейший, и о многом другом, от чего зависит наше существование!

— Волею божьей мы сейчас подданные персидского шаха и должны быть покорны нашей горькой судьбе. Я долго размышлял и пришел к выводу, что под властью иноверцев наше существование более надежно, чем если нас подомнет единоверное мощное государство. Пока я жив, буду руководствоваться своим убеждением, ниспосланным мне свыше, и перед смертью завещаю потомкам то, что считал и считаю праведным. А не пожелаете, как хотите, но повторяю: все только после моей смерти,— на этом католикос Симон замолк.

Той же ночью он умер...

По случаю сороковин со дня смерти католикоса двадцать четвертого мая в Гандзасаре собрались все мелики Сюника. Служба была торжественная и пышная.

На следующий день католикосом Арцаха воссел Есаи Гасан-Джалалян. И вот он после беспокойной ночи смотрел из своего окна на пробуждающиеся горы и чувствовал облегчение на душе. В день его восшествия здесь, в Гандзасаре, снова собрались армянские мелики. Собрались на совет и затем еще, чтобы написать русскому царю, сказать свое слово благодарности ему за то, что он берется за дело их освобождения.

К голубоватому воздуху примешалась солнечная пыль. Постепенно она сошла на лесистые горы. Доброе, солнечное утро словно возвещало близкое возрождение армянской страны. Католикосу казалось даже, что на этот раз солнце взошло не там, где восходит обычно, оно вроде бы вынырнуло чуть севернее... Католикос в радужном настроении опустил в кресло и принялся снова читать письмо архимандрита Минаса католикосу Симону, выписывая при этом для себя на листок бумаги непривычные слуху имена боярина Федора Алексеевича Головина и переводчика Николая Спатариоса, которые помогают Израелу Ори в общении с царем. Потом он от себя написал ответ архимандриту Минасу, полный уверенности и патриотического духа. Закончив с письмами, католикос опять подошел к окну, увидел проходящего по двору монаха, остановил его, попросил посмотреть, сколько времени. Тот завернул к восточной

стене храма, где были солнечные часы, и сказал: «Девять часов двадцать минут, святейший».

Католикос быстро собрал все бумаги и хотел уже выйти, когда вдруг вошел мелик Есаи и взволнованно сообщил, что продолжать совет в Гандзасаре невозможно, потому что шушинский хан что-то разнюхал и сейчас его кзлбаши шныряют по ущельям.

— Подумай, что можно предпринять, мелик? Совет должен состояться.

— Я уж подумал. Нам всем надо сесть на коней и уехать из Гандзасара. С пути свернем к храму Ерицманканц. Там будет удобно и безопасно.

Так и сделали. Совет перенесли в храм Ерицманканц. Он тоже находился в пределах Джраберда, в лесистой долине. На совете кроме восьми сюникских меликов присутствовали еще четыре мелика из Арцах: из Гюлистана мелик Абов Мелик-Бегларян, из Хачена мелик Алаверди, из Дизака мелик Еган, из Джраберда мелик Есаи Израелян. Из Варанды мелика Гусейна Мелик-Шахназаряна не пригласили на этот совет. Ему не доверяли.

Католикос познакомил собравшихся с письмами Израелу Ори и архимандриту Минасу. Все остались довольны ими и ничего не изменили. Долго обсуждали письмо, которое предстояло писать Петру. Заспорили на том, писать ли только о благодарности и о том, как неограниченны полномочия, данные ими Израелу Ори, или еще и сказать, что пусть только русские вступят в пределы Армении, как им будут даны большие права и возможности. Искусный воин мелик Еган мог бы дать полное представление о военной силе Армении и о том, каковы противостоящие ей силы врагов. Но он считал, что Израел Ори, надо думать, тоже все знает.

— Ори уже, наверное, сделал это, исходя из обстоятельств, — сказал мелик Еган. — И такие наши сведения могут, чего доброго, еще и повредить его целям. Надо быть осторожными.

Все согласились с меликом Еганом, и мелик Яври предложил:

— Начнем? Напишем все, что надо и не надо. Потом вычеркнем лишнее, подправим.

Католикос Есаи сделал знак писцу. Тот был в готовности, а мелики уставились на католикоса.

— Пиши, — сказал католикос.

Писец добросовестно записывал все, что говорил като-

ликос, и едва тот перестал диктовать, писец посмотрел на меликов. Они явно считали приемлемым все написанное.

— Говорите дальше, — предложил писец.

И еще о многом писали. Попросили мелика Егана, и он коснулся военной стороны дела. Ему это не в новинку, он бывал в Москве, хорошо знаком с уставными порядками в русской армии и, кроме того, славился в меликстве и во всей Армении как искусный военачальник, который много раз вел успешные битвы против персидских и турецких войск. Восславив царя, он отметил, как укрепятся русские границы, если царь и на юге обезопасит их своим союзом с армянами и грузинами. Затем мелик изложил возможности Армении, точно совпадавшие с тем, что представлял Ори в своей программе.

— Все верно, — поощрил его католикос Есаи Гасан-Джалаян.

Писец еще долго не отрывался от бумаги, но вот сгорели все свечи, и в маленьком храме стало темно.

Во дворе шелестели дубы и орехи. Холодный ветер, насыщенный майским ароматом, задувал в высокое окно, в котором виднелось небо, залитое звездами.

— Что будем делать со светом? — спросил кто-то.

Писец спокойно проговорил:

— Будет свет. При нем писаны наши пергаменты, книги Месропа и Саака. При этом свете Хоренаци писал нашу историю.

Люди с грустью вздохнули, вспомнив прошлое своего народа и услышав священные имена.

Через минуту писец вернулся, неся в руках горящую желтым светом лучину.

Теперь диктовал католикос. Он говорил о богатствах армянских недр и о том, что армяне с готовностью поделятся всеми этими богатствами с Россией, если она возьмет Армению под свое знамя...

— Аминь!.. — в один голос произнесли все, одобряя сказанное, и, довольные, задвигались на местах.

Прочитали еще раз и остались довольны, лишь сделали несколько поправок. Затем подписями и печатью письмо заверили только восемь меликов Сюника. Гандзасарский совет решил хранить участие арцахских меликов в строгой тайне, впредь до прихода русских войск, потому как за арцахцами было установлено строжайшее наблюдение со стороны Персии.

Когда письмо было готово, мелик Хачена предложил

послать дары Федору Алексеевичу Головину и переводчику Николаю Спатарiosу за их услуги и приверженность армянам.

— ...И думаю, что лучше всего послать золота. Оно обяжет их, придаст веры в нашу силу, особенно боярину Головину... Пошлем ему двадцать тысяч золотых и тысячи четыре греку Спатарiosу. Его участие к нашему народу связано с любовью к своему народу. Сейчас судьбы обоих народов весьма схожи, и потому стоит быть щедрым и к нему тоже.

Мелик Пилипос сказал:

— Правильны речи мелика Алаверди. И золота столько надо послать, и поблагодарить Головина за то, что уже сделал, и просить ускорить свершение наших надежд тоже необходимо.

И затем воцарилось молчание, которое явно значило, что не все согласны с предложением. Лучина горела с треском, окрашивая желтым задумчивые бородатые лица и тем делая молчание еще более решающим. Католикос отвел взгляд от дымящегося пламени лучины на мелика Алаверди и заерзал в кресле. Все обратились в слух, ожидая его авторитетного, окончательного слова.

— Не разумно это, в столь смутные времена вывозить из страны такое количество золота. Тем более что нам пока даны всего лишь обещания. Ну а обещание — это еще не дело. И за него платить так щедро не следует...

— Святейший прав! — сказали те, кто до того молчал.

Католикос Есаи Гасан-Джалалян поднял руку, призывая послушать дальше.

— А показать, что мы щедры и признательны, очень даже нужно. И потому вместе со словом благодарности Федору Алексеевичу Головину, советнику великого московского царя, пошлем двадцать тысяч золотыми, как только волею божьей свершится великое дело нашего освобождения, и еще многим одарим его с признательностью за доброту к нам в трудные времена.

— Целуем твою руку, святейший, — возгласили собравшиеся, — за мудрое направление наших деяний!.. Принимаем все беспрекословно...

— Принимаем...

— Теперь письмо...

— Святейший патриарх и благородные мелики! — заговорил писец. — Вы можете выйти подышать воздухом, а я пока перепишу письмо набело и представлю вам на суд...

— Благослови тебя всевышний, сын мой, ты разумное говоришь, — сказал католикос и предложил: — Пойдемте, послушаем лесные голоса, подышим воздухом...

На дворе была темная ночь. Пахло болотом, квакали лягушки. Мелики сели в заброшенном дворе храма кто на что: на могильные плиты в траве, на скамьи. Сели и стали вслушиваться в голоса ночных далей, неуловимые и в то же время очень близкие сердцу.

— У земли тоже свой язык, — сказал сын Наринбека Шахназар.

— Верно говоришь, земля о многом может рассказать, — согласился сын мелика Шаэна Сукиас.

— Язык земли — это язык всех обратившихся в прах наших предков, — сказал сын Айказа Пилипос. — Потому-то, оказавшись на чужбине, всяк мечтает быть похороненным в родимой земле, чтобы, смешавшись с ней, стать словом...

Мелик Абов Мелик-Бегларян, хромя, прошелся, сел на траве, подогнув под себя короткую ногу, и проговорил:

— И для изнывающего от жажды араба шелест песка в пустыне дороже буйных шумов речного потока и влажного дыхания деревьев.

— Оно и понятно, пустыня ему родина... — это вставил слово сын Багдасара Тадевос.

Снова молча послушали звуки, рождающиеся в ночной тишине. А чуть спустя католикос Есаи Гасан-Джалалян проговорил:

— Одно слово — родина!.. Человек тем и славен, что слышит голос родной земли и воспринимает всю его значимость через слово, через язык... И чем древнее язык, тем больше мудрости в родной земле. И все это — и мудрость и язык народа — есть его история, то, что мы называем душой. Как песнь песней звучит для меня этот шелест дубов над этими могилами. Сами по себе они как все дубы на свете, но шелестят по-армянски, потому что здесь могилы армян, здесь храм армянский, здесь развалины бывшего поместья армян Гасан-Джалалянов, разрушенного варварами. И еще, и еще... Когда завтра мы разойдемся по своим обиталищам, нам будет долго слышаться шелест этих деревьев. Он напомнит об этих могилах, об этом храме, о развалинах, о многом другом. Мы будем думать, размышлять...

Вдруг послышалось какое-то рычание, затем тревож-

ное, захлебывающееся бляние, и снова воцарилась тишина.

— Неужели может случиться такое, что нашей родины больше не будет? — тихо спросил сын Агаджана Яври.

— В мире всякое бывало... Народ без родины — не народ. Убиение страны — убиение народа. А это тягчайший из грехов. Теряя одну из стран, мир теряет звено в своей цепи...

Они еще долго беседовали, пока не появился писец и почтительно не пригласил всех войти в храм.

Мелики снова расселись по своим местам, и лучина опять окрасила в желтый цвет их задумчивые лица.

Писец прочитал письмо. Не преминул подбавить красок, восхваляя боярина Головина — «вельможу из вельмож, мудрейшего из мудрых советника великого царя Московии». Все остальное было, как наказали писать католикос и мелики. И заканчивалось письмо словами: «Да продлит бог годы твои, и пусть твои добрые деяния множатся во славу рода твоего в этом и в том мире. Аминь».

Мелики подписали письмо, и тем закончился второй совет гандзасарских именитых мужей.

Все поднялись, посмотрели на крест, отражавший блики горящей лучины.

Минуту стояла торжественная, выразительная тишина, но вот католикос прервал ее словами:

— И пусть наша мольба дойдет до неба и до царя России и народа русского! Будем жить и надеяться! А всем вам счастливого пути! — И он осенил их крестом.

Звезды уже сходили к горизонту, когда мелики, приложившись к пахнувшей ладаном руке католикоса Есаи Гасан-Джалалаяна, покидали пределы древнего храма.

Католикос остался стоять во дворе до тех пор, пока топот лошадей, удаляясь, заглох совсем. И потом он еще долго стоял, затем осенил крестом нарождающийся рассвет и вошел в храм. Там писец уже приготовил ему постель из мягкого сена, чтобы святейший немного вздремнул перед дорогой в Гандзасар.

Но сон не шел к католикосу, ни в этот день, ни в три последующих, пока он наконец не проводил Мирона Василева со всеми бумагами, письмами и напутствиями.

Федор Алексеевич Головин доложил Петру о возвращении Исаела Ори из Римско-Германской Священной империи. Во всех подробностях описал его свиту из пятидесяти человек. Рассказал, что в ее составе есть землемеры, знатоки военного дела, эконоы, переводчики и много других специалистов, даже ткачи есть, шелководы и кузнецы, мастера лить пушки. Есть и купцы. Головин рассказал, что у Ори есть письма от папы римского и Иоганна-Вильгельма к шаху. В них просьба, чтобы не угнетал христиан, находящихся в его подданстве, и не насиловал их в вере...

Боярин с особым восхищением говорил о пышности свиты.

Петр лизнул языком указательный палец и пригладил им короткие усики.

— Велик дух в этом человеке!.. — сказал царь.

— Да, ваше величество, видать, в нем играет сила его погибающего народа.

— Как бы то ни было — велика силушка. Можно ей только удивляться. — Царь снова погладил усы. — А хитер, сукин сын. Обведет и выведет! — И Петр широко, по-доброму улыбнулся.

— Чем же он обводит-то, Петр Алексеевич?

— Сам ведь говоришь, что этого «римского посла» сопровождает свита из пятидесяти человек, не так ли? И, как описываешь, свита богатая, отменная во всех отношениях? Выходит, Римско-Германская империя ничего не пожалела, только бы ошеломить персидского шаха? Но он-то едет отсюда как русский посол?..

— Договаривались ведь так?..

— То-то и оно! Выходит, все надо дать им русское — облачение и деньги? И тоже богатое облачение? А где нам сейчас это брать, когда и нитку для иголки не всегда сыщешь?..

— Но за все ведь потом будет расчет? Он же прокладывает путь будущему вашему походу?..

Петр не ответил. Он только назначил время встречи с Ори.

В войне против Испании кайзер Леопольд добился больших успехов. Еще одно сражение — и обеспечена полная победа. Но пока этой победы не было, Леопольд не только не собирался в поход в Армению, а даже отказал в просьбе Ори послать во главе с ним посольство в Персию. В результате Ори был вынужден опять с помощью всевозможных ухищрений пробуждать сострадание и честолюбие в Иоганне-Вильгельме. Он пытался объяснить ему, какое большое значение может иметь его посольство, как оно поднимет всех армян в Персии, да и вообще христиан... Курфюрст сдался и на этот раз и протянул ему руку помощи. Он сам поехал вместе с Ори в Вену и убедил кайзера, что посольство в Персию — дело первостепенное. Затем он отправил в Рим священнослужителя с поручением, чтобы испросил у папы письмо на имя шаха Персии Султан-Гусейна, с просьбой не притеснять христиан и быть терпимым к их вере. Папа любезно исполнил просьбу курфюрста.

Иоганн-Вильгельм и сам написал письмо подобного содержания. Он также согласился составить и снарядить свиту Ори в соответствии со всеми его требованиями, ничего не пожалел для того, чтобы делегация была достойна Священной Римско-Германской империи.

Все было готово к отправлению, и Ори срочно выехал в Амстердам, закупить там оружие для армянского полка, как задумал давно.

Вернулся он с удачей и уже собирался отбывать в Россию, как случилось большое несчастье: умер кайзер Леопольд. С его уходом из жизни умирала одна из надежд. Ори записал в своем «памятном журнале»: «Умер кайзер Леопольд. Мы в горе склоняемся над его могилой. Не потому он умер, что пришла пора умереть, а потому, что хотел помочь Армении. Судьба армянская! Ты горька и упорна. Но в упорстве армянин сильнее себя...»

Ори отложил свою поездку. Леопольду наследовал Иосиф I, и надо было вести с ним новые переговоры, чтобы новый правитель согласился, подобно своему предшественнику, покровительствовать армянам. Ори задержался на столько, пока в какой-то мере не достиг своих целей. В какой-то мере, потому что теперь он все надежды возлагал на Россию и из Дюссельдорфа уезжал навсегда. Навсегда, но связей, однако, не порывая. Ведь и Россия еще не сказала своего слова.

Наступил день, и Ори сказал жене:

— Астра, мы уезжаем отсюда.

— Мы уезжаем отсюда?.. — удивленно спросила она, и на ресницы ее навернулись слезы. — Ты всегда уезжал один и вдруг «уезжаем»?..

Ори не мог ответить. Невыносимо трудно было сообщить остальное, сказать, что он обязан увезти сыновей в Москву, а она, Астра, должна пока оставаться в Дюссельдорфе, чтобы не навлекать подозрения на Ори.

— Не все ли равно, где мне жить, здесь или в другом месте? Ты ведь всегда должен уезжать. А мне вечно суждено ждать.

— Так было!.. — Ори вздохнул и собрал бороду в кулак. — Мне думается, это мое последнее путешествие! — Он продолжал с закрытыми глазами, тоном мольбы, тоном человека, сознающего, что не исполнил своего долга перед женой. — Если благополучно возвращусь, то пусть хоть в дни старости, но мы будем вместе. Да, любимая! Остается надеяться на счастливую старость. Будем жить этим. У нас будет много что вспоминать. Сейчас я возьму с собой сыновей в Москву, там они будут учиться военному искусству. Освобожденной Армении понадобятся и войско и военачальники. Наши сыновья должны будут со временем принять на себя дело, которое начал их отец. Прости, но ты должна найти в себе силы и перенести это последнее мучение. Жди меня здесь, в Дюссельдорфе, до моего возвращения из Персии.

— А сколько все это продлится?..

— Месяца четыре, самое большее полгода.

— И потом мы уже всегда будем вместе?

— Всегда.

— Прошло пятнадцать лет, как мы женаты, а я не помню такого, чтобы ты хоть пятнадцать дней кряду оставался дома. Ах, Оври! — И на длинных золотистых ресницах Астры повисли слезинки, но она тут же незаметно смахнула их.

Ори поцеловал руки жены.

— Ты не знаешь, родная, что делается со мной в моих скитаниях, как вспомню твои слезы, твои обиды!

После долгого молчания Астра промолвила, словно бы про себя:

— И вьючное животное стонет под тяжелой ношей. Я стонала, но ношу свою несла.

— Поверь, дорогая, это наша последняя разлука. Я не

сомневаюсь, будем потом жить в свободной Армении, и нам будет очень хорошо, Астра. А сейчас пожелай нам доброго пути, мне и нашим сыновьям.

Астра с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться.

На другой день Ори со всей своей свитой и с сыновьями выехал в Москву, чтобы оттуда направиться в Спаан.

3

— Мне очень любопытно, как вы сумели так оснаститься в эдакое время, когда направившая вас страна воюет? Как сумели после смерти Леопольда в столь короткий срок найти общий язык с новым кайзером? Наконец, как вообще все это понимать? Вот я получил письма от ваших меликов. Они выражают благодарность за то, что я принимаю на себя дело освобождения Армении. Можно узнать, кого вы обманываете — Россию или Римско-Германскую империю? А может, и тех и других? — после теплой встречи Петр вдруг стал строго и холодно допрашивать Ори.

Ори это не смутило. На вопрос царя он и сам спросил:

— Если тот, кто протягивает нам руку помощи, делает это во имя веры и гуманности, то в чем он может быть обманут? Ну, а если он собирается ступить в Армению с корыстью, то всякое возможно, и обмануться тоже можно. Все зависит от того, какова цель у вашего величества.

Гордыня не дала Петру стусеваться.

— Ясно, что мы не только ради спасения единоверцев пойдем на юг, — сказал царь. — Я делаю это прежде всего во имя интересов моей страны.

— Нам выгодно, чтобы Россия взяла нас под свою длань, — поспешил исправить неловкость архимандрит, боясь, как бы Ори не зашел слишком далеко. — Россия велика и богата, ей незачем зариться на чужие земли. Если только укрепить границы своей страны? У России, ваше величество, на южных границах две надежные крепости: одна — Армения, другая — Грузия.

— Это так, — согласился Петр. — И Армения к тому же — отличный путь для связи с Индией.

— Однако я тоже хочу быть откровенным с вашим величеством, — снова вступил в разговор Ори, желая ускорить ход переговоров. — Может быть и так, что вы «пойдете на юг», когда для нас это уже будет слишком поздно. Именно поэтому мы пока не можем совсем отвернуться от Священной Римско-Германской империи...

— Оно ведь, пожалуй, лучше быть откровенным,— сказал Петр, пристально глядя в глаза Ори, в коих было видимое смирение и покорность.

— Откровенность сильных столь же честна, сколь и скрытность слабых, великий царь.

Петр, тряхнув головой, откинул назад локоны парика и широко улыбнулся. Улыбка долго светилась в его глазах и в ямочках на щеках...

— Какие цели у вашего посольства? — спросил Петр и, не дав ответить, сказал: — Едете вы в Персию конечно же не послом Рима, а послом Российской империи... В Астрахани вам предоставят судно, которое переправит вас в какой-нибудь порт на границе Персии. Далее матросы судна, присоединившись к вашей свите, будут сопровождать вас до Шемахи. Думаю, что оттуда вы легко доберетесь в Спаан.

— Доберусь, великий царь.

— Сложен ваш путь. У вас будет русское оружие всех видов, даже пушки. Они нужны и для вашей защиты, и для того, чтобы продемонстрировать нашу мощь... У вас будут верительные грамоты от Российской империи. Они позволят свободно передвигаться по Персии и делать все необходимое... Я и сам тоже напишу шаху, чтобы он по совести относился к своим подданным-христианам. Дам вам и подарков шаху от моего имени.

Ори и архимандрит Минас почтительно поклонились.

«Всемогущий бог, неужто ты наконец приблизишь час спасения?» — подумал про себя архимандрит Минас, скользнув взглядом по потолку и еще более воодушевившись, увидев там писанных маслом ангелов.

— Я не напоминаю вам ни о каких ваших обязанностях.— Выражение лица у Петра изменилось.— И не даю распоряжений и указаний, потому как велико и неизбывно мое доверие к вам...

— Благодарю, великий царь, за такое доверие.

— Что вы еще пожелаете?

— Ваше величество, я лелею надежду сформировать полк и по возвращении из Персии представить его вам, чтобы он затем вновь вернулся в Армению, уже вместе с русским войском. С этой целью я привез с собой купленное в Амстердаме оружие. Прошу разрешить мне провезти его через Россию без пошлины.

Петр про себя подумал: «Поразительные эти армяне! Оружие из Амстердама!..» Но внешне он своего удивления не выказал.

— Я прикажу! — Во взгляде и в тоне было благорасположение. — Что еще?

— Еще одна просьба, ваше величество: нет ли возможности вновь возвести Арчила на его троне? В походе против турок он мог бы оказать большую помощь русским...

— Наша свобода, если ее удастся достичь, не будет полной без Грузии, — добавил архимандрит Минас. — Мой царь, я только слышал об Арчиле, знакомства свести не случилось. Но знаю, что он здесь, в Москве, и что бед натерпелся бесчисленно. Богоугодное дело — вернуть ему трон. И стоит это сделать, как Арчил наверняка поднимет весь грузинский народ.

Петр выслушал, склонил голову в задумчивости и потом вдруг коротко отрезал:

— Только войной можно вернуть Арчилу его трон!.. Однако поживем — увидим.

— Я привез с собой сыновей, хотелось бы, чтобы они учились здесь военному искусству. Как посмотрит на это царь?

— Что ж, это хорошо! — В глазах у царя сверкнула улыбка. — Будем учить, коли хочешь. Достоинно позаботимся о них.

— У меня все, ваше величество! — Ори исчерпал свои просьбы, сказал все, что желал сказать.

— Тогда в добрый путь и желаю удачи. Через три дня все будет готово для вашего путешествия. А отец Минас останется здесь, чтобы держать между нами связь.

Уходя от Петра лабиринтами коридоров, каменными ступенями, Ори и Минас вслушивались, как звучали их шаги в этих покоях. Только на улице они наконец вздохнули полной грудью и направились в сторону Успенского собора.

Молчали оба, потому как обоим были ясны намерения и планы русского царя. Но уже на Красной площади архимандрит Минас заговорил.

— Что будем дальше делать?.. — спросил он.

— Утешение разумно искать у друзей по несчастью, — сказал Ори.

— И кто же нам друг по несчастью?

— Грузинский царь, кто же еще?

— Ты прав, я не подумал об Арчиле, видно, потому, что их боль и несчастье я считаю нашей общей бедой...

— И верно считаешь. Так оно и есть.

— Жаль только, что, когда нам необходимо действовать вместе, мы не так уж едины...

— Враги не дают, боятся они нашего единства... Идем-ка, отец Минас, я познакомлю тебя с Арчилом, надеюсь, вы сблизитесь.

В Охотном ряду Ори не нашел дома Арчила. Удивлению его не было конца, и он стоял как вкопанный. Из лавки на углу вышел человек рахитичного склада — узкоплечий, с маленькой головкой на длинной шее. Оглядев незнакомцев, он сказал:

— Дом грузинского царя ищите? Сгорел. В Торговом ряду теперь царь поселился. Так уж случилось. И мне беда, скольких хороших покупателей потерял...

Ори и Минас с горечью глянули друг на друга. Ори рассказал, как в Астрахани тоже у Арчила сгорел дом. И бедный царь тогда очень страдал оттого, что не смог спасти своих рукописей, стихотворений своих...

— Наверное, и тут он многое потерял, — сказал Минас.

— Не без того...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Стоял июнь тысяча семьсот седьмого года. Тучи над Москвой после долгого ливня к полудню, редая, почти совсем рассеялись. Сквозь рваные облака во всю силу палило солнце, рассыпая золотую пыль на мокрое поле, на караван, который только что вышел из города в мирный дальний путь. Он был необычный. И не воинское соединение, и не торговый караван, и уж конечно не посольство. Караван этот, а скорее отряд, состоял примерно из семидесяти человек, имел в своем составе тяжело грузженные повозки, двенадцать полевых пушек, вооруженных всадников и одну карету, которая в пустынном поле казалась необычайно роскошной. В карету были впряжены четыре лошади забайкальской породы. Четверка звенела бубенцами, что было явно по душе бородатому улыбчивому кучеру.

Карета катила пустая. А впереди в седле вороного коня ехал Израел Ори. За спиной развевались на ветру кудри парика. Лицо было озабоченное. В глазах затаенная пе-

чаль. Он, как и задумал, держал путь в Персию в качестве посла от Петра Великого.

Надо сказать, настроение у Исраела Ори было довольно тяжелым. К надежде примешивалось щемящее чувство. Неужто не сбудется то, чему отдана жизнь,— не удастся поднять поверженный армянский народ, возродить страну и трон, утвердить свое государство в союзе с Россией?..

Ори ехал, чуть оторвавшись от свиты. И думал не о сложности своих задач в Персии. Это его не пугало. Там-то он сделает все, что надо. Думалось же ему лишь об одном: как хоть на день ускорить освобождение Армении.

Настроение Ори невольно передалось всем остальным. Они были также молчаливы и сумрачны. Что заботило полковника? Может, ждет опасности в дороге или что другое? Но расспрашивать не решались...

— Герасим,— окликнул Ори.

— Слушаю, господин полковник,— отозвался кучер и подъехал к Ори.— Что изволите?..

— Хочу спросить... Из каких краев будешь?

— С Волги. А как туда попал, и не спрашивайте. Гусар один помер, княжеского рода. Сказали: «Вези, Герасим, доставь покойника с честью до места». Слово господина — приказ. Повез. Да так там и застрял. А тут вдруг к вам приставили, сказали, надобен хороший кучер, мол, волею царскою велено служить. Как не послужишь? На счастье, и вы человеком оказались... Живота не пожалею, господин полковник!..— Герасиму еще многое хотелось бы сказать новому хозяину, да постеснялся, что больно язык развязал, не по чину. И Ори больше вопросов не задавал.

Молчание затягивалось.

— Ваше благородие, в карете вам не будет ли спокойнее?

Ори только погладил выгнутую, лоснящуюся шею коня и улыбнулся.

Герасим понял его.

— Конь что надо. Хороших, видать, кровей. Тоже помесь голландского жеребца и кубанской кобылы?..

Ори, все так же улыбаясь, сказал:

— Может, и помесь. Но как ты узнаешь, что жеребец голландский? А может, кобыла голландская?

Герасим рассмеялся от души:

— Но ведь, господин мой, кубанские жеребцы, они малорослы, как им взлезть на голландскую кобылу? — И он снова засмеялся.

Ему явно хотелось развеселить угрюмого полковника. Ори добродушно посмотрел на славного казака. Герасим сделался серьезным и сказал:

— Точно ветер быстрый степной дончак и отменной стати голландский конь — получается хорошая помесь... А глаза вышли в мать.

— Какие же такие глаза у кубанских лошадей? — поинтересовался Ори.

Как было Герасиму сразу ответить?.. Бросил печальный взгляд на подмосковные поля, которые в эту минуту, пожалуй, ничем не уступали по бескрайности кубанским, и вздохнул из самой глубины души.

— В глазах у наших лошадей, мой господин... Как бы это получше сказать?.. Когда смотришь в глаза нашей лошади, видишь дали наших степей. А степь наша!.. Не могу выразить, мой господин, но это особенные земли — наша Кубань, наш Дон... Если бы вы пожили там хоть с месяц, вы бы разглядели в глазах тамошних коней то, что я описать не умею...

Ори с удовольствием слушал этого русского человека и прекрасно понимал его, хотя знал не все русские слова.

— Давно попал с Кубани на берега Волги? — спросил он.

— Нельзя сказать, чтобы очень давно, ваше благородие. Во время одного похода против татар. Пошел я да там и остался. Но после того еще бывал на Кубани.

— Тогда откуда у тебя эта тоска? Волга ведь тоже на твоей родине, а ты говоришь так, словно живешь на чужбине?

— Так-то оно так, ваше благородие. Конечно, и Волга мне родина, и Дон, и Днепр, и Москва, и все, все, сколько глазу видать. Только вот... — Герасим переложил вожжи из правой руки в левую, перекрестил курчавую бороду и вздохнул. — Должен я вам сказать, мой господин, кто не любит, не жалеет той земли, на которой родился, тому и не понять, что это такое — родина! К примеру, эта лошадь. Когда она со мной, я — счастливый человек: гляну ей в глаза и увижу нашу степь... Не суди меня, мой господин. Человек я...

Ори не ответил. Он привычно сгреб бороду в кулак и смотрел в одну точку. Смотрел и думал о русском кучере. «И Волга мне родина, и Дон, и Днепр...» Слова Герасима неотступно звучали в ушах.

— За что судить-то? — сказал Ори. — Ты же во всем прав, Герасим!..

С этой беседы Герасим считал себя накоротке со своим новым господином, и потому, после довольно долгого молчания, он вдруг смело спросил:

— Ваше благородие, осмелюсь узнать, отчего это вы такой задумчивый все? Теперь, когда я поклялся служить вам верой и правдой, хочу спросить: может, царь-государь наш возложил на вас больно трудные обязанности и вы никак не надеетесь на этих людей?.. Я, конечно, извиняюсь, что говорю такое, но среди них найдется человек десять — пятнадцать, на кого можно положиться. Так что не запирайтесь. А то ведь тяжело, путь наш долг, а потом и чужбина. Нельзя в одиночестве. Думушки заедят.

— Не о том я, Герасим... Мне тоже вспомнились мои горы, моя родина...

Кучер ждал, но Ори не продолжал. Он только придержал коня, обернулся к каравану и скомандовал:

— Привал!

Саша Троекуров промчал вдоль каравана и объявил о приказе. Все подтянулись, остановились и спешились. Герасим расстелил на траве циновки и белую медвежью шкуру, это для Ори. Солнце уже поднялось над горизонтом. Оно разгоралось с каждым мгновением и, казалось, вот-вот охватит пламенем домики с соломенными крышами.

Натаскали сухостоя из ближнего леса, развели костры. Послали людей на хутор, купить поесть. Скоро у них были барашки, поросята, копчености.

Ужин первого дня пути готовился долго. Для Ори кашеварил сам Герасим. Все спрашивал, чего бы ему хотелось, чтоб повкуснее. И не желает ли пирогов с капустой, еще из Москвы прихваченных, или сала с хреном, а то, может, сельди копченой?

— Шашлычка бы из баранины! — сказал Ори.

Герасим пожал плечами, виновато улыбаясь.

— Ничего, — успокоил Ори, — разок сам приготовлю, ты и научишься.

— Как, ваше благородие? Негоже это, чтобы вы сами с кухней возились! — Герасим, человек и без того румяный, стал как рак красный.

— Ничего, ты только помоги нарезать мясо и лук. Шашлык в пути — самое легкое дело. И вкусно.

Скоро ароматный дымок распространился над всем лагерем, и люди, вдыхая его, интересовались: что за диковин-

ная еда у их полковника? А когда попробовали, не могли нахвалиться.

А Герасим не без смущенья спросил:

— Водочку пьете, ваше благородие?

— Пью, почему бы нет, — улыбаясь ответил Ори.

Тогда Герасим кинулся к карете, извлек там бутылку с водкой, принес ее, поставил перед Ори и хотел было отойти, но Ори не позволил ему, сказал, что обедать впредь будут вместе.

Утолив голод, люди тихо беседовали, сидя вокруг догорающих костров. Тем временем стало совсем темно, на небе заискрились звезды, создавая мечтательное настроение. Тут и там затянули песни. Маленький караван был многоязычен, в его составе были римляне и немцы, чехи и французы, поляки и венгры. И конечно же — русские. Пели каждый на своем языке. Грустным было это чужезычное пение. Всех давила тоска по оставленной родине. Единое настроение поющих создавало такое впечатление, будто и песнь они пели одну. Ори, облокотясь на медвежьей шкуре, вглядывался в соломенные крыши домов на горизонте и слушал эту многоязычную песню, которой предстояло сопровождать его на всем пути. Рядом с ним прилегли на траве его денщики: чех Василий Червинский и русский паренек Саша Троекуров, кучер Герасим и секретари. Эти не пели, но тоже грустили. Когда последние слова песни унеслись и иссякли в глуби леса, в темных далях степи, Ори сказал сам себе по-армянски: «Истинно человеческое — всегда общечеловечно». И в ушах у него еще долго звучала разноязыкая песнь.

Постепенно огни костров исчезли в пепле. И на поле сошла тишина. Только костер Ори горел и потрескивал до поздней ночи. А вокруг гудились люди и с любопытством спрашивали своего командира о южных странах и о том, когда и какими дорогами они доберутся до Персии. И Ори терпеливо и подробно отвечал всем.

А когда караван снова собрался в путь, Герасим подошел и просительно предложил:

— Ваше благородие, — он показал на карету, — поберегите себя. Сами ведь говорите, что пути нашему конца нет. Устанете на коне...

Ори передал коня Василию Червинскому и сам сел рядом с кучером. Герасим виртуозно взмахнул вожжами, лошади сразу же пошли мелкой рысью. На ровной дороге карета катила мягко. Кучер старался сохранить равномерный

ход лошадей и одновременно думал о таинственном полковнике и его таинственном караване. Он ничего не знал о том, с какой целью они едут в Персию, какие грузы везут, почему так разношерстны и разноплеменны эти люди. И хотел узнать и не хотел, потому как считал все это делом господ, а следовательно, ему грех дознаваться, какие такие дела у его господина. И порешил он, что коли согласился служить, так уж постарается быть полезным, а потом, может, чего и узнает при удобном случае...

Полковник теперь, в карете, и вовсе молчал. Время от времени Герасим взглядывал на него, пытался вызвать на разговор, на шутку, чтобы рассеять его настроение. Но Ори, не замечая этих уловок, смотрел в одну точку, и Герасиму ничего не оставалось, как покашлять в кулак и стегануть кнутом лошадей.

— Герасим, — вдруг обратился полковник, — петь умеешь?

Кучер обернулся всем своим огромным телом и улыбаясь сказал:

— Бывает, и пою, ваше благородие. Почему бы и нет? Попадутся веселые путники. До того сами допоются, дух вон. Ну и, глядишь, попросят: «Спой что-нибудь». И начинаю петь. Да на свете небось таких людей и нет, кто бы не пел.

Ори улыбнулся.

— Тогда спой. Что-нибудь близкое твоему сердцу. Может, какую старинную песню?

— Старинную, говорите?.. — Герасим закусил кончик уса, сощурил глаза и стал очень серьезным, словно припоминал что-то. А чуть спустя он уже пел. О бедной, многострадной России... Пел хриплым, но приятным голосом.

Но вот песня кончилась, и Герасим как был грустным, так и остался. Пока Ори не спросил:

— О чем песня?..

— О предках наших, ваше благородие, — и он стеганул коней. — О Дмитрие Донском и россиянах. Не шутка, без малого триста лет под чужой властью... А чужая рука бывает ой как тяжела. Вон уж сколько прошло, а все чувствуется... Не дай бог никакому народу под чужим игом жить. Да будет незыблема сила и власть царя-батюшки Петра Алексеевича.

— Гони, Герасим, быстрее! — приказал Ори. — Быстрее, еще быстрее!..

Герасим удивленно посмотрел на полковника и стеганул и без того быстро скачущих лошадей.

— Быстрее, быстрее!.. — снова послышался голос полковника.

По ровной дороге неслась карета. Прохладный ветерок тем не менее не остудил жара на лице Ори.

Когда вспененные кони стали уставать, Герасим придержал их.

— Осмелюсь спросить моего господина, зачем эдак гнать?

— Это как твоя песня, твое в ней волнение...

Понял его Герасим или нет, но ничего не сказал, только пожал плечами.

Караван нагнал их не скоро. Снова сделали привал, снова зажгли костры, зазвучала песня. И на этот раз костер Ори не гас до поздней ночи, и опять до поздней ночи вокруг него грудились люди, велись жаркие разговоры...

Четвертую ночь провели на берегу Волги. Герасим, сойдя с облучка, плеснул себе немного воды на бороду, зачесал мокрыми пальцами длинные волосы, стриженные под кружок, и с того дня настроение у него стало совсем хорошим...

Они еще не раз устраивали привал, жгли костры, готовили пищу — и все по берегу Волги, — пока наконец не добрались до Астрахани.

Корабль в Астрахани был уже снаряжен, и потому ждать отправки пришлось недолго.

2

Дзин-дзинь, дзин-дзинь!.. — звенело над лесом, и листья, словно передавая друг другу звон колокола, уносили его выше и выше, в самое небо. На горы Джраберда опустился голубой, как дым ладана, вечер, и взметнувшийся к небу храм Гандзасара постепенно совсем утонул в тумане. В ущельях стемнело, и тьма медленно стала подниматься в горы. В черном небе заискрились звезды, а одна, красноватая, вроде бы и не звезда. Оно и впрямь так. Это окно кельи святейшего. Каждую ночь после вечерни зажигается красноватое оконце и угасает вместе со звездами перед рассветом.

Католикос Есаи Гасан-Джалалян только что закончил чтение «Истории армян» Мовсеса Хоренаци. В четвертый раз уж читал. Постигнув свет мудрости, он подошел к светильнику, чтобы погасить его, и тут вдруг прозвучал

удар гонга у ворот церковного двора. В такое неурочное время удар этот вызвал недоброе беспокойство в святейшем. «Господи, упаси нас от зла!» — прошептал он про себя и прислушался. Еще ударили в гонг, и чуть спустя начались переговоры между привратником и пришельцами. Потом скрипнули ворота и по каменным плитам двора застучали копыта лошадей.

Святейший сел в кресло, держа в руках раскрытую «Историю армян», и стал ждать.

— Не спишь еще, святейший? — постучавшись, заботливо спросил молодой монах, чье белое лицо только еще замкнула в круг черная, курчавая борода.

— И добрая у тебя весть? — не отвечая на вопрос, спросил святейший и пристально посмотрел ему в глаза, пытаясь поскорее разгадать правду.

— Не дурная, — поспешил успокоить его монах, — тебе хочет засвидетельствовать свое почтение высокопоставленный воин-чужеземец, который свободно говорит по-армянски. По виду похоже, что он проделал долгий путь к своей цели.

Католикос опустил веки и прикрыл глаза.

— Пусть войдет, — сказал он.

Монах вышел. Звук его неспешных шагов прозвучал на каменных плитах и, утихая, иссяк за стеной. А чуть спустя кто-то тяжелыми шагами быстро поднялся по лестнице и постучал в дверь к святейшему.

— Войдите!.. — Католикос закрыл книгу, заложив при этом палец между страницами, высоко поднял голову и посмотрел на стоявшего у двери воина. Что-то в нем было такое, будто он не впервые встречался со святейшим.

Отложив книгу, католикос встал, протянул из черного широкого рукава сморщенную старческую руку. Воин взял протянутую руку католикоса, как подобает, поцеловал ее и еще мгновение не выпускал, а глаза продолжали улыбаться знакомой улыбкой...

— Ори, сын мой!.. — узнал наконец католикос, и они обнялись. Католикос Есаи Гасан-Джалалян, будучи человеком бесстрашным, в то же время не лишен чувствительности. Вот и сейчас он прослезился и сказал: — Ты как птица феникс: и сгоришь, так возродишься из пепла!..

— Меня не скрутить, это верно, — согласился Ори.

— И слава богу!

Они сели. В одном из углов верещал сверчок. В узкое, продолговатое окно предрассветный ветер доносил запахи леса и шум полноводной реки Хачен.

— Восемь лет прошло, если мне не изменяет память?.. Был тысяча шестьсот девяносто девятый год, май месяц. Еще католикос Симон был жив?— Святейший всматривался в лицо Ори, пытаюсь разглядеть, велики ли в нем перемены. Всматривался и грустно улыбался.— Ты тогда приехал, заручившись согласием европейских владык помочь народу нашему. Помнишь нашу встречу? Велико было твоё воодушевление, которое ты передал и нам. Мы знаем и всегда помним о твоих великих мучениях. Благослови тебя бог. Однако надо крепко держаться за русского царя. У нас нет другой опоры. И разумно было твоё стремление: сохраняя связь с Европой, в основном иметь дело с русскими... Как там Минас?

— Пребывает с верой в своё дело. Здоров.

— Слава всемогущему. А на этот раз ты к нам с какими намерениями? И что обнадеживающего можешь сообщить?..

Ори рассказал все подробно.

Есаи Гасан-Джалалян ударил себя по колену сухой рукой с проступающими на ней венами и печально покачал головой.

— И что же с нами будет?.. Ясное дело, мольбой не проживешь, надо уповать на собственную силу. Где вы, Айк и Арам, Тиран и Тигран, Ашот и Арташес, полководцы Вардан и Ваан? И вы, Месроп Маштоц, Саак Партев? Где вы?..— Католикос воздел руки в небо, перекрестился и, дабы успокоиться, отпил настоя шиповника.

— Святейший патриарх, усопшие нам не помогут,— внушительно прозвучал под сводом покоев ровный голос Ори.— Мы можем только поклясться могилами этих предков, что не отдадим оставленного ими. Ну, а чтобы не отдавать, надо прежде всего не отчаиваться. Сейчас мы нужны русским: во-первых, для защиты их страны от набегов с юга и для торговых связей со всем Востоком, которые удобно осуществлять дорогами, ведущими через наши земли. Петр твердо обещает нам помощь, но пока он хочет расширить и укрепить свои границы на западе и потом только сможет направиться на юг. Так он сам говорит. Но кто может заверить, что после войны со шведами у него не объявятся новые заботы? Нам надо убедить Петра... Я старался, как мог, дать ему понять, что на Западе тоже кое-кому интересно иметь влияние в Армении и что мы сами по себе тоже сила. Нам бы только немного помочь.

— А где она, наша сила?— с болью спросил святейший,

и так тихо, словно его мог слышать сам русский император.

— Святейший, народ, не имеющий своей силы, и мечтать не может о свободе и самостоятельности. Сила в самом нашем народе, его только надо вооружить, что называется, поднять на ноги.

— А оружие? Где его взять?..

— Я привез оружия на целый полк.

Ори рассказал, где и каким образом он приобрел оружие. Рассказал о своих планах поездки в Персию и о полке, с которым он хочет предстать перед Петром. Так написал святейшему картину свободной Армении, что у того из глубоко запавших глаз скатились слезы.

Закончив разговор, Ори встал, поднялся и католикос, обхватив голову Ори, прижал к впалой груди, поцеловал и снова уронил слезу.

— Именем всех святых и всех славных армян благословляю тебя, человека, добровольно принявшего на себя великие мучения!— изменившимся от волнения голосом сказал католикос Есаи.— Опять тебя ждут тяжелые дороги. Сейчас тебе надо отдохнуть. Иди, а я поразмышляю, чем тебе помочь, какой дать совет,— и католикос перекрестил Ори.

— Грузенные оружием телеги скоро будут здесь, святейший. Я подожду, пока их встретят.

— Не надо об этом беспокоиться. Кто тебя сопровождает?

— Два крестьянина из Шамхора. Свою свиту я оставил по ту сторону Гандзака. Встречусь с ней потом в степях Ширвана. Ночью. Все делается с большой осторожностью. Шемахинский хан Гусейн, у которого мне предстоит остановиться и ждать приглашения от шаха, ни в коем случае не должен знать, что я сильно отклонился от своего пути. Этим можно все испортить.

— Ты прав,— согласился католикос.— Этот хан Гусейн коварен, как змея, обожженная солнцем. Не зря о нем говорят, что он отрекшийся от веры христианин. С ним ты будь во всем осторожен. Завтра же созовем совет, и потом я сам буду сопровождать тебя к твоей свите. Ну, иди отдохни, бог в помощь.

— Бог в помощь!— ответил Ори.

Католикос кликнул служку, и Ори вышел с ним...

Дзин-дзинь, дзин-дзинь... В ущельях Гандзасара звонили колокола, высокий купол храма омылся золотом солнца.

Голубь, сорвавшись с колокольни, взмыл к солнцу, купаясь в его лучах, потом устремился вниз и, как капля солнца, растворился в темном ущелье.

3

В черном небе заискрились звезды. Красноватая точка-оконце в эту ночь светилась ярче обычного. Так бывает только тогда, когда у католикоса Есаи Гасан-Джалаляна собираются на совет арцахские мелики, — как правило, несколько раз в году. Сегодня свету в покоях католикоса прибавилось не потому. Среди собравшихся было только двое мирских — Ори и с ним рядом, как орел на вершине, сверкая атласом откинутых рукавов кабы, восседал мрачный и гордый хозяин Джраберда — мелик Есаи Израелян. Он внимательно слушал речи всех, не проявляя никаких эмоций. Но в конце сказал и он.

— Сообщаю от имени всех меликов Арцаха: у нас есть и оружие, и войско, и хлеб. Есть и сила. Надо только заполучить согласие русского царя, чтобы оказал нам некоторую помощь, а главное — стал бы опорой. И если согласен что-то делать — пусть скорей делает. Враги Персии поднимаются. Сами персы тоже сейчас вынуждены выступать против турок. Нужно использовать все эти обстоятельства и снять с нас петлю, если не хотим вовсе задохнуться... Не приведи господь, Персия одолеет своих врагов. Ты мудр, господин Ори, из поколения в поколение все мы вечно будем тебе обязаны, укрепи нашу связь с русским царем. Ты уже убедил нас, что, кроме русских, армянам не на кого сейчас надеяться. Петр — наша надежда. И ты тоже наша надежда, славный Ори. Говоришь, надо показать царю нашу силу? Изволь. Вот вернешься из Персии и поведешь любой, какой захочешь по численности, кавалерийский полк. Хочешь — и два!

Мягко струили свет лампы. Запах горящего масла смешивался с запахом старых книг, с ладанным духом облачений священников. У кого-то в руках монотонно перестукивались четки. Где-то жужжал и бился о стекло жук. Но вот он улетел и четки перестали стучать. Прозвучал голос католикоса:

— И вывести отсюда в Россию такой полк, и вернуть его обратно, сохранив в войнах силу, — это трудно, даже невозможно. А если не это, то что же делать?.. — Четки снова какое-то время постучали и замолкли. — Волею все-

могущего господа бога и с благословением нашим высокочтимый Ори вернется из своей миссии, и я тогда вместе с ним отправлюсь к царю русскому, подтвердить все, что обещал Ори. Это не последнее мое слово, скажите, я послушаю вас.

— Разумно решение твое, святейший!— сказал мелик Есаи.— Поедешь вместе с Ори, а мы здесь поднимем все наши силы, создадим войско и станем вас ждать.

Один из священнослужителей, по виду скорее похожий на полководца, не согласился ни со святейшим, ни с меликом Есаи.

— Мы можем вооружить людей,— сказал он,— но обучить — нет. У нас нет обученных воинов и войска. Русские знают нынешние способы ведения войны, и благородный Ори прав, что хочет повести к ним наш полк. Там он не только себя покажет, но и кое-чему поучится. И воины этого полка вернутся утроенные в силе своей. Во всем этом есть другая сложность — как собрать и как потом провести этот полк, чтобы все к тому же сохранить в тайне от наших врагов. И еще я не очень уверен, что в столь трудное время русские впрямь нам помогут.

Другой священник — его называли вардапетом Вааном — с большим знанием говорил о том, как, по его мнению, следовало бы вооружить и готовить полк. Ори, наклонившись к мелику Есаи, спросил: кто этот странный священник, столь сведущий в военном деле? «Мелик Григор это», — сказал Есаи, полагая, что все остальное должно быть ясно Ори. «Мелик? Тогда почему в сутане?» — мысленно недоумевал Ори.

Пришло время говорить и Ори. Все ждали его слова. Оно было кратким. Ори тоже считал разумным решение католикоса вести с Петром переговоры. Но он не отказался от мысли вернуться в Россию с одним полком. Соглашаясь со всем, что сказал вардапет Ваан, Ори сказал:

— Если у нас нет возможности иметь войско внутри страны, то мы в состоянии содержать это войско вне страны, пока не выдаться случай использовать его. Кстати, рассеянные по России армяне могут стянуться к такому нашему войску. У нас есть время подумать обо всем. Ну, а оружие, которое мы имеем сейчас, надо вложить в надежные руки.

— Мы все согласны с этим, не так ли?— спросил католикос.

— Все!.. — подтвердили собравшиеся.

Католикос встал.

— Отсюда и близко до Спаана, — сказал он, — и очень далеко... Это тяжелый путь, тернистый. Но Ори бывалый путешественник, и тьму на своих дорогах он всегда рассеивал светом большой веры. От его любви к родине терн у него под ногами превращался в бархат. Благослови господь его новое дело. Это новое путешествие Ори может продлиться и год, и два. Но, может, обстоятельства еще и изменятся?.. Тогда поговорим! А сейчас пусть Ори действует, а мы через архимандрита Минаса продолжим нашу связь с Петром. И через наших меликов вооружим людей. Будем больше заботиться о повстанцах. Пока удовольствуемся стольким.

Все поднялись.

4

В полночь загудели каменные плиты, тяжело скрипнули ворота, и пять всадников, выехав из пределов храма, погнали коней в сторону Хаченского ущелья.

Одним из тех, кто умчался, был Израел Ори, двое других — его денщики-телохранители Червинский и Троекуров, четвертый был рыжебородый, крепкий, как пень, вардапет Ваан, тот самый, что на совете принимал живое участие в обсуждении всех вопросов. Он оказался двоюродным братом католикоса, некогда хозяин Хачена — мелик Григор Гасан-Джалалян. В свое время, после многочисленных подвигов, он передал меликство брату, мелику Алаверди, а сам удалился от мирской жизни, поступил в Гандзасарский монастырь и был возведен в сан вардапета. Пятый из всадников тоже был из священников и тоже с ружьем и мечом...

Выехав из Хаченского ущелья, они короткой дорогой перевалили горы Джраберда и подножием горы Мров спустились в долину реки Инджи.

Над ущельем сияли звезды, земля дышала ночной прохладой, вдали пересвистывались птицы. Ори молча наслаждался природой родной земли. Вдруг он остановил коня и глянул вверх: с высокой вершины смотрел горный козел, шевеля огромными выгнутыми рогами. В жилах вардапета Ваана взыграла былая удаль. Он вскинул ружье, проверил кремень.

— Пусть живет, — сказал Ори, — не жалко разве лишать

его такого счастья?— И, широко раскинув руки, он показал на голубые, устремленные к небу горы.

— Верно говоришь. Да и грех это для священника — пролить невинную кровь,— согласился вардапет Ваан и опустил ружье.

Ехали вниз по ущелью. Оно петляло, а потом и вовсе разветвлялось. Свернули направо. Теперь шли вдоль русла реки Зив вниз по течению. В одном месте Ори снова остановил коня и воскликнул:

— Слава тебе!— и снял шляпу.

Напротив, прямо из ущелья, поднималась лесистая гора, и на вершине ее величественно высилась крепость Гюлистан, натянув на себя широкий полог синего звездного неба. На башнях просматривались дозорные. Они иногда проходили по крепостной стене, и совсем не слышен был звук их шагов, потому что горная Зива, которая справа обхватывала крепость, шумела так, словно в ней все еще эхом отдавались свист пушечных стрел, ликующие победные возгласы, крики поверженных врагов — все, что видели стены веками...

— Слава тебе!..— повторил Ори и спешил.

Остальные тоже последовали его примеру и в какой уже раз, точно зачарованные, любовались творением рук своих предков. Вардапет Ваан показал, где, в восточной стороне крепости, у единственного входа, расположен дворец мелика Абова Мелик-Бегларяна. Ори знал Абова еще со времен Ангехакотского совета. Знал как умного человека, храброго и смелого воина. Вспомнилось, как Абов, хромя, вышагивал по ковру и говорил свое слово к письму Петру Первому.

Один за другим гасли небесные светила. Над крепостью осталось висеть всего несколько звезд, среди которых ярче других блистала Полярная звезда.

— Может, стоит встретиться с меликом Абовом?— обращаясь к вардапету Ваану, раздумчиво спросил Ори.— В другой раз едва ли дорога так предусмотрительно приведет меня сюда...

— Для мелика это будет огромная радость, увидеть тебя в своей крепости. И нам очень приятно присутствовать при такой встрече, да еще в Гюлистане!.. Однако сейчас ни ужом не проползти, ни птицей не перелететь за эти стены. А пока будем переговариваться, рассветет, и мы потеряем целый день. Мой совет — отказаться от этой задумки.

— Придется отказаться,— не без сожаления проговорил Ори, и, вскочив на коней, они помчали дальше.

Сделали короткий привал в селе Вериншен. И затем, миновав Неркиншен, Гахтут, Манасиншен, Карчинарик, вошли в долину Зейви. Рассвет встретили в степи Геранбоя. Это было то место, где, по совету святейшего и вардапета Ваана, Ори должен был ждать свою свиту и груженные кладью возы, которые два дня назад выехали сюда из Гандзасара. Возы были уже здесь, а свита еще не добралась. Вардапет Ваан подождал, пока подъехала и свита.

— Ну, до новой встречи! — сказал ему, прощаясь, Ори. Они обнялись и расстались в надежде...

5

Из шахского дворца уже давно известили шемахинского хана Гусейна о том, что ожидается прибытие посольства от русского царя, и было велено принять его с подобающей пышностью... Хан Гусейн выехал встречать послов на белом коне, в белой чалме с красным кэлбашским знаком на ней. Белыми были на нем и шаровары и рубашка. Только пояс красного шелка и сапоги красные, сафьяновые. Все это было как бы знаком дружбы по отношению к посольству и конечно же к русскому царю. Хан отменно вооружил и свою свиту, желая показать мощь ханства. У него у самого была только кривая сабля с рукоятью, инкрустированной серебром и драгоценными камнями, и пистолет за поясом.

Свита Ори сейчас была очень велика. Присоединились еще и матросы с корабля, доставившего его из Астрахани. Был приказ Петра, чтобы матросы сопровождали его до Шемахи.

Приближаясь к Шемахе, Ори замаскировал все пушки на возах. И почему-то разоружил всех, у кого были ружья, оставил только сабли, кинжалы — холодное оружие. Сам Ори облачился в парадное платье, приладил у пояса русскую шашку во всем блеске мастерского исполнения. Ехал он в карете, возглавляя кортеж. По обе стороны кареты шли по пять всадников в мундирах царской гвардии, сзади шла свита, добротнo разодетая во все одинаковое. За ней следовали матросы, равномерно раскачиваясь, как на волнах, затем уже двигались груженные возы, лошади и мулы.

Хан Гусейн поначалу растерялся. Он еще отродясь не видал столь богатой свиты. Даже шах не доходил до такой пышности.

Встреча состоялась за городом, на перекрестке дорог,

ведущих в армянские села Сагиян и Мейсари. Хан шагах в двадцати от кареты спешился и, чуть согнувшись в спине, гусиными шажками двинулся вперед. Ори тоже вышел из кареты и пошел навстречу хану. Они пожали друг другу руки. Ори сказал:

— От великого самодержца, государя императора Всея Большой и Малой и Белой Руси Петра Алексеевича — поклон. Сегодня я вступил в страну великого шаха Персии под знаком добрых намерений моего государя императора. И первым у нас на пути — ханство благороднейшего хана Гусейна, а потому да позволено будет слуге великого царя также приветствовать тебя, хан.

Снова пожали руки, и хан ответил:

— Добро пожаловать, посол царя России. Отныне ты наш гость, располагай и головой и глазами нашими!

Тут же подошел один из ханских слуг с серебряным подносом на голове, ловко снял поднос, сдернул с него полотняное покрывало и протянул поднос хану и Ори.

Разделили хлеб-соль.

— Мое ханство тебе в дар!.. — велеречиво произнес хан и показал рукой на дорогу, ведущую в гору.

И скоро вступили в город. На крышах, на улицах — всюду толпился народ. Кроме обычного любопытства, в людях теплилась надежда, что приезд в их страну русского посла — добрый знак. Они радовались этому и дарили посла улыбками, словами привета и пожеланиями удачи. Кое-кто бросал цветы, не замечая недовольных взглядов хана и его телохранителей.

В тот же день матросы отправились в обратный путь.

Прошло два-три дня в ожидании, когда поступит разрешение шаха на въезд в Спаан.

На третий день хан дал обед в честь посольства, где обменялись дарами, заверениями во взаимном почтении и доверии. Улучив момент, Ори не преминул воздать должное мощи русского оружия, гению Петра и его новым победам над шведами. Отметил он и то, какое большое значение может иметь доброе расположение государя, правящего столь сильным государством. Там же, за обедом, было решено уже на следующий день с помощью гонца сообщить шаху о прибытии посольства в Шемаху.

И действительно, на следующий день гонец отправился в Спаан с письмом Ори к шаху, где выражалась благодарность за прекрасный прием в стране великого шаха и просьба разрешить въехать в Спаан.

Так как шах не мог позволить себе отказать русскому царю в приеме его торгового посольства, он еще раньше дал разрешение явиться к нему и одновременно предупредил хана Гусейна словами: «Шемаха — северный заслон нашей страны. За опасность, явившуюся оттуда, головой отвечаешь ты. А потому, во избежание неприятностей, окажи посольству Петра всяческие почести, но сделай все, чтобы оно не дошло до шахского города...»

И вот гонец вез шаху вместе с письмом Ори также и письмо хана Гусейна, где тот докладывал, что за три дня он уже сумел многое узнать и приметить в этих русских и, как шах своим гением предположил, это действительно очень большая опасность, которую следует искусно ликвидировать, сделать все, чтобы она не проникла в сердце страны. «...Мой солнцеликий шах,— писал хан,— ты хозяин суши и морей, а я, земля под твоими ногами, пыль на твоих сапогах, установил, что этот посол русского царя — армянин, и зовется он Израелом Ори. Это явно чужое имя. Он, как смог заметить твой раб, столь хитер, что может сухим из воды выйти. Конечно, из моих рук он не ускользнет, но я хотел бы заручиться советом моего пронизательного и мудрого шаха: как мне впредь вести себя с этим нечестивцем? У него с собой много людей. И часть еще уплыла обратно на корабле. Свита этого посла, еще не войдя в мое ханство, уже начала сеять смуту в христианах, проживающих в моем ханстве, стала им опорой и надеждой!..»

Всемогущий и великий мой шах, у этого Израела Ори с собой много груженных волов, лошадей и мулов, что, по его словам, есть дары русского царя твоему божественному и могущественному величеству. Остальное — якобы запас пищи и другие нужные им вещи.

Чтобы ничего не упустить, имею доложить моему владыке шаху, что этого нечестивца, так называемого Израела Ори, сопровождают шестьдесят девять мужчин и одна женщина. Женщина с мужем. Она — четвертый секретарь Ори. Из мужчин восемнадцать имеют русские мечи. Постараемся, подкупив одного из них, узнать и еще кое-какие сведения. Пока мне больше нечего сказать, кроме того, что кланяюсь тебе в ноги, лобызаю твой след».

Гонец умчался.

Вернулся он через четыре месяца. Ори узнал через хана, что шах, будучи занят другими делами, отложил прием на неопределенное время.

Все было ясно. Ори стал думать о том, как найти пути к шаху, а хан — о том, как бы перетянуть к себе кого-нибудь из людей Ори, умаслить и выудить все, что надо...

6

Весть о том, что русский царь прислал в Персию пышное посольство, которое возглавляет армянин из благородного рода, воин в высоком чине, вызвала ликование среди персидских армян. Везде только об этом и говорили, и каждый комментировал событие в силу своего воображения. И так как посольство ожидали в Спаан, тамошние армяне, порывшись в древних рукописях, вычитали в них и передали друг другу, что еще Нерсес Партев в очень давние времена предсказал, что возрождение армянского царства произойдет только с помощью москвитян, и вот, мол, настало это время. И армяне, которых около ста лет назад шах Аббас отринул от родины и загнал в Спаан, шли еще дальше в своих мечтах об освобождении. Они, мысленно вводя Армению в старые границы, уже короновали Исаиэла Ори, потом кирками своих мыслей выкапывали из-под вековых развалин древние армянские столицы — Армавир, Двин, Вагаршапат, Ани, Арташат, возрождали их из руин и выбирали из них в качестве столицы самую удобную. И конечно, из-за этого уже шли споры. Одни считали, что удобнее всего Ани, другие — Армавир, Двин и прочее. Спорили и одновременно мысленно продолжали возрождать некогда разрушенные городища: Ван, Алашкерт, Тигранакерт, Нахичеван, Тарон, Муш, Миджеван, Карс, Карин, Игдир, Махун. Проводили от них безопасные пути во все страны и, забыв о кознях и заговорах, торговали со всеми, развивали ремесла и науку, щедро отдавали то, что имеют, и брали то, чего у них не было. Мечтали и всюду говорили о своих мечтах, не отдавая отчета в том, что этим могут навлечь беду на Исаиэла Ори.

И так оно и получилось. Ори едва приехал в Шемаху и шах еще не получал письма хана Гусейна, а великий визирь уже сообщал шаху:

— В Спаане и везде, где есть армяне, говорят о русском посольстве, об Исаиэле Ори, и слухи эти нас очень поражают. Сегодня торговый представитель Франции Мишель просится ко мне на прием, говорит, что имеет сообщить нечто важное об этом посольстве. Ваше величество шах, с ним надо поступить круто. Наша страна и без того

полна всякого сброда. А сколько армян-нечестивцев?.. Русский царь не сумеет нас обвинить, а мы все сделаем тонко...

Шах был навеселе и потому не стал с ним разговаривать.

— Иди,— сказал он,— придешь завтра.

Это в то же время означало, что шах велит все продумать, посоветоваться с назирами и визирями, принять решение и представить ему на рассмотрение.

На другой день визирь пришел поначалу молчаливый.

— Что нового, визирь?— спросил шах Сулейман-Гусейн, забыв тем не менее о вчерашней беседе.

— Не смогли принять никакого решения, ваше величество,— пожал плечами визирь.

— О чем решение?

— О посольстве русского царя. Сегодня прибыл гонец, привез письма от шемахинского хана Гусейна и от Исраела Ори...— Он прочитал оба письма вслух и добавил:— Одно затруднительно: этот посол пишет, что у него есть письмо шаху от русского царя, которое он должен передать лично в руки... Кто знает, ведь в этом письме может быть и что-нибудь очень значительное?.. Назиры утверждают, что было бы рискованно портить отношения с таким грозным соседом, как Россия. С другой стороны, этот Мишель утверждает, что если русское посольство возглавляет армянин, то цель у них вовсе не та, чтобы войти в торговое соглашение. Здесь дело в Армении. Мишель представил и доказательство: говорит, какой-то Нерсес Партев сказал, что именно Россия возродит армянский трон. И теперь все здешнее армянство рассматривает появление в Персии Исраела Ори в качестве главы русского посольства, как исполнение этого пророчества. Мишель говорит также, что имя Исраела Ори — производное от французского *il sera roi*, что значит: он будет царем. Вот так-то, мой шах. Ты на земле нам аллах, и для нас, простых смертных, твое слово — закон, потому что оно, безусловно, мудро. Что прикажешь делать?

— Узнай, да поскорее, какую и за что неприязнь питает этот христианин Мишель к своим единоверцам армянам. Иди... Да, это надо узнать... И не спешите, пусть этот посол сидит в Шемахе, пока нам все не станет ясно. Будут письма от хана или Исраела Ори, срочно известите меня.

Визирь поклонился и пятясь вышел.

Уже пятнадцать — двадцать дней, как в Шемахе появился какой-то кузнец, с крашенной хной бородой, узкой полоской обрамляющей все лицо, как это принято у мусульман-шиитов. Одет в длинную, до колен, черную сборчатую кабу, в черные шаровары. На ногах обувь с загнутыми кверху носками, на голове — круглая баранья шапка с сатиновым донышком. Кузню свою расположил на окраине города под открытым небом, у подножия горы Педрако, где неподалеку были и палатки русского посольства. С утра и до вечера работал, не поднимая головы. Ковал лошадей, мулов, буйволов, волов.

Может, из-за приятной наружности, черных, как уголь, улыбчивых глаз и человеческого отношения он ни с кем не торговался, брал, сколько давали, — к нему шли все и охотно. А может, еще и потому, что был прекрасным собеседником, говорил и по-персидски и по-турецки. Кзлбаши, стоявшие на часах при посольстве, сначала было запретили пришельцу из Гандахана, хоть и мусульманину, расположить кузню так близко от русского посольства, но потом уступили, замороженные его присказками и поговорками, добротой и душевной щедростью...

Кузнец надеялся, что русские будут тоже у него подковывать своих лошадей, но они на него и внимания не обратили. Однажды кузнец спросил у одного из кзлбашей, как он думает, почему эти русские не подковывают лошадей, может, у них это не принято? Кзлбаш объяснил, что у них есть свой кузнец и подковы у них другие.

— Другие? — кузнец очень удивился. — Других подков не бывает. Я, милый человек, весь свет обошел. Если у меня и есть недостаток, так это то, что я прошел весь мир. И поверь, не встречал кузнеца искуснее меня и подков других никаких тоже не видал.

— И все же я утверждаю, что у них подковы другие.

— Братец, дам тебе сверкающий, как солнце, золотой, если ты приведешь ко мне их кузнеца. У них, может, нет резака? Уж очень мне хочется вывести этих нечестивцев на чистую воду.

— Дай золотой, приведу...

— Приведи, тогда и дам.

Кзлбаш привел русского кузнеца. Это был тот человек, курносый, с веснушчатым и серьезным лицом, которого кузнец-спорщик чаще других видел близ ханского дворца. Куз-

нец объяснил ему руками, что его интересует, какие у них, у русских, подковы. Тот нарисовал на земле подкову. Кузнец пожал плечами, покачал головой, положил кусок раскаленного железа на наковальню и дал молоток русскому. Тот вернул молоток обратно, объяснил, что сам он подков не делает, только подковать может.

Кузнец не стал ломать голову, распрощался с русским, а на следующий день сам пошел к посольству. Часовой не подпустил его близко.

— У меня жалоба на них! — выпятив грудь, сказал кузнец. — Как они смеют на моей земле чернить мою честь?.. Я доведу до шаха все, что произошло со мной, но прежде заставлю их главного лобызать мой подол. Пусти меня! — крикнул он на кзлбаша. — Не то все кишки из тебя выпущу!..

На шум вышел секретарь. Узнав, в чем дело, он повел кузнеца к Ори.

— Кто оскорбил твою честь, уважаемый мастер? — спросил Ори, пристально глядя на пришельца.

— Почему говоришь со мной на чужом языке, господин наш, царь наш, надежда наша? — Глаза у кузнеца горели, как угольки. — Я армянин-христианин, и в Спаане меня знают как ювелира Мушега.

— Не ведаю, кем тебя знают в Спаане, но чую, что, кроме кузнеца и ювелира, ты еще и хороший шпион!..

Вместо ответа Мушег вспорол свою шапку и, достав бумагу, почтительно протянул ее Ори.

«Из господ господин наш, — читал Ори, — Израел Ори, привет и поклон тебе от угнанных в рабство сыновей твоего любимого народа. Спешим сообщить, что некто по имени Мишель, поверенный короля Франции Людовика в торговых делах при дворе шаха, распустил коварные слухи в Спаане о том, что твоя миссия здесь не ограничивается торговыми интересами России, что ты будто бы станешь царем армян... Дай бог, чтобы это было так и чтобы мы своими глазами увидели это и успокоились бы навеки, когда придет час, в родной земле... Однако слухи эти дошли до шаха, и потому он держит тебя в Шемахе и держать будет столько, пока не найдет предлога вовсе запретить тебе прибыть в Спаан и тем вынудить уйти из Шемахи. Мы, армяне Спаана, стограем в страхе, как бы с тобой не случилось беды. Шах коварен и хитроумен...

Не знаем, что этот француз, будучи христианином, имеет против армян? Может, ты своей мудростью уразумеешь и устранишь эту причину его неприязни? Не дай бог тебе уйти

ни с чем. Для нас это будет равносильно смерти. И тогда уж больше никогда не взойдет солнце надежды, вдруг блеснувшее на нашем горизонте!..»

Ори сложил письмо, не отрывая испытующего взгляда от Мушега.

— Еще хочу от себя сказать моему господину, моему царю. Среди твоих людей есть шпионы!..

Ори всего передернуло, будто сидящий против него Мушег и был тем шпионом. Глаза зажглись гневом, и кровь отхлынула от лица.

— Мне кажется... — продолжал Мушег. — Может, это не так, но... Тот, что у вас за кузнеца, очень часто выходит из вашего лагеря, когда все спят. Его обычно кто-то ждет близ ханского дворца. Они вместе исчезают и потом вместе же появляются, и он возвращается. Я больше месяца искал с тобой встречи, все не получалось. Думал, стану подковыривать ваших лошадей, а у вас оказался свой кузнец... И вот я встретился с ним да вдруг и узнал...

Ори встал, положил свою тяжелую руку ему на плечо и сказал:

— Ты сделал очень большое дело, Мушег, доставив мне это письмо. Сведения важные, особенно то, что ты сказал о кузнеце. Зря только величаешь меня царем. — Ори улыбнулся и похлопал Мушега по плечу. — Я, конечно, понимаю, это мечта всех армян — иметь своего царя, свое государство, но мой приезд в Персию преследует одну-единственную цель — верной службой царю Петру помочь путем торговли установить дружбу между Россией и Персией. Понимаешь, Мушег? Что касается армянского вопроса, это сейчас не ко времени. У меня вообще-то есть письма к шаху от Петра Первого и от папы римского, где выражена просьба, чтобы он был терпим к своим подданным-христианам. Но это и все. Сожалею, что наделано столько шума. Это может повредить моей миссии. Будьте благоразумны и пока остудите свои буйные головы.

Мушег опечалился оттого, что задача Ори в Персии не та, какой бы ему хотелось.

Ори улыбнулся:

— А с тобой мы еще встретимся...

— Понял, мой господин... У меня еще одно слово. Я заработал много денег в Шемахе, а ты пробудешь здесь дольше, чем предполагал. Тяжело будет со столькими людьми...

— У нас есть средства для жизни, благодарю. — Ори пожал руку Мушегу и обнадежил его, твердо сказав: — Обязательно встретимся в Спаане.

Мушег вышел. Проходя мимо часового-кзлбаша, он все повторял со злобой в голосе:

— Я вынудил тебя лобызать мой подол, но этим дело не кончилось, еще заставлю перед шахом на коленях ползать, чтобы знал, как в чужом доме хозяина оскорблять!..

Часовой схватил его за рукав, потянул к себе:

— Кого это ты поносишь?..

— Собаку ту, кузнеца ихнего!..

— Слушай, он не плохой человек... Слышишь, что я говорю!.. Замолчи...

Еще десять дней кузнец красил бороду свежей хной, брил затылок и щеки, чтобы борода сохраняла приданную ей форму, ходил в остроконечной обуви, день-деньской раздувал мехи, резал подковы и помогал хозяину буйвола свалить животину, чтобы подковать.

На одиннадцатый день, словно вместе с ночью, кузнец исчез, как не бывал, оставив только одну яму и вокруг нее ломаные подковы, куски мехов и стружку.

8

В свите Ори никто не знал истинной цели его посольства. Все эти люди находились на платной службе, каждому были определены свои обязанности. Вместе с тем каждый знал и понимал, что для поддержания чести русского государства и порядка в посольстве царь наделил Ори неограниченными правами — вплоть до лишения жизни всякого нарушившего его приказы.

После ухода Мушега Ори задумался о том, с чего бы это за ним шпионят?.. Была у него одна тайна, о которой знал еще только царь...

Ори вызвал к себе кузнеца, который был одновременно и пушкарем. Звали его Кузьмой Власовым. Пушкарь не замедлил явиться, польщенный тем, что удостоился внимания. Ори, не говоря ни слова, посмотрел в его зеленые глаза и сел. Власов остался стоять. Он был не из простаков и о чем-то догадывался, видя, как на него смотрит Ори.

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал он, спокойно глядя в непривычно черные глаза человека с Востока, которые так и буравили его в самую душу. Ори молчал, и Власов, не выдержав его взгляда, опустил наконец веки.

Только после этого Ори заговорил.

— Хорошо, что ты избежал лишних мучений. Если бы ты упорно продолжал смотреть мне в глаза взглядом невин-

ного агнца, я бы велел шкуру с тебя содрать, как это делают со всеми, кто предает родину. Итак, расскажи все без утайки.

Кузьма Власов грохнулся снопом перед Ори, попытался лобызать ему ноги, поливая их слезой, и взмолился:

— Прости меня, господин!..

— Рассказывай. Откровенность смягчит твою участь.

И Власов рассказал все. И то, что был подкуплен за двадцать золотых, и что на встречах у хана присутствовал и великий визирь, и что за шесть месяцев он, Власов, имел семь встреч с ханом. Сказал, что о нем, об Ори, и о посольстве ничего им не говорил, потому как ничего и не знает. И вообще он не считает свой поступок предательством, потому что не выдал врагу никакой особой тайны. Рассказал, что хана интересовало: пользуется ли Петр уважением в своей стране, и он, Власов, на это отвечал, что Петр, по его разумению, не долго будет царем, потому как вся Россия недовольна им, и бояре тоже, что жесток, что сердце у него как у зверя. Грабит народ и даже свою сестру заточил. Затем рассказал, что хана и визиря интересовало: какие есть слухи о том, что будет делать Петр после окончания войны со шведами. И он сказал им, что Петр после Швеции должен, наверно, напасть на Крымское ханство и пойти на Астрахань, чтобы открыть дорогу к Персии и Турции...

— Вот все мои грехи, господин!.. — закончил Кузьма Власов.

Ори ударил себя кулаком по колену.

— Ну нет, это не все!..

Власов помялся и добавил:

— Потом я еще сказал, что, если Петра скинуть, а вместо него на трон посадить Ивана, всего этого не произойдет.

Ори горько улыбнулся:

— А ты, однако, политик!.. О грузах не спрашивали? Ты не сказал им, что у нас с собой пушки?..

— Так это же разве тайна, ваше превосходительство?

— Тайна, наверно, раз мы перед въездом в Шемаху замаскировали их на возах...

— О пушках они ничего не спрашивали. Грузами интересовались, так я сказал, что всякая всячина для наших нужд...

— И ты утверждаешь, что не предавал?..

Кузьма Власов снова бухнулся в ноги:

— Не считай меня предателем, пощади! Ведь ты обещал за чистосердечное признание помиловать?..

Ори на этот раз не дал ему ползать в ногах. Он кликнул денщика и велел всех собрать. И так как был поздний вечер, люди уже были в сборе, все тотчас явились. Ори вышел из своей палатки, держа за ворот Кузьму Власова. Все удивленно и в ужасе воззрились на кузнеца.

— Этот человек, — Ори тряхнул Власова, — тайно встречался с ханом, наушничал ему о царе и о России. Данной мне властью я приговариваю его к смерти. Что вы на это скажете?

— Заслуженно!..

— Отдайте его нам!

— Предатель!...

Возгласы неслись со всех концов, один грознее другого.

А через несколько дней на том месте, где была кузня исчезнувшего кузнеца-мусульманина, на глазах у шемахинцев, Власов был казнен. Горожанам объявили, что убит он по приказу царя за оскорбления, брошенные кузнецу-мусульманину, и они стали с еще большим уважением относиться к русским. Даже хан поверил в это.

А вскоре Ори отправил письмо шаху Сулейману-Гусейну, просил, чтобы тот больше не оттягивал прием русского посольства. Ори написал шаху, что будет вынужден покинуть Шемаху и вернуться в Россию, если шах и впредь останется равнодушен к посольству русского царя. И это нанесет урон торговым связям двух стран. А царь Петр конечно же будет оскорблен таким непочтением. Сейчас, когда, поставив на колени Швецию, он обрел такой вес и значение в мире, со стороны шаха едва ли разумно такое отношение к изъявлению дружеских чувств Петром Первым... Ори писал и о том, что конечно же такие страны, как Франция и другие, уже прежде установившие торговлю с Персией, не хотели бы дружбы России с Персией и потому, надо думать, будут строить злые козни. Но мудрый шах, мол, понимая все, не станет больше медлить, и, едва стают снега и открываются дороги, он прикажет русскому посольству явиться в Спаан и посеять там добрые семена, не даст ему ни с чем вернуться в Москву...

Гонец увез письмо, и Ори с присущим ему долготерпением стал ждать таяния снегов.

В эти дни Ори записал в своем дневнике: «Народ армянский, твое терпение — это крик души, который должен превратить несправедливость в камень, если у справедливости есть уши».

Шах Султан-Гусейн был недоволен своим великим визи-рем, хотя только накануне восславлял его, перечисляя все заслуги и добродетели.

Сейчас шах обвинял его, считая причиной многих бед страны.

Шах не слушал визиря, пытавшегося оправдаться. А тот не унимался, утверждал, что лишь благодаря ему Ори до сих пор оставался в Шемахе, не то давно бы уж уехал обратно, и не было бы тогда предела недовольству России!.. Он хотел было напомнить шаху, как не раз избавлял его от позора, но сдержался, не сделал этого: шах мог бы убить визиря на месте. А лестью его можно удержать от решительных действий. И через день-другой все может забыться.

— Ваше величество,— сказал визирь заискивающе,— я, конечно, не столь мудр и дальновиден, как ты, но сегодня, в письме своем, Ори сам отвечает на твой вопрос о том, почему христианин француз Мишель питает вражду к армянам. Я помню твое предсказание!..

Шах самодовольно слушал.

Великий визирь продолжал уже увереннее:

— И ты, солнцеликий шах, не ошибся, столько продержав Ори в Шемахе. Незачем сразу принимать. Русский царь еще бы подумал, что шах Султан-Гусейн его испугался. Не бывать тому!..

Шах слушал визиря, как пророка, но потом вдруг помрачнел и решил не принимать всех его слов за чистую монету, начал кое в чем возражать. Визирь во всем соглашался. И только твердил:

— Мудр солнце-шах и неоспоримы его слова!..

— Итак, срочно послать гонца в Шемаху, велеть хану Гусейну, чтобы дал Исраелу Ори выехать. Ни к чему нам сейчас неприятности. Готовься принять его с подобающими почестями и быстро выпроводить. Слышишь, быстро!..

— Понял, быстро... Велико твое провидение. Этот Ори проведет и выведет, как с ним ни держись. Недаром ведь о нем говорят такое. Да и мне так кажется...

— Мы мозгов своих с вином не выпили, чтобы нас так легко было провести!— рассердился шах.

— Да, это так, но... Одним словом, я пойду и напишу письмо хану Гусейну, чтобы завтра же отправить к нему гонца. Пусть едет, посмотрим, что оно такое есть, это русское посольство... «Мозгов своих с вином не выпили...» Пре-

красно сказано!.. Надо отметить, что собранные сведения о Петре тоже верные и важные. И это послужило причиной, ради которой пришлось задержать Исраела Ори в Шемахе.

10

Под затаенно-напутственный звон колоколов армянских церквей караван Ори с восходом солнца вышел из Шемахи. Хан Гусейн со свитой провожал его до границ Ширванской равнины и был беспредельно добр, все улыбался, до глубоких морщин. Расспрашивал, какую Ори выбрал дорогу на Спаан. И все советовал, как короче проехать. Ори со всей серьезностью говорил, что для его людей, жителей севера, рискованно так уж сразу углубляться на юг и потому, мол, он предпочитает подняться долиной Аракса до Меградзора, оттуда пройти через Миджеван, Джугу, Нахичеван, затем свернуть на Маранд, Тавриз, Марагу и выйти к Спаану...

— Это, конечно, длиннее, но зато люди успеют привыкнуть. Так мне кажется, добрый хан.

— Такой путь к тому же и даст возможность узнать страну получше... — все с той же улыбкой сказал хан Гусейн.

— Безусловно, — согласился Ори.

У кишлака Карамаргян хан спешился. Ори последовал его примеру. Разогнувшись в спине, хан Гусейн подошел к Ори, пожал ему руку и, чуть задержав ее в своей ладони, сказал:

— Доброго пути и добрых дел тебе, князь Исраел Ори. Извини, если что было не так. Я все еще продолжаю поиски того кузнеца, который стал причиной несправедливой гибели одного из твоих людей. Найду, сдеру шкуру с этого наглеца, набью соломой и, когда вернешься, доставлю тебе, будет расплата за то, что так разгневал тебя в моей стране. И за это тоже прости. Теперь мои люди проводят тебя до границ моего ханства, всегда спокойных и надежных, а дальше поручим тебя милости аллаха. Дальше ты уж должен быть осторожен, потому как эти ущелья вечно кишат разбойным сбродом. А вы вооружены всего несколькими мушкетерами и мечами...

Ори поблагодарил за добрые напутствия, за гостеприимство, за заботу и за то, что терпеливо сносили все хлопоты, доставляемые посольством. Затем он успокоил хана, заверив, что не боится никаких разбойничьих банд, и отказался от отряда кзлбашей, который должен был сопровождать караван до границ ханства.

На том простились. Хан Гусейн со своей свитой остался стоять на месте, пока Ори не удалился достаточно далеко, и затем, прямо оттуда, выслал гонца с письмом к хану Гандзака...

Караван Ори шел по чужим, незнакомым дорогам, на душе у людей было грустно, и потому все молчали. Слышались только топот копыт да скрип колес. И эти звуки тоже казались чужими в этой дикой пустынности природы.

В небе неприятно прокричал стервятник. Все глянули вверх. Стервятник ринулся к земле и снова тяжело поднялся, держа в когтях змею. Высоко поднялся.

Солнце падало Герасиму на затылок. Ори ехал в карете. Он перевел взгляд с унылой дороги на Герасима и, словно ощутив тепло, сбросил с себя тревогу. Герасим, может почувствовав взгляд, вдруг обернулся.

— Забытая богом земля, — вздохнул он и покачал головой. — Не поймешь, как устроен мир...

Герасим ждал, что Ори ответится, но тот молча продолжал глядеть в затылок кучеру, мысленно удивляясь тому, как умно он рассуждает.

— Ваше благородие, а кто, по-вашему, будет самый сильный народ?

— Трудно сказать, Герасим. Были такие сильные народы, которых теперь вовсе нет, а те, что поменьше, до сих пор живут и держатся какой-то силой... В мире все шатко, и судьбы народов, они тоже как на весах колеблются, — глядишь, сегодня сильный народ, завтра вдруг «занемог», а слабый, наоборот, снова в силу входит.

— Да будет бог со всеми! — вздохнул Герасим. — Страшно подумать, как Россию топтали. Ее вроде бы и не было, монголы были... Ведь все тогда порушили, пожгли: храмы божьи, могилы, святые книги. Даже песни подушили, нешто опять такое может быть? Ведь человек живет и держится тем, что ему оставили до него жившие, и тем, что на свете много разных языков, разных обычаев и всего другого...

Снова воцарилось молчание, снова слышался стук копыт и монотонный шум колес. И Герасим опять ждал, что скажет Ори, а тот смотрел ему в затылок и теперь уже не только с удовольствием, но и с нежностью.

— Господин мой... — снова первым нарушил молчание Герасим.

— Я слушаю тебя, — отозвался Ори.

— А почему вы молчите?.. Правильно я говорю или нет?..

— Правильно, все правильно говоришь. И чтобы все мы

и народы наши жили и здравствовали, и сын твой должен думать, как ты, и все должны думать, как ты, и пусть в муках, но все мы должны сохранять себя, свои народы!..

— А может, помучаемся-помучаемся, да и сгинем?

— Я уже сказал, было и такое...

— Ужас-то какой — был и нету целого народа! Человек, видать, сам в себе не вмещается. Выйдет из себя и не знает, что ему делать, — говорил Герасим, — а от незнания начнет все вокруг крушить, пока дух не испустит...

Герасим снова широко перекрестил грудь и стеганул воздух...

Часа через два после полудня добрались до селения Гейчай и устроили привал на берегу реки. От обильного таяния снегов в горах Вардашена и от ливневых дождей река разлилась, и перейти ее было невозможно. Зато в селении после дождей все было зелено и дышало свежестью. Непередаваемо прекрасными были знаменитые чинары Гейчая. С них все еще стекали дождевые капли. Пахло розами. После летнего зноя неожиданная прохлада вдруг развязала языки соловьям.

Соловьи Гейчая... они пели с каждого куста, с каждой ветки дерева. Казалось, что сюда собрались на состязание соловьи всего света и вообще все певчие птицы. И наверное, ничто повторяющееся не приносило столько удовольствия, как эти бесконечные, вроде бы абсолютно одинаковые, но неповторимо пленительные соловьиные рулады.

И только расколотая молнией надвое вековая чинара на противоположном берегу говорила о том, что не все в этом мире так спокойно. Одна половина ствола повалилась, а другая стояла и с былой гордостью тянулась к небу. И казалось, что из всех чинар только она слушала эти голоса и только она понимала язык природы, с обостренностью, похожей на ту, какая бывает у слепых и глухих... В голубые створки неба, сквозь облака, проглядывало солнце. На одной из облитых им полян пахали. Семь пар солнечных волов тянули плуги. От разгоряченных пахарей струей дымился пар. Над полем звенела печальная песня. Ори стоял на берегу реки, на камне, как зачарованный. Тут же рядом, вместе с другими, был и Герасим.

— Слышишь? — спросил Ори.

— Даже глухой услышит, ваше благородие, — выдохнул Герасим.

— И видишь?

— Пашут...

— Господин полковник, не снять ли нам пушки с повозок? — подойдя, спросил тот, кто был старшим над пушкарями.

— Не надо. В степи нам не грозит опасность. Зато всюду найдутся доносчики и шпионы — за нами ведь, не иначе, будут следить, — так пусть ничего не узнают. Снимите поклажу, здесь и заночуем. Да пошлите разведать, где мост удобно перебраться.

Появление светловолосых людей в нездешних одеяниях вызвало оживление в Гейчае. Здесь тоже были наслышаны разных историй о русском посольстве. И вот оно... Сначала на том берегу собрались смуглые, загорелые ребята в домотканых рубахах. Потом сошлись и взрослые — молодежь и старики в высоких барашковых шапках, с палками в руках. Были там и женщины, укутанные в белую чадру, не скрывающую, однако, стройности стана. Там о чем-то шумели, смеялись, жестикулировали — видно, что-то объясняли пришельцам. В посольском стане тоже заговорили, зашумели. Скоро все село собралось у реки и уже обсуждали, как и где русским мост навести.

Через какое-то время закипела работа — скрипели пилы, сверкали топоры, обтесывая бревна. Сельчане диву давались, как ловко и быстро все у них ладится, у этих русских, — вон уже и стянутые скобами доски легли на бревна, и все это потянули к противоположному берегу, кинули туда канат, один из русских бросился в воду, подплыл, вылез на берег и закрепил канат за дерево. Поднялся радостный шум-гам.

Уже стемнело, и потому остальные работы отложили на завтра и, разведя костры, стали готовиться на ночь. Сельчане тем временем разошлись, только кое-кто из молодежи остался у костров.

На рассвете мост был готов, и караван перешел на тот берег, где уже опять собрались все местные жители. Они стали просить, чтобы русские не разбирали мост, не то река, мол, очень им досаждаёт в половодье, не перейдешь ее. Ори сказал, что они и не собирались разбирать, и люди несказанно обрадовались, дарили цветы, потчевали кислым молоком.

Всем селом провожали караван до Уджара.

Через три дня Ори, свернув от Аскарана влево, вошел в пределы меликства Дизака. К вечеру он уже был в Теге, в имении мелика Егана. В поместье Ори не вошел — оно было на лесистом склоне горы. Решил раскинуть палат-

ки поблизости, на большой поляне, и отдохнуть там три дня.

Мелик Еган сам спустился в лагерь Ори, и встреча их была очень теплой. Потом все уже спали, а в палатке Ори свеча горела до поздней ночи.

— С какой целью ты так удлинил свой путь? — поинтересовался мелик Еган.

Ори рассказал о том, что намеренно идет через эти места, так как в будущем думает именно тут пройти походом и потому хочет разведать путь, воодушевить повстанцев, взять из них сотни полторы в свою свиту и сделать их потом ядром того полка, с которым он должен вернуться в Россию. И еще одна причина ведет его этой дорогой: умер католикос Наапет, новым католикосом избран умный и дальновидный Александр Джугаеци. Необходимо переговорить с ним, тоже вовлечь в общее движение...

— Ну и к тому же, — добавил Ори, подправив фитилек в лампаде, — шах, с одной стороны, пригласил меня в Спана, а с другой — приказал ханам в Шемахе и Шуше, чтобы их люди под видом разбойников напали на посольство и уничтожили его, об этом я знаю из верного источника. Вот и держусь поближе к нашим повстанцам. И сейчас даже пошлю к ним гонца на Змеиную гору, чтобы они подошли к Иджевану. Кэлбаши, по-видимому, нападут на нас в долине Аракса, близ Иджевана. У меня и у самого есть возможность отбиться, но хочу, чтобы им полностью перекрыли путь к отступлению, чтобы все тут полегли... А повстанцы на Змеиной горе сейчас все хорошо вооружены.

— Знаю, — Еган накрыл ладонью руку Ори и с восхищением посмотрел ему в глаза. — На моей земле у тебя не должно быть забот. Ты только напиши письмо, а я через своих людей отправлю его на Змеиную гору. Могу дать в твоё распоряжение еще человек десять.

— Я всегда благодарен тебе, мелик.

— Ты не должен так говорить. Мы и только мы должны быть благодарны тебе и сейчас и во веки веков!..

— Но выбери людей светлых, чтобы не бросались в глаза, ведь я иду с севера, пусть и считают, что со мной только русские.

— Я, как ты видишь, светлый, и народ мой должен быть таким, — улыбаясь, сказал мелик Еган, — похожим на меня, так что об этом не волнуйся.

Беседовали еще долго при оскудевшем пламени фити-

ля — оно, словно бы от луны, заглядывавшей в палатку, поблекло.

А луна была цвета абрикоса и дышала холодом, напоенным запахом тимьяна.

Тридцать первого мая пришедшие со стороны Шемахи сто семьдесят всадников, окутанные тьмою ночи, вошли в Гандзак. Хан самолично выехал им навстречу, в сопровождении телохранителей на белых конях и с двумя факельщиками.

Объехав строй прибывших, хан оглядел их и спросил:

— Вы кзлбаши или, может, в самом деле башибузуки?

— Башибузуки, светлейший хан!— И все загоготали.

Действительно, их можно было принять за разношерстный сброд грабителей, облаченных кто во что.

— Сотник!— крикнул хан.— Кто тут у вас сотник?..

— Кара Багадур,— еще издали отозвался человек, подгоняя коня к хану.

Сотник Кара Багадур был лет сорока от роду, странного сложения — ноги длинные непомерно, а туловище короткое, голова огромная и посажена прямо на плечи, без шеи. Только одна примета говорила о том, что он воин, — сабельный шрам на губе и от этого кривой рот.

— Докладывай!..— приказал хан.

— Светлейший хан, мне нечего сообщить нового сравнительно с тем, что писал вам мой хан,— Кара Багадур говорил тонким, глухим голосом.

— Об условиях в письме ничего нет.

— Мой хан был твердо уверен, что и об условиях он тоже написал. У русских есть дары шаху, их надо доставить ему. А доля кзлбашей — одежда убитых. Все остальное — делить на две равные части: одна половина — вашему высочеству, другая — моему хану. Так он мне сказал.

— Кто будет общим предводителем?

— Как сочтет приемлемым сиятельный хан... Но мой хан хотел бы возложить обязанности на меня, так как с нашей стороны в этом деле участвует значительно больше людей.

— У меня готово ровно столько же людей.

— Персии и меликам Арцаха известно твое могущество! Но разумно ли против шестидесяти людей выводить целые полки?

— Как ты разговариваешь с ханом, ослиная голова? Триста человек — это разве полки?

Кара Багадур сразу вжался в плечи и стал весь как-то чуть меньше, — казалось, на лошади только ноги и голова в чалме.

— Поднять всех наших! — приказал хан одному из своих телохранителей. И добавил, обращаясь к сотнику: — Как действовать будем?

Тот чуть вытянулся.

— Нападем на них в долине Астгадзора, на берегу Аракса. Она там узкая, и все хорошо просматривается. Зажмем в кольцо и всех прикончим, как и не бывало никого.

Подошла сотня хана, тоже разношерстно одетая. Выстроились в отдалении, молчаливые, готовые к исполнению приказа.

Оружия имелось три вида: семьдесят пять ружей, чуть меньше копий и на каждого — меч.

— Итак, в путь! — приказал хан. — Вернетесь сюда же!..

Тронули в направлении Амарасской долины и Горадизу, чтобы затем оттуда спуститься к Араксу.

12

Исраел Ори продвигался вверх по Араксу. Теперь за ним следовало восемьдесят человек, все в боевой готовности. Шесть пушек были впереди, шесть — сзади. Пятьдесят человек вооружили мушкетами. Остальной люд едва ли годился для боя, но для самозащиты у всех были мечи.

Перед выходом из Тега Ори сказал:

— Мы взяли с собой эти пушки, мушкеты и все другое оружие в основном для убедительности и остротки, ну, и для некоторых неожиданностей. Однако у меня есть достоверное известие, что на нас готовится нападение. Что ж, пусть идут, — приободряя людей, сказал Ори. — Те из нас, кто не умеет держать оружие, тоже должны быть полезны. Дело найдется для всех: открывать бочки с порохом, заряжать ружья, подносить ядра к пушкам и многое еще... Одним словом, никакой паники. Сейчас наша главная цель отступает на какое-то время на задний план. Мы идем в бой. Мелик Еган влил в отряд одиннадцать светлокудрых юношей, вооруженных мечами и мушкетами. Одиннадцатого для того, чтобы после стычки примчался с донесением о ходе событий.

Все снова вскочили на коней и молча двинулись даль-

ше, задумчивые, гневные. Ори ехал впереди на коне, подаренном великим Еганом. На боку висел тяжелый меч дамасской стали...

Торжественным, но и тревожным был выезд из Дизакского меликства.

Последующие два дня прошли спокойно. Даже в местах, кажется самым господом богом уготованных для бандитских засад, никто не тронул каравана. Ори уж было подумал, что шах, может, не такой и коварный... Но на рассвете третьего дня на пути у них вдруг возник обросший бородач в рубище и, схватив за узду коня Ори, заговорил так тихо, чтобы слышал только он:

— Я со Змеиной горы, из людей Егора Астапатци. Враг впереди. Наши близко от них, держат их под наблюдением. Как прикажешь действовать?

— Продолжать наблюдение с большого расстояния, чтобы часом не попасть под наш обстрел. И не пользуйтесь огнестрельным оружием, пока они не станут отступать.

Человек повторил приказ и исчез...

Армянская земля была залита солнцем. Голые прибрежные скалы напоминали языки пламени, но дышали они солнцем и водой матери-Аракс, текущей под лучами щедрого светила. Среди обожженных гор река неслась, как всегда, бурная и оттого мутная, с вековой жалобой тчтно зывающая ко всему, что ее окружает...

На своем огненном коне, против течения Аракса, меж пламенеющих скал ехал сын бывшего владетеля Шаапуника мелика Исраела Яври, посевший в скитаниях по чужим странам. На сей раз он ехал без того воодушевления, какое владело им много лет назад, когда он несся навстречу Гомрийской битве. Тогда его не заботила тревога о том, что он может погибнуть. Тогда от его гибели не пострадала бы не только Страна армян, даже Шаапуник. Это не причинило бы невосполнимого урона. Но сегодня шальная пуля грозила убить решение извечного армянского вопроса, во имя которого он мыкает горе вот уже три десятка лет...

Медленно иссякал день. Растекались тени, и настоянне делался дух земли. О чем-то загадочно, без слов, шептал закат. Ори развернул коня, и караван остановился.

— Вступаем в ущелье, тут нас подстерегает опасность, — сказал он так, чтобы все его услышали. — Без моего приказа ни одного выстрела! Движемся строго в том порядке, как было предусмотрено.

Ори и Герасима ввел в состав своих телохранителей...

Вошли в ущелье Астгадзор. Здесь, как всюду в ущельях, даже малейший шорох, отдаваясь эхом в расщелинах скал, удесят�ерялся. А потому сейчас, когда под шум Аракса ущельем шел целый большой караван, оно гремело и грохотало. Западные послы содрогнулись от ужаса. Не бывавшие в войнах, эти люди не хотели подвергать свои жизни опасности, и потому в душе каждый из них подумал: «А не сдаться ли?» Но полковник, словно специально, отдалил их друг от друга, расставил в разные концы, видно чувствовал их ненадежность.

Ори вдруг услышал свист и понял, что это означает. Из каравана отозвались на свист. Ори волновался, он ждал, и это делало его беспокойным, но внешне он держался так, будто не огонь и меч ждали его впереди. За ним следом пушкари тянули тщательно замаскированные повозки с пушками. И уже дальше шли люди с мушкетами и ружьями на изготовку. Потом опять повозки с пушками, опять люди с ружьями — так и перемежались в заранее продуманном боевом порядке.

Дорога круто сворачивала в сторону, и на повороте вдруг из-за скалы вышли четверо и решительно преградили путь.

Ори спокойно придержал коня.

— Кто-нибудь из вас понимает наш язык? — спросил один из четверых, так жестикулируя руками и водя глазами, словно тот, кто был перед ним, и глух и нем.

— Слушаю!.. — сказал Ори по-персидски.

— Вы окружены. Наш предводитель приказал передать вам, что если вы добровольно сложите оружие, то, забрав у вас только лучших коней и часть одежды да пищи, не пролив крови, он отпустит вас на свободу. Тех, кто с ним, более трехсот человек, и потому неразумно подвергать опасности ваши жизни. Они все люди без роду без племени, живут грабежом. И убивают всех, кто сопротивляется и кто с ними враждует. Вы иностранцы, — значит, о вражде речи нет. Сдавайте оружие, и все. Сопротивляться бесполезно.

— Согласны, мы готовы сложить оружие, — сказал Ори. — Но на такой позор не пойдем, чтобы пятьдесят человек сдались четверым. Пусть хоть издали увидим ваших людей, убедимся, что их в самом деле больше, чем нас, что они вообще есть. Тогда-то мы уж будем вынуждены покориться вашему предводителю. И еще одно условие: когда мы сложим свое оружие, они должны будут подойти к нам только с холодным оружием.

— Это еще зачем? — удивился кзлбаш.

— А кто вас знает, обезоружите нас, а сами потом перестреляете. У нас человек десять с мечами, если дело дойдет до рукопашной, тут и мы, прежде чем отдать богу душу, кое-кого отправим к праотцам и тем не уроним своей чести, — объяснил Ори.

Кзлбаш улыбнулся, обнажив при этом длинные желтые зубы под тонкими вислыми усами, вывел из-за скалы своего коня, вскочил в седло и умчался за ответом. Вернулся он поздно и принес новый приказ:

— Продвинуться вперед на десять саженей. Остановиться у дерева на полдороге, там по обе стороны будут ждать наши силы. Мы подйдем к вам навстречу без ружей. Нам не выгодно выстрелами портить одежду, которую мы собираемся у вас отобрать...

Выслушали и покорно двинулись вперед. Теперь караван возглавляли четверо конных кзлбашей, довольные и очень уверенные. Но вот они остановились на указанном месте и соскочили с коней. Саженьях в десяти их ждали конные кзлбаши. Чуть спустя подъехали еще всадники. Старший из четырех кзлбашей повел рукой и в ту и в другую стороны, словно бы говорил: «Ну, что вы можете сделать против столькох храбрецов?»

Ори распорядился разрядить оружие и сдать их.

Приказ был тотчас исполнен.

Кзлбаши начали переносить оружие и складывать его шагах в ста. Брали в руки бережно, как бесценный трофей. А тем временем с двух сторон стали подходить остальные кзлбаши. Люди Ори были, по существу, в кольце — с двух других сторон были полноводный Аракс и стена из скал.

Кзлбаши шли гордо, уверенные, что уже одолели свою добычу, не окровавив и носа, не потратив ни пороха, ни пуль и не испортив дорогих одежд своих жертв, на кои они особенно зарились. Сейчас, мол, разденут их, прикончат в этой ловушке, и Аракс поможет скрыть все следы...

Сотник Кара Багадур уже видел себя тысячником в шахском войске. Шел впереди, и гордость его была видна даже по коню, который высоко держал голову.

Когда противник подошел уже достаточно близко, Ори вдруг скомандовал:

— Огонь!..

Выпустив огненные языки, загрохотали пушки, и справа и слева задрожали скалы. Клубы белого порохового дыма, смешавшись с пылью, тяжело нависли над ущельем. Хотя

впереди больше ничего не было видно и слышно, кроме короткого, тревожного ржания лошадей, пушки гремели снова и снова, и затем люди Ори пошли в наступление, тоже влево и вправо. Левое крыло повел в нападение Саша Троекуров, правое — сам Ори. За ним следовали Василий Червинский и Герасим. На помощь им уже мчались с обнаженными мечами герои Змеиной горы... И все смешалось. Как клещами, с двух сторон кзлбашей зажали отряды Ори и Егора Астапатци. Началась битва. В ход было пущено все, вплоть до русских топоров. Многие из кзлбашей соскочили с коней и стали молить о пощаде. Лишь Кара Багадур предпочел умереть геройски.

Наконец все было кончено. Кругом валялись убитые. Вернулись туда, где оставили повозки. Перевязали рану Ори. Она была не опасной. Кара Багадур задел его мечом по плечу. Подошел и Саша Троекуров с отрядом повстанцев Змеиной горы.

До полуночи собирали оружие, хоронили убитых, согнали разбежавшихся лошадей, разожгли костры на берегу Аракса. Один из повстанцев Астапатци отправился в Мегри за вином. Такую победу следовало отметить армянским вином...

Хотя рана давала о себе знать, радость Ори была безмерной — в такой день и час он был в окружении армян, пришедших ему на помощь и показавших мастерство в ведении боя. Ори еще тридцать лет назад слышал о героях Змеиной горы, что теперь сидели вокруг этого костра. Правда, от тех, прежних, многих уже нет в живых... Отдав свою жизнь родной земле, те уже ушли в эту землю и взошли ростками в этих, новых, передав им и свою судьбу...

Пламя костра освещает сидящих. Горит костер и отражается огнем в их глазах.

Русские сыплют шутками, рассказывают байки. Сыны заморских народов смотрят и на армян и на русских так, словно видят их впервые. Они еще не пришли в себя. Случившееся кажется им дурным сном.

Из Мегри привезли два бурдюка вина, четырех барашков. И скоро принялись за ужин. Пришельцы со Змеиной горы, по своему обычаю, перед первой чашей дружно, в один голос, возгласили: «Смерть или свободная Армения!» — и, как всегда, эхо отозвалось им в скалах.

Мороз пробежал у Ори по коже. Ему предстояло произнести тост в честь этих людей, мыкающихся в горах и ущельях с надеждой и верой в то, что обретут наконец сво-

бодную родину. Они верят ему и умрут только в бою, завещая и оружие и веру свою живущим. И так было из поколения в поколение... И Ори начал с того, что ныне все христианские государства — Рим и Германия, Франция и Англия, — все вместе с армянами и все готовы помочь Армении, что у него и здесь с собой письма папы римского и кайзера Римско-Германской империи, в которых они настоятельно просят правителей не посягать на веру и национальное достоинство армян, не унижать их. Ори высказал и свою твердую уверенность в том, что европейцы только потому отозвались на боль армянскую, что дело освобождения Армении уже взяла на себя Россия, чьи полки по приказу Петра Великого скоро двинутся на юг.

Ори отметил важное значение действий повстанческих групп Нахичевана, Гохтана, Сюника и Арцаха, сказал, что впредь, в освободительном походе, они еще покажут себя. Затем говорил о полке, который сейчас набирает, чтобы идти с ним в Россию и потом уже вместе с русскими войсками вернуться в Армению...

Все единодушно выразили готовность стать под его знамя. На что Ори сказал, что всех, увы, взять не сможет. Сейчас отберет человек десять — пятнадцать и по возвращении из Спаана еще столько же...

Разговорились и повстанцы. Спрашивали о русском царе, хотели, чтобы Ори рассказал подробности своих встреч с ним, и все пытались представить, каков царь с виду. Они также хотели точно знать, когда Петр двинет полки на юг. И действительно ли Армения будет наконец иметь своего царя, или после мусульман их начнут угнетать христиане и тем все кончится?..

Ори, как мог, утолил их любопытство, рассказал и о встречах с Петром. На все вопросы ответил...

Потом говорил Егор Астапатци. Он поведал о том, как они противостоят хану и калантарам. Рассказал, как повстанческие отряды из разных мест связывают свои действия и решают общие дела...

Костер больше не поддерживали. Зменногорцы, оставив из своего числа десять человек у Ори, распрощались и отбыли с надеждой, повторив свою клятву: «Смерть или свободная Армения!..»

Люди Ори, расставив часовых, улеглись вздремнуть, чтобы восстановить силы и затемно уйти из этого ущелья, наполненного трупами убитых людей и коней. И если не считать вечного шума Аракса, в ущелье воцарилась тишина...

Дыхание далекого рассвета первыми ощущают птицы. Со взмахом крыльев первой птицы Ори был уже на ногах. Он приготовился продолжать путь. Больше не надо было маскировать пушки. Их, все двенадцать, поставили в караване перед повозками, запряженными мулами и отбитыми у врага лошадьми. Потом уже шла свита в полном вооружении. Впереди ехала карета, но сам Ори на коне, в сопровождении четырех телохранителей, возглавлял шествие.

Так он вышел из Астадзора.

13

Тринадцатое июля. Воскресенье. Праздник Вардавара...

С того самого дня, как над Арменией тенью коршуна кружит дух чужеземца, Эчмиадзин не знал такого ликования, распространившегося, как волны в море, по всей Арагатской долине. И ни для кого из ликующих никогда еще солнце не светило так ярко. Масисы не были так величественны, небо столь высоким и добрым, звон колоколов в храмах и церквах столь проникновенным и собственный голос таким звонким и уверенным. Именно в это время пришло к людям известие о том, что в Эчмиадзин прибыло и отсюда направится к шаху посольство русского царя, которое возглавляет сын мелика Исраела Прошяна — Исраел Ори, что русские скоро освободят Армению и она станет свободной...

Весть эта переходила из уст в уста, но все только шепотом, чтобы, не дай бог, враги не узнали тайной радости армян.

И они не узнали.

Но каждый армянин, услышав об этом, готов был кричать на весь мир, чтобы и самому поверить, чтобы глубже ощутить счастье.

Готов был кричать, но не кричал.

И словно для того, чтобы людей не повалило от этой тайной радости, подвернулся вдруг веселый праздник Вардавара и дал им возможность в песнях и танцах, в веселом шуме-гаме выплеснуть избыток сдерживаемых чувств.

Увитые розами девушки, каждая — богиня Анаит, выступали как павы, а юноши все бросали и бросали к их ногам цветы. Из дворов, с балконов всех прохожих, как принято, обливали водой, и это вызывало новые и новые взрывы веселого смеха. Тут и там пускали голубей. Всюду звучали песни, и пели полным голосом. В воздухе вился голу-

бой дымок. Всюду горели свечи: у родников, у вековых одиноких деревьев, в разрушенных скитах, в часовнях, пещерах, на полях битв — всюду, где высятся хачкары в память о минувших деяниях. И игры. Игры неподражаемые по ловкости и находчивости, которые в них показывают и мужчины и женщины. На качелях взлетают гибкие, стройные девушки, на канатах изощраются канатоходцы и шуты-весельчаки.

Праздник Вардавара на сей раз ликовал не во славу Христа. Сейчас люди мысленно славили новое к ним явление Исаела Ори, который, как они верили, выведет их на путь спасения...

Ори прибыл в Эчмиадзин ночью и убыл оттуда на второй день Вардавара, солнечным полднем. Провожали его жители всех окрестных сел. Люди славили Исаела Ори, восседающего на коне, который, словно сознавая величие своего всадника, гордо выгнул черногривую шею, вжал красивую морду в грудь и, торжественно ступая по земле, шествовал впереди большого кортежа, чуть раскачиваясь. Справа от Ори на черном муле ехал католикос всех армян Александр Джугаеци с лицом прозрачным, как пергамент, и гладким — на широком лбу только одна тонкая морщина, борода без единого седого волоса, маленькие умные глаза под изогнутой линией бровей вдумчиво всматриваются в вершины Масиса...

Исаел Ори и Александр Джугаеци специально предприняли это шествие среди бела дня по деревням и селам округи. Решили поднять дух народа, хоть молча, но дать понять, что близок час свободы, — смотрите, мол, сам католикос провожает русское посольство, и это неспроста!.. Неспроста и то, что возглавляет посольство не кто-нибудь, а сын Исаела Прошяна...

— Еще до твоего приезда, — сказал католикос, — я получил письмо от Есаи Гасан-Джалаляна. Просит, чтобы принял тебя с любовью и чтобы не уподобился бы католикосам Наапету и Симону, ясно осознал бы, что нет у армян иной опоры, кроме России...

Ори улыбнулся про себя. «Хитер, — подумал он, — уж неделя, как я у него, а только теперь об этом «вспомнил».

— Он прав, об этом надо помнить, — проговорил Ори.

— Я счастлив и благодарен, что одним из тех, кто возглавляет наше великое дело, является католикос Агвана. Но он давно знает мою точку зрения — зачем же эти сомнения и мольбы?..

— Я ступил в Эчмиадзин и явился к вашему святейшеству только внушенной мне Есаи Гасан-Джалалаяном верой в ваше патриаршее величие и патриотизм. И то, что сейчас вы едете рядом со мной, настолько меня воодушевило, что, кажется, поверни я вот этот маленький отряд на врага, могу разорвать оковы Армении.

— Будем надеяться, близок тот день, когда с нами постоянно будет такой союзник, как Россия. Благослови бог этот долгожданный день!..— Католикос снова обратил взгляд на безоблачную, снежную вершину Масиса.

— И самый верный союзник может стать угрозой нашему существованию, если мы сами не будем силой,— после минутного молчания заговорил Израел Ори.— Главы государств никогда не руководствуются добротой. Добрые короли бывают только в сказках. А значит, опираясь на русского царя, мы тем не менее должны твердо стоять на земле, не то свалит нас судьба... От каждого, кто придет на помощь, надо ждать и угрозы. Ждать и предупреждать ее.

— Сам господь говорит со мной твоими устами!— не отрывая взгляда от Масиса, проговорил католикос, и, так как они уже доехали до места, откуда предстояло вернуться, он сошел с мула.

Прощались шумно, с возгласами.

— Добрый путь тебе, свет нашей надежды!— восклицали люди из свиты католикоса.

— Пусть там, где ты ступишь ногой, расцветут розы!

— Берегись коварства врага!

— Помни, Ори, царя Аршака и спарапета Васака!..

— Возьми с собой горсть армянской земли, чтобы придавала тебе силы!..

— Доброго вам пути и благополучного возвращения,— осенив Ори крестом, сказал католикос.— Убереги тебя господь от всяческого зла! И да придадут тебе силы наши благословения и память о наших великих предках. Помни и верь, что мы всегда рядом с тобой. Завтра же я отправляю письмо царю Петру и напишу все, как договорились!..— И так как Ори был выше его ростом, святейший, обхватив руками его голову, пригнул ее и поцеловал в лоб. Затем осенил крестом дорогу, по которой должен был ехать Ори. Ори приложился к руке католикоса, к кресту на его груди и вскочил в седло.

— Оставайся с добром, народ армянский!— Воздев руку, он помахал провожающим и слегка пришпорил коня.

— Путь добрый!— разнеслось еще раз вслед...

Вскоре все разъехались по своим селам. Католикос и несколько священников за поздним временем остались в Агванатане, чтобы отдохнуть до рассвета, но, прежде чем отойти ко сну, отслужили молебен в церкви святого Геворга, дабы долгий и сложный путь Ори был удачным и полезным делом. Из Агванатана выехали с первыми петухами, чтобы поспеть к заутрене, к поминовению усопших. Была тихая ночь, пахло землей и пшатом. Стрекотали стрекозы, журчали ручьи, переговариваясь друг с другом. Мерно перестукивали копытцами мулы священников...

...У подъезда к храму даже деревья еще дремали. Не было ни звука, ни шороха. Только луч света от лампы из окна патриарших покоев, разрывая тьму, разбрызгивался на мелких листьях липы. И только эти залитые светом листья заметно колыхались и перешептывались под окнами...

Всю ночь католикос писал письмо царю Петру. Писал и переписывал, и ему все не нравилось, казалось, что слова не выражают всего, о чем зывал его народ, моля о помощи.

На востоке уже заалело небо, и ветер со стороны Массиса зашелестел листвой деревьев, наполнив воздух шорохами. Александр Джугаеци закончил письмо, отложил перо и подошел к окну. Во дворе еще было темно.

Вернувшись к столу, он вслух перечитал написанное. После обращения и перечисления всех титулов и званий католикос писал:

«...Сообщаем Вашему величеству, что к нам в Эчмиадзин, к нашему патриаршему престолу, прибыл любимый сын наш Израел Ори, которого мы с радостью и с почестями приняли. Он подробно поведал нам о сострадании Вашего величества к нашему народу, и мы благодарим, вознося хвалу Вашему величеству. Да хранит Вас господь в добром здравии многие лета во славу Вашего и нашего народов, во славу всех христиан. Не можем не сказать Вашему величеству, что наш любимый сын и брат Израел Ори, приехав сюда и проследовав в Персию, у нас вызвал восхищение тем, как достойно он представлял Ваше величество. Да храни господь и Вас, и Ваше царство, и Ваш народ, и да будет неизменно Ваше внимание к Израелу Ори и в его лице к нашему народу. И да дарует господь Вашему величеству всегда и во всем победу над врагами, и будет он Вам правой рукой и щитом, заслоняющим от ударов противника видимого и невидимого...»

Дневной свет, ворвавшись в патриаршие покои, поглотил робкий свет свечей. Католикос задул свечи и пошел отдохнуть. Колокола возвестили рассвет...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Шах Султан-Гусейн сидел, скрестив ноги, на тахте, когда вошел великий визирь. Уже у входа сложив на груди иссохшие руки, визирь бесшумно подошел к тахте и склонился в поклоне. Затем выпрямился и остался стоять.

Шах не ответил на приветственный поклон великого визиря. Сухо спросил:

— Что ты наделал, Джаан-Ширази?

Визирь, будто не понимая, о чем говорит шах, покачал головой.

— Ты что, не знаешь, что русский посол будет завтра здесь?

— Ну как же, ваше величество?..— Великий визирь снова склонился в поклоне.

— И сможешь оправдаться?

— За какой грех и перед кем я должен оправдываться, всемогущий шах?

— Перед русским царем. Что это ты стал таким наивным? Или думаешь, твои ошибки должен исправлять я? Не ты ли это забыл передать хану Шемахи, что мой приказ напасть на русское посольство отменяется и что надо обеспечить им безопасность в пути? Не сделал этого и в результате стал причиной гибели стольких кзлбашей и вражды между нами и русским царем. Или, по-твоему, это не столь важно, что он может уже завтра, придравшись к такому поводу, объявить мне войну?.. А Петр, он ведь как лев, вырвавшийся из капкана!.. Видел, что со шведами сделал? Ты запутал этот клубок, визирь, тебе и конец отыскивать. Не признаваться же нам этому Ори, что да, мол, это мы направили против тебя кзлбашей, а ты их разбил?..

Визирь смотрел в одну точку, и его немигающие глазки то сужались, то расширялись. Наконец он сказал:

— Не нужно унижаться в поисках оправданий, мудрый шах. Ты ведь, надеюсь, не забыл, что во главе этого посольства стоит армянин?

— Ну и что же, что армянин?

— На протяжении веков мы на себе извели, что за люди армяне. Их можно разбить наголову, но обмануть — никогда. А этого Ори не только не обманешь, с ним как бы самим не остаться в дураках, — умен и хитер.

— Ну и что?..

— Вот что, сиятельный шах! Примем этого Ори как гостя, с подобающими почестями. Посетуем на беду, посочувствуем. И неважно, поверит он или нет в нашу искренность. Я сделаю все, чтобы он не вернулся к своему царю. А кому-нибудь нетрудно будет убедить Петра, что все произошло против воли шаха. Особенно если мы сумеем дарами завоевать его сердце. А завоевать этого, как ты сказал, вырвавшегося из капкана льва необходимо.

Шах вызвал меймандара и приказал:

— Готовься к приему русского посла. Чтобы все было, как подобает в таких случаях! — И, обернувшись к великому визирю, добавил: — А ты готовься встретить его. И тоже чтобы все было достойно.

2

Прошло четыре месяца, как Ори покинул Эчмиадзин и въехал наконец в Спаан. Четыре месяца... Он проделал этот путь не спеша, без обычного для послов желания как можно скорее преодолеть тоскливое безделье дороги. Он даже пренебрег кратчайшим путем из Вагаршапата в Спаан. Наоборот, как мог, удлинил дорогу и тем самым увидел всю Персию. Измерил и взвесил ее силы, отметил у себя все укрепления и крепости, все внутренние дороги. Узнал, в каких отношениях, дружеских или враждебных, пребывают между собой ханы, кто из них как настроен по отношению к шаху. И когда оставался день пути до шахской резиденции, Ори записал: «Персия похожа на арбуз, пролежавший зиму в погребе, который видом своим все еще ласкает глаз, так, будто он еще на грядке и еще выпитывает соки земли, а стоит нажать на него пальцем — и лопнет...»

Четыре месяца... Шел сентябрь. В небе светился серп полумесяца и единственная звезда. На горизонте раскинулся Спаан. Ори из кареты смотрел на город, на полумесяц и на звезду и размышлял о своем.

Заночевать решили на подступах к городу. И великий визирь Джаан-Ширази, выехавший встречать русского посла, долго прождал его у восточного въезда. Не понимая, в

чем причина задержки, визирь выслал вперед своего человека. И тот, скоро вернувшись, доложил, что русские остановились на ночлег неподалеку, войдут в город утром, сразу после восхода солнца, что их глава приветствует его светлость великого визиря и просит извинить за доставленное беспокойство, говорит, считал неудобным, не стряхнув с себя дорожной пыли, предстать перед шахом.

Джаан-Ширази недовольный вернулся в Спаан. Намерений Ори он не разгадал. А Ори заночевал за городом вовсе не для того, чтобы стряхнуть дорожную пыль. Он хотел войти в Спаан только днем и внушительностью своей большой свиты дать понять престольному городу и живущим в нем армянам нечто большее, чем говорил сам факт прибытия посольства... Хотя была уже осень в Спаане, все еще жарило солнце. Только воздух был по-осеннему прозрачен, и краски говорили за себя.

Великий визирь и начальник внутренней охраны со свитой едва достигли восточных ворот города, а там уже иголке негде было упасть. Еще спозаранку собрались армяне из квартала Джуга, евреи, ассирийцы и персияне тоже.

Помрачнел великий визирь. Ему стоило повести взглядом, и начальник внутренней охраны сделал бы так, что вмиг рассеялась эта толпа. Но очень уж близко была свита русского посла. Да визирь и сам скоро так увлекся разглядыванием этой пышной кавалькады, что забыл обо всем.

Оружие сверкает, пуговицы на мундирах и пряжки горят золотом. А какая карета!.. Великий визирь, до того небрежно сидевший в седле, приосанился. Впервые в жизни он почему-то почувствовал себя смиренным.

Перед въездом в город посольская карета остановилась, и из нее вышел стройный, подтянутый военный с седой бородой. Он поклонился великому визирю.

Визирь с трудом спешился, подошел, улыбнулся послу, пожал руку и, сощурившись, оглядел его свиту — в ней было человек около двухсот, — затем, снова обернувшись к Ори, любезно улыбаясь, показал ему на въездные ворота, предлагая войти в город.

Им услужливо подвели коней. И через минуту они уже стремя в стремя въехали в Спаан.

Толпа с шумом двинулась за ними. И вдруг совсем рядом с Ори прозвучало с мольбой по-армянски: «Хоть какой-нибудь выход к спасению нашему!.. Изыщи!..» Ори вздрогнул. Но вот уже еще и еще люди повторяли эту мольбу. А толпа все прибывала, и движение все замедля-

лось и скоро вовсе стало невозможным. Все хотели видеть своими глазами русского посла, русские пушки, золоченую карету, диковинно разодетых людей. Все это впечатляло, внушало почтение к силе и мощи России.

И посольство и свита визиря подошли к Чехел-Сутуну¹. Дальше народу уже преградили путь. На дворцовую площадь люди не прошли. Но шах из своего окна увидел всех заполнивших улицы и только тут разгадал, почему Ори решил започевать на подступах к городу.

Уже перед самой площадью, когда начальник внутренней охраны со своими отрядами кзлбашей, забыв о присутствии иностранцев, начал свои действия, кто-то вдруг положил руку на колено Ори и слегка придавил его. Ори сразу узнал шемахинского «кузнеца» и накрыл своей ладонью его руку. Мушег счастливо улыбнулся и приглушенным от волнения голосом сказал:

— Как можешь, крепче держись за русского царя, чтобы нам наконец вырваться из этой спаанской Джуги в нашу Джугу. Сейчас у нас одна надежда, один бог — все ты, наш армянский царь...

Кзлбаши плотной стеной стали перед народом, и ювелир Мушег сказал не все, но он остался стоять вместе со всеми армянами. Они с гордостью и тревогой во взглядах проводили «армянского царя», пока он и вся его свита не скрылись за воротами шахского дворца.

Постепенно толпа рассеялась. Люди ушли в свои заботы.

Разошлись и армяне Спаана. У них была одна забота. Они ждали, когда для них взойдет новое солнце...

3

Перед аудиенцией у шаха великий визирь явился к Ори с переводчиком, белесым, как луковица, и очень льстивым человечком.

— У вашего превосходительства есть свой переводчик для переговоров с шахом или пожелаете воспользоваться услугами нашего? — спросил визирь.

Ори ответил по-персидски:

— Ваше превосходительство, я в переводчике не нуждаюсь.

Великий визирь пригладил густые брови и стал еще

¹ Чехел-Сутун — шахский дворец.

пристальнее разглядывать Ори. А шаху чуть позже сказал:

— Этот Израел Ори — истинная загадка, говорит на нашем языке, как молла.

— Он бесспорно армянин! — окончательно решил шах и еще на месяц отложил прием, чтобы самому распознать, с кем он имеет дело...

Но прошел месяц, а шах так и не собрал необходимых ему сведений, и прием наконец состоялся.

— Ты, конечно, армянин? — первое, о чем спросил шах, обращаясь к Ори.

Израел Ори ответил не сразу и этим еще больше озадачил и шаха и назир-визирей.

— Можно назвать и армянином, я не откажусь от этого.

Шах посмотрел на великого визира, и тот понял его — перехватил разговор.

— И как все же это понимать? Мы должны знать. О тебе говорят здесь разное.

— Правя государством, основываются не на сплетнях, великий визирь...

— Однако и светлейший Петр, и немец Иоганн-Вильгельм, и папа римский — все они в письмах просят нашего мудрого шаха быть добрым и терпимым к своим христианским подданным. И письма эти доставил ты. Какая может быть связь между торговыми целями, интересами русского посла и тем, что выражают эти письма со всего света?..

Ори усмехнулся, как бы удивляясь такой подозрительности шаха и визирей, и сказал:

— Да будет известно солдцелинскому шаху и его визирям, родился я в Индии, в городе Калькутте. Мать моя была армянка, отец — грек, из купцов. Он умер, когда мне было семнадцать лет. Мы переехали в Париж, к родственникам матери, и они дали мне военное образование. Позже я был командиром особого кавалерийского соединения, участвовал в англо-французской войне и, тяжело раненый, попал в плен. Англичане потребовали за меня выкуп. Король Франции не дал его. И потому, освободившись наконец из плена, я уехал в Германию и там поселился. Однако жена у меня была русская, стала уговаривать, упрашивать поехать на ее родину. Делать было нечего, пришлось обратиться к Петру Первому, просить принять меня к нему на военную службу. Петр захотел лично со мной познакомиться, прежде чем он решит, как мне ответить. Я прибыл в Москву. Еще

до встречи с царем побывал в частях русской кавалерии и потом в разговоре с царем осмелился высказать свое замечание, сказал, что, на мой взгляд, тяжелые, крупные русские лошади не очень пригодны для армии и хорошо бы, скрестив их с легкими, тонконогими арабскими лошадьми, вывести новую породу. Предложение понравилось царю и присутствовавшим на беседе военачальникам. Петр высказался за иранских, а не арабских лошадей, к тому же, как он сказал, это послужило бы поводом укрепить отношения с добрым южным соседом. Тогда-то царь и решил именно меня послать к великому шаху с целью заключить обоюдовыгодную торговую сделку. Я охотно согласился, но сначала поехал обратно в Дюссельдорф, чтобы перевезти семью в Россию. Иоганн-Вильгельм, узнав, что я буду в Персии, написал это письмо. Он же попросил о письме и папу римского. Но и, само собой, русский царь написал свое. И я, понятно, охотно взялся, как христианин, исполнить и эту миссию. Лично для меня и христиане и мусульмане едины. Я всегда на стороне страждущих. Не помню кто, один из ваших поэтов, говорил о том, что, если бы человеческое страдание дымилось, как огонь, мир был бы вечно в тумане. И этот поэт-мусульманин с горечью говорил обо всех страждущих.

Шаху пришлось по нраву речь русского посла. Он недовольно глянул на своих назир-визирей — мол, зачем напрасно все усложняют, — и любезно сказал, обращаясь к Ори:

— Я восхищен тем, как ты владеешь языком. Где тебе удалось так изучить персидский?

— Как я уже сказал, мой отец был купцом. Он надеялся расширить дело, иметь своих людей в Китае, в Персии, в Афганистане и других странах. И меня готовил себе в помощники. Он нанял мне учителей. С ними я изучал не только торговое дело, но и языки. Мне особенно нравился персидский. Может, причиной тому ваши славные поэты?

Шах улыбнулся и закивал головой.

— Все ясно! — сказал он. — Лошадей у нас сколько угодно. Если хотим жить добрыми соседями, надо торговать. Об иноверцах скажу одно: армяне не такие, как все. Они не хотят жить покорно и смиренно. Но мы, однако, сделаем все возможное из того, о чем просит царь великой России! — Шах посмотрел на визирей, и те поняли его слова на свой лад...

— Благословенный и мудрый наш шах сказал все, что следовало,— заговорил сардар шахского войска.— Мне только хотелось бы знать, как это русский царь станет вести войну на наших лошадях в холодных северных странах?..

Ори понял хитрость военачальника и не менее хитроумно ответил, что России, если бы она даже всех лошадей Персии закупила, их опять же не хватило бы на всю русскую кавалерию. И что он закупит, как говорил, ровно столько, сколько необходимо для выведения новой породы.

— И жаль,— сказал Ори,— что сардар не хочет видеть за этим желания русского царя крепить связи с Персией, ищет какую-то фальшь...

Шах строго посмотрел на сардара и сказал, что он очень приветствует дружественные шаги могущественного Петра.

После этого Ори попросил у шаха разрешения поднести ему дары царя Петра и подал знак своим слугам. Пока носили дары, шах как бы невзначай сказал:

— Удивительный нюх у разбойников: как они узнали, что вы везете нам дары от царя? Подумать только, хотели ограбить! Но вы преподали им хороший урок... Я очень разгневан недосмотром хана Шемахи. Что подумает наш друг царь Петр, коли про все услышит? Очень это позорно для нас...

— Ничего, ваше величество, Петр мудр и дальновиден. Он знал, что путь наш будет не безопасен. Поэтому и передал в мое распоряжение пятьдесят дальнобойных пушек, двести пятьдесят обученных и хорошо вооруженных стрелков. Но я ограничился двенадцатью пушками и ста стрелками, зато такими, с которыми смело можно выступить против целой армии... Что же касается возмущения вашего величества, оно уместно, и я верю в его искренность... Но что вы могли поделать? Разбойникам ведь нет дела до того, кто мы и зачем здесь...

Шах снова многозначительно взглянул на своих. Воцарилось неловкое молчание. Но скоро внимание всех привлекли дары русского царя. Собравшиеся оживились.

— Мудрый и добрый шах, это все русское. И шелка, и соболя,— Ори подал шаху одну шкурку.— И парча, и полотно. А это ожерелье из рубинов, кольца, серьги алмазные — для прекрасных жен шаха!.. Или вот эта диадема с сапфиром!.. А кубок!.. Да будет вечной дружба царя Петра и солнцеликого шаха. И пусть этот кубок всегда подни-

мается только за Россию и Персию, за добрососедство двух великих правителей.

Султан-Гусейн довольно улыбался и благодарно кивал в ответ на сладкоречие Ори. Потом был пир. С песнями, музыкой. Он длился очень и очень долго.

4

Зендрут отделяет Новую Джугу от Спаана. Это маленькая речка, неширокая в русле, но как далеко отстоит Джуга от Спаана. И шах Аббас своей волей не мог уменьшить это расстояние. Он как-то однажды сказал, обращаясь к армянам: «Что вы еще хотите, я разрешил вам строить ваши церкви во славу всех ваших святых. Могу разрешить перевезти сюда Эчмиадзин, но вы должны наконец покориться». Армяне действительно настроили церквей, но по-прежнему задыхались: с одной стороны Зендрут, с другой — гряда скал Косе-Софе...

Стояла полночь. В церкви святого Геворга было тихо. Только камни, из которых она построена, камни, вывезенные из Эчмиадзина, светились теплым светом от множества горящих свечей. В церкви собралось человек пятьдесят. Лица этих сильных мужей были озабоченными, взгляды не отрывались от Исаела Ори.

— Соотечественники мои,— сказал он, обращаясь к собравшимся,— настал час спасения. Надеюсь, что солнце, которое давно уже не согревает нас, засияет на армянском небосклоне и глыбы горя растают, расцветет весна от края и до края страны. Лязг невидимых цепей ваших, крик боли вашей, вот уже более двухсот лет никем не услышанный, достиг наконец народа великой России, его императора и вызвал в них сначала жалость, а потом и гнев. Жалость не оттого, что мы жалки, а оттого, что вот уже не одно столетие никак не можем вложить наши мечи в ножны и страна наша вечно окутана дымом войны и пожарищ. Наконец-то и у других христианских народов открылись глаза на то, как мы страдаем. С нами сейчас и могущественная Римско-Германская империя, и те малые народы, которые не сегодня завтра может постичь такая же участь. И не только они, с нами и персидский народ.

— Верно говоришь, и персидский народ с нами,— подтвердили собравшиеся.

— Ни один из народов сам по себе и в мыслях не дер-

жит, чтобы угнетать и убивать других, властвовать над другими народами!— продолжал Ори.— Это все от правителей — ненависть, неприязнь, захватничество. И помните, многострадальные соотечественники мои, что если мы вместе с русскими и поднимем оружие против Персии, то не затем, чтобы надеть оковы на ее народ. Нам только бы сбросить наши! Дорогие мои соотечественники, после двухвекового плена настанет время, когда вы наконец сможете подумать о возвращении на родину. Но путь этот откроется для вас не молитвами. Молитвы в таких случаях должны быть краткими. Наш бог сейчас — это сила и единство. Вы должны объединить здешних разрозненных армян и держать их в боевой готовности. Велик ваш долг. Прочный тыл — залог победы. Ваша задача изнутри расшатать тыл шаха Султан-Гусейна.

И Ори, удивив всех своей осведомленностью, ознакомил собравшихся с местными укреплениями, с пунктами, имеющими стратегическое значение, с оружейными мастерскими, с дорогами. Поделился он с ними и тактикой действий в тылу противника.

— Будем трудиться и днем и ночью, будем ждать с надеждой!— за всех ответил Мушег.

— Будем трудиться и ждать!..— согласно повторили вслед за ним.— Честь и слава русскому народу и его милосердному царю! А тебе, господин Ори, сил и великого терпенья! Ты — наш вождь, ты — наша надежда и вера! Слава тебе! И тысячу раз будь славен, многострадальный армянский народ, близок день твоего спасения, да будь блажен!..

Тишина, залитая светом свечей. И словно весь народ выдохнул:

— Вперед, за наше дело!..

Это сказал Ори. Раскрылись двери, и свежий воздух ворвался в церковь.

5

...И шах Султан-Гусейн поднял кубок, дарованный Петром.

Это было весной. Второй весной, которую Ори встречал в Спаане. Еще в феврале зазеленели поля и зацвели деревья. А сейчас уже был март. День клонился к ночи, и в зале, где давали прощальный обед в честь русского посла,

чтобы не задохнуться от жары, раскрыли все окна. Голубое небо и расписные купола минаретов шагнули в залу.

Шах, высоко держа кубок с гранатовым вином, изощрялся в восхвалениях. Петра он назвал и быстрокрылым соколом, и орлом, что машет крыльями у самых звезд, и львом, от силы и мощи которого всех кидает в дрожь. Но вот, на мгновение замолкнув, он многозначительно вздохнул и добавил: «Да... Однако же нет аллаха, кроме аллаха, и Магомет — пророк его!..»

Россию и ее царя, вслед за шахом, славили все назир-визири. Славили его и сардары. И все они, кончая речь, повторяли последние слова шаха, добавив от себя:

— На небе аллах — на земле наш шах!..

Ори не испытывал необходимости говорить. Он сделал все, что нужно, для будущего похода Петра и для нужд армян Спаана, чтобы они готовились и жили верой в то, что Армения скоро будет иметь своего царя, будет свободной и они вернутся из здешней Джуги в настоящую Джугу, откуда их вывез еще шах Аббас.

Ори, конечно, хоть и говорил все это для поднятия духа армян, говорил не раз, но не очень-то верил в возможность возрождения трона армянского и считал, что пусть хоть народ объединится и заживет своей жизнью. На худой конец под опекой христианского государства. И этот вопрос Ори сейчас считал почти решенным. Почему-то, после многолетних мучений, он наконец так спокойно и глубоко дышал в этом зале шахского дворца... Такое недолгое, но истинное спокойствие переживают обычно выигравшие сражение полководцы. Сражение, которое в корне меняет ход событий, но еще не обеспечивает окончательной победы.

Ори только добро улыбался шаху и всем выступавшим с речами, кланялся в ответ на их щедрые похвалы и иногда перекидывался кое с кем словом. Но в конце он поблагодарил за прием и за оказанное ему доверие.

Кончился обед. Шах продемонстрировал всем, какие он посылает ответные дары царю Петру. Одарил он и Ори, и некоторых из его свиты. После напутствий шах сказал:

— Завтра отряд моих воинов проводит ваше превосходительство до берега Аракса, переправит через Худаферинский мост и вернется. Только один из моих назиров поедет с вами дальше. Искендером его зовут, — шах показал на

светловолосого человека, которого раньше представляли Ори как русского переводчика.— До самой Москвы поедет, чтобы лично передать славному царю мои приветствия и поздравления по случаю великой победы над шведами, принести извинения за недоразумение, случившееся с вами, и, если возможно, приобрести там пушки для оснащения нашего войска.

Ори пристально посмотрел на Искендера, в котором не было ничего от перса... Искендер — это Александр... Ну и что? О национальной принадлежности это имя не говорит...

Пока Ори разглядывал его, Искендер улыбнулся. И улыбка показалась Ори неискренней.

Церемония прощания наконец завершилась. Небо в окнах стало темно-голубым. И скоро с минаретов разнеслись призывы к вечернему намазу.

...На следующий день Ори со своей большой свитой выехал из Спаана и пустился в обратный путь. Караван сопровождали двадцать вооруженных кзлбашей из частей внутренней охраны дворца.

Когда в конце дня устроили привал у одной из деревень, Искендер зашел в палатку Ори, намереваясь познакомиться поближе. Оба внешне были предельно корректны по отношению друг к другу, но явно настороженны.

— Мне кажется, ты не перс,— сказал Ори.

— Ну зачем же так меня обижать, ваше превосходительство? Я перс.— И, чуть помолчав, Искендер добавил:— Мать моя русская. Ее похитил крымский хан и вместе с другими девушками отослал турецкому султану. Это было тогда, когда Турция собиралась воевать против Европы. Чтобы обеспечить себе безопасность со стороны Персии, султан направил к шаху для переговоров своего великого визиря. Тот вместе с множеством других даров доставил и плененных русских девушек. Шах выбрал из них только двух. Остальных раздарил назир-визирям, в числе которых был и мой отец, шахский казначей. Вот от этой русской женщины я и родился. И от нее в наследство мне остался русский язык. Ну, а знать русский — это еще не значит быть русским. Не так ли, ваше превосходительство?

— Что же, пусть будет так...— улыбнулся и пожал плечами Ори.

Улыбнулся и пожал плечами и Искендер. Однако желанной близости установить так и не сумел.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Вдоль берега по воде скользила увядшая лилия. Только она и указывала на то, что матушка-Волга не остановилась в течении, а просто невозмутимо спокойна. Утреннее солнце натянуло златотканую паутину над водой. Оттенки ее менялись. Там, где река круто сворачивала, она вроде бы несла свои воды под огнем пламени. И от этого все вокруг — и дома и горизонт — полыхало.

Дул свежий, как дыхание младенца, ветер. День просыпался так покойно, словно не было на свете ни одного сжигающегося от боли сердца.

Дорога тянулась вдоль Волги. Покачивая головами, лошади медленно тянули за собой карету. В них была не усталость, а настороженность, передававшаяся, видимо, от кучера. Кучер, который чего не навидался за свою жизнь — с ликованием и песнями возил молодых на свадьбе, мчал захмелевших моряков к их возлюбленным, чинно отвозил на кладбище гроб с телом усопшего, — вот уже четыре года как не расстается с этим путешественником трудной судьбы и научился улавливать все перепады его настроения... Улавливать и невольно передавать их и лошадям...

Покачивая головами, лошади медленно тянули за собой карету, колеса поднимали пыль, и она клубилась, взвивалась над Волгой и таяла в прозрачном воздухе.

Кучер был уже стар, но еще, как в молодости, горели золотом рыжая борода и под кружок стриженные волосы на затылке. Только шея исполосована морщинами и прокалена южным солнцем до медного блеска. Устремив вдаль взгляд своих голубых глаз, он думал обо всем, что дорого сердцу. И чего скоро уже не будет... Думал о том, что происходит в мире. Думал так, как разумел он, оставивший за собой много дорог. Время от времени, обернувшись вполоборота, он с грустью и почтительностью смотрел на своего больного путника. А тот, положив руки на коленях, склонив голову на левое плечо, затуманенным взглядом умирающего горного орла смотрел то на уносимую водой лилию, то на дорогу, убегающую из-под колес назад, смотрел как на последний путь своей жизни, который, может, вот-вот оборвется под копытами этих тяжело ступающих лошадей...

Карета въехала на холм.

— Останови, Герасим!..

И лошади стали. Герасим помог больному сойти и подняться на холм. А Волга уносила поникшую лилию. Ори оглядел все кругом. Слева земля, необычно красная. Дальше деревянные домишки Астрахани, и над ними, в самом небе, купол армянской церкви святой Богородицы с простым железным крестом. Ори, не от истовой приверженности к церкви, а как армянин, с почтением перекрестился. Рука осталась на груди. В глазах еще теплились отвага, мечта и живой луч надежды, веры и мольбы. Он посмотрел на чужое небо и армянский черный крест в этом небе и сказал, обращаясь к небу ли, к кресту ли:

— Долго я искал. И нашел, а дойти невозможно. Видно, надо помучиться еще столько же... Потерять надежду — это значит похоронить целый народ. А нам надо жить. Мы должны жить, Герасим. Здесь, на земле!..

Ори топнул ногой о землю, посмотрел туда, куда топнул, и снова заговорил:

— У армянина нет другого пути. Этой землей он должен пройти, чтобы найти свое спасение. Пусть по мне пройдут идущие моим путем. Я услышу из могилы звук шагов армян, нашедших счастье и идущих к нему. Слышишь, Герасим? Здесь!.. — И он снова ударил ногой о землю там, где стоял. — Поклянись!..

Кучер незаметно смахнул слезу, глянул на крест вдали и с горячностью перекрестился. Затем, обернувшись к Ори, сказал:

— Ваша милость, разве христианин у христианина должен требовать клятву, чтобы поверить?

Ори грустно улыбнулся.

— «Разве христианин у христианина должен требовать клятву, чтобы поверить?» — медленно повторил он слова кучера. — Я всегда тебе верил. У тебя доброе, чуткое сердце, Герасим, и ты светел, как сегодняшнее небо. Я прошу тебя поклясться только в том, что ты запомнишь это место. А что касается христианства?.. — Ори вздохнул и покачал головой. — Э, да ладно. Подойди-ка, Герасим. — Махнув рукой, Ори переменял разговор. Герасим подошел, Ори оперся на него и тихо сказал:

— Ты мне честно служил все эти четыре года. У меня не было человека ближе тебя. Благодарю за все. Спасибо за все, что ты сделал для меня. За доброе сердце, за то, что ты такой. Через тебя я узнал русских и горячо полюбил Россию. Скоро мы расстанемся... Ты уже стар, тебе нужен покой, — Ори извлек из кармана мешочек и вложил его в

руку Герасиму.— Бери. Деньги небольшие, но на скромную жизнь тебе хватит до...

— Да что это с вами, ваша милость?..— Герасим крепко обнял ослабевшего полковника, чтобы тот не упал, и, опустив голову ему на грудь, заплакал, вздрагивая плечами...

Карета так же медленно, как раньше, покатила назад и въехала на одну из улиц Астрахани.

2

В доме астраханского воеводы Владислава Кузьмина шло пированье. Сам он во главе стола. На затылке большая лоснящаяся плешь, маленькие, полузакрытые глаза и русые, уже тронутые сединой, до самых ушей усы. Лицо улыбочное. По правую руку от него Израел Ори, слева — католикос Есаи Гасан-Джалалян. Пировали в честь благополучного возвращения русского посольства. Католикос восславил царя Петра Первого, его посла, осенил крестом стол и сел, но так до конца и не притронулся к яствам. Сидел величественно-неподвижный, с высоко поднятой головой. То слушал говоривших, то погружался в думу о будущем своего народа, надолго и полностью отключаясь от окружающего.

Последним был тост за воеводу Владислава. Так он сам пожелал, пить за него лишь в конце. И вот теперь слушал, что о нем говорят.

Управитель застолья сказал очень много хорошего. Говорил подробно. И о том, что предан царю, верно служит ему, и о том, каков он охотник, как может одним выстрелом с лёта убить двух уток. И что утиного мяса не ест, потому как от диких уток пахнет рыбой. И многое еще говорил. Перебивая друг друга, добавлял и гости.

И вот Владислав Кузьмин поднялся. За ним и все поднялись. Он не сказал благодарственного слова, как это принято. Только еще более сощурил глаза, и оттого лицо сделалось еще более улыбочным, усы стали длиннее.

— До дна!..— это и все, что сказал воевода.

И все выпили. До дна.

Ори поморщился. Ощутил какую-то терпкую горечь на нёбе и в горле. Он отвернулся и незаметно сплюнул в платок. Горечь не прошла. В теле все изнутри зажглось жаром, и сердце забилося сильнее обычного.

Владислав Кузьмин все заметил, но виду не подал.

— Что с тобой, Ори? — заволновался католикос, увидев его побледневшее лицо.

Ори непонимающе пожал плечами и вздернул брови, но, собравшись с силами, проговорил:

— Ничего...

Католикос не успокоился:

— Нет, с тобой что-то происходит.

— Что, вы себя плохо чувствуете? — как бы невзначай спросил Владислав Кузьмин, положив руку на плечо Ори. — С чего бы? Такой крепкий, как из бронзы литой, и вдруг вино одолеет?.. Не захворали ли в Спаане лихорадкой? Вино и лихорадка несовместимы.

— Пройдет, ничего особенного. — Ори хотелось успокоить католикоса. А тот уже хмурился, о чем-то догадываясь.

— Безусловно пройдет!.. — сохраняя видимое спокойствие, сказал воевода и, усадив Ори и католикоса в свою карету, проводил их в отведенную им резиденцию.

Была дождливая, мокрая ночь.

3

Маленькие глазки Владислава Кузьмина всегда улыбались. Всегда... И на празднествах, и в церкви, куда он ходил раза два в неделю и истово молился. Улыбались они и у плахи, где секли повинные головы, — а воевода всегда присутствовал на этих казнях.

Всегда и везде улыбался Владислав Кузьмин, и эта улыбка стекала с его маленьких глаз на длинные усы, расплывалась по всему лицу, даже на лысине отблескивала. И на спине ее можно было бы разглядеть, только бы знать, что там, вдали, стоит именно он, Владислав Кузьмин.

И люди, зачарованные обещающей улыбкой воеводы, обычно говорили с ним смелее, чистосердечнее, не ожидая коварства. Вызовет, скажем, воевода к себе провинившегося в нерадивости человека. Войдет к нему этот грешник и, увидев воеводу улыбающимся, сам улыбнется да первым и спросит: «В чем дело-то, Владислав Игнатьич?» А Владислав Игнатьич сквозь смех спросит, почему, мол, с налогами задержался, за это, мол, царь спросит с него, с воеводы, а строгость Петра Алексеича ветома всем. Человек, как на духу, станет оправдываться, что только разделался с прошлогодними долгами и сейчас из шкуры лезет, чтобы в этом году не остаться в долгу перед царем...

Лучась улыбкой, Владислав Кузьмин дослушает греш-

ника до конца, а потом, с улыбкой, кликнет стражника и прикажет:

— Взять его... Сто ударов по седалищу! — И, улыбаясь, спросит: — Выдержишь?

— Помру, Владислав Игнатьич, не шутка оно — сто ударов,— отвечает грешник и тоже улыбается, не веря, что Владислав Игнатьич не шутит.

— Ну, ничего, помрешь — похороним. А преступать царевы законы негоже.

И пороли человека. Он уже не улыбался. Он орал как резаный, а Владислав Кузьмин струил смехок из маленьких глазенок на длинные усы, на все лицо и на лысину.

И мало кому было ведомо — может, один-два человека про то и знали,— что Владислав Кузьмин сородич Ивана Голицына, любовника царевны Софьи и главнокомандующего ее войском. Воевода ждал и надеялся, что свершится заговор: Софья уничтожит своего брата Петра, Голицын станет мужем ее, царем России, и тогда он, Владислав Кузьмин, будет призван ко двору... Ждал он этого не сложа руки, а издали осторожно поклевывая Петра и поднимая авторитет царевны Софьи и Голицына.

Не оправдались ожидания Кузьмина, и он затаился во вражде к Петру, пряча и это за улыбкой. А всю жестокость свою приписывал Петру, возбуждая народ против царя...

Едва Израел Ори вступил в Астрахань, назир шаха Султан-Гусейна уже знал все о воеводе Кузьмине, о нраве его и характере, об отношении к Петру Первому. А вскоре он был принят. Войдя к воеводе, представился Александром Шубиным и, вынув из кармана увесистый мешочек, положил его на стол.

Владислав Кузьмин с сияющей улыбкой посмотрел на мешочек, потом на Александра Шубина.

— Я знаю вас, и очень хорошо!..— сказал Александр Шубин и поведал Владиславу Кузьмину всю его подноготную, да с такими подробностями, что на миг улыбка сползла с лица воеводы. Рассказал он и давно придуманную версию своей жизни, что сын боярина Константина Шубина, того самого, которого Петр будто бы убил за участие в заговоре царевны Софьи против него, а потом хотел еще уничтожить всю семью боярина, захватить его поместья. Что он, сын опального, бежал на юг и поклялся отомстить царю за отца... Говоря о том, что Петр рано или поздно погубит Россию, Шубин пояснял воеводе, что, воодушевленный победами на севере, царь, мол, по настоянию армян и грузин

хочет идти походом на юг. Ослепленный легким успехом, он не принимает во внимание, что если начнет войну, то не только Персия и Турция объединятся, но и весь мусульманский Восток встанет против него. И тогда европейские государства, поняв, что Петр запутался на юге, нападут на Россию с севера. Таким образом, Петр не только не станет хозяином Армении и Грузии, но потеряет и всю Россию...

— А что мы можем сделать? — после долгого молчания, улыбаясь, спросил Владислав Кузьмин.

— Пока хотя бы отвлечь Петра от армян и грузин, чтобы они попусту не будоражили его честолюбие. А для этого надо прежде всего ликвидировать Исаиэла Ори, которого Петр отправил послом в Персию, и, как известно вашему превосходительству, тот вернулся с усиленной вооруженными армянами свитой и скоро должен отправиться в Москву. Человек этот очень опасен, и, однако же, ваше превосходительство может сделать многое для того, чтобы он не дошел до царя!.. — Сказав это, Шубин, как бы между прочим, ударил ладонью по мешочку, золотые монеты в котором при этом издали призывный звук...

Молчание затянулось. Владислав Кузьмин все продолжал улыбаться. И Шубина на миг испугала эта не сходящая с уст улыбка. Но все известные ему обстоятельства жизни и деятельности воеводы вернули уверенность. К тому же золото. Воевода взирал на мешочек с вожделением и обладание им ощущал даже зримо...

— Вы правы во всем! — сказал он наконец. — А насчет посла... Тоже правы. Он не увидит больше царя!.. — И воевода сгреб мешочек в ящик стола. — Если армян и грузин можно растворить в капле яда, то... — он, посмеиваясь, подпер рукой щеку, — чтобы спасти Россию, нам надо избавиться от Петра!..

— И это тоже будет!.. — обнадежил воеводу назир шаха Султан-Гусейна. — Может, чуть позднее. А опасность со стороны Ори необходимо предотвратить немедленно...

— Два-три дня, не больше...

И через три дня яд оказался в бокале Ори.

4

Сойдя с козел, Герасим, поддерживая Ори под руку, с величайшей заботливостью повел его к постели. Ори сел, хотел глубоко вздохнуть и не смог. Он отослал Герасима подремать, а сам с трудом подошел к ящикам с вещами,

отложил все, что приобрел за время этого трудного, долгого путешествия... Всего несколько дней назад он написал царю письмо, сообщив, что все завершилось удачно и он вернулся из Персии в Астрахань, а скоро явится перед очи его величества и доложит обо всем содеянном. И вот теперь он отбирал все, что нужно было передать царю, понимая, что явиться к нему самолично уже не сможет...

Достал он и свой «журнал раздумий», записал то, что говорил сам себе на берегу Волги, на холме, через который шла дорога на север, на Москву.

«У армянина нет другого пути. Этой землей он должен пройти, чтобы найти свое спасение. Пусть по мне пройдут идущие моим путем, я услышу из могилы звук шагов армян, нашедших счастье...»

Затем он хотел послать за католикосом, но тот сам вдруг вошел, встревоженный и озабоченный.

— Святейший, — сказал Ори, — сохрани эти записи у себя. Кто знает, может, кому-нибудь пригодятся. А это все надо довести до царя. Переправь с надежными людьми в полной тайне...

— Ну зачем так падать духом, дорогой Ори! Ты еще выздоровеешь, и мы будем в Москве.

Ори не ответил, он с трудом улегся в постель.

Через час неказистый деревянный домишко был осажден людьми. А скоро и все улицы вокруг запрудили. Собрались армяне со всей Астрахани и русские. Весть о том, что, возвращаясь из Персии, тяжело заболел посол Петра и теперь вот умирает, разнеслась повсюду. Люди разных национальностей, все те, кто, подобно отставшим от стаи птицам, искали, где бы им собраться и своим щebetом создать иллюзию стаи или утешиться тем, что их полку прибыло, — все собрались здесь. Беда армян была близка и понятна всем гонимым. Разговорам о том, какова была миссия посла Петра в Персии, как он собрал там полк из своих соотечественников, вооружил его и вместе с духовным пастырем шел в Москву в надежде склонить Петра помочь армянам обрести самостоятельность, не было конца. Все восхищались им, жалели и сочувствовали...

Наступила ночь, но люди не расходились. Ждали, что будет с человеком великой цели, с послем великого царя...

А в доме свечи сеяли свет на черноволосые головы. Местами выделялись и световолосые тоже. Люди стояли по обе стороны тяжелой деревянной кровати, на которой, высоко на подушках, полулежал Ори. У изголовья больного

стоял католикос Есаи Гасан-Джалалян, будто придавленный грузом обрушившейся общеармянской беды, седобородый, печальный. В глазах были скорбь и мудрость. Кто-то, а он понимал всю трагедию происходящего...

Католикос Есаи Гасан-Джалалян, как и договаривался с Ори, присоединился к нему в Сюнике, когда тот возвращался из Спаана. Они намеревались вести новые переговоры с Петром. Велики были энергия и воодушевление святейшего. И вот сейчас он с горестью размышлял у одра человека, с коим были связаны все его цели и надежды.

Свет луны падал через маленькое окно на пол. Ори тяжело дышал и не мигая смотрел на этот луч света. Никто не мог сказать, о чем думал он в последнее мгновение.

Стояла глубокая, сосредоточенная тишина. И вдруг кто-то всхлипнул. Это был Герасим. Прижав большими руками к животу свою шапку, он плакал. Крупные слезы скатывались по обветренным щекам, по бороде. Время от времени глаза его высыхали, и в эти минуты он точно каменил. Бедняга думал о том, что не раз говорил ему Ори, о разноязыких и разноплеменных людях, об их бедах, думал о боге и о своем царе. Думал всякое — коли бог и царь милостивы к людям, отчего так много несправедливости в мире? Подумав такое, с испугу крестился и снова плакал...

Дверь растворилась, и с торжественной размеренностью вошел предводитель армянской общины в Астрахани архимандрит Андреас, в сопровождении еще одного священника. Все с почтением склонились в поклоне. Архимандрит, чуть приподняв полу рясы, подошел к католикосу Есаи Гасан-Джалаляну, поклонился ему, затем посмотрел на больного и снова вопросительно взглянул на католикоса.

Кто-то из присутствующих шепнул на ухо соседу:

— Может, умирающий хочет исповедаться?..

— Весь мир — купля-продажа. Кто обманет, тот и жив... А исповедаться надо, — так же шепотом ответил какой-то человек, похоже, мелкий купчишка...

Скоро все вышли из комнаты. У постели больного остались католикос, архимандрит, священник и Герасим. Архимандрит попросил было и его удалиться, но...

— Пусть останется, — еле слышно сказал Ори. — Похороните меня там, куда повезет Герасим... Такова моя воля, исполните... О грехах что мне сказать?.. Да простят меня мои дети, которым я не был отцом, и жена...

— Это не греховно! — проговорил архимандрит тоном

утешения, не умея скрыть скорбь.— Потому как сказано: «Пастырь да ведет свою паству».

— У меня ничего нет, и завещать мне нечего,— глухо сказал Ори,— кроме того, что всем нам завещали наши предки, которые...— И он не закончил своей мысли: отлетел его дух, оставив в немигающих глазах живую, жгучую тоску и мечту.

Католикос Есаи не мог вынести накопившейся в этих уже остановившихся глазах вековой, общенародной скорби. Он провел рукой, закрыл разящие глаза, поцеловал остывающий лоб и долго оставался склоненным.

Не умея больше сдерживать себя, затрясся в рыдании Герасим. Начали снова входить люди. С непокрытыми головами, поникшие, они шептали молитвы...

На улице, в ночи, пронеслось:

— Посол умер!..

И в широко раскрытые двери начали вливаться скорбящие... Два дня прощались, а поток людской не иссякал. Прислышав об умершем, шли люди всех национальностей, шли, чтобы выразить свое уважение человеку, хоть и незнакомому, а радевавшему, как слышали, и за свой и за все народы, чтобы жили они в мире и с добротой в душе.

У изголовья Ори русский юноша с едва пробившимся пушком на бороде о чем-то тихо расспрашивал католикоса Есаи. Католикос так же тихо, часто и глубоко вздыхая, отвечал. Юноша слушал, устремив задумчивый взгляд на руки Ори, мирно покоившиеся под светом свечи на широкой груди усопшего.

— Он был армянин, сжигаемый болью народа армянского и светом огня своего, освещавшего ему путь к свободе. Он угас на этом пути, а свет его огня будет светить вечно!..— закончил свою речь католикос Есаи.

Русский продолжал стоять молча, задумавшись.

5

Покрытые черными попонами лошади медленно тащили катафалк. Перед катафалком, опустив голову, без шапки, с развевающимися на ветру волосами и бородой, шагал Герасим. За гробом, все так же придавленный невыносимой тяжестью случившегося, шел католикос Есаи Гасан-Джалалян в окружении армянских и русских священников, высокопоставленных чиновников, среди которых был и Владислав Кузьмин с неизменной улыбкой. Дальше следовал

полк Ори, сильно прибавивший в количестве на пути из Персии в Россию. За полком шли люди, которым не было конца.

Катафалк остановился на холме. Люди заполонили берег Волги. Заботливо, как сокровище, которое потом должно быть извлечено, армяне опустили гроб Ори в могилу. Вдали траурно скорбели колокола церквей, и слышался стук земли, горстями бросаемой в могилу.

Русский юноша, тот самый, что говорил с католиком, сложив руки на груди, близоруко щурясь, всматривался в разноплеменный люд, толпившийся вокруг могилы с непременным желанием бросить свою горсть земли в могилу незнакомого им славного сына гонимого народа, и видел в этом свидетельство глубокого уважения.

Горстями над могилой уже был насыпан целый холм, когда юноша наконец тоже подошел, зачерпнул белой, как голубиное крыло, ладонью свою горсть земли и сказал, бросая ее:

— Мир праху твоему, великий страдалец, благородный сын своего народа! — Сказал тихо, чуть слышно, только себе и... ему. — Мечта твоя исполнится, но лишь тогда, когда народ, предающий тебя земле с такой великой болью, обретет хоть с эту горсть права решать свою судьбу... Только тогда!..

Армянские повстанцы из полка Ори опустили мечи над славной могилой и поклялись праху усопшего:

— Смерть или свободная Армения! Мы будем жить! А пока их путь снова лежал в родные горы.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Книга первая. Смерть или свободная Армения</i>	5
<i>Книга вторая. Мы будем жить</i>	183
<i>Книга третья. От миссии к миссии</i>	341

Сурен Бахшиевич Айвазян

СУДЬБА АРМЯНСКАЯ

М., «Советский писатель», 1984, 528 стр.
План выпуска 1985 г. № 257

Редактор *М. Х. Парунакян*
Худож. редактор *А. С. Томилин*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректоры *Т. Н. Гуляева* и
Т. М. Павлюченко

OCR - Давид Титиевский, сентябрь 2017 г., Хайфа
ИБ № 4862

Сдано в набор 30.05.84. Подписано к печати 30.10.84. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага тип. № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать.
Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 31,49. Тираж 150 000 экз. Заказ № 331
Цена 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский пи-
сатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект
Левина, 109

2 р. 20 к.

Г